

Музыка

ПОЗНА

Scan Kreyder - 25.07.2016
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ЮРИЙ МУШКЕТИК

ПОЗИЦИЯ

РОМАН. ПОВЕСТИ

Перевод с украинского

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1984

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин**

**Первый заместитель председателя
Леонид Теракопьян**

**Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк**

**Ответственный секретарь
Елена Мовчан**

Ч л е н ы с о в е т а:

**Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Игорь Захорошко,
Имант Зиедонис, Мирза Ибрагимов,
Юрий Калешук, Алим Кешоков, Юрий Киршин,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Андрей Лупан, Юстинас Марцинкявичюс,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Инна Сергеева,
Юрий Суровцев, Бронислав Холопов,
Иван Шамякин. Константин Щербаков,
Камиль Яшен**

Художник Ю. КОРНЫШЕВ

М $\frac{4702590000-083}{074(02)-84}$ 70—84 подписное



Мухометов



ПОЗИЦИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Степан Карпович Любка, экспедитор, нашел председателя возле «Кира». Василь Федорович стоял в окружении техников и электриков и чертил что-то синим карандашом на металлическом корпусе машины. С таинственным, даже торжественным видом отведя Грека в сторону и тыкаясь в его большое хрящеватое ухо тонкими сухими губами, поглядывая искоса на тех, кого этот разговор не касался, Любка прошептал:

— Извиняюсь... Вам к трем в райком. Звонил сам! Персонально! Сказал, чтоб обязательно и непременно при полном параде. Поздравил с выполнением плана.

Выдохнув эту новость, экспедитор зарделся. Про последнее — про парад и поздравление — он выдумал. Ратушный, секретарь райкома, спросил только, как идут дела, но Любка просто не мог удержаться. Иначе он не был бы Любкой. Этот грешок — преувеличить, или, как теперь говорят, сгустить краски, а в селе по-старому — прибрехнуть — замечался за ним с давних пор, может, он и привел к тому, что служебная линия Степана Карповича, по его собственному признанию, «шла зигзагом», а также послужил поводом к обидной кличке Дупель-Пусто, которая приклеилась к нему навечно. Любку и знали-то в селе под этим прозвищем: хоть в глаза и величали Степаном Карповичем, но почтительность была поверхностная и словно бы ненатуральная, а глубже, под ней, таилась насмешка.

Василь Федорович сосредоточенно гнал по подмерзшей дороге свою «Волгу». Пытался угадать, зачем его вызывают. «Неужто так скоро?» И тревога прокатилась по сердцу, и что-то прозвенело там в сладком напряжении. Он даже рассердился на себя за эту радость, гасил

ее, но она не гасла. «Наверно, все-таки для этого. Если что другое, позвонила бы секретарша. А что Ратушный ничего не сказал по телефону, тоже понятно: сюрприз готовит». Хотя... какой там сюрприз! Две недели назад, и опять срочно, он и Владимир Огиенко, их колхозный тракторист, заполняли в райкоме документы. Володя — особо, Грек — особо; анкету в пяти экземплярах, автобиографию и еще кучу справок. И ни для кого не было секретом, хотя и делали таинственный вид, что председателя «Дружбы» представляют к Герою Труда.

В глубине души Василь Федорович ждал этого приятного события гораздо раньше. Он не был из тех скромников, которые только и знают краснеть от похвал, заверять да обещать, ведь, кроме всего прочего, его колхоз нынче первый в районе, опередил даже «Путь к коммунизму», а председатель «Пути» Тихон Проценко давно при Золотой Звезде... И вот наконец... Нет, он не разжигал себя мечтаниями, не давал им поработить себя, как кое-кто из знакомых. Сам он не прошел испытания славой, но навидался таких, кто, казалось бы, достиг многого, преуспел всячески, но не добился вот этого, самого-самого последнего (а, по сути, конца-то этому нет), без чего не мог человек успокоиться. Такие сами не живут и другим не дают. Обладая многим, они ничем не поступятся ради других, не рискнут, не согреют, не испепелят ненавистью, вечно они улыбки, приветливы. Вот странно: иной, не имея ничего, готов отдать последнее, а имущий не уделит и крохи, ему все кажется, что он судьбой обворован, и зависть, словно шашель, въедается ему в душу.

Василь Федорович открыто брезговал такими. Он не вписывался всей своей жизнью в любое, даже самое почетное звание. Это была его маленькая гордость: самый богатый в районе, а может, и в области, колхоз выведен на дорогу его руками, а он, председатель, не удостоен высоких наград. Спокойно и независимо сиживал в первых рядах на совещаниях актива, репликами выражал согласие или несогласие, уверенно отворял начальственные, обитые дерматином двери. Василь Федорович чувствовал, что владеет своими порывами. Раньше, смолоду, это было до чертиков трудно, а теперь он мог и посмеяться над собой в мыслях, и переключиться с ходу на деловые заботы.

А сегодня видел, что волнуется. Это — нечто новое,

необычное, он даже ощущает себя иным, ему не хватает воли подумать о чем-нибудь другом. В голове, например, вертелось, что жизнь его на этом не кончится, что награждение, конечно, не последнее, будут и еще. Что о присвоении Героя оповещают в газетах и по радио, а сейчас только поставили в известность секретаря райкома. А потом уже — Указ... С этой мыслью и повернул в переулок, затормозил у старой, скрипучей калитки. Зачем-то постоял у ворот — на мгновение показалось, что и собственная усадьба уже не та. Двор у Греков был длинный и узкий, в самом конце хата, с правой руки, чуть ближе, кирпичный хлев и погреб, колодец с коловоротом и деревянным козырьком. С левой стороны — огороженный невысоким штакетником старый сад. Сегодня утром из-за Десны нанесло тумана, а потом придавило морозцем, и деревья стояли в густой опушке. Легкие, серебряные, казалось, дотронься — и хлынет музыкальный звон. Иней блестел и на крыше, и на штакетнике, и на козырьке колодца, он будто высветлил день, сделал его особым, праздничным. Василь Федорович замечал не раз: когда на деревьях иней, день становится другим, на душе прибавляется доброты, а на сердце — грусти. А может, эта грустная праздничность от верной старинной приметы, практически объясняющей такую белизну: в полях тоже белым-бело, а снег — это хлеб, урожай, все сплелось воедино, так давно соединилось, что уже и не разделить. Видать, не любоваться ему красотой просто так! Как всякий хлебороб, не может он отделить себя от природы, от ее векового круга, и не замечает уже этого: не замечает, как темнеет лицом от надолго зарядившего дождя в жатву или в посевную, — и становится он сварливей и круче, и никто на это не обижается, все чувствуют то же, что и он, и как тяжело дышится в засуху, когда еще не налились хлеба, и на тугую синюю тучу с белым ободом молнии на краю — удивительная красота! — в сенокос глядят, как на кровного врага.

Сейчас у Грека на душе посветлело не только от инея, он не признавался в этом даже себе, будто стеснялся, отодвигал, отталкивал эту мысль, а она возвращалась, и не угасало прозрачное волнение.

Грек ступил на крыльцо, где его поджидал огромный красногрудый кочет. Косил глазом, напряженно оттопырив крыло, ждал момента, чтобы вцепиться в большой

плосконосый сапог. Грек любил этого красногрудого задиру, часто затевал с ним возню. Кочет насккивал храбро, но петушиной своей головой угадывал неискренность борьбы и кукарекал и суетился больше, чем ему пристало перед куриной своей челядью, которая встревоженно следила за перипетиями битвы.

Но сегодня большой серый сапог бесцеремонно смахнул забияку с крыльца, и тот, ошеломленный позором, заорал, запаниковал под хлевом и долго грозился, хотя никто не отвечал на его угрозы.

Грек сбросил пальто и шапку в сенцах, зашел в кухню. Кухонька маленькая, из нее же и вход в «залу». Строились лет пятнадцать назад, хата приличная, в четыре комнаты, хоть теперь на селе есть больше, лучше, в два этажа, с балконами, а то и с галереями.

Дом свой Грек любил, хоть и возвращался сюда частенько только к ночи,— вела хозяйство, скребла, мыла, а то и молотком стучала жена в извечной борьбе за чистоту и порядок, и борьба эта казалась нескончаемой и по большей части безуспешной, потому что собственное воинство не столько помогало ей, сколько мешало.

Василь Федорович наскоро поел и стал бриться перед круглым, в причудливой металлической оправе зеркалом. Зеркало, старое-престарое, купленное когда-то в антикварном магазине, помнило, наверно, сотни лиц — веселых, грустных, озаренных надеждой, увядших от безнадежности, в свадебных венках и в черном крепе, их давно уж нет, а зеркало все так же холодно отражает радость и горе; он об этом не думал, привыкнув принимать вещи только со стороны практической. Ни к чему, конечно, зеркал в доме столько, но и не удивительно, бабье понавешало: жена, две дочери, удочеренная племянница, он среди них — как будяк посреди клумбы. Хохотал до слез, когда впопыхах спрашивали у него: «не видала ли», «не брала ли» чего. И злорадно посмеивался, видя, что до времени снашиваются женины платья и туфли, но никто не посягает на его пиджак и сорок третьего размера ботинки. По правде, когда родилась вторая дочь, он слегка смутился, даже почувствовал некий стыд перед знакомыми, но это давно прошло, и иногда он даже с удовольствием отмечал, что не те с девочками заботы, как у некоторых соседей с сыновьями,— дочери его слушались и даже побаивались.

Бреясь, он видел в зеркале через окно заснеженный огород и в конце его, над оврагом, заметенный бурьян. На снегу подскакивали красноватые комочки, падали в бурьян, и тогда над будылями курилась белая дымка. «Те самые? Небось они».

Снегири прилетали каждую зиму. Жили они в лесу, синеющем на краю поля. И почему его всегда так сильно трогают птицы, почему? Может, потому, что они свободней всех и в то же время сильнее всех привязаны к родной земле: где их ни выпусти — летят на родину.

И снова на душе белизна и тишина, словно бы и там снега легли. И снова какая-то странная, похожая на радость тревога.

Василь Федорович не торопился. Перебирал в шкафу рубашки, галстуки, костюмы. Сначала хотел надеть новый, темно-серый в красную искорку, но поколебался мгновение и повесил обратно: слишком празднична эта искорка, слишком заметна — будет выдавать его. Надел коричневый, сшитый позапрошлой зимой. Несколько не по моде — даже для их района — долгополый и широкий, зато солидный и какой-то уютный. Или это только кажется, просто привык к нему: частенько ездил в нем на всякие заседания да совещания. Стоял посреди гостиной, завязывал галстук. И вязало их несколько отражений — новая полированная мебель повторяла его движения. Стараниями жены и дочек «зала» обставлена по-городскому, современно. Ни ковриков с лебедями, ни вышитых пионов в корзиночке перед лошадиной мордой, ни пирамиды подушек — толстый ворсистый ковер на полу, горшки с цветами, несколько репродукций на стенах, не дописанный заезжим художником из столицы портрет молодой Фросины — голова и плечи контуром, от чего тело кажется обнаженным, и жена, стесняясь, хотела портрет снять, но он не дал, очень уж красив этот набросок задорной Фроси, той, которую он любил и с которой ссорился, и очень уж знаменит теперь тот художник. «Помнит ли этот портрет? Нет, наверно. Вот бы поехать показать... Когда-нибудь, может, и вправду съезжу».

Украшением комнаты считалась и большая фотография в дубовой лакированной раме — выпуск агрономического факультета сельскохозяйственной академии пятьдесят восьмого года, где во втором ряду чубатых

голов просматривались и его залысины. Вторая академия, которую закончил Василь Федорович. Какая же дала ему больше? Первая — сельская, послевоенная, где было всего два академика — труд и сиротство, и одна форма — полотняная рубаша и военные, обтрепанные снизу штаны. Удивительно, что это воспоминание родилось после обозрения нескольких костюмов, без пользы висевших в шкафу.

Наконец он управился с галстуком, отступив, скользнул в зеркале взглядом по своей высокой, чуть сутулой фигуре. Только скользнул, не всматриваясь, знал, что ничего утешительного не увидит. Большая голова, грубые черты лица, большой нос, верхняя губа слегка нависла над нижней, лоб кажется прямо громадным от залысин на полголовы, остатки волос, как щетка, и брови жесткими пучками, и серые меняющиеся глаза — чего уж тут хорошего? Теперь ему сорок четыре, но он не застаивался перед зеркалом и в двадцать четыре. Да, собственно говоря, не до того было. Жизнь промелькнула, как тень в зеркале, и он не распробовал ее. Узнал себя только в одном измерении — в работе. Может, это не так уж и худо. Не так уж и худо, ежели...

И он еще раз поглядел в окно. Красные комочки все покачивались на гибких стеблях, и белый отсвет снова проплыл по сердцу. Такого с ним еще не бывало. Вот... петух на плетне и крадущийся след на снегу к вязу (он представил, как кот брезгливо отдергивал от снега лапки, и улыбнулся) — вещь обыкновенная, и воробьи у обливной миски с обсевками для кур, и даже две горлицы, которые прилетают часто и сделались совсем домашними. А эти красные комочки, и эта белизна в душе, этот теплый свет... Опять неведомое до сих пор чувство охватило его. Оно говорило о неких изменениях в нем, о чем он раньше не догадывался, считая, что человек, словно камень, всегда одинаков, а выходит не так. И камень может лежать на дне криницы, стоять памятником или молоть зерно... «Наверно, старею», — подумал он и сердито пожал плечами. Но сердился не по-настоящему, а будто для кого постороннего, кто мог видеть его в эту минуту.

И вдруг заторопился. Вспомнил, что должен пойти на новоселье к Тищенко, завгару, надо купить подарок (ох, эти подарки нынешние, не хочется в гости ходить, выпендриваются друг перед другом, хотят всех пере-

щеголять, за керамику десятирублевую обсмеют), жена намекала на люстру. Что ж, люстра так люстра...

Люстру на пять плафонов купил в районном универсаме, пристроил на заднем сиденье, понесся к райкому. Когда, немного запыхавшись, вошел в приемную, большие квадратные часы с черным циферблатом показывали без пяти три. Миниатюрная немолодая секретарша с серым, нездоровым лицом сказала:

— Уже спрашивали...

Он молча показал на черный циферблат, и она исчезла в кабинете. Через минуту вернулась, оставила дверь отворенной, кивнула. Василь Федорович в этой спешке растерял все прежние мысли и не успел настроиться на определенную волну, поэтому, входя, невольно почувствовал себя просто и деловито, как на любом заседании в райкоме.

В кабинете собралось почти все бюро райкома. Смотрели на него то ли пристально, то ли любопытно, и это насторожило Василя Федоровича, толкнуло тревогой. Никто не поздоровался с ним за руку, не послышалось и обычного в таких случаях: «Вот он, именинник». А потом в глаза бросился свободный стул, который стоял на отшибе от остальных, возле приставного столика, все указывало, что на этот стул должен сесть он, и Василь Федорович, почему-то громко вздохнув, сел. Только теперь заметил он на том же приставном столике кузовки, корзиночки, коробочки — из лозы и корья, из дерева, резные, разрисованные, разукрашенные, они должны бы радовать глаз, но вместо этого встревожили. «Красивая продукция», — попытался подшутить над собой и перевел взгляд в угол, на стальной сейф, где возвышалось несколько снопиков пшеницы и ржи. Поглядел не случайно: самый большой и привлекательный снопик озимой — с его поля. Грек словно бы искал себе поддержки и направлял в нужную сторону внимание других. Стоял на сейфе и еще один снопик, на котором он всякий раз задерживался взглядом, а то и подходил, брал в руки. Даже не снопик, а пучок арабской пшеницы, которую Ратушный привез прошлый год из путешествия на Ближний Восток. Колосья — будто палки, и усы длинные и черные как смоль, — необыкновенное сочетание, необыкновенная красота, притом и стебель белый и крепкий, без дырочки. Такой выстоит

в любую непогоду. Его всякий раз почему-то цепляли эти колосья, уводили куда-то мыслями, и замечал он, что не только его, а и Ратушного; они никогда не говорили о черноусой пшенице — да и что тут говорить: она для юга, почти для тропиков,— и все-таки объединялись на этой мысленной параллели. Да и не только на этой. Но вот к чему разрисованные корзиночки?..

Начал Борис Ларионович Дашенко — второй секретарь райкома. Как всегда коротко и сжато, оперируя только фактами. Еще совсем молодой — года тридцать два, от силы тридцать пять, во всем точен, скуп на слова, немного, правда, резок. Ладен с виду, аккуратен, чисто выбрит, костюм сидит на нем, как военная форма, шаг чеканит тоже по-военному, это, собственно, и не удивительно: Дашенко окончил танковое училище, но какой-то винтик в его здоровом организме закручивался не до конца, списали, переквалифицировался на сельского механизатора и уж другой год работает вторым секретарем. Василь Федорович знал, что второй недолюбливает его. Пытается быть объективным (он и вправду объективен во всем, объективен до сухости), но недолюбливает. И кто знает, за что. А может, как раз за это... За грековский волюнтаризм, как он выразился однажды? («Слово-то какое выколупал», — смеялся и слегка сердился Василь Федорович.) За привычку ходить прямым, ни у кого ничего не спрашивая, за хитроватость и скрытность (тут он кое-что угадывал, а кое-что нет), за ироничные реплики на заседаниях, которые воспринимал как подстрекательство. А может, и не за то. Ведь порой люди не нравятся друг другу с первой встречи, с незначащего первого взгляда, с какого-то случайного слова.

Дашенко рубил: райкому стало известно, что в колхозе «Дружба» на протяжении многих лет работает артель художественных промыслов, это разрешено законом, но изделия не поступают в государственную торговую сеть, а распродает их колхоз сам в дальних населенных пунктах по спекулятивным ценам («Хороши, так и цены высокие, а как же ты думал, пусть умоются портачи из районного комбината», — ответил мысленно Грек), что председателя «Дружбы» уже предупреждали за эти штучки и что этому надо положить конец. Дашенко спросил, где артель берет материалы, и Василь Федорович ответил: «Четыре деда летом рубят лозу,

а два — дерут лыко». «Будет на вид...» — подумал он и потер пальцем тяжелую лохматую бровь. И отложил в памяти: не забыть, когда дадут слово, тоже так, констатируя, сказать, что в их колхозе не отлив, а прилив рабочей силы и что зимой у людей нет заработка и он вынужден где-то искать его. Хотя, разумеется, все, кто сидит здесь, знают об этом без его объяснений. Он не волновался: на вид или выговор — кто из председателей без этого ходит?

Но выступил Куница, начальник райсельхозуправления, и все перевернулось в голове Василя Федоровича, и он понял, что дело значительно хуже, а по какой причине, не мог сообразить: это и пугало и злило его. Начав с корзинок, Куница перекинулся на удобрения, которые председатель «Дружбы» вывез со станции: некоторые колхозы не смогли вовремя забрать («А надо, чтобы забирали вовремя», — это Ратушный), вот станционное начальство, которое только тем озабочено, чтоб не простаивали вагоны, и звонит Греку, а у того машины всегда на подхвате. Дальше Куница упомянул, что в «Дружбе» пренебрегают севооборотом («Из-за этого и урожай самый высокий», — это Василь Федорович), собираются совсем от него отказаться, пренебрегают старыми добрыми традициями. Словом, начальник сельхозуправления катил на него, Грека, бочку. Это сначала удивило Василя Федоровича, а потом возмутило. Гнев заклокотал в нем, вызвал не свойственную ему высокомерную, почти хищную усмешку, которая могла не понравиться кому угодно. Не только потому разозлился Грек на Куницу, что тот выкладывал факты, которые мог и попридержать, и не потому, что тот собирал и таил их и держал наготове, а скорее всего потому, что недели две назад, после перекрестного рейда по проверке готовности к севу, сидели они в уютном кабинетике «Осенних кленов» и пили «Черниговскую» и пивко под жареную рыбу, и закусывали кровяной колбасой и куриной печенкой, и слегка пошучивали, ибо собрался за столом сплошь лысый народ, а больше всех шутил и смеялся Куница.

Теперь же в его голосе было нечто, указывающее не только на его ретивость перед лицом начальства, а и на искреннюю радость, что может он приложить этакое вот вертуна, на желание унижить председателя, выбить из-под него опору, пошатнуть.

Василь Федорович слушал начальника управления и не мог забыть его другого — мягонького, кругленького, с угодливой усмешкой на почти женских, пухлых губках, с гипнотическими прикосновениями, который считал его, Василя Федоровича, почти приятелем. Выпив сверх меры, выворачивал душу, похвалялся, подмигивая, что имеет справную молодку в Лесном, смешил анекдотами, да еще и довольно солеными, бросал критические фразочки по поводу начальства.

Теперь Грек видел его как бы в двух измерениях. В одном — здесь, на службе, на всяких официальных заседаниях, — неподкупный, честный, бескомпромиссный, он произносил высокие слова, служил великим истинам, был беспощаден к любым ошибкам ближнего, в другом — алчный, брюзгливый, расхристаный, не в ладу с самим собой, запанибрата с председателями колхозов, любитель рюмки и отменной закуски. Поняв это, Василь Федорович удивился: тогда где же Куница настоящий?

Становился на короткую ногу, напрашивался ему, Греку, в друзья Куница не из какой-то особенной симпатии или доверия (это Василь Федорович знал наверняка), а учитывая приязнь к председателю «Дружбы» первого секретаря. Эту приязнь, даже восхищение Ратушный глубоко припрятывал, и немного людей догадывалось об этом. Куница уловил ее в глазах Ратушного, в еле заметных интонациях. Никогда Ратушный не хвалил Грека больше других председателей, никогда не видел их вместе на охоте, на рыбалке, за рюмкой, а вот Куница угадал правильно: было между ними что-то хоть и скрытое суровостью и деловитостью, но большее, нежели просто уважение. Вроде и не было ничего — оно держалось на невидимых тонких нитях, угадать какие непросто, соткало из них всю атмосферу отношений — уже не как секретаря и председателя... а, может, именно как секретаря и председателя, людей сдержанных, озабоченных, которых вдобавок трудно растрогать, которые, каждый со своей стороны, боялись сделать шаг навстречу, нарушить нечто необъяснимое, хотя и понимали, может быть, что обкрадывают себя.

Теперь Василь Федорович не мог не подумать об этом: Куница — мужик таковский, учитывает все, по собственной инициативе он бы на него не навалился. Да и не настолько он мудрый, чтобы жить своим умом, и не настолько глупый, чтобы высказать свое мнение,

если оно у него и есть. Он уже давно привык выражать только чужие мысли и подстраивать свое настроение к настроению начальства. Что же означает его выпад? И Василь Федорович настороженно взглянул на Ратушного. Тот сидел спокойный и, как всегда, сосредоточенный, слушал Куницу.

— ...Часто имеет над нами силу и прошлое. Мы думаем, оно уже растаяло, сгорело, а оно у нас за спиной, шепчет, подталкивает...

Это уже был прием недозволенный! Куница не говорил прямо, но намекал на то, что и вправду было будто в тумане, жгло Василя Федоровича, как рана, для которой нет лекарства, мучило и терзало всю жизнь.

— Вот тут письма. В них сказано, что отец Василя Грека...

— Не надо,— поморщился Ратушный.

«Ах ты, паскудная лепешка,— не сводя взгляда с начальника сельхозуправления, скрипел зубами Грек, от его лица отхлынула кровь, остро заблестели скулы...— На что же ты надеешься? На мою порядочность? А твоя?.. Вот встану сейчас и спрошу: а какой анекдот рассказывал ты мне в субботу про Дашенко? Что тогда? А что?.. Открестится. Скажет — поклеп. Именно так. Еще и очернительство пришьет...» Грек знал, что не скажет про анекдот по другой причине, чтоб не сравняться с Куницей, не потерять уважения к себе.

Он чуть не застонал: так промахнулся, не разглядел Куницу раньше! А были ведь намеки. Хотя бы и тогда, в кафе, и гораздо раньше... Именно из его рук Грек принял «Дружбу». Колхоз тогда считался средним, цифры были приличные, но что пряталось за этими цифрами, по-настоящему знал только Грек. И, ясное дело, Куница. И только теперь осенило Грека: все эти годы Куница ревновал его к бывшей своей председательской должности. Не мог смириться, что кто-то хозяйствует лучше, что не покатылся по его дорожке. А теперь гнилая торба прорвалась — и из нее посыпался мусор. Он ставил Греку в вину то, за что недавно хвалил.

— ...Правильно когда-то сказал Борис Ларионович — это волюнтаризм, а я бы еще добавил — удельный феодализм. Как хочу, так и ворочу, не признаю никаких законов. Хочу — плачу полторы ставки, а хочу — две.

«Это же только первые годы и тем, кто вернулся из армии и остался в селе после школы... Поэтому у меня

и людей столько, дурак ты непроходимый». И сразу подумал, что Куница знает и об этом и, видать, причина другая.

А Куница разглагольствовал и как бы отгораживался от него, Грека, он как бы доказывал самому Василию Федоровичу, что ничего общего между ними нет, не было и нет и Греку не на что надеяться. Он держал его на расстоянии, уже не пытаясь сократить его, как тогда, в кафе, до пьяного поцелуя.

«Вот гад... Вот шкура... на обе стороны дубленая», — плевался мысленно Грек. Понимал, что надо молчать, что-то подсказывало ему: вся ситуация не в его пользу, любое слово вызовет возмущение, упадет, как брошенный вверх камень, на него же. Но и сдерживался через силу, думал, что же сказать в ответ. Какой линии держаться ему вообще? Прикинуться, что не знал... Сыграть растерянность, смущение... Другие так делают, изображают жалких, несчастных, это нравится кое-кому, кто решает судьбы или хотя бы смягчает их.

Он этого не умел. Хотя и понимал, что, может, один разок и надо бы покривить душой. Терял слишком много. Или уже, может быть, потерял? Наверно, да... С чего так обнаглел Куница? И почему его никто не одернет?

Откинувшись на спинку стула, легонько постукивал пальцами по столу Ратушный. Значит, волновался и он. А если начнет покашливать — так это уже предел волнения, гнев. Иначе он себя не проявляет, никогда не срывается на крик, не опускается до обид, угроз, только вот это легонькое постукивание согнутыми пальцами и легчайшее покашливание — словно бы предупреждает: пора, мол, остановиться, зарываться дальше негоже.

Куница приумолк, копаясь в бумагах, и в кабинете наступила тишина. Тяжелая и вязкая, даже ломило в ушах. По ней Грек еще раз определил серьезность ситуации. Понял и то, что кое-кто здесь ему сочувствует, волнуется за него.

Но головы не поднял, сочувствия не ловил. Злость сжимала горло. Снова уставился на Куницу, глаза — как вилы-двойчатки, пронзил ими, пригвоздил, и тот наконец не выдержал, опустил взгляд. Но от этого обозлился окончательно и даже говорил, как с горы камни катил: боялся глянуть, что они там творят, и яростно катил.

Василь Федорович демонстративно отвернулся к окну, всем своим видом показывая, что ему уже все равно. Только раз, когда Куница вякнул что-то про пруды и про рыбу, которую будто бы выловили и продали до времени, бросил:

— А чем же ты закусывал в нашем кафе? Хеком?!

Это был, как говорила в таких случаях Грекова жена, трюк, но его и приняли как трюк. Грек почувствовал общий холодок, озлился уже на всех, и не было силы, которая в этот момент могла вернуть его к спокойному, трезвому осмыслению, признанию того, что справедливо, и отрицанию несправедливости. Если правда на стороне Куницы, если он, Грек, таков, то чего ж терпели до сих пор, чего молчали, для чего... водили за нос и две недели назад заставили заполнять анкеты?! Хотелось встать и уйти... Кого это распекает и поучает Куница? Его, Грека, у которого урожайность самая высокая в области, у кого на ферме полторы тысячи коров, у кого льны — как синие реки...

— Пренебрегая вековой хлебоборобской традицией, выработанными научными институтами рекомендациями, параграфами и пунктами инструкций,— вкрадчиво излагал Куница,— Грек сеет жито по житу, кукурузу по кукурузе, экспериментирует, как хочет, словно земля — его собственность. Экспериментирует, рискует, и никто не схватил его за руку, не поставил на место... Пока ему просто везло, но не надо быть пророком, чтобы заметить: «Дружба» идет к краху. Если выпадет засушливый год, крах наступит уже нынешней осенью.

Василю Федоровичу казалось, что в его душе ворочаются тяжкие жернова, скребут один по другому, сталкиваются, останавливаются и раскручиваются снова. Куница говорил не то чтобы слишком резко, а как-то пренебрежительно, обидно, и Грек и вправду чувствовал себя обиженным донельзя, и вдруг совсем неожиданно и не к месту ему подумалось, что его, отца троих детей, которые любят его, верят ему, почитают, распекает и сечет, как школьника, лицемер и бездельник. И когда Куница снова намекнул на темное прошлое грековской семьи, Василь Федорович невольно вскочил, и все пораженно поподнимали головы, а Куница запнулся да так и стоял с открытым ртом. Такого ему не приходилось видеть. Такого не ожидал от себя и Василь Федорович. Это опрометчивое, как толчок, движение он

потом вспоминал много раз, чуть-чуть жалел, но больше симпатизировал себе, а в ту минуту заставил... да, заставил считаться с собой. Куница смешался, сел, и сразу же сел и Василь Федорович, крепко сцепив на коленях руки, чтобы не сорваться окончательно.

Потом выступали другие члены бюро, уже не так, как Куница, вспоминали, чего достиг колхоз благодаря энергии своего председателя, его сметке, заботам, но указывали и на другие грехи, без которых председатель не председатель и которых, как пошутил редактор районной газеты, не имеет только господь бог, поскольку должность его невыборная. Несколько человек высказались против Грековой хлебоборобской системы, его «экспериментаторства», кое-кто ее не принял, кое-кто остерегал на всякий случай.

Грек уже почти никого не слышал. Громадные камни в груди остановились, не скребли больше, но он чувствовал их тяжесть, и свою изломанность, и разрушение чего-то, чем для него сегодня светился день, предвещающая много тепла и радости в будущем. Он еле верил тому, что стряслось, оно казалось ему чуть ли не розыгрышем. Греку не раз доводилось присутствовать на таких вот строгих обсуждениях, но он никогда не допускал и мысли, что сядет на этот стул сам. Еще ему подумалось, что разговор могли бы отложить на неделю-другую... За всем этим он почти забыл суть дела, свою вину. Нельзя сказать, что он отметал ее. Совесть ему всегда подсказывала, где он шел обходным путем, но Василь Федорович убедил себя, что маленькое нарушение компенсируется добром для многих, а что концы не совсем сходятся, так стоит ли обращать внимание.

И именно об этом заговорил Ратушный. Он выступал коротко, как Дашенко, тоже по-деловому, но не так. Не то чтобы мягче, а, пожалуй, убедительней, или, может, с ближней дистанции. («Мне жаль, что это случилось сейчас, в такой момент... но так уж случилось».) Словно слегка извинялся перед Василем Федоровичем или звал его к наиболее возможной в его положении внимательности и трезвости. Он сказал, что своего мнения о председателе «Дружбы» менять не собирается, что колхоз этот передовой и хозяйствует Грек по-новому, по-современному («Кукурузу по кукурузе? Но сначала — вику и ячмень на зеленую массу,

а осенью — рапс. Такой севооборот во времени под силу только крепкому хозяйству»), но и нарушать законы не позволено никому; что по поводу этих вот корзинок пришла острая жалоба из соседней республики, из соседней области — Гомельской («Так вот где собака зарыта»), и что умеет Грек поживиться за счет других, прямо скажем, нерасторопных хозяев, о чем его уже предупреждали не раз, как и об иных злоупотреблениях.

Когда Ратушный напомнил о предупреждениях, он с минуту помолчал, на его полном продолговатом лице со шрамом на подбородке появилась тень, похожая на тень облака, и промелькнуло что-то в глазах, что — Грек не угадал да в ту минуту и не старался угадывать, и предложил объявить Василию Федоровичу выговор. Так и проголосовали все, только Куница и прокурор — за строгий. И Грек опять услышал, как ожила, тяжело зашевелилась в нем обида, и почувствовал себя оглушенным и как бы ошельмованным, и когда Ратушный спросил, не хочет ли он чего сказать, Грек, уже зная, что ничего не поправишь, и почти не владея собой, непримиримо уперся взглядом в мягкое, одутловатое лицо Куницы:

— Я слыхивал о древнем обычае, по которому осужденному четверть часа разрешалось ругать своих судей.— Интуиция подсказывала ему, что он лепит несусветицу, что за это можно поплатиться, но его несло к обрыву, ему уже и хотелось поплатиться; но с поправкой на Ратушного он добавил: — Конечно, не подумайте чего... Тут не суд... И я не в том смысле... Вы же знаете, я не по злему умыслу... Но для одного из вас зарезервирую эти пятнадцать минут на будущее.

Он уже не видел, как развел руками Куница, словно прося защиты, как помрачнел Дашенко, и Ратушный, жестко дернув ладонью по раздвоенному шраму подбородку, вроде хотел остановить Грека, но не остановил.

Василь Федорович шел, сутулясь больше, чем обычно, и оранжевый ковер под ногами пылал угольями. И по ступенькам спускался не как всегда, слишком твердо ставил ноги, сильнее опирался на бетонные перила, и не помнил, как садился в машину, как включал зажигание. Он забыл разогреть мотор, тот раз а три

заглох, Грек нажал на акселератор, «Волга» взревела, как трактор, и, волоча за собой тяжелый хвост дыма, рванула по улице.

Тогда он еще не знал, что для него день не закончился, что та минута потянула за собой цепочку подобных. Гнал машину, словно хотел разбросать по дороге, развеять на резком, кинжальном ветру обиду, тяжелую горечь, которая клубком стояла в горле. На мгновение его досада и гнев как бы пригасали, мысль отвлекалась на придорожный предмет, на встречную машину, потом в памяти проступали слова, услышанные недавно, они были живые, шевелящиеся, и вновь он невольно нажимал на акселератор. Правда, время от времени срабатывал и некий тормоз, он знал, что нельзя так отдаваться дикому порыву, косил глазом на спидометр и расслаблялся. И тогда сами собой слабели тугие струны внутри. Так он и мчался наперегонки с гневом, с ветром, который завывал все сильнее, мчался, не обращая внимания на красные сигналы, которые фиксировал сознанием. И потому не удивился, когда его остановил милиционер.

В другой раз Василь Федорович вышел бы из машины, пошутил бы («Такая проклятая служба у нашего брата, председателя, летишь, как дурак с горы»), пригласил бы на арбузы или яблоки, похлопал бы по плечу и отделался нотацией или рублевым штрафом, но теперь он ждал в машине, подал в окошечко права, и сержант пробил в талоне дырку. Грек снова вскипел, почему-то особенно обидным показалось, что дырку пробил не майор, не капитан, даже не лейтенант, а младший сержант, щеголь в белом полушубке, с планшетом, все вертел шеей и поправлял воротничок, еще и зыркнул на себя в его, Греково, зеркальце на машине, и Грек сказал ему что-то обидное, а тот пообещал подать жалобу «куда следует», хотел было задержать, но права уже были у Василя Федоровича, и он включил скорость. Про милиционера забыл, как только его фигура растаяла на дороге, и дальше вел в мыслях тяжелую битву с Куницей, с выговором. Тех надежд, которые этот выговор перечеркивал, и в мыслях не касался, отодвигал в закоулок, хотя знал, что потом они сами напомнят о себе — и обдаст его досада, скрутит тоска, поэтому сейчас все сильнее пронимала злость на начальника райсельхозуправления. «Пускай даже я

пойду свиней пасти... Но и оттуда достану его герлыгой...» И вспоминал все, что знал о нем, что хоть случайно влетело в ухо, и, опаленный злостью, по-новому рисовал его облик. Куница — цветущий мужик, остряк, вечно скалящийся оптимист. Его оптимизма не сломили ни уход первой жены, ни тяжелая болезнь и смерть второй, он знай улыбается и всему радуется. И кто знает, что такое его улыбка — солнечный зайчик от разбитого зеркала или бледный лунный луч, отраженный от консервной банки? А его оптимизм — радость от всего сущего, или забывчивость, или... что-то гораздо худшее? Он любит музыку и даже, как признавался, в молодости писал стихи. А как он ему рассказывал о женщине из Лесного! Нет-нет, это его настоящая любовь. Его глаза горели жаром (небось чесанул в ее честь десятков стишков), он расхваливал ее доброту, ее душевную щедрость и другие достоинства: «В постели она совсем юная», — только забыл, что у нее есть муж, а у него — двое детей, которых он отвез к своей матери и не навещал по полгода.

Грек споткнулся на том, что подбирает один к одному грехи Куницы, словно составляет на него донос, и опомнился. Переключился на другое: такой человек ни с того ни с сего вызова не бросит, есть у него для воинственности, для нападения какая-то платформа. Значит, этим выговором дело не кончится... Пойдут комиссии, проверки.

И сразу он нажал на тормоз, машина пошла юзом. Да как же он забыл! Выговор — это одно, а нападки Куницы — другое. И причина здесь другая, значительней и важней. Неделю назад Грек выступил на совещании и сказал, что время неумолимо требует менять методы хозяйствования, «включать новую ступень и выходить на новую орбиту, иначе мы пойдем по кругу». Село надо переводить на рельсы индустриальные, а для этого следует менять и методы руководства сельским хозяйством.

Наверно, Куница принял это как критику в свой адрес. Наверняка так. Но ведь Ратушный не принял? Хотя кто его знает... Нет, он высказал согласие с ним, не тот он человек, у которого слово расходится с делом. Да и анкеты на Героя Грек заполнял уже после совещания. А вот Куница... Он тоже небось не против, чтобы колхозы положили на счет по несколько миллионов,

чтобы повысилась урожайность. Но он... он уже не сможет сделать рывок. Не сможет поменять мерку. Слишком мелок! Сжился со старым. Боится всего нового. Вон как напустился на его агрономическую систему. А что темпы роста колхоза сегодня явно отстали от заводских — этого не видит. И день грядущий его не волнует, сердце за него не болит. Для Куницы Греков призыв — блажь и чуть ли не подкоп под его должность... Итак, он только притворился, что не задет.

И снова Василь Федорович закипел. Выходит, нажил врага не в личном плане. А такие враги опасны. Опасны не только ему, они вредят делу. А как распинаются на всех собраниях!..

Не доезжая до асфальтовой дороги, которая вела в село (эта дорога — его маленькая, верней, немалая — гордость: прокладывали за свой счет, своими руками), Грек внезапно крутанул руль и свернул на старую дорогу, на Урвихвостовскую греблю, по которой теперь ездили только на телегах. Машину затрясло, сзади что-то забренчало, зазвенело, но он не сбавлял скорости и вот так, поднимая тучи снеговой пыли, влетел в село.

Во дворе под фонарем Василя Федоровича уже ждала Зинка — его младшая, шестиклассница. Чертова привычка, к которой сам и приучил — говорить правду, — была ему сегодня как дым в глаза: дуя на замерзшие пальчики и отводя глазенки в сторону, младшая поведала, что получила двойку. За ту самую задачу, которую решали они вдвоем. Он рывкнул на Зину, та заревела и пошла в дом. Только тогда вспомнил про подарок, вернулся к машине, полез на заднее сиденье и, догадываясь заранее, нащупал пакеты с черепками. Терпенье его лопнуло, он плюнул в сердцах, ворвался в сени, там было темно, и опрокинул ведро с молоком. Рванул на себя избыные двери и влетел, как на пожар. Влетел — и не мог сказать, ради чего торопился и что теперь делать.

Фросина Федоровна сидела перед зеркалом, укладывала волосы.

— Только и знаете... мазаться, размалевываться... Не хата, а модный салон. Лампочку не могут зажечь в сенях.

Жена оглянулась и пожала плечами. Это означало удивление и укор одновременно. Когда это она расслаживается перед зеркалом? Разве есть у нее время на

зеркала и косметику? Разве он забыл, что нынче они идут в гости?

Еще покрикивая на дочку, ощупывая пакеты с черепками, Василь Федорович мимоходом отметил, что все случившееся с ним час назад стало обретать иной смысл, но в тот момент эта догадка только сильнее распалила его.

— Тищенко уж два раза звонил,— сказала жена.— Говорит, все собрались...

В тот же момент затрезвонил телефон. Голубой пластмассовый аппарат звенел тонко, мелодично, настырно.

— Небось снова он,— кивнула Фросина, не поворачивая головы.

— И какого... ему черта... Взяли моду.

Он схватил трубку, потянул за шнур, и аппарат соскользнул с полированной тумбочки, загремел по полу, от него отлетел большой кусок, и закривуляло какое-то колесико. В трубке квакнуло и затихло. Грек присел на корточки, постучал по рычагу пальцем, но трубка молчала.

— Ну вот... Теперь звонить не будут. Оставят в покое. А что, разве я не имею права на отдых? Не имею, да? — порывался он с вопросами неизвестно к кому, и Фросина Федоровна снова удивленно посмотрела на него.

— Ты свою служебную злость оставляй там,— махнула она рукой,— в конторе. Домой не носи.

— А ты оставляешь? — вскипел он.— Тебя не тащат каждый вечер по вызовам?

— Это другое дело,— ответила жена.

— И никуда я сегодня не пойду,— гремел Василь Федорович.— В конце концов могу я хоть раз в жизни побыть дома, лечь по-человечески в постель, почистить.

Он и вправду решил не ходить в гости. Хотя, если сказать честно, любил посидеть в шумном застолье, по нраву ему были крестьянские кушанья, и ценил он ритуал и сам умел сказать красивое, приятное хозяевам слово. Он знал, как много значат для людей искренние, добрые слова, и при случае не скупился на них. Но сейчас душа у него была как выжженное вербовое дупло: не было там красивых слов и вообще ничего не было.

Грек отправился на кухню, налил из графинчика фужер водки, выпил, закусил тем же мясом, что и в обед (борщ разогревать не захотелось), и потопал сапожниками в спальню, забыв переобуться в домашние тапочки. Вернулся, сгреб со стола газеты и журналы, включил настольную лампу и улегся в постель.

Развернул книжку, уставился на страничку. Не читалось. Перевел взгляд на розу в углу, вечно цветущую розу,—девчонки привязали бумажные, очень похожие на настоящие цветы,—и почувствовал, что ему словно чего-то недостает, не может он ни на чем сосредоточиться. Всю дорогу торопился, казалось, вот приедет домой и обдумает все спокойно и сможет все разложить по полочкам. Но мысли расплывались, да и не хотелось теперь ничего вспоминать, а углубиться в чтение тоже не мог.

Фросина Федоровна постояла на пороге, вздохнула и молча пошла на кухню. За двадцать лет семейной жизни изучила мужа, знала, что теперь его трогать нельзя, что не надо даже ни о чем расспрашивать и, сохрани боже, успокаивать или сочувствовать. Пускай перекипит, пускай сам перетрет свою крутую злость, такое с ним бывает не часто. Да и она не имела привычки вмешиваться в его дела. Она не была похожа на председательшу — влиятельную первую даму на селе, к которой бригадирши бегают тайком просить за своих мужей, и хотя Фросина — властная и уверенная в себе, но крепка своей работой, своей должностью, а не женщиной. За его дела она только переживала. Фросина Федоровна не боялась его гнева, даже, напротив, сложилось так, что больше гневалась, поучала и бранила их всех она, «перегоняла на гречку», «устраивала стихийный бунт», как потом подшучивал он, и они боялись уронить слово, управлялись молча, торопились сделать недоделанное или переделать сделанное плохо, но отцовский гнев — это все-таки отцовский гнев, он настоящий, ибо настоящий у них отец, хотя немного и забавный, смешной, на их взгляд. Но смешной и грозный не в одно время.

Фросина давно научилась прочитывать настроение мужа по глазам. Точно угадывала меру, до какой можно его распечь, знала, когда надо успокоить, а когда и поругать. Это великая наука, и не все жены ею владеют. Она изучила его до тонкостей: уверенный в себе,

сильный, а в разных семейных разностях — при ссорах детей, при их болезнях — беспомощный, как ребенок. Порой и в других хлопотах, в отношениях с соседями, родственниками она сама становилась вперед, а его оттесняла за спину, и он покорялся.

Фросина Федоровна, как и большинство женщин, тянула семейный воз спокойно и привычно, в то время как он то мчал его, аж земля сотрясалась, то плелся, только придерживаясь за оглобли. Она же знала, что ей отпускать нельзя, что такая уж ее судьбина — тянуть без передышки. А потому и покрикивала и сердилась чаще. Но были в его характере такие крутые горки, против которых она ничего не могла. И тогда замолкала и ждала, пока распогодится у него на душе. Что ж, жаль, что они не пошли на новоселье, и завтра ей будет трудно оправдываться перед Тищенчихой, с которой они вместе работают в поликлинике, к тому же та — врачиха, а она только фельдшерица. И худо ей было еще и потому, что не могла не тревожиться о муже, ведь ни с того ни с сего он не вскипает, и теперь кто знает, когда он утихомирится. А ему не очень-то можно волноваться (да и кому можно?), это уж она знает как медик, пережив два его сердечных приступа.

В этот момент за ее спиной загремел смех. Могучий, шальной, дикий, он потрянул ее сильнее, чем крик или ругань, что-то было в этом смехе ненатуральное, пугающее, и она метнулась в спальню. Схватила за косяк и стала на пороге — Василь Федорович лежал в постели и хохотал так, что даже позванивали стекла книжного шкафа, стоящего в головах постели, он смеялся искренне и раскатисто и растирал кулаком слезы.

— Чего ты? — спросила она, слегка сердясь за свой страх.

— На, читай, — протянул он газету. — Надеялся спастись хоть тут. Выговор, дырка в талоне, разбитая люстра... Зинина двойка, телефон... Ну, думаю, денек... Хватит с меня. Уж тут, в постели, никто не догонит. А он догнал еще раз.

— Кто он?..

— Ну, день. Развернул газетку, нашу, районную, на последней полоске, где всякие смешинки, юморески да загадки. Думаю, дай повеселюсь. А там фельстон. Про коробочки, корзинки, то есть про всю нашу артель, за которую сегодня я схватил выговор. Да лучше не чи-

тай,— отобрал он газету.— Не остроумно, а как-то кисло. Ну и черт с ними!

— За что все-таки выговор? — осторожно спросила Фросина Федоровна.

— Да... Потом, потом,— нахмурился он, чувствуя, как что-то снова ворохнулось в груди, как горячая, едкая волна захлестнула его.

И может, впервые захотелось пожаловаться, попросить сочувствия. Рассказать, что должен был получить самую высшую награду (он сумел удержаться и ни словом не обмолвиться об этом Фросине раньше), хотя бы в ее, жениных, глазах побыть в этом ореоле, озарить и зажечь досадой, печалью по неосуществленному, что было уже почти осуществлено, ее сердце. Ведь так никто и не будет знать, что он почти побывал в Героях...

Сочувствия всегда искали у него, он к этому привык, а тут в нем что-то расслабилось, и, ощутив шаткость души, он рассердился на себя и одним махом вышиб из головы кисло-сладкие слова, и все видения, и желание рассказывать.

— А что,— свесил он с постели босые ноги с торчащими вверх большими пальцами,— может, пойдем?

— А подарок? — спросила она.

— Слышал я когда-то такую побрехеньку. Бедный студент, путевый парень врезался в генеральскую дочку, и она слегка того... влюбилась. И пригласила на свой день рождения. Сказала, что это весьма важно. Маменька, папенька — надо произвести впечатление. Студент бедный, но начитанный, знает, что будут там важные гости, будут дарить всякие штучки. А что он подарит? Нет, не вести ему в танце генеральскую дочку. Рубль у него в кармане. Вот так, горюя, от нечего делать забрел в лавку. А там разбили дорогую хрустальную вазу, черепки собирают. Он и говорит: отдайте черепки за рубль. Ему и отдали. Он пришел на бал, а когда дарил вазу, уронил ее. Будто ненароком. Зазвенел хрусталь, все охнули...

— Ты что, всерьез? — удивилась жена, зная, что от ее мужа можно всего ждать.

— А чего ж,— не моргнув глазом, ответил он.— Их же штук пять припрут, этих люстр, на что этим Тищенкам в их берлогу, хоть и двухэтажную, столько?

— Да это... позор. Нет уж, лучше останемся дома. Кино сегодня, пятая серия...

Грек рассмеялся, что жена всерьез приняла его байку, но разубеждать не стал.

Она же подумала, что не стоит им сегодня идти в гости. Василь Федорович вроде бы и успокоился, но кто знает, что у него на сердце. Выпьют как следует... А он такой, что под горячую руку... Нет, лучше не ходить.

— Кино такое интересное...

— Ну, смотри кино,— спрятал он ноги под одеяло.— Потому что вот еще... Я забыл тебе сказать: тот студент порядком осрамился — и все гости догадались, что он припер черепки.

— Каким образом?

— Продавец каждый кусочек вазы упаковал отдельно, а потом уж все вместе.— Он развернул журнал.— Твоя правда. Ведь день не закончился. Еще там что-нибудь стрясется. Потолок упадет или Тищенчиха на голове моей макитру разобьет... А ты знаешь, еще несколько таких деньков — и я начну гвозди перекусывать...

Как из темного омута, выплыло бюро, его собственные слова в конце, осуждающий взгляд Ратушного, и кровь прилила к сердцу: «Не надо бы так... Понесло против волны...» Но припомнилось выступление Куницы, и он тяжело стиснул поверх одеяла кулаки: «Ну и пускай. Чего мне пластаться. Он об меня ног не вытрет. И с пути не собьет».

Почувствовал, что его снова захлестывает злоба, побежал глазами по коротким строкам статьи, еще плохо понимая прочитанное, но решительно отбросил все, что с ним случилось сегодня. Через несколько минут он уже внимательно читал статью о машинном управлении производством.

Потом снова задумался. Не поймешь и о чем. Мысли текли словно сами по себе...

«С малых лет знаем, что все в жизни проходит, все не вечно. Но одно дело — знать, а другое — увидеть. Прежде всего по себе. Теперь я вижу, я смертен. Все проходит. И я уже прохожу. Может, именно из-за этого и хочется понять это вот, основное... Основное — что? Чье основное? Мое? Всех? Всех — нет, ведь много таких, которые этого не чувствуют и не могут чувствовать. И это хорошо. Да, хорошо, они молоды, и им еще надо народить детей, воспитать их, построиться — капитально построиться, сеять хлеб. Но... и мне еще тоже

растить хлеб. И детей. У меня основное уже обозначилось. Или наоборот, оно обозначило меня до конца, и это вот и есть основное...»

Василь Федорович удивился. Собственно, что за мысли? И чего он хочет? Ухватить знание, окончательное становление человека? Да, так. Теперь он понимал это ясно. Как и то, что сейчас, в это вот мгновение, не сможет продолжить, то есть закончить, мысли, потому что этого становления нет, оно исчезло после дня хлопот, забот, гнева и какого-то трудного сопротивления. Ему, видно, снова двигаться в путь. Но не в тот, вчерашний, а какой-то иной, за новым знанием о себе и своей жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Володя волновался, когда входил в этот двор. Волновался и робел он здесь перед всеми, начиная от Василия Федоровича и кончая котом, черным с белой грудкой,— перед ее котом, который, казалось, при его появлении начинал помахивать хвостом слишком быстро и как-то непочтительно. Сильней же всего он робел перед председателем, Лениным отцом; ему казалось, что серые, под тяжелыми бровями глаза встречают его на этом пороге только иронически; терялся и перед Фросиной Федоровной и перед Зинкой, которая всякий раз кричала: «Линка, к тебе снова этот, в сметану окунутый»,— будто у него не было имени или не было здесь его самого,— а потом время от времени заглядывала в Ленину комнату и рассматривала его, словно вещь, которую они все вместе должны приобрести. Только это, последнее, и нравилось ему в Зинке.

Но сейчас Владимир волновался сильнее, чем всегда. Позавчера в газете был опубликован указ о награждении его орденом, и хотя он догадывался— это ничтожно мало, а то и совсем не приближает его к Лине, все-таки на что-то надеялся, ждал первых слов, которыми девушка встретит его. Может, и пошутит, но и ее шутки ему приятны.

В кухне у плиты возилась Фросина Федоровна,— она заменила Лине мать; ей самой кажется— заменила с лихвой, все трое детей одинаково ей милы и не обойдены лаской, по крайней мере она старается, чтобы Лина не ощутила разницы в отношении к ним. Лина— пле-

мянница Василя Федоровича, родители погибли: возвращались в воскресенье на колхозной машине с базара, подвыпивший шофер забуксовал на железнодорожном переезде и не успел проскочить перед тяжелым товарняком. Лине тогда было два года...

В ком Володя встречал искреннюю приязнь, так это во Фросине Федоровне. Она и сейчас улыбнулась ему от плиты, показав синими глазами на дверь:

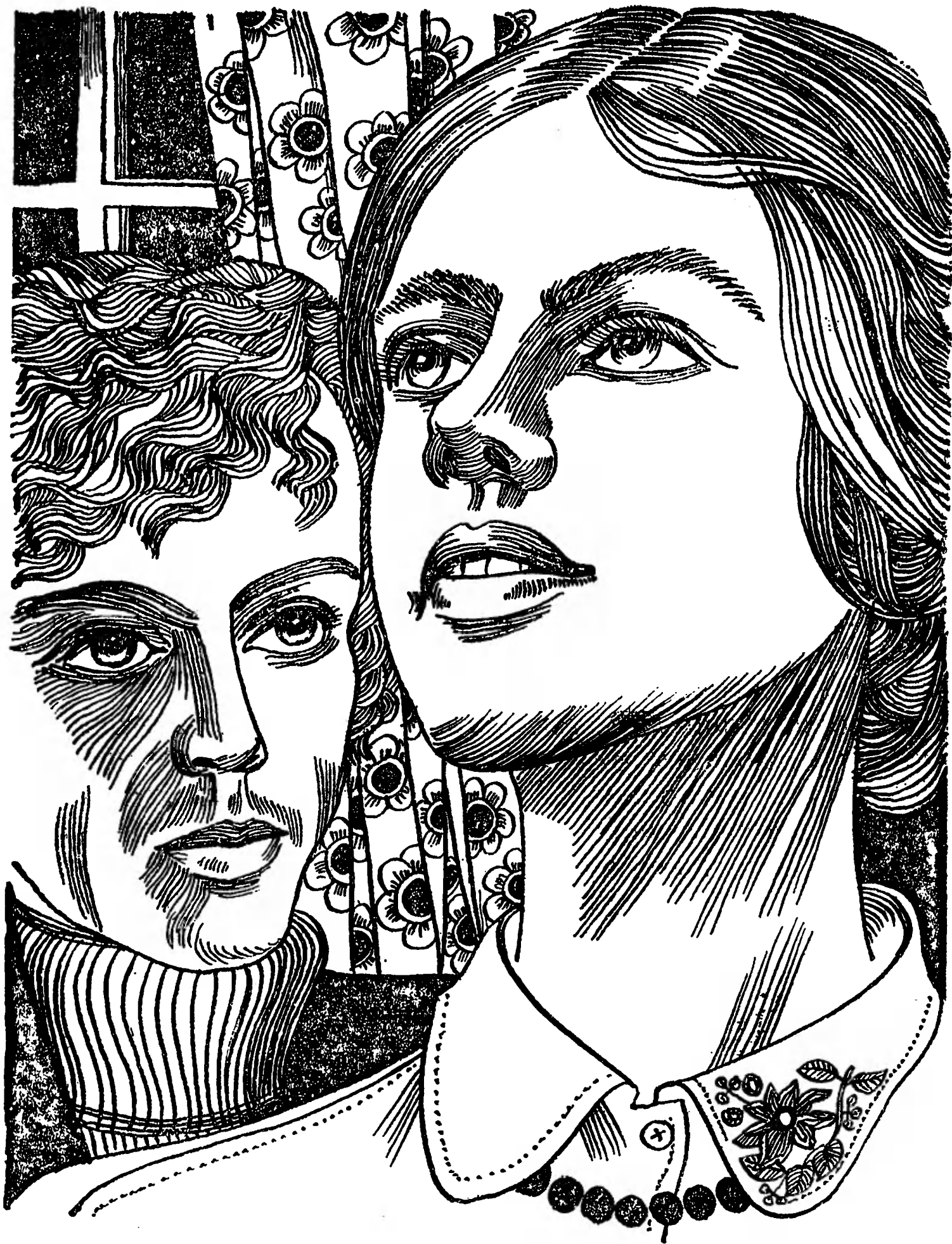
— Заходи, Лина сейчас вернется.

Она смотрела на него как на зятя, на возможного зятя, на неплохого зятя. Конечно, ей, современной матери, хотелось бы зятя иного, ученого и почему-то из других краев. Чтобы явился — и все заохали, и приехали бы сваты: сваха, конечно, пышноватая и гордая, но ведь и они не лыком шиты, и у них дочь как цветок, и есть где принять гостей, чем угостить, чтоб знали — здесь любят девушку, как родную. Это была не мечта, а нечто такое, что она сама назвала бы фантазией, материнской фантазией, но Фросина Федоровна давно примирилась и с Володей, парень он сам хороший, работающий, вырос на беде и на воде, до смешного влюблен в Лину. А она, Фросина, не такая, как разные пышные да гордовитые родители... Сколько они сейчас разлучают детей! Вон в газете, где все для точности переводят на цифры, как-то писали — двадцать пять процентов разводов. И пускай Володя — тракторист, окончил только десять классов, да и то с горем пополам, вечерних. Не за кем ему было учиться, отец умер от фронтовых ран, мать хвора, у Фросины Федоровны и посейчас в памяти: едет по дороге бестарка, и все думают, пустая, лошади сами ушли от амбара, а как поравняется — белеет в ней головонька, как сметаной облитая: Володька едет за зерном. Нынче можно прожить и без учености, работающими руками, небось и еще лучше, чем с этой куцей инженерской зарплатой и бесконечными хлопотами.

Лина — девушка не простая, она тоже с «фантазией», собирается поступать в институт на заочное, Володя любит ее тихо и преданно, значит, помехой ее учению не станет и вообще будет под ее началом. Оно, может, и рановато Лине замуж, пускай бы погуляла, но ведь в хате еще две девки, и старшей из них, которая пошла по материнской линии — заканчивает медицинское училище, — восемнадцать. Всего годом моложе

Лины. Тем не менее Фросина Федоровна твердо избегала судачить с соседками про Ленино замужество, чтобы не подумали, будто торопится выпихнуть из хаты неродную дочку. И вправду, чего ей торопиться? Лина — девушка послушная, способная к работе, хорошее дитя. В глубине души Фросина Федоровна не могла не признать, что Лина и трудолюбивей, и способней ее родных дочерей, и дальше их заглядывает в жизнь, чуткая и зоркая Лина.

Фросина Федоровна не смела на нее прикрикнуть, поругать даже за дело: боялась людской молвы и вовсе демонстрировала единство и сплоченность семьи, дружной и на самом деле. Она не могла не заметить и привязанности Лины к младшей, Зинке («Уж так ее ласкает, такая меж ними дружба!»), это была ее особая гордость, особая радость. А Зинка так и липла к названной сестре. Соединяя в мыслях Владимира с Линой, Фросина мало надеялась на счастливый итог своих стараний. И не только потому, что Володя невидный собой — длинный, худой, громадные ноги (чего Лина даже стыдилась), большие руки, чересчур большие, и если бы не его сила, он был бы смешон; Лина, наоборот, почти красавица, и мать это хорошо понимала: высокая и статная, ноги у нее стройные, сильные и покрестьянски сильное и налитое тело, а головка маленькая, больше подходит к сложению хрупкому, деликатному; эта вот маленькая, изящная головка с черными волосами и черными бровями удивительно сочеталась с ее твердой походкой, грациозной уверенностью, решительной повадкой, выраженной и четким рисунком рта, и открытым взглядом больших темно-синих глаз. Есть в ней что-то притягательное, парни и боятся спугнуть ее покой, и мечтают об этом. Но, наверно, не Володе смутить этот покой и эту уверенность. Слишком уж он... размазня, теряется и робеет перед нею. Не хватает характера? Нет, Фросина Федоровна угадала его особую деликатность, даже стыдливость, которая по большей части живет в таких больших, сильных людях. Они словно стесняются своей силы, чтобы ненароком кого не обидеть, и на них часто ездят людишки мелкие и хитроумные. Сильные взрываются, если их довести до края, и тогда не помнят, что делают, давят и крушат все на своем пути. Их легко обмануть, но если они разгадают обман, ничто не спасет обидчика. Они, как пра-



вило, женятся по любви, во всем потакают женам, а когда их допечет, берут шапку и отправляются дело делать.

Если бы Лина вышла за Володю, он бы пылинки сдувал с нее, носил бы на руках, почитал тещу да тес-
тя, и не было бы для Фросины с Василем Федорови-
чем более желанного зятя.

Фросина Федоровна слегка даже сочувствовала Володе в его безответной любви. За дочкой ходило немало парней. Были среди них и опытные кавалеры, один даже разведенный, некоторые соседки стали было нашептывать ей, матери, по секрету всякое, но Фросина Федоровна почему-то не боялась за девушку. Может, потому, что с иронией и пренебрежением рассказывала Лина про ребят, которые ее провожали, она как бы изучала их, исследовала и хоть и была живой да доверчивой, но недоступной. «Ох, будет кому-то морока...—вздыхала мысленно Фросина Федоровна.—Кому-то — и мне тоже. Разве что... такой, как Володя... Этот будет терпеть».

— Ты ей не потакай... и в подкидного когда играете, и вообще,—говорила она.—Такой парень, такой трудяга... Вон, орден дали. И правильно дали. Заслужил. Не поддавайся ее капризам. Будь посмелей... Чего глазами хлопаешь? Я тебя не нахальству учу. А только... Пусть зауважает. Верь мне, я знаю.—И поглядывала заговорщицки.

Володя краснел, опускал глаза. Наверно, тетка Фросина подсказывает ему от чистого сердца. Помнит все это по своей молодости. Говорят, крутила парням головы. Она и теперь еще хороша, хоть и раздобрела в последние годы, и кто знает, от чего,—вертится с утра до ночи, как муха в кипятке. Но... ей легко говорить. У него прямо застряли в голове сказанные сегодня дядькой Климом слова: «Врезался наш Володька в звезду, узнает почем фунт лиха». «Врезался в звезду...» Почему в звезду?.. Дядька Клим — бывший моряк, и все у него моряцкое. Тревожат Володю его слова, в которых и особая красота, и особый намек.

Володе и приятно слушать Фросину Федоровну, и чуть неловко, хочется что-то сказать, и не знает что. Он молчит, трудно вздыхает, переступает с ноги на ногу. И Фросина Федоровна выпроваживает его в «залу».

Сев у окна, которое выходит на улицу, он старается не пропустить Лину. Мороз разрисовал стекла причудливыми папоротниками, виданными только в книжках тропическими растениями, он продышал в этих джунглях дырку и следил за улицей. На яблоне напротив окна висела кормушка (наверно, от Зинкиных щедрот, а может, и Лениных), возле нее вились голодные птицы. С полдесятка синиц тюкали тонкими клювами в мерз-

лый кусок сала, потом прилетел воробей, толстый, нахальный, устроился возле харчей, хищно разинул крепкий клюв, и синицы, даром что разбойницы, порхали вокруг, жалобно и панически пищали, но подступить к салу не смели. Налетали сверху, дрожали крылышками, угрожающе топорщили перья, но воробей был не из пугливых. Володя так засмотрелся, что не заметил прихода Лины, и вскочил уже от стука дверей и от ее возгласа:

— Кавалерам привет!

Он не сообразил в первый момент, о чем это она, и покраснел до ушей.

— А чего же не при параде? Я думала, ты засияешь на всю хату,— бросила она, расхаживая босиком и заглядывая под стулья: разыскивала тапочки.

— Ну... Чего издеваешься?

— Тю, дурной,— удивилась девушка.— Я, если бы мне дали, так хоть первую неделю поносила бы.

Лина вошла в свою комнату, переоделась за шкафом. Эта комната прямо снилась ему, казалась необыкновенной, хотя на самом деле все там обычное, из универмага и культмага, только на кровати горкой подушки: большая, поменьше, еще меньше и совсем маленькая.

И вот уже Лина вышла из-за шкафа — в синенькой кофточке, узкой тесной юбке, по-домашнему близкая, простая и обольстительная. Остановилась посреди комнаты, расчесывая волосы. Они у нее черные, как вороново крыло, и разделены строго на пробор, спадают на обе стороны блестящими крыльями, а сзади схвачены шпильками.

На белом экране окна четко рисовалась линия ее шеи, острая грудь и вся фигура, такая чистая, такая манящая и недоступная, у него сердце замлело. Он не смел даже помыслить, что она может принадлежать ему. Только чувствовал, сколько значит для него одним тем, что живет на земле, что говорит с ним, иногда улыбается ему.

Потом Лина ужинала на кухне, а он сидел и ждал. Ее имя пело в нем, любимое имя — как запев в песне. Это имя было в их краю очень распространенным. Его завезли из далекой революционной Испании вместе с испанскими детьми, и символизировало оно тогда нечто героическое: девичью песню сквозь огонь и кровь... Им

называли внушек старые большевики и партизаны гражданской войны, а потом — учителя и врачи своих детей, пока оно не стало обыкновенным. Самым обыкновенным для всех, кроме Володи. Больше о Лине он ничего не знал. Хотя и жил по соседству. Знал еще, что она работает в звене льноводов, а сейчас, зимой, учетчицей на ферме и собирается поступать в педагогический институт на заочное. Но почему не поступала ни в прошлом, ни в позапрошлом году — не мог понять. Этого, наверно, не знал никто, кроме самой Лины и Василя Федоровича. Но, наверно, и она не смогла бы объяснить толком. Просто она очень уважала дядю, хотела, чтобы и в мыслях никто не смог упрекнуть его, что чужих детей он агитирует оставаться в колхозе, а своих послал учиться. Между ней и Василем Федоровичем об этом не было сказано ни слова, наоборот, тот говорил не раз, что именно ей надо учиться, а в душе был безмерно благодарен ей, и это был один из тех мостиков, которые соединяли их, вносили в их жизнь какую-то добрую тайну.

Володину мечтательность разбила Лина:

— Надеялась, хоть в руках подержу твой орден. И чего вы такие — и ты и батька... Он тоже в ящике держит, поглядеть не дает. Чаю хочешь? Бери яблоки... Магазиновые, своих нету.— И засмеялась.

И он знал, почему она смеется. Ей было приятно это воспоминание. Как-то осенью парни звали их с Олей, сестрой, гулять, они не вышли (не пустил отец), и парни из мести обтрясли в саду яблоки. Василь Федорович вышел утром в сад, а в траве лежат и шафраны, и курские ранеты, и путинки — обтрясли все деревья, хотя и не взяли ни яблочка. Ох и сердился Василь Федорович, а девчата втихомолку радовались.

Потом Лина и Володя играли в карты. И он, как всегда, проигрывал. Она сердилась, а он смотрел на нее, и глаза его светились бессмысленным обожанием. Лина видела это, но уже почему-то не радовалась и боялась над этим подшучивать. Она провела ладонью по его щеке, и это прикосновение было теплым и нежным:

— Ну, чего смотришь... В карты гляди.

Заморгал белыми ресницами, уставился в карты, но не видел ничего. Сегодня Лина добра и приветлива с ним, по-особому приветлива. Он был почти счастлив, но какая-то тревога бредила душу, шептала о зыбкос-

ти, непрочности этого счастья. Сколько раз она бесцеремонно, почти грубо, выгоняла его: иди, мне надо читать, иди, я устала,— и он, вздыхая, уходил. Но сегодня она словно бы вознаграждала за все. Сегодня была ласкова, тиха и даже не шпыняла, как раньше.

Она была добра, потому что... ждала, знала: сегодня на танцах должно что-то случиться, хорошее и ужасное. И от одной мысли у нее звонко и часто колотилось сердце. Она ждала еще на прошлой неделе, но почему-то этого не случилось. Ее глаза помнили глаза другие. Ее взгляд хранил другой взгляд. Восхищенный, как будто что-то открылось ему — и этим открытием была она,— но не наглый, хоть и не робкий. Больше всего ей понравилось, что эти глаза словно бы просили прощения, посмотрев так нескромно, словно укоряли себя, но не сулили покорности. Наверно, с этого и начались их особенные отношения — они всегда начинаются с чего-то, с какой-то точки, только о ней, как правило, забывают, а то и не подозревают. А она помнила... Потом те глаза равнодушно смотрели в сторону. Она догадывалась, что равнодушие это показное, что они по внутреннему велению не смотрят на нее. Но все время помнят о ней, недаром так вздрагивают крутые черные брови. Сегодня он будет смотреть на нее опять. И что-то произойдет. Он такой... красивый и спокойный. И немного странный. Гордый или высокомерный? У него высокий лоб и кудрявые волосы. Они спадают почти на глаза. Тося сказала — патлы. Пускай... А потом он все-таки посмотрел на нее прямым смелым взглядом. И она почувствовала волнение. Такого с ней еще не бывало. Никто так не смотрел на нее. И не отворачивался так равнодушно. Странно, что она до сих пор не знакома с ним. Он живет у бабушки Сисерки. Работает виноделом. Даже смешно. Виноделом был дед Шевелий... Смешной и чудаковатый старик. Однажды на рыбалке так азартно размахнулся удочкой, что вырвал крючком из своих зубов трубку — искры полетели. А теперь дед не слазит с печи — у него ревматизм. Раньше Лине казалось, что виноделом может быть только старый человек. А нынче виноделом этот парень... Валерий. Представила его с дедовой трубкой в зубах и чуть не рассмеялась. И чтоб дым вот так — паф! О нем можно было бы расспросить Володю. Это он привез Валерия в их село. У Валерия отец доцент, а мать умерла, и отец

женился на молодой продавщице, а Валерий ушел из дому, бродил с геологами где-то на Памире, а потом поехал на целину. Там они сошлись с Володи́ей, земляки-черниговцы, и Володя позвал его сюда. Так рассказывал сам Володя. Больше она про Валерия ничего не знала. Тогда ей было все равно, а теперь что-то словно бы запрещало выпытывать у Володи. И они играли и играли в карты...

Потом за ней забежала Тося, соседка, светловолосая хохотушка, и они все вместе отправились в клуб. Володя всегда покупал билеты Лине и ее подругам и потихоньку совал в руку. Он знает, что девчата смеются над этим и, смеясь, заставляют Лину брать билеты, а сесть рядом с ней в зале ему удастся не всегда: возле Лины вечно садится кто-нибудь другой и провожает до дому, а он плетется сзади, потому что живут они на одном конце села.

Но сегодня, когда Володя направился к кассе, Лина стала впереди него и взяла билет себе, Тосе и ему, он пытался отказаться, но они с Тосей подхватили его под руки и повели к дверям. Володя ужасно смущался и радовался, хотя ему непонятны были веселая нервозность Лины, ее беспричинный смех.

После кино начались танцы. В большом зале с портретом Горького на стене,— наверно, кто-то считал великого писателя заядлым танцором,— сначала запустили что-то бешеное и танцевали только две пары: Клавка и Лиза с приезжими из Чернигова электриками, что тянули от станции линию электропередачи. Клавка в джинсовой юбке наступала на своего парня, дергалась, будто ненормальная, пока не принялись свистеть трактористы и шоферня. Их место занял Танго, был он под хорошим градусом (захмелев, он всегда исполняет одно старомодное танго, которое высмотрел в каком-то фильме и которое прилипло к нему прозвищем), шатался в одиночку в пустом кругу, выламывался, дурил: надеялись, что он уйдет или заснет на стуле, но он не уходил, ему льстило внимание парней и девушек, а прогнать Танго не решался никто: сегодня прогонишь, а завтра встретит в темном переулке... Он уже отсидел полтора года, и тюремные харчи ему не в новинку. Молодежь стала расходиться, когда из толпы вышел высокий хлопец в коротком демисезонном пальто и остановил Танго за плечо:

— Слушай, кореш, ты мешаешь.

Лина даже зажмурилась: вот сейчас Танго размахнется и впечатает в щеку Валерия твердую с короткими пальцами ладонь, но случилось несусветное: Танго обиделся, приложил к груди руку, прося сочувствия:

— Я мешаю? Я кого-то обидел? Ну, скажите?

— Нам стыдно за тебя,— так же спокойно сказал Валерий.

— Меня? Чего меня стыдиться? Я такой мерзкий? Я некультурный?

Танго зашатался к дверям и уже в фойе хватал всех за руки, приставал:

— Я — некультурный? Я — Танго?

— Культурный ты у нас, как Тарапунька,— пытались от него отделаться.

Лина танцевала много, со всеми, кто приглашал. Ее все дальше несла тревожная, горячая волна, она хотела показать Валерию, как охотно приглашают ее ребята, а он танцевал только с Катрусей, вертлявой, совсем еще сопливой девчушкой, десятиклассницей. И это раздражало Лину и наполняло горечью, даже обидой. «Через два года будет сулацкая суперзвезда»,— подумала она про Катрυσю. Уже вошел в зал и стал в дверях кривой Проць, демонстративно поглядывая на часы, давая знак своим появлением и громким побрякиванием ключей, что запирает клуб,— вот так он выстоит еще танца два, наверно, тешась своей властью или тем, что танцоры, торопясь, набирают бешеный темп,— а Валерий все не подходил к ней. Посматривал в ее сторону, но будто не на нее, а куда-то выше, на портрет на стене. И тогда она в гневе, почти в отчаянии решилась на последний шаг. Когда зазвучало «Ах, Одесса», не пошла танцевать. Ее один за другим пригласили пять парней, но она отказала всем, стояла, сложив на груди руки, и смотрела через проем двери в фойе, где гоняли шары на разбитом бильярде Володя и еще трое хлопцев. Лузы у бильярда были оборваны, и, когда кто-нибудь бил верного шара, подставляли ладони и ловили. Лина жалела, что Володя не танцует. Знала, что он дружит с Валерием, и Валерию, наверно, известно, что Володя любит ее. Она бы сегодня танцевала только с ним. А может быть, подойти и увести его от бильярда, попросить, чтобы проводил? Он такой... верный!

И в этот момент к ней подошел Валерий.

— Можно? — В его глазах светилась спокойная уверенность.

Она заколебалась и из-за этой уверенности, и из-за того, что зашла слишком далеко, отказала нескольким ребятам, и если теперь станет танцевать, ее ждет месть. И никто не заступится. То есть должен заступиться Валерий. Она и его подставляла под удар. И он знал это. Видела по глазам.

— Уже пора по домам,— сказала как можно равнодушной.— Ну, последний танец.

Он вел легко, уверенно, но не прижимал, как некоторые парни, держал на расстоянии, а сам смотрел куда-то в сторону или делал вид, и она теперь могла рассмотреть его вблизи. У него высокий лоб, но его до половины скрывают волосы, продолговатое лицо и длинный прямой нос, и нежная поросль усиков над верхней губой, и еле заметная родинка, ее-то он и прикрывает усиками, и ореховые, словно задымленные глаза. «Красивый»,— отметила она как-то холодно и испугалась.

Ей нравились даже усики, хотя когда-то она и помыслить не могла, чтобы с ней танцевали разные усаые. Усики и баки — предмет насмешек на селе, хотя носит их много ребят. А еще у него длинные неуклюжие руки, нет, не неуклюжие, это у другого были бы неуклюжие, а у него просто длинные, и острые плечи, он ими забавно передергивает. Ей и это понравилось. Тут как раз кончился танец. Она торопливо вышла на улицу, все-таки боясь заслуженной мести отвергнутых. И, пылая, видела, что Валерий идет за ней. Наверно, их спасла метель. Она только началась, последняя предвесенняя метель, и была озорная, шальная, звонкая. Пляска ветра, пляска белых весенних снежинок, в которых не видно протянутой руки. Лине казалось, что она и сама легкая, как снежинка, казалось, что метель — это молодость, рождение, вечный круговорот мира, это жизнь, любовь, что-то таинственное и белое, в чем так хорошо прятать мысли и чувствовать на своей руке властную юношескую руку, и не отталкивать ее, потому что ведь метель, можно потеряться, потерять друг друга навеки. Она видела его облепленное снегом лицо, оно клонилось к ее лицу,— ведь шли против ветра, и ветер казался ей уже розовым, и снежинки тоже розовыми, похожими на лепестки, а ветер тол-

кал к нему, и она ощущала, как все тверже и тверже становилась его рука, как тесней сливались их плечи.

И вдруг круговерть остановилась. Казалось, гигантская ладонь смела весь снег, и упал ветер, и теперь они шли, охваченные белизной и тишиной, только собственное дыхание шелестело на губах. Лину радовала и пугала эта тишина. Теперь ее должны были наполнить слова. Тревога, чем-то похожая на страх, не панический, а какой-то щемящий и даже приятный, завладела ею. Она ждала, боялась слов, взгляда, боялась его глаз — и ждала... Она помнила, как, провожая ее, выкаблучивались, чтоб понравиться ей, хлопцы. Большею частью они этого не замечали, хотели привлечь ее внимание, смешили и порой сами становились смешными. Были среди них и молчаливые тихони... Как Володя. Она исподтишка наблюдала за хлопцами, посмеивалась в душе, но хотела иного, настоящего, лучшего, чем у подруг — у Тоси и Вали, которые знали только целования, прижимания и, рассказывая об этом, волновались, но не так, как, на ее взгляд, должны были волноваться. Они рассказывали об ухаживаниях на вечеринках, и кто из ребят на что осмелился, и как выкручивались они, и осуждала их именно за эти рассказы. В них было много плотского, она мирилась с этим, но должно же быть еще что-то! Она не знала, что это уже в ней, и только так и бывает на свете. Замечала необычность Валерия: и этот летящий далеко взгляд, и какое-то словно бы равнодушие к ней, которое раздражало и обижало, и беспечность и одновременно уверенность в себе. Впервые подумала, что она чего-то не знает, а он знает, и какая-то странная часть мира... мира души, и мира широкого, должна открыться ей через него.

И не догадывалась, что все это творит ее влюбленное воображение. Лина украдкой взглянула на Валерия и улыбнулась. От чересчур большой седоватой шапки его лицо казалось совсем маленьким и забавным.

Парень молчал, и ей стало чуть страшно от этого молчания. Может, он жалел, что бросил Катрусю и пошел с нею? Может, думает что-нибудь плохое про нее? В конце концов она не выдержала:

— О чем думаешь?

Хотела спросить уверенно, требовательно, а получилось просяще, она почувствовала это и рассердилась на себя.

— О тебе,— ответил он.

— Чтобы думать о человеке, надо его знать,— по-
немногу успокаиваясь, сказала она поучающе.

— А я и знаю.

— Что?

— Все.

— Ну, так начинай,— попробовала она перейти на
шутливо-иронический тон, каким чаще всего разговари-
вала с поклонниками, хоть и видела, что на этот раз
у нее плохо выходит, и удивлялась и опять сердилась
на себя.— Рост? Вес? Пульс?

— Ну, это можно вычитать из медкарты... Я... о
другом.

— О чем же?

— Обо всем. Даже о том, что тебе снится.

Она приняла это как шутку и почти спокойно спро-
сила:

— И что же мне снится, кроме женихов?

— Тебе? — Он склонился, посмотрел ей в глаза и
проговорил, напряженно наморщив лоб: — Чаще всего
аисты. И пожары.

Линина рука дернулась в его руке, она сбилась с
шага и поразилась:

— Правда. Откуда ты знаешь?

— Я знаю о тебе все,— вещал Валерий на манер
колдуна, который уверен в своих чарах.— А однажды
тебе приснилась лодка, она плыла по суше. На следую-
щий день ты и вправду чуть не утонула в Десне. И ста-
ла с тех пор верить в сны.

Теперь девушка смотрела на него чуть ли не с суе-
верным ужасом. Она и не догадывалась, что все это
рассказал Валерию Володя (а Володе — Фросина Фе-
доровна) и что, собственно, Володя невольно, себе на
беду, увлек рассказами про Лину Валерия, да еще и
отрицал, что влюблен в нее: «Соседка, мы с ней с дет-
ских лет дружим».

— И ты можешь угадать, что думает другой чело-
век? — допытывалась Лина.

Она уже много знала о мире, была чутка, как всякий
ребенок, выросший в чужой, пусть даже и не хуже род-
ной, семье, и мучили ее какие-то неясные призраки, ка-
кая-то печаль по тому, чего у нее не было и — она зна-
ла — не будет в жизни, она глубоко прониклась этим
несбыточным, хотя и осталась наивной и доверчивой.

Любила отгадывать всяческие тайны, часто открывала новые истины: одними обманывалась, потом осмеивала их в душе, иные западали в память, каждую новую истину она считала последней. И когда шутки кончались, умела быть острой, как лезвие ножа.

Она не любила откладывать дела на завтра, оставлять в душе малейшие неясности, любое противоречие причиняло ей прямо-таки физические муки. Друг или враг, правда или ложь — середины она не признавала, пугала этой бескомпромиссностью мать и заставляла глубоко задумываться отца. В придачу к этому билась в ней тонкая ироническая жилка, что уж совсем сбивало с толку Фросину Федоровну...

— Ты обо всех так много знаешь? — спросила Лина Валерия, пряча тревогу за шуткой. — У тебя уже такой опыт?

Они как раз проходили мимо колхозной конторы, где висело несколько фонарей, и Валерий снова попытался заглянуть ей в глаза — темно-синие, почти черные, или это затемняли их длинные ресницы, усеянные капельками растаявшего снега? Взгляд был теплый, встревоженный.

— Ну, не обо всех... о тех... кто чем-то близок.

Она обрадовалась, что они снова вошли в тень и он не увидел, как вспыхнули ее щеки.

— Хотя... такое случается редко. А мечтают об этом многие, — вел он дальше, незаметно для себя переходя от шутки, от игры к чему-то глубокому, серьезному, что тревожило его. — Был у меня один знакомец... Вместе служили в армии... на Чукотке. Он все время мечтал о лунных ночах и хлебных полях — об отчем доме. Поля эти, по его словам, как-то особенно пахли, запах тот был перемешан с лунным сиянием, и слышал он потрескивание сверчков... И сам растворялся в ночи.

— Твой знакомец начитался всякого.

— Кто знает. Может быть. Мы всегда что-то вычитываем в книгах и в людях. Но он проникался этим до слез. И хотел, чтобы так же прониклись другие. Знал, что это невозможно. Но хотя бы один человек, самый близкий! И он нарисовал ниву в лунную ночь. И ничего не вышло. Ребята смотрели, и каждый чувствовал иное.

— Ты считаешь, это плохо?

— Не знаю... Наверно, он плохо нарисовал.

— А может, и нет. Тот гениальный друг — ты?

— С чего ты взяла?

Она не призналась, что почерпнула из того же источника. О том, что Валерий рисует, ей рассказывал Володя. Теперь она догадалась, откуда Валерий знает про ее сны, про нее самое. И подумала о Володе с благодарностью и печалью.

— У меня тоже есть дар отгадывать.

— Ни у кого его нет,— возразил он решительно и почти раздраженно, тоже подумав про Володю.— Ни чувствовать, ни угадывать чужие мысли нельзя.

— А если... Ты же сам сказал, люди думают друг про друга?

— Это хорошо... Если хорошо думают.

Они стояли возле Линино дома, утаптывали снег у калитки. Отполировали его до блеска, и теперь она медленно скользила туда и обратно, балансируя белыми рукавичками с вышитыми на них синими звездочками.

— А вот... что ты — про нивы. Тоже хорошо. Только не настоящее,— сказала она, прокатываясь мимо него.

Казалось, Лина не понимает, как она красива, Валерий этому не верил, и все-таки это ему особенно нравилось.

— Почему?

— Ну, это... придумано. Люди не такие.

— Практичней?

— Проще. И живут, и дружат.

— А мне наплевать, кто как живет, я знаю... Корова, огород, двести целковых... Все можно за целковые.

Она смотрела на него внимательно и чуть испуганно. Не могла понять, почему он говорит с такой злостью и... то ли цинично, то ли с горьким всеведением.

Откуда ей было знать, что в мыслях он далеко, в одном доме, где овдовевший отец купил за деньги молодую любовь и катал ее в зеленых «Жигулях», забыв, что у него взрослый сын. Валерий возненавидел и дом и отца и предпочел жить у дальней родственницы бабки Сисерки, ходить в старом, куцем пальтишке, покупать в культмаге самые дешевые краски и экономить на всем. Однажды отец прислал ему денег, но Валерий вернул их. Ему захотелось полоснуть по Лилиной самоуверенности острым словом.

— Это твой отец, председатель, научил тебя практичности?

— С отцовою практичностью,— быстро сказала она,— много людей хлеб ест. И ты тоже.

— Видно, он у тебя чудодей. Даст и мне разбогатеть?

— Не надо так,— сказала вдруг Лина.

— Чего не надо?

— Про отца... Ну, когда-нибудь узнаешь.

— Да пусть и не про Василя Федоровича. Такие практичные разговоры теперь и на завалинках и повсюду.

— Потому что работают,— сказала она.

— Ты не поняла. Я не говорю, что этого не надо. Но... разве можно только этим жить?

— А чем же? — А сама радовалась его словам.

— Разве я знаю... Чем-нибудь... Хотя бы этими нивами,— сказал он почти с вызовом.

— Всем нивы не хватит.

— Хватит... Есть и другое. Только... Ну вот ты. Можешь откровенно?

— Я — всегда откровенна, ты это, художник, запомни,— молвила Лина предостерегающе и как-то подчеркнуто серьезно.

— Не называй меня художником.

— Почему?

— Не дорос. И, наверно, никогда не дорасту.

— Хорошо, не буду. Так что ты хотел спросить?

— О чем вы, девчата, разговариваете?

— О парнях.

— А еще?

— О барахле, что в универмаг забросили.

— Весь век о барахле?..

— А ты?..— сказала она почти сердито.— Не надо так мнить о себе, художник.

— Я же просил! Разозлюсь и уйду.

— Не-е-т, не уйдешь.

— Ты слишком самоуверенна.

— Не я, а ты.

Ее задело высокомерие, с каким говорил Валерий, только не могла понять до конца: он думал и говорил так о девчатах или обо всех, кто живет в селе. И то и другое было обидным.

— Когда-то у нас так вот Танго похвалялся. Прочитал две фантастические книжки...

— Может, я не совсем похож на Танго?

Наверно, они поссорились бы, их почему-то несло на ссору, хотелось уязвить, зацепить, сделать другому больно, но в эту минуту подошел Володя. Ничего лучшего не придумал, как попросить у Валерия спички, долго чиркал о стертый коробок, долго раскуривал сигарету. Валерий ждал его ухода, а Лина сказала:

— Володя, не убегай. Постой со мною.

Он знал, что лучше уйти,— все-таки вроде наперекор Лине, но сил не хватило. Всем троим было неловко. А Володе еще и горько — вечная горечь побежденного соперника. Он видел, что проигрывает, и чувал, что навсегда, в нем шлохнулась враждебность к Валерию и Лине, но к Лине какая-то грустная, укоряющая. Ему казалось, что между ними — Линой и Валерием — уже есть нечто тайное, и Володе до тяжелой тоски захотелось это разгадать, войти третьим в их тайну и разбить ее. Знал, что нет у него на это силы, и оттого чувствовал себя еще несчастней и опустошенней. Ему хотелось сейчас сделать что-то неслыханное, поразить обоих своей смелостью, может быть, и умереть, но чтоб потом их терзали его чистота и геройство, чтоб оба всю жизнь сознавали свою недостойность. Он бы желал остаться в их памяти не таким вот... третьим... И вдруг принялся рассказывать, как ему вручали орден, какую провозгласил в его честь здравицу председатель облисполкома, и Лина подхватила, рассказав, как прошлый год на Урвихвостах застряло целых шесть тракторов, и Володя все их повытаскивал, и какой он вообще ловкий и сильный, никто его не перегонит на лодке (все это она говорила назло Валерию). Володя замолк, ему совсем тяжело стало: она словно бы грех замаливала, иначе с чего при таких Володиных достоинствах выбрала не его, а этого вот неудачливого, длиннорукого, который ничего не умеет, и виноделом стал, потому что у его отца большой сад и они делали вино на продажу, а еще потому, что там удобно, можно малевать свои картинки; недавно ему из Киева, из института, куда послал их целую пачку, написали: ваши сюжеты банальны, нам понравились только стога, но они слишком большие и зеленые... А это совсем не стога, а горы... Ну, там еще

прибавлено, что краски у него свежие и рисунок выразительный. Но это небось, чтобы не убить насмерть.

Володя уже не мог удержаться и все рассказывал, что сначала его представляли на Героя, и он еще получит Звездочку, что он персональный участник республиканской выставки, а их, персональных участников, в районе только двое,— он топил себя окончательно, понимал это и падал, как в прорву. Валерий, который сначала подшучивал, замолк, кивал головой, не мог бить лежачего, и Лина это понимала, этим Валерий нравился ей еще больше, и было жаль Володю, несмотря на удовлетворенное самолюбие, и вместе с тем чувствовала она неуютность, сквознячок, которым тянуло дальше, в их будущее, предвещая непогоду, а может, и бурю.

Неожиданно она попрощалась и побежала во двор, оставив собеседникам для ночных воспоминаний звонкий перестук каблучков по цементным ступенькам крыльца.

Все уже спали, только Фросина Федоровна сидела в большой комнате за швейной машинкой и строчила.

— Чего это ты раскраснелась? — сказала, мельком поглядев на нее.

И Лина сразу прижалась щекой к ее щеке, ей стало хорошо-хорошо, так хорошо, как не было еще никогда, даже сладко заныло в груди.

И мать поняла все.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

После слякоти и гололеда выпал легкий снежок — уже, наверно, последний в этом году,— и прихватило морозцем. Снег под ногами поскрипывал, и Василь Федорович с удовольствием прислушивался к своим шагам: последние зимы больше плакали дождями, а не веселили снегами да морозами, и теперь жадная память воскресила свист полозьев и визг утоптанного снега под детскими каблучками, а это воспоминание добавило ему в душу бодрости и молодой тревоги. Хотя ему и без того было легко, чуть ли не радостно. Как всегда, когда он шагал на работу. Она давно стала смыслом его жизни, он любил рано встать, нырнуть в человеческий водоворот, чтобы его искали и он кого-то искал, чтобы теребили и он теребил, любил распо-

ряжаться, советовать, и не потому, что это легче, чем возле трактора или на ферме, ведь он знал всякую работу, на ней вырос и сейчас еще чувствовал себя вровень с косарями и пахарями,— а чтобы перебарывать эту вот сутолоку, приводить все к ладу и, наконец, доводить задуманное до логического конца, до завершения. В этом, наверно, не было ничего нового, любой человеческий труд чем-то венчается. В том кругу, в каком он жил — в хлебоборобском,— он поднимался со ступеньки на ступеньку, чуял силу, мощь, был уверен в своем месте. Только изредка ревниво прикидывал в мыслях: каков он — в масштабах района, области, чем лучше, чем хуже других, и надо сказать, оценивал себя самокритично.

Вся улица пахла свежим хлебом, ничего равного этому запаху нет в мире, это запах самой жизни, а в их селе к тому же особенный — такой хлеб пекли только в их пекарне. Об этом запахе, об этом хлебе, секрет выпечки которого знали только бабка Текля да тетка Одарка, шла слава по всему району, это было Грековой гордостью, которую, кстати, он никогда не показывал. Ибо она была связана с чем-то лежащим в самой сердцевине мира, человечество извечно живо любовью и хлебом, недаром женщины, особенно у которых малые дети, больше всего благодарны ему за пекарню. У иных хлеб будто глина, за день становится камнем, а у них — словно кулич. И еще чем нежданно-негаданно подкупил Грек женские души, так это газовыми плитами; газ провели из самого Чернигова, вбухав в это дело немалые денежки. Он ощутил со стороны мужей что-то похожее на ревность и посмеивался, но не пристыженно, а скорей вызывающе. «Позиция у меня такая,— отвечал на шутки,— чтобы освободить нашим женщинам время для работы в колхозе». И не признавался, что больше всего в этой позиции его греет мысль, что он скрасил чью-то жизнь, что у хозяйки появится время, чтобы отдохнуть, приласкать детей, а может, и мужа.

Василь Федорович шагал вдоль улицы, что раскинулась над широкой и мелкой лощиной, по дну которой бежала речушка Лебедка, сейчас схваченная льдом и присыпанная снегом. Через шесть-семь километров Лебедка впадала в Десну. Василь Федорович помнил ее порядочной речушкой, куда полноводней, чем нынче,

по ней плавали на лодках и ловили на глубине щук и окуней, теперь она почти иссякла и едва подает голос в своих берегах.

Село раскинулось по долине, на левом от Лебедки склоне, и захватило кусок поля к северу, в сторону Десны. Строится оно и сейчас: сразу же за колхозной конторой торчит несколько сборных домиков, их сдают в аренду тем, кто вернулся из армии или приехал издалека — осесть на этих песчаных землях, — домики ставят в конец улицы, одной из тех, что выходят в поле. Еще больше народу строится наново, прямо какое-то поветрие — соревнуются, у кого больше комнат и выше потолки, непомерную цену платят. Вон кирпичный дом, лет десять строил его из отходов стеклофабрики Семен Раковка, мужик не слишком зажиточный, а перешли в новую хату только жена да сын: самому Семену из оставшегося цемента соорудили на кладбище бетонный столбик... Старых домов в селе десять — пятнадцать, да несколько новых, поставленных на старополесский лад, — они и придают селу тот неуловимый колорит, которым оно отличается от поселений Слобожанщины или Подолья. С востока к селу подступили сосновые боры, молодые хвойники осенили его зеленым крылом с юга, так что земли «Дружбы» в основном тянулись в сторону северную, деснянскую, и смыкались с угодьями колхоза «Заря», села Широкая Печь, что над самой Десной. Сулак — село древнее, стариной пахнет от одного названия, оброненного когда-то здесь то ли монголами, то ли татарами.

Василь Федорович вошел в контору — большое, некрасивое, смахивающее на казарму строение под дикими грушами, которые басовито гудели в ветреную погоду. На этом месте когда-то стояла экономия, и груши остались еще с тех времен, и несколько вязов, и два тополя, на одном из которых чернело аистное гнездо.

Первым делом — что в суточной сводке. «Вчера вышло на работу двести сорок человек, заработок тысяча пятьсот шестьдесят два рубля...» — читал он. Долголетними стараниями в колхозе налажена диспетчерская служба, и это очень важно.

Почти час ушел на просмотр и подписывание всяких бумаг — счетов, заявок, ведомостей, а потом начался тот самый крутеж, в котором он чувствовал себя так

уверенно и против которого сражался. Звонил в область знакомому директору завода — просил цемента; заведующий филиалом, который помещался в соседнем селе Мариновке, долго и нудно рассказывал о выбраковке коров, называя их по именам; пришли за советом, как переоборудовать электролинию на фермах, электрики, и он их сначала прогнал («Вы специалисты, вы и думайте»), но потом вернул, и они вместе изучали схемы. Так до обеда. Уже собрался ехать домой, а оттуда к силосной яме, которую открыли сегодня, как вдруг под окнами мягко фыркнула машина и почти сразу в кабинет внесся Любка, крича с порога:

— Первый, еще с кем-то...

А в комнату уже входил Ратушный с моложавым мужчиной в дымчатых очках, в меховой курточке с белым воротником и белыми отворотами.

— Привез я к вам корреспондента из Киева, — сказал Ратушный после приветствия, усаживаясь на одном из стульев, стоящих вдоль стены. — Хочет писать...

Василь Федорович уже плохо слышал, что хочет писать киевлянин. Слова «привез корреспондента» укололи его в самое сердце, а там снова вскипела обида, и уже Грека понесло, как машину без тормозов с крутой горы.

— О чем же тут писать? — развел он руками. — Разве про выговор, который вlepили третьего дня... Так уж сообщили в газете. «Председатель в корзине», фельетон. И вообще у меня сейчас обеденный перерыв... — и демонстративно переставил с окна на стол шахматную доску с фигурами.

Заядлый шахматист невысокого класса, он начал партию против Любки еще позавчера, но так и не выбрал минуты довести ее до конца. Наверно, сами короли уже позабыли, куда направили своих подданных, а те — какие форпосты штурмовали, кони спали, а пушечные жерла кто-то засыпал сигаретным пеплом.

— Садись! — велел он Любке, который все еще топтался возле дверей (любил слушать руководящие беседы), смущенно мигал глазами навывкате и шмыгал носом, будто школьник.

Тот не посмел отказаться — близкое начальство может и уязвить побольней — и сел. Во взгляде Грека на секретаря можно было прочесть: «А разве нам нельзя... Я тоже человек», — это на поверхности, вполне не-

винное, а глубже затаенное: «Звездочку отобрал, опозорил, а теперь привез этого, в очках... Как же я могу...» Он представил только, как рассказывает корреспонденту о передовом опыте, и чуть не задохнулся от злости.

— И у меня тоже обеденный перерыв,— объявил Ратушный.

Он улыбнулся слегка натянуто, все-таки срам перед корреспондентом, а слегка и так, что тот должен был понять: секретарь прощает Греку эти фокусы. Мол, «крепкий хозяин и мужик честный... к тому же и обидно ему... Я это прощаю, должен стерпеть. И вообще он с норовом. Может взбрыкнуть. Я тебе говорил об этом». Все это само по себе обесценило «фокус» и разозлило Василя Федоровича. Он не отрывался от шахматной доски, совал как попало фигуры, время от времени мурлыкая: «Ой, чей то конь стоит». И опять: «Ой, чей то конь стоит». Но дальше конь не двигался. И, видать, Грек думал не про атаку на королевском фланге и проиграл — и оттого рассердился еще сильнее. «Ой, чей то конь стоит...» И потрогал фигуру пальцами.

— Мой,— отважился Любка.

— Сам вижу, что не из конюшни.

Корреспондент строчил в блокноте: небось ему нравился такой вот оригинальный зачин очерка про независимого председателя. Ратушный сидел у стеночки, где висели две карты — мира и полей колхоза «Дружба», листал томик Прянишникова, издания которого лежали на столе.

— Полезная книга, шедевр сельскохозяйственной науки,— сказал он, закрывая толстую книгу.— Ну, я поехал. Хотел еще посоветоваться с вами, Василь Федорович, по одному делу, но поскольку обеденный перерыв...— В его голосе зазвучали иронические нотки.— Мы вас пригласим в рабочее время. Надеюсь, вы здесь найдете все, что нужно.— Это уже корреспонденту. В его словах снова слышалось: «Выкручивайся сам, ищи подход, на то ты и журналист. Видишь, какой объект...» Попрощался и вышел.

И хотя какая-то мощная сила, сила гнева и обиды и дальше прижимала Грека к стулу, другая сила — привычка, гостеприимство, человечность — повелевала ему подняться и пойти за гостем. Все это время он сидел страшно напряженный: знал, с кем так опасно играет,

думал и о том, что может порвать тонкие нити взаимной приязни, соединяющие его с Ратушным, и допрыгаться до конфликта. А пока шел следом за секретарем, смотрел ему в спину, уже немолодую, усталую спину, и не мог не думать, что все, чего он достиг, было и его, секретаря райкома, заслугой. Даже чем-то большим, чем заслуга. Ратушный не только верил в него, а и поощрял, шел на риск...

Десять лет назад Василь Федорович принялся стягивать в колхоз хвосты. Именно не коров, а хвосты, тысяч шесть. Он тогда не думал про породу. Худоба — это навоз, навоз — урожай, урожай — корм для скота, который отдаст молоком и мясом. Простой вроде бы цикл, но невероятно трудный на деле. Нынче молочная река «Дружбы» самая полная в области, небось может поспорить с Лебедкой. А тогда колхоз тянул назад весь район. Ох, как колебался и переживал Иван Иванович! Помимо всего прочего, «Дружба» ведь тормозила, тянула назад и служебную карьеру Ратушного. Именно карьеру, в этом нет ничего худого, это только борзописцы изображают в очерках секретаря только как секретаря, словно бы он не человек, словно не стремится к большему. Ох, сколько это Ратушному стоило! Но Грека не остановил и не дал раздробить другим. Почти все районное руководство советовало Ратушному снять председателя «Дружбы» с должности, никто не верил в этот эксперимент. Он один поверил и поддержал. А нынче против хлебобобской системы «Дружбы» восстали все научные сельскохозяйственные учреждения области, да и не только области, немало районных руководителей пророчат близкий упадок «Дружбе», а у Ратушного Василь Федорович всегда находит поддержку. Так разве не на одном пастбище пасут они свои отары! «Славный человек Ратушный,— невольно подумал Василь Федорович,— славный и умница...» Кто бы другой потерпел, что он сейчас вытворяет? Он кобенится, уязвляет секретаря, да еще в присутствии корреспондента, а Ратушный пошучивает. Вроде бы ничего не случилось. А если взорвется?

«Ну и пускай... Ого-го, мне есть с чего больше взрываться,— снова загорелся Грек.— Славный-славный, а Звезду отнял. Мог бы и прикрыть все, затереть... Или хоть рывкнуть на писак...» Конечно, он, Грек, немного и сам виноват. Вчера приехал с областного семинара

Безродный, секретарь парткома колхоза, и с ходу, как говорится, с налету, выпалил:

— Наломали мы с тобой дров...

— «Мы, мы»! — прикрикнул Василь Федорович. — Говори уж «ты»! Ругай. Помню, как ты упирался. Сейчас же напишу докладную в райком, что ты ни при чем.

Безродный стоял растерянный и обиженный (трудно было устоять под натиском председателя) и смотрел на него такими глазами, что Грек в конце концов смутился, махнул рукой:

— Ну, «мы»... Чуток наломали.

Вот это все припомнил Василь Федорович и, прибавив шагу, нагнал Ратушного в нескольких метрах от машины.

— Так... что вы хотели сказать, Иван Иванович?

— Да уж в другой раз. Под хорошее настроение...

— Настроение — дело такое... Его почти никогда нет, — рассудительно отметил Василь Федорович. — А работать надо.

— Тоже правда, — согласился Ратушный. — Надо. Я вот сам... Что-то старые болячки разбередились... Даже была мыслишка... На какую полегче работу, а может, и на пенсию.

«Так вот почему катил на меня бочку Куница, — моментально соединил это с недавним бюро райкома Грек. — Дашенко-то меня недолюбливает...» И ему стало стыдно за свое сегодняшнее поведение и захотелось извиниться перед Ратушным.

А тот, держась за дверцу черной «Волги», то ли медлил, то ли что-то обдумывал.

— Дело долгое... И хотелось бы, чтоб не мешали. А знаете, — он отпустил дверцу, — давайте пройдемся. На ходу лучше думается. — И показал на улочку, ведущую к полю.

— Степан Карпович, — окликнул Василь Федорович Любку, который торчал на крыльце, — отведи корреспондента к Огиенко Володе, ведь он орден получил. — И не удержался, искоса глянул на Ратушного. Тот вызова не принял.

Улочка была узенькая и выводила на глухую дорогу, пролегающую меж молодым ельником и полем, ровным, будто стол. Поле дремало под снегом, уже готовое принять в себя блестящие золотистые зерна и потом вспыхнуть синим огнем льна. Грек вспомнил про

Лину, это был участок ее бригады. Согласно в лад скрипели по снегу сапоги председателя и секретаря, это как-то странно объединяло их. Василию Федоровичу было особенно приятно это согласие, хотя и удивляло, что секретарь потащил его по белу снегу, и речь его к тому же напоминает старческую воркотню, а то и просто жалобу. Правда, Греку и льстило, что Ратушный выбрал, чтоб поворчать, именно его:

— Я, конечно, не на пасеку собрался. Ведь что у меня, да еще в таком возрасте, есть, кроме работы? Пенсионный рай! Сколько медовых слов про него сказано. Только сладко тому, кто их говорит. Это ждет каждого. А с другой стороны, начинаю бояться: а может, я та самая колода, что лежит посреди дороги? Может, чего-то уже и не схватываю? Человек я старого уклада, а каждое время имеет свои приметы и свою скорость. Нынче время быстрое.

Василь Федорович не стал уверять, какой тот незаменимый, еще сильный, мудрый и прозорливый, Ратушный ведь и не просил этого, а пробирался мыслью куда-то дальше. И Грек сказал:

— Вроде даже слишком. Мчимся быстрее и быстрее, и может статься, что от нас, от человечества, ничего, кроме скорости, и не останется. Природа отмерила нам все по нашим рукам, ногам, глазам...

— Правда. А потом влезли лошади на загривок... Дальше сели в машину, в самолет, а машина и самолет тоже все время наращивают скорости. И это движение становится законом. Мы уже не сможем... на загривок. И в холщовых портках не сможем.

Они как раз подошли к скирде, возле которой белел высокий, с острым ребром намет. Внезапно из-под скирды, разбуженный скрипом сапог, вылетел заяц, ошале-ло покрутил головой и припустил — только борозда легла за ним, и так же неожиданно Василь Федорович заложил в рот колечком пальцы и свистнул легко и молод-до, даже понравился себе. И секретарю тоже. Но тот не прервал мысли:

— Никто не может точно сказать: потребности ведут человека вперед или он сам выдумывает их. Что впереди чего бежит? Но остановка — это смерть. Передние идут и ведут других. А кто они, передние? Может, те, кто был вчера позади? А еще бывает и такое, идет в толпе человек и все время думает: не я задний. Не

оглянется, когда и последним окажется. Тогда попробуй догони!

— Я тоже это говорил не раз.

— Вот-вот,— подхватил секретарь.— Я помню... Особенно то, про ракету. Как это вы?..

— Оно, может, и не точно,— сказал Грек.— Картошка, навоз... и ракеты. А все-таки. И тут та самая ступень. Надо включать новую. Новую ступень... Эта уже сработалась.— Грек внезапно помрачнел и добавил после долгого раздумья: — Вот, опять разболтался. Мало меня... на совещании и на бюро. Уже и так кое-кто обзывает фантазером. Да если бы только обзывали!

Ратушный не услышал жалобы, а может, сделал вид, что не слышит.

— Именно так. Новую... Вся жизнь наша как ракеты. Может, это и митингово, но справедливо.— И без всякого перехода спросил: — Вы сколько раз перестраивались после войны?

— Трижды,— еще ни о чем не догадываясь, ответил Грек.

— И вот... Настало время в четвертый. И уже совсем по-иному. Новая, высшая ступень.

— Какая ступень? — спросил Грек.

— Комплекс.

Василь Федорович глянул на секретаря: как незаметно от пенсии и пасеки подвел его Ратушный к комплексу! О комплексе он уже думал и примерялся, но издали, как к чему-то возможному, заманчивому, но не обязательному. Молоко они дают и будут давать, хотя... правда, сегодня уже не тот уровень. Нету холодильных установок, большая затрата труда...

Некоторое время они шли молча, их шаги резали морозный снег, эхо одним крылом ширяло в поле, другое обламывало о ветви ельника.

— Капитально! — крикнул Грек, не разобрать, одобрительно, нет ли.

— Нужен большой комплекс,— быстро, словно не давая Греку опомниться, подхватил Ратушный.— Тысяч на пять... Двумя флангами. По полуккомплексу у вас и в Широкой Печи. Вот там и там. Фактически у вас одно поле. Вот оно. И будет одна кормовая база...

С этой минуты их шаги зазвучали вразнобой. Василь Федорович даже приостановился, а когда догнал секретаря, уже не примеривался, или не хотел, или не за-

мечал, что ступает не в лад. Он бы, может, принял слова Ратушного за шутку или за дальнюю пристрелку, но, видя позади себя на холме свои фермы и далеко на горизонте Широкую Печь, догадался, что секретарь райкома продумал все до последней детали, продумал даже эту прогулку, которая «иллюстрировала» его тезисы.

— Вы хотите объединить нас с «Зарей»! Пустить сумой! Господи боже! Да у них же долгу... Сколько? — бесцеремонно схватил он за рукав секретаря райкома.

— Немало, — вздохнул тот.

— Вы точно знаете, — стыдя его и возмущаясь, закричал Грек, и Ратушный потер пальцем переносицу. — Миллион?

— Полтора...

— Полтора миллиона! — вопил Грек, напуганное эхо даже охало в ельнике. — И все небось краткосрочные? Да какое там небось! Значит, все съели. И копейки не вложено из тех кредитов во что-нибудь капитальное. На что все это нам! Пусть живут... Они живут... Для себя живут...

— Именно так, для себя, — успел втиснуться в его вопль Ратушный.

— А я для кого? Для бога? У нас и так уже два филиала. Оно же вышло из моды — объединение.

— Тут не объединение — комплекс. Общая кормовая база. У них луга, поля.

— Где та база?

— Да, базы еще нет, но есть базис.

— Какие там поля! Вы знаете культуру ихних полей? Там, как на Маланьином огороде, всего по горсточке — гречки, проса, жита, пшеницы. В бурьянах волки воют. Что, мне вылавливать их для зоопарка и этим зарабатывать? Такой комплекс сколько стоит? Пять миллионов? А у нас... А что у нас...

— У вас четыре миллиона на счету, — подсказал Ратушный.

— Так долгу же у тех, кто сидит на Широкой Печи, полтора миллиона! — остановился он посередь дороги.

Ратушный невольно поморщился. Потому что все-таки привык останавливаться при весомой мысли он, подчеркивая этим ее неординарность, а те, кто шел рядом, выслушивали в почтительной готовности, а тут Грек будто перебил ему дорогу. Так они стояли довольно долго.

С далеких просек вылетел злой, простудный ветер, схватил Грека за полу демисезонного пальто (не оделся потеплей, не рассчитывал на такое путешествие). Грек еще долго кричал, но и умолк как-то враз, глубоко засунул руки в карманы рыжего пальто, молча зашагал дальше. Он знал, что криком не возьмет, знал и то, что секретарь райкома свой замысел прокачал не один раз, советовался и в районе и в области и от него не отступится. Да, наверно, это выше Ратушного, хоть и зависит только от него.

— Трудно мне вас агитировать... Тут надо бы понять,— словно сочувствуя, снова завел разговор Ратушный.

— Или я такой тупица! — возмутился Грек.— Сам думал... про комплекс. Так Печь ведь... А нынче паровое отопление.

— Проведите его и туда. Не вырвутся они сами... Будут прозябать. А нас с вами совесть замучит.

— Комплекс — он впору только тогда, когда хозяйство на самом высоком уровне. А так можно вбухать гроши в стены да любоваться на них.

— Правильно. У вас именно такой уровень. Высокий. Племенное, отборное стадо... Расширите кормовую базу...

— Вы меня, Иван Иванович, в самом деле не агитируйте. Со мной покончено,— сказал Грек, словно не замечая осуждающего и даже гневного взгляда Ратушного, что должно было означать: «Ничего, пережуешь, мне не такое жевать».— Да и если по правде, я все-таки кое-что понимаю, и позиция моя в этом деле такая: ну... нет позиции...— махнул он рукой.— А как людей убедить? И если бы только наших. Они там... к чему привыкли: тут тебе лесничество, тут тебе торфоразработки, есть где деньгу зашибить, есть куда драпануть. Тянут с земли...

— Вижу, знаете тамошние порядки...

— Лучше бы не знать. И еще одно: если уж вы меня агитируете, то небось хотите председателем на всю махину. А Куриленко куда?

— Будет заместителем.

— Тоже позиция!..— даже вскрикнул Грек.— Дали бы вы ему какой-нибудь пузатый портфель.

Ратушный даже не захотел обсуждать эту проблему. Но как только заговорил дальше, в его голосе

снова зазвучали обстоятельность и желание поспорить.

— Вам все обойдется куда дешевле, чем мы сначала прикинули,— ослаблял он туго закрученную пружину.— Во-первых, торопиться все-таки не надо. И своих ферм покуда не трогайте. Позже часть их сможете реконструировать и переоборудовать для подсобных помещений и телятников. И свинарник в «Заре» пока что пускай остается...— неожиданно, с совсем иным выражением лица, словно бы удивляясь и даже поощряя, посмотрел он на Грека.

— Такой размах. Я думал...

— Размах и вправду.

Они обсуждали подробности по дороге к селу, а потом за принесенным из кафе в термосе чаем просидели в конторе до вечера.

Возвращаясь домой, Василь Федорович думал ту же самую думу, теперь он был заряжен ею надолго, да что там заряжен, надо было ею жить и заставить других принять ее, сделать смыслом их жизни. Он знал, что это не просто, и хотя сам давно привык вносить в чужую жизнь что-то новое, необычное, но необходимое, не считаться с желанием людей тоже не мог.

Для людей, но без людей — это, по его убеждению, совсем неправильно. Только для людей — через людей. Потому что все эти утаивания, пусть и для их пользы, разрушают вечное, человеческое в душах, что потом не вернуть. И эти вот приписки... к ним в некоторых колхозах давно притерпелись. Порой завывали цифры и в его бухгалтерии. И писали положительные ответы на тыщи бумажек, которых всерьез не принимали. И он не считал это обманом. И оно не входило в великое понятие — Честность. Ну, кто, скажем, придерживается техники безопасности с ядохимикатами? И всякие разные предупреждения, сроки... В плане один срок, а тучи себе запланировали другой. Так на какой обращать внимание? Кажется, просто? Очень непросто!

А вот тут, с комплексом и объединением, он обязан быть честным предельно. Нужно, чтобы каждый знал, какую ношу сообща они взваливают на спину.

И еще на одно наталкивалась мысль. Все, что планировали они с Ратушным, круто меняло и их судьбу. Ведь сколько хлопот, и каких хлопот — у них в колхозе все отлажено, отработано, а теперь в этот механизм на-

до бросить лопату песку. А может, и не лопату — Широкая Печь вдвое больше Сулака. И наверняка теперь это объединение и строительство комплекса отодвигало надолго то, что не сбылось, а может, и перечеркивало навсегда. Новое требовало и нового заряда сил, энергии, мысли и фантазии, в конце концов. Он даже оставался, как бы прислушиваясь к чему-то. Нет, сила еще была.

Ушедший в свои мысли и тревоги явился он домой. Собралась вся семья, приехала из Чернигова даже Оля, он удивился, потом вспомнил, что завтра воскресенье и они режут кабанчика. Ужинал нехотя — перекурил, первым поднялся из-за стола, подошел к книжному шкафу, рылся, отыскивая нужные книги, — хотелось проверить кое-что уже сейчас.

— Чем это наш шеф озабочен? — спросила Лина, убирая со стола.

Она называла его «папа», но, в отличие от дочерей, на «вы». И он не мог ее отучить и не мог понять, откуда это взялось и что означает.

— Комплекс, — ответил Василь Федорович, все шаря взглядом по полкам.

— Неполноценности? — пошутила Лина, хотя, наверно, только она поняла сказанное отцом.

— Давай поучи, ликвидируй неполноценность, — буркнул Василь Федорович.

— А чего же, шеф, вы сами говорили, что мудрость надо брать у всех.

— Так это же мудрость. И не называй меня шефом.

— А кто же вы? Я рядовая, вы председатель, руководитель... мой шеф, — проговорила с деланной наивностью.

— Выковыряла же такое... шеф. Мы не на работе.

— Но беседуем на служебные темы.

— Знаешь что, Лина...

— Вы председатель, начальник, и вам, как начальнику, сейчас желательно на меня рявкнуть. Я уже готова...

Грек рассмеялся:

— Ну, хорошо. Все ты у меня понимаешь. О комплексе речь. А если уж такая умная, так давай советы.

— О комплексе не могу, — вздохнула Лина, — не по моей части.

— А что по твоей?

— Вам, предок, не угадать.

— Ну, что за выражения! — уже не на шутку рассердился Грек.

— Не обижайтесь, папа, словечко и вправду поганое. Сорвалось. Хоть и не в обиду будь сказано, вы у меня предок умный. В комплексе разберетесь сами. А вот с клубом я могла бы подсказать.

— А что именно?

— Надо такой клуб, чтобы было весело.

— Как это? И откуда я вам этого веселья... Постановлением или по наряду?... Сами творите.

— Не творится. И не знаю почему.

— А мы когда-то умели.

— О, вы... Вы прошли все.— И оглянулась на Зинку: — Зинка, иди, сейчас папа будет рассказывать, как макуху ел.

— А ну тебя,— махнул рукой Грек,— Покажи лучше, где эти книжки.

— Вы эти книжки давно перетаскали к себе. Вон они.— И пошла впереди него. Из кабинета донесся их приглушенный разговор, а через минуту — громкий смех.

Фросина Федоровна, сама того не замечая, поджала губы. В ней шевельнулось что-то похожее на ревность, и не только ревность, это было сложное чувство, которого она не умела понять и которое мучило ее. Она ревновала мужа к самой его природе, противостоящей собственным детям и ей самой, хотя и знала и видела, что это не так, что он весь их без остатка, но замечала в нем нечто, чего не могла постигнуть. Между ним и Линой вообще существовала связь, которую они не смогли бы выразить никакими словами, у них был тайник без крыши и стен, но куда никто другой заглянуть не мог. И когда порой усядутся они возле телевизора или у книжного шкафа, начнут тары-бары, она, жена и мать, не в силах за ними уследить, и не столько уследить, сколько войти третьей в этот незримый круг, и, видя, что туда не могут войти и Оля и Зина, начинала беситься. Вот и сегодня приехала Оля, а он не спросил, как ей живется, какие отметки, а болтает о чем-то с Линой.

Василь Федорович чаще, чем родным дочкам, приносил Лине обновы — ведь сирота. Фросина Федоровна это понимала, сама жалела Лину, ее сиротство; бывало,

Лина начнет расспрашивать у нее о своих родителях, и Фросина Федоровна расплачется, обнимет ее, и заливаются слезами обе. И все-таки она не могла не заметить, что Лина хоть и уважает ее и даже поверяет свои тайны, но смотрит на своего дядьку-бабку как-то по-особому и пытается все больше отделаться шутками да колючками, вызывая нарекания со стороны Василя Федоровича. А потом они снова переглянутся с таким видом, словно владеют общей тайной, какую другим знать не дано, «не доросли», мол, как часто говорят сегодня по поводу и без повода.

— К тебе два раза заскакивал корреспондент из Киева. Такой настырный. Володька Огиенко приводил,— сказала жена.

— Женишок,— улыбнулся Грек.

— Уже не женишок,— вздохнула почему-то Фросина Федоровна.— Какой-то другой провожает... С усиками. Перебирает наша Лина, никак не выберет. По дядьке мерит кавалеров, еще, чего доброго, засидится в девках.

Фросина Федоровна сказала это по-житейски просто, а он покраснел, приятно стало, на самом деле почувствовал личную ответственность за воспитание Лины, большую, чем за родных детей; никогда не ждал от нее благодарности и не думал об этом, а теперь благодарностью ему становился ее сердечный выбор.

Хоть и просто сказала это Фросина Федоровна, прозвучало оно и как сожаление, слышалось в ее словах что-то похожее на грусть, на утрату... Это означало... что вот ищут таких, как Лина. А она в свое время не сумела этого использовать, и они, вот они с Греком, не сумели создать личного уюта. В молодости Федоровичи, как прозвали их на селе, перебесились как следует, любили и сражались друг с другом, даже перебили немало посуды, не поступаясь ничем, жили и боролись одновременно. Правда,—сейчас Фросина могла в этом признаться —зачинщицей по большей части была она, он все чаще уступал, но не признавая ее правоты и избегая ссор. Он был справедлив, искренен, но груб, и не было в нем многого, очень нужного в семейной жизни. Не умел и не знал, как сделать жене приятный подарок, не знал сотен мелочей, какие знают другие мужья, у которых (отмечала она с радостью) часто только и хватает умения преподнести эти мелочи, не

умел жить для себя, значит, и для нее. И хотя она по большому счету тоже жила так, все ж таки принесла в семью нежность, радость праздников, подарков, выразив в них ласку; впервые в жизни он получил подарок от нее — вышитую рубашку на день рождения, и впервые, когда появилась в их доме Лина (Фросина Федоровна была тогда уже в положении), попросила его привезти из леса на Новый год елочку. Он с тех пор изменился, но не слишком.

Фросина Федоровна знала, что если бы ей привелось начинать жизнь от девичьего порога, снова пошла бы за него, хотя за другим, может быть, было бы и спокойней и теплее. Она знала, что он крайне щепетилен, и если бы в его сердце зажглась новая любовь, он бы принял этот огонь не только как радость, но и как муку. Пытаясь охватить умом свои отношения с мужем и его самого, она даже терялась, так все было сложно, а может, и не сложно, а изменчиво, как речка, чью глубину до конца не просмотреть, не увидеть всего и не понять. Она верила ему, верила в его бескорыстие, искренность, знала, что он добрый, неподатливый, немного себялюбивый (а кто не себялюбивый?), вспыльчивый, и не помнила ни одного случая, чтобы он сказал неправду, может, иногда отшутится или уйдет от ответа, но и тогда не обманет, а вот засело же в ней что-то, заставляло ревновать к прытким молодницам в селе. И с чего бы это? По опыту других? Оттого, что он все-таки неравнодушен к женщинам и что такой вот — большой, уверенный в себе, полный жизненной жажды, а в то же время и наивный, неспособный на мелкие грешки, — может по-сумасшедшему влюбиться, или, чего она особенно боялась, его легко может в себя влюбить какая-нибудь опытная искусительница и делать с ним что вздумается. Фросинины бывшие подруги всегда завидовали ее замужеству: ее муж не пил, не гулял, был остроумен, умел тонко поддеть кого-нибудь и сказать комплимент красивой молоднице, к тому же слегка поухаживать, а она, жена, всегда находила в нем прочную опору, защиту и даже пример.

Поэтому ее вздохи означали, что ничего с молодости не сбывается, но что она другого не хотела бы и желала бы Лине найти такого мужа.

Они еще немного подразнили Лину ее вероятным замужеством. Фросина Федоровна все хотела выпытать,

кто тот смуглый парень, с которым она простаивала у ворот и вчера и позавчера, но Лина не призналась, потом по телевизору начали показывать фильм, и все, кроме Василя Федоровича, смотрели французскую комедию со стрельбой и поцелуями, а он затворился в своей комнате и листал найденные Линой книжки. Надо было выбирать проект комплекса, надо было думать, с чего начинать это (даже боялся произнести мысленно) объединение, от которого предвидел для себя великое множество неприятностей.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сегодня она впервые пригласила Валерия к себе домой. Надеялась застать Фросину Федоровну, хотела, чтобы он понравился ей, очень хотела, но матери не было: рядом вертелась Зинка, бросала многозначительные взгляды на Лину, словно это они вдвоем отхватили жениха, а потом засела за пианино, барабанила — хвасталась, не давала поговорить. Обругала Зинку, подошло время хозяйничать — мать задерживалась в поликлинике, Валерий остался в одиночестве; перелистывал ее альбом с фотографиями. Ему в этой уютной комнате было не очень-то уютно, и он потащил Лину на улицу. Уже смеркалось, горел закат, в центре зажглись фонари, и они шли на них, ломая тонкие пластинки льда, которым затянулись лужицы. Лина изредка поскользывалась, Валерий шагал широко, не спускал с нее глаз и о чем-то думал. Она не знала о чем, и это ее раздражало. До сих пор не могла разгадать его, каждый раз он казался ей иным, не таким, как накануне, это ей и нравилось и не нравилось. Вспомнила, как поначалу они чуть было не разругались: он стал вдруг с ней грубым, нахальным, сказал, что у нее сладкие губы, и поцеловал насильно и так быстро, что она не успела опомниться. Она бежала домой, злилась на него, клялась, что больше к нему не выйдет, а губы горели жаром, и по телу разливался томный страх, она чувствовала соблазнительную, влекущую силу этого страха, боялась, что он останется в ней навсегда, и злилась пуще. Уже дома, засыпая, вспомнила сияющие синим трепетным огнем его очи и угадала, что это было не нахальство, а смущение или какое-то испы-

тание себя. Последнее ей тоже не понравилось, и она решила считать это все-таки застенчивостью. Потом убедилась, что он на застенчивого не похож, но и испытывать таких грубых объятий ей больше не пришлось.

— Я не хочу в клуб,— вдруг сказала Лина,— пойдём куда-нибудь... Я знаю куда.— И решительно повернула налево.

Они вышли за село, а дальше дорога спускалась в ложину, из ложины вывела к пескам, засаженным молодыми сосенками. Тут и там темнели кроны больших сосен, самосейных, они росли здесь с давних времен, корявые, густые, но невысокие. Нигде не было ни души, в небе стояла полная луна, она то скрывала свой бледный лик в тучах, то снова горела ясно и чисто, освещая им дорогу. Шагали не рядом, их следы сходились, расходились, пересекались, словно предсказывая что-то на будущее. С ними шагала весна. В черных глубинах земли зашумели в скрученных корневищах первые соки, и распушились сережки на краснотале, который деда режут на корзины, и где-то там, в дальних краях, неведомо каким образом слышали все это соловьи, в их сердцах просыпались песни и любовный восторг, и уже птенцами пахли еще засыпанные снегом соловьиные гнезда в красноталах.

Валерий и Лина молчали. У них были такие еще короткие жизни (да и в тех уже немало того, чего трогать они не смели), и как ни любят влюбленные рассказывать про себя, их хватило только на три вечера, а потом мир их отношений наполнился фразами, молчанием, взглядами, значительными только для двоих и несущественными для остальных. И Лина снова и снова ощущала, что теряет рядом с этим парнем свою обычную ироничность, что наполняется чувством тревожным и праздничным. Они были вдвоем и осознавали это как-то особенно сладко и волнующе.

— Видишь, вон табун белых коней,— показала она на занесенные снегом сосны, поворачивая с дорожки на целинный, твердый, прямо-таки ледяной наст.— А на них пышночубые, белоусые парни. И ты... впереди.

— У меня усы черные... Будут, когда вырастут,— засмеялся он.— Тебе надо бы в театральный институт или училище... Педагогический для тех, кто любит шум и не боится испортить характер.

Ему стало даже завидно, что она улавливает что-то, недоступное ему. А он еще считает себя художником!

— Я люблю шум...— ответила она.— Тишину тоже. Как в библиотеке. Тишину и книги. Много книг. Они, как люди, переговариваются по ночам.

— Было в кино...

— Все-то ты знаешь,— бросила она.

— У моего отца немалая библиотека. И вообще в городе...— он не договорил.— Нет, я серьезно. Тебе бы надо куда-то...

Минутная зависть прошла, и он снова любовался ею, каждое ее слово ловил с особым вниманием.

— Серьезно — не знаю. Мать, когда рассердится, говорит, что у меня в голове ветер вперемишку с фантазиями. Ведь это плохо. А ты рисуешь по-настоящему?

— Важно не то, как я рисую, а что в этом видят другие,— сказал он.— Я никогда не стану художником. Я это понял. И рад, что понял вовремя. Мне хотелось рисовать всякие экзотические страны, и я рисовал их. Однажды написал горы в тумане, а их приняли за стога. Мы вообще очень часто обманываемся в молодости.

— Ты так... словно уже подал заявление на пенсию.

— Может, я и вправду старый. Почти год носился с одной идеей.

— Какой?

— Это неинтересно.

— Очень интересно.

— Мир, казалось мне, построен по одной схеме: атом, земля, солнечная система, галактика — они не могут лететь куда-то просто так, они тоже подчинены этому закону... Через движение и круг, как в бесконечно малом, так и в бесконечно большом. Круг совершает в нас кругооборот...

— А может... это и правда великое открытие? — сказала она шутя и всерьез одновременно.— Надо рассказать ученым. Станешь знаменитостью. Тебя будут цитировать.

— Об этом догадывались уже греки.

Некоторое время они шагали молча, только снег поскрипывал под ногами. По обе стороны стояли сосенки, они здесь росли редко, семьями.

— Так ты собираешься поступать в художественный институт? — спросила она.

— Нет... Попробую в технический... На целине немного научился управляться с техникой, получил шоферские права, — сказал он просто.

— Почему же не пошел шофером? Катал бы меня...

— Хочу подготовиться в институт. Я плохо учился... Кое-как... Физики, химии не знаю совсем... Забыл и то, что знал. Или, как говорят, не знал, не знал и то забыл.

— Но ведь ты же рисуешь и сейчас?

— Для себя.

Они оказались на невысоком, срезанном холме и остановились там. В мгновение ока раздвинулся мир и стали ближе звезды. Они были еще холодные, словно вбитые в синий лед гвоздики, но уже чуяли весну. Далеко внизу в серо-белой полутьме угадывались и Десна и леса за Десной, но только угадывались — все пространство было затянуто мглой.

Валерий озирался с любопытством, ему не приходилось бывать здесь. На склоне холма росли невысокие, кряжистые дубы и несколько елей — они стояли гуртом, — и серело что-то в центре холма. Валерий приблизился и увидел каменный крест. Дальше стоял еще один, точно такой — низенький, вросший в землю, выщербленный и поцарапанный. Он потер рукой холодный камень, нагнулся и с трудом разобрал высеченные на граните, сточенные временем цифры: «1637».

— Старина какая! — удивился он.

— Одни говорят, здесь когда-то стояла крепость, другие — церковь, — рассказывала Лина. — На старом фундаменте была новая церковь, ее развалили перед войной, а в войну немцы оборудовали на паперти гнездо, стреляли из пушек и пулеметов, не пускали наших через переправу.

Валерий сел на крест, глубоко осевший в землю, но Лина решительно потянула его за рукав.

— Встань. Как можно!

— Почему?

— Человек ведь...

— Там уже ничего нет. Одна пыль.

— Все равно — человек!

— Где же он?

— Ну... там... Место... Куда-то ведь он девался. Земля его забрала.

— Ты что, веришь в душу? — шутливо спросил он.

— Не в вере дело. А как бы тебе... Вот и Шевченко — отец нам часто читает, — очень ему не нравилось, что могилы раскапывают. Святыни все-таки. Словно бы тот человек и не жил. И мы ведь умрем...

Валерий подумал о матери, и мороз пробежал у него по спине.

— Ты знаешь, если бы всех поднять и поставить — места не хватило бы на земле. Да и не все заслуживают святого отношения.

— Может, и не все, — согласилась она, но тут же и возразила: — Но у каждого что-то было... Плохое и хорошее. Наверно, и он, — показала она на крест, — когда-то любил.

— Любил? — ошеломленно повторил он. — А что осталось от этой любви?

— Не знаю... Другая любовь. И так до бесконечности. До нас.

— Наша — это наша, — сказал он невразумительно и притянул ее к себе, хотел поцеловать, но она уклонилась. Попытался еще раз, и она уклонилась снова.

Он удивился, ведь только вчера они целовались на улице в пяти шагах от фонаря, где их каждую минуту могли увидеть, и она не вырывалась. А теперь ее лицо было строгим, бледным (а может, это луна так осветила), и губы сурово сжаты, и глаза неприступны. Хотя он и не видел в них ничего, только черноту, но неприступной была и сама чернота.

— Валерий, — сказала она. — Я хочу... чтобы ты обещал мне говорить правду. Только правду. А я обещаю тебе. Давай закроем глаза и подумаем вместе: если я обману, то я плохой человек и пусть со мной случится все самое плохое. И тогда кара станет настоящей, она будет подстерегать. Обманывать друг друга можно только в шутку...

Валерий улыбнулся в душе, но волнение Лины передалось и ему.

— Может, ты полюбишь другую или с нами что-то случится — я прощу тебе все за правду. Может, и не надо будет прощать... Ты снова скажешь: выдумала, вычитала. Ты такой умный, много ездил и видел... В мире столько клятв... Так что это не клятва... А просто... я не перенесу неправды.

— Я тоже,— сказал он, преисполняясь громадной, даже слезы выступили на глазах, нежностью и почему-то жалостью к Лине.— Я обещаю...— Почувствовал, что ему чего-то не хватает.

Его искренность искала свидетелей — тех, какими чаще всего клянутся и какие потом ничего не могут доказать: звезд, неба, речки... Ими клялись самые первые влюбленные. И все-таки свидетель явился. Из необозримой синей бездны вырвалась светлая точка, прочертила небо, упала за Десной, за лесами. Лина вздрогнула, чего-то испугалась, он поцеловал ее, но поцелуй был холодным, торжественным.

Они сошли с холма притихшие, задумчивые, не знали, о чем говорить, как вернуться к той легкости, беззаботности, с которыми недавно, взявшись за руки, бродили по селу...

В ночи что-то прозвенело, пропело над селом, и к утру снега потекли ручьями. Ручьи клокотали, бежали со взгорков в Лебедку, а она, истощенная и квелая, была не в силах сорвать ледяной панцирь, и талая вода помчалась поверх него, неся среди пенных шапок ключья высушенного на морозе силоса, щепки, прутья, прошлогодние гнезда. Весна пришла как всегда невидно, тайно. Щебетали синицы, ворковали голуби на крыше винарни — старого островерхого здания в конце села над прудом, торопливей, чем всегда, по-весеннему бодро вызванивали молотки во дворе возле мастерских. У винарни на длинном ошкуренном бревне сидели мужики. Пришли они сюда по наряду — должны были перелить вино, выкатить старые пустые бочки, повыкидать трухлявые, прибрать. Хватило бы трех-четырех человек, а их сидело девять: частенько протирают штаны на колоде, всякий раз, как в винный погреб приходит Валерий, наперебой предлагают свои услуги. Двое — пьяницы, остальные пьют при случае, но в поисках случая весьма изобретательны. Угощаются они из большой медной кружки, оставленной дедом Шевелием, — мерой в пол-литра.

Увидев Валерия, все разом поднялись, почтительно поздоровались, кое-кто даже притронулся к шапке. Ему приятна была эта уважительность, вызывала почтение к себе самому, хотя он и догадывался, что это скорей

почтение к тому зелью, какое играет в бочках, а частично перешло на него по наследству от Шевелия: кое у кого он и вправду вызывает удивление, потому что не пьет сам, а как можно ходить возле такого добра и не угоститься? Напиток, правда, невысокой пробы — вино в основном яблочное, это Грек, у которого ничего не пропадает, распорядился поставить пресс и яблоко-резку.

Валерий отпер винарню. Держась за поручень, спустился по крутому спуску. Ступенек не было — так легче выкатывать бочки, мужики двинули за ним.

— Разбирайте пресс и выносите наверх, — велел Валерий. — А потом разберем вот эту стену — грибок ее сожрал.

Мужики глубоко вдыхали терпкий кислый запах, значительно переглядывались.

— Валерий Антонович, разве ж можно — не окропивши душу? Да мы и не потянем, — просили они смиренными голосами.

— Ну, хорошо, по маленькой, — сдался он.

Маленькая — обливная кварта на двести пятьдесят граммов. Он подал шланг Родиону Голубу — পুলিশному Тромбе, худощавому мужику с цыганскими глазами, — тот не присосется.

— Графского, — снова стали просить мужики. — Такой день... Весна. Воробьи и те пьют из лужи.

Наверно, и вправду была виновата весна, что он позволил нацедить им графского — грушевого вкусного вина, шедевра деда Шевелия.

Мужики выпили по кварте и принялись за дело. Работали как одержимые, и Валерий не присматривал за ними, знал: к бочкам самовольно не подойдет никто.

Он поднялся наверх. В саду звонко били синицы: тинь-тинь-тинь — и доносился голос Раи. Она уже что-то делала, небось обивала прошлогодние гнилые яблоки, чтобы закопать их вместе с вредителями. Она пела хорошо — про дивчину, которая выходит замуж и навсегда прощается с родной хатой, кланяется батьке и матери, порогу, где ступали ее ноги, кринице, что умывала ее личико, и уж «больше не будет, не будет...», тополям, где стояла с милым своим, — песня возвращала его ко вчерашнему вечеру, к их с Линой разговору. Услышь он эту песню со сцены, не взволновала бы она его так, а здесь песня была как голос птицы. Да еще

и текла из того уголка, где росли райские яблоки, и это — Рая, райские яблоки — тревожило его еще до того, как он познакомился с Линой, и, как ни странно, не заглохло до конца и сейчас.

— Так что, Гнат, самое сладкое на свете? — балагурили за его спиной мужики.

— А что? Должно быть, любовь.

— Не-е. Вино.

— Конечно. Как на чей вкус. На чей, так сказать, возраст. Вот спроси у Валерки...

— Валерка может ошибиться, он в вине не тянет. Чтоб не ошибиться, надо продукта глотнуть.

К Валерию подошел Голуб.

— Хорошо поет девка, — сказал, затапывая сигарку. — Вот так и твоя мать пела.

— Вы знали маму? — удивился Валерий.

— Знавал. Извиняй, конечно, и ухаживал немного... Правда, какое там ухаживание. Было мне... — он наморщил низкий лоб, — лет пятнадцать. Ей столько же. В этом вот саду яблоки собирали. В такую самую пору, после зимы. Это в оккупацию. Я — для свиней, а она — бабке. Стыдилась до смерти.

— Баба Мотря рассказывала, что моя мама со своей матерью — моей бабкой — жили у них в войну. Им не удалось эвакуироваться. Но я не думал... что жили так голодно.

— Нуждались. У Сисерки, то есть у бабы Мотри, у самой было не густо. А вишь, выкормила. Хлев продала и амбар рубленый... Крапиву ели и вику...

— Родион, ты что, в заместители начальству набираешься, а ну, тяни лестницу, — окликнули Голуба, и он ушел.

Управились рано. Валерий запер винарню и отправился домой. Усадьба бабки Сисерки была в противоположном конце села, за греблей. Наверно, у Сисерки была самая старая хата в селе: длинная, под соломенной стрехой, она завалилась на один бок, сени покосились в другой бок, казалось, кто-то хотел перекрутить хату на перевясло, да не осилил.

Спервоначально после города и геологической партии Валерий думал, что не проживет у бабки и недели. Все ему здесь казалось одичавшим, всем он брезговал. В первую ночь бабка постелила ему не простыню, а заштопанную и залатанную ряднину. А когда ушли со-

седки, такие же старые, как и она, которые приходили поглядеть на него, и в хате остались Сисерка, он да сверчок, бабка то ли покаялась, то ли похвасталась, что у нее в сундуке еще пять новых, ни разу не стеленных ряден. Весь вечер, пока не заснул, он не мог избавиться от мысли: «Вам семьдесят семь, на что беречь эти рядна?»

Правда, утром он увидел, что и эта, залатанная ряднинка, чистая, на ней даже сохранился рубчик от утюга. Платок бабка носила старый, с заплатой, заворачивая залатанный конец в испод. Миски у бабки были щербатые, обливные, чарки маленькие (это неправда, сказала бабка, что когда-то много пили, хлебоборб пил только на храмовый праздник из такой вот чарочки), толстого зеленого стекла, в сенях еще пылились жернова, а в кладовой — ступа. Она уже рассохлась, и бабка в ней ничего не толкла, и все тут обветшало и требовало ремонта — перекосило рамы, и ни одно окно не отворялось, скривились косяки. Валерию пришлось подкапывать в сенях пол, чтобы открыть дверь. Был у бабы Мотри небольшой огородец, одиннадцать курей, садик, в котором тоже доживали свой век замшелые сливы и суховерхие вишни. С этого огорода, с курочек, кое-какими приработками собирала она деньжата и складывала на книжку, не для себя, а для племянницы, которая после неудачного замужества осталась с двумя девочками. Контролерка из сберкасы выболтала тайну бабкиного вклада, что там уже две с половиной тысячи. «Девчаткам на жизнь, кто знает, какая она у них там будет», — пояснила бабка соседкам, когда те стали ее подзуживать. Этого Валерий не мог взять в толк. Но мало-помалу проникался все большим уважением к бабке Мотре. Может, только в одном и обманул ее. Бабка страх как боялась грома и просила, чтобы привел электрика и поставил громоотвод, в селе уже было немало хат с громоотводами. Валерий сказал, что управится сам, протянул от дымовой трубы к старой груше антенну, увенчав ее подсолнуховым будылем. Так и торчала над грушей подсолнуховая палица, а бабка спокойно спала в грозу.

Когда Валерий вошел в хату, баба Мотря сидела за столом у окна и вдевала нитку в иголку. Она уже плоховато видела, но справлялась без очков. Была высокая, слегка сутулая, с грубым, посеченным морщинами

лицом, в котором еще и теперь угадывались красивые черты, а в фигуре — достоинство.

— Ты уже тут, а я ужина не сварила,— всполошилась старая.

Валерий молча подошел, взял бабкину руку с ниткой, нагнулся и так же молча поцеловал.

— Ой, что ты,— ужаснулась Сисерка и поглядела на него испуганно.

— Спасибо вам за маму,— сказал он.

Сисерка заплакала.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Наука еще не придумала таких весов, на которые можно было бы положить материальные выгоды и вред, который иногда приносят эти выгоды людям. Такими весами становится сама история. Однако она может взвешивать только задним числом, то есть то, чего уже нет,— подбивает баланс в ту или иную сторону. Скажу по правде, мне становится грустно, когда я думаю обо всем этом: о специализации и комплексах...

Так начал свое выступление Василь Федорович на районном активе. Он видел: насторожился зал, повернул в его сторону головы президиум, только Ратушный смотрел прямо перед собой и черкал что-то в блокноте.

— ...Они уводят нас все дальше и дальше от хлебороба, этого мастера на все руки, который умел и телегу смастерить, и поле вспахать, уводят от природы и, если хотите, от земли. Специализация — она обедняет человека. И частично и полностью. Хлеборобу, бывало, и жито омоет душу, и лен в ней зацветет, и жаворонок пощекочет, и перепелка совет гнездышко. Эх, как же она славно вавакает — перепелка! Теперь же позиция такая: сей только гречку или сажай картошку и дави все гербицидами.

Наступила такая тишина, что, казалось, можно было услышать дыхание каждого из восьмисот человек в зале. В глазах председателя застыли испуг и отчаяние, и даже Ратушный отложил ручку. А Грек вел свое, шел напролом, словно бы и не замечал ничего.

— ...А многие ли из вас были на настоящем мясозаготовительном комплексе? Белые халаты, шапочки, пока не вымоешься в душевой, тебя туда и не пустят. А какая

же в этом скрытая суть? Телячий освенцим, вот что это такое. Правда, телят кормят. Хорошо кормят. И нагоняют свежий воздух. За год телячьи легкие, телячье сердце и желудок должны отработать столько, сколько бы они отработали на лугах за три года. Скотина не видит солнца, им даже отрезают хвосты, чтоб не мешали.

На этом Грек перевел дыхание и еще раз взглянул в зал, каково, мол, впечатление. Вот тогда и застучали стулья, все загудели, и кто-то с места, кто именно — Василь Федорович не разглядел, крикнул:

— Ты же первый перешел на молочное направление, а три дня назад провозгласил комплекс!

Грек поднял руку.

— К этому и веду. Это наш единственный путь — индустриальное село. Правильный путь. Веду агитацию против собственного сердца. И вижу все глазами разума. Назад пути нет. Вот туда, о чем сердце плачет, к тихой леваде, плесу с утятами, арбе с сеном, ниве с васильками. Вспомнил, а они уже замелькали перед глазами, васильки. Ей-богу, красиво. Но что мы выращивали на той ниве с васильками? По восемь центнеров? А сейчас, когда убили гербицидами васильки, сколько даем? По тридцать пять. Но ведь и этого мало! Значит, надо сеять то, что лучше растет на наших землях, и чтобы стали они... как та гидропоника. Именно так. Потому что должны дать хлеба намного больше. И больше мяса! Того самого, мраморного... Все хотят такого. Потому что видят по телевизору, как бельгийский бизнесмен ест мраморное мясо. А его, скажем по правде, еще и простого не всюду хватает. И все хотят карельской березы мебель и туркменские ковры — реклама старается! — и книжки в красивых обложках, хотят жить лучше, и разве не наша коммунистическая обязанность сделать жизнь лучше? Такова наша позиция и наша думка.

Он хотел сказать, что об этом ведет речь не впервые, и вызвал кое у кого неприязнь, хотел напомнить, но сдержался и только добавил после некоторого молчания:

— План этот надолго, и хочется думать, что выполним мы его не только на бумаге. Будем им руководствоваться повседневно и разумно, заведем комплексы, но так, чтобы они не стояли пустыми.

Василь Федорович посмотрел на президиум. В его взгляде было что-то мальчишеское, озорное. В зале вспыхнули аплодисменты. Они прокатились, как водопад, и отозвались в длинном коридоре, двери туда были отворены — в зале духота. Ему аплодировали и за выступление, и за хитрое его построение, которое спервоначалу сбило с толку почти всех. Ратушный улыбался: хоть немного и перегнул Грек, но такой уж у человека характер.

Василь Федорович развернул записку, которую прислали ему во время выступления, пробежал глазами. Сразу уловил ехидный смысл, хотя и догадывался, что это первая колючка на дороге, на которую он ступил. Еще не было ничего — ни общего собрания, ни комплекса, а уже что-то становилось на его пути.

— Тут спрашивают,— усмехнулся он,— правда ли, что в нашем колхозе получает зарплату человек, переводящий для меня статейки из американских да английских журналов. Кто-то подписался...— он еще раз взглянул на записку,— будто кольцо ливерной колбаски прицепил... Дешевая колбаска. Мог бы я и не отвечать, но скажу: в Америке заведены институты, где переводят гектары статей из наших журналов и газет. Вон я опубликовал свои соображения в киевском агрономическом вестнике, так сразу же восемь капиталистов прислали запросы... А у нас есть дурни, которые... Ну, сами понимаете, на что способен дурак. Или ты думаешь,— посмотрел он в зал,— что я с методом сеянья рапса посею и науку, как по-ихнему жить? Рапс я запахиваю и теперь сею по нему яровые, а наука жить у нас своя. Правильная наука! И специалиста держу на зарплате. Он собирает и обрабатывает сельскохозяйственную информацию.

Грека проводили хлопками до самого места и долго оглядывались на него. А он сидел, посмеивался в душе и уже забыл про записку с ехидным вопросом. Думал о Лине. Это она, когда он позавчера ломал голову над выступлением, в обычном для них обоих шутливо-ироническом тоне процитировала древнего оратора, его речь в защиту Брута: «Можем ли мы помиловать Брута, Брута, убившего Цезаря, Цезаря, который накормил и напоил нас? Можем ли мы помиловать Брута, Брута, убившего Цезаря, Цезаря, который донес имя римлян до самых дальних пределов земли...— А потом резкое,

как взмах ножа: — Можем ли мы убить Брута, Брута, убившего Цезаря, Цезаря, который надел на нас золотое ярмо? Можем ли мы убить Брута, убившего Цезаря, который поставил нас всех на колени?..»

Грек и сейчас повторял эти слова. Они сбили с толку римский форум на целых две недели, поднялись крепостным валом перед противниками Брута. Конечно, ему, Греку, возводить стены нет нужды, но от искушения использовать подсказанный Линой прием он удержаться не смог. Брут и комплексы, небо и земля, но очень уж подмывало кое-кого подразнить. А недруги, он знал, у него есть и в этом зале и в селе.

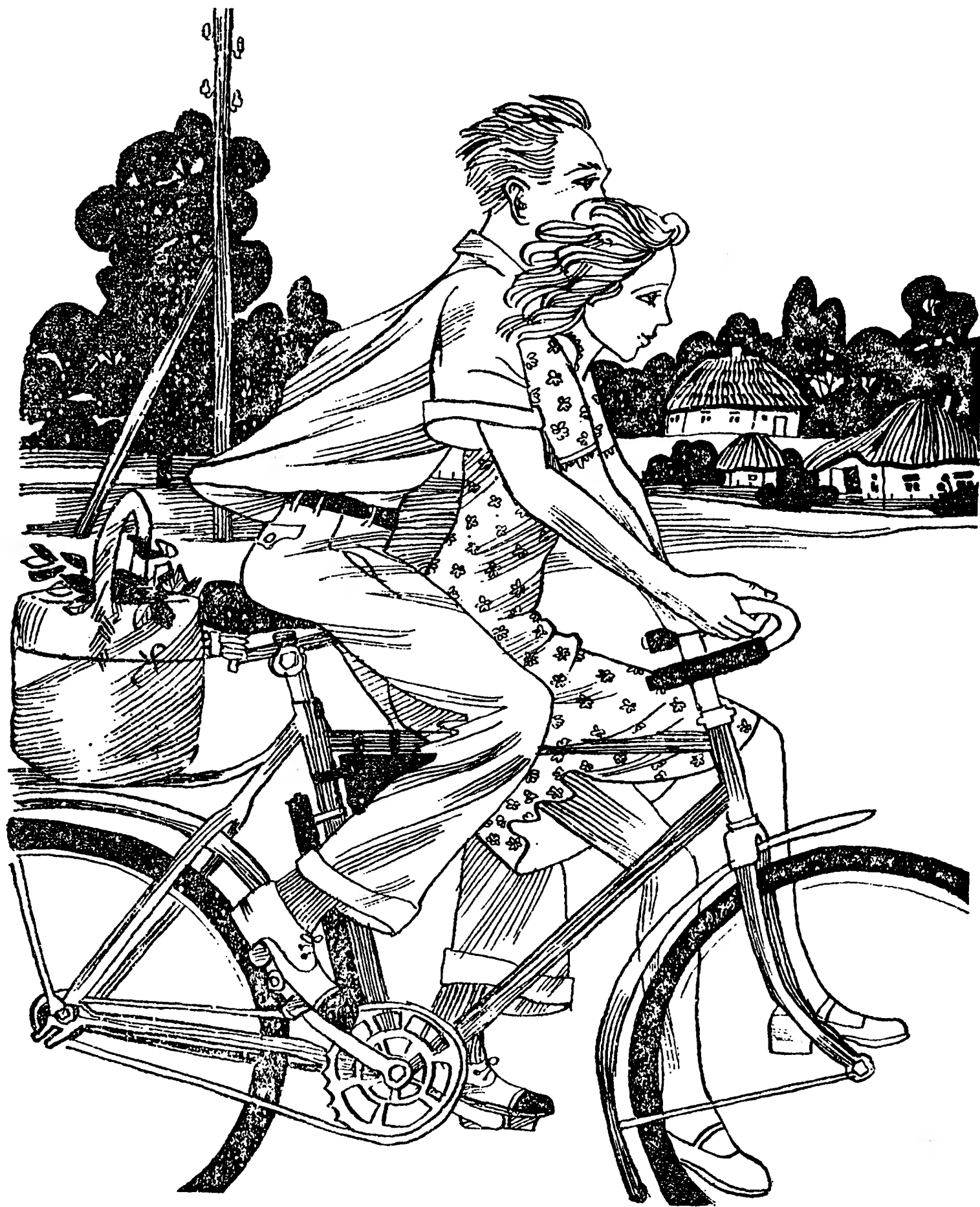
Кто-то легко дотронулся до его плеча и сунул в руку записку.

«Уважаемый Василь Федорович, хоть я еще и теперь в долгу перед вами за рогатый велосипед, но не подвезете ли меня и сегодня? Если согласны, почешите левое ухо. Лида Куценко», — прочитал он. Удивленный, перечитал еще раз, оглянулся. Никакой Лиды Куценко он не знал. Рука невольно потянулась кверху, но не к уху, а к заросшему затылку. И вообще кто из этих уважаемых людей мог подписаться вот так — Лидой? Чья-то неслепая шутка? И вдруг словно искра пронеслась: Лида — это же Лидочка! Он оглянулся снова, но не увидел ни одного женского лица, похожего на Лидочкино. Правда, наверху еще балкон... Василь Федорович ощутил в себе легкую, тревожную волну. И, уже подчиняясь, какому-то внутреннему приказу, дотронулся до левого уха. Теперь он думал только про записку. Слушал ораторов, а мысли невольно вертелись вокруг далекого, забытого, нежного...

До конца совещания еще далеко, было время прополоть воспоминанием обмежки, по которым ступали его и Лидины ноги. Порой память заводила в глухие уголки и даже в заросли, но каждый раз находила оттуда дорогу.

Лидочка была его соседкой, и помнил он ее с малых лет. Верней, почти с малых лет. Они с матерью были беженцами, как называли этих людей в селе, эвакуировались из-под Львова, где отец Лиды служил старшиной на сверхсрочной, фронт нагнал их в Сулаке, и они поселились в старой брошенной хате напротив Греков. Жили бедно, он помнил полосатые, из матрацкого тика, Лидочкины платья. Но освоились они быстро и научи-

лись сулацкой, замешанной на диалекте, речи. У Лидочки был голос, и с первого класса она пела в школьном хоре, и некоторые слова не давались ей долго, плохо их произносила и вместо «Льон мій при горі, льон мій при крутій» пела: «Йон мій пригорів, пригорів, йон мій прикрутів, прикрутів». Ее прозвали Йоном. После войны вернулся Лидин отец, они построились, а с Греками почти породнились, помня каждодневную помощь, какую те оказывали в войну. Привлекла же Лидочка его внимание — и привлекла особым образом, — когда ему исполнилось шестнадцать и он уже начал похаживать на посиделки — еще не на те, настоящие вечерние посиделки, а на их, подростковые, где ребята по-детски хохотали до одури, щекотали девчат и гуртом перехватывали тех, у кого уже круглились груди (каждый в отдельности еще не отваживался пройти до Лебедки с девушкой), и несли это ощущение домой, и потом не спали до полночи, чувствуя, как разливается сбереженное в ладонях тревожное тепло по всему телу. Лидочке тогда было... неполных двенадцать лет. Длинноногий гусенок с белой куделью волос кидал в него из-за забора камешки, таскал с дерева, но так, чтобы он видел и погнался за ней, вишни, вертелся перед ним на одной ножке во дворе, распевая на всю улицу: «Скакал казак через долину». Однажды она взяла у него пилку-ножовку, а у ее матери он узнал, что пилка им ни к чему. Тогда он и догадался обо всем и гнал ее нещадно, грозил и сердился — боялся, что дознается кто-нибудь из ребят или девчат и пропустит его через такую зубодробилку — не покажешь потом свою помятую личность на посиделках. Потом он, лелея мечту доказать одну мелкую судебную ошибку, поступил на юридический факультет университета, но, пока проучился год, рвение уменьшилось, и разочаровался он в юридических науках и подался в сельскохозяйственную академию, домой наезжал редко и редко видел Лидочку, почти забыл про нее, а она и сама притихла, росла, тянулась белыми кудельками к вишенкам под тыном; когда он явился после третьего курса на каникулы, то заметил на дороге двух девочек-подростков, которые бежали, сцепившись мизинчиками. И понял, что заметил их не только он. Девочки были как картинки. Хлопцы пытались взять их в облаву, но они легко выскользали из-под рук, мелькали смуглыми икрами, рассыпая негромкий смех.



Он едва узнал в высокой, с белыми кудряшками девочке Лидочку, и в ту же минуту у него крепко забилося сердце. Теперь она убегала все время и от него. Но оставалась его соседкой, и, наверно, имело над ней силу то давнее, что носила она в сердце и что заставляло ее целиться в него камешками. Она попросила, чтобы он научил ее кататься на велосипеде, и он учил, гоняя круторогий драндулет из конца в конец глухой

улучки, поддерживая одной рукой седло, другой — Лидочку. Лидочка часто падала в его сторону... А потом он догадался, что она умеет ездить. И тогда посадил ее на раму, и они поехали за маслятами — молоденькими, блестящими, что росли в Паничевых Песках, мчал ее по берегу, над Лебедкой, мимо леса, и просвеченные солнцем сосны мелькали, будто штакетник, — пятна солнца и черные восклицательные знаки, — и пронзительный ветер бил в лицо, обдавал белой пеной ее легких и пахучих волос. Она сама была для него в тот момент пронзительным весенним ветром, невиданной, залетной из далеких краев удивительной птицей.

Потом они прислонили к дереву велосипед, постояли среди шумливой солнечной реки, а сосны качались над ними, как мачты, зеленые на верхушках, гибкие, как камышины, и вместе с ними качались на вершинах гнезда кобчиков.

— Достань мне кобчиково гнездо, — вдруг велела она, ее брови капризно изломились.

И он, послушный, как мальчик, полез, и тонкая сосна скрипела и гнулась, опасно раскачиваясь, и он качался вместе с нею на сумасшедшей высоте, а когда оглядывался, видел белое пятно — ее поднятое лицо со стиснутыми губами. Она не крикнула, не охнула, даже когда слышался предательский треск. Но сосна не сломалась, и он спустился вниз с четырьмя яичками в густом красном накрапе. Она смотрела на него, вбирала его в себя расширенными зрачками. Но он не вошел в этот взгляд. Лидочкина мать как-то сказала Василевой матери при нем:

— Не влюбилась ли в твоего студента моя красавица?

Она и вправду была для него в тот момент словно подхваченная ветром залетная птица (а разве можно обижать птицу!). Хотя, по всему было видно, Лидочка готова на все, недаром ведь она подвергла его такому опасному испытанию. Понимали это оба, но Лидочка тоже не совершила следующего шага. Она чувала, что еще одно, ничтожное движение с ее стороны станет для них той границей, после которой они уже не будут такими, как сейчас. И еще запомнился ему один момент... Как-то вечером он подошел к отворенному в сад ее окну, и она спрыгнула в его протянутые руки. Цвел жасмин, шумело под ногами сено — Лидин отец разбросал его

для просушки, и ее сухие губы жарко и неумело прижимались к его губам. Но вдруг она вырвалась и убежала в дом. Он стоял и ждал, что она выйдет снова, знал, что она яростно борется с собой, и положился на ее сердце, на ее волю.

Он тоже боролся с собой. «Она еще ребенок», — билось где-то в глубине и замирало под взглядами обеих матерей. Он слышал их беседу. «Не влюбилась ли...» И подумал, что должен поговорить с родителями. И не смог. Они бы ахнули, а может, и обсмеяли его. Слишком рано. Да и в себе он не уверен. Хорошая девочка... Заметил двух хороших девочек, но одна живет ближе. Нет, он должен проверить себя. Тогда ему казалось: это хорошая, честная рассудочность.

А потом Лидочка куда-то исчезла. Уехала. Он и досадовал и сердился. Он был еще слишком молод, чтобы понять — она убежала от себя. Ему казалось — от него. Лидочка уехала, не сказав ни единого слова и не оставив записки. А он, превозмогая себя, не посмел написать: боялся, что прочитают Лидочкины родители. И ждал письма от Лидочки, ведь она знала адрес. А потом перестал ждать, не поехал домой на последние каникулы, и погас в его памяти образ Лидочки, вытесненный другим.

Письмо пришло только через три года, Лидочка спрашивала, как сй быть, ее зовет замуж «тот самый Лемешко, лесничий». Лидочка спрашивала совета, но своим советом он должен был ответить — женится или не женится на ней сам. А он уже выбрал другую, по своим мыслям, его закрутила иная любовь — с Фросей, — они сходились и расходились, ссорились и мирились, и он не ответил Лидочке. Кроме того, ему почему-то не понравилось, что она называла жениха по фамилии и очень неприязненно писала о нем.

И тогда вдруг она приехала. Он жил на квартире на далекой окраине города, если можно было назвать квартирой каморку, которую пристроили к хлеву вдвоем с товарищем. Платили за нее смехотворно мало, но зимой сами должны были заботиться о дровах для дырявой чугунной печки, весной вскапывать огород, а осенью стеречь хозяйский сад. Тогда как раз стояла осень. Товарищ еще не вернулся с практики. Лидочка не призналась, что приехала к Василию. Но ей было негде остановиться, и она прожила у него четыре дня. Вер-

нее, не дня, а ночи. Они проскальзывали через сад, и хозяева не догадывались, что сторожей у них в саду двое.

Как назло он поссорился с Фросей. И, как все влюбленные, считал, что поссорился навсегда. Взял Лидочку за руку и кинулся с нею, будто в омут. И если бы она кинулась за ним... Но она, видно, испугалась его безрассудства.

За лето он заработал много денег. Много — по студенческой мерке. Не зная, как их красиво потратить, купил шоколада, и они его жевали, словно картошку. Водил ее в театр, брал напрокат на прудах лодку и катал среди осоки в протоках. И они целовались, целовались... Приходили домой, он стелил ей на своем топчане, а сам ложился на постель товарища, а потом сразу же переходил к ней. Это были шальные ночи, необычайные, ночи объятий и слез, упреков и жалоб, и грубого трепета, и каменной замкнутости. Чем больше он терял голову, тем крепче замыкалась она, становилась неприступной и холодной, как льдинка. Маленькая, хрупкая, тонкая камышинка, несламываемый стальной прут. Может, ее отталкивал грубый напор, может, коробили эти тяжелые ночи, или ждала от него горячих слов, а может, переживала его новую любовь, надеялась, что он расскажет ей все. Сюда приплеталась и вечная щепетильность сельских девчат, которые спят с парнями на сене, но не позволяют им ничего, с другой стороны, ее тонкая фантазия рисовала ей все иначе, красиво и нежно. Правду говоря, на теперешний взгляд, он тогда был не только страшно неопытен и груб, а не сумел, не смог взять ее ласками и любовью. Может, потому, что обманывался этой любовью, что в нем клочкотала неистраченная мужская сила (временами он готов был убить Лиду), потом даже стыдился о таком рассказывать товарищу, чтобы тот не поднял его на смех, что из мести бросился к Лиде. Видно, так. Наверняка так, потому что в первый вечер, в первую же ночь он дважды оговорился и назвал Лидочку Фросей. Это было ужасно, оскорбительно. Фросино имя мелькнуло, как тень ночной птицы во мраке, но тем это было большее для Лидочки, она боялась, что та весь век будет маячить над ними, он должен был стереть эту тень своими словами. Она ждала его признания, а Василь ничего в своем сердце не нашел. Несколько раз Лидоч-

ка выбегала в сад. Он выходил за ней, бросался на траву, и они слушали, как падают яблоки, как лениво брешут по околице собаки. Им было чего-то стыдно, она чувствовала себя виноватой и не смела поднять на него глаз.

А потом они встретились с Фросей, Лидочка представилась ей как землячка Василя. Но слишком уж застыдилась, покраснела, и Фрося догадалась обо всем.

В тот же вечер Лида уехала. Конечно, она ждала письма. И он собирался ей написать. Но не написал. Когда она уехала, почувствовал сожаление и печаль, ему казалось, что он любит Лидочку, но он любил и Фросю, и эта любовь оказалась настоящей, ближней. Он вдруг заметил, что, вспоминая, сильно ошибся. Подвела память, времени прошло столько, что нетрудно и перепутать. Письмо про то, что Лидочка выходит замуж за Лемешко, пришло позже, тогда она приезжала к нему просто так, он даже посмеялся над тем письмом, думая, что Лидочка его пугает, ставит перед выбором. Лидочка вышла за Лемешко. Слышал он от ее матери, что Лидин муж пошел в науку, резво шагает в гору по научным ступеням, а потом Лидины родители распродались и перебрались ближе к дочери. И вот теперь записочка от нее...

Он шел к своей машине, которая стояла за Дворцом культуры, и в конце аллейки заметил высокую женщину в светлом, городском весеннем пальто. По пальто и догадался, что это она.

Да, это была Лида. Похожая и не похожая, поблекшая, но не до такой бесцветности, что съедает всю красоту, она была оживленной и еще привлекательной. В конце концов, он не слишком и присматривался к ее лицу. Может, потому, что не мог он соединить эту высокую женщину с накрашенными властными губами с бывшей Лидочкой, да к тому же его растревожили воспоминания, а может, боялся показаться неделикатным. А на самом деле ему почему-то не хотелось этой встречи.

Много воды утекло со дня их разлуки, но они сели в машину, словно только вчера расстались. Хотя знали оба, что ощущение это обманчивое, и вода, которая уже не раз испарилась, плавает над ними облаками, и ретушь, положенная годами на когда-то чистые и юные лица, убивает память.

— Сыпанул ты сегодня кое-кому жару за голенище,— говорила она, пока он разыскивал ключ и разогревал мотор.— А я этого от тебя и ожидала.

— С чего бы? — чуть недовольно спросил он.

— Наслышалась уже про тебя. Неслух, своевольник.

— И вообще мужик «с приветом»? — подхватил он.

— Вот и сегодня Куница поминал тебя. Пророчил неурожай на осень, полный крах.

— Поминал? — удивился он.— А я и не слышал.

И чуть покраснел: когда выступал Куница, он весь был в воспоминаниях. Хорошо, видно, задурила она ему голову, даже не; услышал речи начальника райсельхозуправления.

— Доживем до осени — увидим. Так куда тебя везти?

— Как куда? — удивилась она.— В Сулак. А дальше уж я как-нибудь доберусь сама.

— Куда дальше?

— В Широкую Печь. Я там агрономом. Думала, знаешь.

— Не знал...

— Конечно, откуда знать всех агрономчиков захваленному председателю. Хоть мы и соседи.

Они уже ехали. Он подумал о присоединении Широкой Печи к Сулаку. И подумал как-то по-особенному не-радостно.

— А ты давно в Широкой Печи? — И повернул на центральную улицу города.

— Полгода. А до этого год работала в Коропском районе.

— Не понимаю,— выпустил он на мгновение руль и развел руками.— У тебя же муж доктор наук. И ты, кажется, что-то где-то преподавала.

— Бросила я его... Или он меня,— добавила она торопливо.— Увалень, скупердьяй, зануда. Заел мою жизнь. А работала я не в учебном, а в научно-исследовательском агрономическом институте. Лаборанткой.

— А дети? — все с чем-то не соглашался он.

— Что дети... Женились.

— Твои хлопцы женились?

— А что же ты думал? Я же рано вышла... И они... ранние... Поприводили невесток. Каких-то ленивых... И сыновья такие же. Все чтобы на дармовщину. Пляшут, поют, выпивают — весь дом вверх дном. Ну... пош-

ла в облсельхозотдел, говорю, дайте работу поближе к бывшему дому. Чего-то потянуло в родные края. Сначала не было места, временно послали в Коропский район.

Он слушал Лиду и снова не мог соединить в голове и в сердце ее — ту, бывшую, и теперешнюю. Что-то его раздражало в ней, вызывало резкий протест...

— А ты... того, не забыла агрономии? Лет пятнадцать с ней дела не имела.

— Что-то же я делала в исследовательском институте? Ездила и по колхозам. Да что ты мне допрос учиняешь? Может, на предмет объединения?

— Ну, брось ты... — несколько смутился он. Но отметил мысленно, что и тут могут возникнуть осложнения.

Некоторое время ехали молча. И сама по себе наклюнулась, вспыхнула беседа, которая должна была начаться гораздо раньше.

— Я как-то проезжала через Сулак... Даже на нашу улицу заглянула. И все стало так близко... И жасмин под окном цветет. Хоть уже не тот. Помнишь те четыре дня? — Она вдруг повернулась к нему. — А знаешь, я много раз упрекала себя, что все так получилось. — Она улыбнулась, ее левая бровь слегка надломилась, и Лида сразу стала той Лидочкой, какую он знал когда-то.

— Ты жалеешь, что все обошлось без греха? — удивленный таким поворотом разговора, такой торопливой откровенностью, пошел он напролом.

— А хотя бы и так. Только ты не думай... так грубо, — как бы извинилась она. — Я сказала в том смысле, что и наши жизни пошли бы не по той борозде. По крайности, моя.

Ему против воли стало ее жалко, захотелось успокоить, но не знал, как и чем.

— Своей судьбы наперед не угадаешь.

Он прикинул и не мог представить: как бы сложилась с Лидой его жизнь? И мозолили ему глаза ее колени, высоко поднятые, обтянутые тугими чулками, выставленные словно напоказ. Хоть и знал, что в машине женские колени всегда на виду — сиденья-то проваливаются, — и знал также, что не могла она, да еще в такой момент, так примитивно показывать свои ноги. Однако это раздражало, а мысль искала утешения для нее, и он сказал, как потом оказалось, совсем некстати:

— А у меня до сих пор сохранилось твое письмо. Где ты спрашивала, выходить ли тебе замуж.

— Взял бы да послал мужу. Сломал бы все с самого начала.

Минут пять назад он проехал поворот на Сулак и в небольшом сельце Трофимовках повернул на Широкую Печь. Он знал, что до Широкой Печи этой весенней порой легче доехать через Сулак, но не хотелось, чтобы его видели с чужой женщиной, да еще с агрономом из села, с которым они должны были объединяться; позже эта поездка была бы обычной, рабочей, а сейчас ее могли истолковать в любую сторону; он подозревал, что Лида угадала и эти его мысли, и снова завелся. Смотрел на поле, предчувствие какого-то близкого перелома — буйства весны — щемило грудь и почему-то вызывало раздражение. Дорога была плохая. Еще пока ехали Трофимовками, машина бежала резво, а потом стала скользить, ее несколько раз заносило, она буксовала и через силу, с ревом пропахивала колесами глинозем, выбираясь на сушь. Он старался пускать одно колесо по грядке прошлогодних бурьянов, а где их не было — по крайним рядкам озимых, и болел душой, потому что сам не ругал шоферню за помятые всходы. Если бы лучше знал поля «Зари», может, отыскал бы посуше и поровней местечки, а так пробирался по разбитой и раскисшей дороге. Наконец увидел, что дальше проехать не сможет, остановил машину. До села было рукой подать, но впереди блестела залитая весенней водой колдобина, и дорога ныряла прямо под воду. Некоторое время Лида не выходила из машины. «И это все? — издевательски спрашивали ее глаза. — Не можешь довезти до села?» Потом медленно открыла дверцу и ступила резиновыми красными сапсжками на обочину. Он вышел из машины тоже. Прямо перед ним раскинулось в ложине полесское село, взбиралось двумя длинными улицами на песчаные, поросшие сосняком холмы к Десне, которой не было видно. По правую руку темнел сосновый бор, к нему сбегало волнами поле озимых. Жито стояло зеленое — полосами; там, где пашню окропила аммиачная вода, даже ярко-зеленое, по овражкам желтее, вдалеке виднелась старая скирда, а на ней торчал аист. Была ранняя, продутая ветрами весна, а в вышине уже тянули свои серебряные, еще холодные струны жаворонки, и прошивали чистый простор короткими, нервными очередями дергачи. Дергачи в хлебах — это удивило его. Небось облюбовали залитые водой лощинки. У самого леса кружи-

лись чайки и какие-то большие птицы, похоже, утки — там было болотце. В том месте, где остановилась машина, поле от дороги отрезала канава, в ней стояла вода, а в воде росли лозы, тугие почки на них распускались маленькими клейкими листочками.

— Хорошо,— сказала она.

Он промолчал. Он думал о том, что озимые неплохи, но посеяны неровно, а в низинах вымокнут вовсе — не надо было их там сеять,— что гниет нарушенная скирда и гребля через болотце напрочь разрушена. «Менять надо все, капитально менять».

В этот момент что-то невидимое, быстрое побежало хлебами наискось к лесу. За ним другое, третье — ветер, что поднялся вдруг, гнал зеленые волны, одинокая птица над дорогой изо всех сил боролась против встречных потоков, а они снобили ее. Этот внезапный перелом в природе как бы нарушил что-то и в нем самом.

— Прости, Лидия Петровна, трохи не довез. У тебя сапоги резиновые, а тут недалеко,— грубовато объявил Грек, блуждая взглядом по полям.

— Такой теперь мир стал,— неопределенно усмехнулась она. И в усмешке мелькнула ирония. Махнула рукой, пошла по горбочку канавы к селу.

Разворачиваться было трудно, он тыкался передними колесами «Волги» в насыпь канавы, задними месил грязь и еще долго видел Лидину фигуру в светло-сером пальто, каком-то чужом, случайном на фоне зеленых хлебов.

Наконец-то развернулся и поехал обратно.

Не шла из мыслей черная скирда и хозяйство Широкой Печи, он его немного знал — соседи ведь,— но что-то ему мешало, и он снова вернулся к разговору с Лидой. В машине остался запах ее духов, и это опять-таки выводило из равновесия. Эта, теперешняя Лида тоже вышла из машины неразгаданной. Что-то в ней было наигранное, ненатуральное, а что — понять не мог. И все в эту минуту перемешалось в его голове: Лидин рассказ, мысли про ее новую работу, про объединение, как перемешался в машине запах тонких духов с запахами поля, бензина, его пота, суперфосфата (потерянный кем-то на дороге мешочек путешествовал в багажнике как вещественное доказательство) и даже запах коньяка, пролитого позавчера на сиденье зарубежными гостями, — про-

вожал их и пили «посошок», тот, что пьют уже за далеким холмом.

Мысли надо было привести в порядок.

На следующий день в Сулаке и в Широкой Печи проходили партийные собрания по поводу объединения. Сначала в «Дружбе», а потом в «Заре». В «Дружбе» прошло без сучка и задоринки, хотя и не при полном штиле. Но здесь докладывал он, проложил точный маршрут, показал все мели и глубины и весь путь, который им надо пройти, вымерил до пяди. Здесь уже давно верили в капитана и прониклись его верой и убежденностью, а в нем и вправду был дар переубеждать, подчинять себе и своей идее, и шел он от желания не свернуть с обозначенного пути, из уверенности в себе, эту уверенность чувствовали другие и загорались ею. Он никогда не использовал эту силу во зло, боялся чужих обид, и все знали об этом. «Ты кричишь,— как-то сказала ему на ферме тетка Ганна,— а сердце у тебя доброе. Я виновата, переделаю, но не от страха...» Наверно, пристыженная, она несколько преувеличивала его доброту, он все-таки знал и силу своей власти, великую силу, и не раз пользовался ею.

В «Заре» он сидел гостем, собрание было открытое, в маленький зал набилось людей, как в терем-теремок, и чадили самокрутками, и орали с мест, царила суматоха, и молоденький секретарь лупил карандашом по щербатому графину без пробки, напрасно призывая к порядку, то и дело обращая к председателю, тогда тот поднимался и гудел басом: «Ти-хо!» А сам был маленький, худой, лицо острое, будто сплюснутое с обеих сторон, а от его баса звенели стекла и дрожал дымный воздух.

Василь Федорович слушал перебранку и споры, и в нем копилась злость — шли на готовенькое, еще и кобенились (знал, что такое отношение неправильно, но не мог перебороть себя), — вмешался, подал голос только раз, когда хмурый мужчина с тяжелым красным лицом сказал, что к воротнику пришивают пальто: намекал на то, что Широкая Печь, мол, значительно больше Сулака.

— Бывает, что воротник стоит намного дороже самого пальто, — а на языке вертелись еще более злые,

а может, и справедливые слова: «Пальто драное, его перешивать надо, ставить новый верх...»

Грека тоже попросили выступить, и говорил он коротко, сухо, что «Дружба» на дружбу не набивается (это почему-то понравилось), что это настоящая потребность в первую очередь для Широкой Печи, но и для Сулака тоже (польстил через силу), что порядок хозяйствования здесь надо менять и укреплять дисциплину («Вот и теперь учинили на собрании галдеж»), а вступать в споры, где будет центр, где первым делом начнут строить комплекс, не захотел, сказал, что это решит объединенное правление и общее собрание.

Он говорил и все время видел перед собой Лиду: она сидела в первом ряду, внимательно слушала, и на ее лице блуждала то ли улыбка, то ли мечтательность какая, он подумал, что это каким-то образом касается его, и нахмурился.

Его фраза про пальто и воротник через несколько дней стала присловьем, ее обсуждали на все лады. Уже на другой день, когда он проходил в Заречье мимо магазина, который почему-то называли «Зеленым гаем», дорогу ему, словно бы нечаянно, заступил Тромба. Этой ленивой субботней вечерней порой возле «Зеленого гая» толпилось немало мужского люда. Почти все, кто хорошо помнил дорогу к Шевелиевому, а теперь Валериевому заведению, и еще с десятков других любителей рюмки и хмельной болтовни. Некоторые отирались просто так, без денег, надеясь глотнуть на дармовщинку, некоторые уже причастились, пожилые мужики по-молодому цепляли женщин и девчат, которые проходили мимо, обсуждали текущую сельскую «политику». Над забором торчали голова и плечи Ковалика, казалось, он стоит, опершись на штакетины, на самом же деле Ковалик был без ног, ездил на колесиках, его подняли и поставили на скамеечку по ту сторону огорожи. Из магазина вышли двое лесников и примостились с пол-литром в углу, где столик, вот продавщица выносит им стакан, ополоснув его в ведре с водой. Мужики прячут свои стаканы по кустам возле магазина. Грек, не скрывая, осуждающе смотрит на всю компанию. За последние двенадцать лет в селе перестроили, казалось, все: коровники, Дом культуры, хаты, свадьбы, родины, звезды и ничего не могли поделаться с одним — с пьянством. Его корни — в темной глубине и гонят у «Зеленых гаев» молодую поросль.

Тромба стоял, широко расставив ноги, сходить с дороги не собирался. Лесники остановились тоже, надеясь на бесплатное зрелище. Василь Федорович пытался вспомнить настоящее имя Тромбы (прозвище его давно вытеснило) и не мог: какое-то птичье или звериное, среди полещуков немало таких фамилий. И вдруг вспомнил — Голуб — и даже удивился, так оно не гармонировало с характером хозяина. Родион Голуб — Тромба — непонятный Греку человек, вечный его противник, но противник откровенный, и Василь Федорович уважал его за это. Но с чего Голуб весь век бунтует против него, Грек додуматься не мог. Может, потому, что когда-то был влюблен во Фроську? А может, бунтовал бы против любого на его месте? Такой уж прав: к этому Грек склонялся больше. Голуб не лентяй, но и не перерабатывает, мотался по всему свету от Сахалина до Кушки, — именно так, что-то даже делал в Кушке, об этом рассказывал сам, — и только лет семь назад какие-то неурядицы заставили его осесть в родном селе. Не крикун, не матерщинник, но и не добряк, иногда ходит на колхозные работы исправно, иногда его не заманишь туда никакими посулами («Пока что с меня хватит, подработал»), немного браконьерствует на Десне, но только для себя и почти открыто («Что-то свеженького судачка захотелось, выехал сегодня в ночь с дергалкой на яму, десяток подцепил»). Тромба живет с матерью, старухой с постно поджатыми губами и глазами святоши и весьма длинным и острым языком. Тромба женился пять раз и каждый раз через месяц-другой отводил жену к ее родителям. «Матушке не понравилась», — говорил он, особенно почтительно выговаривая это «матушка». Судя по всему, это была правда, но кое-кто подозревал, что самому Тромбе пришлась по вкусу такая матушкина переборчивость.

— Так что, Василь Федорович, шьем к воротнику кожух, — прижмурил он черные цыганские очи. — Говорят, вы вчера мерку снимали?

— Мерка у нас есть давно, — спокойно ответил Грек.

— А того... моль с кожуха на воротник не перелезет? — притворялся наивным, а сам косил глазом, как реагируют мужики.

Те сосредоточенно молчали. Слишком серьезным было дело. Ковалик вытянул над забором шею, у него даже жила набухла на лбу.

— Моли там нету, Родион, а кожух большой, покроем новым сукном и будем носить,— старался говорить рассудительно, даже что-то объяснить Голубу.

— А где же грошей возьмем? Из тех, что остались от воротника?

— Да. Придется на первых порах поделиться... А мы и сейчас делимся. Разве ты не имеешь выгод от воротника?

— Я? — удивился Тромба.

— А как же, та высокая оплата, которую ты сейчас получаешь, заработана всеми сообща. Я тебе не в укор... Мы быстро наверстаем на землях «Зари»,— неожиданно высказал он то, что сложилось в эти трудные дни.

— Значит, возьмем невесту голую,— потешался дальше Родион, не обращая внимания на Грекову рассудительность.— Заработаем деньжат, оденем невесту да еще и себе купим рукавицы.

— И рукавицы и шапку, Родион. Мы женимся капитально. И будем жить-поживать, назад на отцово подворье невесту не поведем. Приходи на общее собрание, продолжим там беседу про единое семейное счастье.— И раздавил тяжелым сапогом на тропке сигарку.

Грянул хохот, Голуб огляделся, со всех сторон на него смотрели смеющиеся глаза, и он смутился. А Василь Федорович шагал по улице, отыскивая места посуше, и думал трудную думу, что это только начало долгой и тяжелой череды неладов да хлопот, которые навалятся, и что не только с Родионом Голубом ему доведется вести сражение. Его совсем не утешило, что он срезал Тромбу, он не имел права тратить силы на мелочи, хоть и не собирался потакать кому-нибудь и уж подавно терпеть насмешки.

...Почти о том же самом, только с другой стороны думал в это время другой человек, вылезавший из старой, обшарпанной «Волги», в которую уже мало кто рисковал садиться — боялись рассыпаться на тряском шоссе. Это был Андрей Северинович Куриленко, председатель «Зари». Он долго, слишком долго топтался возле машины, переступал с ноги на ногу, неуверенно озирался, даже казалось, что передумал и опять сядет в машину, но рискнул и, затаив дыхание, двинулся к маленькому щеголеватому домику в глубине сада. Домик был ему знаком, пять лет назад он жил в таком сам, в соседстве с секретарем райкома Ратушным. Тогда он работал заме-

стителем председателя райисполкома. Так же, как и сейчас, зацветали красным и белым цветом в саду антоновки и шафраны, и расцветали его надежды на новую должность, на новую высоту. Но они оказались пустоцветом; нынешнюю же завязь секло градом: из председателей колхоза его перевели в заместители, и он решил воспользоваться правом бывшего соседа и давнего знакомого, попытаться что-нибудь изменить в своей судьбе.

В маленькую, покрашенную в голубой цвет калиточку, из которой он выходил когда-то с высоко поднятой головой, нырнул, словно в полынью.

Заплыв ему не удался. Иван Иванович угостил бывшего соседа зелеными семиренками прошлогоднего урожая и сливянкой, которую как-то по-особому готовила его жена. На этот раз сливянка показалась Куриленко горькой, потому что Ратушный сказал:

— Не могу я рекомендовать тебя никуда. Сначала научись хозяйствовать. Советую серьезно и по-дружески: как следует учись. Грекова школа тяжелая, но это школа будущего. Так что считай — тебе крепко повезло.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Еще густо тлели в рассветной мгле за углом нарядной огоньки сигарок, еще мелькали в тумане неясные фигуры: кто-то у кого-то что-то просил, кто-то с кем-то менялся, еще блескуче отсвечивали теменью окна мастерских, но вдруг застоявшуюся тишину прорезала густая пулеметная очередь — затрещал первый пускач, через полминуты треск оборвался, перешел в мощное гудение, и спугнутая тишина стала было улегаться, уходить в дрему, но по ней ударили сразу несколько пулеметов, и рвали ее на куски, и били вдребезги, перемалывали в невидимую звуковую пыль, перемешивали со скрежетом, лязгом, криками, а потом по ней прошли два тяжелых катка: гу-у-у-фи-и,— и заработали могучие «Беларуси», втоптав ее в землю. Треск и грохот падали на голову, на плечи, сбивали, сдирали последние покровы сна, последнюю дремоту, что притаилась в складках губ, между ресницами.

Володя вывел свой «ДТ-74» через пролом в заборе прямо на полевую дорогу и погнал за напарником, который уже миновал Баеву гору. Когда он прицепил плуги, тот уже вышел «на орбиту» — торопился хоть немного



оторваться, чтобы Володя не садился ему на хвост. Но, как и вчера, у него ничего не получалось. Спекшаяся от прошлогодней засухи земля была словно каменная. Володя сам едва удерживал трактор в борозде. Приходилось играть на педалях, как на струнах балалайки, подергивать ручной подсос, отгадывая по звуку, по напряжению, по дрожанию кабины, когда надо помочь машине, но помочь так, чтобы не перебрать горючего. Кроме

плугов к трактору прицеплены бороны и громадная кадь — бочка с аммиачной водой, от нее воняло, как от ассенизационной колонны. Корреспондент выразился: «Терпкий запах будущего урская». Ну, это еще куда ни шло. А все остальное... Володя вспоминал статью, прочитанную только вчера вечером, и у него пересыхало во рту, и стыд холодными пальцами хватал за душу. Перепахал, передолбал ее проклятый корреспондент. Всю статью он написал вроде с его, Володиных, слов, Грека почему-то не помянул совсем, то ли тот не понравился ему, то ли кто-то наговорил на председателя, но выходило, словно бы все, что делалось в колхозе, делалось по его, Владимира Огиенко, разумению и при его участии. Да, Володя и член правления и депутат сельского Совета, но ведь он только тракторист да еще звеньевой механизированного звена по выращиванию картошки. Володя видел въяве, как прочитали статью Василь Федорович и Лина... Лина... Ей теперь и на глаза не показывайся. Вот так позорно, примитивно выставил он себя, не нашел ни единого доброго слова для ее отца. Нет, он все-таки сегодня пойдет и все объяснит Греку... И напишет в газету...

Борозда впереди — как вол помочился. Мелкая, сантиметров на пять мельче, чем надо, предплужники прямо шли поверху, а в тех местах, где лежали кучи навоза, где земля не оттаяла, плуги выскакивали совсем. Тяжелая это машина — гусеничный трактор, мало кто хочет на нем работать. Володя ровнял борозду, углублял плуги. Видел, как дергался, словно параличный, передний трактор, как суетился, время от времени оглядываясь, напарник, и думал, что надо бы освободить его от пахоты совсем. Но как? Володю он не слушает, рассердится («заработка лишаешь»), а заявить начальству... это вроде предательство. Наконец остановил свой трактор, бегом догнал напарника, махнул рукой, влезая к нему в кабину. Тот отводил взгляд, его руки на рукоятке дрожали. Черные, поцарапанные, пораненные, похожие на растопыренные, вырванные из земли корневища. У Володи такие же. «Моторные, рабочие, веселые руки трактористов», — мысленно процитировал он фразу из статьи.

— Переходи на мой, — сказал.

Напарник послушно вылез из кабины. Володин трактор старый, но ухоженный и отрегулированный.

Снова шли на первой скорости, жгли солярку, за которую им не заплатят, снова Володя выравнивал борозду. Еле дотянул до вечера.

Долго мылся в душевой, до багровых пятен терся мочалкой. В раздевалке, кривляясь, с шапкой в руках ходил «на полусогнутых» Танго, собирал «по рубчику», и Володе впервые захотелось пристать к компании, жгучим глотком погасить стыд в душе.

Не заходя домой, он свернул на узкую, в молоденьких зеленых стрелочках-побегах межу. Шагал медленно, тяжело, смотрел под ноги и безмерно удивился, нос к носу столкнувшись с Валерием. Тот возвращался от Греков. Сбитые с толку, растерянные, оба молчали.

Они не были друзьями. Просто не успели, а может, и почва для дружбы была слишком скудной. Но до недавнего времени чувствовали друг к другу приязнь, а Володя к Валерию — еще что-то, похожее на детскую влюбленность. Казалось, сильный телом, с нетронутой душой, Володя должен был подчинить несколько изнеженного и уже как бы обойденного судьбой Валерия, прикрывать его и защищать, а случилось наоборот: Валерий защищал Володю от чужих толчков и розыгрыша, хотя и сам при случае мог подшутить над наивным товарищем. Правда, чаще всего Володя подставлялся под насмешки сам. То он купил на базаре щенка, чтобы вырастить из него дворового пса, а оказалось, что это старый, с дурным характером, породистый комнатный песик, он тяпнул его за палец уже по дороге домой. То, ожидая вызова на рыбалку, задремал у ворот с сигаретой и, когда загудела машина, прижег себе кончик носа. То с ним приключилось еще что-то, и он обо всем рассказывал, удивляясь, с чего это ржут хлопцы.

Итак, чаще всего за него заступался Валерий. И отмерял той же мерой по части насмешек. Ни больше ни меньше. Такой у него был принцип. И вообще почти во всем он руководствовался принципом. Наверное, именно потому ему подчинялись остальные ребята. Они не знали точно его устоев, но у многих не было вообще никаких, и они волей-неволей присоединялись к чужим. Володе тоже казалось, что у него нету принципов: он умел работать, любил кино, не слишком смешное и не слишком серьезное, любил книжки про войну, а вот хотел бросить курить и не смог — какие уж тут принципы?

Володя не держал зла на Валерия, но тяжесть легла ему на сердце, и он опустил голову. Всю жизнь он знал Лину, бегали вместе на выгон, пасли коров, он защищал ее от всяких сорванцов-забияк, а от этого, самого худого для себя, оградить не сумел. И вот не знал, как ему быть, что сказать.

— Узкие межи теперь оставляют,— сказал первое, что пришло в голову.

И Валерий сделал шаг в сторону. Он знал, что ему надо уступить. И не сказал ничего.

Василя Федоровича дома не было. Не было и Лины, вместо нее кокетничала с Володей Зинка, и он грустно принимал ее кокетство. Надеялся застать Грека в конторе, но там Володю остановил агроном и положил перед ним акт на плохо вспаханный участок. Акт рассмотрят на правлении, а сумму убытков установит комиссия, и они с напарником выплатят ее. Напарник подписать акт отказался. Володя подумал и мелко расписался внизу. Ему было все равно. После этого он уже не посмел идти к Василию Федоровичу.

Дверь в подвал распахнута настежь, там гулял ветер, раскачивал на жерди старую куртку Валерия, а ее хозяин ходил под началом у Раи — спиливал сухие ветки. Рая белила стволы. В саду было еще двое девчат, они ушли с работы немного раньше, а Валерий и Рая захотели кончить ряд. До конца оставалось совсем немного, как вдруг в воздухе засвистела гроза. Полетела солома с омшаника, понесло над огородами сорванный вишневый цвет, во дворе крайней хаты на веревке заметалось белье, казалось, это рвется в небо и не может взлететь стая белых птиц, вода в пруду разом переменилась, будто в нее влили густой синьки; сад охватило предчувствие тревоги, оно передалось им, и они опрометью кинулись в винарню. Но пока добежали, ветер упал, синяя туча поволокла тяжелое пораненное крыло над лесом. Предчувствие не оправдалось. Снова выглянуло солнце, квелое, бескровное.

Сели на припеке у винарни, он — на колоде, она — на низенькой скамеечке, он ей рассказывал про весну на Чукотке, она молчала и немигающим, смущенным взглядом смотрела на него. Эта стеснительность очень шла ее круглому, в густом румянце личику, белому пла-

точку да и всей фигурке, невысокой, складной, очень женственной. И смущается она время от времени и смотрит на него большими наивными глазами. И Валерию опять не верится в то, что болтают про Раю хлопцы. Небось брехня.

— Рая, ты почему бросила Анатолия? — спросил, хотя и слышал, что на самом деле было наоборот. — Ведь он... Ну, не пьет, не курит, книжки в библиотеке берет, зарабатывает хорошо. Такой... чистый, аккуратный.

Анатолий Красюк живет на одной улице с ним. Каждое утро, хотя и работает трактористом, делает во дворе физзарядку, спит с открытым окном даже зимой. Хороший хозяин: дом у него небольшой, но всюду порядок. Валерий и об этом сказал ей. Рая захлопала длинными, вроде ненастоящими, как у куклы, ресницами, еще гуще покраснела.

— Бросил меня Анатолий... Зануда он... Чтобы тапочки стояли у спинки кровати, чтобы завтрак и ужин, даже в воскресенье, по часам, чтобы из дому одна не выходила... А этим окном нараспашку прямо заморозил меня. — Она рассмеялась. — У него кровь в жилах ниже нуля по Цельсию.

— Но ведь из-за этого не расходятся?

— Говорю же тебе... он подал на развод. Стал ревновать... И вообще, видно, увидел, что я ему не подхожу.

Валерий поднялся на ноги.

— Ты не дорисуешь мой портрет? — тихо уронила Рая.

Он вынес из винарни, где у него был «чистый угол», картон с прикрепленной бумагой. Раю он начал рисовать в карандаше. Еще до того, как познакомился с Линой. Рая и тогда сидела молча и прямо смотрела на него. Он клал легкие штрихи и так же легко болтал с нею. Он умел развлекать. Валерий любовался ею, но только как натурой. И не посягнул ни разу на оригинал. Наверно, именно это сильнее всего подействовало на нее, нарушило что-то в сердце, заставило по ночам думать о нем. Думать сладко и греховно. И он тоже чувствовал, что портрет каким-то образом приближает ее к нему. И понимал, что то же чувствует она. Об этом говорят ее глаза. Они ласкают его, манят к себе. Значит, он угадывал это, и в нем бродили мысли о греховном. И волновали. Недаром же отразилось это в портрете.

Наверно, он дописал бы портрет, дописал во всей его полноте, если бы не появилась Лина. С того дня рука перестала ему повиноваться. Хотя, когда он смотрел на портрет Раи, чувствовал, что волнение до конца не исчезло.

Вот и сегодня он повертел картон и опять унес в виню.

— Поздно уже. Солнце заходит.

Сбросил кеды, обул ботинки, потянул с жердочки куртку.

— К ней? — спросила она тихо.

— А что... плохая девушка? — сказал он почти вызывающе.

— Нет. — И вздохнула.

Даже не сказала ничего такого, от чего в большинстве случаев не могут удержаться женщины. Словно бы так, между прочим, намекнут на какой-то изъян, кольнут до крови невидимым оружием. Хотя бы: «Конечно, председателя дочка». Рая же только вздохнула. И Валерию почему-то стало ее жалко.

Дома он поел молока с паляницей — славный ужин! — и отправился в клуб. Смотрели с Линой фильм про опытных любовников, а сами свою любовь неумело крутили возле двух старых тополей за клубом. Эти тополя столько выслушали горячих клятв, молений, гордого смеха, тяжелого молчания — могли бы обучить целую роту влюбленных. Могли бы, но те как-то управлялись сами. Тополя помнили прикосновение жестких, мозолистых и мягких, с подушечками на ладонях рук, те поглаживали их стволы и обдирали с них кору, а однажды в толстый тополь вонзился нож, припечатав фотографию, глянцево блеснувшую под луной. Это была крайность, этим пугали, но девушка была не из пугливых, она знала: если пронзают ножом фотографию, то на нее руку не поднимут. Да небось и сам парень понял, что не вернет любовь ударом ножа, и вырезал на тополевой коре сердце со стрелой, а потом перечеркнул его крестом. И тополя не знали, каково-то было настоящему, живому сердцу. Наверно, оно мучилось, потому что позже тут появилась надпись: «Любовь или смерть». Но Лина не помнила, чтобы кто-нибудь из девчат в селе умер от ран, нанесенных рукой отвергнутого возлюбленного.

— Теперь так не любят, — вздохнула Лина, не понять, притворно или всерьез. — А мать рассказывала:

когда была молодая, влюбился в одну нашу, сулацкую, приезжий бухгалтер, и когда та наотрез отказала ему, бахнул в окно из немецкой винтовки. Тогда у многих было оружие. Стоял долго под окном, смотрел... Ну, конечно, и себя тоже порешил.

— Почему же конечно? — не понял Валерий.

— А как же! — удивилась Лиля. — Ага, понимаю. Ты бы после этого спать пошел. Да?

— Не знаю... Я еще ни в кого не пробовал стрелять, — не принял он ее шутки.

— Не-е, — и иронически и серьезно протянула она. — Ты бы не выстрелил.

— Думаю, стрелять, если тебя не любят... это самый страшный эгоизм. Никто не имеет на другого таких прав.

Он замолк, неожиданно почувствовав странное утомление, тяжесть во всем теле, и оперся рукою о ствол дерева. Неужели его так перевернуло то давнее убийство, ведь он и воспринял его, как воспринимают убийство в кино или в театре. Не испугался, а только удивился. И почему-то застеснялся перед Лилей — еще подумает, что он слабак какой. А странная тяжелая теплота и дальше разливалась по телу, а потом поднялась и остановилась горячим комком в горле.

— Чего это у тебя такие глаза?.. — встревожилась девушка.

— Голова болит, — признался он. — Да... уже проходит.

Через минуту и шум и вялость отступили, и на другой день он даже забыл про это.

А другой день было Девятое мая, единственный весенний праздник в Сулаке. Потому что даже Первое и Второе мая забирала посевная, чтобы отдать сторицей летом или осенью, а Девятое, которое вместило в себя без меры и радости и слез, прочно держалось в праздниках еще с первых послевоенных лет.

Для Лилы и Валерия это был просто солнечный ясный день, чуть затуманенный на окоеме далекой дымкой, словно вплетенной в светлую ткань черной нитью. Снаряды и пули не долетели до их памяти, и только печаль и суровость дедов и бабок ложились инеем на праздничное их настроение. Старики стояли особняком, похожие на стаи птиц перед отлетом, без осуждения, но все-таки хмуро поглядывали на веселый молодняк, который еще не знает, что такое утраты; что-то тревожное,

тяжкое билось в их воспоминаниях, и кровь от этого бежала горячее, живее. А молодежь хотя и втихомолку, но веселилась, хлопцы перехватывали девчат, те гибко вырывались. И все были в праздничном, с букетами, а среди взрослых сновали ребятишки.

Лина стояла с девушками, наблюдая за Катей-калечкой. Кате семнадцать лет, она похожа на цыганочку и совсем по-цыгански распускает волосы, надевает длинные красивые платья и пестрые мониста. Она быстро кружит в своей колясочке, перебирая руками колеса, исчезает во дворе напротив клуба и появляется снова. И всякий раз у нее была новая кофточка, и новая прическа, и другое монисто. Лина понимала, что там, под этими цветастыми кофтями, горячо, в трепетной надежде бьется сердечко и исходит слезами: Кате хочется внимания хлопцев, но никто не замечает ее обнов, не замечают и ее самое, словно нет ее на свете. Наверно, от такой обиды можно умереть, можно возненавидеть весь мир и испепелить собственное сердце. А она все кружит в коляске, и ее бровки дрожат, как выкинутые из гнезда птенцы.

И вдруг от компании парней отделился Валерий, подошел к Кате и что-то ей сказал, подавая букет жарких тюльпанов. Лина видела, как тюльпаны словно ожгли руки девушке, как вспыхнула она и стала необычайно привлекательной, а Валерий склонился к ней и что-то повторял очень ласково. Лине казалось, что так он не говорил с ней никогда. Ее тронул жест Валерия, и она не приревновала его к Кате, разве что самую малость. Но как представила себя в коляске на месте Кати, растаяла и эта малость.

...Медленно, группами шли они к братской могиле в парке, что в конце села. Когда-то на месте парка был лес, его проредили, вкопали скамейки, проложили дорожки к пруду. А с этой стороны парка, от села, строят мемориал. Строят уже четыре года и никак не могут закончить: то нет гранита, то мрамора, очень трудно их доставать. Василь Федорович таранил разные конторы и не мог протаранить. Большей частью материалы приходилось добывать через знакомых. Уже возвели высокую стену дугой и облицевали гранитом, уже сияет золотом траурный венок в руках, вырвавшихся из-под земли, но еще нетobelиска и плит, на которых выбьют имена. Сулацкая трагедия мало кому известна, о ней не писали

книг и не сняли кинофильмов — ведь на одной Черниговщине столько могил, столько крови, слез и горя... Наверно, не было в толпе человека, у которого кто-нибудь не лежал бы в братской могиле: отец, мать, дед или хоть дальний родственник. Приехало немало народу и из соседних сел, из района и даже из области.

И все-таки Лина мало знала о сулацкой трагедии. В селе об этом, о самой расправе, рассказывали скупое: то ли из какой-то высшей человечности, из высшего закона жизни, щадя чистые души детей и внуков, то ли из природной полесской суровости, не давая воли горько захмелевшему от печали сердцу.

Подпольную организацию, которая действовала в селе, каратели обнаружили незадолго до прихода советских бойцов. Всех подпольщиков — сколько, сегодня не знает никто — забрали ночью и заперли в бывшей школе, где хранилось просо. Тогда же каратели осуществили и другую, замышленную в строгой тайне операцию — арестовали и заперли в школе бывших активистов и их семьи, доставили сюда же семьи активистов из соседних сел и пригнали большую группу людей из районной тюрьмы. Этим, тюремным, и приказали выкопать в лесочке яму. Водили к ней по четыре человека. Но где-то на четвертом десятке в школу донеслась страшная весть — то ли эхом выстрелов, то ли жестоким словцом кого-то из полицаев: обреченные восстали, забаррикадировались, разобрали печи и стали отбиваться кирпичами. Тогда по приказу коменданта полицаи привезли несколько возов соломы и подожгли школу. Горела солома, горело зерно в классах, из окон вырывались живые факелы, и фашисты расстреливали их на лету. Спаслось семь или шесть человек. Сегодня никто точно не знает, сколько убитых приняла эта могила, известна приблизительная цифра — около шестисот... В этой могиле лежит и Линин дед, Василя Федоровича и ее покойной матери отец.

...Речь держал Василь Федорович. Скупую, суровую, тихую. И такая же суровая стояла тишина, только первой листвой несмело шелестели березки да слышались затаенные вздохи, а потом — всхлипывания. Из центра села, из репродукторов доносилась музыка, Василию Федоровичу пришлось говорить громче, а по толпе прокатился шум — к стене подошла и положила цветы

незнакомая женщина. Она была тут впервые, и все спрашивали друг друга, кто такая.

— Старается Грек,— вдруг услышала Лина за спиной сухой шепот.— Правит панихиду по папане, а тот небось в Америке обретаётся.

Шепот этот остро полоснул Лину. Она оглянулась, но увидела только горестно стиснутые губы и печальные глаза деда Шевелия, Родиона Голуба, Миколы Крутька, Андрея Севериновича Куриленко — бывшего председателя «Зари» — и еще нескольких человек из Широкой Печи. Лина встревожилась, взволновалась, не знала, что и подумать, однако понимала, что нарушать торжественную тишину негоже. А страшные слова торчали в ней, будто гвозди. Вспоминала про деда, что знала, о чем ей рассказывали. Дед, угоняя скот, попал в окружение, вернулся домой, служил конюхом и кучером при комендатуре. Возил коменданта. Василь Федорович говорил ей, что дед был связан с подпольщиками и партизанами, об этом твердила и тетка Параска, мать одного из подпольщиков, которой случайно удалось спастись. Федор Грек по вечерам приходил к ее сыну. Мать Василя Федоровича тоже считала так: дед иногда тайно исчезал из дому, кого-то приводил, но ее в свои дела не посвящал. Накануне того страшного вечера он вернулся из комендатуры рано, пошел в закуток, где у них висел умывальник, но во дворе появились два полиция и то ли увели, то ли позвали его с собой — так рассказывала соседка. Ни матери, ни Василя Федоровича — а было ему тогда десять или одиннадцать лет — в то время не оказалось дома. Больше они его не видели. И не видели его в школе, не смогли вспомнить те, кто вырвался из огненного пекла, хотя сами признавались, что там трудно было что-нибудь запомнить.

Так или иначе — догадывалась Лина — отцовская судьба жжет Василя Федоровича и посейчас. Его последний шаг остался как бы скрытый туманом, а в тумане можно и заблудиться, это хорошо понимали недруги Василя Федоровича и не упускали случая приписать в конце жалобы на самоуправство председателя несколько строк о неясном прошлом его отца.

До сегодняшнего дня наветы казались Лине ненастоящими — далекими, мертвыми, но по единому отравленному прикосновению она поняла, что они живут и име-

ют силу, что почти всякое прошлое имеет силу, оно способно менять, ломать человеческие судьбы.

В это мгновение Лина посмотрела на отца другими глазами, нежели раньше, и что-то похожее на сочувствие ворохнулось в ее сердце. Она подумала — и испугалась своей мысли, — что ему хотелось бы, чтобы дед лежал в братской могиле и он, и с ним и все остальные знали об этом наверняка. Может, это не совсем хорошо, может, он и не совсем так думает, но... ей показалось, что так. Знала она и другое: он не стремится своей речью, заботами о мемориале развеять дурной слухок, грех замолить, делает он все это искренне, по велению сердца, с верой в тех хлопцев и девчат, которые полегли в смертной битве с врагом, с почтением к чужому горю — горю этих вот дедов и бабок, дядек и теток, искренне уважая их. И свою печаль он возлагал рядом с их печалью, и потому обидно и несправедливо даже шепотом отделять его горе от горя всех этих людей, для которых он делал и делает больше, чем кто-нибудь другой.

И она решила ничего не говорить отцу, не тревожить его.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Отшумели над приречьем первые весенние грозы, настали теплые погожие дни, и отшумели в Широкой Печи и в Сулаке собрания — с громами и бурями, — однако теплый климат в «Дружбе» не восстанавливался. Василь Федоровича это не слишком тревожило: он знал, что заморозки будут долгими, до тех пор, пока не изменятся условия, порождающие такой климат. Теперь он большей частью пропадал в Широкой Печи — Сулак мог обойтись и без него. Нынче он выехал туда до рассвета. За рулем сидел шофер Володька Цыбуленко, длинношей, с частым засевом веснушек по всему лицу. За село выехали, когда реденький туман еще плавал над полями, скапливался по овражкам, и они казались налитыми молоком. По дороге заглянули на временный животноводческий стан — на житных полях за лесом. Таких станов было сейчас в колхозе пять, и все на озимых.

Завывали электромоторы, мычали в крытых соломой ящиках-будках телята, перекачивал из машины в бак

воду водовоз, бежало по стеклянным трубкам молоко — привычные налаженность и ритм, которых ему уже «не подкрутить», ибо можно и перекрутить, поэтому он только спросил, как идут дела, сколько надоили и не надо ли чего. Так же, как каждый день спрашивают его из райкома; ведь от того, мощными или не мощными струями бежит по стеклянным трубочкам молоко, этой весенней порой зависит покой многих людей. Потом их будет заботить что-нибудь другое, хотя молоко в райкомовских сводках и в его, колхозных, графах всегда на одном из первых мест.

Дойку уже заканчивали, пастухи выпускали коров из загородок, седлали лошадей.

Василь Федорович подумал, что этот метод — интенсивных пастбищ — он использует не в последний ли раз, выжав из него что возможно, дальше — комплекс, а там требования и методы совсем иные.

Мысль о комплексе теперь сидела в нем постоянно, она то отдалялась, то приближалась, как трактор на пашне, и в зависимости от того, каким боком поворачивалась, поднимала или портила настроение. Они уже рассмотрели несколько типовых проектов, остановились на одном, съездили на Полтавщину — увидели проект в действии, — и он им понравился, искали подрядчика и заказывали материалы, хотя до самого строительства было еще далеко. А строить собирались сначала половину комплекса, одно крыло — в Широкой Печи.

Высокий процент удоя на этом стане (а значит, он такой и на других) прибавил председателю бодрости, и к машине Грек подходил весело. Его сапоги сбивали росу с озимых, жито стояло словно покрытое инеем, холод шел даже от мысли о нем, но что-то другое грело его изнутри, да и в седых хлебах угадывались сила жизни, буйство и наливали силой его самого.

В Широкой Печи дойку еще не начинали. По дороге к конторе встретились две машины с доярками, кое-кто держал на коленях детишек — фермы бывшей «Зари» далеко за селом. Ратушный, очевидно, учитывал и это, когда склонял Грека к объединению и комплексу, — фермы все равно рушить.

Куриленко он застал в конторе. Поздоровались вежливо, официально. Отношения у них складывались худо с самого начала — и не то чтобы Андрей Северинович сопротивлялся, спорил с Греком, он просто стал равно-

душным: слушал, но участия в беседе не принимал, еще и демонстрировал всем своим видом, что все нынче в Широкой Печи закручено не им, а новым председателем. Закручивалось же и вправду много такого, что меняло жизнь Широкой Печи и вербовало Василию Федоровичу и сторонников и противников. Три дня назад ему удалось решить на правлении, что у всех, кто нынче работает в рыбартели, лесничестве и по найму в военной части, будут отрезаны огороды, а руководителям этих организаций отосланы копии решения и рекомендации, установлены часы выхода на работу, запрещены самовольные порубки в колхозном лесу. Каждый такой пункт кого-нибудь задевал, тогда как решение о строительстве нового магазина и больницы никого конкретно словно бы и не интересовало.

Василь Федорович чувствовал внутреннее сопротивление Куриленко. Тот и сам раньше пытался выправить положение, но одного не сумел, другого не знал, а для третьего не было базы, и теперь Куриленко казалось — Грек подрывает его авторитет. Откровенного разговора, как того хотел Василь Федорович вначале, меж ними не получилось. Не мог, прямо-таки не мог Андрей Северинович примириться с таким неожиданным и быстрым понижением — из заместителей председателя райисполкома до заместителя председателя колхоза «Дружба».

Вдвоем они шли к машине. Рядом с высоким, тяжелым, сутуловатым Греком Куриленко казался подростком. Невысокий, худой, он тем не менее голову нес горделиво. Не вязался с его сложением голос — густой раскатистый бас гудел, как стоведерный казан.

Ехали в машине Грека. Старая и ветхая, как сам ветхий завет, Куриленкова «Волга» шла сзади.

— Надо ее в капиталку,— сказал Грек.— А пока возьмите газик.

Куриленко помолчал. Василь Федорович уже привык, что он вечно молчит, и теперь развивал перед ним идею, не столько надеясь на советы, сколько доводя свои соображения до заместителя.

— Овцы съели Широкую Печь. Когда-то они съели и Англию... Невыгодно их разводить на бедных землях. Навоза от них нет... Пастбища скудные. Их надо ликвидировать. Раз уж взяли молочное направление... А чего это доярки детишек с собою возят? Нету детса-

дика? Значит, надо строить и детсадик. А по сколько у вас коров на доярку?

— По шестнадцать.

— Мда-а. У нас по сорок две, и то считаем — мало.— И чтобы не стал этот контраст укором, снова вернулся к прежнему: — Конечно, немного овечек надо оставить. Птицеферму, свиноферму тоже пока не будем трогать. Так можно дохозяйничаться, что и для своих детских садилов придется покупать яйца да мясо.

Дойку на ферме уже заканчивали. Пастухи выгнали стадо, шли с велосипедами, в блестящих куртках, и Куриленко значительно посмотрел на Грека. Тот чуть не рассмеялся. Припомнилось сказанное на собрании одной теткой: «Пастухи теперь как инженеры. И зарабатывают столько же». Одно из привычных в «Заре» смещений.

Надои оказались невероятно низкими. Такими низкими, что и Куриленко не смог удержать вздоха.

— Завтра погоните коров на жито. И доить будете на станах,— распорядился Грек, обращаясь к заведующему фермой.— Подвезите еще один вагончик, воду и все остальное. Вчера мы поставили новый гранулятор к машине. Немного подкормим коровок. Доеение проводить двухразовое.— И, предупреждая завфермой, махнул рукою: — У нас сначала надои было упали, а теперь снова поднялись до прежнего уровня. А дояркам облегчение!

Обошли фермы, потом на таратайке Куриленко поехали на поля, там прокрутились за полдень — одно цеплялось за другое, все требовало неотложных решений. Невольно завязывался тугой узел, в котором нужно было распутывать или соединять отдельные веревочки, а кое-какие и отрезать. В голове Грека еще не сложилось четкой картины, и это больше всего беспокоило. Поля «Дружбы», поля «Зари» — зерно, фураж, фермы — все надо пересчитывать наново, а уже и некогда, и поджимают вечные хлебобобовые недосуги, вот так все и крутилось хаотически, наверно, только Грек просматривал контуры иного, нового каркаса, хотя тоже неясно — проекцией, а то и пунктиром, много чего угадывал интуитивно, но на этих мечтах, фантазиях, опирающихся на веру и кое в чем на опыт, строил все здание. Наверно, это и было для него самым большим счастьем, самой большой радостью — создать каркас, завершить всю

постройку и тогда уже, как бы даже в удивлении, оглядеть ее. Пока что до этого было очень далеко. Пока что — узлы и узелочки, распутывая которые он будет обдирать себе руки, нервничать, раздражаться, иногда радоваться, идти в наступление и становиться в оборону. Вот на сегодня назначил товарищеский суд над двумя молодыми трактористами, которые позавчера заседали участок и «забыли» в борозде два мешка ячменя, и все это падает ему на душу, атакует ее, как те самые частицы нейтрино, которые идут из космоса на землю. Наверно, кое-кто думает, что ему приятны эти милицейские функции, но он видит здесь явное несоответствие собственному предназначению, собственной должности. Кое-какие председатели сетуют: слишком мягки законы, но вот сумели же в «Дружбе» создать атмосферу, при которой воровство невозможно, просто исключено, и, может, это одно из самых больших достижений: не молоко, не картофель, а именно этот душевный лад, совесть каждого перед всеми.

Размышляя об этом, Василь Федорович одновременно чувствовал, что на него давит что-то, мешает думать о том конкретном, что он видел и что должен был решать безотлагательно. Конечно, он слегка обманывал себя, хорошо зная, что ему мешало, и только делал вид, будто не знает. Мешала ему запланированная на вторую половину дня встреча с агрономом Лидией Куценко, Лидочкой, как называл ее мысленно. Прежде всего его беспокоило — какой из нее агроном? Не придется ли ему и здесь идти против? Кроме того, у них сейчас нет главного агронома. Прежний ушел на пенсию и переехал к детям в Чернигов. Куриленко советует утвердить главным Лиду. Но советует как-то так, что нельзя понять: то ли по обязанности, то ли из симпатии, то ли из настоящего уважения к Лиде как к специалисту. Сегодня он должен решить и это. А между тем улавливал в Лидином поведении что-то, вынуждающее его держаться настороже и одновременно слегка тревожиться.

С Лидой они встретились только под вечер в агрономическом кабинете. Он сразу же попросил карты грунтов и посевов, разложил на широком столе у окна. Лида села рядом. Была она в красной юбке, красный свитер по-молодому облегал ее тонкий стан, от нее пахло хорошими духами, и это опять-таки тревожило и раздражало Василя Федоровича. «И чего она явилась сюда?

И чего написала на совещании записку? — не мог удержаться он от прямых вопросов себе. — Ведь так не бывает, чтобы помнила все эти годы... Конечно, она приехала в родные края — куда ей еще деваться...»

Положил себе держаться одной колеи — деловой, сугубо официальной, хотя невольно сбивался на наивную мысль: неужто это та самая Лидочка, которая бросала когда-то в него камешки и потом спрыгнула с подоконника в его объятия? Нет, это совсем другая женщина, не имеющая ничего общего с той девочкой.

— Подсевать не будем, — говорил он. — Мы сегодня еще раз посмотрели с Куриленко. Рожь еще наберется, накустится. Под картошку удобрений подвезем из наших компостов. А то торфяную крошку бросили, и ладно. — И снова водил карандашом по карте. — На этот раз оставим старую планировку посевов... В основном. А дальше... Дальше надо менять. Капитально. Непригодна для нас старая севосменная система. Она от бедности, от несовершенства. Для нас понятие зяби есть во времени, а в пространстве нету.

— Кукурузу по кукурузе, картошку по картошке?

— Именно так. Под картошку — одни удобрения, под кукурузу — другие. Земля уже насыщена ими. Надо только добавить компоненты, которых не хватает. Ты, я вижу, не согласна со мной?

— Я ничего не говорю, — ответила она и посмотрела на него серыми глубокими глазами. — Но ведь есть же инструкции...

— Я тебе излагаю свою инструкцию.

— А если не уродит? Засуха или еще что?

— Выходит, если не уродит по инструкции, тогда все равно. А если не по инструкции...

— Именно так. Ты лучше меня знаешь.

— Прошлый год была засуха. У всех не уродило, а у нас слава богу. Нам районирована пшеница «полеская-70», а я сею «ахтырскую-42». Потому что та дает у нас по тридцать, а эта — по сорок пять. Так чего же я буду...

— Неужели ты не понимаешь, на какие неверные качели становишься? Кстати, помнишь качели в Поповых соснах?

— Кто-то же должен быть первым? Кажется, я и тогда попытался. А теперь... вдвоем.

— Не те качели. Есть другие, проверенные.

— Это длинная дискуссия. Мы ее решим практически. Ты приезжай в Сулак. Сегодня агроном и председатель — это хлеборобы, а не исполнители инструкций. Понимаешь... Посылают в колхоз девочек после института. Старательных девочек... И они сразу начинают мне доказывать, что у нас расхождения с тем, чему их учили. Тут практика, специфические условия... а они мне конспекты суют под нос.

— Ты таких девочек спроваживаешь в первый же год?..

— Спровоживаю.

— Не любишь девочек?

— Не люблю равнодушия и безучастности, не люблю ученой неграмотности. Тех, кто хочет стоять на этой земле твердо, я терплю и охотно учу тому, что знаю сам. И верю в эту систему. Она уже повсюду, во многих областях и даже странах. Вот осенью увидишь.

— Это намек? — в ее глазах мелькнули зеленые искры.

— Зачем же?.. Я хочу, чтобы ты посмотрела, ознакомилась, взвесила все.

— И приняла все-таки твою систему?

— Нашу.

Он говорил мягко, сдерживаясь, потому что так и не мог оценить своего отношения к Лиде. Он боялся утвердиться в некоем мнении о ней, чувствовал неуверенность и неопределенность, невольно хмурил тяжелые кустистые брови.

— Что ж, учи, я ученица способная.

Он так и не понял, была ли в ее словах скрытая ирония или они прозвучали искренне. А может, в них был вложен совсем иной смысл?

Заглянул председатель товарищеского суда — большой, лысый мужчина — и сказал, что все члены суда собрались.

— А трактористы? — спросил Грек. — Не только те, двое?

— Пришли тоже.

— Тогда заходите сюда.

По одному появлялись мужчины в грубых дождевиках, женщины в стеганках, плюшевых жакетах, замазанные трактористы, которые так и не заскочили домой переодеться, надеясь, что дело решится за несколько минут.

Василь Федорович колебался, ему и хотелось остаться, и он понимал, что это не нужно. Удивился такому раздвоению. Еще недавно остался бы непременно, и не просто остался, а был бы прокурором, и прокурором суровым. А теперь ему казалось, что прокурор может стать лишним.

— Мы сейчас вернемся,— сказал он и вместе с Куценко отправился в кабинет заместителя.

Куриленко пересматривал какие-то документы, оторвался от них, очень внимательно посмотрел на председателя и агронома, будто пытаюсь отгадать, о чем шел их разговор.

— Что, пойдем на суд? — поднялся он из-за стола.

— Не надо, пускай пошумят сами,— остановил его Грек.

Он захватил с собой карту посевов и разостлал ее на столе перед Куриленко. Расспрашивал его и Лиду, помечал в блокноте, дважды выходил в коридор — покурить — и скоро возвращался, погасив сигарету. Лида видела, что он останавливался возле дверей агрономического кабинета. Куриленко уже несколько раз демонстративно посматривал на часы, намекая, что ему пора ехать, ведь живет в городе, но Грек вроде бы и не замечал этого. Наконец вошел лысый председатель суда и сказал, что они обговорили все.

— Ждали-ждали,— смущенно развел он руками,— да и того... разбалакались. Оно, может, нечего вам и ходить.

— Нечего так нечего,— сказал Грек.

— А какое приняли решение? — спросил Куриленко.

— Вроде бы и решения никакого,— опять развел руками председатель суда.— Хлопцы молодые...

— Не надо принимать, так и не принимайте,— поддержал Василь Федорович.— Ограничьтесь обсуждением.

— Ага,— подтвердил председатель суда.— Какое уж там решение. Так пропесочили... Свои ведь... Натерпелись хлопцы сраму.

Они вышли на крыльцо конторы. Куриленко сразу же торопливо попрощался, а Грек и Лида остановились у доски объявлений. Солнце уже закатывалось, от строений и деревьев протянулись длинные тени, синеватый сумрак окутывал село.

— Как ты устроилась? — поинтересовался Василь Федорович.

— Видишь, какой ты стал: что я думаю про севообмен, спросил сразу, а как живу — только теперь, да и то из вежливости. Живу у одной бабы. Проводи — увидишь.

Он зашагал рядом с ней по песчаной дороге. Пересекли выгон, повернули на улицу. Хаты стояли только по одной стороне, на другой рос негустой ельник, — тут Украина уже смыкалась с Белоруссией — немало хат было немазанных, хлевы большей частью плетеные, за огородами клочки луга, а на этой стороне дороги, на ничейной, — повети, да сарай, да составленные конусами срубленные деревья. Меж поветей паслись коровы, смачно, с хрустом щипали молодую кущую траву, время от времени то одна, то другая поднимали головы и отзывались на мычанье телят и снова жадно хапали траву, а откуда-то долетали звоны молока о донца подойников, и кот, который сидел на столбушке да поглядывал одним глазом на хлев, нетерпеливо молотил хвостом об эту столбушку. В одном дворе из-за штакетника выглянуло сразу пять белых головок, а глаза синие, как лен, и Василь Федорович почувствовал, что у него ласково защемило сердце по своему детству. Его село было похоже на это, ведь полесских сел мало коснулась нынешняя суeta, как председатель он по этому поводу раздумывал без радости, а сердце, которое помнило детство, все-таки радовалось. Он понимал это раздвоение, которое и не было раздвоением, а неким водоразделом — это ему подсказали белые головки, кот на столбушке и невольное воспоминание о далеком палисаднике, запахе жасмина, протянутых к нему обнаженных руках. Да, наверно, и вправду водораздел — вершина мыслей и памяти, но не чувств, он полно постигал жизнь, ее кипение, краски и звуки, и чувствовал, что уже немного может охватить из этого, что она как бы ускользает от него. Такое ощущение ежеминутной утраты пришло к нему совсем недавно, он жалел, что не раньше, не в молодости, тогда бы испивал жизнь малыми глотками, как самый крепкий и дурманный напиток, и не торопясь бы, не на бегу. Но, наверно, другого ему не судилось, и может, тому причиной не так он сам, как время. Ведь он от природы рассудительный, ни перед чем и ни перед кем не терялся, просто вечно не было

времени как следует оглядеться и оценить мир и себя в нем. Его удивляли эти мысли, ему хотелось их кому-нибудь поведать, но только не Лиде. А она снова будто угадала, о чем он думает.

— Все пролетело, как один миг. Я словно бы и не жила. Если бы знала...

— Что знала?..

— Я недавно убедилась, что можно перемениться, настроиться на определенный лад и жить в согласии с собой. Теперь понимаю — поздно.

— Лад создаем не мы. Потому и живем по большей части для кого-то.

— А, пустые слова.

— Мы для кого-то, кто-то для нас.

— Я жила для мужа и детей, и что же, кто-нибудь из них отдал мне хоть частицу себя? Муж... тот совсем безнадежен.— Лида вскинула голову: — Ты знаешь, я его сделала. Я! Не подумай, что хвастаюсь. Так было на самом деле. Подталкивала, тянула, перепечатывала его работы... Одним словом, не давала дремать. Уютом и вниманием окружила. Друзей находила, приглашала их в дом. Видела в этом смысл. Понимаешь, если бы он меня бросил тогда, я сумела бы начать снова, может, и себе что-нибудь организовала или нашла хоть крошечку счастья... за мной тогда увивались. Пошли бы на все. А я за что-то цеплялась, спасала. Поехал он в Швецию, ей, своей будущей, шубу и белые сапоги, а мне деревянную брошку с оленем — копеек за двадцать на наши деньги. Мне почему-то особенно обидно было за белые сапоги. За белые! А себе привез альбом с голыми бабами. Не веришь? На кухне гостям показывал. Вот тогда я его возненавидела. Не за баб в альбоме... Сама не знаю, за что. Даже не за шубу. Не в шубе и сапогах дело. В моей глупости. Только ты не думай... Я не ради жалости... Просто надо кому-то рассказать. Я помнила о тебе все эти годы. Почему — не знаю... Может, это было у меня первое и настоящее. А когда совсем прижало, вспомнила село и все-все. Вот и пошла агрономом. Слушала тебя на совещании и видела, что ты себя нашел. А я... Словно заблудилась в трех соснах. Тебе, наверно, вообще легче, ты не создавал своего мирка.

— Как это?

— Ну, у тебя он — какой уж сложился. А то... тво-

ришь, а он распадается. Одно слово может его разрушить.

— Я все-таки не понимаю,— признался он.

— Я и сама не до конца понимаю. Все мои миры рухнули. Во мне самой что-то разрушилось. Вот я тебе рассказывала про детей. Озлобилась на них. А разве можно так жить? В чем-то, а может, и во всем, виновата я сама... Отца теперь нет, пускай живут, горя не знают.— Она повернула голову, и в синих сумерках блеснули глаза.— Ничего я не сумела. Ничего. Любо-ваться миром, любить...

— Любить? Разве этому учатся?

— Да, чувство можно вырастить в себе, как цветок. Им можно утешаться, радовать душу.

Он удивился. Недавно что-то похожее думал и сам.

Они пересекли поросший ельником холм и остановились в конце улочки. Темень упала внезапно, она была холодная, пронизанная ветром, прогорклым запахом дыма,— поблизости обкуривали сад, и земля была тугая, какая-то беззащитная, тяжелая, в такой вечер хотелось идти и идти, ловить незримые шелесты, ловить далекое сияние звезд и думать о чем-то великом и чистом. Но им идти было некуда. Ему стало жаль Лиду. Хоть и показалось, что она хочет разжалобить его: рассказывая правду, пытается вызвать на откровенность, поплакаться. Она была не похожа на ту женщину, которую он вез с совещания в Широкую Печь. А может, подумал он, ей и вправду больше не с кем в целом мире словом перемолвиться. Но снова и снова подсказывало ему что-то: неспроста это. Минутная откровенность соединяется еще с чем-то, чего он не в силах угадать. Особенно в этой темноте.

Лида долго молчала. Она всматривалась в себя, в свое минувшее, пыталась найти доказательства, которые могли бы уверить его и осветить ее жизнь, но не подвластная ей память подсовывала все вперемешку, словно нарочно.

— На том совещании я словно впервые тебя увидела.

— Ну и как? — спросил он, чтобы что-то сказать.

— Как в первый раз,— сказала она и засмеялась.— Ты берегись. Я теперь правду говорю. Я женщина коварная.

— Не наговаривай на себя,— попросил он, и ему показалось, что она ждала других слов.

Наверно, ему надо было сказать: «А я не боюсь» — или: «Еще неизвестно, кто кого должен бояться», вообще повести разговор шутливый и легкий, и все бы тогда пошло по-иному,— в такой беседе просто выяснить, кто на что может надеяться, легко переступить, легко и отступить. Он нарочно не пошел по этой тропке. На мгновение ему показалось, что в ее душе вообще что-то искажилось, что она сама не знает, чего хочет, а может, в ней говорит раскаяние или мщение, в которое переросло доброе чувство. Наверняка знал только одно: легко им не будет.

— Мне пора. Спокойной ночи,— сказал он.

— Зайти не хочешь? Угостила бы чаркой,— она снова засмеялась.— Как своего начальника. А может, и не как начальника. Теперь так водится.

Но ответа не ждала, повернулась и быстро пошла к дому, где горел свет.

Он усмехнулся и направился к конторе. Но его усмешка была нерадостна. Она могла означать: ничего не случилось, так, у женщины слегка расхотелись нервы. А может, не был до конца уверен, подумал, что еще заглянет сюда.

Что-то в нем снова восставало против себя самого. А тут еще Фросина Федоровна поднесла новость, которая выбила из головы все другие мысли. А может, это не ко времени известие только перепутало их, повергло его в смятение, заставило посмотреть на себя со стороны. Новость была связана с Линой.

— Так что готовься, старый, к свадьбе,— понизив голос, говорила Фросина Федоровна, сев с шитьем на краешек стула.— И рушники постелились совсем не в ту сторону, в какую мы думали.

— Не мы, а ты,— поправил Василь Федорович.— Я Лине женихов не высматривал ни с каких сторон.

— Чего это вы тут шепчетесь? — спросила Лина, входя в комнату.— Небось переполошились из-за того, что я сказала маме? Так еще ж ничего... Просто Валерий предложил пожениться. А я жду вашей резолюции.

— Будто что изменится от нашей резолюции,— сказал Василь Федорович.

— Ох-хо-хо-хо! — вздохнула Фросина Федоровна.— Такие молодые, что вы делать-то будете...

— Кашу есть будем, как Голуб.

— Ну, положим, вы пограмотней,— засмеялся Грек.— Тот в вашем возрасте не смотрел телевизора и не читал переводных романов. Мать небось вздохнула в том плане, что на кашу зарабатывать надо.

— Тогда мы не кашу будем есть. Обойдемся пирожками, пирожными... Не думаете ли вы... Мы у бабки Сисерки жить будем.

— Чтоб я допустила жить у чужих людей! — даже руками всплеснула Фросина Федоровна.— Да я за уши обоих сюда притащу.

Она выпалила это с такой отчаянностью, что Василь Федорович аж крякнул от удовольствия. Жена, как отметил он мысленно, оказалась «на уровне». Собственно, «на уровне» Фросина Федоровна была всегда, всю жизнь. И когда льнула к нему по ночам, и когда била тарелки. Выше всего в ней царила доброта, и это-то ему и нравилось, за это прощал ей и крики, и ссоры, и проборки, и беспричинную ревность до слез. Острая на слово, скорая на расправу, готовая отдать все другим. Самым большим для нее счастьем было кому-то помочь, что-то подарить,— никакие дорогие заграничные лекарства не держались в доме (хотя иногда самим были позарез нужны), никакая покупка не залеживалась, а чего уж там говорить о яблоках, дынях да других домашних лакомствах. Василь Федорович иногда бурчал: «Все повыноси, все пораздавай»,— и Фросина Федоровна тогда смущалась и начинала оправдываться, словно бы не замечая теплых огоньков в его глазах. Они все, даже Лина, представляли его немного не таким, каким он был на самом деле. Василь Федорович любил представляться человеком грубым, простецким, любил этой грубостью сбивать с толку домашних, радовался, когда они все гуртом накидывались на него и начинали поправлять, учить — воспитывать. Он мог отпустить неблагозвучное словцо, рассказать за столом солоноватую бывальщину, и все это с таким видом: мол, «мы люди простые, что с нас взять». Правда, с годами он ощущал странные наплывы нежности, особенно к младшей своей, но и к старшим тоже — ко всей семье, его семье, которой он был доволен, в которую (они этого не знали) прятался от житейских суховеев и метелей. Василь Федорович чувствовал личное с ними (и с Линой тоже)

единство, выше которого нет на свете и которого никакие силы в мире разорвать не могут.

О свадьбе они в тот вечер больше не говорили. Лина сказала, что еще ничего не решила, что любит Валерия, но торопиться с замужеством не собирается, она и в самом деле так думала, хотя и понимала, что не всю правду говорит, что равновесия в ней хватит ненадолго. Наверно, это понимали и Василь Федорович и Фросина Федоровна, они улыбнулись друг другу, а Василь Федорович сказал:

— О-хо, уже и любовь зануздали, а я когда-то до вечера не мог дожить без нее, этой вот лютой тетки,— и показал на Фросину Федоровну, и она засмеялась.

— Сейчас век заменителей и искусственного охлаждения,— отшутилась Лина.— Любовь тоже подвержена техническим новшествам.

Василь Федорович в тот вечер заснул не сразу, он лежал и думал про сегодняшний день и прежние дни, про Лиду и Лину, что-то в них было схожее, в бывшей Лиде и теперешней Лине, а вот нынче Лида совсем другая, а какая — он не может понять. И черт его знает — куда это все деваается, и у всех ли оно исчезает, а если исчезает, то когда он, человек, бывает настоящим? Он понимал, что сегодняшний Лидин разговор не случаен. Лида чего-то хочет от него, и стоит ему протянуть руку, как она сама пойдет навстречу. Он не мог ответить — почему? Из какой-то ее причуды, от тоски, мести или настоящего увлечения им, теперешним, зрелым и самостоятельным мужчиной, не похожим, как она сказала, на других? Так или иначе, это его волновало.

А на другом конце ночи с мыслями о нем самом не спал другой человек, с которым круто сводила его судьба,— Андрей Северинович Куриленко. Его грела полученная от начальника сельхозуправления Семена Ивановича Куницы информация о том, что недавно на бюро райкома Греку объявлен выговор, что Василя Федоровича недолюбливает второй секретарь, а первому скоро на пенсию, второй же — молодой, энергичный, авторитетный, и что сейчас в колхозе дела не совсем такие, какими кажутся председателю,— деньги со счета пошли на покрытие долгов «Зари», а траты предстоят громадные. Это последнее Куриленко знал и сам. Но чужая биография, чужие неудачи в тот момент были для него

только зеркалом, в котором отражалась его собственная жизнь и собственное будущее. Он рассматривал их, как немолодая женщина рассматривает свое лицо, замечает каждый прыщик, каждую морщину, не замечая чего-то большего, на чем в первую очередь останавливают взор посторонние. Прежде всего Куриленко видел, что его сил слишком мало на поступательное, неторопливое движение вверх. Да и на что можно надеяться? Два-три года заместителем у Грека, потом какой-нибудь колхозик, в котором он будет барахтаться до пенсии? Да, до пенсии. Представил себя жалким пенсионером районного масштаба, и его в дрожь кинуло. Когда шествует по улице отставной генерал или, скажем, бывший председатель райисполкома в своем райместечке, им все уступают дорогу. Ему бы теперь хоть какую базу, ему бы размах. «Дружбу», к примеру. Бесхитростный Грек не сумел воспользоваться колесницей, которую смастерил своими же руками, на ней надо стать в полный рост, да свистнуть, да гикнуть — бросить клич, удивить высокими обязательствами. А он сам себе под колеса подбрасывает камешки — выдвигали на Героя, а кончилось выговором. И уж небось и надеяться не на что. Куница намекал на какие-то пятна в биографии Грекова отца, на неумение Грека ладить с начальством. На бюро он держался недипломатично, настроил всех против себя. И эти временные трудности — еще как на них посмотреть. А особенно неясности в биографии. Вроде все забылось, ушло в прошлое, — нет, Грек все понимает, недаром замахнулся на целый мемориал, хочет прикрыть им семейный изъян. Надо поинтересоваться, сколько на это затрачено средств, в колхозе нет таких статей «на мертвых», кто бы они там ни были. «Эх, мне бы эту колесницу! Мне бы этот воз!» Если бы с Греком что случилось, раздумывал он дальше, кто бы стал на его место? Только он, Андрей Северинович. Но с Греком ничего не станет. Правда, он перестарался, уже посыпались анонимные и не анонимные жалобы, уже кое-кто из авторитетов в бывшей «Заре» намекает ему, Куриленко, на непомерно жесткие ухватки нового председателя. Да, наверно, для него, Куриленко, это единственный путь. Надо только не оплошать, не переть напролом, не дискредитировать себя. Внимание, человечность, озабоченность — и маленькие поправочки, и широкие планы там — на высоких совещаниях.

Но надо иметь поддержку, и на местах.

И он стал перебирать в мыслях членов правления и парткома, инженеров и агрономов. Непонятно почему застрял на Лидии Петровне. На чью сторону она станет? И какие у нее отношения с Греком? Они из одного села, знакомы давно. Наверно, есть что-то в прошлом, он это сразу заметил. Сегодня Грек провожал ее. Куриленко издалека видел, как они дошли до ельника. Лида — женщина привлекательная, выглядит моложе, — такие худенькие всегда кажутся помоложе, — он и сам прошелся бы с ней по ельничку. Предпринял было одну попытку, в шутку, и она отказала, тоже в шутку, но так, что он не знал, как и реагировать: «Боюсь мужчин маленького роста. Их претензии гораздо больше их самих». Странно, насчет него она кое-что угадала.

Любви он просто не знал. Шел через нее, как через чужой сад, некогда было остановиться, осмотреться, полюбоваться на цвет и яблоки, хватал, какие под руку попадут, надкусывал, жевал, не чувствуя вкуса и не слишком разбираясь, где зимницы, где ранеты, а где душистая антоновка. Одна женщина полюбила его когда-то по-настоящему, но он пренебрег ее любовью, женился по случаю, быстро охладел к жене и не разводился только потому, что знал: и опять будет все то же самое. Многие считали его умным человеком, но друзей у него не было, не за что было дружить, а просто вести заурядные беседы было трудно. Обо всем он имел свое мнение и хоть не высказывал его прямо, беседа наталкивалась на подводные коряги, угасала, и начинать ее сызнова никому не хотелось. Кроме того, он не любил ни шахмат, ни карт, ни футбола; и даже если при нем садились играть другие (подчиненные), сердился. Читал популярные брошюры и любил поговорить про квазары и пульсары (а еще больше про наводнения в Индии, обвалы в Перу, землетрясения в Океании да про иные великие катаклизмы, в которых гибли массы людей, но где-то там, далеко, почти на одной параллели с Помпеей и «Титаником»). А еще он был скуповат, его глаза зажигались настоящей радостью, когда за него платили, сам же он платил редко. Он и с женщинами знакомился в основном с такими, на которых не надо было тратить. По-настоящему волновала его в жизни карьера, но для нее у него не хватало широты, размаха, риска, легкости — хотя бы чего-нибудь одного, у на-

чальства он вызывал подозрение: вдруг «подсидит», подчиненные не выдвигали его сами. Критически оценивать себя он не умел и свое понижение воспринимал как интриги Ратушного. Но был чрезвычайно деятелен, умел вовремя подсказать формулировку для решения, отсидеть в президиуме с многозначительным видом самое длинное заседание, умел произвести впечатление на свежего человека, довести до конца задуманное и обладал еще немалыми достоинствами. И вот теперь, как ему казалось, пробил его час. Надо было только не упустить последнего шанса, который посылает судьба.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Валерий вернулся в сумерках. Он не пошел домой, к Сисерке, а стороной, минуя колхозное подворье, Тулаи — дальний угол села. Тропкой поднялся к саду, что чернел в сумраке молодой листвой, сбросив под ноги белую свадебную сорочку цветения. Невидимая, недоступная ни взгляду, ни прикосновению, там уже билась новая жизнь.

Валерий не думал об этом, он вообще ни о чем не думал, видел все и не видел ничего. А может, ничего уже и не было? Нет, все-таки было, оно проникало в мозг, в поры, в уже больную кровь и сбивалось в две глыбы — белую и черную, белую и черную.

Тот момент, когда он отказывался верить, та ошеломляющая и страшная минута осталась позади, теперь перед ним протянулось нечто серое, безликое, полное боли и немого вопля. Там, позади, была не минута, а черная кайма, черная щель шириной в полтора дня.

Ему все что-то нездоровилось, часто кружилась голова, часто охватывала слабость — несколько раз засыпал среди бела дня, однажды даже за столом. И он решил пойти к врачу. Постеснялся обратиться в их сельскую поликлинику (может, потому, что там работала Лилина мать), поехал в районную, где бывал до армии. Сдал анализы. На следующий день, как только переступил порог, его перехватила молоденькая смешливая лаборантка и потащила за собой.

— Я вас ждала. Пойдемте, сделаю повторный анализ крови, а то у меня такое получилось, такое, — засмеялась она, — что с работы выгонят. Сорок шесть тысяч лейкоцитов вместо четырех по норме.

Это было как выстрел в темном коридоре в упор. Смех лаборантки прокатился морозом по коже, и он так стиснул ей руку, что она охнула, хотя и поняла пожатие по-своему. Эти сутки, сутки ожидания, и были самыми страшными: напрасная борьба надежд и безнадежности, самообмана и страшной правды.

Еще когда болела мать, Валерий проштудировал все доступные ему материалы о ее болезни, знал симптомы и течение — все, что ждало теперь его. И все-таки надеялся на ошибку лаборантки. Бродил по городу, и надежда, словно сломанное крыло, то с болью взметалась, то опять поникала в бессилии. На другой день, переходя улицу перед поликлиникой, он почувствовал, как подкашиваются ноги. Страшным был этот путь — через дорогу, по ступенькам, по коридору, к лаборатории. Девушка, убегая глазами в сторону, сказала, что анализ передала врачу.

Хмурый и молчаливый, — может, его угнетало свое горе, может, прятался от него, Валерия, за грубость и холодность, — врач ржавым, неприятным голосом произносил стандартные фразы: «Дела ваши не совсем хороши», «Будем наблюдать», «Все, что зависит от нас...» А потом забрал бумаги, которые лежали перед ним, и вышел в боковую дверь, а Валерию велел обождать. Опасность нарастала, сердце не вмещало ужаса, и Валерий выскочил на длинный, вдоль всего этажа, балкон. У соседних дверей врач говорил с кем-то из своих коллег...

— ...Сын доцента Лаврика. Его мать умерла от такого же заболевания. Небезынтересно для диссертации. Если хотите...

— Перестаньте, как вы можете...

— Я, как вы знаете, могу все.

От страха Валерия затошнило, и он уже еле слышал, о чем говорили за дверьми.

— ...Все бегут к врачу за спасением, требуют гарантий, успокоения, а он такой же человек, как и больные, знает — тоже не вечен, тоже даст дуба, и у него свои болячки, а должен делать вид, что вроде бессмертен.

— Выпишите направление в Институт крови. Только как-нибудь...

— Как-нибудь не умею. Лучше бы им всем правду...

— Для чего?

— Для самозащиты. Доделать какие-то дела. Лече-

ние все равно только паллиатив. Может, он и не захочет ложиться в больницу.

— Какие у него могут быть дела? И вообще ваши рекомендации не для нашей практики. Мы не имеем права.

— Право. В чем же оно? Был я в прошлом году в Помпее. Видел пустоты вместо человеческих тел. Вот — пустота, которая сохранила конфигурацию тела в момент гибели. И все право...

— Дикий пример. Вам самому надо лечиться.

— Знаю. Да это и не ново. Врач... и так далее.

Конца спора Валерий не понял и не пытался понять. Не стал ждать, когда вернется хмурый, желчный эскулап. На него обрушилось синее небо, и огненное ненавистное око солнца било ему прямо в лицо.

Острое лезвие страха, которое торчало в сердце, уже сломалось, а может, выпало, и вместо него осталась кровоточащая рана. Что-то в нем отказывалось поверить в беду, даже сейчас не принимало, сопротивлялось, но повисла эта страшная цифра — сорок шесть тысяч,— и стереть ее, освободить от нее уже не могло ничто. Она перечеркнула все. Мир потемнел, оглох, отступил в сторону. Мир ему не принадлежал. И мысль замкнулась в тугое кольцо, она крутилась только вокруг болезни, даже, казалось, вокруг самой себя. Один оборот, другой, сотый... тысячный,— и не делала попытки рвануться в сторону, выйти за этот круг, потому что выхода не было. Временами в это замкнутое поле мыслей попадали люди, вещи — отец, Лина, недописанная картина на чердаке винарни, но они только проскальзывали и выпадали прочь. И проворачивался перед ним пронизанный солнцем день, проворачивался впустую, как в кино. Валерий возвращался в село полями. И тут, под высоким небом, его охватила жалость к себе и черная тоска. Мелькнуло: не возвращаться больше в село, уехать куда-нибудь, но куда и зачем — не знал, понимал все-таки, что от себя убежать нельзя, и брел дальше. И опять проскальзывали последние веселые деньки и недели. Лина, которая в единый миг стала далекой и чужой, как бы нереальной. Нет, он еще любил ее, но что-то ему подсказывало, что никакая любовь уже не спасет. Она будет жить, она будет любить без него...

Добравшись до села, он залез на чердак винарни, где на лето устроил себе жилье: поснимал паутину, под-

мел и даже сбил из досок маленький столик, и свалился на сенник. Опять мелькнуло: не пойти ли к Лине (ведь она ждет!), но не пошел. Что ей сказать? Что болен? Для чего? Чтобы вызвать жалость, слезы? Ему и вправду хотелось бы жалости, но он себе этого не позволил. Он весь был устремлен в неведомую темную глубину, хотелось убежать от себя, от своих мыслей, и он нырял все глубже и глубже. Ему казалось, что это единственно возможное бегство. Наконец он уснул. Разбудило его солнечное утро, которое врывалось в большую, из двух кусков стекла, оконницу, выходящую на юго-запад — на Лебедку. Вместо другой оконницы темнел фанерный лист. Солнечный сноп за окном перечеркивала ветка вяза, она покачивалась, и желто-белое пятно на полу качалось тоже.

Он проснулся таким легким, радостным, но только на миг, потому что в следующую минуту на него это обрушилось. Он застонал и лег ничком. И опять закрутилось то же колесо.

Валерий остался на чердаке на весь день. В ящике из-под яблок валялась черствая горбушка и кулек конфет «Школьные», и когда ему захотелось есть, он пожевал хлеба с конфетами. Все сильнее и сильнее им овладевало странное желание забиться куда-нибудь — в какую-нибудь нору, в темный уголок и не выходить оттуда. Или заснуть и спать, пока этот сон не перейдет в другой. Детский гомон, который долетел после обеда из сада, тоже не вывел его из этого состояния. Единственная реальная мысль — снова о Лине. Валерий уже не колебался: он не имеет права на ее любовь, не имеет права портить ей жизнь. Он не знал, как все будет, как они разойдутся, знал только — больше им не встречаться. Его совсем не трогало, как это переживет Лина, что подумает, что скажет. Он отсекал это от себя.

Попытался читать, но не читалось, хотя на столике лежало несколько интересных книжек. Трагическое было по собственной боли, смешное удивляло. Уши разламывала тишина. Ее прошивала строчкой какая-то птица в саду: тинь-тинь, тинь-тинь — словно шила чернью по серебру. Валерий не смотрел в сад, но представлял его и так: тот кипел, буйствовал, упивался солнцем и пестовал в завязи сладкие плоды.

Вот пруд, вот кусочек дороги, которая шла наверх и исчезала в лесу. По ней изредка проскакивали тяже-

логруженные машины — мелькали, словно на киноэкране, — в одном месте появлялись, в другом исчезали. Это колхозные — возят в поля навоз, картошку, семенные материалы. Поблизости от дороги, похожий на тонконогую жука, сновал трактор. Валерий подумал, что, может быть, это Володя готовит поле под картошку.

Вот для кого его смерть будет радостью. Неужели радостью? А как же иначе? Попробовал поставить себя на место Володи и не смог. Не получалось, не было сил. К этой игре он чувствовал полное отвращение.

Как жить дальше: ходить на работу, не признаваясь никому, или, наоборот, рассказать всем?.. Вспомнил какой-то фильм, там парень заболел раком, дорожить жизнью стало ни к чему, он где-то кого-то, кажется на пожаре, спас, стал героем, а потом выяснилось, что врачи ошиблись. Горький смех вырвался у него. Блистательная фальшивка! Какой подвиг? Куда деваться?.. Если... Если... И тут на него надвинулось это, словно туча, и захотелось закричать, завывать, захотелось пожаловаться кому-то большому-большому, доброму, упасть ему лицом в колени и чтобы он гладил рукой его по голове. И сказал: «Я не отдам тебя, мой мальчик, никому. Ты будешь жить, ты еще будешь пить этот сладкий сок». И вспомнилась мама, какая она была худенькая, с тяжелым узлом каштановых волос, который словно бы отгибал ее голову, тихая, добрая, ласковая. Она никогда не сердилась, а только спрашивала: «Ты этого, Валера, больше не будешь?» От такой боли Валерий опять застонал. Знал: уже ничто не спасет его. Осталось жить несколько месяцев, от силы полгода. Он читал, видел, он знает. Ну, в клинике могут продлить его муки еще на некоторое время. Это и называется паллиативным лечением. Может быть, они даже будут разыскивать его. И тогда он... поедет с ними? Или не поедет? Свет резал ему глаза. Он снова лег на сенник, уткнулся лицом в подушку. Снова пытался куда-то нырнуть. Его только пугало предстоящее пробуждение. Он не удивился, когда его погладила по голове чья-то рука. Была она небольшая, теплая и пахла садом. Валерий повернулся на бок и увидел Раю. Она не отняла руки и ни о чем не спросила, а медленно и как-то особенно нежно прикоснулась мягкой ладонью к его волосам. В вырезе цветастого платья белела ее шея, а лица почти не было видно, оно оставалось в темной пелене, в сумерках.

Валерий притих, как маленький мальчик, не стыдился слез, ему почему-то казалось, что Рая знает все. Наверное, она и вправду что-то знала, потому что и дальше не расспрашивала ни о чем, а прилегла рядом и вытирала ладонью слезы с его щек. И не надо было ничего говорить. Она действительно жалела его, любила тихой, безнадежной любовью и пришла разделить его горе.

— Я ждала тебя вчера,— сказала она тихо.

— Я вчера и вернулся,— ответил он.

— Я не знала,— прошептала она.— Я догадалась только сегодня.

— О чем догадалась? — вздрогнул Валерий.

— Что ты здесь. И что... тебе тяжело. Если бы я могла тебе чем-нибудь помочь?..

Он молча покачал головой.

— ...взять на себя частичку твоей боли.

— Не надо,— попросил Валерий.

— Хорошо, не буду,— согласилась она.

— Ты добрая, я знал об этом всегда,— сказал он.

— Не знаю,— ответила она.— К тебе... Я не могу не быть доброй. Я ни на что не надеялась и не надеюсь... Потому что... не имею на тебя права. И все обо мне выдумали.

— Право? Мы сами не знаем, что это такое,— вяло ответил он.— И кто его имеет... Какие силы. И в чем оно.

— Может, в нас самих?

— Может быть. Но мы... не одинаковые в каждое мгновение.

— Если бы одинаковые, это было бы плохо...

Они долго лежали так и говорили, и потом он не мог вспомнить, о чем. Рая была первым человеком, который вошел в его боль, наверно, поэтому все права были на ее стороне. Права жалеющего, любящего сердца.

Он почувствовал на щеке ее дыхание и потянулся к ней сухими губами. Она не отклонилась, ответила на поцелуй мягко, но сдержанно. Она и вправду не собиралась его соблазнить. Она искренне жалела его и любила. У него перед глазами заметались какие-то белые полосы и перехватило дыхание, а руки сами притянули ее ближе. Еще черными точками летели куда-то мысли, но они уже словно оторвались от него, не владели им. Он чувствовал у своей груди ее грудь и уже словно бы нес ее куда-то — легкую, теплую, нежную.

Он проснулся, как и накануне, в первый момент тем, бывшим Валерием, но этот момент был еще короче вчерашнего. Еще несколько пробуждений, и иллюзия исчезнет совсем. А может, подумал он, пускай быстрее и исчезает? Чтобы только не этот удар молотком по голове, прыжок из сна в пропасть. Болезнь, одиночество... А потом еще что-то. Как мутный снимок. Валерий еще не знал, что это. Оно привлекало, утверждало в чем-то, а еще больше — волновало. И вдруг обожгло. И пропало все: печаль, боль, страх. Обожгло раскаянием и стыдом.

Это было совсем уж неожиданно. Он подумал, что, с одной стороны, все клятвы, все обещания теперь теряли силу, а с другой — не знал, чем можно оправдать измену. Тем, что ему уже больше нельзя быть с Линой? Но разве это оправдание? И почему это пришло в голову только теперь? А не вечером и ночью, когда он провожал Раю через сад. Тогда он чувствовал в себе смирение, он стал как бы иным, даже неминуемое, страшное — отступило на шаг. Что это было? Чувство познания? Вызов кому-то?

Думая о Рае, не ощутил ни отвращения, ни злобы, только что-то похожее на презрение к самому себе. Вот таким оказался... упал в первые распахнутые объятия. А ведь недавно высокомерно мнил себя идеальным, цельным, осуждал отца за женитьбу. Валерий сел на постели. Так вот что мешало ему!.. Вот с чем он не мог примириться! Он разрушил что-то в самом себе... Зачеркнул свою большую любовь. Неужели зачеркнул? А может... Что — может? Какое это теперь имеет значение! «Ты исчезнешь с лица земли, как дождевая капля. Ты не оставишь даже следа». И что-то протестовало в нем, кричало: «А как же любовь?!» «Чья любовь? — бил наотмашь ответ. — Вот эта или... та?» Прошлый вечер и ночь казались ему наваждением, а сама любовь обманной, словно краденой. Да, ему было хорошо с Раей, но ведь он ждал чего-то большего.

Обо всем этом ребята нынче рассуждают запросто, и парни и девушки, и так рано развеивается тайна, но с ним было иначе... И вот... вот совсем не так. Наверно, не надо жалеть, ведь это было, и он знает теперь, что это такое, но оно было и последним предостережением ему в этом мире. Идя по этому пути, можно зайти очень далеко. Ведь что-то же есть выше... Нет, выше самой любви, наверно, нет ничего, но только когда она

настоящая. И на страже ее люди поставили честь и совесть. О которых он думал не раз, особенно последнее время, после того как ими пренебрег самый близкий ему человек — отец. Он тяжко обокрал Валерия и отнял не коттедж, не машину, а другое, спрятанное в самой середине мира. И пока течет по жилам пускай и больная кровь, он должен исполнять все законы жизни.

Вторую неделю Лина не встречала Валерия. Но, даже не видя его, жила в особой уверенности, в радости, исходящих как бы из нее самой. Казалось, что-то открылось ей, словно и мир стал другим, изменился, зажегся, острее запахла сосновые почки и прозрачней стал лес и лучше, сердечней стали люди. И она тоже стала лучше, она могла бы отдать себя миру, людям, о, как бы ей хотелось сделать всех счастливыми! Принести себя в жертву! Она и раньше готова была посвятить себя... но чему? — не знала, а теперь сожгла бы себя без колебаний, ради счастья одного-единственного человека... Конечно, сгорать и умирать ей не хотелось, ей просто очень легко работалось. Она способна была засеять синим цветом льна всю землю, ее любви хватило бы на это. Лина знала, что не сможет жить без Валерия. Такого раньше не могла себе и представить. Она сеяла лен, а думала про Валерия. Убирала дом и снова думала о нем. Весь день напролет. Как они встретятся. Что скажет она. И потом — что скажет он. И так без конца.

Валерий не появлялся, наверное, была причина. Но понемногу в ее сердце стала закрадываться тревога. И тогда она, свернув работу пораньше, пошла к нему сама.

Валерий сидел у своего «завода», как шутливо называл он винарню, и что-то рисовал. Увидев Лину, дернулся, то ли удивившись, то ли испугавшись, повернул холст к стене и даже загородил. По его лицу скользнула тень, а потом он наклонился и стал вытирать кисть о колоду.

Неожиданно волнуясь, Лина спросила:

— Валерий... у тебя что-то тяжелое на душе?

Он поднял голову. «А что, — подумал, — взять и сказать. Это будет хоть честно». И сразу стал сомневаться, честно ли. Наверно, все-таки да, но что это принесет

Лине? Лучше, если она подумает, что он больше не любит ее. А может, сказать ей позже, догадывался: сейчас нельзя. Она летела к нему как птица, а он ударит, словно браконьер из-за куста. Такая правда уж точно ничего не стоит. Вообще он многое стал понимать в последнее время. Испытывая жизнь на вкус, на ощупь, познавая и ее сладость, и горечь, безошибочно угадывал истину. Недаром люди, которым осталось тянуть недолго, и особенно те, кто знает об этом, догадывается или хотя бы неявно предчувствует, загораются новой силой, иногда недоброй, разрушительной, а чаще — творческой, успевают за короткое время столько, что в обычных обстоятельствах не сделали бы и за десятилетия.

Валерий особенно тонко оценил этот момент и даже место, где происходил разговор. Это было грешное место, где чистый сок земли перебраживает в вино, которое переворачивает, переменяет все в людях. Такая углубленность в мир, в свою душу не пугала и не удивляла Валерия. Он как бы проникал во все вокруг мыслью, каждый раз ища и находя единственно справедливое решение.

И еще Валерий подумал, что, если бы не болезнь, он бы, может, и не понял этого. И нервничал бы из-за Лениных капризов, из-за ее категоричности. И не нашел бы нужных слов. Они были совсем близко, под сердцем, теперь бы он сумел их сказать! «Милая, любимая!» — И она поняла бы, как они сказаны. Поздно! Нужно говорить совсем другие слова, холодные и тяжелые, которые потом станут спасением для нее. Потому что он ее любил, он должен был их сказать.

И он говорил, мол, пусть она простит его, но ему сейчас некогда ходить в клуб — готовится к вступительным экзаменам, и вообще все эти прогулочки — пустая трата времени, вот они разъедутся и проверят себя.

Лина слушала удивленно, ничего не понимая, ее не так обижало явное пренебрежение ее любовью, как то, в каких выражениях он говорил о самой любви. Словно вычитывал из чужой и очень плохой книги. Она пыталась добраться до смысла, до истины, но Валерий прятался за всякими «наверно», «может быть», «не знаю», и Лина ничего не соображала. А потом по тропинке прошла Рая, поздоровалась с ней (с ним, верно, уже виделась) и несколько раз оглянулась. И на Лину словно наплыла черная тень. Ей стало холодно, горько и обид-

но. В это время приехали мужики с пустыми бочками, и она ушла, унося в душе смятение и боль.

Ночью Лине приснился пожар. Горел незнакомый старый и темный дом, над ним метались испуганные голуби, и ветер скручивал свитком пылающую кровлю. Пожара никто не гасил, возле дома бегали они с Валерием, он рвался в огонь, а она не пускала. «Горит уже три дня,— сказал Валерий.— Я должен пойти туда».

Валерий все-таки вырвался и пропал в белых клубках дыма. И уже не вышел оттуда. Лина проснулась от своего крика, видение было таким ярким, таким реальным, что долго не исчезало из глаз. В темноте светились контуры дома и валил белый дым. Этот сон долго еще потом тревожил ее. Особенно этим: «Он горит уже три дня...» Три дня назад Валерий узнал, что он болен.

Грудь сжимало тоской. Не только от болезни, но и потому, что для него не было места на земле, постоянного места, маленького, с которого можно ощущать родным весь мир. Он родился в одном городе, рос в другом, мотался по свету, а кончать свои дни должен тут, в селе, где прошло детство матери, которое было ему чужим, как чужие все детства, кроме собственного. И не было у него человека, которому он мог пожаловаться или хотя бы накричать на него. Как и раньше, заходила Рая. Он сказал, или даже не сказал, а дал ей понять, что та ночь была случайной, и она сразу же смирилась с этим. Сидела молча, тихо улыбалась. Ничего не требовала, ничем не корила. Казалось, ее и не одолевала жажда любви, хотя в это трудно было поверить. Казалось, она живет, как живется, не очень-то доискиваясь сути. Все должно идти, как оно идет. Что-то похожее он видел и в Лине. Только на другом эмоциональном уровне. Рая — растение погожего дня. Лина — бурного. Лина вечно жаждет, порывается и порывается сердцем, а не разумом. Валерий понимал это. Естественной, осмысленной жизнью по большей части живут старики — Сисерка, дед Шевелий, к которому он теперь направлялся. Они натуральны даже в своих чудачествах.

Он не знал, зачем идет к деду Шевелию. Просто убегал от себя, искал спасения в беседе со старым человеком.

Дед как раз принимал посетителя. К нему приходили из далеких сел и хуторов, и он вел себя как колдун, хотя и не был колдуном. Шли расспросить про свое село, свой

край, а порой и родовое древо, дед никогда не приглашал ходоков в хату, только спрашивал пришельца, откуда и кто такой, просил подождать во дворе, а сам исчезал за старыми, с медным замком, дверями. Через некоторое время выходил и рассказывал посетителю про его село или хутор, а иногда указывал и происхождение — из казаков или гречкосеев, в какой сотне служили предки и в каких боях принимали участие. Все в селе знали, что Шевелий не выдумывает, а вычитывает из книг: подсмотрели в окно, как он вытаскивал их из ящичка в сундуке. О книжках ходили удивительные слухи, но дед упорно их никому не показывал. Корона чудодея треснула на Шевелии недавно — после того, как вышла многотомная «История городов и сел Украины». Учительница истории Катерина Юхимовна говорила, что Шевелий вычитывает свои тайны из книги Похилевича «Сказание о населенных пунктах Киевской губернии», а кроме того, имеет печатные реестры. Дед ее версии не опровергал, и хотя корона на нем и пощербилась, к нему шли, как и раньше, и верили его рассказам больше, чем новенькой «Истории городов и сел», — факты из обоих источников были почти одинаковыми, но Шевелий их подавал так, словно бы сам жил в те далекие годы и видел все своими глазами. За исторические сведения денег Шевелий никогда не брал.

Вскорости Шевелий вышел на порог: белый, с длинной, окладистой бородой, суровый и неколебимый в своей убежденности.

— Село твое, — рек он прибылому, тоже пожилому дядьке, стоящему с шапкой в руке, — село твое такое мизерное, что про него и говорить нечего, кроме того, что существует оно в пространстве и времени.

— Как нечего? — то ли удивился, то ли испугался дядька. — Клуб новый, водонапорную башню поставили.

— Я говорю в историческом смысле. Новое это село. Правда, когда-то на этом месте была казацкая криница, — несколько смягчил Шевелий свой приговор. — А фамилия твоя птичья, какой-то давний предок, видать, гнезда разорял.

— Птичья? — удивлялся и обижался дядька. — А я думал...

Что он думал — не договорил, пошел к воротам, возле которых стоял мотоцикл. А дед уселся на крыльце

и принялся набивать свою грушевую люльку. Пахло гвоздиками и хреном с огорода. Через минуту эти запахи задавил дух крепкого самосада.

— А Сулак — село старое? — спросил Валерий и удивился, что раньше не поинтересовался этим и что ему это интересно сейчас.

Дед чуть поднял бровь — осуждающе или довольно — и зажег трубку.

— Древнее. Казацкий шлях тут проходил. Татарин или половец потерял подкову. А может, и голову. Ну, а наших терялось без счету. Туманом лет все повито. Сулима тут гулял, и Брюховецкий со своими голодранцами забегал. Самойловича-поповича когда-то это были владения. Того самого.

Шевелий любил напускать туману. Хотя читал он свою историческую книжку, читал внимательно и, что особенно удивляло Валерия, выписывал журнал «Вокруг света». Собирался помирать, а в мир всматривался зорко.

— Расскажите, деда, — попросил он тихо.

— Про что? — пыхнул тот дымком.

— Про что знаете...

— Э, Валера, я много знаю, — не похваляясь, а только как бы утверждая, сказал дед. — А чего тебе приспичило? Времени у меня на рассказы осталось мало.

Валерий хотел сказать, что у него еще меньше осталось слушать, но промолчал.

— Ваш табачок-зеленец еще не высеяли, — ответил сельской присказкой. — Вот подлечите радикулит...

— Есть на свете болезнь, которую нельзя подлечить.

— Какая?

— Старость.

— Не только старость, — думая о своем, хмуро молвил Валерий.

— Когда-то все болезни лечили, — возразил дед. — Хотя народу мерло и больше. Наш земский — он перед самой войной помер — своего брата даже от рака вылечил. И не только брата.

Валерий вздрогнул. Он не поверил деду, но любопытство взяло верх.

— Как же он его лечил?

— Голодом. Голодом все внутренние болезни можно превозмочь. Только это очень трудно. Мало кто выдерживает. Чтоб и крохи хлеба в рот не взять.

Валерий почувствовал, как у него что-то напряглось внутри, а потом отпустило, и стало жарко, и лоб покрылся потом. И уже не столько от Шевелиевых слов, как от мысли, что он тоже читал об этом. Эту теорию оспаривали, даже высмеивали, но приводили и ее итоговые данные: перестройка организма, полная и резкая перестройка, она заставляет организм жить по-новому, даже порождает новые клетки и новую кровь. Так вот чего все эти дни искала его мысль, вот зачем рыскала в пустоте, в которой, он знал, что-то лежит! Он шел к ней, искал ее. А почему бы не попробовать? Ведь он ничего не теряет!

Так-таки ничего?

Валерий почувствовал такое напряжение, что у него даже потемнело в глазах. И потерял нить, уже и не пытаясь припомнить содержание прочитанной когда-то брошюры, потому что все касающееся его болезни помнил хорошо. Можно было решать не здесь, пойти и обдумать все в одиночестве, но он боялся, что, потеряв время, больше его не вернет. Это мгновение веры, надежды — оно уже не повторится. Им надо жить и дальше. Или похоронить надежду.

Только теперь он понял слова хмурого врача: «Для самозащиты». То есть больной может искать средства лечения сам, даже вопреки им, врачам. Или отдать предпочтение одним лекарствам и врачам перед другими. Само слово «самозащита» было страшным. Тем, что ты оставался один. Но и таило в себе какие-то искорки надежды.

— А ты, парень, вроде немного хворый,— заметил Шевелий.— Может, застудился?

— Застудился,— хрипло ответил Валерий.

— Так вот я сейчас принесу тебе липового цвету. Заваришь круто и выпьешь. Выспишься — как рукой снимет.

С кульком липового цвета он и отправился в свое убежище. По дороге трудно раздумывал. Надо было кого-то позвать на помощь, посоветоваться, но знал, что советовать ему не с кем. Врачи запретят категорически. Да и кто возьмет на себя такую ответственность? Он должен решать сам. И найти меру своего терпения и мужества. И должен поверить в этот шанс. Там говорилось, если организм молодой... И что это очень трудно. Только вода — больше ничего. Когда-то они

с ребятами пробовали голодать — проверяли себя. Но это забава, на три дня. А тут недели. И может быть — последние недели жизни. Которые он потратит зря.

А почему зря? Наберет книжек, будет рисовать...

Последний шанс?

Ему стало страшно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Село еще колебалось между ночью и утром и то ныряло в черную мягкую мглу, то выплывало из нее, подбадривая себя скрипом колодезных журавлей, тюканьем топоров, негромким говором проснувшихся. Солнца еще не было видно, оно поднималось в тумане и только привычно угадывалось за речкой. Молчаливые заспанные бабы и мужики в телогрейках выгоняли в стадо коров, те, проголодавшись, торопливо похватывали седую от росы траву на обочинах. «Алюшки, алюшки», — доносилось из-за заборов, но не сердито, спросонок. Чередой двинулись к пруду гуси, тоже притихшие: то ли обалдевшие со сна, то ли сбитые с толку тишиной, утренней сыростью, голубой молочностью тумана, который таял на глазах. Только в ложбинах он застаивался пластами, а пруд обкладывал густыми перекатывающимися волнами и скручивался тугим свитком по ту сторону пруда, в камышах.

Василь Федорович представил себе плес, поникшие ветви вербы, красный поплавок на воде и почувствовал, как нестерпимо, до сладкой дрожи, хочется нырнуть в этот туманец, сесть у воды, закинуть удочки. За весь минувший год он выбрался на рыбалку только дважды. А сегодня как раз день, с которого разрешается любительская ловля, он мечтал об этом с начала весны. И тут же увидел на тропинке две сутулые фигуры, которые резво поспешали к пруду. Василь Федорович уже не мог утерпеть. Впопыхах рыл навоз и копал червей, нагребал в пластмассовый мешок отрубей на прикорм (старался не рассыпать, чтобы не влетело от Фросины Федоровны), тащил из чулана удочки. Ломаные-переломанные, но все-таки снасть. Хоть он и торопился, его догнал насмешливый голос Фросины, которая высаживала в огороде рассаду:

— И что тебе сделал несчастный тот карасик?

— Он смеялся надо мной во сне.

— В твои годы камыш на дудки резать да верболоз — на корзины.

— Я еще на тебя вырежу прут! — И он нырнул в машину.

Поехал к дальнему концу пруда, куда сельские рыбаки не добирались и где его никто не увидит. Машину оставил в кустах, а сам примостился на пенке в камышах. Курился туман, роса капала с верболоза: тихо попискивала водяная курочка-лысуха, но Василь Федорович уже ничего не замечал — уставился на красные ободранные поплавки, которые неподвижно застыли на плесе. Вскоре один шевельнулся, дернулся влево, потом вправо — его водило долго. Василь Федорович знал, что так водит только карась, наконец потянул удилище, но на крючке не было ничего. Клевало плохо. А потом подсек маленького карасика, за ним вытащил еще двух, потом клюнул порядочный, метнулся в камыши, он еле удержал его, подхватил все-таки и бросил в сетку. И на этом как заколодило. Менял наживку, забрасывал то ближе, то дальше — напрасно. В конце концов поплавки намозолили глаза, и Грек стал замечать и молоденькую листву, и голову лысухи с белым пятном на носу, которая то пряталась в камыше, то выглядывала, и долгоногих жучков, которые споро бегали по воде. Захотелось курить. Василь Федорович достал сигарету, долго искал спички, а когда закурил и поднял голову — правой удочки не было. Вздрагивая, время от времени пропадая под водой, удилище плыло по плесу. Василь Федорович вспомнил, что тот крючок наживил хлебным мякишем. Значит, хватанул карпишка. Не карпишка — карп! Нынешнего года карпики еще совсем маленькие, удочки не утащат.

Грек не помнил, как разделся и ухнул в воду. Обожгло до костей, он едва не рванул назад, но потом быстро, помогая руками, задвигался к середине. Вода была ему по грудь, когда на плотине через Лебедку заурчала машина. В кузове было полнехонько баб — ехали на утреннюю дойку. Шофер притормозил и, высувшись из кабины, крикнул, можно ли ему смотаться за шифером в Веселое. Это было нарушение, шофер должен был оформить езду в конторе, но что оставалось Греку в его положении?

— Валяй, хоть под греблю сигай,— буркнул он, плескивая водой себе на шею.

— Василь Федорович, каждое утро принимаете озерные ванны?— крикнула какая-то молодлица, и он не мог понять, дразнит она или спрашивает всерьез.— Вы часом не морж?

— А моржиц вам не надобно?— крикнула другая, и женщины залились смехом.

— Ежели красивая, так отчего же,— отбивался Грек.— Только какая из тебя, Варька, моржица? Ты ведь беззубая.

— Вот поеду в город, вставлю золотые.

— Тогда и ныряй.

Машина тронулась, и он поплыл догонять удилище. Догнал и вытащил на берег карпа килограмма на полтора. Но рыбалить уже не хотелось, да и всю рыбу разогнал. Покидал снасти в машину, по крутой песчаной дороге выбрался наверх. Еще раз подумал: надо асфальтировать. Разбили дорогу, размесили, теперь еще ничего, а осенью, когда застынет комками, тут и черт на санях не проедет. Гоняют по ней машины, а то и тракторы, надо не надо. Нет у тракториста «Примы» — садится на «Беларусь» и прет в чайную.

Вдоль дороги посадят парк. Пляж оборудуют возле большой плотины. А выше, по берегу озера, уже пролегла асфальтированная дорожка. Школьники обсадили ее кленами и березками. Оттуда ведут ступеньки к мемориалу. Так он называл памятник и площадку вокруг него. Там все работы уже закончены, только еще нет плит с именами погибших.

Как только стал об этом думать — потемнел. Двенадцатым в том списке будет имя отца. Вчера скульптор как-то странно спросил, правда ли, что в этой могиле лежит и его, Греков, отец? Значит, кто-то болтал, кто-то нашептывал. И это разрушало, надламывало уверенность, с которой он жил. Пошатнуть веру в отца никакие нашептывания не могли. Но уверен ли он, что отец покойся здесь? Так считают. Но верных доказательств нет, и когда довелось уточнять список погибших, Грек поставил вопрос на правлении. Все высказались за то, чтобы имя Федора Грека стояло среди других. А теперь этот скульптор... Кто-то ведь ему подсказал. Значит, есть такие, кто не верит. Или нарочно бьет в то место,

которое и вправду меньше всего защищено? Сколько он думал про отца все эти годы!

Слишком сложен этот узел. Перепутались кончики: потянешь за прошлое — вытащишь будущее, ищешь сегодняшнее — натыкаешься на вчерашнее. Вот как пришлось строить ему этот мемориал — в горьких сомнениях, тревожа память о том, что, может быть, лучше не трогать.

Он вспомнил, что скульптор требует добавочной платы за установку плит и за барельеф на верху гранитного обелиска... Обелиск немного повредили, это место надо реставрировать, и Панич — скульптор — предложил изваять там скорбный лик Матери. Мастер он настоящий, эскиз Греку понравился, но и деньги скульптор дерет немалые. А они и так уже истратили вдвое больше против запланированной спервоначала, утвержденной на правлении, суммы.

От этой мысли он словно проснулся. Повернул машину и поехал в село.

Минуя узенькую улочку за опорой высоковольтной линии, резко затормозил и задом — передом не развернешься — заехал туда. Остановился у большой старой кособокой хаты. Одна такая в этом углу. Живет тут Прися, по-уличному Капитанша, — отец ее, вернувшись с войны, долго щеголял в капитанских погонах. Он умер через несколько лет, и Прися осталась вдвоем с матерью. Была она маленькая, невидная. Копалась на огороде, возилась на табачных грядках за сушильней. Проходила ее молодость, никто не простаивал с ней возле ворот, не провожал из клуба. И вдруг родились у нее близнецы — две кудрявые девочки. И теперь она жила ими. Ходила Прися тихо, разговаривала еще тише и смотрела в землю, словно провинилась перед кем-то.

Раньше Греку казалось, что он знает в селе каждого. В селе люди на виду. Огород, хлев, хата, колодец, даже коровы в стаде открывают привычки и тайны своих хозяев. А уже после всего — характер. Но иногда можно и ошибиться, если судить только по внешним признакам. Скажем, запустение на усадьбе бывает у тех, кого одолели невзгоды. А работающие — это не только честные, а и рвачи, шкурники, ворье. Значит, председателю ошибаться нельзя. А это не просто. Но в запустении Присиной усадьбы ошибиться было невозможно.

Грек отворил тяжелую, перекошенную калитку.

— Дядя,— в тот же миг прозвенел из глубины двора тоненький голосок,— не выпустите утку.

Василь Федорович остановился в нерешительности. У него под ногами перекатывались черно-белые комочки. Большая утка, вытягивая шею, заковыляла под смородиновый куст возле штакетника, и черно-белые комочки покатались за нею. Чем-то извечным, родным повеяло на Грека от этой утки с утятами, и он в первый момент даже забыл про тоненький голосок. А когда посмотрел туда — увидел похожих, как бывают похожи только близнецы, девочек. Одна с откровенным любопытством разглядывала его, другая уставилась под ноги.

— Вы сестрички?— спросил Василь Федорович, хотя знал это наверняка.

— Сестрички,— ответила та, что смотрела на него.

— А чего вы обе-две такие красивые?— сказал он.

Одна засмеялась, другая покраснела и нахмурилась.

— А чего вы такой лысый? — спросила разговорчивая.

Василь Федорович расхохотался. Крепкий свежий смех прямо распирает его, смеялась и одна из девочек, а другая все стояла молча. И так явственно разнились у них характеры, такие были хорошие эти девчатки, что нельзя было отвести от них глаз. И захотелось сделать для них что-то хорошее, настоящее. Он и ехал сюда с добрым известием. И понимал, что объявлять этого девочкам не надо. Может, Прися еще и откажется. Ведь надо внести аванс. «Э, чего там,— подумал он. — Уговорю! Поможем!»

— А где мать?— спросил.

— Рассаду сажит на Заречье.

— Так скажите вашей маме, что правление колхоза выделило вам новую хату с голубыми наличниками.

— Нам новую хату!— захлопала в ладоши веселая, а другая подняла смущенное, задумчивое личико и улыбнулась.

Василь Федорович улыбался тоже. Конечно, это заслуга не его, всего правления, но как хорошо приносить добрые вести! Для себя хорошо.

Грек стоял на крыльце конторы, и ему не хотелось заходить внутрь, нырять в бумажные дела. Вокруг бу-

шевала весна, деревья прямо кипели яркой зеленью. Только в конце колхозного двора, где с давних пор высились два тополя, листва на одном почему-то не распустилась. Корявый, черный, он царапал душу и взгляд, и веяло от него запустением. «Надо спилить», — подумал Грек, еще храня в душе хорошее настроение. Но едва услышал голос Куницы по телефону (трубку подал Любка, как только он шагнул на порог кабинета: «Уже два раза звонил»), как весь напрягся и ворот рубашки стал тесным. Куница долго расспрашивал, сколько и чего посеяли и что сеют сейчас (словно у него нет сводок). Грек отвечал коротко, сквозь зубы, ожидая, когда тот откроет главное, ради чего и затеял разговор.

— Нам стало известно, — наконец после короткой паузы сказал тот, — что строительство комплекса движется весьма медленно.

— Посевная, — уронил Василь Федорович. — Людей со стороны нанимать не собираемся.

— Знаем, знаем, но... Одним словом, есть мнение форсировать строительство.

— Чье мнение? — спросил Грек.

— Ну, есть, есть...

— Чье? — настаивал Василь Федорович.

— Что вы грубите! Слишком много на себя берете. Будете отвечать! — заорал вдруг Куница, и казалось, вот-вот оборвется провод. И наступила тяжелая тишина. Только в трубке слышалось сердитое сопение.

В Греке горячо вспыхнул гнев, но он через силу подавил его.

— Я не грублю, просто хочу знать, чье мнение: бюро райкома, первого секретаря или ваше собственное?

Куница бросил трубку. Василь Федорович представил себе, как тот теперь накручивает диск, жалуется на него, и усмехнулся. Пускай жалуется, мошь бумажная! Уже где-то навел справки о строящихся в районе комплексах и хочет выехать на нем. Дудки! Грек торопиться не будет. Строят ведь не на один год.

Любка предупредительно склонил голову набок, готовый выполнить любое распоряжение.

— Вот что, Степан Карпович, — спохватился Грек. — Оформляйте документы, берите машину картошки и езжайте с Паничем-скульптором в Житомир. Мы должны закончить мемориал. — Вдохнул и пожаловался: — Тя-

нет из нас этот черт деньги, да куда денешься. Конiec уже виден...

Ратушный вышел во двор. Небо над головою было прозрачным, голубоватого оттенка, похожее на реку в полдень. Он так и подумал о нем как о вечно текущей реке, берегом которой является Земля. На ней можно отдохнуть взгляду, можно парить над ней мыслью, все время помня, что стоишь на берегу. Ночью небо совсем иное, ночью оно — космос, в котором носятся частицы материи, и нетрудно представить себе такой частицей Землю. Современная наука приучила нас к этому. А во времена его детства и ночью небо было просто небом, захватывало душу тугим посвистом невидимых в темени утиных крыл (словно само мчалось на тех крылах), пугало бездонностью.

«Теплое небо», — подумал Ратушный, идя по асфальтовой дорожке мимо дома. На ней валялись зеленые ветки — утром подстригали живую изгородь и еще не убрали, — и он старался ступать так, чтобы не давить зелени. Уже повернул налево, как за спиной раздался треск, распахнулось одно из окон мансарды и сверху упал сухой голос Дашенко:

— Иван Иванович, так мне ехать в Лебедевку?

Ратушный поднял голову и громко рассмеялся.

— Чего это вы? — обиженно спросил Дашенко.

— Вы похожи на демиурга, у которого что-то не клеится.

Из окна валил густой сигаретный дым.

Дашенко понял, усмехнулся.

— Так ехать? — переспросил он.

«Скоро все придется решать ему одному, — подумал Ратушный. — И не только это».

— Пускай выкручиваются сами. Не надо приучать их к мелочной опеке, — и снова посмотрел на Дашенко, все еще озабоченный мыслью, которая только что вспыхнула, смутила, встревожила. — Поехали лучше со мной. Если есть время.

Последними словами он дал понять, что поездка не совсем деловая и что от нее можно отказаться, и он не обидится на отказ. Дашенко на секунду запнулся, по его острому лицу мелькнула тень колебания, потом он кивнул и притворил окно. Странно, что Ратушный не

сказал, куда они едут, не сказал даже тогда, когда выехали из города и машина, набирая скорость, помчалась по старому Чемерскому шляху. И сам Ратушный сегодня показался Дашенко несколько странным: на его губах таилась улыбка и в глазах что-то пряталось. Дашенко из принципа не спрашивал, куда они едут. «Наверно,— подумал,— на какое-нибудь собрание. Но почему вдвоем?»

Дашенко все еще не разгадал первого секретаря до конца. Ратушный и вправду не был похож на других первых в области. Те секретари — уже новое поколение эпохи НТР — всесторонне образованные, почти все бывшие агрономы, которые позаканчивали партшколы,— деятельные, волевые, практичные, склонные к жесткому распорядку, в то время как Ратушный даже привычками смахивает на пожилого сельского мужика, который любит подначить соседа, совет дает не обидно и не грубо и никогда не требует, чтобы перед ним каялись и обещали немедленно исправиться. Правда, Дашенко знал: в этой деликатности Ивана Ивановича таилась своя твердость, решений он не менял и за исполнением задуманного следил ревностно, любил, чтобы из тупиков выбирались сами...

С недавнего времени Дашенко стал догадываться, что Ратушный просто прячется за кажущуюся простоту, а на самом деле он сметлив и вполне эрудирован. Знает все (когда только успевает!): от новейшей гипотезы об устройстве Вселенной до рапса; про рапс мимоходом напомнит агроному, а про энергию гравитации обмолвится разве что случайно. И все-таки стиль его руководства Дашенко считал устаревшим.

Дашенко покосился направо. Вроде бы на поля, а на самом деле на Ратушного. Неясная мысль, внутренний толчок заставили его посмотреть. Крупное, старообразное лицо, в морщинах, а глаза живые, светлые. Про такие глаза говорят — молодые, мол, на самом деле они не молодые, а исполнены сил, увлеченности жизнью, а мудрость прячут в глубине.

— За колодцем — направо,— наклонился к шоферу Ратушный.

Через минуту машина повернула на мощеную дорогу, ведущую к Десне, к паромной переправе. Тут не было сел, все лес да лес — сосновые боры подступали к самой дороге, а кое-какие деревья смыкали ветви и над

нею. На проводах сидели сорокопуты и горлицы, они не боялись машин, сонно покачивались вместе с проводами, щеголеватый удад перелетел дорогу и спрятался в ельнике. Шофер старался одной стороной идти по обочине — чтобы меньше гремело, — а где можно, съезжал на грунтовку. Вскоре дорога пошла по плотине, которая перехватывала речную пойму, и, приведя к Десне, оборвалась над самой водой.

Иван Иванович попросил шофера подождать, и они с Дашенко вышли из машины. Пошли лугом мимо мелкого озерца, где травы и лоза прилегли на один бок — положило половодьем, вдыхали запахи болотных трав, отцветшей лозы, материнки. Из-под самых ног вылетели две утки — по глазам резануло фиолетово-синим, и Дашенко почувствовал, что его словно рвануло наверх, туда, где кроили небесную голубень свистящие крылья. Тропиночка повела их в гору, между песчаных дюн, поросших лозой и молоденькими, года четыре назад посаженными соснами. Остановились на холме, осмотрелись. Позади громоздились еще большие дюны, настоящие песчаные горы, а за ними темно-зеленой тучей вставал сосновый бор, справа, за кустами верболоза, синела затока, над нею дубравка — дубки маленькие, как всегда в тех местах, куда близко подступала вода, но мощные, кряжистые. Посреди Десны маячил остров. Собственно, его не было видно, вздымалась только зеленая пена верболозов, которые налегли на воду, и она играла их пружинистыми ветвями. Казалось, остров плывет. И плыло над островом громкое пение: соловьиный звон, шелканье, свист, щебет. Это было что-то несусветное. Дашенко так и окрестил остров Соловьиным. Да иначе его и назвать было нельзя. Он просто клекотал пением.

Такого Дашенко еще не доводилось слышать. И все-таки он не мог отделаться от скептической мысли, что ехать за сорок километров слушать соловьев двум руководителям района вроде бы не пристало. Он даже мысленно рассказал об этом концерте жене и представил, как они посмеются вдвоем.

Внезапно вскрикнула сирена «ракеты», и соловьи умолкли. «Ракета» вынырнула по ту сторону острова. И, белая, легкая, проплыла над ним. Именно над ним, а не за ним, проплыла как бы в воздухе. И не успела домчаться до конца острова, как пение перекрыло ее

шум. Соловьи не боялись «ракеты», чувствуя себя на острове в безопасности.

Зеленый остров, пароходы, соловьи — Дашенко вдруг понял, что его скепсис улетучился. Он подумал, что в его жизни вправду не хватает красоты, что он невольно забыл о ней, а человек не имеет на это права. Обыкновенный, пропахший чебрецом ветер, оказывается, поднимает в душе сухую горечь, и какое-то удивительное вдохновение нисходит на нее. Подумал: это оттого, что в последнее время засиделся в кабинете. Вот и всякие сантименты...

— Можно бы на пленку записать,— кивнул в сторону острова Ратушный,— но все будет не то. Небось старческая сентиментальность... А может, и нет?

Дашенко понял, что Ратушный угадал его мысли, и покраснел.

— Рано себя в старики записываете,— попробовал перевести разговор.

— Может, и рано,— согласился Иван Иванович. Минуту помолчал и заговорил дальше уже иначе, по деловому, хотя и в его деловитости Дашенко уловил необычайные нотки:— Остров мы оставим. И эти вот верболозы, и ивы над затокой. А дальше всю полосу расчистим — там будет пляж. И вообще детские владения. Домики, городок развлечений, спортивный комплекс. А отсюда,— он повернулся, и, подчиняясь его движению, повернулся и Дашенко,— отсюда до леса дорога, а лес останется диким. Через Десну пешеходный мост, справа, за нею,— стадион и поля для овощей и цветов. Сами себя будем обеспечивать овощами и цветами, будет где посоревноваться и поразмяться.

Этот монолог можно было принять и как шутку, если бы не лицо Ивана Ивановича — одухотворенное, серьезное и торжественное. А в глазах — зеленые искорки, которые показывали, что ему понятно недоверие, даже ирония собеседника, он предусмотрел и их.

— Пески, но сколько тут романтики и красоты! И сколько можно взять здоровья. Всю полосу, до самой Широкой Печи, превратить в профилакторий. Даже в нечто большее...— Он пожевал губами и добавил:— У меня есть наброски. Я вам покажу.

— Но... Даже мечтать об этом...— не удержался Дашенко.

— Ваша правда,— вздохнул Ратушный,— какая это мечта! Серенький проектик! Кусочек мечты. А мечта... Это больше. Для сердца. Для человеческой радости. Не по плечу мне, конечно... Хотя... Виделось мне это... Как во сне. Десна, сосны — будго мачты, облитые солнцем...

Ратушный разволновался, наверно, и сам не ожидал, что в нем это так глубоко засело, что пронимает его на этом холме с большей силой, чем в кабинете, когда он все это рисовал на бумаге. Ему было неловко, но таить своего волнения он не мог и не хотел.

Дашенко повернул голову и внимательно, словно пытался что-то разглядеть в глазах первого секретаря, посмотрел на него:

— А вы, вы что от этого получите? Вас же тогда не будет,— неожиданно для себя сказал жестко.

Сказал потому, что хотел проверить себя, не поддаться силе, которой сейчас веяло от Ратушного, ему казалось, что во всем этом много романтики и потом он будет стыдиться ее. И не примет всерьез, ведь они отходят от реальности и даже как бы... предаются ей.

Ратушного удивил не сам вопрос, а жесткость, с которой он был задан. Наверно, Дашенко проверял его, а может, наоборот, проверял себя, но Ратушный ответил так, как ему подсказало сердце:

— Я уже получил. Мне хорошо... что я думаю об этом.— Потом пожевал травинку и сказал почти сухо: — Ну, так что? Сен-Симон, Фурье и другие? Может, и так. Но вы не можете не заметить реальных основ этого проекта. В общем, так сказать, виде.

— Реальных!— почти воскликнул Борис Ларионович.— Цветы и стадионы!

— А тут навоз, капуста, картошка...

— Еще вон дорогу к пристани не заасфальтировали,

— Заасфальтируем. По плану — весной следующего года. А это... планирует сердце. Пока только оно.— Ратушный проницательно посмотрел на Дашенко:— Без этого... без этого нам с вами здесь делать нечего.

— Да до этого...

— Да, до этого еще очень далеко. Это уже, наверно, третья ступень.

— Какая ступень?— не понял Дашенко.

— Третья. Так говорит Грек. Он считает, что нам пора включать вторую.

— Где включать? — совсем растерялся Борис Ларионович.

— На селе.

— Ну и какая это должна быть ступень? — К Дашенко снова возвращалась ирония. — Как ее назвать? В чем ее суть?

— До конца не знаю, — признался Ратушный. — Но что-то такое... что мы сейчас начинаем. Перевести село на индустриальную основу. Насытить его техникой... Бетонные площадки для тракторных станков. Машины на все времена года и любую погоду. Научную агрономию. И везти не председателей колхозов, а специалистов, высококвалифицированных работников.

— А кого мы привезли? За последнее время...

Ратушный поморщился:

— А Куриленко? Не знали, куда девать... Ну, да... — И неопределенно махнул рукой. — Селу надо дать такое же обслуживание, как и городу. Всю сферу... А верней всего, придется перестраивать и само село. Мы уже давно за той гранью, где мысли только о куске хлеба, о насущном дне.

— Как же перестроить село? — чем дальше, тем больше удивлялся Дашенко.

— Тоже пока не знаю. Если бы дали мне, то отступил бы километра на два от нынешнего села и спланировал на чистом месте. По-новому.

— Ну, и сколько это будет стоить? А потом традиции, вы же сами сколько раз говорили о них.

— Хорошие традиции оставить. Взять от старого села все полезное. И садики, и левады. И мораль, если хотите, добрую мораль хлебороба. — Он минуту помолчал и кончил с улыбкой: — И уж тогда цветы и стадионы, Дворец культуры и библиотеку, и реальные условия — пользоваться этой культурой. Потому что все это, — он повел рукой, — лен, картофель, комплексы — не самоцель, оно для чего-то высшего...

— Для чего?

— Вы со своим образованием и молодостью у меня допытываетесь, — засмеялся Ратушный. — А я только агроном, да еще старой школы.

— И все-таки, — не совсем уверенно сказал Дашенко, — все это от нас за тысячу километров.

— Когда еще в столице мигали коптилки, Владимир Ильич мечтал о всеобщей электрификации. И это самое

великое, что он нам оставил. Мечту. Мечту и веру. Я хочу, чтобы вы...— Ратушный прищурился, в его голосе прозвучали мягкие, задумчивые нотки,— прониклись мечтой. Пускай не этой, о городке отдыха, пускай другой, но... поверьте, мечта — крылья. Приходишь домой, ложишься спать... И не только телята, навоз, картошка, а и зеленый оазис, чьи-то радостные глаза. Много-много счастливых глаз. Кстати, этот план все-таки не такой уж и неосуществимый, хотя, может, масштабы пока слишком велики. Профилакторий нужен району.

Дашенко молчал. Непросто ему было в этот момент. В какой-то мере его заинтересовал проект Ратушного. И тронуло его доверие. А за этим — практическая мысль: итак, готовит себе преемника? От этой мысли, именно от ее практицизма, стало несколько стыдно, хотя и сам уже примеривался к более высокому посту. Сухой, даже беспощадный к себе, он был уверен, что этого должен требовать и от других. И что это единственно возможный стиль жизни и работы масштабного руководителя. Твердые решения, ни одного шага в сторону, назад (даже когда ошибся наверняка — не показывать вида), требовательность во всем: от одежды (любил все простое, сшитое прочно, на военный лад) до распорядка дня и всей работы. Того же хотел и от других — военной четкости и натиска.

Он снова незаметно глянул на первого секретаря. Улыбка осветила лицо Ратушного, а за нею крылось что-то более серьезное — одержимость, убежденность необычайная, и это вдруг, словно пучок лучей, прорвалось Дашенко в душу, он почувствовал себя перед этой улыбкой виноватым, ему самому искренне захотелось такой же глубины, такой же мечтательности, и одновременно он знал, что это не делается по желанию, а приходит само. А еще, соглашаясь с первым секретарем, он словно перенимал на себя какое-то высшее обязательство, словно соглашался, что не учел всего. Задумался и ощутил великую важность момента, уже не с практической точки зрения, а с этого, высшего, обязательства, ответственности перед будущим.

Он хотел спросить, давно ли возник у Ратушного этот проект, и еще что-то — осторожно-ироничное — про Грека, но в этот момент в верболозах несколько раз шарахнул топор, послышался треск и одно кудрявое

деревце задрожало и повалилось. Его потащили, но оно зацепилось, и чьи-то сильные руки раскачивали его.

— Кому помешали вербочки? — встревожился Ратушный.

Они спустились с холма и зашли в лесок. На песчаной косе с четким — из щепок, травы, камыша — следом весеннего половодья возились четверо мужиков. Двое что-то мерили шнурком, двое рубили вербы.

— Что это вы собираетесь делать? — спросил, поздоровавшись, Ратушный.

— Расчищаем место под кухню, — сказал один из тех, что мерили берег.

— Какую кухню? — удивился Иван Иванович.

— Для пионерского лагеря. Нашего. «Дружбы». Вот там будут стоять палатки, вот там — несколько деревянных домиков для малышни...

— А не сырое ли место? — поинтересовался Ратушный.

— Нет. Песок — он сухой. А вода отступит еще дальше. Это пока временный лагерь, председатель говорит: через год построим настоящий.

Ну вот, Грек и тут его опередил. Это и радовало и почему-то немного печалило Ратушного. Но радовало сильнее и тем, что еще кто-то жил на той же мысленной параллели и фантастические планы Ратушного получали подтверждение, пусть маленькое, но реальное. Об этом думал и Дашенко, возвращаясь к машине.

— Поехали к нему, — сказал Иван Иванович. — Куница сегодня докладывал, что Грек по комплексу ничего не делает. А может, и сгущает краски наш начальник сельхозуправления?

— Если жалуется, значит, правда, — сказал Дашенко.

— Мне кажется, вы недолюбливаете Грека? — осторожно спросил Иван Иванович.

— Да чего там. Просто он... — Борис Ларионович на секунду замялся, подбирая слова: — Много берет на себя.

— А вы бы хотели, чтобы сваливал на других? Есть и такие. Только и знают: «Надо согласовать». Грек — хозяин, у него свой взгляд на вещи.

— Есть государственный.

— Он согласует с ним.

Разговор угас, оставив многое недосказанным. И только позже, уже в машине, Ратушный сказал, но

совсем иначе, уже как собственное твердое решение:

— Вам еще работать с ним. Побольше бы таких председателей. Правда, с ними хлопотно, но без них — серость, бескрылость и просто нужда. Крепкий он человек, честный коммунист.— А сам подумал: «Нашла коса на камень. Крутые оба». И, словно уловив (наверно-таки уловив) мысленное возражение Дашенко, добавил:— Я знаю, вы тоже не даете себе потачки. Себе и нельзя потакать. А человеческие характеры надо брать в расчет.

До Широкой Печи добрались лесной дорогой. Василия Федоровича нашли на ферме, оттуда на двух машинах поехали на территорию будущего комплекса. Там и вправду только желтели траншеи и краснели накрытые толем груды кирпича. Ходили между ними. Ратушный хмурился. Дашенко сурово молчал и всем видом говорил: «Так на чьей стороне правда?»

— Тут должна быть половина комплекса. А другая половина?— наконец спросил Дашенко.

Грек поправил лист толя, прижал его кирпичом и только тогда ответил:

— Про ту половину даже разговор начинать рано.— Он посмотрел на обоих секретарей из-под кустистых бровей и объяснил раздумчиво, твердо, предупреждая все вопросы: — Вы помните, как когда-то «Дружба» стягивала телячьи хвосты, меняла ориентацию? Тогда мы тянули назад весь район. Сейчас, мне кажется, момент другой. Не для чего ломать старое, если оно еще может послужить, и торопиться не для чего. Не после пожара строимся. Вот эти полкомплекса... Закончим весенние работы и приступим к строительству. Потому что иначе откуда взять людей? Снимать с полевых работ? Наши же старые фермы могут еще простоять несколько лет. А потом начнем помаленьку их переоборудовать. Так мне кажется.

— А ваше выступление на собрании? — спросил Дашенко.

— Там говорилось в принципе,— ответил Грек.— И в принципе я за. Руками и ногами. Однако не все разом. Возьмите «Зарю коммунизма». Им просто приспела пора строиться. А если так, то уж, конечно, комплексно. Мы же еще можем продержаться, чтобы все сделать капитально. И разумно. Потому что, по правде говоря,

не всюду будет комплекс и к месту. Вот, к примеру, в Широкой Печи сначала планировали овцеводство. Овцы же съедают все подчистую, а навоза почти не дают. Значит — сразу же обеднили бы земли. Я сам сначала увлекся: чтобы только одна линия. А их, хоть и в нашем колхозе, наверно, надо несколько. Одна — главная, другие — в подмогу.— Он смотрел на Дашенко и, наверно, из-за того, что не нашел в его глазах отклика своим словам, остановился на полуслове, махнул рукой:— А в конце концов можно заставить рушить старые коровники хоть сегодня.

— А вы не распылили ли часом силы?— сказал Дашенко. — Мемориал и комплекс...

Грек встрепенулся, словно его ударили.

— Это одно, а это другое,— как отрезал.— Парк и территорию приводят в порядок ученики. А скульптор и его подручный работают по найму. Да и в конце концов... При чем это тут?..

Грек долго и внимательно смотрел на второго секретаря, словно изучая его, словно взвешивая, можно ли ему сказать то, что вертится на языке, поймет ли тот правильно, а потом повел краем глаза на Ратушного, достал сигареты, закурил и только после этого неторопливо начал. Было видно, что ему непросто выразить то, что зрело в мыслях, наверно, не все до конца и вызрело, требовало полного обоснования, более прочной опоры.

— Хочу вам рассказать... Пришла вчера домой моя жена, а она у меня женщина бедовая, меткая, и говорит: «Слушай, муж, как ты думаешь, правильно мы с тобой живем?» Я и глаза на нее вытаращил. Восемнадцать лет женаты... Дети почти взрослые. «Так ли живем? Что ты, говорю, мелешь?» — «Я не мелю. На самом деле: весь век суета, поспешность, хлопоты. День за днем все круче, неотложней. Стареем, а бежим все быстрее и быстрее. Уже и жизнь проходит. Хорошо едим-пьем, есть во что одеться. А поели, оделись? Где мы были, что видели? Люди — на Кавказ, люди — в Прибалтику. Большая наша земля. Столько на ней чудес». — «А ты в Крым позапрошлый год ездила? Ездила. Сама рассказывала — еле досидела срок. Потянуло домой».

— Заткнули ей рот? — усмехнулся Ратушный.

— Заткнул. А по сути, на ее стороне правда. Ну... не только в этом — в курортах, путешествиях. Не умеем мы жить. Не только отдыхать, а и жить. Еще не научи-

лись. И работать тоже. Ровно, уверенно... Без суеты...— Василь Федорович помолчал, затоптал сигарету.— Может, я и не совсем правильно говорю. А только озадачила меня моя Фроська. И если уж в голову такая нелепая думка вскочила...

— Нет, почему же нелепая,— посмотрел на Грека Ратушный, и трудно было угадать, верит он его рассказу или считает, что тот все выдумал.— А что касается поспешности... Может, это счастье, что нам некогда. Вы почитайте, всюду пишут про скуку. Люди не знают, куда деваться. Ученые определили: два выходных дня — это предел. Больше — зло.

— Эх, это...

— Где-то не у нас? Нет, даже в нашем районе. Вы сегодня найдете кого-нибудь, кто за деньги побелил бы хату, починил забор? А что в воскресенье творится в райцентре? Машины в шесть рядов. Поприезжают и щеголяют друг перед другом. Ну, еще пьют, и не всегда ситро, да анекдоты рассказывают. Итáк, права ваша жена, а не вы. Надо учиться отдыхать. К чему и призываю вас с этой минуты. Сегодня — начало рыбной ловли. Я прихватил два спиннинга.

Теперь были удивлены Грек и Дашенко. Ратушный и вправду подошел к багажнику и показал два новеньких спиннинга.

Они подъехали к Десне. Дашенко скептически поглядел на снасть и пошел по берегу налево. Ратушный со спиннингом — направо.

— Юшку сварим? — крикнул ему вдогонку Грек.

— Только из рыбы, которую сами поймаете,— не оглядываясь, ответил Иван Иванович.

Василь Федорович закинул удочки из-под куста верболоза. Он долго суетился над водой, испробовал все ведомые ему приемы — и в проводку, и со дна, но рыба не брала. Поднялся ветер, гнал по реке волну, молоденькие кувшинки в затоке то ныряли под воду, то выныривали, чтобы через минуту спрятаться снова, колючий песок свистел под ногами, порошил глаза, даже удочку было трудно закинуть.

Когда вернулся Ратушный, неся на вербовом кукане щуренка граммов на триста, в металлической сетке, которую Василь Федорович прикрепил к колышку у берега, крутилось с десятков ершей да несколько окушков. Но самого Грека на берегу не оказалось. Он появился



минут через десять со стороны села с казанком и картошкой.

— Из чего же мы будем варить уху?— спросил Ратушный.

Грек показал на карпа и карасей.

— Но мы же договорились — только из рыбы, которую сами поймаем.

— Эту я поймал утром,— коротко пояснил Василь Федорович.

У костра хозяйничал он. Делал все не торопясь, ловко. Он вообще ценил ритуал, не признавал спешки, работы «на хапок». Как-то само собой получалось, что Ратушный и Дашенко попали ему в подручные. Одного он послал за хворостом, другого посадил чистить картошку, сам вкопал подпорки для казана, приготовил специй.

Уха удалась на славу. И к тому времени ветер утих, на берег прилег мягкий, ласковый вечер. Вода на глазах меняла цвет — плавный голубой и розовый на синий, фиолетовый, а потом на черный; и стали выше, подступили ближе кусты да деревья, и первобытностью повеяло с другого берега. Душа и мысль словно бы летели туда, к древности, старине, к тем дням, когда эти берега были и вправду совсем пустынными, когда только случайный охотник или рыбак караулил тут добычу. Этот древний охотничий инстинкт в человеке живет постоянно, в самой глубине, в недрах души, только не все догадываются об этом. Даже Дашенко почувствовал это. Таинственно хлюпала внизу река, на том берегу кричала сова, и описывал вверху, над огнем, магические круги острокрылый кажан. Темень придвинулась, стала за плечами: когда Дашенко отошел от костра и спустился к речке, чтобы помыть руки, ему показалось, что он навсегда потерял спутников, не мог определить, где конец, где начало ночи, где ее верх, а где низ, пока немного не пригляделся и не различил черные купы деревьев на почти черном фоне. Ему невольно захотелось быстрее вернуться к костру. Не потому, что испугался, а просто какая-то неведомая сила толкала его к людям, к товариществу, в котором было уютно на дне этой крошечной ночи. Длинные языки пламени лизали сухую корягу, огонь казался живым, вещим. Общий очаг, тесный, озаренный неверными отблесками огня круг — люди в нем сплетались мыслями, словами, четкие края его размывала ночь, и все, что она породила на берегах древних, вечных рек, становилось общим. Неведомо, чем оно держалось, какой субстанцией, невидимое, почти эфемерное, но оно было. Река несла его от поколения к поколению, оно, это общее, накапливалось, увеличивалось, становилось чем дальше, тем больше человеческим и человеческим. Без общего доверия люди давно погиб-

ли бы на этих берегах, и, лишь развивая его, приумножая, они могут жить дальше.

Только значительно позже Дашенко догадался, что и эта поездка и этот костер не были случайными: тактичный и предусмотрительный Иван Иванович вводил их в новый круг взаимного доверия, дружбы, словно вскоре собирался покинуть их и хотел, чтобы они прониклись уважением друг к другу.

Трижды обошла круг медная, посеребренная чарочка, деревянные, собственного, Грекова, производства ложки исправно черпали из казанка, как и заведено в добром товариществе с давних пор. Дашенко лакомился рыбой, Грек и Ратушный, как истые рыбаки,— наваром.

Василь Федорович отметил, что в Десне рыба перевелась, да и как ей не перевестись, когда летом на берегах народу — что кузнечиков в траве, а по фарватеру одна за другой прут моторные лодки и «ракеты», взбаламучивают воду, как в луже, малек бьется о берег и гибнет. Это его наблюдение. И негде рыбе нереститься, малые речки и ручейки попересыхали, а болота и озера, из которых они когда-то брали начало, люди нарушили.

— Сдается, и вы распахали Твани?— заметил Дашенко.

— Приложил руку. Выполнил указание. Каюсь. Дурной был.

— А какие там зелены! — словно бы не слышал его Дашенко.— Как-то я проезжал мимо. Скольких людей накормили Твани.

— Сколько ни корми, а все будет мало.

— А что же там росло? Осока. Цветочки мелкие, белые, а под ними неверная топь. Куличок или водяная курочка пробежит...

— Вот-вот, куличок, курочка. Им надо тоже где-то бегать. Природа и их сотворила, не только нас. Без них белый свет не свет. Я эти болотца помню с малолетства. Все помню. И даже беленькие цветочки. И не только я... Возле них выросли мои предки. Наши, сулацкие. Где-то тут ходил оратай с сохой.

В его голове что-то круглилось, росло, но он не мог до конца это осмыслить и потому выражался непривычно и даже выпренне.

— Жаль, конечно, что мы не сберегли соху того оратая. Можно было бы пахать ею землю и сегодня,— подтрунивал Дашенко.

— Неверно, тут дело в другом,— осторожно вмешался Ратушный.— Минувшее, память о нем, даже кое-какие не совсем нужные рудименты входят в будущее и как бы скрепляют его. То, что мы сейчас отрываем — иногда легко, иногда с кровью,— тоже когда-то было передовым будущим или просто сутью тех, чья кровь шумит в наших жилах. Это одна бесконечная нить, которую мы не можем оборвать, хотя было бы безумием и повернуть назад.

— Назад — да,— сказал Грек.— Но, может, пора оглядеться? Чтобы не затоптать окончательно то, что осталось.

— Смотреть под ноги надо, но останавливаться мы не можем,— снова мягко возразил Ратушный.— Это не от нас зависит. Если бы даже и захотели.

— В нас есть нечто... Ученые называют это упрощенно — любознательностью,— прикурил сигарету от головни Дашенко.

— Так, может, зануздать ее,— буркнул Грек.— Хоть на время. Уже есть атомная бомба — и реки взбаламученные. Механтропа вон клепают. Такого, чтобы думать за нас.

— Может быть, до него и не дойдет, а сам человек усовершенствуется,— сказал Дашенко и лег навзничь, подложив под голову руки.— Бессмертие откроют.

— И это не лучше.

— Почему? Бойтесь, что оно для всех? И для него-дядев, и для паразитов?

— Может, только они им и воспользуются. Да и что это даст? Мы же только себя помнить будем. Ну... раз отлюбил, два, три. А дальше? Счастье — от сердца, а не от головы, какой бы мудрой она ни была.

— Не весьма прогрессивная философия.

— Возможно. Но... мы сердцем чувствуем, когда нам хорошо. Им любим. А что есть в мире больше любви?

— Можно подумать, этот вопрос стал на вашей повестке жизни сверхочередным? — пошутил Ратушный и таким образом перебил спор.— А ну-ка, признавайтесь, пока не дошло до бюро райкома.

— Если б стал... так никакое бюро меня бы не остановило,— с вызовом ответил Грек.— Но, сдается мне, поздно. Я всегда говорил, у меня — баланс. Дважды я любил — меня не любили, дважды меня любили — я не любил. Брутто-нетто — сошлось точно.— И почему-то

подумал про Лиду, и в его сердце шевельнулась то ли жалость, то ли недоумение.

— Что же брутто, а что нетто? — спросил Ратушный.

— Брутто — сама любовь, а нетто — то, что она приносит.

— Что же?

— Ну, всякие нравственные муки...

— На вас это не похоже.

— Если закрутит, человек сам себя не узнает.

— Это правда, — грустно усмехнулся какому-то своему воспоминанию Ратушный. — В юности нам чаще всего выбирает дорогу сердце. Разум, случается, ведет и по лабиринту, ищет лазеек, видит обходные дороги, а сердце рвется напролом. Тогда его легче прострелить, но тогда оно взлетает до высоты необыкновенной. Сколько раз убеждался. Даже во время войны.

— Выходит, надо верить только сердцу? — бросил Дашенко.

— Не всегда, конечно. Я имел в виду сердце доброе, совестливое.

Ратушный сидел, охватив руками колени, а по его большому, со шрамом, лицу блуждали красные отблески. От этого лицо казалось суровым, жестоким. Но Грек знал, что это не так, что уравновешены оба начала и что гармония эта удивительна и постоянна. Уже не впервые Василь Федорович чувствовал себя рядом с этим человеком учеником и, хотя сам давно не терялся перед миром и перед людьми, каждый раз по-новому восхищался Ратушным. Он чувствовал удивительную родственность с ним, которая, конечно, не была родственностью в прямом смысле, просто сказанное Ратушным всегда было настоящим. Сейчас он в разговоре чуть-чуть отдал преимущество сердцу, и Грек догадывался почему, как догадывался и Дашенко. И не только вечер, костер, плеск Десны были тому причиной. Его вела забота о будущем, о них обоих, и становилось понятным, что эта мысль идет от сердца.

— И вот, если после всех этих философий посмотреть на наши дела, — как бы подытоживая, сказал Иван Иванович, — так выходит... не все хорошо выходит. Сегодня мы в границах района умеем и можем многое, покупаем машины в частное пользование, хорошие дома... Асфальтируем тротуары. А, скажем, асфальти-

ровать тракторные станы не можем. Вот вам и пропорция. Вперед — назад. И тут думать да думать. И не только нам троим. Где мы движемся вперед, а где — назад... То есть не назад. Но как сделать, чтобы и там и там идти в ногу? И тут всему должно быть место и мера: и традициям, и мечтам, и душевному покою, и отдыху. Наша сила в том, что думаем сообща.

Иван Иванович поднялся, нагреб хворосту и кинул на обуглившийся пенёк. Мгновенно вспыхнуло пламя, раздвинуло темноту, и оба — Грек и Дашенко — поняли, что это последний на сегодня огненный обряд, прощальный. И стало хорошо от этой вспышки, трескучего огня, который прожигал темноту, и грустно, что уже конец вечера.

Разговор завершался при последних отблесках и был обычным, деловым — посевы, надой, комплекс. Ратушный отправился к машине, Грек и Дашенко на несколько минут задержались — гасили костер. Один черпал казанком воду из речки и подавал на кручу, а другой выливал. Мгновение еще постояли рядом, белый пар валил из-под ног, легонький ветерок отведал его в сторону речки.

— Скажите, Василь Федорович,— спросил Дашенко.— Вы уверены, что ваш отец погиб вместе с другими в тот трагический день?

Это было так внезапно, будто Грека ударили из темноты, он хотел ответить язвительно, зло, но подумал: если Дашенко спросил вот так, в неофициальной обстановке, у костра, так не для того, чтобы обидеть. Что же заставило задать этот вопрос?

Дашенко опередил его:

— Пришло письмо. Я понимаю, момент выбран для вас сложный. Высекаете на камне имена.

— Письмо анонимное?

— Не совсем. И в нем трудно разобраться.

Василь Федорович молчал. Плакала за речкой сова, словно кликала беду, а он не знал, что ответить.

— Это и правда сложно,— молвил наконец.— И одним словом ничего не объяснишь. Но главное — я верю в отца. Понимаете — верю!

— Это я понимаю,— сказал Дашенко.

«Но этого мало»,— слышалось недосказанное.

Внезапно над лугом вспыхнули два сильных луча, и в их свете замелькали тысячи мотыльков и всяких

ночных козявок, заворчал мотор и послышался приглушенный его гудением голос Ратушного:

— Борис Ларионович, Грек, поехали...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Откуда же эта вера в отца? Только потому, что он — его отец? Неизвестность мучила с самого детства. Сначала все получалось просто: хорошо бы отец был солдатом, пускай даже и погиб бы, но с честью. Только потом Василь Федорович понял, что это эгоизм и думать об отцовской смерти с точки зрения своей жизни непристойно. Он ничем не мог повлиять на отцову жизнь, а требовать чего-то от его смерти — это уж совсем никуда. Но невольно его собственная жизнь как бы замыкала его в отцовом кругу. И уже не было своего будущего и сиюминутного, а и чего-то иного, что лежало в кругу более широком, и он обязан был доискиваться правды. Хотя чем дальше, тем больше ощущал кровную связь с отцом и уже не мог от этого отойти, и если на отце была вина, то она была и его виной, хотя бы потому, что так непрерываемо он восставал против ее возможности. Все связывало их: этот вот памятник, эта могила, судьба села, в котором отец начинал то, что продолжает он.

Мысленно он спорил из-за отца не раз, защищая его. Хотя иногда в трудные минуты и вспыхивало: «Жизнь сложна, она порой ломает человека». Но спохватывался и отгонял эту мысль.

Вот и сейчас. Лежал на веранде (летом спал там постоянно), за стеклами царила ночь, полная жизни, запахов, звуков, он словно бы плыл по ней, но это плавание не мешало ему думать. Где-то на Песках взлаивали собаки, прохрипел от клуба баян, потянув за собой гомонящих парней, загудела машина, и сквозь размышления проклюнулось: «Кто это так поздно?» Иногда о стекло ударялся жучок, наверно, из ночных слепцов, которые не видели стекла. А он думал. Собирал воспоминания, как знахарь травы в корзину: с лугов, из лесов, с болот, с сухих холмов — и связывал в пучочки, которые составляли что-то целое, могли врачевать. Из тех воспоминаний рисовал себе образ отца, как отлитый в одной форме памятник — без щербинок и пустот. И это было, пожалуй, самым важным. Он придиричливо вглядывался в его образ, оживлял его в далеких днях

и событиях, снова и снова представляя, как вел себя и мог повести Федор Грек в тех или иных обстоятельствах. И опять: каким он был? Соответственно этому и должен был себя вести. Огонек веры не угасал в Василе Федоровиче никогда, никакие случайные дуновения и ливни не могли его погасить, наоборот, чем больше сгушалась темнота вокруг отцовского имени, тем ясней горел для Грека этот огонек, и материнская уверенность, и собственные раздумья говорили тоже в пользу отца, и все-таки это напоминало блуждание в предрассветном тумане, топтание на одном месте, когда деревья, кусты и другие предметы приобретают волшебные очертания, когда ты даже хорошенько не знаешь, светает или все еще разливается вокруг лунное сияние, а главное, не знаешь, куда идти. Но он должен был идти, он просто не мог стоять на месте.

Он и шел... мысленно. Он вообще последнее время стал много думать. Наверно, человеку иногда все-таки нужно обдумать до конца себя и свою жизнь. Тогда меняется сам человек. Прибавляется в нем совести и доброты. А только ими и можно жить. До этих простых истин, как ни удивительно, он доходил медленно и туго.

«Совесть, она тоже мучится бессонницей,— говорил он себе.— Только, наверно, не у всех. Если уж она есть, так есть, а если ее нету, так нету! Ее не взвесишь на весах и даже не просветишь рентгеном. И бывает так: чем в большую посудину наливаешь, тем ее меньше. Растекается, что ли? Мне кажется, нынче что-то заботятся о совести мало. Хлеб и молоко — это хорошо, и знаем, как приумножить их, а вот как приумножить совесть?..»

На прошлой неделе поехал он к своему знакомому в Киев. Захотелось посоветоваться об отце с человеком, знающим толк в этих делах. Авось поможет, подскажет, с какой стороны подойти, где поискать концы. Когда-то жили с ним в одной квартире. Он учился на юриста, хотел стать адвокатом. Вечерами завертывался в простыню на манер древних греков и выступал в «суде». Василь бывал то прокурором, то подсудимым, а чаще всего публикой. Хорошо говорил приятель! О правах человека, о чести, совести... На очень высоком уровне витала его душа.

Сейчас у него большая квартира, дорогая мебель. Водит «Москвич», а целит на «Волгу». Жаловался, что

стареет. И поведал Греку, что хотел заступиться за одного невинного человека и, столкнувшись со своим же высоким начальством, отказался. Грек о своем деле уж и не заикнулся, увидев, что это совсем не тот студент, какого он знал когда-то.

«Что же получается? Так ничего и не было? Не было того парня в простыне?.. Она давно истлела, а сам он иструхлявел душою? Или не надо рядиться в белые одежды? А как тогда жить?.. Чтобы главное осталось белым и нетронутым? И разве должно быть так, что с годами уровень опускается все ниже и ниже? И это с каждым... Эх-эх, решительно нет! Я еще сам пополам переломаю того, у кого он, этот уровень, опустился слишком низко. Переломаю, если зацепят меня? Или не только меня? Наверно, тут и кроется смысл всего. Но сейчас я не знаю наверняка. Не случайно только, что об этом я думаю сегодня. На каком же уровне была отцовская совесть? Неужели не на самом высшем?»

Итак, собирая стебельки-воспоминания, он складывал одно к одному. Попадались травинки с чужих, неведомых ему полей, которые засевались, когда его еще не было и в помине. Вот как это воспоминание, рассказ младшего материнного брата, а его дяди Андрея, ныне пенсионера.

Андрей очень любил Даринку. Может, в ответ на ее любовь. И ко всем парням, которые увивались за сестрой, он относился ревниво. А их шастало мимо Вересова двора много. Старый Верес сплел высокий тын, и им приходилось высоко задирать головы, чтобы увидеть Даринку. Только синяя фуражка Федора Грека плыла над тыном, а из-под нее поблескивали черные как угли очи. Парубки тогда ходили в синих пиджаках, побрякивая значками на цепочках — ЮВС, ВС, МОПР, Красный Крест и другими. Это был самый шик! Иногда кто-нибудь из ребят останавливал на улице Андрея, заводил разговор, искал к нему ход, словно он мог приворожить к кому-то Даринкино сердце. Да и знал, что оно уже не свободно, и одобрял Даринкин выбор. Правда, Федор Грек не гремел значками и не катал Андрея на велосипеде, зато носил длинный белый шелковый шарф, захлестнув его вокруг шеи, и уж тогда казался настоящим гигантом, хотя и так был росту немало. Он работал

на дороге, утюжил ее тяжелым катком. В этом не было ничего привлекательного — дым, и вонь, и жара, и крутя на одном месте. И сам Федор казался большим и тяжелым, словно каток, но всегда сиял тихой и доброй улыбкой.

И вот однажды Федор подарил Даринке часы. Это было почти чудо — блестящие часики на загорелой руке девушки. Назывались они «Звезда», длинненькие и очень красивые. Мать чуть не побила Даринку и велела вернуть подарок. И не потому, что не хотела, чтобы Даринку провожал с гулянок Федор Грек, а просто мерещилось ей в этом что-то странное и даже страшноватое: как это так — подарить часы? Наверно, растратчик этот Федор, не хозяин? А может, у них с Даринкой уже что-то было?

Но в воскресенье пришел сам даритель и объявил, что часы куплены на заработанные деньги, что он любит Даринку и бережет ее честь. Андрей часто просил у Даринки часы — послушать, как они тикают. Она приходила с молотилки вся в серебряной пыли, веселая, смуглая, и когда снимала часы, на ее руке оставалась белая полоска. Смывала с себя пыль, доила корову, готовила ужин, и все это время Андрей носил серебристую рыбку на своей руке, без конца прикладывая к уху. Маленькое металлическое сердце тоненько пульсировало и чем-то завораживало. Только после ужина Даринка забирала часы и бежала под вербы к Федору.

Осенью они поженились. Греки строились, и некоторое время Федор жил у Вересов. Поступил на работу в МТС, ему надо было рано ходить на работу, и часы стал носить он. Даринка сама надевала их по утрам ему на руку, чтобы помнить о ней и не задерживался. И Андрей понимал: часы стучали для Федора как Даринкино сердце. А потом молодые перебрались в новую хату, и Андрей видел их реже.

Когда Федора призывали в армию, «Звезду» он оставил Даринке, а вернувшись, снова надел часы, потому что стал работать в сельсовете. Это уже помнил и Василий Федорович — как приходил отец с работы, как от него круто пахло лошадиным потом и махоркой, как раздевался он возле рубленого амбара, где у них висел рукомойник, снимал часы и умывался до пояса. Иногда, шутя, брызгал на него, Василя. От этих отцовых омовений в памяти Василя Федоровича сохранилось что-то

вроде радуги, пущенной отцовской рукой. И сохранился сам отец, мокрый, в каплях воды или пота, обнаженный до пояса,— вот он косит в ложбине, загорелый, чубатый. И еще что-то помнилось — какой-то смех, какая-то борьба, он гоняется за отцом вокруг куста смородины, которая уже набрала солнца и рубиново играет в его лучах. А одно воспоминание такое ясное, словно рисунок перед глазами. Может, потому, что повторялось часто? У амбара вверх колесами — на руле и седле — стоит велосипед, батя в тени клеит камеру. Работает быстро, легко, и в лад работе витает над ним мотив веселой песенки: «Крутится-вертится шар голубой...» Чаще отец не пел, а насвистывал. У его ног стоит маленький ушат с водою, и, пристукнув красную заплатку молотком и зачистив края, он опускает накачанную камеру в воду. Та закипает от пузырьков. Отец вытирает камеру, берет в руки напильник: «Брось сердиться, Маша...» И снова из ушата — буль-буль-буль. «Вот зараза», — говорит отец, отдирая красную заплату и вырезая черную. «Где ты ходишь, моя доля...» И только после четвертого, а то и пятого раза скажет: «Черта лысого». Это его самое крепкое ругательство. «Придется шкандыбать пешком», — махнет рукой, улыбнется виновато и уйдет. А на следующее утро под амбарчиком снова: «Крутится-вертится шар голубой...»

«С такой добротой в сердце разве можно было служить злему делу?» — думает Василь Федорович.

Он перебирал все это в памяти, пока его наотмашь не ударяло: но ведь отец приходил и из полиции?

И тогда хватался чуть ли не за самый светлый, убедительный для себя самого эпизод. После работы отец умывался, ужинал, а потом зажигал каганец, надевал чистую рубашку и садился в углу на лавке, разворачивая книжку. Чистую белую рубашку он надевал непременно. Чаще всего читал «Кобзаря». Но были у него и «Война и мир», и «Овод», и еще какие-то книги без картинок, Василь Федорович их не помнил. Иногда отец читал ему что-нибудь вслух.

Так мог бы он, неправедным, надевать ради книги чистую рубаху и брать в руки «Кобзарь»?

...Федор Грек попал в окружение, а потом в плен под Минском. Вскоре ему удалось пристроиться в рабочую команду на железную дорогу — чистить паровоз-

ные топки. Обдумывал он несколько вариантов бегства, а открылся ему ход на волю случайно, и некогда было думать, взвешивать, прикидывать. Они сговорились с одним из вольнонаемных поменяться одеждой, менялись в узком проходе меж двух эшелонов, один из которых должен был идти на Восток, другой — на Запад. Когда эшелон, направляющийся на Восток, тронулся, Федор, махнув парню рукою, вцепился в поручни пульмана — и повез его поезд за высокие тополя, за переезд и будку стрелочника, часовой в поле только проводил его удивленным взглядом, поднял винтовку, но снова опустил. Видно, не решился выстрелить в путевого обходчика в замасленной фуфайке. Грек соскочил в поле: глухими лесными дорогами, тропками через болота пробирался на родную Черниговщину. Уже в Черниговском районе в селе Пиптях зашел разжиться краюшкой хлеба, а чуть не разжился пулей. Брел он мимо низеньких тынов, а по другую сторону с велосипедом в руках шествовал высокий, тонкий в талии мужчина в синих щегольских галифе и зеленой шевиотовой гимнастике, подпоясанной командирским ремнем со звездой, и подозрительно поглядывал на Федора. И хотя не было при нем оружия, Федор почуял в нем полиция или какого-то другого оккупационного чина. Тот чин неотрывно смотрел на него, и вот-вот должен был раздаться его окрик. И тогда что-то отчаянное рванулось в душе Федора Грека, он шагнул к незнакомцу и выпалил:

— Не скажете, где тут хата Балунов?

Что в селе Балунов много, он знал от мальчика-пастуха, которого встретил в лесу.

— Какого это Балуна?— пронзил его взглядом тип в галифе.

— Ивана.

— Фью-фью,— свистнул тот и прислонил велосипед к частоколу, над которым клонились вишневые ветки.— Иванов у нас немало. Какого тебе надо и зачем? Как его по батьке?

— Там не бывает по батьке. Пилили мы с ним сырую березу в холодных краях. А потом его... это... повезли дальше. Крепкая береза, карельская...— И пресек себя:— Привет родне хочу передать.

— Видать, Панасович? Крестный моего брата. А ведь и мой путь им окрещен,— сказал полицей, помолчал и добавил: — Вот, значит, как дорожки сходятся.

Холодный страх хапанул Грека за сердце. Он подумал, что Балун вернулся и теперь полицай поведет его к нему. Он словно сам навел на след, которым хотел отвлечь преследователя.

— Дороги — они бесконечные, — промямлил неопределенно.

— А ты-то как в карельские леса попал? — допытывался полицай.

— Отца раскулачили... Ну, и меня отправили. Чтобы, значит, корня не осталось.

Это понравилось полицаю. Федор увидел по его глазам, они словно облили его вязкой теплотой, от которой Греку стало совсем муторно.

— Так-так, чтобы корня не осталось. А они, коренья, цепкие. Я вот тоже... Утекли с сестрой в двадцать девятом. А теперь вернулись в родные места. Ну, не всякий корень выстоял, — понурился полицай. — Вот и Балун... От дядьки Ивана известий нету... И тетка с девочками уехала. Ни слуху ни духу... Так что некому поклонься передавать. Заходи к нам, — в его голосе Греку слышалось недоверие и даже угроза.

Радость что волной облила душу: Балуну нету! — схлынула. Надо было бороться за свою жизнь. Как бы не промахнуться и дальше с Балунами? Ведь спросит полицай. И сразу же придумал расплывчатый, но такой, какому бы посочувствовал полицай, портрет: худой, истощенный, длинная борода и страдальческие глаза. И глубокий вечный кашель.

Этот портрет он и представил полицаевой матери, которая по приказу сына кормила гостя. Ел Грек фасолевою похлебку и гречневую кашу с салом, поджаренным на сковороде. Он глотал, не жуя, от запаха сала мутило, а полицаева мать вздыхала и утирала платочком слезы. В конце обеда полицай поднес ему полстакана самогона, настоящего на каких-то травах.

— Кашлял он и тут, — сказала старуха. — Это у него от курева. Бакун-табачок курил, и не корень, а самую листву.

— Много ты знаешь, — отозвался полицай, который на другом конце стола, застеленного скатертью (там, где сел Грек, хозяйка ее отвернула), просматривал какие-то бумаги, доставая их из планшета. — Слышь, не от курения кашель, а глубокий. Беркулезный.

Полицай расспрашивал Федора, откуда он, да кто у него дома, да что думает делать.

— За землю возьмусь, стосковался я по ней,— сказал Грек.

— Ну, это... дело,— молвил полицай, но Федор ощутил неодобрение. И не ошибся.— Только ту землю еще чистить и чистить надо. Еще на ней сорняку большевистского. Еще она... коммунизмом воняет.

— Перевернем ее, перепашем.

— Не в том суть,— упрямо долбил свое полицай.— В лесах, по оврагам... слоняются всякие прежние сеятели. И в селах попритаились. На что-то надеются. Хотя надеяться не на что, крышка Советам. Но... землю нашу чистить надо. И вот тебе мой совет — иди в полицию. Ну-ну,— перебил он протестующий жест Грека.— Я тебе... как на духу. Можно сказать, секрет открываю. Полицаям землю дадут в первую очередь. Лучшую землю. Понял?

— Это... мне по мысли,— задумчиво сказал Грек.

— Вот так вот,— полицай был доволен собой.— Этой линии и держись. Она тебя прямо к цели приведет. Мама, киньте человеку что-нибудь в торбу на дорогу,— сразу же бесцеремонно и спровадил он Грека со двора.— Справки, конечно, я тебе никакой дать не могу,— соврал он, потому что тогда всяких справок писали без счета.— А иди ты вот как: на Дебрик, на Колядки, на Кравчин, и в этих местах не бойся, ссылайся на меня, там меня знают,— снова молвил не без самодовольства, и от этого Греку стало не по себе: доброго звания человек, если и там, в эту лихую годину, известно его полицаево имя.— Ну, а дальше... Там уже к дому ближе, в крайнем случае будешь просить опознания. А я когда-нибудь к тебе в гости нагряну, как к кровнику по оружию.

Так Федор Грек и добрался до своего села. Об этом он не раз рассказывал жене, а та пересказала это приключение сыну. Для Василя Федоровича нынче особенно важен был сам строй рассказа, то, как отец проявлял свое отношение ко всему, что его окружало.

Никаких доказательств об отцовых связях с подпольем Василь Федорович добыть не мог. Даже мать ничего об этом не знала. Федор Грек отводил жену от греха. Но... еще одно воспоминание — словно в тумане, словно в седой метели... Пришел однажды Федор домой и рас-

сказал жене, что немцы выгнали из Сулака и Широкой Печи людей на железную дорогу, но по пути их перехватили какие-то высокие немецкие чины, пригнали к проложенной по льду на Десне переправе и приказали разобрать ее. Полицаям объяснили, что ждут наступления партизан. Бревна и доски свалили в кучу и сожгли. А пока селяне под присмотром полицаев стаскивали доски и бревна, немецкие чины грелись в хате лесника, стрекотали о чем-то между собой по-чужацки, а когда лесничиха вышла во двор, заговорили по-нашему, по-украински. Они не знали, что через другие двери, в забитой на зиму светличке, лесничихе все слышно. Она поняла, что это партизаны, и даже дозналась, что один из них Ключко из Сулака. Лесник и лесничиха служили немцам. Федор Грек попросил жену, чтобы она наведальась к Ключчихе и обвиняком посоветовала ей быстро перебраться на лесные хутора. Ключчиха послушалась и в тот же вечер сбежала из села; после войны не раз благодарила советчицу...

Вот что много раз вспоминал об отце Василь Федорович. Этого было довольно для сына и совсем мало для оправдания службы Федора Грека в немецкой управе.

Старая, раскидистая шелковица притулилась одной веткой к окну, и молоденькие листочки казались вырезанными из зеленой жести. Летом, когда созреют ягоды и усыплют густую мураву и тропинку внизу, сюда налетят стаи скворцов и детворы. Дети, в отличие от скворцов, налетают не потому, что нет своих шелковиц, так уж ведется: даровое слаще. Василь Федорович подумал, что и его когда-то лакомила такая шелковица. Вернувшись с пастбища и бросив в угол сеней батожок, он хватал краюху хлеба и айда на шелковицу. И редко когда матери удавалось согнать его до борща или похлебки. До чего же неприхотливое дерево шелковица! Воткни побег, полей несколько раз — и жди плодов.

Мысли его прервал стук в дверь.

В контору заявила тетка Федорка, низенькая высохшая доярка с монгольскими глазами, узловатыми быстрыми руками, сейчас праздно сложенными на животе. Уселась сначала на один стул, потом оглянулась на темнеющее окно, пересела. В кабинете сразу запахло молоком и клевером — небось Федорка прямо от коров. Почему-то оглянувшись на дверь, она сказала:

— Хоть вы и в секрете держите, а я все знаю...

— Что вы знаете? — удивился Грек.

— Гарнитур вы мне мебельный хотите подарить на пенсионные проводы.

— Какой гарнитур? О чем вы? — прикинулся удивленным председатель.

— Вы никогда не признаетесь, а все завсегда наперед знают,— невозмутимо вела дальше Федорка.— Но я... тоже вы не подумайте плохого... Была как-то у сестры за Черниговом, так там провожали сестрину соседку на пенсию. Поставили в сельсовете столы, пришел председатель...

— Ну?

— И я так хочу. На что мне гарнитур? Пусть чтоб... сошлись старые люди. Вспомянули, как жили, как бедовали и добра наживали, да и песен попели. Нехай не в сельсовете, а хочь на стане.

Василь Федорович задумался. Сперва дояркина просьба показалась ему блажью, но постепенно он прониклся ее настроением. Женщина она честная, и захотелось ей, чтобы люди почтили ее честный труд. И отозвалась душа, и он укорил себя, что столько людей обделили они теплом и обыкновенной лаской — слишком официально, слишком сухо, хоть и денежно, провожают людей на отдых и поздравляют со всякими маленькими торжествами и семейными событиями. А нет ничего на свете лучшего, чем принести кому-нибудь радость. И он растрогался.

— Хорошо, Остаповна, устроим вам красивые проводы...

— Оно не совсем и проводы, я, если можно, буду работать...

— Еще лучше. Отметим эту веху в вашей жизни. Будут и гости, и оркестр, и речь я скажу. Надеюсь, и другие выскажутся.

Василь Федорович после этой беседы даже повеселел. Но ненадолго. Пришла другая посетительница, доярка из Широкой Печи, и стала просить у Грека письмо к знакомому ему директору завода, рекомендацию на работу. Василь Федорович сначала удивился — только начал знакомиться с новыми людьми, но уже знал, что Валя самая лучшая доярка в Широкой Печи, единственная дочь у отца с матерью, и сама хорошо зарабатывает, живут зажиточно. Девушка не отвечала на пред-

седателевы вопросы, а твердила одно — дайте письмо. Грек допытывался: может, ей чего надо, может, кто ее обидел, так он защитит, поддержит.

— Трудно работать? Ну, конечно. Потерпи, Валя, скоро построим комплекс, перейдем на односменную работу.

— Я работы не боюсь.— На лице девушки застыло неживое, деревянное выражение: немигающие глаза, стянутые губы, и из них — бесцветные слова.

— Так... какого же черта ты мне голову морочишь! — с сердцем воскликнул Грек.— Ну, где ты еще будешь столько получать? Сто шестьдесят да за выпайвание телят... Да за заготовку кормов... Ну зачем ты поедешь? Или у нас кина не те, или ковры в магазине хуже? Хочешь талон на ковер?

— Не хочу.

— Так скажи мне, объясни, какая у тебя позиция. Что тебе надо?— И шлепнул ладонью по столу.

Может, от того шлепка, от обиды, а может, дошла «до точки», но Валя вдруг заплакала. Она плакала горько, острые плечи вздрагивали, руки, которыми она заслоняла лицо, тряслись: было видно, она хотела сдержаться, да не могла. Василь Федорович растерялся, подсел к ней, положил на плечи тяжелую руку. Он не говорил ничего, а только чуть-чуть поводил рукой, и, наверно, от этого искреннего, успокаивающего движения, от того доверия, которым веяло от руки, худенькие плечи перестали дрожать. Валя утихла, только время от времени всхлипывала и вздрагивала всем телом.

— Ну, что ты? — сказал Василь Федорович и не узнал своего голоса.

В эту минуту он подумал про своих девчат и, забытый всяческими хозяйственными планами, что-то стал соображать. Валя опустила руки, слезливо посмотрела на Грека.

— Мне... двадцать пять. А меня еще никто... никто не целовал. Даже не проводил из клуба. На что мне эти... ковры и шифоньеры. На что, скажите?

Он этого объяснить не мог. Крошил погасший окурок, молчал. Смотрел на Валу. Славная девушка, может, не красавица, но у нее такие ясные, сияющие глаза... А какая работающая! Клад — не жена. Тому, кто встретится на ее пути и не обманет ее надежд, отдаст всю любовь и ласку, заслонит от невзгод, освободит от

тревог и хлопот. И мешает всему... он, Василь Грек. Перед Василем Федоровичем впервые вот так, резко и обнаженно, представилась ситуация, его роль — довольно неопределенная, так сказать, двойственная: с одной стороны, он должен уговаривать Валью не бросать работу — во имя сегодняшнего и завтрашнего дня остальных сельских девчат, с другой — во имя того же будущего не имеет права удерживать ее. А в конце концов, при чем тут право? Разве оно не на ее стороне?

Грек решительно сел к столу и за полминуты набросал записку директору. Он знал, что завтра к нему прибежит с жалобой завфермой, к нему, а может, и на него, повыше, что, наверно, и сам он будет искать замену Вале, и найти ее будет нелегко, что, похоже, пожалеет об этом, но иначе он поступить не мог.

— Ты ж там смотри,— ни к селу ни к городу грубовато сказал Грек.— В мире хватает всяких проходимцев. А ты девушка честная и чистая...

Она вспыхнула до кончиков ушей, кивнула и, забыв попрощаться, вышла за дверь. А Грек курил и тяжело расхаживал по кабинету. А потом, толкнув кулаком раму, налег грудью на подоконник, уставился в темноту. Он не видел ничего — просто чувствовал, что нужна минутная передышка.

На берегу шалели соловьи. Он послушал-послушал, выпрямился и отошел от окна с уверенностью, что поступил правильно.

Последней посетительницей в этот вечер оказалась Лида Куценко. Она не на шутку удивила Грека своим появлением. Он подумал, что Лида нарочно пришла так поздно, а может, пережидала на скамеечке первых посетителей, помрачнел, сказал с преувеличенной официальностью:

— Сейчас прием по личным делам.

— А я и пришла по личному делу,— то ли вправду непринужденно, то ли играя, молвила агрономша, усевшись на стул и расправляя широкую, слишком пеструю юбку.

Он, как и при первой встрече, подумал, что одевается она не по возрасту, но не сказал этого вслух. Да и, в конце концов, это не имело значения, свои обязанности Лида исполняла, может, и не блестяще, но деловито, не проявляла инициативы, но планов и сроков не

нарушала и не потакала плохой работе, и это, по крайней мере пока, устраивало Грека.

— Какое же дело? — решив придерживаться того же официального тона, спросил Грек.

— Нету счастья. Разве это не личное?

Василь Федорович покрутил в пальцах карандаш — собирался записать агрономову просьбу, — положил его на стол.

— В такой мере личное, что, наверно, только от нас самих и зависит.

— А если не только от нас?

— Надо обращаться по инстанциям. Напиши заявление, рассмотрим на правлении, — отшутился Грек. — Выпишем, сколько там тебе надо. Или заменим — картошкой, кормовой редькой...

— То-то и оно, что редькой. Все мы в таких случаях отделиваемся шутками. — В ее голосе зазвенела тоска.

— А что тут скажешь? Если это вправду в нас? Есть или нету. Если есть, тогда мы об этом не думаем и не знаем, что оно есть... А нету... начинаем искать. Счастье — это, наверно, когда нас не тревожат вопросы о нем.

— И найти его невозможно?

— Не знаю.

— Почему же тогда говорят: подарил или подарила счастье?

— Это когда дарят взаимно.

— А украсть нельзя? — В ее голосе уже не было тоски, напротив, там звенело лукавство, насмешка.

И он уже не понимал, что же в ней настоящее.

— За краденое судят.

— Вот как. Ты судья суровый, я знаю.

— Как и всякий председатель.

— Да, да. Ты же и судья, и следователь, и судебный исполнитель. Я помню пшеницу и тех парней.

— Мне это не в радость.

Все перемешалось в их разговоре, и это вызывало в нем раздражение.

— Ты за этим и пришла?

— Нет, просто заглянула на огонек. Была в вашем клубе... В первый раз. Там сегодня французский фильм. — Она поднялась. Подтянутая, полная достоинства, серьезная. — Ты обещал рассказать про свою агрономическую систему. И показать на полях.

— Пожалуйста. Хоть завтра. Расскажу все капитально.

— Отлично, завтра.

— Ты на транспорте? Может, вызвать машину?

— Спасибо. Меня Андрей Северинович дожидается.— Она поймала его удивленный взгляд и продолжила чуть игриво, но так, словно ее это и не касалось:— А что ж, женщина-агроном не живой человек? Будто ты не заглядываешься на молодых... Говорили мне...

— Не знаю, что тебе говорили,— перебил он,— но мне стыдно об этом слушать.

— Какой ты... праведник.

— Никогда не записывался в праведники. А теперь... уж дочка с парнями встречается. И другая на выданье. Что-то в этой болтовне есть... как бы тебе сказать, против естества, что ли.

— Не наоборот ли? Вон кое у кого внуки...

— Все может быть...

Он мылся за хатой под бочкой-душом, смывал с себя пыль сулацких полей, казалось, смывал что-то и с души и не мог смыть. Нагревшаяся за день вода уже остыла, струйки кололи кожу, а он и не чувствовал. Вспоминал, как Лида смотрела на него, рассказывая про Куриленко, что тот тянет к ней лапу, а она бьет по ней: «Не люблю мелких мужиков, так я ему и сказала: маловат ты для меня»,— пытался отгадать, для чего она рассказала ему об этом. Черт ее разберет, подумал, дразнит, распаляет нарочно и старается уверить, что между нею и Куриленко ничего нет. К чему это ей? После стольких лет, когда все уже забылось, стало далеким, словно и не бывшим. Чепуха. Нелепость. Что-то вернулось, пробудилось? Или, может, ей нужна не любовь, а просто хочет увериться, что не все пропало, что он все-таки был с ней и дорога ее любви, которая начиналась так тревожно, нашла бы завершение? А может, ее привело желание увидеть, что она потеряла? Пережить еще раз давнее, забытое и либо успокоиться, либо расквитаться?

На другой день они ходили по полям, он ей и показывал и рассказывал, а потом сама по себе возникла вчерашняя тема. Сначала Лида сказала, что в мире много неразумных людей, которые все делают словно во вред себе, то ли не понимая себя, то ли не зная жизни, не умеют предвидеть будущее, которое потом и карает их, и, когда он спросил — о ком она, ответила:

— О себе. Любила тебя столько лет, ты меня прогонял, как надоедливую щенка, а когда окликнул — растерялась. Вот и разбежались в разные стороны. Скажи, почему так?

— Не знаю. В последний момент мы чего-то боимся. Наверное, чтобы не ошибиться. Мы этого не замечаем, оно в нас сидит.

— Сидит, чтобы потом жалеть.

— Ты жалела?

— Всю жизнь. Когда почувствовала неладное, когда была унижена, когда сама стала презирать... Надо же было иметь кого-то, какой-то эталон.

— Понимаю,— сказал он.— Ты... вроде бы выдумала. А потом... сопоставила эталон с оригиналом...— Слишком поздно спохватился, что лучше было бы не спрашивать.

— Не сопоставляла. Я... как бы... заново в тебя влюбилась. Там, на собрании. И по рассказам тебя представляла, и потом увидела. Как ты тогда не побоялся...

Лида говорила это, как бы иронизируя над собой, да и над ним. Наверно, повела разговор в таком тоне нарочно, чтобы легче было перевести в шутку, а то и оборвать. Он понял. И спросил вдруг:

— Ты в самодеятельности не участвовала?

— Нет, а что?

— Ничего.

— Берегись,— прищурила она серые блестящие глаза.— Я теперь правду говорю. Я женщина коварная.

— Уже слышал, не наговаривай на себя.

— Я не наговариваю. Злость у меня на всю жизнь и на всех. Я хотела бы... хотела бы отомстить. Сначала думала, что так оно и будет. Что я... Ну, расслаблюсь, освобожусь от всяких условностей. Я же еще не совсем старая. И еще красивая. Правда?

— Правда.

— А теперь вижу, что не могу.

Его тянуло к ней и отталкивало одновременно. Она выбивала его из колеи, он даже терялся перед нею, хотя не привык к такому.

— Тебе бы надо... куда-то свою энергию направить,— осторожно посоветовал он.

— Я и направляю. На твои поля...

Они шли полевой дорогой мимо жита. Была середина июня, рожь уже выгналась, скоро станет наливаться,

но была в ней и какая-то блеклость, словно ей не хватало сил. И не хватало действительно, поле просило дождя, сгорало под солнцем. И сгорала Грекова душа, пласталась над житом. Она изнывала по несколько раз в год и расцветала с дождями и травами, об этом он подумал смутно, краем сознания, потому что слушал Лиду. И все как-то странно перемешалось: страх перед засухой — уж тогда все припомнят ему, что отказался от севооборота, — вековая печаль хлебороба и вызывающая Лидина откровенность, ее многозначительные взгляды, намеки и предчувствие какой-то беды.

«Эх, чего там, — подумал он вдруг. — Выдумал на свою голову... Цацкаюсь! Поехать бы с ней на сенокос...» И почувствовал настоящее волнение, и боялся, чтобы она наперед не угадала его. И уже что-то в нем ломало все запреты, хотя он и понимал, что Лидина нервозность, неуравновешенность даром не пройдут — ведь столько лет помнила про него и даже сюда приехала. Но радость становилась чем дальше, тем больше, она даже перебивала страх, вызванный мыслью о сенокосе.

— Хожу вот по полям, и так странно, — неожиданно сказала Лида. — Словно меня две ходит. Может, поля не те. Вот там было пастбище, я там корову пасла...

— Видишь, — перебил он ее, — кукуруза по кукурузе. Уже четвертый год. Взошла хорошо.

— Осень покажет... Ты и не помнишь, как я пастушила?

— Лида, — решился он вдруг на вопрос, который давно хотел задать ей, да все не выпадало случая. — Твоя мать видела, как уводили моего отца. Что она рассказывала?

— Я помню и сама.

— Не шути. Сколько тебе было лет? Четыре.

— Я не шучу. Слыхала, на тебя до сих пор анонимки пишут?

— Пишут. Не в этом дело. Я хочу знать сам.

— Разве мать не рассказывала?

— Рассказывала. Но, может... ты припомнишь еще что-то.

Лида подняла глаза, задержала на нем взгляд.

— А как надо... чтобы она рассказывала? — В ее голосе он уловил и сочувствие, и радость, и почти угрозу.

Он посмотрел на Лиду и понял, что ничего не знает о ней. Кто она, какая она, даже какой она была когда-то.

— Знаешь, Лида, это уже... Я хочу знать правду, и больше ничего.

— Ну, ты и так знаешь ее. Если будет надо, я подтверждаю.

— Не надо,— буркнул он.

Они дошли до конца ржаного поля и остановились на краю кукурузного лана. Он был сплошь черным от грачей.

— Пропала кукуруза,— сказала Лида.— Повыключают все стебельки.

— Завтра начнем с ними расправу.

— Расправу? Какую? — удивилась Лида.

— Я уже подсчитал,— почему-то неохотно объяснил Грек.— Патрон стоит семнадцать копеек. Восемь сторожей на лан, по пятьдесят патронов.

— Ты что, считал убитых ворон? — спросила она пренебрежительно.

— А что остается? Нынче приходится подсчитывать все. Гектары, надои...

— Энтузиазм?

— Энтузиазм.

— Любовь на душу населения?

— И ее тоже. Вон пришла ко мне девушка, доярка, пожаловалась на нехватку любви... Пришлось отпустить туда, где ее в избытке.

— Ты и на такое способен?

— А что ж ты думаешь?

— А как у самого? Перебор, недобор?

Он сразу остановился. Тропинкой мимо леса, метрах в ста от них, шли три девушки. Среди них Лина, наверно, возвращались со своего участка, со льна. Лина увидела отца, помахала, даже сделала движение к нему, но что-то остановило ее. Он понял и смутился. Казалось, чего бы ему стыдиться, и все-таки неприятная волна прихлынула к сердцу. Он попытался представить, что в эту минуту Лина думает о нем. Считает, что в его возрасте уже не нужно ничего, кроме кабинета и сладкого чайку на ночь? В нем снова, но уже совсем иначе, отозвались собственные слова: «Мне стыдно об этом слушать». Стыдно — как раз перед Линой, ее чистотой,

ясностью, ее верой в него. Если бы она знала, о чем минуту назад он думал...

Василь Федорович даже рассердился на себя. Попытался высмеять, даже сравнил себя с игрушечным медведем, привязанным за веревочку (так играла Зина), но ничего не получалось. И почему именно Лина, а не Фросина? Не Оля, не Зинка? Конечно, они тоже, но Лина — особенно.

И, чувствуя, что недавняя радость и тревога как бы растворились, зашагал дальше по полю. Донимала жара, духота, и горизонт странно менялся, и он вдруг понял, что собирается дождь. В Белоруссии дожди прошли, вот циклон и двигается к ним. И эта мысль, это предчувствие облегчили сердце, и он улыбнулся Лиде иначе — дружески и прямо.

— Я надеялась, что ты тоже несчастлив.

— Почему?

— Как правило, с годами несчастными чувствуют себя почти все. Нам кажется, что мы слишком мало взяли от жизни.

— Туда,— он ткнул пальцем вниз,— все равно ничего не возьмешь. Зато совесть не загрызет.

— Ты, оказывается, философ,— усмехнулась она.

— У нас тут все философы. Поговори вон с дедом Шевелием...

И он решительно перевел разговор на севооборот.

Предчувствие Василя Федоровича оправдалось. Только он приехал домой, как за лесом загрохотало. Тяжелые синие ветрила раздулись над землей, в мгновение ока стемнело, все приникло, притаилось в сладком и страшном предвкушении грозы. Ветрила летели и летели, с небесного корабля сбрасывали бревна, и они грохотали и гремели, вода в пруду потемнела и поблескивала таинственно и грозно. А еще через мгновение хлынул ливень. Дождь хлестал по крыше, по листьям, по траве — вода словно кипела в ней,— и плеск звучал, как музыка.

— Закрой окно,— попросила Фросина Федоровна, когда громыхнуло над самой крышей.

Василь Федорович подумал, что и вправду надо бы закрыть, но не хотелось, было так приятно слушать шум ливня, плеск воды, которая сбегала по желобу в под-

ставленные корыта. Ливень сек деревья, а они смеялись, раскачивались в его клокотанье, переплетаясь ветвями. Во всем этом было что-то мистическое, и Василь Федорович подумал: что там ни говорит наука насчет сгустившегося пара и выпадения его на землю водой, а он чувствует тайные силы природы, вещие ее силы — обновление, жизнь, да без этого ливня и радуги на земле не было бы ничего.

На минуту гроза утихла. Василь Федорович лег грудью на подоконник и увидел за Десной радугу. В траве под яблонями блестела лужа, капли звонко падали в нее, частый их перестук радостно отзывался в сердце, в зарослях перекликались птицы, готовые рвануться к небу. Но на этот раз ошиблись и они. Новая волна грозы смыла радугу, гром утих, а дождь набирал силу. Ровный, тихий — обложной.

— А что, если закрыт шлюзик на Стожарах?— вдруг забеспокоился Грек и засобирался. Он был почти уверен, что шлюзик никто не закрывал, но ему уже теперь, сию минуту, захотелось проехать по полям, поглядеть, как они пьют воду, как поднимаются рожь и пшеница, как расправляют нежные ладошки побеги картофеля и кукурузы. Фросина Федоровна не стала его отговаривать, хотя и догадывалась, что шлюзик только предлог.

При выезде с улицы маячила высокая фигура. Василь Федорович хотел посигналить, но узнал Григория Волынко — Горелого — и отдернул руку.

Частый дождь омывал лысую голову Волынко, но тот не замечал ничего. Высокий, тощий как жердь, он широко ступал, не разбирая дороги, посередине улицы, твердо ставил ноги, расплескивая разбитыми кирзовыми сапогами лужи, далеко вперед выбрасывая суковатую палку. Внезапно он остановился, поднял палку и что-то крикнул. Потом ударил ею о землю и закричал снова. Волынко кому-то угрожал, обещался вывести кого-то на чистую воду, втоптать в землю, загнать в гроб и таким образом отстоять правду. Так он угрожает и обещается всегда. Вот уже тридцать три года в холод и жару ходит он по улицам Сулака и выкрикивает страшные проклятия кому-то невидимому, преступному, злому, пытается разоблачить, свести с кем-то счеты и ничего не может. Волынко-Горелый — один из тех немногих, кто вырвался из пламени той страшной ночи. Он вырвался,

а жена, с которой он прожил всего четыре месяца, сгорела. Каким образом ему удалось спастись, не знал никто. За ним гонялись, в него стреляли, двое суток он пролежал в болоте, а когда вернулся в село, уже ничего не помнил. А может, и помнил, но по-своему, так, что понять его никто не мог. А наверно, это было очень важно — понять, что говорит Горелый. Ведь он единственный живой подпольщик, связной группы. Наверно, думает Василь Федорович, он знает правду об отце. Наверно, знает, ведь не даром именно на его лице, которое повторяет чертами отцовское, порой надолго останавливаются блуждающие, мутные глаза Горелого. И тогда в них словно клубится дым, и он весь напрягается, даже на лбу взбухает жила, резко отворачивается и начинает грозить палкой:

— Пускай... Все одно... Найду! В гроб, в кости, душу в печенку... Голого перед людьми!..

И дальше уже что-то совсем бессвязное. Василь Федорович с тревогой и мукой вслушивается в его слова. И еще пристальней всматривается в лицо. Что силится объяснить Горелый? Какая боль, какие муки жгут его? Кого он видит, кого хочет испепелить? Где тот шпенек, с которого соскочила трезвая мысль Волянько?

И тогда временами его пробирает страх. А может, не надо искать того шпенька? А может, лучше, что Горелый не может ничего вспомнить, не может отвеять зерно от половы, отличить белое от черного?

Почти задев правым крылом машины о забор, Василь Федорович проехал мимо Горелого.

Проверив, открыт ли шлюз на плотине через Лебедку, он поехал дальше. Только возле Рудой могилы остановил машину. Вышел и палочкой проколупал в земле ямку. Земля промокла почти на полторы четверти.

Василь Федорович поднялся на курган — невысокий, с плоской макушкой. Могила как могила, не обвеянная никакими легендами, только когда-то, сразу после революции, рассказывают, пахарь вывернул у ее подножия золотую цепочку из земли. Хорошо, что она высится в поле, хорошо подняться на нее и оглянуться окрест, хорошо и с полей взглянуть на нее. Для кого-то она только ориентир, а у кого-то разбудит в душе воспоминания — из прочитанного, услышанного от дедов. Обыкновенная, но все-таки история. Вот и для него история. Хоть и не такая древняя. Греку помнится, как в сорок

седьмом везли они со станции в колхоз комбайн. Тащили на волах, а он тогда был за погонюча. Восемь пар волов тянули старую, разболтанную машину, их подкармливали по дороге клевером, но возле Рудой могилы притомились волы, и пришлось комбайн оставить. Через три дня его привезли трактором, но он так и не работал — сломался на второй попытке. Как далеко, подумал Василь Федорович, они ушли теперь от этого кургана! В колхозе семьдесят шесть тракторов разных марок и восемь зерновых комбайнов, семь комбайнов для копки картофеля, без счета разных машин. Да, ушли они далеко.

Но это еще не последняя остановка. Обеспокоенно смотрел он вниз на ровные рядочки кукурузы. Хватит ли для нее воды? Наверно, именно это и пригнало его в поле. Четвертый раз сажают здесь кукурузу. И если она не вырастет, не выдюжит, виноват будет он, потому что не сменил поля. В других колхозах виноваты погодные условия, а в «Дружбе» он. Кукуруза, ячмень, картофель, а за всем этим его новая система, его хозяйственный талант, он сам. Грек не может забыть об этом, тем более после бюро райкома, где ему вкатили выговор, после всех перемен, после того, как к нему стали цепляться в сельхозуправлении.

Возвращался Василь Федорович уже в сумерках по старой дороге. Ему то и знай приходилось притормаживать, выкручивать на обочину, а в одном месте даже доставать из багажника топор: при дороге росли старые тополя да вербы, ветер пообламывал им ветки, а несколько деревьев свалил на дорогу. Василь Федорович и не заметил вроде такого вихря, и теперь удивлялся разрушениям. Да, завтра надо распорядиться убрать буредом.

Вдруг в свете фар что-то взблеснуло, черная тень качнулась из стороны в сторону, потом наклонилась вперед и почти слилась с деревом. Василь Федорович осторожно, не выключая света, подъехал. Кто-то тащил по выбоистой дороге мотоцикл. Грек обогнул его и остановил машину. Володя Огиенко! Хоть и темно было, но Грек заметил жалкий вид тракториста. Наверно, давно тащил свою «Яву», вымотался, промерз до нутра. На мгновение злорадство проклюнулось в Греке — вспомнил Володину статью в газете, где тот выдрющивался: мол, на свете и не существует его, председателя артели, — но сразу и изничтожилось.

— Садись-ка в машину,— велел он. Володя отрицательно покачал головой.— Закоченеешь.

— Мотоцикл,— коротко промолвил Володя.

— Никуда он не денется.— А сам подумал, что, наверно, тоже не бросил бы новенькую «Яву» на дороге.

Он пошел к машине. «А как застудится да схватит воспаление легких?.. Тьфу ты...» — выругался мысленно.

— Садись!— уже загремел он.

— Если бы прицепить?— сказал Володя.

— Кого прицепить? Тебя? А сковырнешься по дороге или налетишь на машину?

— Тормоза работают.

— Тормоза, тормоза,— неизвестно с чего вскипел Грек.

Может, оттого, что ему никогда не доводилось буксировать мотоциклы, а тут ночь, и старая, выбоистая дорога, и дождь, и темень. Еще вылетит кто с полевой дороги... А у Огиенко даже сигнальные огни не горят. Но достал из багажника новенький трос в целлофановом пакете, принялся его распутывать. Володя стоял молча, шмыгал носом, как школьник.

«А мог бы быть зятем,— подумал Грек.— Такой вот сопливый».

— На, крепи,— бросил он конец троса прямо под ноги трактористу.

— Вы это...— еще сильней шмыгнул Володя.— Если не хотите или боитесь, так не надо.

— Не упрямясь,— примирительно сказал Грек.— Привязывай.

Грек ехал медленно, на второй скорости, все время чувствуя, как дергается сзади мотоцикл. «Будто рыба на кукане»,— улыбнулся он. Темень стала еще гуще, хотя дождь притих, едва моросило. Как выбрались на трассу, поехал еще медленней. Дважды их обгоняли машины, и тогда он забирал вправо, помигивал фарами и все равно ощущал неуверенность и страх. Возле поворота на свою улочку остановил машину, отцепил трос.

— Дальше валяй сам. Трохи согреешься.

Володя поблагодарил и вприскок покатил «Яву» по мокрому асфальту.

Только Василь Федорович разделся, помыл руки, как в хату вбежала Лина.

— Тата, кого это ты тянул на аркане? Вон, вприпрыжку побежал со своей железякой к клубу.

— Вылавливаю тебе женишков, а ты ими брезгуешь.

Лина опустила голову и, притихшая, ушла в свою комнату.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Через отворенные двери кухни Фросина Федоровна слышала разговор мужа с Линой (крутила в стиральной машине белье), и мысль, которую она все время переворачивала с боку на бок, тоже бешено закрутилась. Вчера она разузнала в районе, что их предполагаемый зять Валерий неизлечимо болен. Фросина Федоровна ничего не сказала мужу (что-то удерживало ее, подсказывало не торопиться), но думала об этом неотступно. Сперва ей стало страшно и жаль Валерия, и жаль Лину, но постепенно, к своему удивлению и даже стыду, боль за Валерия угасла, словно подернулась пеплом, а за Лину — разгорелась, и новые и новые вопросы срывались как испуганные птицы: как она это перенесет? Ей жить да жить. А если ребенок? Да и без ребенка... Ему — больницы, медленное угасание. А потом... Кому она после этого будет нужна? И себя сожжет на этом жертвенном огне, растеряет силы. Нет, до свадьбы допускать нельзя. Надо предупредить Лину. И сразу же поняла, что Лина поступит как раз наперекор ее совету (это же Лина!) и как можно скорей. Задумавшись, она чуть не поставила себя на Лино место, но что-то удержало ее и от этого, инстинкт, какая-то тяжелая, ей не свойственная рассудительность, и она опять металась в поисках выхода... И тут-то донеслись до ее слуха шуточные слова мужа... Вот бы хорошо! Чем не зять, чем не муж Лине! Работящий, вежливый, хлебнул горя...

Фросина Федоровна искренне желала Лине добра, хотя в глубине души и покалывало, что это не то добро, какое нужно, что вмешиваться нельзя, но искренняя боль за приемную дочь побеждала все.

Оставался еще Валерий. Попросить его?.. Да чего там, Лина и слушать не захочет, она не отступится, уговорит и его, если он и откликнется на ее, Фросинину, просьбу! И все-таки план намечался. Сперва Фросина Федоровна даже ужаснулась, обомлела и удивилась себе, но мысль сама делала виток за витком, подсказы-

вала наступления и отступления. Впустую гудела машина — центрифугу заклинило, но Фросина Федоровна не слышала ничего. Языкатая Лина подружка Тося как-то злорадно намекнула ей, что Валерия часто видят с Раей, садовничихой, и что он даже рисует ее портрет. Вернувшись из города, Фросина Федоровна должна была уведомить главврача поликлиники о болезни Валерия, тот послал за виноделом, но его не нашли и снова кто-то из садовых рабочих обмолвился, что вечером его видели в саду. Она догадалась: Валерий всем сказал, что уехал, а сам прячется.

Фросина Федоровна складывала свой хитрый план, но долго не смела осуществить его. Женщина решительная и волевая, она на этот раз колебалась, ее пронибал страх, и мелькали черные тени перед глазами. И вспоминался Стасик, ее вечная кара, хотя кара и за добро. За не совсем осмысленное добро, за слепо выполненный врачебный долг. Стасик родился болезненным, умственно неразвитым ребенком. Это было пятнадцать лет назад. Она сама принимала роды. Когда ему исполнилось три года, мальчик простудился, заболел воспалением легких, но ей об этом не сказали. Она случайно узнала и прибежала в Соленое — на дальние выселки, можно сказать, хутор, — когда три старые женщины в суровой сосредоточенности готовились к похоронам. Они видели, что дитя умирает, и считали, что так судил господь и что это к лучшему. Она была тогда еще молодая, жила сердцем — не умом. Силой выхватила у женщин ребенка, закутала в свое пальто и три километра бежала к поликлинике, а когда там не обнаружила врача, поехала в район — за шесть километров в соседнее село, где была большая больница. Она спасла мальчику жизнь.

И вот теперь ходит по селу полуидиот Стасик и показывает ей язык. Показывает всем. Больше он не умеет ничего.

Она почти каждый день встречает его и всякий раз думает, что, наверно, не надо было ей тогда бежать, нести малыша в больницу. Она подолгу и как-то непривычно размышляет о долге и о воле одного человека над жизнью другого, о порывах сердца и о том, что ему надо доверять не всегда. В том, на что она отважилась сейчас, она полагалась на опыт и на любовь к Лине. Разве она не мать, а Лина не дочь ей? Еще когда-ни-

будь спасибо скажет. Это уже додумывала сквозь слезы. Слезы жалости к Лине, радости, освобождения, слезы обиды за что-то свое, что в ту минуту тоже не забылось,— укор себе за Стасика.

— Ты врешь!— крикнула Лина.

— Чтоб я не дошла до дому, чтоб я не дожила до вечера... Чтоб я утонула в вонючем болоте.

— Ты вечно врешь. И не тонешь.

— Я тебе добра желаю, а ты мне приписываешь брехню,— обиделась Тося.— Тогда я... тогда ты мне не подруга.

Тося обиделась искренне. Лина видела по ее глазам. Но рана была нанесена ее рукой, и уже за это она не прощала Тосю. А может, не за слова, а за злорадные искорки в глазах подруги, там поблескивало и сочувствие, но очень маленькое, и любопытство — бешеное, и радость — жестокая, вот отчего прыгали искорки в голубых глазах Тоси. По ее кругленькому с веснушчатым носиком лицу расплывалась обида, а глаза все равно излучали жестокое любопытство и холодное сочувствие. Она любила Лину и не была жестокой, но ее охватывала радость, что это случилось не с ней, а с Линой, которая всегда так высокомерно отклоняла мальчишеские ухаживания.

— Ты никогда и не была мне подругой,— сказала Лина презрительно и поднялась с лавочки (они сидели у Лининого двора).

Ее едва хватило на это презрение, на показное спокойствие, на гордый взгляд, который уже застилали слезы. Чтобы не расплакаться прямо здесь, перед Тосей, Лина торопливо повернулась и хлопнула калиткой.

Она не пошла домой, а спряталась в вишеннике, упала в траву и пролежала там до вечера. И боль и отчаянье сплелись вместе, только в первую минуту выжали несколько слезинок, а потом слезы встали тугим клубком в горле и давили и жгли огнем. А сквозь них пробивалось спасительное, обнадеживающее: «А может, это неправда? Может, Тося из зависти?» Но что-то правдивое в Тосиных словах есть, недаром она говорила так уверенно и убедительно. Ну, может, Валерий когда-то и постоял с Раей, пошутил. Так и она тоже позавчера

каталась на Володином тракторе, еще и навела ему ма-зутом усы. Все правда, если... Если он остался в селе. Он взял отпуск и сказал ей, что ему надо ехать. Лина припомнила это прощание, оно было грустным и холодным. Валерий смотрел не на нее, а все куда-то вбок (словно ее не видел) и говорил какие-то пустые слова, будто тоже предназначенные не ей, а кому-то другому, не посвященному в их любовь. И не захотел, чтобы она пришла к полустанку, уехал крадучись.

А теперь Тося говорит, что он не уехал, а спрятался на чердаке и что у них с Раей там «медовый месяц».

Как это ни стыдно и ни унижительно, а ей надо в этом убедиться. Наверно, привирает Тоська, но за последнее время Валерий и вправду изменился.

...Она долго бродила в сумеречном саду, узенькая тропинка круто спускалась к ставку, она боялась кого-нибудь встретить на тропиночке и стеснялась спрятаться за кустом. Винарня стояла черная и немая.

Лина облегченно вздохнула и уже хотела идти домой, как послышался негромкий стук. Кто-то спускался по лестнице с чердака. Она подождала некоторое время и окликнула неуверенно:

— Валерий!

Он долго не отзывался.

— Ты, Лина? Что ты тут делаешь?

«Значит, правда. Он никуда не уехал». Боль и злость захлестнули ее.

— Шла от пруда. Слышу, кто-то царапается на чердаке. Думала, может, воры.

— Ворам тут делать нечего.

— А похоже на вора.

Ей хотелось говорить резко, язвительно, тонко, но не удавалось. Они стояли у канавы, которой был окопан сад, темнота прятала лица и спасала их друг от друга. От пруда тянуло холодом, и холодом тянуло по Лениному сердцу, умирало там все в эту буйную пору весеннего цветения и завязи. А Валерий, услышав ее голос, увидев ее тонкую, окутанную сумерками фигуру, на момент почти потерял власть над собой. Его чуть не швырнуло к Лине, так захотелось рассказать все, утонуть в ее слезах. Он знал, что она простила бы. И пожалела. Но как раз этого и боялся.

— Ты говорил, что уедешь? И что же, сторожить сад нанялся?

— Уже приехал.

— По чьему вызову?

— Просто так, без вызова. Должен отчитываться?

— Передо мной — нет.

Они перебрасывались фразами, словно чужие, едва знакомые, словно ничего и не было между ними — ни густой метели в Добриковом сосняке, когда, чтобы не потеряться, они держались за руки крепко-крепко, ни скованных вечерним морозцем весенних лужиц, которые потрескивали, когда по ним проскальзывали большие мальчишеские ботинки и ладные девичьи сапожки, и предостерегающе постреливали, когда сапожки и ботинки встречались посередине и долго-долго не двигались; ни голой, пронзительной темени весеннего сада, в которой поцелуи срывало ветром, ни дурманного запаха груши, ни стыдливого разговора о женитьбе. Он только сказал, что боится — принесет ли ей счастье. Он ведь такой неуклюжий, бесхозяйственный. Валерий надеялся, что Лина его успокоит. А она сказала, что сама такая. И Валерий рассмеялся: «Тогда нам ничего не страшно».

Им казалось, что они невероятно нужны друг другу, не могут прожить один без другого и что их любовь навеки. А теперь два чужих человека искали, как бы больней уязвить собеседника.

— А перед кем же мне отчитываться?

— Наверно, есть перед кем.

— По себе знаешь?

— Хотя бы и так.

— Кому же ты подаришь свою любовь? — Его раздражала ее недогадливость и терзала ревность.

— Достойному.

— Он что же, предложил тебе руку... с гаечным ключом?

— А чем она хуже, чем рука со стаканом браги?

Валерий был ослеплен обидой и говорил так, словно Лина обижала его. А потом его пронзила мысль о своей болезни, и он сразу остыл.

— Ты правильно делаешь. К чему вино... которое перебродило до времени. Нам не из-за чего ссориться... Все в жизни так сложно... Я желаю тебе добра...

В его голосе прозвучала жалость и снисхождение взрослого человека, которому известно что-то неизвестное другим. Жалости Лина не услышала, а снисхожде-

ние почувствовала и вспыхнула снова — повернулась и ушла.

Она весь вечер проходила словно в тумане, ее тормозила Зинка, но не добила даже щелчка. Фросина Федоровна понимала: что-то стряслось, наверно, сработал ее план, и тревожилась ужасно, но расспрашивать не посмела. И уже когда Зинка укладывалась спать (Василя Федоровича не было), Лина, словно притянутая взглядом матери, пошатнулась, упала на ее плечо и заплакала. Фросина Федоровна усадила ее на диван, гладила волосы, приговаривала:

— Ой, доню, доню.— И уже совсем тихо: — Поплачь, поплачь. Все обойдется.

Лина ничего не отвечала, она даже не сообразила, откуда и что знает мать. А та и не расспрашивала, чтобы не навести Лину на след. Да и не знала, как подступить к дочке. Ее тоже охватила печаль, и черная полоса горя перечеркнула радость. Ей стало страшно.

По одну сторону дороги — лес, по другую — лен. Чистый, словно промытый, ровными рядочками до самого окоема. Вот-вот зацветет. Лина пришла, чтобы уловить момент первоцвета. И вправду, это чудо, кажется, кто-то кинул в зеленое половодье маленькие синие искры. Растет стебелек — и вроде вымахал сам по себе. Стороннему взгляду и невдомек, сколько в этих ростках человеческого труда. Площадь стали готовить два года назад еще под пшеницу. А потом ее ровняли, а потом вносили удобрения — калийные и азотные, еще золу да помет Лина с девушками насобирали зимой по селу. Перетерпели и насмешки, и обидные отказы... Тянет от двора ко двору гнедая конячка сани с ящиком, Клава правит, а Лина ходит по хатам. А там девушки, что поприезжали на каникулы из институтов да техникумов, и хлопцы, а она с грязными мешками, как побирушка. А потом сражение с сорняками. Зато и вымахал лен, иссиня-зеленый да ладный. Покатись — скатишься прямо в Десну.

Травяной межой, которую оставили, чтоб было куда класть стебли, Лина забрела в глубь участка. Позади остались лес и дорога, по которой пробежала легковая машина, и пыль повалила на лес и телеграфные столбы, на которых сидят сиворонки. Выпорхнул из леса коб-

чик, прочертил зеленый плес льна и взвился над Линой почти отвесно вверх.

Лина не видит ни кобчика, ни сиворонков, ни машины. Даже льна не видит. Пришла посмотреть на него, а не смотрит. Что-то зеленое качается перед глазами, и синие искорки вспыхивают в нем, и кажется Лине, что лен уже зацвел. Она и не удивляется этому, а удивляется себе, своему легкомыслию и наивности. Разве тогда еще, с первой встречи, не заметила она, какой Валерий самоуверенный и самовлюбленный, размахивал руками как мельница, распространялся про высокие материи и пренебрегал ими, сельскими, и все-то он знал, над всем насмеялся, обо всем имел свое понятие. А сам пристроился на винарне, где тепло, и не дует, и не надо ничего делать. Наверно, уже и тогда крутил любовь с этой потаскушкой Райкой. Хорошо, что не знала даже Тося, что они собирались пожениться. Вот было бы потехи!

Лина мысленно обличает Валерия, находит пропасть несовершенств, но не может преодолеть боль, от которой хочется упасть в этот лен и больше не вставать. Сердце ее кипит злостью на Валерия, и если бы только злостью... Ей не терпится взять верх над ним, уязвить его, но что она может поделать.

Она все ведет отчаянный спор с Валерием, а еще больше с собой, и опять не замечает ни высокого неба, ни двух горлиц, что летят перед нею к лесу, ни льна — ступает прямо по рядкам, — но ее давно заметил Володя, только не решается пойти навстречу.

С утра он выпалывал на картошке сорняки, их вдруг выгнало, как из воды, а работа это тонкая, «ювелирная», срезать сорняк, но не подсесть острыми лезвиями культиватора ростки картофеля, не помять его райборонками. Правда, половину лезвий он снял с лап и вместо них поставил долота. И все-таки целехонький день как по канату через реку ходил, и от напряжения судорогой сводит руки и плечи, и перед глазами словно натянулись зеленые струны. Хотя со стороны может показаться, что он работает легко, играючи. Культиватор легкий, и трактор тоже, хотя уже давно перевалил через все гарантии и сроки. Вчера Василь Федорович предложил Володе пересесть на новый: «Передовик, кавалер ордена, может, снова к тебе явится корреспондент и ты дашь ему интервью», — не удержался он, чтобы не поддеть Володю. Тот от нового трактора отказал-

ся без гонора и амбиции, и это, заметил, очень понравилось Греку. Он по-настоящему устал к обеду, загнал трактор под сосны, а сам сидел на опушке, смотрел, как неприкаянно маячит на зеленом плесе синее платице, то порывается вперед, то останавливается, и ветерок играет зелеными всходами. Лина с малых лет любит синее. И с малых лет влюблен в этот цвет Володя. В ее цвет, во все, что мило ее сердцу. Сначала он ходил за Линой по-соседски, как друг дома, ей в провожатые набивалось много хлопцев, и он ревновал, а она, когда ей кто-то надоедал, пряталась под его крыло, и это ему нравилось, хоть и понимал, что она льнет к нему не так, как хотелось бы ему, а по-товарищески. «Володя, скажи им... Володя, прогони этого прилипалу», «Вот у меня сосед, вот повезет кому-то из девчат». А он, большой и добрый, улыбался неловко и стеснительно. И только иногда обижался: будто Лина не догадывается, кому могло бы повезти! Все знали о его влюбленности, но шутить над этим не решались, хотя он никогда никого и пальцем не тронул. Он ни на что не надеялся и все-таки надеялся и, когда случилась у нее любовь с Валерием, запечалился. Не показывал этой печали, и никому не было до него дела, разве что Лине, да и она замечала его только изредка, ослепленная, счастливая своей любовью. Ей было жаль Володю, но что можно было поделать? И соседями они стали дальними. Теперь она уже никогда не говорила: «Проводи меня, Володя, а то я одна боюсь.— И лукаво скользнув по нему взглядом:— Или уже кому-нибудь подрядился?» Теперь она прятала от него глаза. Ведь догадывалась обо всем, ведь чувствовала перед ним вину... Эта любовь разъединяла его и с Валерием. Он все еще иногда заходил к нему, но говорить им было не о чем. И Греков Володя теперь проводывал не часто. Разве что по приглашению Фросины Федоровны, она явно сочувствовала ему, но это не радовало.

Володя уже давно стоял на краю дороги, но девушка не видела его. Ей в это время казалось, словно она идет по дну глубокого оврага, выжженного солнцем, и вздымаются с обеих сторон высокие серые стены, и стоит невыносимая жара.

В эту минуту она и заметила Володю.

— Чего это ты тут бродишь? — спросила. И была такая красивая среди молодого льна — стройная, креп-

кая, с гордо закинутой маленькой головкой, с чистым лицом, на котором серпиками выгнулись черные бровки,— что у него в глазах потемнело.

— Картошку пропалываю.

— И я тоже... насчет картошки дров поджарить. Думала, заманил кого-то в лесок.

Володя тупо молчал, а она в этот момент была жестока и натянута.

— С кем же я... — осмелился наконец он.

— Что, девчат нету?— И шла напролом дальше:— Чего ж ты не женишься?

— А ты... чего? — выдавил он, сраженный ее тоном.

— Никто сватать не хочет.

Он понимал, что это шутка, да еще злая по отношению к нему, пускай никогда ни единым словом не обмолвился он ей про свою любовь, она знала об этом и так. И, обиженный, Володя повернулся, чтобы уйти, но она остановила его:

— Видишь, только я повела разговор всерьез, сразу тикаешь. Не хочешь посвататься?

— Ты... ты не смейся,— стиснул он кулаки, и его глаза заблестели.— Если уж я... если сосед...

— А я не смеюсь.— Ее твердый, точеный подбородок был вздернут кверху, и на лице застыла решимость.— Ты бы взял меня?

У Володи перехватило дыхание. Он смотрел в Линины глаза, в пугающую глубину, но смеха там не было.

— Не хочешь сказать...

— Да я... Ты... зачем! — все-таки не верил он. И сразу рванул к ней — телом, взглядом, всей сутью.— Ты же знаешь.

На ее лице не дрогнула ни одна жилка.

— А может... Я была... с кем-нибудь?

— Ну... и все равно.

— И будешь мучить, упрекать...

Ему казалось, он понял все.

— Я... я бы тебе под ноги кожухи стлал.

— Пойду по ним. Нет, не было у меня ни с кем... ничего серьезного. Ничего...

На секунду настала неловкая тишина. Володя просто не знал, что ему делать. Все случилось так неожиданно... Надо было сказать что-то — много, все, что носил в себе так долго. Подойти бы к Лине, обнять ее или хотя бы засмеяться счастливо, а ему не хватало ни слов,

ни смелости. Он просто не представлял, как обнимет Лину. Стучало, как молот, в груди сердце, и что-то кричало в нем: «Моя, моя», — а все не мог поверить, и далеко, будто в клейком тумане, шевелилась некая вялая мысль, что все случилось слишком трезво, заданно. Тогда он спросил:

— Скажи правду: вы поссорились?

— Зачем тебе? А может... Видишь, ты уже начинаешь допрос.

— Не буду. Слово даю. Пускай меня... трактор переедет, — осмелился он на шутку, и это сломило лед.

— Ты меня и в сельсовет на тракторе повезешь?

— Я найму... сто машин.

— Не надо. Не хочу... На твоём мотоцикле. Как когда-то в лес. Вдвоем. И чтобы шарф у тебя на шее летел мимо моего лица.

— Лето ведь.

— Ну и что же. Легкий шарф. И больше ничего. Ни цветов, ни лент. В это же воскресенье. Приходи сегодня вечером.

— Лина, я не понимаю... Это как-то... Ты расстроена, и потому. Пойдешь, помиришься... Тогда мне невозможно будет...

— Нет, я решений не меняю.

— Если это месть... — Он даже испугался своих слов и того, что может ими перечеркнуть все. Беспомощно оглянулся.

— Я знаю тебя... вечность. Но... меня спасти нечего. Если ты...

— Лина, я тоже люблю тебя целую вечность, — с болью вымолвил он.

— Ну, тогда что же?

И была такая далекая, что ему стало страшно. Еще дальше, чем до этого разговора, холодная и неприступная и такая дорогая, что ради нее он был готов на все. Может, и на смерть.

Она видела это. Но не сказала ничего, повернулась и пошла. Она была уверена только в одном: расквиталась, — а только этим она сейчас и жила.

А Володя кинулся к трактору и так чесанул по бороздам, что бурьян полетел вместе с картошкой-саженкой. Он не замечал ничего, он что-то кричал, хватал рычаги, и трактор мотался, как пьяный. Володей овладела такая радость, что он мог не только картошку или

бурьян, а весь лес снести. Вздымалась пыль, трещал на зубах песок, а он в этой туче распевал, как сумасшедший. Порой его что-то останавливало, он трезвел, пугался, а потом вспоминал все и опять сходил с ума. Конечно, он не мог не понимать, что Лина кинулась к нему неспроста, что между нею и Валерием что-то случилось, но ведь она дала слово! А больше ему ничего не надо. И Валерию он ничем не обязан, тот не спрашивал совета, когда переходил ему дорогу к Лине. Володя еле доработал до вечера и еле дождался, пока мать подоит корову. Не терпелось поделиться радостью, да и как можно скорей сообщить матери, ведь до свадьбы оставалось три дня. Про Володину будущую женитьбу они никогда не говорили, стеснялись, догадывались оба — мать о его любви к Лине, а он про то, что ей это известно, даже когда соседки заводили об этом разговор, мать отмалчивалась. Хлебнула на своем веку немало, сын пока что принадлежал только ей, уважал ее, а там будь что будет.

Пока мать убиралась, Володя помылся в кадке, в «ванной». Так они называли каморку возле кухоньки. Володя вправду когда-то собирался поставить там ванну, даже сделал водослив и целился на колонку, но не хватало времени — и энтузиазм испарился. Он и так собственными руками, без чьей-либо помощи, поставил эти хоромы. Семь лет возводил из толченого ракушечника, который навозил из Чернигова с фабрики пуговиц, стены — по одной закладке в субботу и в воскресенье после работы, только крышу помогли поставить плотники.

В селе горячего душа нет ни у кого, но теперь, подумал Володя, надо устроить. И вообще надо менять весь уклад жизни. Так перебирал мысли, шествуя через «анфиладу» комнат (Линина шутка) к шкафу за праздничной одеждой. У них и вправду «анфилада»: три комнаты друг за другом, крашенные полы и крашенные стены, две постели с горками подушек, на которых никто никогда не спит и покрывала не перестилаются, а живут сын с матерью, как и все сулакцы, в кухоньке. Там стоят два старых топчана, днем мать надевает на подушки парадные наволочки, а на ночь снимает.

А вот Греки живут иначе. Эти Греки — у них все не так, лучше, по-городскому. У них и мебель городская, и книжки, и картины. А их картины мать купила в Чер-

нигове на толкучке по десять рублей за штуку. Валерий, когда увидел, даже за живот схватился от смеха, особенно его развеселила одна: казак на резвом коне над речкой, а из речки вынырнула то ли девушка, то ли русалка, тянет за уздечку коня с казаком в воду, конь упирается, бьет копытами, а казак растерялся. Володя, как вспомнил хохот Валерия, загорелся обидой, больше, чем тогда, когда впервые услышал его. Но в голове мелькнуло, что и Лине эти картины будут не по нраву. «Надо купить в культмаге. Там дешевле».

Мать процедила молоко, выполоסקала ситечко, набирала на завтра в чугунок мелкую картошку, и Володя, так и не дождавшись, когда она освободится, ляпнул: — Мама, я женюсь.

Она вздрогнула, а потом засуетилась по кухоньке — маленькая, сухонькая и легкая, как сухарик, наконец смела со скамейки тряпкой свекольные очистки и села. Захлопала белыми ресницами, не осмеливаясь спросить, на ком.

— На Грековой Лине, — поторопился он сказать.

Она все молчала, мелко-мелко дрожа ресницами, разглаживала на колене цветастый фартук.

— Разве она плохая? — с обидой спросил Володя.

Мать вздрогнула и чуть не вскрикнула: «Хорошая, да не слишком ли хороша для тебя!» Она уже давно думала про эту женитьбу, хотела и боялась ее, и чем больше думала, тем больше уверялась, что не подходит ее спокойному, тихому Володе порывистая и резкая Лина. Твердила про себя: «Она не подходит ему», — а что-то словно нашептывало: «Он ей». Хоть это ее сын, ее кровь, еще и парень, каких в селе теперь днем с огнем не сыщешь, — почтительный к старшим, послушный, а уж работающий! — но ведь Лина — как горожаночка и выросла в достатке, пускай и не в своем.

— У нее же любовь с этим... — прошептала она осторожно.

— Нету там никакой любви, — хмуро ответил Володя. — Она сама мне призналась. — И чуть не ляпнул, что и пожениться предложила Лина.

Мать всхлипнула, последнее время она чуть что — в слезы.

Наступило долгое молчание. В кухоньку со двора царапался кот, не подавая голоса. Володя впустил Лысько, тот потерялся о его ноги, замурлыкал. Но на этот раз,

к удивлению Лысько, Володя не пошел за консервной банкой, не налил молока. Кот направился к хозяйке, но она его словно и не видела.

— Чего-то мне, сынку, страшно,— сказала мать.— Я боюсь... Не верю...

— Во что не веришь? В воскресенье свадьба.

— В воскресенье? Свят-свят,— перекрестилась мать.— Та вы что, сбесились? Где ж это видано?— И она опять заметалась, загоревала.

— Вот так. В воскресенье — и баста! — с неожиданной твердостью сказал Володя.— Мы сборища устраивать не будем. Родичи, ну еще там кто... Позовем теток, пускай помогут. Я завтра возьму с книжки денег.

Надел новую голубую рубашку, завязал галстук и ушел из дому. А мать осталась со своей тревогой, страхом и заботами.

Против такой спешки запротестовал и Василь Федорович, но на Ленину сторону неожиданно стала Фросина, взяла мужа в оборот, и он вынужден был согласиться. А ему хотелось отложить свадьбу до осени.

— Лина, в чем дело? — спросил казенными словами, но совсем не казенно, пытаясь взглядом вызвать ее на откровенность.

Лина выдержала его взгляд и ответила до обиды спокойно:

— Я вас, тато, не понимаю.

— Ну, а тот, другой парень? Ведь дело шло к свадьбе?

— Шло, да не совсем. Это мать... пошутила, ей хотелось поскорее сбыть меня с рук.

— Чтоб вам пусто было!— с сердцем выругался Грек.— Вы либо что-то крутите, либо одурели обе. При чем тут мать, Лина?

— А ни при чем.— Она говорила спокойно, слишком спокойно, и мыслями блуждала где-то далеко. Только теперь посмотрела Греку в глаза: — Вы имеете что-нибудь против Володи? Он плохой?

— Да почему же... Но их, неплохих, полон тракторный стан. Надо, чтоб по любви.

— А кто вам сказал, что не по любви? Вы смастерили прибор, чтобы ее определять?

— Да никто не сказал. А только... надо держаться одной линии, то есть позиции,— растерялся он.

— Держаться одной линии — это уж ваше дело, колхозное... Да и... Володю я знаю с детства. А в том, — почему-то не решилась она назвать Валерия по имени, — разочаровалась.

— Разочаровалась, очаровалась, — бурчал Василь Федорович. — А это же... на всю жизнь.

— Я разделяю вашу мысль, — как бы ему в тон, а на самом деле чуть-чуть подкалывая, молвила Лина. — Это же вы пригостили мне на буксире суженого. Значит — судьба.

— На буксире только утиль возят.

— Вот как! — свела брови Лина. — А вы сами, когда собирались жениться, разве не каждый день ругались с Фросиной Федоровной?

Она сказала «с Фросиной Федоровной», а не «с матерью», и это опять поразило Грека.

— Да уж... Доживи в своей супружеской жизни, пока твои дети, забыв стыд, о таком спросят.

— Доживу.

— Ты не зли меня! — может, впервые рявкнул он на Лину. — Иди вон матери помощи. Через три дня свадьба, а еще свинью не начинали откармливать на колбасы.

А когда Лина ушла, стал посреди двора и задумался... Вот, рассердился, накричал, а справедливо ли? Откуда он знает, что там случилось, с чего они разбежались с тем Валерием. Что все-таки разбежались, что Лина не выбирает себе тихого мужа, был убежден. А потом мысль перебросилась на другое. Разве не так и у него было, разве не разбежались они с Лидочкой, и никто не знает, выгадал он на этом или прогадал, и вовек не узнает. Двух жизней прожить нельзя, две настоящие любви испытать тоже нельзя, а семейная жизнь — такая длинная борозда, что в ней надо хорошенько притереться и притерпеться, не обманываться добрым, не зачерстветь от худого, хотя кто знает — для чего. Для продолжения рода человеческого? Ради самой жизни? Наверно. Наверно, есть в мире что-то выше человека и его короткой любви.

Он вышел на улицу, не понимая хорошенько, куда идет. Только бы из дому — его не радовала предсвадебная суэта и разговоры про свадьбу. Даже обрадовался, когда его окликнули. В синем квадрате калитки, как в синей рамке, уперев руки в боки, стоял Яков Неделя, бывший колхозный бухгалтер. Работал он и при Греке,

два года назад вышел на пенсию. Только сейчас Василь Федорович отметил, что бывший бухгалтер как бы выпал из его памяти. Сосед, а даже не встречались.

Небось эти же самые мысли посетили и Неделю.

— Хоть бы зашел когда, Василь Федорович, поглядел, как живут пенсионеры. Может, им какая помощь потребна, может, чего не хватает. Надо же по-соседски: вась-вась.

— Да все хлопоты,— ответил он и поздоровался с Неделей за руку.— Вы-то небось бездельничаете?— И шагнул в калитку.

Он недолюбливал Неделю неизвестно за что, за мелочи, и теперь подумал, что нельзя из случайного наблюдения делать выводы о человеке, вычеркивать его из памяти, что, наверно, он горько ошибся. Неделя — человек культурный и умный, одних газет, как говорил почтарь, выписывает четыре, вывел новый сорт крыжовника, которым в их части села засажены сады. А заноза застряла в Грековой памяти года три назад. Шел он весной по улице, остановился на этом вот самом месте, кого-то поджидая, а Неделя как раз огород полел. Натыкаясь на камень или черепок, воровато оглянувшись, перебрасывал их через забор к соседям. Что Неделя засыпал всякие инстанции заявлениями, на это Грек внимания не обращал: кто в наше время не пишет. А эти камешки почему-то зацепили.

— Ну, так какая вам нужна помощь?

И только теперь заметил под вишней столик, а за ним Родиона Голуба — Тромбу, своего заядлого врага. На столе высилась бутылка водки, рюмки, закуски в обливных мисках. Неделя не мог не знать, что Грек воюет с Голубом, значит, пригласил нарочно, для цирка на дому.

Поздоровался Грек с Голубом сдержанно, не подавая руки.

— Какая помощь? А такая... что я ни в чьей помощи не нуждаюсь. Об этом и хотел оповестить и показать, как трудящиеся люди живут.

— Видим, как живут.

Родион Голуб хитро усмехнулся. Не ожидая приглашения, допил рюмку, закусил квашеным яблоком — оно прямо хрустнуло у него на зубах — и вдруг ни к селу ни к городу спросил:

— Товарищ председатель, какому мужику вы больше верите, сытому или голодному?

— Не понимаю, к чему это?— развел руками Грек.— Сытому или голодному?

— Смотрите в корень.

— Корень чего?

— Жизни.

— Кушай, Родион, кушай,— подчеркнуто угощал Неделя.— Угощайся. В корень смотришь.

Василь Федорович прощупал оппонента острым взглядом, он понял ход мысли Голуба, его охватило любопытство, решил уточнить:

— Какому или у какого?

Голуб подумал.

— Можно и так. Но и еще так — верите или не верите? В принципе.

— Я верю,— твердо сказал Грек.

— Ну и... сколько разов обманывались?

— А надо ли жить, если не верить?

— Живут же. Сами видите. Еще и как сладко. Правда, не все.

Они вышли на улицу, оставив во дворе обиженного, недоумевающего хозяина. Грек прищурился и спросил:

— Не разберу я тебя, Родион. Ты какой-то...

— Какой?

— Как это... ну... рыба-колюшка,— наконец нашел он слово.— Завелись было в нашем пруду. Такая маленькая, а плавники — как иголки. Ни щука ее не берет, ни окунь.

— Вот-вот,— почему-то обрадовался Тромба.— Ни щука, ни окунь.

— Но ведь выедает всю икру в пруду. Ни карп, ни карась не водятся.

— Э, это вы напрасно,— сказал Голуб.— Я икры не ем.— И показал большие, чуть желтоватые от табака зубы.— Разве что кабачковую.

— А что же ты ешь? Какая твоя функция?

— Моя функция? Ну, как бы вам...— И поскреб пятерней затылок.— Когда-то в лесах, как и теперь, водились олени, и козули, и вепри. Но они были здоровей. Потому что их гоняли и они не обрастали салом.

— Так ты, хо-хо,— захохотал Грек,— сделал своей функцией сгонять лишнее сало? А ты мужик не в затылок битый. А только... Забрал ты себе в голову...

— Ничего я не брал,— неодобрительно и сухо ответил Тромба.

— Такая твоя природа?

— Не знаю. Может, и природа. Живу, как живется, как бог на душу положит. А вы мне не даете.

— Я не даю?— удивился Грек.

— А как же.

— Так разве можно жить, как кому вздумается?

— А почему бы и нет?

— Так ты же живешь в обществе. А что, если все начнут: тот в луг, тот в плуг?

— Ну, уж коли все начинают в одну дуду играть...

— Кто все?

— Весь свет.

— Вот так номер. При чем тут свет?

— А при чем я? Мне ваша дуда, простите, не подходит.

— Почему не подходит наша дуда?— остро прищурился Грек.

— Не наша, а ваша лично.

— Моя?

— Ага.

— Все равно не понимаю. А хотел бы понять. Ты объясни.

Голуб понурил голову, шаркал ногами.

— Я... наверно, не смогу объяснить. А только...

— Что только?

— Ну, вот... Вы меня на работу отправляете, вы меня штрафуете, а я не знаю, имеете ли вы на это право.

— Вот так вот?

— Да, право! Вы забыли, что и у меня батька был... И его обгорелые кости лежат в этой яме у леса. Если бы он был жив, может, и я имел бы образование. И командовал. А вот...

— Но ведь и мой батька...

— Не знаю. Мой не служил в комендатуре.

Голуб круто повернулся и пошел в уличку направо. А Василь Федорович так и остался стоять посреди дороги. Долго тер лоб и не мог прийти в себя. Он даже растерялся, даже шагнул вслед за Тромбой. И остановился. Что он ему скажет? Ведь все уже сказано. И у него нет слов, чтобы разуверить кого-либо. И он поду-

мал, что если ему в таком пекле жить до конца дней, то это жестоко и несправедливо.

Собирались сыграть свадьбу скромно, но разве можно в селе не позвать родичей, соседей — с обеих сторон сошлось больше полусотни душ. Столы ставили у Греков в саду — старом и уютном, — а миски с холодцом и горшки с жарким послали и из Грековой хаты, и по меже от Огиенков. Наставили, что некуда было приткнуть солонку. И Василь Федорович долго держал ее в руке.

Еще раз оглядел стол, заметил скопище бутылок с дорогими этикетками в верхней его части, куда планировали посадить самых почетных гостей, раздвинул миски и расставил бутылки с коньяком и шампанским по всему пространству.

А молодых все не было. Поехали на мотоцикле в сельсовет и до сих пор не вернулись. Уже несколько раз, значительно поджав губы, к мужу подходила Фросина Федоровна, уже и гости томились возле ворот, а грохота мотоцикла не было слышно.

Наконец затарахтело, и не от села, а с поля, и на бешеной скорости в улочку влетела сине-красная «Ява», а на ней молодой и молодая. Лина соскочила с мотоцикла и подбежала к дядьке. Ему было особенно приятно, что она к первому подбежала к нему, неумело прижал ее к себе, поцеловал в лоб, и она вздрогнула всем телом, вспыхнула. Но сразу же тряхнула головой, ухватила под руку Володю, пошла к свадебному столу. Грянули музыканты, заплакала Христя Огиенко, и тяжелое зерно осыпало молодых. И все пошло по издревле заведенному кругу, разве что без кадки и «сороки» — рубашки новобрачной, выброшенной из-за занавески, да в честь гостей пили не так, как заведено в Сулаке, — Василь Федорович категорически запретил принимать подарки деньгами. А за молодых пили да пили, словно заметили, что их поцелуи слишком холодны, слишком сухи, как бумажные цветы, и кому-то хотелось их поджечь.

Молодая была веселой. Так по крайней мере казалось гостям и, может быть, ей самой. Ей хотелось то плакать, то смеяться, она была возбуждена, много пила, много танцевала, и это смущало Володю. Он слышал, как Фросина Федоровна прошептала Лине, что молодой

плясать не полагается, его тоже немного сердило, что она идет в круг со всеми, и он одобрял тещин совет, но сам не сказал ни слова. Волновало и даже беспокоило, что все парни оказывают ей особое внимание, в котором крылись почтительность, и намек, и восхищение, в этом свадебном водовороте она принадлежала как бы не ему, а напротив — отдалялась от него. Он думал о том, что так и не сказал Лине главного — не сумел хоть на время перетянуть ее к себе, нисколько не стал ближе к ней за эти три дня и не представлял, как они пойдут в свадебную комнату. Он должен был ей что-то пообещать? Но что? Она и так знает, что он готов для нее на все.

Включили свет. В густом яблоневои саду загорелись лампочки, вокруг них закружились мотыльки, казалось, они тоже вились в своем свадебном танце.

Володя покосился на Лину. Она сидела раскрасневшаяся, задыхающаяся, но снова такая же строгая и недоступная, как и раньше. Четкие губы были стиснуты, тонкие нервные брови еле заметно вздрагивали. Не видит его, где-то далеко-далеко... И он запечалился. А тут еще тихий грустный напев с того конца стола.

Она и вправду была не с ним. И только когда смолкла песня, с ужасом заметила, что думает о другом, что даже в этот вечер ведет с ним трудную, отчаянную борьбу, что-то доказывает и не может доказать. Сразу ее словно обдало холодной водой, и все предстало в трезвой ясности: уляжется свадебный вихрь и пойдут они с этим большим, может, и добрым, но чужим и нелюбым хлопцем по меже к его хате, и это на всю жизнь. С ужасом подумала про наступающую ночь и утро, почувствовала себя беззащитной и несчастной, никому не нужной, никем не любимой. Сорваться, убежать? Куда? Выплакаться перед отцом, попросить у него помощи? Но чем он поможет? Разве она не сама... будто продала себя. Да! Прдала себя из мести? А кому она отомстила? Кто знает об этом? Никто. Никому нет до нее дела. Они пришли сюда, чтобы поесть, выпить, поговорить о своем...

Володя наклонился к ней:

— Ты, Лина, не думай ничего. Я, ну... Как захочешь, так и будешь жить. Я... благодарен тебе и так.

Она не ждала от него такого великодушия и впервые за весь вечер взглянула доверчиво и благодарно.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Приехали в Широкую Печь столичные артисты, но их чемоданы так и остались в клубной комнате нераскрытыми — люди на концерт не пришли. Большой, помпезный Дом культуры (постарался-таки Куриленко, его иждивением возведен этот дворец, надеялся удержать им в селе колхозников) сиял огнями, гремел музыкой, и было в этом что-то печальное и почти трагичное. Возле входа толкались подростки да шкандыбал по вестибюлю дед Влас, перечитывая щедро развешанную по стенам наглядную агитацию: собрался на дежурство, но было еще рано, и зашел развлечься.

В кабинет председателя сельсовета, который помещался тут же, в Доме культуры, и где сидел сейчас Грек, вошел высокий седоволосый актер с большим сизоватым носом, который явственно указывал на одну из осужденных обществом склонностей, уселся в кресле, закурил сигарету в резном мундштуке. Радиола внизу чуть ли не в десятый раз прокручивала одну и ту же пластинку, заклиная: «А ты люби ее... А ты люби ее...»

— Некому любить, — ответил Василь Федорович на вопросительный красноречивый взгляд артиста. — После войны в Широкой Печи жило люду три с половиной тысячи, а теперь — тысяча двести. И то все старые деды да бабки.

— А когда вымрут и они? — равнодушно пыхнул дымком артист.

— А почему вы у меня спрашиваете?

— У кого же? — искренне удивился тот.

— Вы слышали про затухающие села?

— Как это — затухающие?

— Э, дорогой, вы словно с неба упали. Надо газеты читать. Или хоть иногда смотреть на жизнь не только со сцены. Выйдите на улицу, когда радиолу выключат, постойте, послушайте. Глухо в селе, как в лесу. Песен не слышно. Разве что пьяный запоем. Мы тут... привыкли. В широких, так сказать, масштабах оно небось не заметно. Может, так и надо. Колесо цивилизации вертится...

— Я слышал, что в некоторых странах уже начался обратный процесс — люди бегут из городов к природе.

— Об этих процессах не знаю. У меня свои болячки.

Артист поправил невообразимый бант, что голубел у него вместо галстука, иронически заулыбался. В его взгляде читались высокомерие и снисходительность, это раздражало Грека.

— В чем же все-таки причина?— прищурился столичный гость.

Василь Федорович подчеркнуто внимательно оглядел его бант, пиджак из замши, лакированные ботинки и вдруг спросил:

— Сколько вы получаете в театре?

— Сто пятьдесят,— растерялся тот.

— Идите к нам, я плачу вам двести. Нет-нет,— махнул он рукой,— не дояром, не подвозчиком кормов — заведующим Домом культуры.

— Ну, знаете...

— Не пойдете. И другие не пойдут. Потому что, кроме всего прочего, у нас лаковых ботинок не наденешь. Вас к клубу подвезли автобусом, а вы пройдитесь по улицам пешочком! Да и не в том дело.

— А в чем? — уже несколько иначе спросил артист.

— Ну, это длинный разговор,— неохотно ответил Грек.— Прежде всего не одинаковы тут и там условия труда. Даже со стороны технологии.

— А еще?

— Сами видите. Есть хороший Дом культуры. А самой культурой пользоваться некогда, и думать об этом надо не только мне.

Артист, чтобы замять разговор, заспешил

— Почему же вы не сказали раньше, мы бы не забивались сюда. Знали же...

— Не рассчитал, что сегодняшняя суббота рабочая,— откровенно признался Грек.— Забыл. На выходные из города приезжает много молодежи. Я даже хотел концерт использовать как приманку. Собирался выступить перед началом, кое о чем рассказать, сделать кое у кого в памяти засечки, ну и... ударить рублем.

— Вы будто на торгу.

— А другим не возмешь.

В кабинет вошла Куценко. В высоких, на платформе, сапожках, в светло-сером с золотыми блестками платье, с артистически уложенной прической. Актер встретил ее пристальным, удивленным взглядом, поднялся, освобождая кресло, засуетился, куда девались его вялость,

лень, ревматическая расслабленность. Старый конь почувял зов трубы.

— Знакомьтесь, наш агроном,— сказал Грек.— Тоже из столицы. Так сказать, первая ласточка.— И улыбнулся.

— Ласточки — они улетают в теплые страны,— без улыбки сказала Лида.

Артист был совсем сбит с толку.

Гостей повезли ужинать в лесничество. Две молодичи на большущих сковородах под открытым небом жарили карасей, жирный густой дым тянулся над молодыми дубками, тут же, под дубками, жарили шашлыки, поливая их ароматным соусом, отчего костер поплеывал искрами.

Сначала расположились у лесного озерца, но там доносили комары, и пришлось перебраться в дом. За столы сели в молчании: артисты чувствовали себя неловко перед хозяевами, не заслужив этот ужин, хозяева перед артистами — не дав им возможности заслужить, синеватые, чуть ли еще не послевоенные граненые стопки уже стояли налитыми, а квашенные в капусте яблоки и по сю пору не утратили смака и твердости, а жаренные в сметане караси так одуряюще пахли, что вскорости ломкий ледок стеснения растаял, и все забыли про освещенный огнями Дом культуры и невыполненную программу. Артисты — люди компанейские, всюду чувствуют себя как дома, кто-то уже показывал фокус со стаканом и шляпой, кто-то пробовал голос, а потом молоденькая с большим некрасивым ртом певица затянула «Поедем за Десну» («Знает, чем польстить аборигенам»,— сказала Лида Греку), и все подхватили, и через отворенные окна песня полетела в темный молчаливый лес.

Василь Федорович наклонился к Лиде.

— Ты чего сидишь как на поминках?

— Скучно,— сказала она.

— А может, мы живем не для веселья?— Минуту он переждал хоровой припев и тихо закончил:— Я где-то слышал: искать надо в своей душе. И находить там утешение...

— Ты вправду такой или начитался разной муры? Будто древних цитируешь. Был такой — Сенека, так он говорил, что даже в смерти человек находит утешение. А я не верю, не верю!— Ее глаза вспыхнули, и вся она

занялась отчаянным огнем.— Мне хочется кричать, хочется ломать все...

— И что, это поможет?

— Ты убиваешь своей примитивной философией.

— У меня нет никакой философии.

— И чувствуешь себя счастливым?

— По-своему. В трудах и заботах.

— В заботах? Не брешь,— сказала она грубо.— Привык к власти.

— Наверно,— подумав, согласился он.— Люблю командовать. Себе в этом не признаюсь, а люблю. Привык... Но и хочу... построить все капитально. И хочу утереть всем нос, показать, как надо хозяйствовать на этой вот земле. Нашей земле, моей. Квасной патриотизм? Так это в нас во всех. Ты послушай деда Шевелия, как он про наши пески рассказывает, сколько открыл тут красоты. Тебе надо... проникнуться всем этим.

Она словно не слышала.

Он оглянулся на дверь. Лида угадала его взгляд.

— Будешь убегать — прихвати меня.

— Уже убегаю.

Никем не замеченные, они вышли из комнаты.

«Волга» стояла под дубом, между автобусом и газиком лесничества. Но Василь Федорович не сразу сел за руль. Была лунная ночь, только изредка на крупную, особенно округлую сегодня луну набегала дымчатая тучка, заволакивая ее,— и тут же темнела, словно по ней прокатывался туман, ясная дорожка на озерке, которая манила ступить на нее и ускользнуть в темные заросли очерета. Из очерета осторожно появлялись дикие утки, подплывали к лунной дорожке, что-то склевывали и быстро, испуганные своей храбростью, поворачивали назад. В будке у хлева загремел цепью песок, зевнул громко, сердито и, чем-то недовольный, загавкал. Пока не вышел лесник, Василь Федорович отпер дверцы «Волги» и включил мотор.

До Широкой Печи, куда ему надо было подвезти Лиду, можно было добраться мощеной дорогой, на которую вел широкий проселок вдоль высоковольтной линии, но Грек решил сократить путь и свернул на узкую лесную дорогу. Машина тяжело редела на третьей скорости, песчаная глубокая колея поворачивала то в одну, то в другую сторону, и тогда высокие сосны, медно вспыхивающие в свете фар, казалось, падали. Василь

Федорович крепко держал руль, резал колесами край колеи, чтобы машина не задевала диффером — можно было налететь и на пень,— сосредоточенно всматривался вперед, молчал. Молчала и Лида. Только что, за столом, почувствовав себя почти сообщниками, они сказали друг другу много такого, чего, наверно, не надо было говорить, это бродило в них, звало к большой откровенности, но они ее боялись. И он и — впервые! — она, Лида, не знала, чем может кончиться такой разговор, но чувствовала, что в любом случае не выиграет ничего.

Въехали в молодой ельник, тут песок был еще глубже: чтобы не забуксовать, Василь Федорович нажал на акселератор, машина пошла быстрее, ее бросало...

И вдруг...

Он потом часто вспоминал эту минуту. И был убежден, что не заметил ничего, что какая-то подсознательная сила заставила его несколько раз нажать на тормоза, что только интуитивно он крутанул руль направо. Только когда машина поползла по песку и ее повело налево, в свете фар промелькнул гнедой конь и старик, держащий его за повод, и что-то темное, наверно, воз с дровами; «Волга» проехала еще несколько метров, ткнулась носом в сосняк. Василь Федорович, ничего не понимая, медленно вылез из машины, вышел на дорогу, по которой полз запряженный одной лошадью воз с дровами. Наверно, возница задержался в лесу, в меже, небось воровал дрова и поэтому дожидался темноты, это уже Грека не волновало, потому что виноватого тут не было бы. Это «не было бы» он осознал в полную силу. Просто чужая жизнь повисла бы на нем на веки вечные.

Он похолодел от ужаса.

Постоял у дороги, пока воз окончательно не растаял в темноте, потом вернулся в машину. Увидел белое пятно Лидино лица.

— Боже мой, тебя бы засудили,— вырвалось у нее, и он заметил, как дрожат на коленях ее руки. Волна страха еще не схлынула, страха за него, он это понимал по ее словам и направленному на него взгляду.— И это из-за меня.

— Ну, почему из-за тебя?

— Заговорила.

Что-то остро прикоснулось к его сердцу — ее безумный, искренний страх,— хотя сначала показалось, что это безумие — деланное, выдуманное, и он разволновал-

ся по-настоящему. Не помнил, как ее рука оказалась в его руке, как он успокаивал ее, ласкал дрожащие плечи, округлые, тугие плечи зрелой женщины, ощущал нервную дрожь, гасил ее.

— Ничего же не случилось,— пробормотал первое, что пришло в голову, а фантазия рисовала опрокинутую телегу, лошадь, убитого человека...— Успокойся,— и легонько привлек ее, и она покорно склонилась, и в его голове снова закрутилась какая-то фантасмагория: убитая лошадь, изувеченная машина в лунном сиянии, и он подумал, что человеческая жизнь имеет очень малую цену, и вспомнил их молодую лунную ночь в саду над прудом, и его рука тоже задрожала.

Он непроизвольно прижал ее крепко, слишком крепко, даже легкий стон сорвался с Лидиных губ, и стал ласкать ее по-иному, лихорадочно, требовательно, властно. И вот уже его руки забрали ее всю, как добычу, как награду за что-то, жестокую награду. Она осторожно, но решительно освободилась. Ее охватило разочарование, отчаяние, она получала не то, что хотела, она видела, что все-таки не властна над этим мужчиной, что он — под влиянием минуты, а сама она должна искупать происшедшее.

— Мы, наверно, не выберемся отсюда,— этими холодными словами она защищалась от него.

Они и вправду очень долго выбирались на дорогу, ломая сосняк, дважды поддомкрачивая машину.

Когда «Волга» остановилась возле хаты, где жила Лида, ей показалось, что позови она — и он пойдет. Но она не позвала. Коротко простилась и ушла.

Долго стояла во дворе и смотрела, как отдаляются, то прячась в оврагах, то вспрыгивая чуть ли не до верхушек деревьев, два пучка света. Уверенное, ровное гудение мотора почему-то злило ее, в душе дрожала обида, а в глазах — слезы. Лида села на крыльцо и охватила руками колени.

Она снова подумала, что жизнь смеется над ней. Что свобода, о которой она мечтала, оборачивается несвободой, а желанная радость — печалью.

Теперь она почти ненавидела его. Самоуверенного, преданного кому-то и чему-то другому, чужого и непонятного. Раньше она думала, что в мире есть человек, которому она сможет рассказать свою жизнь, у которого найдет сочувствие и тем утешит душу. А теперь виде-

ла, что сочувствия не найдет и исповедоваться ей ни к чему.

Василю Федоровичу казалось, что быстрая езда словно сгоняет что-то с души, разносит по глухой полевой дороге тревогу. И действительно, напряжение падало. В свете фар запрыгал белый клубок — заяц несколькими прыжками сиганул в сторону, как за черную стену. Мысли Василя Федоровича все время крутились вокруг происшествия в лесу, он ни о чем не жалел, хотя не мог не признаться себе: зайди он с ней дальше — и это было бы не к добру, потянулся бы длинный узловатый канат. Он не побоялся бы его отсечь, но не знал, захотелось бы ему этого и как бы он повел себя дальше, и вообще, как бы все сложилось. Да еще в такую пору. И почему-то подумал о Лине. Не о Фросе, а о Лине, о том, как бы чувствовал себя перед нею, если бы она узнала обо всем. И снова ощутил большую, нежели с Олей или Зиной, родственность (словно она и вправду что-то от него унаследовала), и в душе шевельнулся укор.

А потом подумал о Фросине, но отдаленно, спокойно. Он все-таки о ней знал очень мало, все — и очень мало. Даже не мог сказать уверенно, изменяла ли она ему. Когда-то давно это не давало покоя, а с годами словно угасло. Наверно, не изменяла, а впрочем, кто знает... Один раз — это он знал точно — она была влюблена в нового врача, приехавшего в село. Ходила радостная, веселая, все горело в ее руках, с песней выходила на работу и с песней возвращалась домой. Он тогда жил настороженно, в ожидании, в те дни и дети — Лина и Оля, еще совсем малые, — крепче приросли к его сердцу, они тоже что-то неясно чувствовали. Но врач небось и не догадывался, что молодая, энергичная фельдшерица влюблена в него, он вскоре женился, и пара Федоровичей гуляла на его свадьбе.

А ей, наверно, хватило этой тайной любви. Любви для себя, только для себя. Она и еще влюблялась вот так же, тайно. Ему было непонятно такое чувство, но, может быть, это была и не любовь?

Женщины так и остались для него таинственными и неразгаданными существами. Он мало знал их. Так и не вошел ни в одну душу, в мир неверных настроений, непонятных стремлений, воли и безволия. Вот как сейчас. Его все тревожило в Лиде: ее неопределенность,

неприкаянность, непостоянство, одновременно отчаянная прямолинейность и решимость. Ему в голову не приходило, как это можно отдать одному дуновению, почти выдумке, столько энергии, жизненной страсти и жить ими, а не тем, что тебя окружает, чего требует от тебя суровый день. А что он, собственно, об этом знал? Его жизнь сложилась так, что он и не задумывался об этом.

...И опять он долго лежал без сна, думал, и только далеко за полночь сон смел эти мысли.

Встал он рано, как и всегда, но Фросина уже возилась по хозяйству. Закутанная марлевой косынкой по самые глаза, кропила веником, смоченным в керосине, колорадских жуков. Он почему-то подумал, что Лида такой работой побрезговала бы. И не знал, хорошо это или плохо. Выпил чашку молока, завел машину и отправился в луга. Он нарочно не поехал сегодня утром в контору. Знал, что явится из района комиссия во главе с Куницей, не хотел встречаться. Ему не сообщили, что именно будут проверять, но одно то, что ехал Куница, вызывало у него сопротивление. Кому-то все-таки надо было столкнуть их на одной дорожке! И не кому-то, а Дашенко,— Ратушный в отъезде. И чтобы не сорваться в самом начале, Грек попросил парторга принять комиссию.

Машина бежала полевой дорогой, по обе стороны которой стояли зеленые, уже с проседью, ячмени, кое-где они полегли, серо-зеленые колтуны портили вид. Ячмень сорта «эльгина», сам его заводил. Полег, а колос еще не набрался. И рожь рослая. Но какая-то малоколосистая. Миновал поле, выехал к лесу, на луга, стало просторней, светлей на душе, орошенной молодыми воспоминаниями. Все с годами изменилось, и только здесь, в этих глубоких долинках, тальниках и травах осталось что-то таинственное, повитое очарованием. Тут прошло детство, особенно запомнились вечерние костры косарей,— они брали его пасти лошадей,— таинственный голос филина в темном лесу, фыркание коней, рассказы про партизан. А в рослой осоке, на купинах, утки да кулики, а в чистых, заросших кувшинками озерцах — красноперые окуни, которые жадно брали наживку после дождя. Он ощущал странное несоответствие — спешил перестраивать село, наводнить машинами эти поля и луга, разграфить их, как лист школьной тетради, а душа невольно тянулась к тишине, к древнему, вечно-

му, не примятому ногой, к тайне и первозданности: в нем как бы стали друг против друга два полюса, и он с тревогой подумал, какой же переможет?

Луга здесь неровные — долинки, прогалины, маленькие кочки меж кустами, их косили косами, как в старину, звон мантачек, переклик голосов возвращали в давнее, полузабытое.

Где-то за кустами звенел женский смех — искренне, весело и немного призывно. В ответ позванивала мантачка, и тоже не просто, по-деловому, когда косу держат рукой и звук приглушен, а громко и в каком-то игровом ритме. Наверху, над Грековой головою, стоял легкий шум, ветер пошевеливал листву высокого ольшаника, и лопотали березки, и мелькали внизу, в траве, солнечные блики. Под кустом бересклета росла ежевика, он отломил веточку. Ягоды были еще кислые, терпкие. Солнечный луч играл на них, и они искрились, как самоцветы. И в глазах молодого косаря Гната тоже играли искры, от солнца, от девичьего смеха, от полноты жизни, от доброй матери.

Василь Федорович взял у него косу. Разулся, скинул рубашку, поплевал на ладони. Шарх — и вогнал косу носком в купину. Засмущался, подтянулся, налег на пятку — шарх, шарх, — и высокая, зеленая смолянка вперемешку с бурьяном, что белел большими, похожими на цвет моркови кистями, ложилась тяжелым пластом. Ноги грузли в мягком мху, щекотала и покалывала щиколотки свежая стерня. Трава была густая, в росе, он подсекал ее легко, легко кидал «на стену» и на покос, с удовольствием отмечая, что в руках еще есть сила, что гоны его еще длинные. Уверял себя, что молод и силен, потому что знал: это совсем не так.

«Может, и не так, но мотор работает и клетки не до конца отравлены шлаками, хотя их и набралось немало», — огрызался грубовато, почти самодовольно.

Почувствовал, что вспотел, но было приятно, что коса подчиняется ему, что ручка у него не уже Гнатовой, хотя тот и молодой, тракторист, и грива меньше, и трава ложится ровно. Он любил косить, любил и другие работы. «Я все умею — не пропаду». Был хорошим плотником и за это держался, прятался, как за высокий вал. Хотя ему словно бы ничего и не грозило, но запасную площадку для души всегда надо иметь. Есть такие, что впиваются в должность, как клещ в тело, у них можно



вырвать руководящий пост только с жизнью. А разве можно так! (Это уже началась невольная полемика с комиссией, которая, как он понимал, приехала неспроста.) Куковала кукушка, но куковала, только когда он косил, а когда переставал — переставала и она. Эта диковина его развеселила.

— Дядька Василь, хватит, — крикнул Гнат, — уже орел сел на спину.

Не «Василь Федорович», а «дядька Василь», это и льстило и чуть-чуть обижало. А орел — пятно пота на лопатках — сел рановато. Мелькнуло в голове, что от физической работы он отвык, что если бы так целый день — вряд ли потянул бы, что получать и давать указания все-таки легче, да и когда даешь — как бы утверждаешься в своем преимуществе, а когда получаешь от высокого начальства — тоже поднимаешься в собственных глазах. Мелькнуло — и исчезло, растаяло в травах, в воркованье горлицы, в шорохе косы. Труд, чистый ручей, смывает горечь с мыслей. Он бесконечен, как ход колеса. Его колесо — это его колесо, он смастерил его сам, и смастерил основательно. Поле, луга, сев, косовица — вечный хлебоборобский уклад, и новые машины — все это его. Как и чистый девичий смех и воркованье горлицы. Он ими никогда не натешится, он просто не думает об этом. Но не мыслит ничего иного, и не манят его чужие края. Вон за холмом на шляху мчатся машины. Шлях помечен цепочкой молодых тополей, белые, синие, красные пятна мелкают между ними. Василь Федорович засмотрелся в ту сторону. Все туристы едут. Куда и зачем они мчатся? Надоел родной край? Хотят побольше увидеть? Но дело в том, как смотреть. То, что промелькнуло перед глазами, не сделало тебя лучше, да и, в конце концов, радости в этом мало. Пронеслась речка, церковь в окружении елей на горе — ездок на миг притормозит, спросит, что за село. Чтобы потом сказать: видел в Козельце церковь, построенную Растрелли. А он, может, из машины не выходил или вышел, чтобы пробежать взором табличку. (Именно так гордо перечисляет всяческие музеи да дворцы Дупель-Пусто.) Турист тоже прочитает табличку перед мостом, на которой написано: «Десна». А постиг ли он эту речку? Подумал ли, что она означает для этого края?

Василь Федорович хотел остаться здесь до вечера, но явился Любка и с тайным ужасом уведомил, что его ждет Куница. Но и после этого Василь Федорович не сразу сел за баранку — пообедал с косарями. Они ели, сидя на разостланном брезенте, а Любка бродил по покосу, словно проверял, хорошо ли выкошено, хотя и забыл, как косу в руках держат. Он к компании не подсел, косари над ним незлобиво потешались, а он поглядывал на них свысока. «Что вы знаете? Покосы да навоз! А «Медного всадника» видели? Да и не слышали

небось, что есть такой? Все вы, вместе взятые, знаете пять процентов того, что знаю я! А кто из вас способен составить докладную?»

Но, кроме пренебрежения, на его лице сегодня выражались еще неуверенность и волнение. На что Василь Федорович не обратил внимания — и совершенно напрасно, — потому что если бы обратил, то Любка, наверно, рассказал все как на духу. А терзаться Любке было из-за чего. Когда последний раз он ездил на житомирские карьеры за плитами для мемориала, то возил туда на продажу картошку. Посылал его Грек и сам выписывал накладную, которую Любка по возвращении должен был соответственно оформить. Но накладную он потерял. Может, потерял, а может, ее украли вместе с портфелем. Шофер посадил в кабину женщину с ребенком, а Любка лег на картошку, на соломенные маты, положив портфель рядом, а когда проснулся, его не было. Такое с ним приключилось впервые в жизни, и экспедитор не на шутку перепугался. Но не возвращаться же с Житомирщины на Черниговщину за накладной! Картошку продал на базаре, а за плиты рассчитался наличными. Когда Степан Карпович вернулся в Сулак, Грек был в Чернигове на совещании, а Любка доложил обо всем Куриленко. Но тот даже не дослушал до конца: «Плиты привез? Ну и ладно». Степан Карпович знал: подобные финансовые нарушения допускаются в богатых колхозах, иной раз случаются и у них, и успокоился. Но бухгалтер сельхозотдела, который приехал с Куницей, сразу заметил непорядок в расчетах за плиты, и Куриленко вызвал экспедитора. Любка напомнил ему о давнем разговоре, но Куриленко только пожал плечами: «Ты мне сказал, что отдал квитанцию Греку? Он же тебя посылал?» «Посылал-то он...» — попытался объяснить Любка. «Ну вот так и скажи. Василь Федорович — председатель колхоза, а с тебя какой спрос».

В первый момент Любка даже не сообразил, куда клонит Куриленко, а потом испугался. Он понимал, что выхода ему не будет ни с какой стороны, и прикидывал, откуда грянет гром послабее. Прикидывал и паниковал, несколько раз порывался заговорить с Василем Федоровичем, но тот молчал. Любке было трудно ему признаться еще и потому, что он знал: должность экспедитора — последняя в его жизни, может быть, последняя и эта

поездка в председателевой машине, и не мог с этим примириться. Он уже давно не просто жил, а исполнял некую роль, на которую сам себя обрек, слишком он любил всякую таинственность, приказы сверху, кампании, отдавался им целиком, чувствовал себя причастным к чему-то великому, и это поднимало его в собственных глазах. Теперь всего этого не будет, и станет он обыкновенным Дупель-Пусто, над которым издеваются и трактористы и доярки. Может, покаяться? Василь Федорович — человек справедливый, простит. Но в этом месте Любкина мысль переключалась «на другой канал», как говаривал Грек. Слишком значительной была комиссия, слишком круто она взялась за дело, и неизвестно, как это повернется. Не случайно Куриленко подсказывал ему путь, намекая, что в перспективе Любка не прогадает.

Любку мучила совесть и пугал гнев председателя, и думалось ему, что за такую мелкую провинность, как потерянные накладные на несколько тонн картофеля (хоть бы этих накладных не было вовсе), Грек большого нагоняя не получит, а его она утопит окончательно. А может, и Греку не вывернуться на этот раз? Любке удалось подслушать кусочек разговора Куницы и Куриленко. Куница спрашивал о разном, больше всего про мемориал. Пробивной, крепкий хозяин Грек, но, может, теперь эта самая хозяйственность станет ему капканом?

Для Любки все кончилось до смешного просто. Грек сказал, что действительно брал у него накладные, но куда-то дел, не помнит. Наверно, его обманула Любкина пунктуальность, а может, просто взял на себя вину Степана Карповича, не захотел заниматься мелочным расследованием, так как посмотрел на экспедитора довольно выразительно. Но это было уже на другой день. А сегодня он водил гостей-ревизоров по хозяйству, а потом заперся с ними в кабинете, но Любку туда не пригласил.

С Куницей Грек поздоровался спокойно, деловито, Семен Иванович даже блеснул золотым зубом в улыбке, и только что-то неуловимое, как тонкий звук в темноте, скользнуло между ними. Круглое, мягкое лицо, круглая улыбка, кроткий взгляд. Может, Куница и вправду все забыл? Ведь от природы он человек незлобивый. И наверно, мог бы забыть, если бы его не пугало другое: всем своим существом он улавливал, он чуял

угрозу себе. Семен Иванович затаил неприязнь, он даже сочинил какой-то комплимент Греку, но Василь Федорович не сомневался в его истинных намерениях. И только не мог угадать, приехал ли Куница по доброй воле или это чья-то хитрость. Ратушного сейчас нет, он лечится на Кавказе. Может, это обычная проверка? Но и тогда Семен Иванович будет подбирать факты не беспристрастно. Он уже не может быть беспристрастным. Ему не по нутру методы руководства председателя «Дружбы», он прирос к своей должности, не может что-то менять, что-то ломать, искать и перестраиваться. Зачем? Все так удобно устроено. Он сам приложил к этому руку. О какой новой ступени говорит Грек? Разве старая не годится? А новая... Ее очень трудно освоить. Там перегрузки, там неизвестность. Старая ступень рассчитана точно. Инструкции, параграфы, пункты. За годы руководства он выучил их наизусть и действует согласно им. Взять хотя бы травопольную систему. Ученые мужи разработали ее полно и всесторонне, а Грек говорит, что она ему не подходит. И подбивает на это других. Всем подходит, а ему нет. Так неужели Семен Иванович не сможет доказать необоснованность этих Грековых утверждений? Спокойно, аргументированно? Он знает: его поддержат. Те же председатели колхозов, агрономы. Не все, но многие. А потом эти нарушения, это своеволие Грека. Семен Иванович просто убежден, что нарушения есть. Ну, у кого из председателей колхозов их нету? Вот хотя бы с памятником, который в Сулаке называют мемориалом. На него потрачены громадные деньги. Грек говорит, что это, мол, память навеки. Оно так... Но какие перерасходы! Кроме того, Грек хочет что-то утаить... Но этого не утаишь! Люди сигнализируют. Недавно пришли еще два письма. Одно анонимное, а другое — подписанное «Голуб».

И чтобы с самого начала выбить Василя Федоровича из равновесия, он дал их ему. Анонимку Грек отложил, не читая. А над письмом Голуба просидел долго. Странная задумчивость, странная тревога застыли в Грековых глазах, он словно бы всматривался куда-то, старался что-то постигнуть — и не мог. Родион Голуб — один из тех, чей отец лежит в братской могиле... Не чувство ли вины перед ним заставило Грека так сурово сжать губы, так долго и пристально всматриваться в обычный лист бумаги? Родион Голуб не хочет, чтобы на камне выби-

вали рядом их фамилии. И тут Грек не может ничего поделать. Уже одна эта просьба — приговор ему, его роду, всему, на чем он так твердо стоит.

На мгновение Кунице даже стало жаль Грека. Но вспомнил его выступление на бюро, разговор по телефону, неуступчивость и непримиримость Василя Федоровича и демонстративно спрятал письма в папку. А Василь Федорович поискал в столе сигарету, углубленный в свои мысли, невидяще пощупал на столе, поднялся и вышел из кабинета. Куница решил, что Грек пошел за спичками, но в этот день он его больше не увидел.

Лучше всего избавиться от обиды, уйдя в нужную работу, в любые хлопоты. Забот у Василя Федоровича — полон мешок, запусти руку, вытащи первую попавшуюся — и хватит до вечера.

Нынче самая его главная забота — комплекс. Вот он и сел в машину, поехал на стройку. Рабочий люд трудился вовсю, и кто-то торчал среди канав, как аист среди кочек. Уже издалека он узнал Тимофея Безродного, парторга. Высокий, голенастый, тот и вправду смахивал на аиста. Еще и какая-то черно-белая кацавейка на плечах, потрепанная, но модная. А сам белый, как молоком облитый, почти безбровый — древлянин, полещук от роду-кореня.

— Чего торчишь тут? — спросил Грек, вылезая из машины. — Потерял что-нибудь?

— Да вроде того, — в тон ему ответил Безродный.

— Нашел?

— Еще нет. Авось вы поможете.

Он называл Грека на «вы», а тот его на «ты», так уж повелось между ними с самого начала.

— Что же мы должны найти?

— Человека.

— Кажись, был уже один, что искал человека с фонарем в руках среди бела дня, не Диогеном ли его звали? Не родич ли твой?

— Дальний. Он-то искал одного человека, а мы должны будем найти двадцать доярок. Сдается, сами их и потеряли.

— Горюшко, — деланно ударился в панику Грек, но сразу же перешел на серьезный тон: — Что там у тебя, выкладывай.

— Пересматривал план комплекса... Все там в порядке... Коровам будет хорошо.

— Ну? А для кого же мы строим?

— Оно-то так. Коровам хорошо, а людям? Не очень-то принимали их в расчет инженеры, которые планы рисовали. Сами знаете, нет работы трудней, чем у доярки. И грязней...

— В плане есть душевая...

— Душевая есть. А надо, чтобы стояла и печка теплая, и могла бы доярка скинуть ватник да надеть белый халат. То есть чтобы был свой шкафчик и тумбочка и чтобы поставили мы для нее телевизор... А тут нагромождено всяких чуланчиков да каморок для инвентаря, для бидонов, для...

Грек сбил на затылок фуражку, пристально посмотрел на Безродного.

— Слухай, Безродный...

— Я-то Безродный,— сразу перевел разговор в другую плоскость парторг.— Мне что... Мне ничего не надо... А вот дояркам...

— Ты уже посчитал каморки? Сколько их?

— Да около десятка. Половина ненужных. Хотите, покажу прямо тут, на плане? Оно, может, и рано подымать шум...

— Где там рано,— почему-то сердито хмыкнул Василь Федорович.— Еще чуть — и будет поздно.

Сердился он на себя, и Безродный понял это.

Они долго ходили по котловану, по кирпичной кладке, сверяясь с планом, который прихватил Безродный.

— Будем перепланировать,— наконец решил Грек.— Натер ты мне перцу в нос. Но хорошо, что ты, а не доярки. Те натерли бы покруче. Надо же... Черт бы побрал этих плановиков... Сами для себя планируют кабинеты — как конюшни, а людям скупятся отвести лишний метр.— Он помолчал и повел дальше: — Хлебом мы с тобой лиха на этом комплексе. Наши фермы рушить я не дам. Сначала проведем только реконструкцию. Из кирпича молока не выдоишь.

Это была обычная Грекова воркотня, но и не только воркотня. И Безродный осторожно подкинул:

— Был я на совещании... выступал там один завфермой, со Львовщины. Задумали они интересную штуковину. Называется «поточный метод». Но не в названии дело. Все у них там отдельно...

— Ну-ну, интересно, рассказывай, — блеснул глазами Грек.

Когда речь шла о чем-то новом, он подхватывал сразу, хотя и со скептическими нотками. Это было способом разогреть собеседника и таким образом глубже вникнуть в проблему.

Им и вправду этого разговора хватило до самого вечера. В крутых спорах Безродный пасовал перед Греком, но не всегда и старался выстоять: чаще, и вполне сознательно, он «заводил» Грека, втравливал в дело, и тот не давал уже ему покоя сам.

Новый метод заинтересовал Грека, и он решил послать в тот далекий колхоз на Львовщину секретную разведку.

Те, утренние мысли вернулись к нему только вечером.

«Я снова ничего не понимаю. Мне казалось, отцовское прошлое уже не касается меня. А вот сегодня прочитал письмо Голуба и понял, что касается. И если я не разужнаю все до конца... Я просто не могу так жить. Я готов принять наказание, если оно и не мое. Пойти на все, только чтобы освободить Горелого от его мук и Голуба от его ненависти. Ну, что касается Голуба, то я обманываю себя. С Голубом я не могу согласиться. Что-то нас и объединяет и разделяет. Разделяет больше, нежели объединяет. Да, я готов принять наказание. А может, не готов? Может, мне это только кажется? Нет, мы заглядываем в себя, зная наперед, что там лежит, только делаем вид, что не знаем. Иногда что-то в нас меняется, становится больше или убавляется. Но мера остается та же. Есть в нас доброе начало, оно нас ведет, манит. Куда ведет — этого, наверно, не знает никто. Куда и для чего. Наш разум подсказывает, что все существует для него и только для него. В далеком будущем он хочет перехитрить этот великий закон, взять верх. Но ведь разум тоже существует благодаря великому закону!

Когда-то я не мыслил мира без себя. Мир для меня. И только. А теперь знаю: когда меня не станет, он не изменится ни на йоту. А с другой стороны, я должен отвечать, отвечать муками совести за своих предшественников. Мы не хотим отягощать память. Выметаем отсюда все. А может, память — это и есть человек? Его наивысшая суть? От меня связи протянулись в обе сто-

роны. И из-за этого мне так трудно. Когда-то я не мыслил себя без других, хотя и не замечал этого. В детстве и позже. А не так давно мне стало казаться, что я одинок. Один — и все тут. Есть семья, есть знакомые, а я один. А теперь снова вижу, что это не так. Что даже прошлое держит меня крепко. Освобожусь ли я от него? Если не освобожусь...»

Василь Федорович с ожесточением погасил лампу. «Спать, спать». С некоторого времени он стал прятать такие мысли в дальний ящик.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Христя проснулась давно, но не вставала. Вертелась с боку на бок, старый, расшатанный топчан под нею скрипел, и она мысленно ругала Володю. Сколько раз просила, чтобы позавинчивал гайки (теперь все на гайках), а он ухом не ведет. Наверно, она сердилась не только за это. И не столько сердилась, сколько беззвучно его поучала.

Ну разве можно так потакать жене! Смотрит на нее, словно теплой водичкой поливает, словно нянчит на ручках. Христя за весь свой век такого не видела от мужа. А Лина ведь уже не девушка, жена. Она тоже все это примечает. Да она... она ведь сроду ему не покорится, не признает за ним верх. А должен же Володя быть хозяином, главой семьи.

И тут ее мысль бежала дальше, в недра семейной жизни: станет Лина настоящей женой Володе, хозяйкой в хате, которая уважает своего мужа, варит ему еду, высматривает, когда он придет с работы? Повизгивал кабанчик, петух охрип, кукарекая с утра пораньше, у Христи даже сердце заболело, а невестка разлеживалась. «Вот такая она хозяйка. Хотя Грек и крутой человек, а дочек жалеет... В роскоши росла, не приучена к хозяйству...»

В этот момент и прошлепали босые ноги мимо кухни. Лина выпустила курей, бросила вчерашней привядшей ботвы кабанчику и уже потом вытащила из колодца ведро воды, налила в умывальник. Христя спохватилась, почувствовала вину перед невесткой. Утро едва тащилось сквозь верболозы по долине, роса, как седой иней, лежала на картофельной ботве.

— Что, дочка, сварим на завтрак?

Это Христина «пунктик», как говорил Володя, раньше с этим она каждый день цеплялась к сыну, теперь — к его жене.

— Да все едино,— ответила Лина.

Вышел Володя, стоял на крыльце, готовый броситься на защиту Лины, выхватить из ее рук работу. Мать неодобрительно покосилась на него.

— Поспал бы еще. Тебе же к трактору.

— Не хочу.

...Только-только проснувшись и не увидев Лины на кушетке с высоченной спинкой и подлокотниками (они спали отдельно, скрывая это от матери), он чего-то испугался и выскочил во двор. Знал, что Лина никуда не делась, вон ее туфли и платье, и все-таки каждое утро пугался. Видел, что ей немилы его объятия, его несмелые, просящие прикосновения, чуял холодок Лины, от которого, наверно, страдала и она, хотела перебороть и не могла. Она всегда нравилась ему. Но чтобы обнять ее и поцеловать эти губы... он умирал от одной мысли об этом. Сколько переживал, что кто-то ее целует, провожая домой, даже закипал злостью, хотелось сделать ей больно, а при встрече молчал или бормотал что-то невнятное. Теперь все это кончилось. Лина — его жена. Но от этого мало что изменилось. Он переживает это больно, он догадывается, что всю жизнь ему придется бороться за нее. И боится, что она никогда не привыкнет к своему новому дому, к нему, к его матери. И не знает, что ему сделать, чтобы изменить ее, привлечь к своему сердцу. Он был готов на любую жертву, только чтобы она посмотрела на него прямо и открыто, как когда-то смотрела на Валерия. Может, было бы лучше, если бы она ссорилась с ним, отклоняла его услуги, но она со всем соглашалась и на все его вопросы говорила: «Как хочешь».

«Я хочу, чтобы ты полюбила меня»,— как-то мелькнуло у него в голове, но он не сказал этого вслух, потому что знал бессмысленность такой просьбы.

Володя хорошо понимал материны намеки и скрытые поучения, он не стремился властвовать, руководить, ему было довольно Лилиной улыбки, ее доверия.

Завтракали картошкой с салом, со свежими огурцами. Он сам, закатав брючины, рвал в густой ботве. Это были первые огурцы со своего огорода, совсем не похожие на те большие, кривые, без вкуса и запаха, какие

выращивают на гидропонике. А эти твердые, холодные, в пупырышках, некоторые с присохшими цветочками, хрустели и распространяли на удивление тонкий аромат. Ели и молодой чеснок — сначала перья, потом стебель и только после — головку с маленькими зубчиками. Все это: и огурцы, и чеснок — он рвал для нее, это видела мать и не замечала Лина.

— Вкусно? — спросил. — У вас так вылушивают зубочки?

«У вас» — это у них, у Греков. Она очень часто говорила «у нас», и Володя не обижался. Наоборот, иногда спрашивал, как, по ее мысли, будет лучше.

Лина с тоской поглядела в растворенное окно и вдруг вскочила и выбежала в сад. Оттуда донесся ее приглушенный плач. Мать посмотрела на сына, а он опустил голову и молча поднялся из-за стола и чуть ли не впервые подумал, что слишком дорого обходится ему любовь.

Они вместе с матерью вышли со двора. Лина сегодня оставалась дома. Он так ничего и не сказал ей. Не осмелилась что-нибудь сказать и Христина, ступила несколько шагов, остановилась, суровая и молчаливая. Лина поняла: свекруха не хотела, чтобы соседи видели невесткины слезы. Лина вернулась в хату и там дала себе волю. Сердце ее резало отчаяние, она уже поняла, что не обживется, не обвыкнется никогда, что эта хата, этот двор, этот сад останутся для нее чужими навеки, что она никогда не полюбит Володю. А его сочувствие и доброта еще сильнее карали ее. Она чувствовала двойную вину, она жалела его и почему-то сердилась на него, хотя и понимала, что это глупо. «Ну что, что я натворила! Куда мне деться, где искать спасения? Какая же я... несчастная и никому не нужная». Теперь ей больше, чем когда-либо, казалось, что она была чужой у Греков, что они давно хотели выпихнуть ее замуж и теперь небось радуются, что избавились. Вот только Зинка, младшая, каждый день прибегает, не вылезает отсюда, она еще наивна и не рассуждает. Лино сердце наливалось ревностью, и она чувствовала, что готова причинить Валерию зло, которого он не забудет до смерти.

По дороге в школу заскочила на минуту Зина. Лина услышала во дворе ее мелкие шажки, торопливо вытерла слезы и принялась убирать постель. Зинка щебетала,

показывала альбом — вчера учитель позволил им рисовать, кто что хочет, и Зинка нарисовала свою хату и возле нее всех: отца, маму, себя, Олю и Лину. И у Лины снова навернулись на глаза слезы. Сунула Зинке в желтый ранец шоколадный батончик, который Володя принес ей вчера, выпроводила из хаты — малышка могла опоздать. Но как только убежала Зинка, прибежала Тося. Ей не терпится почесать языком, ведь с его кончика слетела тайна, из-за которой случилось Лино замужество, и ее подмывает поговорить об этом.

— Чего ревела? — допытывается Тося. — Из-за свекрухи?

— Свекруха... как свекруха.

— Небось вспомнилось, ага? А его нигде не видно.

— Кого его? — спросила как бы равнодушно, а сама, поливая цветы, пролила воду из глечика — тряслись руки.

— Валерия. Баламут он. Хотя... может, и не совсем баламут. — И Тося прикусила язык.

Беленькая, пухленькая, она сейчас была похожа на хорошенькую домашнюю кошечку, которую так и тянет погладить. В ее глазах светилось столько участия к Лино судьбе, что Лина не выдержала.

— Не знаю... А только, Тоська, ни за что не выходи... пока не полюбишь по-настоящему.

— Как это по-настоящему? — И в глазах у той загорелись огоньки.

— А так. Ну, чтобы... чтобы все, до чего дотронется тот человек, становилось твоим. Чтобы душа болела и мучилась за него. Чтобы не было на свете, чего бы ты для него не сделала. Чтобы могла убить за любовь.

— Ой, что ты! — вскрикнула Тоська. — Чего болтаешь? Где ты такую любовь видела?

— А твой Костя... Ты же говорила...

— Мой Костя. — При слове «мой» Тоська как-то забавно, то ли пренебрежительно, то ли боязливо выпятила губы. — Только кто подойдет ко мне на танцах — сразу по морде. И его... и меня. Никого не подпускает. А я, может, за Мишку пошла бы или за Сергея. Так он же...

— Как это за Мишку или за Сергея?

— А чего, оба хорошие парни. Не кривые, не слепые, пьют мало. Миша «Москвича» купил.

— Как же так можно — за Мишку или за Сергея?

— А ты сама...— и вспыхнула.

Лина опустилась на стул.

— Что я... Ты же мне все и выложила. Мы с Володей с малых лет... И он такой... одним словом, хороший. И мне грех на него обижаться. А Валерий... Я его ненавижу. Больше всего за то, что, когда за мной ходил, про всякое такое высокое рассуждал. Увидела бы его... Я бы ему сказала... Нет, не сказала бы ничего. А только... чтоб знал он, из-за чего я. Не слышала, они с Райкой не расписываются?

— Еще чего... с такой потаскушкой.

— Пусть потаскушка, зато красивая.

— Ага... Опустит глаза, покраснеет, ну прямо тебе невинность. А на самом деле... Именно таких хлопцы теперь и любят. Я по телевизору слыхала — сексуальных.

— При чем тут это?

— А при том...

И обе покраснели.

— Валерий, он... Он к красоте тянется. К такой, как в книжках. У него мысли хорошие. Он мне рассказывал, какую бы хотел нарисовать картину... Чтоб небо синее-синее. И на нем белое пятнышко. Словно птица, которая улетает. И чтобы каждый, кто на эту картину взглянет, задумался. Чтобы душу защемило. Ему хочется сделать что-то хорошее. Не для себя, а для всех.

— Да ты все еще его любишь! — воскликнула Тося.

— Думай как знаешь,— почти с вызовом ответила Лина.— Только... Ненавижу я его.— Она стиснула на коленях кулаки, зрачки ее расширились.— Не будет ему добра. Вот увидишь. Судьба его накажет.— Она поднялась, взяла глечик.— Картошку надо окучивать.

Остановилась на краю сада, под яблонькой, и сказала себе, но вслух, потому что не могла таить несказанные слова:

— Люблю его страшно. Наверно, на погибель свою, но люблю, хоть и ненавижу.

Второе утро в перекрещенном рамой окошечке чердака Валерий видит одну и ту же картину: молодые гуси на пруду учатся летать. До осени еще далеко, еще ни единая паутинка не прозвенела в воздухе, еще буйно, зелено тянутся вверх камыши на пруду, еще сад вокруг

винарни ушивается зелеными соками, и зернышкам в яблоках еще не снятся будущие побеги, а гуси извечным таинственным инстинктом уловили холодный зов, и необъяснимая высшая сила взмывает их вверх. Они бьют крыльями, сбиваются в стаю, вытягивают шеи и один за другим, а потом и все разом срываются, и летят, и бегут по воде к противоположному берегу. За ними срываются и старики: серый гусак и три белые гуски, но тяжелые, ожиревшие, падают грудью на воду посреди пруда.

Валерий думает, что им не грозит ни долгий перелет через море, ни выюга в небе, что они еще неделю-другую полетают по пруду, а потом хозяин подрежет им крылья. А то и подрезать не станет — не улетят сами. Очень уж вкусный корм покупает хозяин в фуражном магазине в городе и наваристую картошку сорта «юбиль». Бабка Сисерка рассказывала, что во времена ее молодости, случилось, домашние гуси улетали с дикими. Оттого, что белые гуси на пруду не улетят, Валерию становится грустно. Он понимает, что сам более бранный, чем эти гуси, а диких, наверно, уже не услышит никогда. И вот грустно. Может, и в нем звучит зов вольной степи или древнего леса, грозный зов, но сто веков цивилизации наконец истребили его. Тогда бы он, как эти гуси, и не знал о своей преходящести, о близком конце.

А может, грустно ему и не от этого. Сегодня пошел десятый день, как он закрылся на чердаке винарни и только поздним вечером спускается в сад. Последние два дня не выходил совсем. Один раз в сутки, до рассвета, навевалась Рая, ставила на деревянный козырек у дверцы глечик с заваренными травами и шла в сад. Сначала она пыталась заговорить, но он отмалчивался. В его душе что-то замкнулось, он не хотел никого видеть, не хотел ни с кем говорить. Ему казалось, что он как бы поднимается над миром, бросает ему вызов, вызов на поединок. Но это быстро прошло. И он медленно начал постигать, какая страшная вещь — одиночество. Да еще в болезни. И как хочется, чтобы кто-то протянул тебе руку, как хорошо кого-то дожидаться вечером, читать в его глазах тревогу, сочувствие. Но кого он может ждать? Кому он нужен?

Ему казалось, что люди ему не нужны вообще. Он — сам по себе, они — сами по себе. Об этом не раз он говаривал Лине. И вот... уже принес ей своим одиночеством зло. Убедил себя, что это лучше, чем жениться

на ней. Значит, это не так. Иногда ему становилось страшно, и не только потому, что мысли его все время возвращались к болезни, что ни о чем другом он думать не мог. Сначала ему казалось, что, закрывшись здесь, будет читать, рисовать. Приготовил краски, полотно. Набросал гусей на пруду, а над ними синее небо, бездонное, глубокое, хотел продолжить его до бесконечности, а потом замазал почему-то черным. И больше рисовать не смог. Ведь и это для кого-то, для будущего. А у него будущего не было. И наверно, это было страшней всего.

Валерий отвел глаза от окошечка, сел на сенник. Хотелось есть. Первые дни есть хотелось просто ужасно. Казалось, будь краюха хлеба и ломтик сала, проглотит — а там хоть трава не расти. Он знал, что в щелке возле дверей завалился кусок паляницы — упал туда и засох, а в другой щели — конфета-горошина, тоже когда-то укатилась из кулька, и странные магнитные токи все время поворачивали его к тем щелям, пока силой воли он не запретил себе туда подходить. Потом чувство голода погасло — и вот вспыхнуло снова. А внизу под окошечком шумел сад, курские ранеты уже зарумянились. А он сидел усталый, измученный, обездоленный, и мысли тащились, как заблудившийся прохожий, который уже не верит, что найдет дорогу. Как ему захотелось вчера к Лине, он подумал, что натворил страшных глупостей, отравил свои последние дни, украл у себя все, что напоследок дарила судьба, — большую любовь, чистое, сострадающее сердце... Думал о ней, даже слышал ее голос: «Не-е-е». Так умела протягивать только она — по-ихнему, по-сельскому, и немножко по-смеизаясь над собой и над ним. Поженились бы с Линой, прожил бы эти последние месяцы счастливо. Встал, вынул зеркальце, посмотрелся: «Еще есть время. Еще не все потеряно».

Сегодня Валерий не вспоминал даже про Лину. Все отдалилось, словно бы не касалось его. Сперва он еще замечал: четыре клювика в гнезде синицы под крышей винарни, ранеты в саду и обелиск на холме, который отблескивал в утренних лучах, а оттуда мысли тянулись дальше, к Греку, Лине, бабке Сисерке, даже к отцу. А теперь его мысль падала бессильно, словно ныряла в черную бездну. Только воспоминание об отце что-то пробудило. Отец свою жизнь строил иначе. А может,

это и правильно. Жизнь как громадная конфета. Каждому достается что-то от нее. Так грызи, кусай, и чем меньше тебе осталось жить, тем шире разевай рот. Торопись, отталкивай других... И все равно туда с собой не возьмешь ничего. Только покалечишь совесть напоследок. Хотя кое-кто живет с нею не в ладах весь век. Не в ладах, а то и в лютом сговоре, поселив ее в роскоши, завязав глаза и нашептывая на ушко брехню.

Валерий дотянулся до ручки приемника. Японский транзистор «Сони» — единственная его ценная вещь и единственное развлечение в эти дни. Красная полосочка побежала по освещенной дорожке, по другой, по третьей, он перебирал их, словно искал ту, которая могла к чему-то привести. Ливень звуков наполнил тесный чердак, арии и призывы государственных деятелей бились в паутине, разбивались о черепицу, а он не мог ни на чем остановиться, выбрать по душе. Мир, что тысячи веков был безмолвным, нетронутым, чистым, теперь свистел, верещал, пел, призывал, угрожал, умолял. Казалось, самому тонкому голоску уже некуда втиснуться. А они все множатся, переплетаются, и каждый пытается захватить больше душ, каждый что-то сулит и сам не верит своим посулам. А он упрямо крутил и крутил ручку... И вдруг в тишине, наступившей в каморке, он услышал тихий, как шепот листьев, детский голос из пьесы: «Мама, мама, я боюсь».

— Мама!

Это был уже не голос радио, а он сам.

— Мама, родная!

Только теперь он понял, какие это слова! Он почти забыл их. Защемило сердце, словно оно и вправду ощутило материнское тепло. В него вливалась чужая боль, ему стало жаль и Лину и Сисерку, которую он тоже обманул, сказал, что едет в Киев. Вот кто пожалеет его! Вековала весь век в одиночестве, никогда ни на кого не пожаловалась, никому не поведала того, что носит в душе. А наверно, носит много. Муж помер давно, а сын погиб на войне, в самом ее конце. Хороший был сын, таких сыновей мало на свете. Ушел в разведку, написав пятнадцать писем и попросив товарищей, чтобы отправляли по одному, если не скоро вернется. Он не вернулся совсем. А письма шли еще несколько месяцев. Тот, кому он их передал, погиб тоже, кто-то третий, наверно, переняв на себя его долг, по одному сдавал полевой почте.

Наверно, эти люди крепко спаяны. Потому и выстояли и победили.

Валерий провел ладонями по лицу. Прислушался к себе, пытаясь отгадать, происходят ли в нем те перемены, о которых говорил дед Шевелий. Не чувствовал ничего.

Скрипнула внизу ступенька, и кто-то зацарапался в дверцу. Царапался долго, и он открыл.

Все эти дни Рая не заходила к нему, а теперь почему-то нарушила запрет. Видно, хотела сказать что-то важное. А может, боялась, уж очень пристально смотрит на него, и видно, как в ее глазах трепещут пугливые тени.

Рая и вправду чувствовала себя соучастницей чего-то страшного, ее даже холод пробирал, когда она останавливала взгляд на худом, с черными ямами глазниц лице Валерия. Она сидела на краешке чердачного окна, свесив ноги на лестницу, и долго не смела заговорить. Хотя уже решила, что принесла траву в последний раз, что должна кому-нибудь рассказать про Валерия. Но сперва предупредить об этом его самого.

— Валера, уйдем отсюда, — сказала жалобно и просяще.

— Куда? — не понял он.

— Домой. К Сисерке. Тебе надо... молочка парного. Потому что я уже... Тебя из больницы искали, из города.

— Ты не хочешь больше заваривать траву? — жестко спросил Валерий.

— Траву? Я тебе... Весь сад переведу на зелье. Только не верю, не верю, что трава поможет, — всхлинула Рая. — В больницу надо. Там теперь все лечат.

— Если я туда попаду — оттуда не выйду. Там... Ну, могут продлить на полгода, от силы год. А какой ценой! Там все такие, как я. Понимаешь? Ты бы пошла?

«А что же остается?» — и испугалась своей мысли.

— Все равно уйдем отсюда, — уже плакала Рая. — Тут еще страшней. Я уже боюсь проходить по саду. Иду междурядьем, посмотрю в эту сторону, душа у меня стынет. Есть же правда на свете.

— Нету ничего. Я об этом здесь, на чердаке, догадался. И для чего сам мир — тоже не знаем.

Она сидела оглушенная. Но в ней что-то до конца не

сдавалось, маленькое, но невероятно цепкое, живое, как и она сама.

— И все равно что-то да есть.

— Что?

— Ну, что-то... Совесть...

Валерий был удивлен.

— И ты в нее веришь? Где же ты ее видела? У нас в колхозе? Или дома? Говорила, что муж жил только для себя... И сама, прости меня, с другими...— И покраснел.

— Где видала? У отца, матери, бабки. У нашего председателя. А того, что было с мужем, ты, Валерий, не тронь. И не грешила я при нем. Это уж как разошлись.— И опустила глаза, и снова стала похожа на наивную, чистую девушку.— Я без любви ни с кем... И все мне попадались тихие да стыдливые. Как ты. Я не люблю злых. Наверно, из-за мужа... А ты добрый, хотя и... с фантазиями. Эти фантазии сюда тебя и завели.

— Иди, Райка,— глухо сказал Валерий.— А я... и без зелья обойдусь. Уже почти половину одолел.

— Какую половину?

— А так. Иди. Я спать хочу.— И он взялся за дверку.

Услышав, что Валерий не собирается оставить свое пристанище и будет сидеть здесь и дальше, Рая испугалась. Пойти и заявить она не могла, это с ее стороны было бы предательством, и не знала, к кому кинуться, кто может убедить Валерия вернуться в больницу. Только один человек...

И тогда она осмелилась:

— Валерий, я видела Лину...

— Спрашивала про меня?

— Я видела ее вечером, издали.

— Она шла с работы? Или из клуба?

— Она не ходит в клуб.

— Лина не ходит в клуб?

Райка видела, что он переменился, лицо вспыхнуло, засветилось, даже желтизна исчезла. У Раи сжалось сердце, в нем проснулась маленькая ревность и хлынула боль: ведь сейчас она должна разрушить все иллюзии Валерия, сказать правду, почему Лина не ходит в клуб, и все-таки вернуть его в этот грешный мир, вырвать из обманной пелены.

— Лина вышла замуж.

Он встал, и она увидела, как скрючились его пальцы, как его пошатнуло и он отступил назад, в тень. Его удлиненное лицо вытянулось еще больше и разом посере-ло, он пошевелил сухими губами и спросил:

— За кого?

— За Володю.

— Володя хороший парень. Мы с ним вместе работали на целине,— сказал он быстро.

Больше он ни единым словом не выдал своего волнения. А может быть, его пронзила боль или злость. Хотя бы потому, что Лина так быстро вышла за другого, что не искала его, не домогалась встреч, что несколько его холодных слов использовала себе на пользу. Володя ее защитит, за Володей она проживет припеваючи.

— Иди, Рая, иди,— снова поторопил Валерий девушку. Наверно, ему хотелось остаться одному и пережить, переболеть все это.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Только неделю пробыл Василь Федорович в Житомире на семинаре, а за это время в селе много чего изменилось, изменилось чуть-чуть, а он будто наново все узнавал: удивлялся, радовался, тревожился. Посе-дели ячмени, поблекли льны у леса, а кукуруза как под-нялась на два вершка от земли, так и стоит. Одного дождя слишком мало для нее, но ведь они и рассчиты-вали на засушливое лето, закладывали соответственные удобрения. И картошка не радует глаза... Неважно во всех колхозах, но он надеялся побороть тетку-засуху...

А вообще-то в гостях хорошо, а дома лучше! Какой-то особый уют охватил душу, и хотелось как можно скорей окунуться в будничную работу, он уже переби-рал в памяти, что оставил неоконченным, что надо пере-проверить, сделать раньше всего. И хоть он спешил, приятно было пройтись по селу, пройтись без всякого дела, впитывая его гомон, говорить «добрый день» лю-дям, знать, что кому-то он нужен и что они нужны ему. Мальчишки гоняли по улице в футбол, не заметили его, налетели, рассыпались во все стороны: «Председатель, председатель», но через минуту уже катились клубком дальше. Тяжелый кожаный мяч ударился о забор, от-скочил, и Василь Федорович засадил его высоко вверх. Ударил удачно, мяч даже загудел, вызвав восторг маль-

чишек, перелетел через вишенник и упал за ним. Грек подумал, что вот такой — да где там такой! — обыкновенный мяч для лапты был когда-то его заветной мечтой. В то время бы ему такой мяч — покори́л бы всю улицу. Они играли тряпичными мячами из коровьей шерсти — опуками.

А мальчишки уже куда-то унеслись, и пока он рассматривал покосившуюся опору («Куда эти электрики смотрят»), услышал за забором ровный скрипучий голос: «Тихий был. А чтоб вот такое — сроду не водилось за ним».

Кто-то назвал его имя и ставил кому-то в пример. Василь Федорович прислушался: дед Шевелий отчитывал мальчишек, которые полезли за мячом и тряхнули яблоню. «Тихий? Это про меня? — удивился Василь Федорович. — Или память отшибло Шевелию, или он издевается? Нет, наверно, людям всегда нужен образец».

Василь Федорович зашел во двор. Шевелий смешался и поторопился вытолкать мальчишек за калитку.

— Яблоню обтрусили. В момент, — пожаловался он. — Будто своих нету или я не дал бы, если бы попросили.

— Просить — другое дело, — усмехнулся Грек. — На то они, яблони, и растут по чужим садам, чтобы их трясли.

— Может быть, — на удивление быстро согласился старик. — Вот поворчал на шкетов и отвел душу. А то ведь больше не на кого. Свои не едут. — И сразу стал не сварливым, не таинственным Шевелием-чернокнижником, а беспомощным дедом с седой, даже зеленоватой бородкой и выцветшими глазами. — Не едут — и все тут, а у меня и люлька из рук валится. Наверно, зря я их пугал: «Учитесь, чтобы не довелось у Грека свиной пасти».

Уехали дедовы сыновья и дочки в город, повыходили там замуж, поженились, и напрасно в субботу с утра до вечера сидит старик на крыльце, высматривает их с внуками...

— Ревматизм не ломает? — увел его Грек от больной темы.

— Отпустил, проклятый. — И сразу в выгоревших до пепельной серости глазах вспыхнули искры. — А у меня, Федорыч, к тебе дело. И не то чтобы дело, а может тебя



это заинтересовать. Я к тебе приходил, да не застал. Федоровна говорила? Так ты погоди, я зараз.

Дед поспешно повернулся и исчез в хате. Потом вышел, держа что-то в руке, но не показывая.

— Задумал Микита поставить сарай, сначала хотел за колодезем, но там груша-бергамота, пожалел ее и решил сколупнуть рубленый амбарчик и на том месте

соорудить сарай. Он тот амбарчик уже разов пять поднимал, нижние венцы менял. Они на земле подгнивают, а весь амбарчик еще и сейчас будто колокол. Одно слово — ясень.

С самого начала Шевелиевого рассказа Василь Федорович почему-то заволновался, потому что явно взволнован был сам Шевелий, а амбарчик, о котором тот рассказывал, — это же их, Греково, наследство, от отца, а может, и от деда: Микита — дальний родич Василя Федоровича — построился на его подворье, потому что Василь Федорович, когда начали переоборудовать село, поставил хату на новом месте, положив начало новой улице в сторону поля и показав пример другим. Старую хату он разобрал на дрова, а амбарчик остался, амбарчик под зерно, рубленый, когда еще хозяйство вали единолично, а потом в нем держали то корову, то свиней.

— Микита сперва хотел сложить сарай сам, а потом побоялся: сила есть, а умения не хватает, позвал меня. Я топором уже не возьму, а словом подсказать могу. Так вот, сколупнул он верх, развалил коробочку, на сволоке лежит вот это.

Шевелий разжал ладонь, и в ней блеснула серебряная рыбка часов.

— «Звезда», довоенные. До сволока можно было рукой достать с земли.

Что-то встрепенулось в душе Василя Федоровича, тонкая, особо чувствительная жилочка, и кровь ударила в лицо. Это были те самые часы. Тридцать пять лет назад их снял с руки отец, тридцать пять лет назад их в последний раз завели отцовские пальцы, а когда отца уже не было, они еще сутки тикали на перекладине амбара.

Грек с благоговением взял часы. Положил на ладонь, и она дрогнула, словно невероятная тяжесть пригнула ее к земле. Поверхность часов была блестящей, ясной, только в одном месте проступило желтое пятно ржавчины.

Василь Федорович легонько провел рукавом по стеклу, словно стирал пыль, хотя ее не было, и, слыша, как бьется сердце, покрутил колесико завода. Приложил часы к уху, и в него сразу ударило нежное серебряное тиканье. Ударило, закачало, и сквозь память пролетели красные искры, промчались сквозь нее какие-то лица,

голоса, а потом выплыли грустные материнские глаза. Ведь с того страшного дня он никогда не видел их веселыми.

И Василь Федорович подумал, что держит в руках доказательство отцовской невинности. Часы отец положил, когда умывался у амбара, тогда-то и явилась полиция и забрали его. Именно так рассказывала Лидина мать. Если бы было иначе, если бы он сам пошел в полицию, он никогда не оставил бы там часов. В те времена это была слишком дорогая вещь, чтобы ее оставлять на сволоке.

— Отцовы? — тихо спросил Шевелий.

— Материны. А носил батька.

Греку захотелось рассказать Шевелию обо всем: о прежних догадках, о рассказе Лидиной матери, но он почему-то удержался. А Шевелий рассуждал вслух:

— С чего там оказались часы? Значит, поклали туда и забыл? Такую вещь не забывают. И не смог забрать! Не до того было! Что-то с ним стряслось... пришлось, видать, оставить.

Василь Федорович не стал развивать дедову версию, от души поблагодарил и пошел. Шагалося ему легко и тяжело, он часто ощупывал в кармане часы, дотрагивался до теплого металла, чувствовал волнение и даже легонькую дрожь и думал, рассказывать ли про часы кому-нибудь. Наверно, расскажет Лиде и подтвердит свою догадку, которая уже почти и не догадка, а она напишет матери; расскажет об этом Фросине Федоровне, Лине. А потом... Потом будет видно.

Но случилось так, что через несколько минут Грек забыл обо всем. И о Шевелии, и о часах, и о своих намерениях.

Только он вошел в кабинет, как за ним, сторожко озираясь, проскользнул Любка. Экспедитор прислушался к отдаленным шагам в коридоре, сел на краешек стула напротив Василя Федоровича. Степан Карпович заискивал перед Греком, хотел перед ним оправдаться, отвести от себя подозрение — все вместе. Но, очевидно, не слишком хотел, чтобы его тут видели. Ему не терпелось первым «выдать» Греку всю информацию, но так, чтобы об этом никто не догадался. Сейчас он всю душу свою отдавал Греку, а может, и не Греку, а его должности, которую тот осуществлял, потому что и Куриленко

Любка уже отдал частицу души. И все-таки Грек — это Грек, председатель и человек, которого Степан Карпович боялся. Уважал и боялся и только потому доверял самые тайные свои мысли. Дело в том, что, отираясь повсюду, Степан Карпович, как ему казалось, набрался досыта наук, культуры и умения руководить. Простым смертным, а в первую голову жителям Сулака, с ним было трудно общаться запросто. Обо всем у Степана Карповича было свое мнение, он его высказывал не прямо, а экивоками и несколько свысока. Любка сознательно утаивал свою точку зрения, и хотя и понимал, что так не годится, просто не мог скрыть высокомерия («Скажи-ка, а ты «Медного всадника» видел?»), а собеседники на это обижались и презирали Любку: Дупель, мол, никогда не станет единицей. Но Любка был о себе иного понятия, считая, что давно готов для более значительных должностей, только никто этого не может оценить. Может быть, когда-нибудь оценит Грек?!

Степан Карпович всю жизнь числился на руководящей работе и был твердо убежден, что только гримасы судьбы и чужое недоброжелательство не дали подняться его карьере круто вверх. Диво дивное: все знали, что он не годится в руководители, но как бы свыклись с тем, что Любка может ходить только при черном, на две застёжки, портфеле. В нем Любка носил мыло, бритву да некоторые мелочи, без которых не обходится ни один командировочный... ну и, конечно, бумаги. Все давно смирились с тем, что ничего другого Степан Карпович делать не будет. Любка и вправду ничего не делал. Если, бывало, оставался без должности, то сидел и ждал. Упрямо, до полного безденежья сидел, но вилы в руки не брал. И начальство всегда капитулировало, подыскивало ему новую должностишку. На что уж непоколебимый мужик Василь Федорович Грек, но и он не устоял перед фанатичным смирением Любки и назначил его в экспедиторы. За свои пятьдесят три года Степан Карпович перебивал на бесчисленных колхозных должностях: завхозом, заведующим мельницей, счетоводом всех рангов и служб, уполномоченным, а раньше — заведующим сепараторным пунктом, старшим объездчиком — всего не упомянуть.

Его остренькое птичье личико вечно имело вид таинственно-деловой и озабоченный, это выражение не оставляло его и во сне, и, наверно, с ним Степан Карпо-

вич отправится в последнюю командировку, из которой уже не возвращаются.

Его постоянной заботой было произвести на других впечатление, заморочить, сбить с толку. Говорил он — как горох из рукава сыпал и, между прочим, мог загнать себя до полусмерти, выполняя указания, умел быть пунктуальным и точным, но эта пунктуальность и точность оборачивались мелочностью, настырностью. Правда, подворачивались должности, на которые и идти никто не хотел. Вот хотя бы экспедитор... Подремлика по чужим приемным, побегай-ка за подписями да визами, поспи в гостиничных коридорах на раскладушках — не захочешь и черного портфеля о двух замочках, и полномочных поручений на свое имя, и личного телефона в доме.

Любка же за эти регалии был готов терпеть все. Трясся на прицепе с яблоками до Ленинграда, околачивался по глухим станциям Белоруссии, разыскивая присыпанные мусором груды минеральных удобрений, потел под жарким таврийским солнцем, приобретая сходство с древнеегипетскими мумиями, но выпускать из рук портфеля не собирался. Наверно, чуял, что это последнее местечко. Другого уже не будет. И все должности перебрал, и сам он уже не тот, и... Грек не даст. Не даст, хотя ни разу не выругал, не сделал замечания, и вообще между ними сложились странные отношения. Сверх меры серьезные, сверх всякой меры деловые, и только один человек знал, что за всем этим стояла игра. Этим человеком был сам председатель. Задания экспедитору он давал только строго сформулированные, обговоренные и с таким видом, что, мол, только Любке и можно доверить это дело и что только тот способен его выполнить. И тот выполнял точно и неукоснительно.

Любка все эти дни волновался и трепетал. Что, если он лишится должности? А вдруг верх возьмут Куриленко и Куница? Надо... сыграть на двух дудках...

И когда Куница стал расспрашивать его про Грека, Любка рассказал о накладных так, как ему советовал Куриленко, а потом, несколько смущаясь, присовокупил, что Грек «правит, как ему заблагорассудится», да еще прижимает его, Любку. В тот момент он говорил искренне, ведь он защищался, и так же искренне, несколько сгущая краски, поведал он теперь Греку про комиссию и подсказал ему, как следует обороняться.

— Они не могут ничего доказать. Перерасходы на мемориал можно оправдать патриотизмом. Такая великая война, такая славная победа! Незабываемая... К обелиску будут ходить пионеры. Вы напишите в область и в центр. Им, может, еще и попадет за это. А тогда и плиту с именем вашего отца...

— Кто «они»? При чем тут мой отец? — остановил Любку Василь Федорович.

— Они — комиссия. Они уже уехали. А заседали вчера. Созывали правление...

Василь Федорович был ошеломлен, но быстро овладел собой и сказал:

— Давайте по порядку. Только без этих вот... ваших приписок и подсказок. Если, конечно, можете. Или я позову кого-нибудь из правления.

— Позовете потом. Я вам всю правду...

И, захлебываясь, Любка изложил, что комиссия вчера созывала правление колхоза, и там было объявлено, что, хотя колхоз в последние годы и перевыполняет план государственных закупок и кое-какие цифры свидетельствуют о его крепком положении, обнаружены факты серьезной бесхозяйственности, что только снаружи все выглядит гладко, а внутри прогнило и это скоро выяснится, но будет поздно. И все из-за Грекова характера, пренебрежения инструкциями, самоуправства, пустого экспериментаторства. Его агрономическая система привела к истощению почвы, кормовая база оказалась под угрозой, и осенью их ждет крах. Кроме того, председатель разбазаривает колхозные средства, обнаружены перерасходы по мемориалу, а также... (тут Любка покраснел и совсем сник) нарушения финансовой дисциплины.

— Некоторые члены правления не согласились, некоторые молчали, иных не было, одним словом, наговорено сто верст до небес и все лесом, и пошло по колхозу множество сплетен, и все говорят, что это неправда, но есть и такие, что радуются и злословят. Голуб и всякие разные.

Любка боялся смотреть Греку в глаза, и Василию Федоровичу стало стыдно, что слушает он этого никчемного мужичишку, что именно от него получает такую важную информацию. Его поразило, даже обидело, что правление созвали без него. Куница ведь предупреждал, что они будут работать долго и ознакомят его с резуль-

татами проверки. Наверно, он сделал это нарочно, боялся, что Грек разобьет его в пух и прах, а Кунице надо представить факты одобренными на правлении, а потом уже «гнуть свою линию» дальше. Явно он хочет бросить тень на Грека, к чему-то готовится, а с ним и Куриленко, и небось еще кое-кто, но выпытывать этого у Любки Василь Федорович не хотел. Словно угадывая его мысли, Степан Карпович промямлил:

— Они чего-то хотели и вроде бы ничего не хотели, боялись перегнуть, только имя вашего отца на памятнике писать не будут.

— А кто это может запретить? — не удержался Василь Федорович.

— Об этом спорили больше всего. Такой инстанции, которая могла бы запретить, нету, но, мол, поскольку памятник сооружает колхоз, то за правлением и последнее слово.

Василь Федорович невольно сунул руку в карман, где лежали часы. Это был пока единственный его бесспорный аргумент. Но сейчас, неизвестно почему, этот аргумент показался слишком ничтожным, важным только для него, он подтверждал ход только его мыслей, его логику, а для других не имел цены. Вот так, подумал он с горечью, что-то нашел и сразу же потерял. Но нашел по крайности для себя самого, а это уже много.

— Хорошо, Степан Карпович, разберемся.

Любка поерзал на стуле и, не дождавшись вопросов, тихонько — как умел ускользать только он — испарился из кабинета.

Василь Федорович долго сидел в бездействии, обдумывал ситуацию. Он не все понимал, но очевидно было: Куница должен был либо стать на его сторону, поддерживать его начинания, либо воевать против них. А поддерживать — это идти против собственного сердца.

Значит, он должен был доказать несостоятельность Грековых методов. И выбрал момент, когда они действительно перерасходовали деньги, когда суховеи выпили влагу с полей, когда строительство комплекса притормозилось (а Грек горячо выступал за перестройку, но и здесь в лучшем случае оказался демагогом), то есть все складывалось против Василя Федоровича.

Захотелось позвонить Ратушному, но он отогнал эту мысль. Звонить — значит жаловаться, так или иначе признать себя виновным или хотя бы обеспокоенным.

«Как вела себя на правлении Лида? — внезапно подумалось ему. — Что сказала она? Ведь все это касалось и ее. И что означает это Любкино: «Они чего-то хотели и вроде бы ничего не хотели»? Сам до такого додумался, Любка или кто подсказал? Понятно, чего хотели, — очернить, а требовать от правления каких-либо санкций не имели права».

«Говорила тебе — не высывайся, не беги впереди других, — ни к селу ни к городу передразнил он Фросину Федоровну и усмехнулся. — Тебе больше всех надо, что ли?» «Но и тебе надо больше всех, — почему-то именно с женой заспорил он. — И ты пропадаешь в своей поликлинике с утра до вечера. И ты со своими больными не видишь света белого. И может, Фрося, это не так уж и плохо? Не так уж и плохо, если думаешь не только про свой огород да хату, если живешь по совести и она тебе самый высокий советчик и судья. Если же что-то не так... что ж, тогда нечего скулить. А отступать я не собираюсь, такое мое убеждение, такая позиция».

Он не всегда советовался с женой, не все ей рассказывал, но теперь ему захотелось поговорить с нею. И не спросить совета, а ей посоветовать не слушать пересудов. Ведь и к ней идет много народу, а в селе тайны недолго хранятся. Да и не видел он ее еще — неделя в Житомире, а теперь с утра закрутился, только перемолвился по телефону: он позвонил ей на работу, и, сообщая новости, Фросина Федоровна пожаловалась, что Лина почти не заходит, совсем стала чужая, а главную новость не сказала, хотя небось уже знала все.

Прием в поликлинике уже закончился, но в маленьком кабинете, где хозяйничала Фросина Федоровна, сидела пациентка, присутствие которой удивило Грека. Это была Лида. Женщины беседовали, судя по всему, давно. Лида пришла, чтобы познакомиться поближе с Фросиной Федоровной. Ее привело глубоко спрятанное от самой себя любопытство, желание опасно поиграть, и просто хотелось посмотреть на женщину, из-за которой Грек не откликнулся на ее зов много лет назад.

Фросина Федоровна знала, кто к ней пришел. До ее ушей дошло уже немало сплетен и пересудов, одна добрая кумушка даже советовала написать в райком («Может, он и полетит, зато будет только твой»), но Фросина Федоровна показала ей на дверь. И не то чтоб

она не верила, что мужа может захлестнуть любовь, просто знала: в конце концов он признается во всем. Лида — его давняя любовь, он рассказывал о ней, даже знакомил их когда-то, но чтобы он влюбился в нее еще раз — так не бывает. Сначала они настороженно изучали друг друга, Фросина Федоровна даже пожалела Лиду, и они на время забыли соперничество и стали просто матерями. Только иногда по Лидиному лицу проплывала тень, но сразу же и пропадала. Наверно, она думала, что Фрося нашла в замужестве свое счастье. Все давно отшумело, отболело, но она как бы расследовала забытое уголовное дело, расследовала и не верила в возможность счастливого супружества, искала утешения в чужих поражениях и неудачах. Наконец Фросина Федоровна поняла это, и холодок недоверия развел их в разные стороны. Одна была хозяйка, уверенная в своей семье, в своем муже, другая — одиночка, полная желчи и зависти.

— И как вы тут весь век живете? — заговорила она. — Тоска за горло берет. — У Лиды и вправду росло раздражение и нехорошая муть поднималась со дна души. Хотела от этого освободиться, и не удавалось. Вызывали неприязнь все: каждый занят своим, каждый в своей клеточке, а она потеряла клеточку, потеряла себя. Смотрела в окно, по небу мчались сухие, бесплодные тучи, и на душе становилось горько. — Я думала, что хоть здесь живут иначе. В городе грохот, беготня, суета, а по сути каждый сам по себе. А я все вспоминала, как на лужок вечером выходила вся наша улица. Старики говорили о жизни, ребятишки играли. Наверно, меня обманули воспоминания. Жизнь бежит, а я ее не чувствую, не вижу. Я не так жила и снова живу не так. И все мы живем не так.

— Нам некогда про такое думать.

— Огород, поле, магазин, плита? Мне кажется, я свое прожила трижды. Пробегала. А для чего? Говорят, для опыта. Опыт... Он горький, как перец. — И, помолчав мгновение, говорила дальше: — Мне все там, в городе, мерещилось этакое, из детства. Выйдешь на рассвете, услышишь жаворонка, хлынет что-то в душу, а что — и сама не знаешь, и уж глаза на мокром месте. Куда все подевалось? Почему я не слышу больше жаворонка?

В этот момент она была правдива, и хотя Фросина Федоровна не совсем понимала ее, посочувствовала:

— В детстве все лучше.

Тут-то и явился Василь Федорович, сел в сторонке, не вмешиваясь в разговор.

— Мы счастливые, что о таком не думаем. И... есть чем дорожить в жизни.

Василю Федоровичу понравился ответ жены, он посмотрел на Лиду, улыбнулся. Она поняла эту улыбку, обозлилась.

— Может, и счастливы вы своей... своим незнанием. Сейчас об этом много пишут и думают, что лучше: знать или не знать. О будущем людей...

Фросина Федоровна удивленно поглядывала на Лиду, Василь Федорович хмурился. В глубине души он знал, что Лида бьется о барьер, к которому недавно подступал и он, бьется, хочет пробиться, и... плохо, если пробьется. Лучше оставаться по эту сторону всеведенья, даже не зная, что оно существует.

— Пускай пишут, пускай думают... Кому хочется,— сказал он.— Фросина, ты уже закончила? Пойдем-ка домой.

— Ой,— вскочила Фросина Федоровна.— Еще ничего и не начинала. Заболталась я. Ты уж как-нибудь сам. Обед в духовке.

Лида порылась в сумочке, вынула автоматическую ручку и подала Греку:

— Ты забыл у меня.

Василь Федорович ошарашенно посмотрел на нее, пожал плечами. Он действительно две недели назад забыл ручку в бывшей конторе «Зари». Лида могла отдать ее потом, на улице, но сделала это сейчас. Этот смешной поступок, даже мелкий, вызвал общее смущение. И был не в пользу Лиды. Фросина разгадала прием, слишком он был примитивен, угадала месть и прониклась доверием к мужу. Хотя почему-то не захотела посмотреть ему в глаза, обнаружить это доверие.

Грек и Лида вышли вместе, думая друг о друге. Он сердился на нее, но не мог не отметить, что она внесла оживление в его жизнь. Женщина отнюдь не заурядная, из тех, которые могли бы стать парусом в жизни любого мужчины. Она здесь надолго не задержится, уедет, но из его мыслей уйдет не скоро, он теперь знает, что есть такие женщины, такой мир, растревоженный и больной.

В свою очередь Лиду обжег стыд за авторучку, но прощения она не попросила. Чувствовала усталость, раздражение, заворачивался еще один виток спирали, на котором она могла бы освободиться, но не освободилась, потому что человек не может прожить жизнь не так, как загадала собственная душа.

— Я так и не знаю,— протянул Грек ниточку к последнему разговору с Любкой,— поняла ты или не поняла нашу агрономическую систему? То есть приняла ли?

— Я плохо выполняю свои обязанности?

— Здесь нельзя обойтись только исполнением обязанностей.

— Хочешь сделать своей сообщницей?

— Хотел бы.

— Чтобы ответственность пополам?

— Не в том дело. Обязанности... они прежде всего перед собой.

— А не перед людьми? — спросила она полуиронически.

— Перед собой, потому что кругом обязан людям.

— Я этого не понимаю. И вообще... У меня что-то пропало. Я думала: найду здесь себя... Возрожусь. Возрожусь для себя. И жить буду для себя. Оказывается, я и этого не умею. Не люблю никого и себя не люблю... Тебе, наверно, смешно. Но ты не смейся.

Ему было неприятно ее раскаяние. Какое-то нарочитое. Чтобы покончить с этим — да и к конторе уже подходили,— спросил:

— Что ты говорила на правлении?

Она помолчала.

— Меня ни о чем не спрашивали,— ответила наконец.— А тебя это так волнует?

Носком своего большого сапога он ломал у тропинки сухой бурьян.

— Это, можно сказать, дело моей жизни. Моя позиция.

— Твоя. А при чем здесь я?

Василь Федорович пристально поглядел Лиде в глаза:

— Я чувствую твою озлобленность против меня. И не только за агрономию,

— А за что еще?

— Не знаю. За все. За свое прошлое.

— Что ж, ты почти угадал,— блеснула она глаза-

ми.— За то, что ты такой вот чистенький, что у тебя все удалось, а у меня нет. За то, что ты меня... не защитил, не согрел душой.

— Согреть душой — это опасно для нас обоих.

— А я и сама бы тебя не захотела.— В возбуждении она стала очень красивой, по-молодому у нее надломилась брови.— Я была юной и мечтала о чем-то высоком. Много читала, еще тогда, девочкой... Любила стихи. Ты меня не понял. И я тоже не понимала себя. Но верила, что жизнь принесет что-то прекрасное. И даже когда вышла замуж фактически за нелюбимого, все равно верила... что мы с ним построим жизнь. Он будет большим ученым, и я с ним...

Грек удивился. Ему что-то открылось... Но поздно, слишком поздно. Да он ни о чем и не пожалел.

— За что же ты так расплачиваешься?

— Я не жила своей жизнью. И разучилась жить. Поняла это только теперь.

— Успокойся,— сказал он ей и одновременно себе.

— Не хочу успокаиваться. Может, это у меня последнее в жизни. Отомстить всем. Хотела детьми отомстить своему транзитному мужу, а они польстились на его деньги.

— Так ты и на меня?

— На всех, кто под руку попадается. Я в институт писала. Его сняли с завкафедрой.

— Хорошая же у тебя житейская линия.

— Какая есть.

— Жизнь выбила у тебя из-под ног почву, и ты...

— А почвы никогда и не было.

Ее все время сердила его неуязвимость, которая держалась на физической силе и на правильности всего, что он делал, для чего он жил. Даже в свой эксперимент он верил вполне и неколебимо, а поэтому она и не могла не восстать против него.

Он это чувствовал. И не впервые ли в жизни чувствовал и свое бессилие. Он хотел бы защитить эту женщину, сделать для нее доброе дело, даже был словно обязан ей чем-то, но... Защитить — какой ценой? Разрушая покой других? Наверно, бывает и так, но только когда пылко любят.

— Ты все меня поучаешь, даже в агрономии. Я сказала про твою систему все, что думаю.

— Она не моя. Но что же ты про нее думаешь?

— Осень покажет. Перенасыщенные удобрениями почвы высушат растения. Это видно и сегодня.

— Ничего не видно. Идет накапливание сил перед скачком.

Она смотрела на него, крутолобого, упрямого мужчину, и еле сдерживала слезы. Как хорошо быть с ним заодно, делать что-то важное, а вместо того ей приходится ломать, разрушать, и она уже ломала, рушила, и доламывала, и добивала что-то в своей душе. После того как она освободилась от семьи (или семья от нее?), пробудилось что-то бешеное, враждебное, наверно, это в ней жило всегда, но было спрятано, растворялось в семейных делах, обязанностях.

Она устала от своей любви и от своей ненависти, хотела, чтобы Греку было плохо не потому, что тайно надеялась: вот он, поверженный, уничтоженный, придет выплакаться — перед кем еще он, такой гордый и независимый, может выплакаться, кто его поймет, не эта же Фросина, — и тогда вместе с советом она отдаст ему и свою любовь; она на это не надеялась, да уже и не хотела этого, а хотела только его унижения. Она второй раз терпела поражение с этим мужчиной и этого простить ему не могла. Теперь она будет мстить, сколько сил хватит. Человек может мстить даже за то, что его любви не заметили, но отвергнутая любовь требует двойной кары.

— У тебя не так уж много единомышленников. Я поняла это на правлении. Ты всех запугал. Но меня не удастся.

— Ты, Лидия Петровна, говоришь смешные вещи.

— Не знаю, долго ли тебе будет смешно.

Она прошла несколько шагов и остановилась. В ее лице проступило что-то виноватое.

— Я ошиблась. А увлечься всем этим, как ты, не могу, — сказала невпопад.

Повернулась и пошла. Такая же прямая, порывистая, уверенная и неуверенная в себе.

Грек поглядел ей вслед, подумал про Лину. Может, потому что и у дочки все пошло неладно, как и у этой женщины. И еще подумал, что ему надо обо всем расспросить Куриленко, как лицо официальное, ведь Андрей Северинович замещал его.

В Широкой Печи Грек узнал, что Куриленко пошел обедать. Василь Федорович вспомнил, что тоже не ел, и отправился в чайную.

Куриленко харчился в маленькой комнатке рядом с кухней, такие комнатки есть почти в каждой районной чайной, столы там застелены чистыми скатертями, и лежат не алюминиевые, погнутые, а стальные ложки и вилки, и стоят не надтреснутые пепельницы, и даже имеются ширпотребовские художественные изделия на серванте. В таких комнатках пируют гости и местное начальство.

Куриленко, сразу было видно, удивился появлению Грека. Он только еще начинал обедать, резал красный перец и растирал в тарелке. Запах борща щекотал Василию Федоровичу ноздри, и он тоже заказал себе борщ, салат и гуляш. Куриленко обедал всухую, но когда Грек делал заказ, посмотрел на него вопросительно:

— Может, по сто? До беседы?

Он ее уже чуял. Грек отрицательно мотнул головой.

— Я за рулем. И тебе не советую, раз перед беседой.

Он и вправду не хотел, чтобы Куриленко выпил хотя бы сто граммов. Пил тот мало, но, выпив, резко менялся. Становился подозрительным до крайности, ему казалось, что все хотят выведать у него заветное, хотят «продать», «расколоть», молчал и зловеще усмехался: «Ну-ну, давай-давай. Я тебя вижу насквозь». Вслух он только приговаривал «ну-ну». Так беседы могло и не получиться.

Говорили о делах, о которых по десять раз на дню советовались по телефону, про магазин, что начали строить в Широкой Печи, про новые доильные аппараты и что, мол, нужно с большим разбором платить сверх нормы — и это их невидимо сближало, отодвигало острые проблемы. Василь Федорович хлебал огненно-жгучий борщ, поглядывал на Куриленко. Непонятный он человек... Говорят, зимой купается в проруби. Но окунаются в ледяную воду не только люди сильные, но и слабые, которые хотят убедить себя и остальных в своей силе. Андрей Северинович часто говорит наперекор даже начальству — из-за этого его считают принципиальным и многие уважают. Характера он вздорного, не любит, когда с ним не соглашаются, не одобряют привычек, которых он набрался на руководящей работе. Василь Федорович подумал об этом и улыбнулся. Ему

только дважды пришлось общаться с Куриленко в нерабочей обстановке, там его нынешний заместитель сидел молча, а если играли в домино или карты, требовал, чтобы каждый играл только за себя. Так или иначе, но судьба послала ему, Греку, крепкий орешек.

И все-таки к концу обеда Куриленко не выдержал и заказал себе сто граммов. Серdito уставившись в стол, выпил, заглотал компотом и закурил. Видно, он и вправду готовился к серьезному разговору, очень серьезному и беспощадному, собирался не оправдываться (ведь только он мог созвать правление), а нападать.

— Нам бы выпить, хорошенько выпить,— вдруг поднял он голову.— Какой это разговор без чарки?

— Обойдемся,— выложил кулаки на стол Грек.

— Обойдемся так обойдемся.— Куриленко прислушался — снаружи что-то забрякало — и поднялся.— Жара, пойдем-ка к водичке.

Он как бы диктовал свои условия. Грек не возражал.

Десна была рядом, шагов сто. Они прошли немного вниз по течению, сели на черный мореный дуб, который весной речники подняли со дна. Они сидели на холме, который уже выгорел, пожелтел, но в долине травы еще зеленели, там паслось общественное стадо. Только что по Десне прошла баржа, поперек речки, почти неподвижно стояли острые крутые волны, они мчались за баржей в одну сторону, течение сносило их в другую.

— Люди обязательно повторяют ошибки своих предшественников — иначе они не были бы людьми,— сказал Куриленко, как бы подтверждая некий тезис.

— Кто это люди: ты, я? — спросил Грек, удивляясь такому началу.

— Оба.

— Чьи же ошибки повторяю я?

Куриленко усмехнулся, в его глазах мелькнули косые тени:

— Ты не ошибаешься?

— Почему же. Вот когда-то действительно думал, что все делаю правильно.

— В конце концов это не всегда решает. Не всегда имеет окончательное значение.

— Не понимаю.

— Ну, бывает, и хозяин добрый, и планы выполняет, и все равно не в жилу...

— Э-э-э,— протянул Грек,— вон куда ты гнешь.

— Я не про тебя. Это больше касается меня самого. Но важно, чтобы все-таки в жилу.

— Смотря что ты имеешь в виду.

— Ну, чтобы не вразрез с государственными интересами. Чтобы не против совести. То есть — честно.

— А это все одно и то же? Одна жила?

Василь Федорович скосил глаза на Куриленко. Может, тот шутит. Но тот сидел не улыбочивый, его маленькое, сплющенное с боков, как у рыбы, лицо словно окаменело. Он гудел, и бас его казался отобраным у какого-то гиганта и насильно втиснутым в это маленькое тело.

— Один философ изрек: если хотите, чтобы люди были честными, сделайте честность самой выгодной профессией.

— Не читал я, видать, этого философа, и чересчур закрутисто это для меня,— ответил Василь Федорович.

А сам подумал, что все это неспроста. В откровениях Куриленко было что-то циничное, ему это было не внове — два этажа в одном человеке: один для всех, другой — для себя. Но почему Куриленко затеял такой разговор, ведь мог бы затаиться, подготовиться к отпору, а идет на приступ?

— Слушай меня, Василь Федорович. Слушай внимательно и не перебивай,— ровно прогудел Куриленко, но побледнел и выказал признаки волнения.— Хозяин ты хороший. Знаешь поле, скотину, одним словом, передовой хозяин. Мне до тебя далеко. Зато я лучше разбираюсь в ситуации. Она сейчас не в мою и не в твою пользу. Я, может, вообще неудачник. Нечем мне теперь хвалиться, но смолоду я надеялся хватануть звезду с неба. Жили мы бедно, восьмеро детей... А до семнадцати спал на голых досках, и под голову была такая треугольная подставочка. Книжки любил. Хотел вырваться далеко. Горел на работе. Дважды слетел. Последний раз недавно, ты знаешь. Оказался в твоих помощниках.

Он говорил не так, как год назад, когда был одним из руководителей в районе, да и не так, как заместитель,— с нажимом, жестко, но пытаюсь вызвать у Грека доверие.

— Мне за сорок. Одним словом, перспектив по тем, прежним, линиям никаких. Хочу, чтобы ты мне поверил:

твое положение незавидное. Ты вывел колхоз в передовые, и теперь наверху боятся, чтобы ты его не угробил. Ты не хочешь останавливаться, лезешь на рожон...

— Жизнь толкает. Она требует. Время такое настало! — с сердцем промолвил Василь Федорович.

— Может быть. Я не об этом. Я ведь уже цитировал тебе того философа. Твоя горячность пугает всех.

— Брехня. Ратушный...

— Вот я именно про это. Я лучше ориентируюсь в ситуации. И еще раз скажу: твое положение незавидное. Ты не сумел, не умеешь пользоваться плодами своих рук. А я... сумел бы.

Василь Федорович даже не успел возмутиться, потому что Куриленко жал дальше, видно продумав все наперед.

— Чего Куница тебя ест? Завидует, а еще больше боится — не справишься ты с тем, что раскочегарил. Свалишься, а с тобой и он. А он и так еле держится. Спихнуть его — раз плюнуть. Я знаю про него такое... Одно его дельце... Полетит моментом. Тебя Ратушный уважает. Стоит только ему намекнуть, и сядешь ты на место Куницы. А я на колхоз. Меня выше не поставят. Да я и не хочу. — Он перевел дыхание и закончил: — Я нарочно оставил на правлении вопрос открытым. У меня нет другого выхода. И у тебя тоже. Настанет осень... Маленький провал — и ты не выкарабкаешься. Да и Ратушный может уйти на предпенсионную работу. Надо делать все сейчас.

Василь Федорович не мог прийти в себя от того, что услышал. Такие страсти в этом маленьком человечке, такая наглость, как он мог на такое решиться. Грек считал его более простым, простодушным, что ли. Наверно, Куриленко был много умней, наверно, в его словах есть резон, но Грек ни на минуту не задумался, сколько этого резона, не пытался прикинуть варианты. Его ошеломил цинизм Андрея Севериновича. Такое доверие было страшным.

— Не с того конца ты, Андрей Северинович, зашел. Хочешь выехать на «Дружбе», на чужих мозолях.

— Думай, как знаешь. Это самый лучший вариант. Для нас обоих.

Куриленко сидел усталый, ожидая, что скажет Грек. Его глаза погасли, он постарел за несколько минут.

— Говорю же, не с того боку ты зашел. Честность —

это все-таки не профессия. И совесть тоже. Мудрый твой философ, да не совсем. Ну, как бы, скажи, я передал тебе колхоз, если ты про него вот так вот... Как про ступеньку в карьере. Для многих это и является ступеньками. Из-за этого и возят председателей, как поганных невест. Тебе все равно чем руководить: свиноводством, спиртзаводом или управлением культуры. Только бы выше и выше. И как бы я тебе, вот такому, передал «Дружбу», если это моя жизнь? Если я не хочу выше, потому что не хочу ничего другого? Я или разобьюсь тут в лепешку, или добьюсь, чего задумал. Вот такая моя линия, вот такие мои принципы.

— Что ж,— сказал Куриленко и уронил руки на колени.— Ты пожалеешь, но будет поздно. Я тут немало чего сказал в шутку, но не все. Вопрос и вправду остался открытым. Все-таки подумай. Видишь, я даже не сержусь.

— Я тоже,— Грек поднялся.— И я обещаю тебе стереть тебя в порошок. Но прежде хочу сказать: ты — дурак. Не обижайся, это не личное оскорбление. Я знаю, что ты, если уж начал портить себе жизнь, не остановишься. Наверно, и мне испортишь тоже.

— Не то слово...

— Может, и не то. Так вот, если бы ты был только дурак, я бы еще, может быть, примирился с этим и тянул за двоих. Но ты еще и негодяй. И нам этого поля,— широко развел он руками,— мало. Тебя сметет жизнь. Наша жизнь.

Василь Федорович бросил сигарету и, широко шагая, отправился в село. Он ни разу не оглянулся. На большой, словно обгорелой колоде над Десной осталась маленькая, ссутулившаяся фигурка. Солнце светило ей в спину, уже шло под вечер, и на песке, далеко-далеко, почти до самой воды, протянулась большая хмурая тень.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Домой, в бывший дом, ей идти не хотелось, там вокруг нее ходят, будто она больная, угождают, боятся спросить, как ей живется, только Зинка знай щебечет. Зинка, наверно, стала самым близким ей существом. Лина смотрела на нее, и на глаза наворачивались слезы, словно и Зинку ждет то же, что ее. Наступит вечер,

свекровь будет выпихивать Лину с Володиёй из хаты: «Идите в сельбуд, вы молодые, покажитесь на люди...» Хочется свекрухе, чтобы все было как у людей, теперь так заведено, чтобы молодые ходили в клуб и в гости. А Лине мерещится, что все видят: она вышла замуж не по любви, шепчутся за ее спиной. Володя в клубе не будет знать — то ли стоять возле нее, то ли подойти к хлопцам. Он беспрестанно робеет. И она на него сердится. И не то чтоб он был ей противен. О, в мечтах ей даже хотелось иметь нелюбимого мужа, чтобы издеваться над ним, тешиться этим, мстить. Но за что мстить Володе? Он и так несчастен. Он опять проигрывает ей в «дурака», потому что смотрит не в карты, а на нее, и только она возьмется за какую-нибудь работу, кидается наперехват: «Я сам». А мать провожает его осуждающим взглядом, еще и головой покачает. Он даже рубашки себе стирает и моет у колодца ее резиновые сапожки, когда она возвращается с поля.

Платить бы ему за это ласковостью, лелеять и любить за такую доброту и щедрость, а она прячет душу, как черепаха голову в панцирь, съеживается, замыкается, сохнет сердцем и не может ничего с собой поделать.

Она не думала, что будет так трудно. Ужасно, сложно! Просто и сложно. Все тут ей чужое. Как прожить тут весь свой век? Все уголки чужие, некуда прислониться душой, негде отдохнуть. И чужие руки обнимают ее. Обнимают несмело, виновато... Хотя не провинились ни в чем. Провинилась она. И провинилась страшно. Если бы не было того, другого, может, она и свыклась бы с этими руками. Но тот где-то обнимает другую. Он пренебрег ею, оттолкнул от себя.

На прошлой неделе Володя повез Лину в город. Водил по магазинам, на свои немалые сбережения покупал все, что ей на глаза попадалось. Он унижал ее своей добротой. Она отказывалась, она не хотела ничего, потому что вправду не любила лишних вещей, они пугали ее, угнетали, может, сказывалось раннее сиротство, готовность к суровой жизни, а может, запомнилось Греково высказывание, что не для вещей живем, что есть на свете нечто большее. А что в конце концов осталось у нее теперь?

И все-таки она побежала к Грекам. Лучше уж провозиться вечер с Зинкой, чем тащиться в клуб или сидеть у телевизора с молчаливой, осуждающей ее в душе

Огиенчихой. Пошла не прямо домой, а кружила далеки-ми переулками, тропиночками, чтобы дольше идти, чтобы забыть про все, а если и думать, так о прошлом. Например, о плотине, узенькой гребле через маленький пруд, который давно превратился в болото, зарос рогозом, а по берегам лозой, где весной вьют гнезда соловьи. Они любили ходить с Валерием через эту греблю. Посредине ее мосточек из вербовых горбылей, они прогнили, и автослесарь дядька Кирила, что жил у пруда, положил поверх горбылей листы железа. Раздавался страшный грохот под ногами, и все равно ночью, когда все спит, когда тишина полонит самые шумные перекрестки, так и тянет пробежать по железу и напугать всех кругом, и напугать себя, чтобы потом сразу же окунуться в глухое безмолвие.

Как раз посредине той гребельки, на мосту, она встретила Раю.

Лиана только на миг сбилась с шага и обожгла взглядом молодую разводку, и перехватило у нее дыхание, и она почти бегом кинулась к вербам. Она не слышала, сказала ли ей Райка «здравствуй». Кажется, сказала, а она не ответила, ей было стыдно, так стыдно! А кого стыдно? Чего? Что эта вот маленькая, ласковая женщина отбила у нее парня и теперь небось смеется-насмехается над ней?

— Лиана, Лиана, погоди,— вдруг прорезал ее смятение тоненький голос.

Лиана снова споткнулась, гневно и гордо подняла голову. «Да как она, эта потаскуха, смеет обращаться ко мне!»

— Лиана, хочу тебе что-то сказать...

Ей показалось, что она даже слышит дыхание соперницы.

— Лиана, это все неправда! Я расскажу...

Но Лиана уже не слушала, каблуки ее туфелек стучали грозно и четко...

— Слухай, парень, слазь,— прозвучало снизу.— Я к тебе не полезу.

Валерий прислушался. Первой мыслью было: затаиться и молчать. Но, очевидно, его укрытие было обнаружено.

— Мне надо поговорить с тобой.

Теперь Валерий узнал Грека. «Что ему надо? Чердака жалко?..»

Валерий спускался, и ему казалось, что лестница шатается из стороны в сторону, а перекладины вырываются из рук. Но пытался стоять прямо, держался за лестницу.

— Выследили?— бессмысленно сказал, не здороваясь.

Дело шло к вечеру, деревья стлали под ноги длинные тени, мягкие, прохладные, и все вокруг было мягким, чистым, и сад был полон запахов и летнего изобилия. Красное ожерелье клубники в междурядье и шелк травы,— вот упасть бы в нее, раскинуть руки и смеяться, и плакать, и кричать в небо, как в высокий колодец, о счастье жить на земле, любить.

Подступили слезы. И глухая ненависть к Греку. Почти вдвое старше его, Грек еще будет ходить по этим теням и рвать яблоки в саду, отведаёт их еще много раз, а он, наверно, не дождетсЯ и этого урожая.

— Давно тут сидишь?

Глумливая улыбка искривила губы Валерия. Долго ли он тут сидит? Он знает о Времени больше Грека. Время — творец и разрушитель, оно безмерно. Иногда миг и вечность — почти одно и то же. Да и вообще, что знает этот человек, кроме гречки и кукурузы, тракторов и нетелей? А Валерий за короткое время прожил несколько жизней.

Он обогнал их всех, живущих в Сулаке, и хотя знал, что его мудрость слишком горька, что из нее не проклюнется ни один живой росточек, в отличие от примитивных умствований Грека, который засеет целые поля,— почувствовал полное превосходство перед ним.

— Просидел сто лет.

— Я понимаю тебя...— нахмурился Грек.— Пытаюсь понять. Я говорил с врачами... Зря ты спрятался.

— А что они, врачи, могут?

— Ну, есть лекарства.

— Какие? От чего? Да все силы мира... Чингисхан когда-то требовал себе бессмертия от своих полководцев. Рубил им головы...

— Чем я могу тебя утешить? На мой взгляд, тоже несправедливо, что каждая новая человеческая волна смывает предыдущую. Для чего?

Валерий подумал, что этот крутолобый председатель значительно тоньше, чем ему казалось.

— Давай я отвезу тебя.

Валерий отодвинулся, и Грек почувствовал, что сам он — только здоровый мужик да еще отец Лины, которая отказалась от этого больного парня пускай по наговору, пускай по воле самого парня, благородного и мужественного. Да, мужественного, потому что не воеет, не бьется головой о стену, даже не просит сочувствия, а что враждебен к нему, к Греку, так это справедливо. Ох, как ему хотелось сделать что-то хорошее этому мальчику, но мысли вязли в паутине, которой опутана молодая жизнь.

Словно бы в ответ Валерий сказал:

— Вот сад шумит... А мне — все равно. Мне ни к чему... длить свое существование.

Он сказал это просто, но прозвучало оно для Грека укором, горьким укором, хотя его вины тут не было. Хотя Валерий смотрит на него, как на врага, — да, на врага, ведь это они быстренько выдали Лину за другого.

Василь Федорович сидел с тяжелой душой, а сад под ветром шумел жизнерадостно, и разлогая, в широких листьях ветка подносила недозрелые, но уже розовеющие яблоки к самым их лицам. Наверно, поэтому он не нашел других слов, кроме самых общих, — о необходимости лечиться от любой болезни, об успехах современной медицины. Валерий молчал. Василь Федорович исчерпал весь запас надежных аргументов, махнул рукой и ушел.

И всю дорогу видел перед собой молодой сад и одинокую фигуру и чувствовал, как рвется сердце.

Долго расхаживал по дому, голову ломило. Фросина Федоровна ушла куда-то по вызову. Зинка гоняла по улице, Лина, пришедшая недавно, что-то разыскивала в своей прежней комнате.

— Слушай, дочка, — сказал он, становясь на пороге. — Может, я делаю великую глупость... Но пускай лучше глупость, чем обман. Один раз это уже случилось. И вышло что-то не то... — Грек потер подбородок, а Лина отложила книжку и смотрела на него снизу вверх испуганно. — Я не знаю, как тебе быть... Ничего я не знаю. Но не сказать не могу. Да и ты все равно узнаешь и проклинать будешь нас, а может, и себя всю жизнь. Неправда — все! Валерий... ну, он не с другой, он тебе не захотел связывать руки. Он болен. Неизле-

чимо болен. Спрятался на чердаке и пьет какие-то травы да лечится голодом.

Василь Федорович понурил голову.

— Может и помереть там. Потому что при этой хворобе необходимо усиленное питание... Его из больницы ищут... Я вот был у него, да он меня не послушал.

Наступила такая тишина — в комнате, в ней самой, что Лина слышала, как кровавая змейка обежала ее сердце. И как из темного омута выплыли слова, которые Валерий сказал в последнюю встречу. «Человек одинок. У каждого своя смерть. Никто никому не поможет». Она тогда удивилась, не поняла, приняла это как одно из его высокомерных мудрствований. «У каждого своя смерть!» Никто ему не поможет. Потому что его смерть уже рядом, а ее — кто знает где, она не может этого понять, а если и поймет, если примет его боль как свою, тогда примет и его муку, а он этого не захотел. О боже, какая она глупая, какая жестокая!.. И как он мучается. Мучается из-за нее. И как она его любит! Любит, любит! «Я же его бросила... это хуже, чем измена...»

...Когда Райка пришла в сад, Валерий и Лина сидели в траве обнявшись и что-то быстро говорили друг другу. Оба были заплаканы, хотя уже и не плакали, и словно светились, и было видно, что обрели столько, сколько могут вместить два любящих сердца. Рая постояла и тихо пошла назад.

А они говорили, говорили, казалось, сказали все, но осталось столько несказанного, столько боли, муки, радости, что остановиться не могли. Выплескивали себя до дна, исповедовались в своих настоящих и мнимых грехах, чтобы стать друг перед другом чистыми, чтобы начать все с порога.

— ...Наверно, мужества мне не хватило. Решил зажать себя в кулак. Ну, почти ни на что не надеялся. Погибну. Я привык сам по себе. И стал на этом — доведу все до конца. А потом сделалось страшно. Так страшно без людей... Без тебя. И только теперь понял... Я дурак, дурак!

А она смотрела ему в глаза, пытаюсь взглядом войти в его душу. Чтобы он понял, почувствовал, что они вдвоем, вместе, что они одно неразделимое целое, что все, что ожидает их впереди, на двоих пополам. Чтобы он не думал, не смел думать, до какой это все будет гра-

ницы, не думал про эту границу, ведь это значило бы, что его вскоре не станет, она останется без него, пыталась отбросить это и чувствовала, что он тоже отбрасывает, и радовалась, потому что без этого не обрести им счастья ни на минуту. Хотя совсем отбросить эту мысль было ужасно трудно.

— Нам хватит нашей любви. Она спасет нас...— шептала Лина.

— Не надо обманываться. Не надо так обязывать свою любовь. Мы уже один раз обманулись.

— Как ты... холодно, даже страшно.

— Лучше холодно, чем неправда. Прости, я и сам ничего не знаю.

Почему-то она подумала в этот миг об отце, о сестрах, представила, какое было бы для них горе, если бы такое случилось с ней, и снова покатались слезы.

— Если что — тогда и для меня все кончится. Ты не веришь? Я клянусь тебе.

— Ты что?!

— Я знаю, врачи ошиблись. А если и не ошиблись, тогда ты... тогда мы преодолеем. Я буду с тобой...

— Знаешь что, — трезво попросил он, — давай об этом не говорить. Только в крайнем случае. Ты меня поняла? Иначе нам будет еще трудней.

Это было правильно. И она поняла.

— Иначе мы... Ну, будем делать все новые и новые ошибки. А мы и так уже... То есть, не мы, а я... Обманул тебя... Но ты должна знать... Может, и не простишь. Но с Раей у меня было... Когда я заболел... Не знаю, как это случилось. Я переживал ужасно. Хотел тебе открыться. Может, из-за этого и заперся тут.

— Не надо. Я тебе все прощаю.

— Я хочу, чтобы ты простила сердцем.

— Я и прощаю сердцем. И тебе, и Рае. Пускай про нее говорят что угодно. Она хотела мне все открыть. А я не поняла...

Поздно вечером, взявшись за руки, как маленькие дети, заплаканные и притихшие, они пришли на усадьбу Сисерки. Бабки не было дома, они стояли в палисаднике и улыбались друг другу. Лина боялась, что не понравится бабке, боялась, что та прогонит их. Буйно желтела лапчатка, и пионы клонили полные перезрелые головки, и настурция тянулась по жердочке к солнцу. У Сисерки всего клочок земли, но вместо грядок с лу-

ком или картошкой она сеет маки, и пионы, и ночную фиалку, и стоят они как свидетельство того, что в людях желание красоты не умирает. И Лина подумала, что бабка, которая сеет вместо моркови и лука столько цветов, не может быть злой, она все поймет, простит, благословит.

А потом они сидели в старой хате с чисто вымазанным глиняным полом, и сверчком в подполе, и невидимыми за марлевыми занавесками в цветах иконами, и потемневшими фотографиями на стенах. Они пили молоко, а Сисерка сидела, подперевшись рукой, и смотрела. И думала, что все получается так, что дети и внуки приходят к ней в час самой большой беды, но она не считала их корыстными, нечестными, наоборот, считала это велением судьбы и грустным своим обетом. И постелила им чистое, ни разу не стеленное рядом, и посыпала под голову душистых трав.

Греки узнали обо всем на другой день. Фросина Федоровна испугалась, ей почему-то снова вспомнился Стасик, и она подумала, что никто не имеет права насильствовать жизнь и любовь другого человека, не имеет права вмешиваться, а она вмешалась и сотворила зло. Да еще какое зло, она не только виновата и уже осудила себя, но боялась, что все станет известно и ее осудят все. Сердце ее чуяло, что тут для нее все запрещено, а она не послушалась и вот теперь расплачивается. Она несколько раз подсаживалась к Василию Федоровичу, но тот делал вид, что не замечает ее движения, утыкался в книжку. Это был исторический роман, написанный в конце прошлого века. Грек читал и современных писателей, но мало им верил, потому что все герои казались ему непохожими на тех, каких он знал, другое дело — старые писатели: тех людей, которых они описали, он тоже не знал, но верил, что они были именно такие. Но сегодня он только делал вид, что углубился в события трехсотлетней давности, на самом же деле он думал о жизни своей и Фросиной, Лениной и своих дочерей. Он уже догадывался о тяжелой вине жены, но не хотел об этом говорить. Суд совести, считал он, самый страшный суд, так пусть он состоится без адвокатов и свидетелей.

Грек понимал: огромное несчастье свалилось на них, куда большее, чем все то, с чем он боролся до недавнего времени — неудачи в колхозе, предательство Куриленко и Куницы и даже отцовская проблема. Потому

что отца все-таки нет, а Лина с ним, в его сердце, каждую минуту, он за нее отвечает перед памятью ее родителей, перед самим собой, перед окружающими.

Он что-то просмотрел, а Лина не пришла к нему за советом, не открылась. Он тогда чуял — что-то тут не так, она выходит за Володю не с радостью, но не восстал против этого.

Он навестил Валерия и Лину на следующее утро. Звал Фросину Федоровну, она промолчала. И не перечила ему. Сказала только, что ей надо в поликлинику.

Лина и Валерий завтракали. Сисерка стояла возле печи, сложив на груди руки. Валерий был выбрит, в чистой рубашке, но худой и бледный до прозрачности. И сразу же, с порога, Василь Федорович подумал, что ниточка жизни этого парня такая тонкая, что ее легко порвать пальцем, и застыдился этой мысли.

Увидев Грека, Валерий и Лина насторожились, придвинулись друг к другу, словно он пришел разлучать их. А может, они так и подумали. И он поторопился успокоить их.

— Хлеб-соль.

— Ем не свой,— в лад ответил Валерий.

— Потому и не приглашаете?

Сисерка засуетилась, махнула фартуком по скамейке, поставила чистую мисочку, достала из посудного шкафа бутылку с настоящей на калгане самогонкой. Ко всему прочему — председатель же.

— Я с утра не пью,— сказал Грек, но бутылку в руки взял. Это была уже очень старая бутылка, зеленоватая, четырехгранная, теперь тоже выпускают такие, под старину, но подделку всегда видать.— Разве что так, на донце. За счастье. Всем на донышке.

Он налил понемногу в четыре чарки, и они выпили. Сисерка сразу же приняла озабоченный вид; взяла эмалированную миску с мелкими карасями, вышла из хаты — понимала, что им надо поговорить. И сразу они почувствовали неловкость. Грек даже крякнул, хотя водку выпил давно, и невольно снова посмотрел на бутылку. Молчание затягивалось. В растворенные двери забрел большой цыпленок, уже почти курица, пискнул, остановился посреди горницы, кося любопытным неразумным глазом.

— Баба Мотря добрая, такая добрая,— вдруг сказал Валерий.— А я ее обманул.

— Как обманул? — испугалась Лина. Она была сейчас очень красива, тоже осунулась, ее тонкое лицо заострилось, нервные бровки двигались, вздрагивали, а глаза, большие, как блюдца, были исполнены синего сияния.

— Бабка боится грома. Я протянул проволоку на грушу да прикрепил к будылине. Сказал ей, что сделал громоотвод, и она успокоилась.

— А если ударит? — сказала Лина.

— Тогда она уже не узнает обмана, — засмеялся Грек, и они подхватили. И как бы смыли смехом неловкость и скованность.

— Отец, тебе... за меня совестно? — со свойственной ей прямолинейностью спросила Лина. — По селу болтают?

— Глупые будут болтать глупости, умные — умное. Когда-то, может, я тоже осудил бы тебя, — откровенностью на откровенность ответил Грек.

— А теперь? Что изменилось?

— Не знаю. Раньше я иначе смотрел на все.

— Теперь смотришь проще?

— Наоборот. Кажется, начал кое-что понимать. Человеческие миры... они невидимы.

— Так, значит, ты меня не осуждаешь?

— Осудить?.. Это не трудно. А ты себя осуждаешь?

— Я — нет, — сказала она с вызовом.

— Совесть велит делать человеку так или этак. Судить себя или оправдывать. Я говорю про честных. Нечестные знают, что совесть у них нечиста, и кое-кто казнится, а те, что не казнятся, все-таки в глубине души понимают, что их пускают на порог только потому, что не догадываются, какая у них совесть черная... Надо слушаться сердца, если оно чистое. А у тебя, дочка, сердце чистое. Хотя и трудно все это... Вы к нам не пойдете жить?

Лина покачала головой.

— Что ж, оставайтесь у Сисерки. Тебе, Валерий, надо бы в больницу. Ненадолго. Чтобы еще раз обследовали. Сделали бы, что нужно. Мы с Линой будем навещать тебя. А потом что-нибудь придумаем. У меня есть план.

Молодые молчали. Но было видно, что они согласны с ним. По крайней мере Лина.

— А теперь все-таки сходим к нам. Надо вам взять кое-что на хозяйство.— Он помолчал, что-то обдумывая.— С Володей я поговорю.

— Нет, я сама,— решительно возразила Лина.

— Так пошли.

— Я не пойду,— сказала Лина.

— И натворишь глупостей,— сурово молвил Грек.— Если уж на то пошло... Матери сейчас нет дома.

Они обходили в разговоре болезнь Валерия, словно договорились заранее. И все трое чувствовали: страшное, неотвратимое висит над ними, а время летит, как выпущенная из лука стрела. Но это и сплело их, они ощутили между собой родство как близкие люди, связанные общей судьбой. Валерий все время выпадал из их кольца, а они держали его, и он хватался за протянутые руки, надеясь, что они все-таки спасут, без этого он погиб бы сразу.

Дома Лина ходила по комнатам, словно пришла сюда впервые. Сняла со стены фотографию, где они вдвоем с Зинкой, и сунула на дно чемодана, который укладывал Грек. Он словно бы знал еще о чем-то, словно бы готовился. Сама не зная зачем, Лина подошла к книжному шкафу, взяла потертый том Большой Энциклопедии. Их было у Грека только три, и Лина помнила их до последней странички.

— Когда в село вступили немцы, они выбросили из школы все книжки,— рассказывал Валерию Грек,— и я принес вот эти три книженции. Самые большие. И читал на протяжении всей войны, хотя почти ничего не понимал. Выучил наизусть.

Лина раскрыла том посередине, или, может, он сам раскрылся.

Наверное, сам, потому что открывали его на этом месте часто. В нижнем углу странички, под снимками Неаполя, была еле видная пометка карандашом.

— Итальянцы у нас стояли,— все рассказывал Василий Федорович.— Гвардейцы в касках с петушиными хвостами. Один совсем молоденький. Это теперь я понимаю, что молоденький. Сказал, что из Неаполя...

— Неаполь,— тихо, протяжно произнесла Лина.— Меня всегда манило это слово. И этот снимок. Такая синяя вода... И такие белые паруса.

— У нас тоже есть море. И вы сможете увидеть его. И есть края, не хуже заграничных.

— Козье болото? — снова протянула Лина.

— Ну, вот! — на мгновение запнулся Грек. — Хотя бы Самарканд. Это слово мне то же — как тебе Неаполь. Почему — не знаю сам. Что-то в нем величественное, вечное. Я об этом городе много прочитал. В Англии для туристов на него установлена очередь на четырнадцать лет.

— Мы поедем туда, — сказал Валерий. — У меня есть немного денег, я собирал их на институт.

— Денег я дам. Посмотрите и за меня. А может, и я когда-нибудь увижу...

Грек не сказал им пока, он собирался сообщить об этом Лине перед самым отлетом, что в Самарканде живет один травник, настоящий чудодей. Конечно, таких чудодеев теперь развелось много и чудеса их не всегда оправдываются, но все-таки человек живет надеждой, великой верой, которая и в самом деле для кого-нибудь оправдывается.

На следующий день Валерий лег в больницу. Там ему сделали переливание крови, снабдили новейшими лекарствами. Тот самый врач, разговор которого с завотделением невольно подслушал Валерий, сказал, что границы человеческой жизни неведомы, он еще может прожить и год, и больше, что некоторые больные живут по пяти лет, все, мол, зависит от организма. Наверно, он нарушил врачебную этику, и вообще Валерий впервые встречался с таким врачом: он был груб, но грубость его давала надежду. Больше Валерию не хотелось оставаться здесь. Через неделю он выписался, а вскорости Василь Федорович провожал их. Заказал билеты, отвез на машине в Киев, в аэропорт. Дорожный шум и суета ускорили прощание, но в последний момент Лина не выдержала и заплакала, и Василь Федорович почувствовал, как у него запекло внутри, и страх, проклятый страх неотступно вязал то красные, то черные узлы, тяжелые и тугие. Он знал, что от себя убежать нельзя, и когда жизнь подожжена, как бикфордов шнур, то человек все время ждет взрыва, и это ожидание убивает и красоту далеких гор, и тихую мечтательность моря, и размышления о вечном.

Лина стояла, съезжившаяся и маленькая,— птичка, не уверенная в себе перед дальним перелетом. Может, она с ужасом думала, что ей придется возвращаться одной, а может, представляла хлопоты, которые ждали их на новом месте, а может, собирала свое мужество для трудной жизни возле такого больного и такого любимого человека. Она быстро кивнула и пошла. Они уже и так опаздывали, и к самолету пришлось бежать. Как только они поднялись в воздух и пробились сквозь облака, им открылась невиданная красота. Слева вдали разлилось красное озеро, оно было окаймлено высокими сугробами, а лед на нем блестел, и казалось, самолет долетит и сядет на него; на земле солнце уже зашло, там господствовал мрак, а тут еще царил свет, ему оставалось очень мало времени, и, наверно, потому все было необычайно прекрасным.

Лина и Валерий сидели, прижавшись друг к другу, им было хорошо и ничего не страшно. Чем выше поднимался самолет, тем шире разливалось озеро и сильнее наливалось алым цветом. Таких красок на земле нет.

А потом озеро стало гаснуть, остались только тучи, похожие на груды снега или ваты, по ним хотелось побежать. И вдруг в извилистую трещину они увидели огонек, одинокий огонек на дне ночи, на земле, настоящий, взаправдашний огонек, у которого, может быть, кто-то читал книгу, ужинал или баюкал ребенка. Было грустно прощаться со сказкой, но далекая реальность влекла к себе с непобедимой силой.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Горелый поманил его пальцем и, когда он наклонился, прошептал: «Тебя хотят убить. Может, ты и заслуживаешь, но я решил тебя предупредить». Василь Федорович удивился, что Горелый заговорил, хотел поблагодарить, но тот повернулся и, высоко вздернув лысую, как колено, голову, пошел по узкому длинному коридору. У Грека болел висок; слева, то ли в печи, то ли неизвестно где, тлели уголья, от них тянуло угаром и грозило огнем, но это теперь было на втором плане, а угроза смерти — на первом, рядом, и Василь Федорович решил пойти в кладовую и взять топор. Он скользнул с постели на пол, тихо пошлепал в конец коридора.

И только дошел до кухоньки, как оттуда вышел Горелый и длинным мясницким ножом ударил его в грудь. Еще до удара Василь Федорович увидел нож и понял, что спасения нет, и сообразил также, что Горелый его обманул, прикидывался все время, а теперь выманил из комнаты, сделав вид, что уходит, а сам спрятался на кухне. Что-то загорелось у Василя Федоровича под сердцем, и он проснулся. Сбросил с себя одеяло, действительно было жарко, но глаз не открывал, понимал: еще рано. Взяла досада, что его обманули, пусть и во сне. И затянутая дремотой мысль тоже, к его досаде, подсказала, что в человеке гнездится что-то такое, что воюет против него. Недаром многим снится, что они падают в колодец. Отчего так? Это мое тело, мое сердце, мои клетки и мой мозг, но что-то в этом мозгу начудило, пошло почему-то против себя. Почему? Откуда такие фантазии? Может, оттого, что вчера он слышал про суд, который состоится над двумя полицаями в Широкой Печи? Они принимали участие в страшной акции сорок третьего года на их земле, родом они из Широкой Печи, но скрылись далеко, в Карелии, и их только теперь случайно нашли. И вот вчера он снова думал про тот страшный день и про отца, но Горелого не вспомнил ни разу, и, может, сам мозг улавливает глубоко запрятанную связь?

Потом он переключился на Лину. Почему она не пишет? Почему не звонит? Как там, ничего не случилось ли? И что с нею будет потом? Говорят, горе делает человека тоньше, сострадательней, оно очищает. Но этого очищения не хочет никто. Сейчас особенно. В войну люди были более чуткими. Он это помнит. А вчера показывали фильм, хороший фильм, правдивый, о человеке, который вернулся с войны и бедствует, и многие вышли из зала. Они не хотят, чтобы что-то мешало им жить легко и весело. А правильно ли это? Наверно, нет. Он сам, кроме голодного детства и трудных студенческих лет, ничего не знал... То есть не узнал бы, если бы не боль об отце... Мать пронесла ее через всю жизнь, из-за этого и уехала в Белоруссию к дочери. А теперь его боль — Лина.

Нет, он уже не заснет. Василь Федорович встал, неторопливо умылся, побрился. Когда-то, когда времени было много, он спешил. Теперь его оставалось мало, с полбутыля, да еще и с горчинкой, с гущей, и он не

торопился. Смотрелся в зеркало, видел свое лицо с крупными чертами и впервые заметил, что глаза грустные. Грустные или добрые... за долгие годы колхозной трудовой работы он отвык от таких чувств, почему-то вспомнился Ратушный, его шутка на одном заседании по адресу председателя «Дружбы»: «Черт его знает, на чем он держится: не кричит, не ругается...» Ратушный, конечно, преувеличивал нарочно, это было только мечтой секретаря о рассудительных председателях колхозов и неспешной работе, которая возвеличивает человека, делает его мудрым, добрым, проницательным. В их районе есть такой председатель, в «Пути Ильича», — мягкий, застенчивый человек, вот уже и Греку загадка, как тот председательствует, и уже седьмой год, и колхоз понемногу крепнет. Сам Ратушный, хотя никогда не повышает голоса, не стучит кулаком по столу — мужик крепкий, принципиальный, даже упрямый. Но, наверно, и неторопливость в работе и все остальное зависит от характера. Василь Федорович вскипал быстро, и тогда шел прямиком, и мог наговорить лишнего, как теперь говорят, наломать дров. Правда, с годами вот так, напролом, шел все реже, научился гасить гнев, и подольше выбирал ход, и уже знал, куда хочет пойти и что найдет в конце. Хотя иногда и ему не терпится поступить наперекор всему, даже себе. И это тоже сидит в нас, неведомое, опасное, а может, тем и драгоценное.

Он додумывал это, выкашивая в саду под яблонями клевер. Косил, кажется, уже в четвертый раз за лето, клевер тянулся как оглашенный, в колхозе так не растет. Уже начал последний ряд, когда внизу, на пруду, прозвучал выстрел. Через минуту — еще один, и Василь Федорович моментально вспомнил, что сегодня открылась охота, а на колхозном пруду весной загнездилась утка и вывела птенцов, они плавали рядом с домашними, почти перестали бояться людей, и сейчас кто-то подло пользуется этим.

Опомнился, когда уже бежал к пруду. Он брел по грудь в тумане, а на пруду царила тишина, но не спокойная, ласковая, а угрожающая, хрупкая, она начиналась от ружья и заложенного в нем патрона, и заряд мог вылететь в любую минуту. Тишина обманывала жертву, но не могла обмануть Грека. Он знал, где сидит охотник. И почти догадывался, кто он, потому что пом-

нил вчерашний разговор в конторе и жалобу на то, что негде охотиться. Наверно, лучше было бы вернуться, но он шел. Впереди сухо треснуло: кто-то взвел курок. Грек остановился. Туман перекатывался через грудь. Василию Федоровичу казалось, что он плывет по реке. Теперь тишина прямо ввинчивалась в уши, впереди, шагах в двадцати, покачивалась ветка верболоза. Тот, кто сидел под кустом, видел его, он давно должен был встать или хотя бы подать голос.

— Ну, чего ждешь, пали,— сказал Грек и шагнул еще.

Ветка встрепенулась, рядом с ней вырос серый картуз, лицо, плечи. Василь Федорович крикнул от удивления. Он рассчитывал увидеть другого браконьера.

— Эй, человече,— Тромба сделал вид, что не узнал Грека,— отойди от греха подальше. Не пугай уток.

— Тебе не совестно, они же, считай, домашние,— с сердцем сказал Грек.— Дети же их хлебом прикармливают.

— Все одно они пока не приписаны к твоей птицеферме.— Голуб говорил ему «ты», потому что они стояли в кустах и он держал ружье.

— К нашей, Родион, ты все не привыкнешь. Мне просто тошно глядеть на твой промысел.

— Не гляди,— спокойно посоветовал Тромба, поворачивая голову в сторону пруда.

— Мотай отсюда! — гаркнул Василь Федорович.— Пока я не разбил твою пушку и не заехал тебе по затылку.

— А ты попробуй.

Василь Федорович рванулся к нему. И Голуб отступил. Повернулся и по осоке, напрямик, побрел в гору. Василь Федорович шел параллельно ему, метрах в двадцати, по тропе. Так они дошли до огородов.

— Зря кипятишься, председатель,— сказал Голуб, останавливаясь.— Все равно тебя скоро выгонят.

— Тебе от этого послабления не будет,— буркнул Грек.— Так что напрасно стараешься и пишешь писульки.

— Я пишу писульки? — В голосе Тромбы звучало неподдельное удивление.— Ты мне, председатель, жлобства не шей.

— Как знаешь,— махнул рукой Грек и шагнул наверх.

— Э, нет, так не годится! — закричал Тромба, и в его голосе сплелись злость и отчаяние. — Погоди. Какие писульки? Не писал я ничего. Я не боюсь, я человек честный. Грязью меня не марай. Браконьер, пьяница, но не анонимщик, не падла.

— Да ну тебя, — плюнул Василь Федорович и быстро зашагал к своему саду.

Сзади прогремел выстрел, Грек оглянулся через плечо: Тромба выстрелил в собственный картуз, подбросив его вверх.

Василь Федорович остановился уже возле хаты, под грушей. На душе было черно, погано. Пахло свежескошенным клевером, яблоками-падалицами, переспелым летом. Он оперся на грушу. И вспомнил, что совсем недавно они трясли ее втроем: он, Лина и Зинка. Зинка верещала, бросала в них грушами. Лина подсадила ее на дерево и потом не хотела снимать. И Зинка испугалась, хныкала, просилась вниз хитро и лукаво. И дудел в конце сада удод, и груши густо стучали о землю. Вон стоят еще две — необобренные. Наверно, он не обтрясет их, потому что боится всяких воспоминаний, памяти о недавней радости. Он думал об этом все утро. С Фросиной Федоровной они почти не разговаривали, не желая нарушить шаткое равновесие, которое установилось после Лининогo отъезда, молчал Грек, молчала Фросина. Есть уроки, которые надо пережить наедине с собой. Да и что он мог сказать ей?

Он видел, чем дальше, тем чаще всплывает в нем одно и то же: «Не знаю». А совсем недавно ему казалось, что он знает все, что нужно знать не только по инструкциям, по должности, а просто все в своих человеческих пределах. Кто может сказать, что человеку надо знать, а что ему лишнее? Лишнее то, без чего можно прожить? Но ведь когда-то человек жил самой малой малостью. И сколько ему нужно о себе знать? Есть в нем мера, которая обозначает это? Как надо принимать мир — разумом или сердцем? Сердцем... это больно. Вот вспомнил Лину, и уже тревога, и уже оно болит. И забсты быют по нему, как по чуткой мембране. «Да пропади оно все пропадом! Разве мне больше всех надо?» Это говорит разум, успокаивает, но, наверно, его сила меньше.

«Ну вот, записался в мыслители, — иронизировал он почти со злостью. — Пора в компанию к деду Шевелию».

Через минуту все вытеснила груда неподписанных бумаг и срочных дел — комбайн снова поломался, кирпич нужно забрать сегодня же...

После Грек поехал в Широкую Печь. Сначала свернул к комплексу, стены уже кончали выводить, ставили стропила, монтировали аппаратуру. Он задержался — его интересовали механизмы, которые там устанавливали. Попросил, уже наверно, по привычке, чтобы работали аккуратней, потому что у него на глазах разбили два плафона и какую-то длинную стеклянную трубку, и поехал в контору филиала.

По песчаной дороге машина шла тихо, поэтому никто не услышал, как он подъехал. Он нарочно не подавал голоса. Водилось за ним такое — незаметно поглядеть, что люди делают, и, если справно работают, не мешать. Зашел в кабинет заведующего, но там никого не оказалось. Может, оно и лучше. Сначала поговорит с агрономом и завфермой.

В кабинете было душно, он толкнул оконную раму. Та отворилась без скрипа, впустив свежие запахи утра и два голоса. Говорили в палисаднике, где буйно разрослись кусты черной смородины — винограда черниговского Полесья.

— ...А я, если по правде, так и не любил ни разу, — прогудел густой бас.

— Ни разу? — женский голос повторил вяло, незаинтересованно.

Василя Федоровича удивила такая беседа об эту пору и в таком месте, он хотел было затворить окно, но не затворил, хоть немного и совестно было. Но что-то его зацепило в этих голосах.

— Когда-то в школе... в седьмом или восьмом классе. А больше — нет. Да и некогда было. То учился... А то служба. Куда-то карабкался, куда-то лез. Готовился в аспирантуру — не поступил. Сеял кукурузу — ее ликвидировали.

— А двух детей прижили, — сказал по-тутошнему, «по-сельски», женский голос.

— То-то и оно, что прижил. Все приживают. Правду вы говорите — тоска. Махнул бы куда-нибудь... с вами.

— На ту сторону Десны, в кустики? Вы ведь дальше не поедете. Не хватит фантазии. И сердце у вас маленькое. Бас густой, аппетит большой, а сердце малень-

кое. Потому ничего и не добились. «Махнуть бы куда-нибудь». Все вы одним миром мазаны.

— Может, и одним.

— Из-за того с вами и скушно. Я уже этой скуки нахлебалась... И ни на какие жертвы вы не способны. Знаю, думаете: «Было бы ради кого жертвовать». Но даже если бы и было ради кого... Хотя чем вам жертвовать?

— Правда, нечем,— согласился мужской голос.— Ничего у меня нет.

— А у Грека есть.

— Что?

— Эти вот луга, поля. Он верит, что они его. А у вас ничего. Только ненависть к нему.

— А у вас?

— Тоже ничего. Но я уеду. Оставляю ему по себе память — и уеду.

— Вы уже оставили. Не сказали про его отца, что знали.

Василь Федорович почувствовал, как прихватило сердце, глотнул воздуха и притворил окно. Притворил тихо, чтобы в саду не услышали. Что же, Куриленко только подстрекал Лиду или немного сочувствовал ему, Греку?

В сочувствие не верилось.

Может, он под влиянием минуты размяк, а явится сюда и будет гнуть свою «линию», которая и на линию не похожа, а на ободранную лестницу, по которой залезают на чердак. А может, они с ним еще поладят? Поладить можно при том условии, если бы Куриленко до конца примирился со своим теперешним положением, если бы и вправду эти луга, это поле, этот вот комплекс стали его. Но, наверно, все это уже невозможно. И этот клубок не наматывается сам по себе, Куриленко наматывает его...

Они говорили о картофелекомбайнах, о силосе, о лущении стерни, а потоки собственных мыслей относили их все дальше и дальше к разным берегам тяжелой реки. И, как весенняя река, возвращаясь в берега, далеко оставляет след из щепок, камыша, осота, так и недавний разговор, услышанный Василем Федоровичем, оставил след, который надо было забыть или переступить.

В Широкой Печи он прокрутился до обеда. Возвращался по дороге вдоль леса. Льны удались. Скоро

пустят комбайны, и они положат лен на широкие, поросшие травой полосы, специально для этого оставленные. Там лен дойдет до кондиции — до этого седого блеска, похожего чем-то на отблеск стали. Но еще нет таких машин, которые бы собирали лен без потерь. И потому Лина со своими девчатами — а они сеют тонковолокнистый лен белорусского сорта — вынуждена собирать его дедовским способом, в пучочки, в снопики, и грузить их можно только копенками. Но в этот год на поле копенок не будет. Ладных копенок, которые напоминают далекую юность, отзываются в памяти песнями про вдову, которая теребила частенький ленок, а также про мать, которая ждет сына тогда, когда лен цветет синим-сине.

Беспокойство снова коснулось его сердца. От самого порога его дочке выпал трудный путь, а теперь пошло прямо по косогорам, и страшно думать, что там, за крутизной. Он почувствовал такую боль за нее, что, если бы было можно, бросил бы все и поехал к ним.

В конторе Грека ждала телеграмма: «Вылетели из Таллина в Ташкент. У нас все хорошо. Лина».

Она телеграфировала не домой, а в контору, только ему. Василь Федорович еще раз пробежал глазами ровные печатные строки: искал припрятанную тревогу. Не нашел... Ощутил облегчение, даже подумал, что все обойдется, может, врачи и вправду ошиблись.

Потом позвонил Дашенко. Сказал, что ознакомился с выводами комиссии и доложил о них первому секретарю. Дело с перерасходом и всем прочим давнее, за него Грек уже наказан (при одном воспоминании об этом Василю Федоровичу бросилась кровь в лицо), по его агрономической системе после жнитва будет отдельное заседание, дело его отца он, Дашенко, попросил, чтобы расследовали компетентные органы.

— С комплексом как? — спросил.

— Завершаем первую очередь

— Хорошо. Держите руку на пульсе. Нажимайте. Только без этого...

— Волонтаризма, — подсказал Грек.

Трубка долго безмолвствовала, потом Дашенко сухо откашлялся и сказал:

— Вы когда-нибудь научитесь говорить по-человечески?

Грек промолчал.

Таллин встретил их туманом. Была суббота, в городе было полно приезжих, и они потерялись в этой не слишком шумной, даже скорей молчаливой, чужой толпе. Суровые башни — свидетельницы тяжелой борьбы, узенькие улочки, дома с зарешеченными окнами, старые кофейни, где, кажется, приобщаешься к древним временам, заученная корректность официантов и особая деловитость, особая собранность жителей, которые наверняка переняли все это от Европы.

Непривычные к кофейням и антикварным магазинам, Валерий и Лина как провинциалы ходили по музеям или сидели в парке на скамеечке и молчали. Море было холодное, даром что лето, купаться нельзя, прогулки на катере Лина переносила плохо — и они собрались на юг уже через три дня.

Самарканд ошеломил их восточной пышностью и жарой. Маленькие, словно игрушечные ишаки рядом с машинами на широких асфальтированных магистралях, шумный базар с гигантскими дынями и арбузами, что и поднять нельзя, узбеки и таджики в пестрых халатах, молчаливые и неспешные, расплавленное небо, дыхание пустыни, которая, наверно, со всех сторон обложила город, и в нем все было серым, осыпанным пылью, дышало жаждой. Ртутный столбик днем застывал на сорока, и спать можно было только нагишом и при открытых окнах. Они так и спали на широченной старой деревянной кровати. Им повезло. Валерий во время полета дремал, а Лина разговаривалась с соседкой. Это оказалась их землячка, подолячка Марта, она вышла замуж за узбека и жила в Самарканде, почти в самом центре: домик традиционный, с квадратным двориком, огороженным со всех сторон высоким дувалом, с крыльцом-террасой, оплетенной поверху виноградной лозой. Виноград уже поспевал, и каждая кисть была обернута газетной бумагой — чтобы не поклевали воробьи. Хозяин дома уехал на заработки на все лето, и хозяйка предложила им комнату. В том домике все перемешалось — Узбекистан и Украина, волшебным образом переплелось, создало какой-то новый колорит. Семеро детей Марты — черные смоляные головки и карие глаза — говорили по-узбекски, но любили украинский борщ и вареники с творогом и все допытывались у матери, когда она повезет их на Украину.

...Их разбудил перепел. Они долго лежали, не веря, думали, что радиозапись — век заменителей! — но потом поняли, что голос настоящий, живой, да к тому же звонкий и смелый. Птицу не пугали ни каменные стены и грохот машин, ни высокий купол гробницы Тимура, который высился рядом, в полутора шагах от дома. Ни Лина, ни Валерий не могли разгадать этой песни, таинственные чары действовали на них, и они отдались этим чарам. Смотрели друг другу в глаза, и ее тепло передавалось ему, и она положила руку ему на грудь. И снова ударил перепел, но как-то не так, как дома, на Украине, во ржи... Лина почувствовала это, и сладко затрепетало ее сердце, и горло сжали слезы — впервые с тех пор, как они уехали из Сулака, — и она замерла, пытаясь преодолеть волнение, утаить от него. Его тело было молодым и сильным, дышало любовью и счастьем, но Лина невольно забежала вперед и останавливалась перед глухими воротами.

Она бы не пожалела ничего, только бы отворились эти ворота, она отдала бы все — даже жизнь. Чтобы вот так, из его тела, боль переплыла в ее тело, боль и болезнь, и он не знал об этом, а только снова почувствовал себя здоровым, а она знала, знала, но не сказала бы! А может, это понял и Валерий, потому что ласкал ее особенно долго и нежно, словно благодарил за что-то, чего нельзя выразить словами. Они как бы переступили обычную границу и стали на озаренную солнцем тропинку, полные доверия и таинственного единения. И вот опять ударил перепел... Она-то еще услышит его не раз, он будет бить для нее на придеснянских лугах...

За завтраком они спросили у Марты, откуда слышали песню перепела, и та сказала, что перепелов здесь держат в клетках. Это почему-то разочаровало их.

Возле гробницы Тимура — квадратного здания с куполом сказочной красоты — мельтешили туристы. Лина и Валерий уже побывали там накануне. Пришли ночью, когда купол лучился лунным сиянием. Долго стояли там, и Валерий рассказывал Лине, что в тысяча девятьсот сорок первом году ученые решили вскрыть саркофаг Железного Хромца — Тимура, — и самаркандцы просили не делать этого, потому что: «Тут похоронена война». Саркофаг вскрыли, а через несколько дней грянула Великая Отечественная. Обыкновенное совпадение, но в

нем чудилось что-то роковое. Валерий видел это на каждом шагу и удивлялся, что этого не чувствует Лина. Может, болезнь обострила его интуицию, может, мысль о близком конце открыла тайники, куда не могли заглянуть другие... Так или иначе, но сейчас он словно бы проходил сквозь цивилизации — или они перехлестывали через него. Здесь, в полупустыне, где почти не требуется одежды и где можно обойтись в день двумя ломтями вяленой дыни, человеческие волны смывали друг друга, оставив в ломких пергаментах несколько знаков о своем существовании. Древние согдийцы, и те, кто были до них и чье имя осталось за порогом истории, и все, кто после них, топтали сандалиями и босыми ногами эту землю: сколько пота, крови было пролито на нее, сколько приказов, молений, криков слышали эти стены! Для чего? Во имя чего? Все это испарялось, сто раз проливалось дождями, поросло бурьяном. Или что-нибудь осталось? Что же? Совершенные орудия убийства, усовершенствованные плуги, новейшие обсерватории? Что должно перевесить? Вот в этой, тимуровской гробнице лежат останки Улугбека, внука Тимура. Его кровь тоже окропила эту землю: его собственный сын отрубил отцу голову, и она долго катилась, пока не ударилась о стену. Но Улугбек оставил нам карту звездного неба, его обсерваторию раскопали на горе, грандиозный секстант и теперь поражает воображение. Так что же перевесит?

Он удивлялся себе. Он стоял возле древних, вековых стен, он знал, что они не вечные, но еще будут стоять долго, а он исчезнет, ему осталось смотреть на них совсем мало, но его все-таки тревожило: что перевесит. Почему тревожило? Так, может... это и есть то, что осталось, сконденсировалось в нем, в других? Эта вот тревога, непонятная, уже, казалось, и ненужная, без которой он, оказывается, не может существовать, ходить. Так кто же тогда все те, кого он чувствует здесь, рядом? Чувствует всем своим нутром. Если он с ними — то он тоже ходил на штурм этого города... Накатывались племена завоевателей, вырезали аборигенов, поселялись тут, возводили свои храмы, медресе, гробницы, а другие завоеватели уничтожали прежних, тоже укоренялись, возводили новые постройки и ладили стены для обороны. Так с кем же он? Для чего он? Чтобы защищать стены или идти на штурм? Или он во всем гигантском цикле: от травинки, которая должна, непре-

менно должна прорасти на мертвой тверди, а травинку съест заяц, а зайца орел или он сам? Правомерен ли такой цикл? Но он не зависит от людей, не зависит от него. Он чувствовал, что приблизился к великой тайне, которую разгадать невозможно. Потому что — если бы он разгадал... Нет, не разгадает. Ему, как и другим туристам, суждено покупать сувениры, трогать теплый тысячелетний камень, любоваться гробницами и таким образом приобщаться к вечности. И обманываться превосходством над нею, потому что тот, кто мановением пальца уничтожал миллионы, дотлевают в черном нефрите и не может полакомиться даже арбузным зернышком с шумного базара, а ты, в отличие от него, можешь перебрасывать из руки в руку арбузы и дыни, которые лежат навалом, смаковать виноград и пить терпкое местное вино. Ты над ним, ты его обогнал, но другие обгоняют тебя.

А туристы, в основном иностранцы, кишмя кишат, они приехали за тысячи километров, обвешанные фотоаппаратами и кинокамерами, на их лицах любопытство и скука слились воедино, они ощущают странное возбуждение: соседство одного из самых великих кровопийц мира щекочет им нервы, заставляет по-особому ощущать себя, свою личность — ничтожней ты или выше? Или то и другое вместе? — чтобы потом, опять же с превосходством живущего, до которого из могилы не дотянуться, судить за рюмкой коньяку о поступках Тимура, восхищаться им, пугая таким образом случайную спутницу, с которой переспит эту ночь без любви и сердечного трепета, так, как, наверно, спал со своими наложницами Железный Хромец. Завтра этот турист в нарочито заплатанных джинсах сядет в самолет и вознесется, посмотрит сверху на могилу Тимура, а потом будет рассказывать о ней в своей старой Англии или Франции жене и деткам, ошеломив их астрономическими цифрами жертв завоевателя и его походами, его негибимым нравом. А необыкновенной красоты купола, невообразимого изящества вязь на стенах гробниц и медресе, запечатленные на цветных фотографиях, может быть, согрели бы фантазию достойнейшего, и из его фантазии могло бы родиться что-нибудь высокое и принести людям безграничную радость или страдание... Те, кто соорудил купола и написал мудрые слова, остались в неизвестности, их имена не пережили их и по-

тому не могут служить примером для потомков. Зато имена завоевателей вычеканены тысячу раз. Таким способом обессмертить свое имя легче, потому что имена мастеров стираются, а убийц — нет, потому что великие мастера потратили талант, чтобы увековечить убийц и разрушителей, а сами растворились в прахе столетий.

Что-то такое или нечто подобное думал Валерий, остановившись у гробницы Тимура. Сегодня они просто так, без цели блуждали по улочкам города, где камень был стерт за века миллионами подошв, где воду выплескивают прямо на улицу, под ноги неугомонных детей и ленивых собак, где такси еле протискивается между домами, и не старинные строения, а сама машина кажется анахронизмом. Это иллюзия погони за Временем. Машина мчится в том же темпе, в каком плетется ослик и в каком старый узбек в сапогах с калошами дремлет на теплом камне возле ворот. Она не обгонит его, он ее. У машин и у их создателей от спешки начинаются перебои сердца, и все то, что попадает в поле их зрения, не приносит радости. Потому что, нераспробованное, неосмысленное, — оно и исчезает неразгаданным. А они все несутся. К гробницам и от гробниц, все в том же темпе, чтобы объехать побольше, а для чего — никто не знает. Лучше они становятся от этого, добрей, мудрей? Кто знает... Медресе оседают в глубь веков, их откапывают, очищают от пыли, которую нанесло человечество к их порогу с молитвами, а машины несутся вдаль с той же скоростью, с какой старые медресе уходят в века...

Так вот раздумывал Валерий, блуждая по улочкам вечного города. А потом они вышли к Шохинзаде — пантеону Самарканда. Ступени вели вверх, а по обе стороны стояли гробницы — последние пристанища когда-то могущественных ханов, их жен, детей, любовниц, — удивительно совершенные по своей художественной сути, где гармония линий сливалась с гармонией литер и цифр, гармонией цвета, подчеркивала мудрость символов и заветов. Клонило к вечеру, и посетителей не было. Они поднимались наверх вдвоем, поворачивали то налево, то направо, заходили в каменные ниши, где строго, по контрасту с роскошными куполами и стенами, белели или чернели каменные плиты или саркофаги. Ступени вели снизу наверх, в человеческой жизни все совершается наоборот, а уже это одно порождает



грусть. Устав, они сели возле одной из гробниц на скамеечку. Во все века, по всей земле люди мастерят возле могил скамейки, чтобы посидеть и подумать возле вечного о преходящем, готовя и себя к вечности. Валерий и Лина устало молчали. Может, молчали потому, что мысль о вечном, для кого-то очень далекая, была с ними неотступно, они словно несли ее по ступеням наверх и потому боялись говорить, боялись спугнуть что-

то, лежащее так близко, оно только казалось спящим, а на самом деле ждало подходящего момента, чтобы выпустить когти.

И вдруг они услышали голоса сзади. Звонкие, похожие на детские, они звучали в пустой гробнице, из которой Лина и Валерий только что вышли и в которой не было никого и ничего, кроме высокой надмогильной плиты.

Валерий поднялся и, прежде чем Лина успела ему помешать, шагнул в дверной проем. В склепе было пусто. Невысокая округлая стела, гладкие стены с премудрой резьбой из корана, могильная плита посередине. И — тишина.

— Может, тебе показалось?

— Но ведь и тебе показалось.

Им стало страшно. Они, наверно, приняли бы это за вещий знак судьбы, если бы в ту минуту над их головами снова не прозвучал чистый, как стеклянный, голос. Подняли головы и увидели почти скрытое карнизом ласточкино гнездо. Птицы устраивались на ночь, переговаривались. Чары развеялись, исчез страх, и в то же время стало жалко чего-то. Жалко тайны, несказанности, неразгаданности, которые должны же существовать в этом измеренном и рассчитанном мире, жалко мечты, неизвестности, без которых жизнь становится пресной. Человек стремится разгадать неведомое и одновременно хочет, чтобы оно существовало. «Если бы оно оставалось,— подумала Лина,— то можно было бы на что-нибудь надеяться, на какое-то чудо»,— по крайней мере ей так показалось в тот миг. И вдруг вихрь обуял ее душу, и крутил, и кидал ее в бешенство, и она чувствовала такую злобу, даже жаром охватило лицо, злобу на целый мир... «Почему, почему — он?.. Что он такое сделал?.. За что?..»

Она оглянулась на Валерия и быстро пошла вверх. Тот отстал, изучая надписи у гробниц, но она не останавливалась. Пока не ступила на последнюю ступеньку — дальше идти было некуда. Перед нею белел последний склеп, слева и справа — ограда. С правой стороны, за оградой, виднелось кладбище. Сердце ее сжалось и стало маленьким и тяжелым. Без единого живого стебелька, только горбы сухой земли и столбики-памятники — кладбище испугало ее. «Неужели он останется здесь?» И, вскрикнув, она побежала вниз. Он перехватил ее, обнял, и они чуть не упали.

— Что ты? — спросил Валерий.

— Там... опять какая-то птица. Только большая, пролетела над самой головой,— нашлась она.— Пойдем вниз. Я не хочу больше тут... Пойдем! Прошу тебя!

Он рассмеялся. Он успокаивал и утешал ее, как ребенка. Это мужское дело — успокаивать и утешать. А он уже был умудрен всем мужским опытом и способен защитить ее. Они спустились вниз и вышли на улицу почти веселыми. Был мягкий и прохладный (прямо чудо!) вечер, их ждало чаепитие в чайхане, и спектакль в театре, и уютная комната, где они будут вдвоем, где на столе — тарелка со сладким и душистым виноградом и бутылка вина.

В тот миг оба были счастливы. Только Лина подумала: «Надо дать телеграмму. Отец, наверно, переживает».

В Широкой Печи судили полицаев, карателей. Хотя и большой там клуб, но и он не вместил всех, кто принес сюда свой гнев, свои слезы. Василь Федорович то сидел в зале, то как пришитый слонялся вокруг клуба, ему казалось, что здесь должно что-то проясниться, должна развеяться тайна, которая окутала горьким туманом память его отца. Полицаи были уже старые люди, один плотный, с толстой шеей и седым ежиком густых волос, другой длиннолицый, худой, с усталым выражением лица и сединой на висках. Они были покорными, тихими, почти со всем соглашались, боялись смотреть в зал и опускали головы. А когда-то, это помнил даже Василь Федорович, они гоняли на тачанках, набитых сеном и застланных домоткаными половиками, под которыми лежали винтовки, справляли немецкие и храмовые, престольные праздники, пили самогон и хватали на вечерках парней, запирая их в полиции, чтобы утром отправить в Германию, а с девушками «гуляли» до утра. Одному из таких ухажеров девушка с хутора, Йвга, вогнала под ребра вилы-двойчатки, и ее расстреляли на месте. Правда, в своем селе полицаи несколько сдерживались: все-таки здесь их род и племя, и отцы обиженных завтра могли сказать отцам полицаев, что их сын бандит и собака, но когда полицаи выезжали на карательные акции, то становились страшными. Оба полицаи из Широкой Печи проводили акцию в Сулаке.

Ничего нового, кроме того, что уже знал Василь Федорович, они не сказали, но когда выступала свидетельница Карпийович, зубной врач из Нежatina, Василь Федорович насторожился. Галина Карпийович работала переводчицей у сулацкого коменданта, комендантская подстилка, лярва высокого пошиба, это для нее комендант велел выложить в саду бассейн, и сулацкие женщины ведрами носили туда воду, а переводчица с комендантом купались. В последние дни, как выяснилось теперь, немцы не доверяли никому, и когда комендант куда-нибудь выезжал, то брал с собой охрану. Карпийович только мельком упомянула об этом, и никто не обратил на это внимания, а Василю Федоровичу показалось, будто на него что-то падает. Только он помнил, кто был кучером у коменданта. Но как тяжело ни было Василю Федоровичу, как воспоминания ни распинали его, он понимал, что, наверно, только здесь можно узнать последнюю правду. Он не мог задавать вопросов свидетелям, не имел права, да еще вопросов, которые касались сути дела. Вот и ходил вокруг клуба, и эти вопросы роились у него в голове, он только боялся испугать ими бывшую переводчицу. И не случайно он очутился у дверей, когда она выходила. Толпа стояла стеной, толпа напирала, хотя она уже и отсидела свое, испуганно прижимала к груди руки и шла как по скользкому льду, а два милиционера — старшина и младший сержант, — гадливо искривив губы, плечами отстраняли людей, охраняя ее. Она ковыляла, маленькая, тусклая, как потрепанная бурями ворона, и неизвестно было, о чем она думает, почему шевелятся ее бескровные, с облинявшей помадой губы. Она шла, а Василь Федорович, видя, что уже нет времени, стал посреди асфальтовой дорожки, загородив ей путь.

— Простите, — решительно сказал он. — Простите, но я хочу спросить: лично вас и коменданта возил мой отец, Федор Грек. Вы не можете не помнить его, потому что возил он вас до самой акции. Куда он подевался?

Карпийович растеряннo подняла на него глаза, казалось, она не понимала, о чем спрашивает ее этот широкоплечий, слегка сутулый мужчина, а может быть, оторопела: он напомнил ей другого человека и другие дни; или раздумывала, чем может грозить ей ее ответ. Все эти годы она только и знала, что отвечала на вопросы,

сотни, тысячи вопросов, заданных ей из ночного мрака, возможных и невозможных, выкручивалась, нащупывала, пыталась не ошибиться. Прошрое гналось за нею, глядело на нее изо всех углов.

— Вам все равно,— не удержался Грек.— А мне... ведь это мой отец.

— Его, он...— пергаментные губы перебирали слова, она все еще боялась о чем-то проговориться, но мужчина, который стоял перед нею, был такой тяжелый, такой незыблемый, что ей показалось: он никогда не сойдет с ее дороги, если она не скажет правды.— Его расстреляли,— прошелестели сухие губы.

— За что?

— Он знал, что готовится акция. Немцы боялись, что он связан с подпольем. Возникло такое подозрение... Потом оно подтвердилось. И его... вызвали в комендатуру и там же... А ночью тело бросили в подвал, в школу.

Василь Федорович застыл, тяжкий, как гора, как камень над кручей, сцепив за спиной руки и еще сильнее ссутулив плечи. Один из милиционеров тронул его за рукав, он почему-то кивнул и отступил с дороги. Вокруг Василя Федоровича создалось молчаливое кольцо людей, а он никого не замечал, смотрел в землю, думал о своем.

— Гляньте, а говорили, что его отец...— прорвалось у кого-то за спиной, и на него цыкнули.

«Он там, с ними»,— проговорил Василь Федорович мысленно, словно отдавал отцу последнее «прости».

Ратушный зашел к Дашенко, когда тот заканчивал разговор с председателем колхоза из села Сидоры, что за Десною. Дашенко прихлебывал из стакана крепкий, как деготь, чай, а председатель из Сидоров потел и краснел да утирался громадным платком. Видать, беседа была крепче чая.

Председатель вышел, а Ратушный побарабанил пальцами по столу.

— Я бы так не смог.

— Чего не смогли? — удивился Дашенко.

— Разговаривая с кем-то, пить чай. Или уж вдвоем, или...

— Ему еще чаю! — возмутился Дашенко.— Ему бы

сыворотки месячной закваски. От него перегаром... Дыхнет — мухи падают. За то и отчитывал.

— Все равно некультурно.

— Ему та культура...— с досадой махнул рукой Борис Ларионович.— Вы сами не за такое позавчера объявили строгача Берестову?

— Объявил. Хотел даже из партии... И все-таки это не одно и то же. А вот у вас, я это замечаю не впервые, все-таки не хватает этой вот самой... теплоты.

— Я не в кочегары готовлюсь,— не стерпел Дашенко.

— А мы не котельню строим. Ее мы уже построили. Ну, не обижайтесь,— сказал он примирительно.— Еду в «Дружбу». Там начали копать картошку. И льны уже созрели. Не хотите со мной?

— Это... предложение?

— Товарищеское приглашение.

«Знаешь ведь все наперед, хочешь ткнуть меня носом»,— подумал Дашенко.

— Я... одним словом, признаю и так. Можно мне завтра, отдельно? — посмотрел он на первого, но не заискивающе, хотя и признавал свою ошибку.— Похожу сам, посмотрю, подумаю.

— Может, это и правильней,— согласился Ратушный.— У каждого своя мудрость. Как и ошибки.

Как только Грек перешагнул порог своего кабинета и поздоровался с Ратушным, секретарша подала ему телеграмму. Грек прочитал, положил во внутренний карман пиджака. В его сухом, обветренном лице ничего не дрогнуло. Он ничего не сказал, а Иван Иванович не любил выведывать чужие тайны.

Они поехали на картофельное поле. Четыре комбайна шли один за другим, и пыль стояла такая, что изда- лека можно было подумать — бушует пожар. В этой завирюхе едва были заметны люди — трактористы и комбайнеры,— их можно было узнать по искоркам сигарет, которые тлели в зубах, видно, только пообедали и докуривали на ходу; автобус, который привозил обед, зеленел в конце борозд.

По серой пашне ходили с корзинами женщины, подбирая мелкую картошку, которая выпадала сквозь железные сетки, рядом с комбайном ползали тракторы с

прицепами. Ратушный остановил на дороге один прицеп, который поворачивал в село.

— По сколько?

— По четыреста двадцать, хоть и мелкая,— блеснул зубами тракторист и включил скорость.

Василь Федорович молчал.

— Мелкая. И все же по четыреста двадцать,— сказал Ратушный.— А у ваших соседей самое большее по двести пятьдесят.— Помолчал и добавил: — Одним словом, вы снова на коне.

— Вы того коня знаете,— с отсутствующим видом сказал Грек.

— Знаю. А вот как пересадить на него других?

Василь Федорович пожал плечами. Это движение имело несколько значений: не все сразу, нужна крепкая база, риск, научная основа, новые методы руководства. Ратушный все это понимал и сам, из-за этого дальше и разговора не вел.

Комбайны сделали еще один круг, а когда разворачивались на дороге, один из них остановился. Молодой, крепкий комбайнер, согнувшись по-медвежьи, что-то дубасил стальным ломом.

Ратушный и Грек подошли к комбайну.

— Что это вы делаете? — спросил секретарь райкома.

— Железяка застряла,— не поднимая головы, ответил Володя Огиенко.— Тут их до черта.

— Откуда?

— Говорят, большие бои происходили. Уже сто раз землю перевернули, а железо до сих пор из нее прет.

Ратушный долго стоял задумавшись.

— Железо до сих пор из нее прет,— повторил он и посмотрел на Грека.— Но мы его все-таки похороним окончательно. И оставим только память о великом и вечном. О подвигах... Да и о страданиях тоже. Чтобы помнили, какой ценой завоевано счастье. Вы... эту цену знаете сполна. Я рад, что имя вашего отца доброе и славное.

Володя взглянул на Грека и отвел глаза. Он бил ломом, но уже не видя куда. Вспоминал... Может, о том, как председатель рассердился на его интервью, а может, как тянул его на буксире в дождливую ночь, а может, про Лину, которая сказала, что окончательную правду ей поведал отец. Она тогда сидела перед

ним, пришибленная и грустная, но и счастливая. «Прости, Володя! Я плохая... Плохая потому, что не доверилась сердцу... Что сбила с колен твою жизнь. Ты хороший... Я знаю, простить нельзя. Но и жить вечно в обмане — тоже».

Володе наконец удалось выбить обломок. Он стал на мостик, и комбайн, заревев, двинулся с места.

Потом Ратушный с Греком ездили к силосной башне, потом — на тракторный стан, на льны, а под конец приехали на животноводческую ферму. Василь Федорович завел секретаря в старый коровник, где уже зажглись электрические лампочки и животноводы убивали коров на ночь. Гудел электромотор, старый, тысячи раз чиненный транспортер тянул навоз, он уже не справлялся, и то одна, то другая доярка прижимала его ногой, граблями наваливая солому. Коровник был какой-то особенно уютный: стены залатаны досками, дырки под крышей старательно законопачены, в нем стоял живой дух скотины, молока, зелени, и неторопливый рабочий ритм, который царил тут, невольно вызывал воспоминания далекого детства, когда корова, возвратившись с пастбища, жует, а в подойник чиркает молоко, и дети на завалинке по-особому прислушиваются к этой музыке, и их кружки заждались на лавочке возле крыльца.

— В понедельник будем ломать,— сказал Грек. И было видно, что ему жаль этого коровника, и своих воспоминаний, и еще чего-то, что уже знал только он один.— Эту ферму строили первой. Из битого кирпича. А вот... стоит до сих пор. Что ж... послезавтра всю группу коров переводим на комплекс.

Иван Иванович слушал его молча. Понимал все: и Греково настроение, и его печаль, и его надежды. А когда вышли на подворье, на широкую асфальтовую дорогу — главную трассу фермы, по обе стороны которой стояли бесчисленные строения,— словно в удивлении оглянувшись, сказал:

— Целый город построили! И правда жалко разрушать. Но ничего не поделаешь, время требует. На такой грани стоим.— Перевел взгляд вниз, на пруд, где в последних предзакатных лучах солнца из воды выходили лошади.— Красиво как. Люблю я коней.

Картина и впрямь была замечательная: красная вода и гнедые, огнистые кони, которые выплывали из нее. Василь Федорович залюбовался, даже забыл о том, о

чем думал с самого обеда. А потом его взгляд упал на тополя в конце двора и погас. Ему показалось, что думает он про работу, а в памяти все время стояли эти два тополя, и он с удивлением заметил, что мысли его странные, неестественные. Наверно, Иван Иванович давно заметил его настроение, только делал вид, что ничего не видит, и, небось чтобы развеять Грекову печаль, «закрутить» его новым водоворотом, сказал:

— Хочу я вас, Василь Федорович, перевести на другую должность.

Грек поднял на него удивленные, затуманенные глаза.

— Какую должность?

— В профессора. В колхозные профессора, по совместительству. Есть замысел открыть в вашем колхозе школу передового опыта. Будете учить коллег.

— Мне самому впору учиться,— буркнул Грек.

— И сами поучитесь.

— Что ж, если надо...— Василь Федорович опять смотрел себе под ноги.— Только не теперь. Позже. Завтра я вылетаю... я вылетаю в Самарканд.

Широкие ровные брови Ратушного высоко поднялись, в глазах засветилось изумление, словно Грек собирался лететь на Луну.

— В Самарканд?

— Да. Если не возражаете.

— Это... важно?

— Сейчас важней всего.

Ратушный на минуту задумался, наверно, о чем-то догадался.

— Что ж... если надо... Хочу вам пожелать, чтобы...— И, не найдя нужных слов, внезапно разволновавшись, закончил: — Чтобы вы всегда были таким, какой вы есть.

Василь Федорович кивнул, и они попрощались. Грек еще заехал в контору и по телефону заказал через город билет на самолет.

Дома он помог Зине решить задачку, поиграл с нею в шахматы, а когда она уселась перед телевизором, по которому дед Панас как раз стал рассказывать вечернюю сказку, вызвал жену в спальню.

— Фрося, что у нас там имеется на книжке?

— На «Жигули» еще не наберется,— пошутила она.

— Завтра заберешь все.

Она поглядела на него, догадываясь и уже пугаясь своей догадки.

Грек показал телеграмму...

Василь Федорович, собираясь в дорогу, управился быстро. Дальше делать было нечего: разговор с женой не вязался, идти к соседям не хотелось. Долго сидел в задумчивости, понимая, что вернется из Самарканда с другим настроением в душе и мысли будут под стать этому. Наверно, он никогда не ухватит главного, основного. Может, так оно и надо. Каждый считает, что именно им найденная суть и есть основа всего. Как хлеб, подаренный каждым новым днем. Свежий хлеб. А еще? Конечно, сухари верней, их в дорогу брать лучше. Засушенные краюхи из мыслей древних мудрецов — вечная пожива в долгой дороге людям, иногда их размачивают в воде и пережевывают беззубыми ртами, теряя крошки, а молодые зубы разгрызают их, глотают, даже не жуя. Но для нынешнего человека нет ничего душистей хлеба. И каждый день свежего. В этом тоже есть смысл. Наверно, потому Грек и не может уловить основного. Сегодня оно не такое, как вчера... Вот и совсем он запутался. Оно такое же. Во все времена. Все на свете меняется. Нетленным остается только труд. И крестьянина, и художника, который нарисовал свою картину. Труд тоже разрушают время и войны, по ним учат историю, но по-настоящему чтут тех людей, которые умеют и любят работать. Не истлевает в прах и любовь. Она как бы каждый раз исчезает, но каждый раз и возрождается. И именно она правит миром. Он это увидел своими глазами. Миром движут и зло и жестокость, но они живут только потому, что живет любовь. Иногда она приводит к убийству, такова ее сила. Эта любовь — и к детям, и к природе, и к другим страдающим людям, к жизни, которая порой так коротка, даже страшно. Он только теперь понял, как надо уметь уважать чужие страдания. Нынче на свете много таких, кто не умеет. И сумеет ли, когда будет нужно? Вот он снова запутался. А может, и не запутался. Нетленна еще совесть. Только о ней надо чаще напоминать. Недаром этим словом рядом с двумя другими, равными ему, великий Ленин определил нашу партию.

Итак, все наше в нас, только в неодинаковых пропорциях, и меняются те пропорции, и из-за этого не всегда понимаешь кого-то, а кто-то не всегда понимает тебя.

И ты сам до конца не постигнешь себя. Совсем недавно Греку казалось, что он замер на одной точке, на одной грани, а теперь снова что-то изменилось. Потому что все дни он думает еще о двух судьбах. А кому оно нужно, твое маленькое самопознание? Кто ты такой? Человек — и все. Занимаешь как раз то место, на которое тебя определила судьба, и не хочешь лучшего. Есть люди, которые боятся занять много места в мире, а есть такие, что прут за чужим, как за своим, ты их бьешь по лапам, а они лезут. Вот тут тебя и начинает ломать надвое. Как быть, верить или не верить людям? Верить, а сколько обманов, обид? Ведь для того, чтобы решить это о других, ты должен решить это касательно самого себя. Веришь в себя, в свою чистоплотность, в свои силы? Веришь, что не перепашешь чужого поля ради собственной маленькой корысти, не возвеличишься ценой чужого унижения? Можешь поверить в это только тогда, когда согласишься, что другие не сделают так. Наверно, ты еще не умеешь делать все как следует. Приносить столько пользы, сколько нужно. Пройдет немного времени, и на твое место придет другой хозяин. Более мудрый, более спокойный, умелый. И тоньше душой. Таких людей нынче много. И если подбивать последний баланс, то надо людям верить. И тогда они поверят тебе.



1

Мать ждет сына, когда его уже не ждет никто. Восемь месяцев прошло, как наши войска освободили Чистые Лозы, уже давно оповестили о себе белыми треугольниками со штемпелями полевой почты все, кто остались живы, поступили извещения о погибших, а от Миколы ни слова. Последнее письмо пришло от него восемнадцатого августа сорок первого года откуда-то с юга, не иначе, потому что Микола писал о бахче, «на которой арбузы, как самый большой наш чугуны, и ночи такие звездные, что аж страшно». Никто его не видел, никто не встречал на фронтовых дорогах, только одно-рукий Кваша, недавно вернувшийся домой, как-то сказал, что рядом с ним отступала и Миколина часть, что ее сильно помяли под Лохвицей, а затем замкнули в кольцо.

Но Павлину не оставляла надежда. Правда, была она не такая, как в первые дни после освобождения — тревожная, горячая, порой лихорадочная, — а какая-то до боли тяжкая и печальная. Горько думала о плене, о тяжелой контузии, отодвигая острые, как кончики игло-лок, черные мысли (они всегда появлялись внезапно) куда-то вглубь, раня о них душу и память о русом мальчике, а потом застенчивом пареньке с синими добрыми глазами. Новая вера вспыхивала каждый раз почти инстинктивно: разве мог погибнуть ее сын!.. Хотя суровая и беспощадная правда била, ударяла: мог. Вон сколько уже их погибло: Петро, Гриць, Степан... Семеро с одной только околицы... И все-таки это — чужие, это — не ее...

У Павлины был еще один сын, от него она как раз и возвращалась сейчас. Но этот сын то ли не такой род-

ной (нет, одинаково родные все дети), то ли какой-то более далекий.

Таким Лаврин казался прежде всего из-за характера. Он старше Миколы на целых девять лет (между ними была сестра, которая умерла ребенком), еще перед войной женился, поставил за речкой, в другом конце села, хату и усердно взялся за хозяйство. Одарка, или, как говорят у них в селе, Дарка, сразу же обсыпала его детьми — их уже четверо, а сейчас снова затяжелела. Сварливая и крикливая, хотя и не со злым сердцем, она может отругать ни за что, особенно же часто ярится на свекровь. Павлине, которая ничего от сына и невестки не хочет, а только приходит помочь, это, конечно, обидно. Но Лаврин словно ничего такого не слышит. Небось уже приучил себя не слышать. Неразговорчивый от природы, он, возвратившись с фронта, и вовсе стал молчуном. У него по локоть нет левой руки, два шрама на левом боку, между ребер. Он никогда ничего не рассказывает о войне, не любит выходить на улицу, толочься у магазина, где собираются вечерами покурить мужики, чаще всего старые деды и инвалиды, и вообще не любит никуда ходить. Он всегда был чересчур уравновешенным, слишком уверенным в себе. Или просто уверенным в своем хлебоборбском месте, в целесообразности всего, что его окружало и что он делал. Когда Павлина останавливала взгляд на Лаврине — даже теперь, после его увечья, — он почему-то никогда не вызывал у нее жалости, желания посочувствовать. Высокий, как гора, крутоплечий, он до войны мог играючи поднять задок повозки со снопами. Да и сейчас одной своей рукой привел в порядок развалившееся хозяйство: поставил новый забор, перекрыл хлев, перебрал срубы в колодце и новый журавель поставил. А ведь еще работает в колхозе бригадиром на парниках, и там у него тоже все обнесено новой изгородью из решетника, а рассаду из парников в эту первую после освобождения весну брали все близлежащие колхозы. Почти все парниковые ямы он сам выкопал большущей, выкованной в кузнице по специальному заказу, лопатой, и рамы вытесал, девчатам оставалось только посеять семена. Сама рука его — словно лопата, тяжелая и крепкая, девчата говорят, что может перебить ею любую жердь. В глубине души Павлина немного гордилась Лаврином: даже председатель, здороваясь с ним, уважительно прикладывает руку к

шапке, а старые и молодые солдаты благодарят ее, мать, за то, что сын ее помогает им. Все это Лаврин делает молча, сосредоточенно и уверенно.

И все же Павлина чувствовала, что Микола ей ближе. И не потому только, что сейчас его нет. Так было и раньше... она любовалась им, и не раз хотелось приласкать его и даже за что-то пожалеть. Он не был послушнее Лаврина, наоборот,— иногда и огрызнется, и скажет что-то наперекор, а потом подойдет, и в глазах его светится виноватая улыбка (знает ведь, что мать простит всегда), и ласка, и еще что-то, чего не высказать никакими словами.

Лаврин пошел в своего покойного отца Дениса и характером, и фигурой, и лицом. Точно таким был Денис — высокий, грузный, ширококостный, густобровый, с жесткими щетинистыми усами и таким же щетинистым черным чубом, молчаливый, увлеченный работой. Как и отец, Лаврин несколько грубоват с женой и даже с собственными детьми, хотя, конечно, живет для них. Микола же — весь в материнский род, в саму Павлину. Все Охрименки высокие, статные, русоголовые, и шевелюры у них пышные, даже немного кудрявятся. Правда, у Миколы с юных лет наметились над лбом залысины, хотя волосы и ложились густыми волнами. Крупное, продолговатое лицо, высокий лоб, большие губы, часто складывающиеся в улыбку, чуть затаенную, с веселым огоньком, хотя и беззащитную. Так и запомнился ей сын своей улыбкой: губы чуть трепетали, глаза становились добрыми и удивительно теплыми от прозрачного света, который волнами выплескивался из них. Если бы не четкие осмысленные искорки в черных зрачках, улыбку эту можно было бы назвать чудаковатой. Микола хорошо учился, хотя и бросил школу после восьмого класса да еще год прогулял,— потом поступил в техникум механизации, откуда его и призвали на действительную службу. Играл на баяне, был лучшим шахматистом в селе, и сейчас еще две коробки с шахматами стоят на большом сундуке.

При том, что все черты Миколиного лица были крупные, угадывалась в нем какая-то тонкость, как говорили в дни ее молодости, благородство в лице и в душе, и это особенно чувствовала она, мать. Лаврин, когда, бывало, поссорятся, махнет рукой, словно лопатой, и уйдет из дому, а Микола — тогда еще мальчиш-

ка — все вертится около нее, то подаст что-нибудь, то чем-то поможет — зарабатывает прощение. А она уже в душе давно простила обоих. Матери казалось, что он частенько смущался, но неловкость свою старался прикрыть острым словечком или какой-то выходкой. Впрочем, временами бывал действительно очень веселым, — тогда его будто что-то несло на широких и легких крыльях.

Павлина огляделась вокруг. Стояла на утопанной тропинке между огородами, а с двух сторон ее обвивали белые, красные, розовые цветы. Мак уже начинал облетать.

Павлине вспомнилось, как когда-то, еще маленьким, Микола срезал маков цвет почти с половины огорода, расставил в кувшины с водой и, надеясь на похвалу, ожидал ее с поля. Ох и рассердилась же она тогда! Ох и отхлестала его за этот маков цвет! Пока самой не стало жаль парня, и тогда она тоже расплакалась.

Жило что-то в Миколиной душе, отличавшее его от других ребят. Он любил музыку и песни (хотя стеснялся, когда в праздники вместе с другими начинала петь его мать), любил цветы. Случалось, возвратится она с работы, а он уже и свиней покормил, и дров нарубил, еще и выставил на столе и на подоконнике кувшины с сиренью, петушками или пионами. В их селе цветы в кувшины не ставили даже девушки. Правда, починить что-либо по хозяйству, насобирать хворост, помыть пол по собственному желанию — бывало редко. Микола, как и все другие ребята, носился по выгону или лугу, опустошал сады и огороды, и ей приходилось выслушивать от односельчан немало жалоб. Когда подрос, тоже был не очень большой охотник до домашней и дворовой работы — ему бы в поле или на сенокос. Там, в летнюю пору, и пропадал с утра до вечера.

Заметив, что вспоминает о Миколе вроде бы как о живом, но в далеком прошлом, Павлина испугалась, растерянно огляделась и направилась к своему двору. Ступила на молодую траву у огородной калитки и увидела на широких, потемневших и перекошенных от времени воротах Сашка, соседского мальчишку, смуглого, стриженного под нулевку сорванца, которого не раз уже сгоняла с тех же ворот. Хотела отругать его, но, услышав шаги, Сашко оглянулся, вскочил во двор и

закричал, размахивая руками, словно мельничными крыльями:

— Тетка Павлина, тетка Павлина, вам письмо! Мать говорит — от Миколы.

У Павлины обмякли ноги, а сердце забилося часто-часто, так что ей пришлось прижать руку к груди.

Это было так неожиданно, почти невероятно. Вон сколько ждала, а сейчас что-то не позволяло ей до конца поверить в эту радость.

— Я сейчас принесу...— крикнул Сашко.

Но Павлина уже бежала впереди него. Катри дома не было, хата была не заперта, а письмо лежало на столе, на заплатанной набивной скатерти. Павлина схватила белый треугольник, и почерк показался ей незнакомым. Но она ничего не успела подумать, не успела испугаться, как к ней из раскрытого листа рванулись два слова: «Дорогая мама». Да, это писал Микола. Она бы не смогла объяснить, как и почему почувствовала, что к ней обращается ее сын. Так ведь все сыновья обращаются к матерям, но сердце уловило, что это Микола. Она закрыла глаза, но в следующий миг что-то в ней затрепетало (а может, он ранен? искалечен?), и она быстро пробежала глазами ровные, четкие строчки. Их, на удивление, было немного, совсем мало, сын писал скупно и коротко: «Дорогая мама! Я жив и здоров, а долго не писал, потому что был в госпитале, не хотел вас огорчать и тревожить. А теперь уже выздоровел, служу в рабочей команде, кладем печи, ремонтируем к зиме дома, потому что тут тоже прошла война, и кругом разруха и работы много. А где — сообщить не могу, сами понимаете, военная часть — тайна. Но теперь уже не беспокойтесь. Жив ли Лаврин? Как Дарка и ее дети? Как там вы сами? Кланяйтесь всем и передавайте солдатский привет от вашего сына Миколы».

Радость захлестнула Павлину. И потекла по всему телу, и Павлина почувствовала себя такой легкой, что и взлететь могла бы. А слезы катились по ее щекам, падали на руку, на письмо, которое она продолжала держать перед собой. Микола жив, он в рабочей команде, и теперь ему не угрожает вражеская пуля — большей радости на свете быть не могло.

Это уж потом, перечитывая письмо по строчке, по слову, кое-чему она удивлялась, и неясная тревога проникала в ее сердце. Почему Микола не написал из гос-

питался, когда начал поправляться или выздоровел, а отозвался уже из рабочей команды? И разве это такая уж тайна — где находится рабочая команда, а если и тайна, разве нельзя сообщить о своем местонахождении какими-то намеками? Как это сделал Ковалев Семен: «Ох, и голосистые же шепетовские девчата», или позже: «Сосны тут называют смереками, а из села, в котором стоим, видна самая высокая гора здешних мест». Да и сам Микола писал раньше о больших арбузах и очень звездных ночах. Удивляло и то, что сын написал так мало, почти ничего не рассказав о себе, не похоже это было на Миколу, разговорчивого, откровенного, ласкового по отношению к матери. Она, конечно, понимала — иначе и быть не могло: война обожгла, иссушила душу Миколы, вот ему и не хотелось высказывать матери свою боль. Хотя мог бы все-таки рассказать о себе немного больше.

Впрочем, так она перебирала строчки сыновнего письма позже, через неделю, через две, а тогда, едва забежав домой, открыла сарайчик, загнала кур на насест, бросила поросенку поест и метнулась на Загайки к Гале. Грицькова Галя — самый близкий после Миколы для Павлины человек. Микола и Галя любили друг друга с ранней юности и, вероятно, поженились бы, если б не война. Это была искренняя и красивая любовь. Пожалуй, прежде всего красивая, потому что красивой была Галя. Красивой во всем. И тут Павлина — хоть сын, родная кровушка, в самом сердце — отдавала предпочтение ей. Высокая, стройная, с тонким лицом — красивые дугообразные брови, голубые глаза, прямой ровный нос, высокий лоб под смолистыми волосами, — она скорее походила на городскую девушку. Такая красота зачастую рождает излишнюю уверенность в себе и надменное отношение к другим, пусть даже глубоко скрытое, но которое люди все же угадывают. Всего этого не было в Гале. Всегда приветливая, она ни перед кем не заискивала, никому не льстила, вела себя ровно и просто. Перед войной поступила в Черниговский пединститут, но летом работала в колхозе — на табаке и свекле — и помогала по хозяйству дома, вечерами же распевала с подругами на посиделках где-то на краю села, откуда Микола провожал ее домой. И никогда не было вокруг них сплетен, и ничей недобрый взгляд не пересекал их пути. Красивые оба, красивая пара — счастья им!

Галя не вышла замуж, хотя в сорок третьем, сразу после освобождения, когда неподалеку от их села разместился военный аэродром, немало новеньких, до блеска начищенных офицерских сапог проскрипело мимо ее двора, заворачивая и во двор; и в пединституте, где она продолжала учебу, увивались за ней парни, хоть было их там не так уж много; говорят, даже один преподаватель сватался, доцент, но Галя и ему отказала. Ждала Миколу. Павлина и сроднилась с ней почти как с невесткой, заходила к Грицькам, а Галя навещала ее.

В субботу Галя всегда приезжала домой. Сегодня как раз суббота, и Павлина надеялась застать ее, поделиться с Галей той радостью, что половодьем хлынула на нее из Миколиного письма.

Галя оказалась дома, развешивала белье на заборе. Прочитав письмо, несказанно обрадовалась, хотя сразу же по лицу ее пробежала едва уловимая тень. Павлина вмиг все поняла и даже удивилась, что до сих пор не подумала об этом: Микола в письме ни единым словом не вспоминал Галю. Павлина посмотрела на девушку и, заметив, что ее растерянность слишком прозрачна, поспешила сказать, что это ведь первое письмо, что Микола только дал знать о себе и потому письмо такое куцее...

Этимися словами она отмела некоторые свои и Галины сомнения, а некоторые, наоборот, засеяла гуще. Но это все позже, а в тот день все сомнения, как полосу, тотчас унесло ветром.

Второе письмо от Миколы пришло, когда вместо цветов на огороде покачивались сухие блестящие маковки и подсолнухи склоняли тяжелые головы к самой меже. Было оно еще короче — «жив, здоров, чего и вам желаю» — и опечалило Павлину. Она уже не побежала с ним к Гале, да и Галя за все это время заходила к ней только раз — обе носили в себе что-то невысказанное, словно стыдились чего-то. Павлина и вправду стыдилась: Микола так и не ответил на Галино письмо, хотя она, преодолев в себе стыд и гордость, написала ему на «полевую почту». И домой ничего не писал о ней, хотя мать ему аккуратно выводила печатными буквами в конце каждого письма: «привет от Гали». Не находя объяснения этому молчанию, Павлина носила в себе какую-то неясную тревогу, которую не могла никому высказать. Что-то ее сдерживало, правда, она всегда была неразго-

ворчивой и в душе осуждала женщин, выбалтывающих соседкам свои семейные тайны. Убегала в Даркины и Лавриновы заботы, в работу,— хотя ей было уже за пятьдесят, она по-прежнему была едва ли не лучшей звеньевой в колхозе. «На таких, как ты, Павлина,— сказал на собрании Сильвестр, председатель колхоза,— держится нынче наше хозяйство и весь тыл». Она смутилась — ведь работала не ради похвалы, никогда ее раньше никто и не хвалил,— просто на рассвете первой выходила на участок, за ней тянулись другие женщины; управившись со своей нормой, помогала тем, кто болен или у кого маленькие дети, в этом видела смысл жизни — своей и других, это стало просто самой жизнью.

О Миколе же раздумывая, решила, что все прояснится при встрече с ним. Тревожила ее печальная догадка, что Миколу сильно покалечило на войне, может, рана обезобразила его лицо (если бы был без ноги или руки, его б не оставили в трудовой армии), вот он и не хочет писать Гале, и поэтому изменился его характер. Она бы давно поехала к нему, но он по-прежнему не указывал адреса.

Микола приехал ранней осенью сорок четвертого года неожиданно, не предупредив о своем приезде. Пришел со станции вечером, когда Павлина уже засветила каганец (он чадил в предпечье). В хате стояла полутьма, и Павлина не сразу узнала солдата, молча переступившего порог с маленьким чемоданчиком в руке. А узнав, запричитала, бросилась обцеловывать худое лицо и руки, которые Микола тщетно пытался отнять, стараясь успокоить мать:

— Ну, чего вы, мама. Видите — живой и здоровый. Я же писал...

Она действительно видела, что он живой и здоровый, только худой и какой-то... то ли постаревший, то ли усталый, то ли пригасший, а может, и все вместе. Это она уже рассмотрела, когда зажгла лампу — довоенный восьмерик, стоявший на посуднике и заправленный на всякий случай. Увеличились ранние залысины, лоб стал более выпуклым и блестел. А русый, коротко подстриженный под бокс чуб растекался в стороны двумя волнами; как и когда-то, эти волны оставались непослушными, и он загребал их пятерней. Загребал и сейчас, а сам озирался по сторонам, едва заметно улыбаясь. Видно, его смутило какое-то запустение в хате. Он подергал дверь в пустую комнату (она стояла запертой

с тех пор, как его призывали в армию), для чего-то потрогал спинки скамеек, стоявших вдоль стен.

Однажды, вместе с Лаврином перепилив надвое старую-престарую прадедовскую лавку, они вставили в эти две половины ножки, приделали спинки и назвали их диванчиками. Микола скользнул взглядом по фотокарточкам в старых, изъеденных шашелем рамках под усыянным черными точками зеркалом, украшенным рушником. Он с удивлением присматривался ко всему, словно не веря, что вот прошло столько времени, а все стоит, как стояло, только потолок как будто стал ниже и окна — меньше, а сам он — выше. Старая отцовская хата как бы отзывалась теми припрятанными тайнами, какие он здесь оставил, той жизнью, какую не взял с собой на фронт и какая продолжалась бы и дальше, если б он погиб. Ему стало немного не по себе, радостно и почему-то жутко. Все тут было простым и вечным. Стало быть, сохранилось что-то и от отца, и от деда, но он этого не ощущал, а свою прошлую жизнь чувствовал как нечто радостное, настоящее, без обмана и горя — с маленькими неправдами и с еще меньшими обидами.

Минуло четыре года, как он ушел отсюда, жил в землянках и во дворцах, всякого насмотрелся, а снилась ему только она, отцовская хата, порою с какими-то переменами, и в снах этих ему было на редкость спокойно и уютно. Ему и теперь едва ли верилось, что он стоит в родной хате, не таким представлялся ему этот момент, и сам он себе — тоже не таким, вот и стоит сейчас, не зная, что делать. И в воображении матери момент этот представлялся немного иным, хотя сейчас она о том не думала, сейчас она вся прямо светилась радостью, одного только не знала — отчего у нее на сердце еще и щемящая боль? Почему-то снова к глазам подступили слезы: вспомнились однолетки Миколы, которые уходили с ним и на которых уже пришли похороны, но она испугалась этой мысли, боясь опечалить ею приезд Миколы, а мысли витали вокруг этих лет, где-то краешком они охватывали все ожидания, все страхи, с утра и до ночи висевшие под этим потолком, а теперь от них ничего не осталось, только тяжелая полоса в памяти. Павлина плакала от радости. Она суежилась, побежала в чулан, принесла оттуда тоненький желтый кусочек сала, начала перестилать скатерть, а затем всплеснула руками и кинулась к двери:

— Сынок, я на минутку... Сбегаю к Гале, она часто приезжает домой и в будни. Мы вместе ожидали тебя...

И тогда Микола остановил ее. Не сразу, а когда она уже была у двери.

— Не нужно, мама.

— Почему? — в недоумении спросила Павлина.

— Ну... не нужно... Я женат, — тихо промолвил и отвернулся к столу.

— Боже, — ойкнула Павлина и даже стиснула губы, так и напрашивались слова: «А как же Галя?», но промолчала. — Кто же она? — спросила вместо этого.

— Кто? Человек. Женщина, — пожал плечами Микола.

Оба они чувствовали горькую неопределенность этой минуты, ее тяжелую пустоту, в которую густо стекались мысли и просачивалась боль. Вероятно, тягость этой минуты Микола чувствовал не меньше, чем Павлина. Он положил ей руку на плечо, легонько привлёк к себе:

— Так получилось, мама... В госпитале... Клара там была санитаркой. Все... не очень просто.

В этом Павлина узнала прежнего Миколу. Поняла и поверила, что у сына действительно все сложилось очень непросто, она слышала в его словах затаенную боль, и на миг ей стало жаль его. Однако это состояние продолжалось недолго: объяснение сына хоронило надежды, она почувствовала, как несправедливо жизнь обошлась еще с одним человеком, хорошим человеком, принесшим немалую жертву, и даже слезы подступили к глазам. «Разве что это было вынужденно», — но вслух никаких слов не произнесла, понимая их бесполезность.

— Почему же она с тобой не приехала? — спросила, то ли не осмелившись, то ли не желая называть невестку по имени.

— Она на службе. Да и я только дня на два, — и после долгой паузы добавил: — Пока что...

В этот вечер они больше не касались женитьбы Миколы. Немного узнала Павлина о своей невестке и в последующие два дня. Микола явно не хотел об этом говорить. Вероятно, чтобы избежать расспросов соседей, а может быть, из боязни, что придет Галя, на следующий день наточил косу, пошел на дальний огородик, выкосил там просо и собрал подсолнухи, а на третий день

выкосил болотце за огородом под лесом, нежар — сухую красную осоку.

Павлине, конечно, очень хотелось позвать в гости соседей — так повелось, когда возвращались фронтовики, пока чаще инвалиды. Будут расспросы: «Не встречал ли моего?», будут слезы, и печаль, и грустная песня, но — так надо, нельзя прятаться от чужого горя, нельзя замыкаться со своей радостью, потому что для многих это тоже хоть какая-то, а радость: своя надежда в чужой радости — может, и «наш» возвратится. Ведь столько времени не было от Миколы никаких известий, а тут вдруг словно из воды вынырнул.

Однако на этот раз Павлина гостей не позвала. Может, оно и лучше — Гале было бы тяжело услышать о такой вечеринке. Павлина вязала за Миколой в маленькие аккуратные снопики просо — оно выдалось низенькое, чахлое, поэтому-то Микола и скосил, а не выжал его, — носила с болотца на холм большие лохматые снопы нежара, а сама не спускала с сына глаз. Не верилось ей, что это Микола косит: он разделся до пояса, остался в защитного цвета галифе и хромовых сапогах, тело у него было белое, не загоревшее, худое, ключицы выдались вперед, живот запал, он даже ремень затянул на последнюю дырочку. И снова он казался ей не таким, как когда-то, а увядшим, слишком ушедшим в себя. Видно, не давало ей покоя прошлое сына и Галины: уж очень красивым было, и чистым, и многообещающим. Теперь, очевидно, жалел и терзался, да еще и совесть мучила. «К чему же тогда было?..» — вырывались из Павлининой души слова, но она гасила их, старалась улыбаться сыну, просила не торопиться, отдохнуть, пообедать. А он с какой-то тяжелой сосредоточенностью водил косой, почти не поднимая глаз от земли, укладывал покос к покосу. Только раз, когда они присели на снопах осоки перекусить и она подала ему намазанную смальцем горбушку, с утыканными в мякоть долька чеснока, он искренне улыбнулся детской улыбкой. Наверно, вспомнил, как обедали до войны. Тогда после работы они варили картошку. Огонь в конце огорода под вязом разжигал он, а она чистила картошку, мыла пшено и крошила сало. Кашу непременно заправляли старым салом.

Павлина взялась было устанавливать треногу, чтобы и сейчас сварить кашу на огороде, но Микола не захо-

тел. Она сварила кашу в печи, но каша там так и остыла: одна за другой начали сходиться соседки — прослышали все-таки, — и были это не праздничные визиты, просто заходили посмотреть на солдата, спросить, не встречал ли на трудных военных дорогах их сыновей и мужей, и не задерживались долго, потому что невесел был солдат, и невесело становилось у них на сердце, и, расходясь по домам, вытирали передниками слезы в уголках глаз.

Микола уехал на рассвете, Павлина проводила его до станции. Шли вдоль Зозульки, по ту сторону речушки желтело колхозное жнивье, по эту — серели огороды, к ним прилегали зеленые лужки со скошенной отавой, обильно залитые росой. Когда проходили Грицьков огород, Микола сбился с ноги, посмотрел на высокие осоки, под которыми белела хата, и ускорил шаг. Именно от этих осокорей они с Галей почти каждый вечер спускались по протоптанной тропинке к реке и либо шли в клуб, либо подолгу стояли на берегу над водой. Там издавна было у них свое место. Когда-то, еще на Миколиной и Галиной памяти, тут был мостик, потом он обветшал и рассыпался или же его смыло паводком, новый мостик поставили значительно выше по течению, а тут осталась лишь небольшая запруда, с обеих сторон стискивающая Зозулку, и та сердито клекотала и закручивала таинственные водовороты. На этих плесах когда-то начиналась их любовь.

Нет, конечно, не на этих. Та вода сплыла, растворилась в море, а может, испарилась и осела росами на других лугах, где тоже вечерами бродят парочки.

Он заметил, что как-то странно и непривычно и чересчур красиво подумал о своей реке. С Зозулкой и в самом деле было связано много воспоминаний. Лунными вечерами они подолгу глядели в свои отражения на плесе. Он был в белой рубашке, она в светлом, вышитом по воротничку платье. Когда они целовались, то целовались и две белые тени в воде, — он любил подглядывать краешком глаза. Галя же не любила: стыдилась, она вообще стыдилась ласковых слов. Они бросали в воду чурки, кусочки коры и наблюдали, чья перегонит. Иногда он пугал ее: шел по черным, прогнившим сваям к противоположному берегу. Ступал осторожно, балансируя руками. А она молча стояла над водой, притиснув руки к груди, боясь спугнуть его.

А то просто сидели на пне вербы, смотрели на большие белые звезды, качавшиеся на плесе. Течение уносило воду, а они оставались на месте, будто вбитые в дно серебряные копья.

Неожиданно ему пришло в голову: сколько же раз вспоминал он это место и эти вечера на войне! Иногда ему казалось, только и жил воспоминаниями о них и еще надеждой.

Микола удивленно оглянулся, словно вдруг пробудившись ото сна, и пошел так быстро, что Павлина едва поспевала за ним. За всю дорогу к станции он больше не останавливался и ни разу не оглянулся.

2

Микола уехал, а Павлина, возвращаясь домой, стояла некоторое время у запруды, несколько раз порывалась было ступить на тропинку, что вела к хате Грицьков, но не пошла, не решилась. Пришла домой, там ее ожидала пустота — гнетущая, редко нарушаемая сверчками тишина, грусть. Позвала кошку, и собственные слова отозвались эхом, словно произнес их кто-то чужой. Остановилась перед зеркалом, под которым в большой кленовой рамке висел десяток фотографий родных и знакомых, среди них и Галина. Девушка стояла в венке, в лентах — выступала в районе на олимпиаде и сфотографировалась. Павлине венок этот всегда казался свадебным. Она и сейчас прежде всего зацепилась взглядом за него и сразу почувствовала себя в чем-то виноватой, ей показалось, что она чем-то оскорбила венок, ленты и саму Галю. И тогда же подумала, что понесет Гале тяжелое известие, как собственный грех, во искупление его. Конечно, она может и не идти к Гале, достаточно намекнуть соседям, что Микола женат, и эту весть сразу принесут девушке, но это будет нечестно, подло. Ей нужно пойти самой.

Несколько дней собиралась, а в субботу пошла встречать Галю к поезду. На ее счастье, людей из вагонов вышло немного — четыре паренька, которые учились в ремесленном училище в городе, они быстренько направились в село, да Федор Климчук — машинист паровозного депо, он зашел на станцию. Галя не заметила ее, с чемоданчиком в руке пошла по дорожке вдоль железнодорожной посадки, Павлина ее догнала уже на огоро-

дах, около села. Оглянувшись на звук шагов, Галя остановилась и словно оцепенела. Ей уже сказали, что Микола приезжал домой, но не искал ее. Тяжелые догадки роились в голове. Только не знала она, какая из них должна окончательно подсесть ее веру.

Жила в девушке и гордость, горькая, болезненная и оттого жестокая, холодная, с ней Галя собиралась встретить вторую весть. Стояла на дорожке — высокая, стройная, полы дешевого синего пальтишка шевелил ветер, — держала перед собой двумя руками легкий чемодан и с усилием улыбалась. Ей казалось, что эта улыбка лучше всего скроет ее тревогу и стыд перед матерью бывшего жениха, который так легкомысленно и жестоко пренебрег ее любовью.

— Здравствуй, дочка, — сказала Павлина и сразу же почувствовала, какое тяжелое и не соответствующее разговору, который должна была начать, это слово «дочка». Она предполагала начать разговор издалека, вести его какими-то окольными дорожками, но неожиданно слова вырвались словно сами по себе, вероятно, их потянуло за собой то первое слово. — Бог тому свидетель, надеялась называть тебя дочерью, только тебя... Война — наша злая судьба... Не виноват он, Галя... Не виноват.

Галя все поняла. И хотя последнее время готовилась к такому известию — поведение Миколы вызывало именно такую разгадку, — оно пронзило ее. Стояла без кровинки в лице, смотрела куда-то вдаль, и большие ее глаза были наполнены тяжкой горечью. Губы побелели, скривились не то насмешливо, не то болезненно и проговорили твердо, отчеканивая:

— Я не набивалась вам в невестки, тетя Павлина.

И тут Галя почувствовала, как нахлынула боль. Вместе с тем в груди зашевелилось что-то горячее, жалящее, ее охватила жажда расплаты, желание отомстить за эту неизмеримую обиду.

— Таких, как ваш Микола... Я ведь ему сказала, когда расставались, что буду ждать, если не найдется лучший. А... уже нашелся...

Она засмеялась, но Павлина заметила, как судорожно, болезненно сжались ее губы, ей до боли стало жаль девушку, захотелось обнять ее, прижать к груди. Но сразу же невесть откуда появилась холодная мысль и остановила Павлину: «Я ее растревожу еще больше».

Так думала Павлина, но сердце продолжало щемить, и она вдруг, неожиданно для самой себя, заплакала. Обхватила худенькие Галины плечи и зашептала тихо и грустно:

— Доченька моя, доченька...

Девушка еще мгновение стояла в напряжении, как натянутая струна, а затем уткнулась головой Павлине в грудь и тоже заплакала.

Они хорошо выплакались (их никто не видел, тропку в этом месте обступали густые заросли кустов) и пошли в село. Уже у самой запруды, прощаясь с Галей, Павлина сказала:

— Никто не может изменить своей судьбы. Нужно жить, нужно забывать прошлое. А тебе — выходить замуж.

Сказала без слез, спокойно, рассудительно, хотя и жалея Галю.

С того дня Павлина будто успокоилась, примирилась. Если раньше ожидала сына с трепетом, словно от его приезда зависело что-то важное, то теперь ожидала иначе — помощника в доме, хозяина во дворе. Микола и дальше писал все так же редко и скупо, и, хоть через некоторое время указал адрес, она к нему не поехала, чувствуя, что ее приезду будут не очень рады. Не любила об этом говорить с соседками: обманывать не могла, жаловаться или оговаривать сына — такого и в мыслях не было. Продолжала работать в поле, хозяйничала в огороде, помогала Дарке, своя же усадьба ветшала, хотя Лаврин кое-как поддерживал ее.

Окончилась война. Павлина как раз сажала картошку, когда на пожарной зазвонил колокол — быстро, чуть ли не захлебываясь. И все сразу поняли почему, — запричитала старая Скринничка по своим трем сыновьям, побежали по улице школьники, созывая людей на митинг. В душе Павлины сплелись печаль и радость: печаль по трем Скринниченкам и по всем другим, кого оплакивали матери, и радость, что теперь Миколу уже ничто не угрожает и он возвратится домой.

Микола же, как видно, пока домой не собирался, и Павлина постепенно привыкла к своему одиночеству, хотя оно было теперь совсем не таким, как прежде, когда она ждала весточки от сына. Тогда ее хата была наполнена тревогой, а то и мрачной обреченностью. Затрещит, бывало, сверчок в красном углу — тут же тревога побе-

жит по сердцу и тяжелая, как жернов, мысль закружится на месте. Хотя Павлина не очень верила в приметы, старалась не верить, однако не могла не вспомнить, что про такое говорят в селе: сверчок в красном углу — на смерть. Если бы, конечно, это предсказание касалось ее, Павлина не боялась бы. Но ведь где-то там под бомбами и пулями Микола!..

Теперь хата была до краев наполнена тишиной и задумчивостью. Павлина садилась у окна или ложилась на лежанку и слушала тишину. Возможно, она бы ее и не ощущала так громко, если бы не старые ходики на стене: «тук-тук, тук-тук», выковыывают тонкий и шаткий мостик между прошлым и будущим. Ходики куплены еще в николаевские времена, когда Павлина и Денис только поженились. Смотрит Павлина в густую темень длинной улочки, на которой желто мигает одинокий огонек, думает-передумывает свою жизнь, и почти всегда ее мысль вертится вокруг двух мальчишеских головок, одной — большей, чернявой, другой — меньшей, белобрысой. Вспоминает, как дети учились ходить, выговаривать слова, как и когда пожалели ее, какие были сообразительные и сердобольные. И невинные шалости вспоминаются, и озорство, проказы.

Как-то Микола целился из хаты камнем в воробья, а попал в голову Лаврина, и того залило кровью — Павлина сегодня снова переживала свой давний испуг и отчаяние. А то, помнится, пили чай, а Микола где-то бегал, ему не хватило заварки, и тогда он тихонько съел все, что осталось на дне чайника, и хвастался сквозь слезы: «Вы кай выпили, а я каюху поел». Приходили и горестные воспоминания: поехали Микола и Лаврин в лес и заблудились, два дня их искали, еле пережила те дни. Такое вспоминать не любила. Больше ворошила в памяти хорошее: как они рубят дрова — Лаврин колет, а Микола носит, как копают картошку и полудничают все вместе, ребята непременно разжигают костер, и терпко пахнет печеный картофель. А позже, когда Лаврин ушел из дома, Микола почувствовал себя хозяином и вроде ее защитником, хлопотал за них обоих.

С тем она и засыпала. Вынашивала в голове целую повесть о Миколу, и чем дальше тем полнее становилась повесть, дополнялась новыми воспоминаниями. Микола выступал в ней только ребенком, она редко вспоминала его юность и уж совсем не любила вспоминать

его последний приезд. Что-то омрачало ее, печалило, этот Микола не был похож на того, прежнего. Уверяла себя, что это ей показалось, потом решила, что у него, возможно, что-то случилось перед самым приездом, и потому был так не похож на себя. Теперь ждала, когда он возвратится насовсем.

Однако еще три раза цвела на Павлинином огороде картошка и уже начала выбрасывать тугие зеленые почки в четвертый раз, когда Микола возвратился в село. О своем приезде написал заранее, хотя дня не указал.

Тяжело было Павлине встречать невестку. Много дней готовилась она к этой встрече, уговаривала себя: это счастье Миколино, что встретилась ему такая девушка, видно, он многим ей обязан, может, и жизнью. А все же что-то в ней восставало, сопротивлялось этим мыслям. Более того, сердце ныло от непроходящей боли по другой поломанной судьбе.

Два месяца назад в село возвратилась Галя. Не одна, а с малым ребенком. После окончания института учительствовала где-то за Черниговом, но, видимо, оставаться там ей было нельзя, и она возвратилась к матери. Павлина не могла найти иного объяснения Галиному поступку, как только — страшная обида и разочарование. Хоть и выкосила война парней, но на такую девушку обязательно кто-то нашелся бы. И вот теперь эта обида и боль мешали Павлине затеплиться сердцем к невестке. Беспокоило ее и то, что невестка — горожанка (Микола как-то писал об этом), хотя в глубине души и чуточку нравилось — все-таки не простую девушку выбрал Микола, и льстил самолюбию тот интерес, с каким дожидались соседки приезда ее сына с невесткой. Нравилось ей и имя невестки — Клара, нездешнее, немного таинственное и загадочное. Почему-то невестка представлялась ей брюнеткой, тонкобровой и гордой.

Однако на самой деле она оказалась совсем другой. Была высокая — в теле, как говорили у них в селе, — грудастая, с круглым лицом, большим выразительным ртом и немного вздернутым носом, высоким лбом и темно-рыжей копной волос над ним. Не сказать, что неинтересная, но и не красивая. Соседки, зачистившие в хату, переглядывались, вероятно, сравнивая ее с Галей. У Павлины сжималось сердце, и уже не столько от жалости к Гале, сколько от обиды на соседок. Боялась также, чтобы невестка ненароком не осрамила ее и

сына, как случилось у Музык,— вот точно так пришел со станции Женька с женой-горожанкой, а она плюхнулась на стульчик, руки опустила и говорит: «Женя, вымой мне ноги». И Женька внес лохань и начал мыть ноги своей жене. Позже оказалось, что невестка Музычихи не такая уж и плохая, но от сыпавшихся насмешек Женьку уже ничто не могло спасти. Возможно, Павлина не столько за себя боялась, сколько за Миколу и Клару. Однако Клара падать на скамеечку не собиралась. Она крепко у всех на глазах расцеловала свекровь, затем распаковала один чемодан и набросила ей на плечи платок, такого красивого, никогда невиданного Павлиной цвета, что у соседок даже глаза заблестели. Клара с любопытством осматривала хату, уважительно расспрашивала, кто там на фотографиях под зеркалом, и искренне смеялась над надутым, стриженным пареньком с гитарой в руках. Этим пареньком был Микола. Потом Павлина водила ее по огороду и по садику, и невестка все расспрашивала: «А это что, мама?.. А это, мама, какой овощ? А это какой цветок, мама?» «Мама» да «мама» — так и убаюкивало Павлинино сердце. «Сережки? Разбитое сердце? Ах, как красиво! Они и вправду похожи на сережки и на разбитое сердце». А когда под вечер сели за стол, выпили по рюмке, по второй и Клара, по просьбе Лаврина, отгадавшего у нее голос, запела «Кисет», а затем «Темную ночь» и «Землянку», — сразу расположила к себе все общество. Женщины пригорюнились, мужчины начали скручивать сигарки, а Клара, почувствовав это настроение, тотчас увела всех на ту веселую поляночку, где молодой парень на тальяночке признается в любви девушке. Клара и Дарку увела за собой, хотя та сначала и отказывалась, но у нее тоже был хороший голос, и уже в паре запели «Ехали казаки» и «Месяц на небе». И долго в тот вечер неслись по селу из Власюковой хаты песни, и заслушивались люди, говоря друг другу: «Счастливая Павлина. Оба сына вернулись, да еще и невестки такие здоровые и веселые».

Павлина в самом деле чувствовала себя почти счастливой. Только иногда что-то омрачало это настроение, как скользящее облачко на небосклоне в ясный ветреный день, которое вскоре улетучивается. Так бывает, сверкнет на миг молния по краю дождевой благодатной тучки — екнет сердце, а уже гром счастливо раскатыва-



ется по душе и тяжелые теплые капли пробуждают прочную надежду.

На второй день Павлина встала рано, чтобы сварить молодым завтрак, но и Клара вскоре вышла из комнаты. В юбке, без кофты — в лифчике, кружевной сорочке, из-под которой выпирала упругая грудь, — заспанная, румяная, она умылась у крыльца и начала распаковывать чемоданы. Доставала платья, платки, кофточки, без хвостовства, а так, по-хорошему, по-семейному по-

казывала Павлине, примеряла около печи, в которой гудело пламя, и казалась даже красивой в красных отблесках, и Павлина вдруг подумала, может, оно и к лучшему, что они поженились с Миколой, будут у них здоровые дети и счастливая семейная жизнь. Клара хотела одарить свекровь еще рубашкой и кофтой, но Павлина отказалась, хотя ей, конечно, было приятно внимание и щедрость невестки. Она даже разволновалась и, когда взялась высвобождать в сундуке место для Клариного добра, не удержалась, стала показывать доставшиеся ей от матери и бабушки, но до сих пор новые корсетки, платки, рушники, пару галош, купленных при нэпе и ни разу не надеванных, намекнув Кларе, что все это теперь и ее, если она захочет что-нибудь надеть либо перешить, пожалуйста, пусть берет.

Клара, примеряя чепчики и корсетки, весело смеялась. Павлине нравился ее смех. Из комнаты вышел Микола. Клара повертелась перед ним, и плиссированная, с синей бархатной оторочкой юбка завихрилась, как у девушек на сцене. Павлина улыбнулась, посмотрела на Миколу, а тот, проведя пятерней по продолговатому заспанному лицу, отвернулся. Павлина поняла: Миколу не понравилось, что Клара надела ее кофту,— и это показалось странным.

В тот день она не пошла на работу, хозяйничала по дому, помогала невестке устраиваться (комнату она побелила еще раньше), разговаривала с ней, вспоминала о своей жизни, а больше о Миколу: его детстве и юности. Сам он о себе почти ничего не рассказывал Кларе. Микола прибил вешалки, подтесал двери из комнаты в сени (туго открывались), распахнул окно, вставил нижние стекла и починил раму, которая рассохлась, потрескалась и Павлина давно уже забила ее наглухо. В хлопотах, в веселых разговорах прошел день, а под вечер Павлина повела их к Лаврину, там снова собрались гости, и поздравляли Миколу с возвращением и женитьбой, и пили самогон из патоки, и приглашали Клару к рюмке и к пению, она не жеманилась, пила и пела, и вечер тот запомнился всем надолго.

Павлина радовалась больше всех, ее только немного беспокоил Микола, был он, как и в первый приезд, будто чуточку не похож на себя, не то чтобы чужой, а слишком задумчивый или углубленный во что-то. Он часто улыбался, но и улыбка его казалась натянутой.

Правда, думала Павлина, тут удивляться нечего: сколько перенес на войне, село же напомнило ему о прошлой жизни, о бывшей любви, вот и сумрачно у него на душе. Но возвращались люди с войны и с большими бедами, а за новыми заботами уже и забыли о них, ну а любовь — тоже печаль не вечная.

Да и некогда было Павлине слишком задумываться в те дни. Ожидая сына с невесткой, за всякими домашними хлопотами (мазала хату, привезла дрова, немножко прибрала во дворе, толкла и молола) запустила огород и колхозную работу, и теперь пришлось наверстывать. Правда, до своего огорода руки пока не доходили: табачная плантация погибала в сорняках, и огурцы уже нужно было прорывать во второй раз, и все это особенно мучило Павлину потому, что она-то и предложила своему звену не делить общую норму на части, а полоть и окучивать вместе: дескать, сообща и волка легче поймать. Но собирать каждый день все звено не просто: у той ребенок заболел, та корову пасет, вот и она целых три дня потеряла, а нормы от того не уменьшились, земля оставалась запущенной. К тому же выходили из трудного, неурожайного года, не больно охотно женщины брались за артельную работу, старались управиться на своих спасенных клочках, и приходилось ей преодолевать все и собирать порою звено чуть ли не с руганью. А чем она могла убедить других, если не собственным примером, не тяжелой, надраенной в земле до блеска сапкой!

На рассвете, истопив печь, сварив суп и поставив на жар чугунок с пшенной кашей, чтобы упревала, она бежала на работу. Не знала, когда встают сын с невесткой; возвратившись с работы, заставляла горшочки пустыми, чисто вымытыми, а к ужину — все подготовлено. Пойло у поросенка было, цыплята сидели на насесте, дрова на завтра нарублены. О доме Павлина больше не волновалась, беспокоил ее огород. Солнце сушило землю, мысли иссушали Павлине голову: нужно и окучивать картошку, и прополоть свеклу, просо, кукурузу. Попробовала полоть, возвратившись с работы, но утром увидела, что в сумерках вместе с лебедой снесла и полряда подсолнухов.

Со вторника звено работало на табаке за бригадным двором, женщины на обед пошли домой, побежала и Павлина, неся за спиной мешок с вьюнком — для поро-

сенка. Повернув в свой переулок, встретила Трушеву Катрю, и та хитровато и насмешливо посмотрела на Павлину, даже замедлила шаг, как будто хотела что-то сказать, но не сказала, просто поздоровалась и пошла дальше, так же странно и, как показалось Павлине, глупо улыбаясь. Что обозначала эта улыбка, Павлина поняла, зайдя к себе во двор. На огороде Микола полел картошку. Если бы просто полел — мало ли мужчин исполняют нынче женскую работу? — а то ведь по соседнему междурядью шагала Клара, в одной руке держа желтый зонтик, а в другой — книгу. Она читала, а зонтиком защищала от солнца себя и Миколу. В первую минуту Павлине стало смешно, а в следующую — взяла досада. Она не сердилась на Клару: должно быть, не приучена к сапке, хотя, наверно, нужно понемногу привыкать, но почему Микола позволил ей ходить за ним с зонтиком! Разве не знает, какие в селе люди... Павлина давно пришла к мысли, что в их селе люди не умеют прощать другим недостатки, что они насмешливы, а порой и жестоки. Если уж начнут над кем-нибудь подтрунивать, прицепят кому-нибудь прозвище — будет носить до десятого колена. Болливый был далекий прадед, а Типуны — весь род, и Носачи, и Свистуны, и Вонючки, а были такие прозвища, что при чужом человеке и вымолвить стыдно. У Власюков было божеское прозвище — Примаки. Но этот зонтик мог привести и к чему-то худшему. Да в конце концов и не в прозвище, не в насмешках, какие мог вызвать этот зонтик, дело.

Бросив под сарай мешок с травой и сапку, Павлина пошла на огород.

— Иди, дочка, в хату, — сказала мягко. А потом сыну: — Ты же знаешь, Микола, какие у нас люди!

Микола расправил натруженную с непривычки спину — был босой, в синей майке и зеленых галифе, — бросил под ноги сапку.

— Плевать мне на людей. Пусть хоть всем колхозом соберутся. Вы, мама, век на людей оглядываетесь и для них живете. А что они вам дали?

И так крепко выругался, как никогда. По крайней мере Павлина от него таких слов не слышала. Она удивилась Миколиной злобе и слегка обиделась за себя, и за своих односельчан, и еще за что-то, а за что, понять не могла. Для себя заметила, что в словах Миколы — вроде бы правда, но правда неприятная, от-

талкивающая. Да, она весь век жила, словно оценивая свои поступки другими людьми, словно вымеривая каждый свой шаг глазами соседей. «Что скажут люди» — вот вечная и высшая мерка, порой злая, а иногда, как отметила сейчас, и точная. Да и как иначе жить в деревне, где все друг у друга на глазах, где порой становятся общими не только топор или лопата, а и слово, и мысль.

— Меж людьми жить...— начала Павлина.

— По-волчьи выть,— невпопад закончил Микола.— Я этот волчий закон знаю. Шкурой вобрал. Это мы не от солнца, а от них зонтиком прикрывались.

Микола злился. Злился без причины. В первое мгновение Павлина обиделась, хотела и сама сказать что-то резкое, да внезапно вспыхнула догадка, что эти слова направлены вовсе не против нее. Это было как прозрение, когда вдруг всплывает то, что забыл и тщетно пытался вспомнить несколько дней, как вещий голос в нас самих. Не против нее и не против соседей всколыхнулся Микола, а против чего-то другого, что, может быть, носит в себе или оставил где-то в прошлом. А возможно, догадка была и не внезапной, просто незаметно складывалась в душе из каких-то отдельных черточек, теней.

Еще в тот, первый приезд она заметила в Миколиных глазах тоску, затаенную боль. Она помнила его беззаботным и беспечным парнем, веселым, охотником до всяких выдумок, а в нынешнем Миколе этого уже не было — все вытеснила постоянная глубокая задумчивость. «Ох, что только сделала война с людьми»,— подумала Павлина несколько спокойнее, как о чужом. И тут же в ней снова вспыхнула тревога, потому что, мысленно произнеся эти слова, она почувствовала, что они еще ничего не объясняют.

Да, война может изменить человека, но чтобы вот так... Ведь пришли же солдаты без рук и ног, а как был Филипп хвастуном, так хвастуном и остался, был Лаврин молчаливым, но добрым в душе, никакой огонь доброты этой не выжег. Что заложено в человеке с детства, то будет носить он до кончины. Павлина помнила в Миколу чистоту и ясность, любознательность и живость. Его душа была как чистое зеркало. Так в чем же дело? Попал в какую-то команду? Застрелил кого-то? Но должен был бы уже забыть, душа должна была бы оттаять рядом с Кларой. Так нет. Сидит дома. Не выходит на улицу. Ну бывает, что молодоженам никто не нужен. Но ка-

кие же они молодожены? Три года женаты. Да и не видно, чтоб уж очень ласкал взглядом жену, чтоб так уж душа в душу жил с ней. Нет, а иногда даже наоборот.

Павлина не могла понять, куда уткнулась его душа, что ее держит, не отпускает. Однако чувствовала, что как-то это связано с Кларой. Почему он не любил оставаться с женой? Павлина давно заметила душевную отчужденность Миколы, его равнодушие к жене, тяжелое и в то же время настороженное. Как-то она незаметно зашла в сени, дверь в комнату была закрыта неплотно, и Павлина услышала, как невестка спрашивала ее сына: «Ты любишь меня?» «Угу», — промолвил Микола. Она знала голос сына, ее он обмануть не мог. А этот зонтик, эта книжка?.. Он их просто терпел. И терпел не из любви. Ежели из любви, то на такое смотрят, как на милые детские шалости, любят, а он вишь как разбушевался.

Бывает и такое, что вроде любят друг друга, а, поженившись, не знают, как перед людьми держаться. Каждый делает вид, что другой ему безразличен, что он или она и поженились-то, лишь согласившись на уговоры, и не собираются терять ни капли свободы.

Пожила Павлина на свете, всякое повидала, было с чем сравнить, но тут никакие мерки не подходили.

Размышления эти не утешили Павлину. Наоборот, она чего-то испугалась и торопливо увела с собой Клару.

— Пойдем, дочка, я покажу гнездо курицы. Тайком нанесла яйца и села на них. Скоро будут цыплята.

Несколько последующих дней Павлина старалась разубедить себя, отрешиться от своих подозрений и догадок, она просто не могла себе представить, что ее сын поступил так легкомысленно, не могла примириться с тем, что после такой войны, после такого горя он должен жить не в согласии со своим сердцем. Однако вскоре произошло событие, развеявшее все сомнения.

Все эти дни ее беспокоила мысль о Миколиной и Клариной работе. Не принято в селах так долго отдыхать, не принято валяться в садике, как валялась Клара (да еще в купальнике), к тому же и достаток Павлины был такой, что при мысли о будущей зиме ее охватывал страх. Ни Микола, ни Клара разговор об этом не заводили. Конечно, она понимала: браться за кнут Миколу не хочется, ей и самой казалось это немного обидным, а

что делать, если до войны специальности не было и не приобрел ее в армии. В техникуме механизации проучился всего год, возвращаться туда не хочет... В пятницу вечером, когда она шла домой, а дорога ее проходила мимо конторы колхоза, на крыльцо вышел председатель, Сильвестр Давидович, и сказал:

— Так вот, Павлина, вчера на правлении выгнали мы Кучмелу и решили передать бригаду Миколу. Хватит ему того... под зонтиком прохаживаться.— И засмеялся.

Павлина вспыхнула, и председатель, уважавший ее как самую хорошую звеньевую, отвел глаза, попробовал замять свою шутку:

— Сама знаешь, какая у нас нужда в руководящих людях. Вот и заместителя настоящего у меня нет...

Поняв предложение председателя, Павлина вмиг простила ему шутку и даже слегка покраснела от радости.

— Да он... знаете... и малопьющий, и работающий. Чего не умеет — научите,— польстила председателю и опустила глаза.

Летела через огороды, едва различая дорогу. А дома с ходу бросила это известие, словно охапку праздничной зелени на троицу.

Микола и Клара сидели за столом. Сын повернул голову, ему, должно быть, передалась материнская радость, глаза засияли, и он улыбнулся:

— Третья бригада — это та, что на Поддубцах?

Но тут же улыбку и радость пресекли холодные, произнесенные как будто в раздумье, но так, что исключали любое возражение, слова невестки:

— Что он там потерял? Сорок пять палочек? И всего каких-то триста граммов на палочку!..

Возможно, они уже прослышали об этом предложении председателя. И даже знали, сколько бригадиру насчитывается трудодней. И что получали в колхозе в прошлом году. По Миколиной улыбке она поняла, что ему польстило предложение Сильвестра Давидовича, да и помнила, что Миколу прежде нравился хлеборобский труд, а все фронтовики после войны рвались к земле, прямо вгрызались в нее,— Павлина ждала, что он скажет. Вместо этого снова заговорила Клара:

— Он завтра поедет в город к Василию Ивановичу.

Павлина видела, как в глазах Миколы метнулись серые тени, как он с трудом застегнул пуговицу на гим-

настерке, и поняла, что он не согласен с Кларой, но не смеет ей возражать. Он и произнес как-то глухо, словно не своим голосом:

— Угу, поеду,— а чтобы мать не подумала чего-нибудь, добавил: — Клара права, теми палочками даже двор не огородишь.

Павлина почувствовала тяжесть в груди, но поняла, что вмешиваться нельзя, что это может привести к беде. В сердце снова поднялась досада на сына, может быть, даже презрение к нему, но одновременно в ней зашевелился страх перед Кларой, она ощутила вдруг ее таинственную силу, которой не могла найти объяснения. Кто его знает, рассуждала она, говорят, что некоторые женщины умеют полностью завладеть мужчиной с помощью своих чар. Говорят, что есть такие... но, стыдливая и нехитрая, она не отважилась отпустить эту мысль дальше. Так или иначе, а вносить разлад в семейную жизнь Миколы она не собиралась. Только спросила его, кто такой Василий Иванович. Он ответил что это главный врач городской больницы, в войну был начальником госпиталя, где работала Клара. Дальше Микола не стал объяснять, а сама Павлина не могла понять, какое отношение может иметь Микола к больничному делу, да и к главному врачу тоже.

Микола трижды ездил в город — раз с Кларой, дважды сам — и, возвратившись после третьей поездки, сказал, что его назначили заведующим отделением заготзерна в Чистых Лозах.

3

С того дня, особенно первые две недели, Микола редко навещался домой. Правда, работы пока было немного, настоящая работа начнется в жатву, но нужно было принять склады, перевесить зерно, подобрать людей. Складов — четыре: два пакгауза на станции, куда в жатву свозили зерно колхозы и откуда его отправляли по накладным; колхозная кладовая в артели Щорса — это как бы промежуточный, дополнительный склад; да еще старый амбар в центре села — там обычно лежало фондовое зерно, а сейчас был засыпан ячмень. Людей тоже не так уже много: он, заведующий, и весовщик, а в горячую пору еще один весовщик, лаборантка и четыре сторожа.

Миколу его назначение малость льстило и немного пугало ответственностью. Однако его успокоил весовщик Куприян Голик, Гривенник, как его прозвали в селе (Микола только теперь узнал настоящую фамилию Куприяна), сказал, что никакой мудрости тут нет, нужно только внимательно следить и все аккуратно записывать в книги. В первом пакгаузе лежало восемнадцать тонн пшеницы, ее перемерили — носили из одного угла в другой, — недостатки не обнаружили. Микола успокоился и, убедившись, что действительно никаких трудностей в работе этой нет и что он с ней справится, успокоил мать, которая, он видел, переживала за него.

Павлина и в самом деле не хотела, чтобы Микола шел на эту работу («Сейчас там такие строгости, — говорила она. — Такие статьи. Филипп Науменков какой юркий был, а и тот на три года сел»), но когда Микола полностью окунулся в работу, когда начал приходить домой озабоченный, проголодавшийся и повеселевший, — успокоилась. И даже обрадовалась, ей показалось, что у него исчезла та непонятная задумчивость, что он даже как-то распрямился, вроде стал выше и более уверенными стали его речь и движения. Но вскоре заметила, что ошибается, что это ей только показалось, что та задумчивая грусть не исчезла, она лишь отступила вглубь, осела на дне души Миколы. Материнским чутьем уловила: горе не прошло, оно цепко держит в своих когтях душу ее сына, и он не знает, как от него освободиться. Возможно, если бы признался ей или Лаврину, ему бы стало легче. Может, они помогли бы ему чем-нибудь. Ну, почему он не выходит на улицу, как все другие, в субботу и в воскресенье там собирается вся сельская молодежь, женатые и неженатые, гуляют все вместе. И в клубе он еще ни разу не был. Павлина удивлялась, что и Клара в этом не имела на него никакого влияния, во всем остальном он уступает ей, делает так, как она скажет, а в кино тянула и не вытянула, разозлилась и пошла одна. Надела коричневое крепдешиновое платье, туфли на высоких каблуках, с улицы крикнула еще раз:

— Может, передумаешь? Говорят, хорошая картина. Про любовь.

— Устал я, — ответил Микола.

Павлина было подумала: вот будет по селу разговоров, когда Клара одна заявится в клуб. Однако это почему-то ее не очень взволновало. Она видела, как Мико-

ла постоял посреди двора — все же немного поколебался, — потом взял деревянную палку, чтобы приделать черенок к лопате, и босой, с перевязанными у щиколоток тесемками галифе, медленно поплелся в палисадник за хату. Сел на вязовый пенек и весь вечер просидел там. Почти не строгал, смотрел куда-то за плетень. Очевидно, думал, что мать занята своими делами и не видит его, а ее будто невидимая сила притягивала в палисадник, только она не решалась туда зайти. Несколько раз заглядывала сквозь кусты, ее обуревала тревога — непонятно ей было все, и сегодняшней вечер особенно. Она чувствовала какую-то тайну. Матерям всегда кажется, что любое несчастье детей они могут облегчить, вобрав его в свое сердце. Вспомнилось, что точно так, бывало, вела себя Щербинина невестка: то веселая, а то загрустит-загрустит, — трижды ее спасали из петли, да так и не спасли. Павлине стало не по себе от таких воспоминаний и подумалось, что наступила очень удобная минута — Клары нет — поговорить, объясниться с сыном, прошла в сад, положила ему на голову руку и спросила тихо, совсем как в детстве:

— Сынок, что с тобой?

Микола удивился и испугался одновременно. До этого ему казалось, что мать ничего не видит, ничего не замечает, не был он готов к ответу и растерялся. В следующую минуту испугался еще больше, ему показалось, что мать читает все у него на лице, а это уже было действительно страшно. И для него и для нее. На этот вопрос он не ответит никогда. Разве что... Однако об этом лучше не думать.

Но как она напугала его, какой адской болью взвилась его душа! Это был второй удар, полученный им с тех пор, как приехал домой.

Первые дни он почти ничего не замечал. Не то чтобы не замечал, напротив, все замечал и чувствовал остро, но как бы защищался от соседей и родственников, от собственных мыслей, он проходил сквозь них, как сквозь что-то враждебное, тратил силы на эту борьбу, жил ею, а черный кошмар воспоминаний, болью и отчаянием наполнявший сердце, как будто бы отдалился, заваялся в седую тучу.

После того как приступил к работе, на некоторое время впал в желаемый обман. Казалось, что работа заполнила его и если не совсем развеяла, то по крайней



мере облегчила тяжесть в душе. Некогда было задумываться, новые хлопоты захватили его всего, ими жил, а предчувствие бури металось за ним следом, как тень. И только краешком души и сознания отмечал, что вот уже пять лет не чувствовал себя так, что эти дни рождают в нем неясные надежды и ожидания.

Однако это длилось всего лишь две недели. Как-то утром, в воскресенье, сойдя с крыльца, он прошел вдоль хаты и вдруг остановился. В палисаднике цвела сирень.

Большой развесистый куст был осыпан тяжелыми кистями — фиолетово-красные, подсвеченные солнцем, они походили на гигантские свечи, поставленные то ли за здравие, то ли за упокой его души. Микола стоял словно замороженный. Этот куст знаком с детства, сирень росла и цвела, а он его помнил и не помнил, видел и не видел. А потом, на войне, он ему снился ночами. Да, снился именно этот куст, хотя Микола только теперь догадался об этом. Тогда же ему снилась родная хата и еще что-то около нее — красивое, легкое! — но, проснувшись, он никак не мог вспомнить что.

Теперь же, в этот миг фиолетовый цвет будто сбрызнул душу отравой. И Микола испугался. Хотя, с другой стороны, при чем тут сирень, при чем здесь цвет? Какое отношение он имеет к нему и к его жизни?

От этой мысли Микола содрогнулся, вероятно, вот так же погружается в опасный водоворот пловец, не зная, что его ждет впереди. Микола снова задумался, кто для него Клара: врач, дающий обезболивающие таблетки, или надзиратель тюремной больницы возле больного? Он думал об этом много раз и ни до чего не мог додуматься, только чувствовал, что с каждым днем, с каждой минутой она становится для него все более чужой, все меньше остается благодарности к ней, а растет холодность и раздражение. Он не знал, догадывается ли она об этом и чем это окончится. Иногда ему казалось, что в нем живут два человека: один отвечает на Кларину страсть, на зов ее сильного женского тела, другой — все больше пронизывается затаенной ненавистью и презрением к ней. Впрочем, в эту минуту он ясно понял, что для него остается один выход: спастись он уже вряд ли сможет, значит, будет ходить вокруг своей боли, вокруг своих воспоминаний, как вокруг проклятого места. «Вот так все и кончится», — подумал он.

На порог вышла Павлина, и Микола поспешно отошел за куст сирени. В этот миг он чувствовал полную отчужденность от других, прежде всего от матери, он уже никогда не сможет приблизиться к ней, потому что приблизиться — значит войти в материнское сердце, внести туда и те смерти, и то проклятие, что сдавливают душу, и не найти себе облегчения. Он представил себе, тоже не впервые, как бы это восприняла мать, как бы она испугалась, и понял, что отныне сделан еще один шаг к той не-

известной грани, к которой неведомая сила двигала его все эти годы.

Он наново пережил тот свой поступок, может, даже и не поступок, а невольную покорность судьбе, какое-то безволие, размагничивание того стержня, что есть в каждом человеке, но которого он не чувствует, даже не догадывается, каков он. Каков он — на этот вопрос Микола не мог ответить даже сегодня. В каждом человеке живет нечто (и в нем тоже), что является его естественной сущностью, тем, что даровано природой и от человека не зависит.

А может, и зависит... Но та сущность является более глубинной, и она определяет человека. Именно она, эта его сущность, и не выдержала, сначала бросив его в омут страха, а потом выхватив душу и швырнув на плаху. Ту сущность нельзя перебороть. А может быть, и можно. Говорят, кое-кому удавалось... Победить самого себя. Самого себя! Откуда же знать человеку, победит ли он себя в минуту самой большой беды или нет? Если бы слепой случай вывел тогда душу Миколы из той черной жизненной ловушки, она бы и ныне не блуждала по лабиринтам мук и раскаяния и не узнала бы своей настоящей цены. Впрочем, дело вовсе не в цене: мир для него теперь замкнулся, сошелся, как говорится, клином, и впереди — один узкий просветик, а там темнота, как вход в могилу.

И снова чувствовал он, что жизнь его рассечена надвое и в нем самом живут как бы двое людей: тот, что жил до злополучной черной грани, до двадцать первого ноября сорок второго года, и тот, который живет за этой гранью. Тот, первый, пробегал возле этого куста цветущей сирени и даже не знал, каков он. Просто не замечал его и не задумывался об этом. Да и мог ли подумать, что с ним случится такой ужас, что он исковеркает ему жизнь, душу, будет мучить и казнить, медленно разрушая, и — это уже совсем невыносимо! — он будет осознавать это свое разрушение. Мог ли он подумать такое о себе, он, который бегал по свету, не ощущая собственного бега?

Когда человек живет сам по себе, не зная ни тягот, ни печали, он не может верно оценить ни себя, ни свою жизнь. Познать, какое это благо, можно, лишь потеряв его. Жить в согласии с самим собой — самое большое богатство. Мало ли людей заключают сделку-соглашение с совестью и навсегда убеждают себя, что соглашение и

есть согласие. Нет, такое не для него,— он не считал себя подлецом. Хотя это и не уменьшало ни вины, ни страданий. Понимал одно — он не пойдет на сделку. И не только потому, что помешает жена — свидетель-судья, а может, в каком-то смысле, соучастник — Клара. Нет, не поэтому. Он знал: не будь Клары, в нем бы ничего не изменилось. Выходит, что все-таки Клара — врач? Нет, Клара... плохой врач.

Во дворе слышались шаги, и Микола как бы проснулся. Тихо повернулся и ушел за хату. Он убегал, даже не зная, кто идет. Все эти годы постоянно убегал от кого-то и непрестанно раздумывал. Уже здесь, в селе, он заметил, сколь извилистой, сколь странной стала его мысль, как далеко протянул он ее за эти пять лет и как она не похожа на мысли того парня, который пошел отсюда на фронт. Он и дальше потянет эту мысль и будет волочить ее кто знает сколько. Не мог не заметить, что уже вжился в нее, даже чуть смирился с ней, а вот только теперь понял, что это была не жизнь.

Запах сирени, цвет петушков — он их вроде бы никогда не ощущал, пожалуй, почувствовал впервые, и то как мучу, как удар в голову, как нож, что отсекает его от чего-то настоящего. И эти две недели на работе — тоже самообман, но он должен примириться с ним, надо ведь как-то жить...

Мать ждала.

В эту минуту ему было не жалко себя. Он боялся только за мать. И потому ответил, не подумав и немного выдав себя:

— Я прошу вас, мама, никогда больше не спрашивайте меня.

И сразу понял, что сказал не то, что нужно, что таким ответом можно всколыхнуть у матери еще больше сомнений и страданий, и поспешно добавил:

— Я, мама, такого насмотрелся... И все как-то... И Галя, и Лаврин вон без руки...

Этим ответом он снова ничего не объяснил, поднялся и теперь уже бросил почти с раздражением:

— Не все люди одинаковы. Один и через могилу переступит, как через грядку с помидорами, а другой... Занимайтесь своим делом...

Слова Миколы о могиле в первое мгновение напугали Павлину, а потом немного успокоили. Наверно, подумала, Микола служил в похоронной команде. Насмотрелся,

намучился, а ведь с детства был такой впечатлительный, и, чтобы затушевать разговор, сказала вздохнув:

— Сад нам нужно новый посадить. Несколько яблонь, груш и шелковицу. Обе шелковицы усохли в сорок втором, очень долго тут вода стояла. А где теперь яблони достанешь?!

— Достанем где-нибудь, — сказал Микола вяло.

Он оглянулся вокруг и только теперь с удивлением заметил, что сад в самом деле очень старый, жалкий, не такой, каким он его оставил. Две яблони за хатой, одна наполовину сухая, с полдесятка вишен-самосеек, а то все сливы, старые, суховерхие, обросшие мхом, они, наверное, уже и не родят. Малина и смородина тоже одичали, зато везде, особенно вокруг хаты и по меже, буйно рос терновник. «Нужно вырубить», — подумал Микола. Но браться за топор не хотелось.

Он улегся, не ожидая возвращения Клары.

В окошко (в комнате их два: одно слева от кровати, выходит в сад, второе, если смотреть с кровати, — на огороде) светила луна, большая, яркая, словно разрезанный арбуз. Луна заливала безжизненным светом всю комнату. Микола рассматривал эту комнату, будто впервые увидел. Она была очень убогая. Большая металлическая кровать — кто знает, где и откуда она взялась, — на ее спинке оттиснут какой-то странный знак с иностранными словами. Микола помнил эту кровать с малых лет, пружины на ней давно растянулись, и он, возвратившись, настлал поверх них доски, мать отдала им большую перину и две самые лучшие подушки, тоже большие, Микола не привык высоко подкладывать под голову, и у него каждое утро болела шея. В правом углу — две вешалки, стены под ними он оклеил газетами, на вешалке Кларино пальто, платья и кофточки; у окна, которое выходит в сад, стол, тоже застеленный газетами, да два стула с гнутыми спинками; на одной из стен портрет — размытые черты человека в овчинном тулупе — это был Шевченко, портрет нарисовал перед войной художник из города, приезжавший в село на заработки, он умел рисовать только Шевченко в овчинном тулупе, но, видно, уж больно плохие у него были краски, потому что все они выцвели.

Вот и все, что было в комнате. Мать хотела повесить вышитые полотенца, но Клара возразила, сказала, что уберет комнату по-своему, а пока повесила над кроватью

одну только вышивку — голову лошади, перед которой стояли розы в корзине.

Микола не любил, когда на него светила луна. Он встал, нашел газету и две иголки, завесил окно. В комнате воцарились сумерки. Микола подумал, что с некоторого времени он начал любить темноту.

Вскоре из клуба возвратилась Клара. Он слышал, как она пила молоко (мать оставила большой кувшин на столе и положила горбушку хлеба), как потом выходила в сени, забыв прикрыть двери, как из сеней зашла в комнату. Когда она разделась и легла, он сделал вид, что спит. Клара слегка потормошила его за плечо, но он и тогда не раскрыл глаза. Он не хотел говорить с Кларой и боялся ее ночных желаний. Кларину нажиму, мягкому и страстному, по-настоящему пылкому, он поддавался всегда, но стыдился матери, у которой сон был чуткий, как у птицы, и жена, конечно, сейчас ее разбудила. Клара дважды недовольно перевернулась в кровати, а через минуту уже спала. Она не проснется до позднего утра. Микола всегда завидовал ее сну. Сам он давно потерял право на сон. Правда, вечерами ему удавалось заснуть, но в часу третьем-четвертом обязательно просыпался и лежал с раскрытыми глазами до утра. Это были самые страшные часы его жизни. Сколько раз они возвращали его мысли к тому злополучному дню, сколько новых и новых дорожек он к нему протоптал. Все это происходило помимо воли. Он не замечал, когда выходил на эти дорожки, это совершалось где-то глубоко в нем, совершалось само, без всяких «зачем было идти» или «если бы я зашел не с улицы, а с огорода...», он ловил себя уже на середине или в конце дорожки. Хотя и эти «зачем было...» да «если бы» тоже тысячу раз возникали в нем, правда, большей частью, когда размышлял сознательно, когда наплывали боль и тоска и он пытался спастись от них, стискивал зубы и словно гнался за чем-то, когда, казалось, сделай он лишь одно усилие, и догонит или повернет, — ох, от какой мелочи может все зависеть! Действительно — от нелепой случайности, которой он не мог найти объяснения! Он ведь хотел пойти огородами, уже ступил на дорожку, а потом повернул на улицу. Или еще раньше: если бы он не отозвался в землянке, разжег дрова и ушел, так ничего бы и не случилось. Но он откликнулся. И эти слова, этот слепой случай толкнули его в адскую дробилку, которая искромсала всю его жизнь.

И каждый его дальнейший шаг на этом роковом пути тоже был слепым, он шел будто с завязанными глазами. Хотя, с другой стороны, уже позже не мог не признаться себе, что весь тот путь был строго логичен, исходил из его поведения, его колебаний, был продиктован им самим, что поведи он себя иначе, и цепь следов пролегла бы не так, и, вероятно, по-другому сложилась бы судьба. Быть может, лучше, а возможно, и хуже. Последнее не утешало его, об этом он просто забывал, он тосковал по прямой и ровной дороге и казнил себя немилосердно. Нет, не было никакой случайности. Разве что в самом начале.

Это случилось осенью тысяча девятьсот сорок второго года за сто километров от Воронежа, под селом Чернявкой, где остановился и врос в землю фронт.

Ротный послал Миколу и еще одного солдата в штабной блиндаж напилить дров. Они распилили с десятков сосновых кругляков, нарубили дров и сложили за блиндажом. Когда уже собрались уходить, из землянки вышел в наброшенной на плечи шинели немолодой капитан, с ввалившимися щеками и острыми глазами под густыми бровями, и приказал Миколе внести вязанку полен (не полен, а поленец, они пилили круглячки коротко) и растопить печурку. Микола долго возился у железной, из-под бензина или мазута, бочки-печурки — дрова никак не загорались, — а капитан и еще один офицер сидели у него за спиной возле вкопанного в землю, сбитого из досок стола и разговаривали. На Миколу не обращали никакого внимания.

— А где, черт бы его побрал, этот Старый Бор? — уже в который раз спрашивал капитан, и в его простуженном голосе звенели раздраженные нотки.

— А на кой, в конце концов, он тебе? — басом отвечал вопросом на вопрос другой офицер. Микола не знал его звания, потому что у того на плечи был наброшен белый тулуп.

— Может быть, он вообще не тут? — снова раздражался капитан, и теперь в его голосе слышалась тревога.

— Если Новый там, то Старый должен быть где-то рядом.

— Почему же тогда его нет на карте?

Они разговаривали и о других населенных пунктах,

отыскивая их на карте, и о какой-то группе, и о танковой колонне, но все пролетело мимо Миколы, как туман мимо степной груши, а название Старый Бор запало в голову. Сначала он подумал, что, должно быть, не про тот Старый Бор говорят офицеры, однако его никто не спрашивал, а сам он не привык совать нос куда не следует, да и понимал военную субординацию и дисциплину. Все-таки он долго терпел, подкладывая в выпиленную в стенке бочки дырку коротенькие поленца, и молчал. Но что-то не сдержалось в нем, вырвалось невольно, это было обыкновенное человеческое желание помочь, подсказать, оно возникло у него, когда он уже поднялся с пола и выдернул подоткнутые под ремень полы шинели.

— Разрешите,— сказал он, вытянувшись по военной привычке.— Если ищете Старый Бор за рекой Ольхой...

— Ну-ну,— повернул к нему голову капитан, как бы не одобряя и в то же время поощряя поступок младшего сержанта. Не одобряя, потому что тот самовольно вмешался в разговор старших по званию офицеров, да еще в разговор секретный, должен был бы пропустить его мимо ушей, забыть на пороге землянки. И поощряя, потому что уже заранее улавливал разгадку того, что его беспокоило: — За Ольхой?!

— Старый Бор и Новый Бор—это почти одно село,— сказал Микола.— Старый от Нового — через плотину. И это скорее не село, а хутор, там всего семнадцать хат.

— Вот какая точность, семнадцать? — недоверчиво проговорил капитан и повернулся к Миколу. До этого он стоял, склонившись над столом и опершись правой, согнутой в колене ногой на вкопанную в землю лавку.— Откуда такие разведданные?

— Я там в прошлом году лежал в госпитале,— почему-то смущаясь под острым, почти насмешливым взглядом капитана, ответил Микола.

— В Старом Бору?

— Нет, за семь километров оттуда. До войны там был санаторий для туберкулезников.

— Есть такой пункт,— на миг обернулся к карте капитан.— Сейчас санаторий сильно разрушен. А село откуда знаешь? — остро посмотрел на Миколу.— К девкам небось бегал?

— Точно,— сказал Микола и почувствовал, как рядом со смущением в нем вспыхнуло что-то радостное, горячее, волнующее.

Он стоял перед офицерами, но в ту минуту воспоминания были сильнее военных уставов, и даже возможного наказания за нарушение воинской субординации, и вообще всего на свете. Он чуть было не зажмурился, настолько ярко представилась ему дорога от госпиталя к селу и они с Кларой на ней. Он провожал Клару, работавшую в госпитале санитаркой. Когда они выходили из госпиталя, начинало смеркаться. Сначала они шли лугом, а затем дорога ныряла под высокие тонкие сосны, которые подступали к ней с правой стороны. Некоторые перебежали на другую сторону и не были похожи на своих сестер, растущих рядом, — эти были ниже, раскидистее и тянулись ветками в поле. Тут они останавливались. Заходили в лес. Но не очень далеко. Далеко Клара идти не хотела. Или не позволяла себе. Да, не позволяла. Как не позволяла и того, что составляло последнюю грань, чем доводила Миколу почти до безумства. Клара загоралась тоже, загоралась вся, прижималась к нему высокой полной грудью, обнимала, целовала, они льнули друг к другу так, что жар каждого становился общим жаром, у Клары вместе с горячим дыханием слетали с влажных губ почти мучительные стоны, и он всегда удивлялся, где она находила в последнее мгновение силы, чтобы оторвать его руки, отстраниться, спрятаться за сосной.

Конечно, это была не любовь, это было неистовство молодых тел, бунт крови, что легко можно было бы принять и за любовь. Впрочем, они об этом не думали, и каждый раз Клара говорила:

— Ты уедешь, а я...

Собственно, она, как писали в старых романах, первой дала повод к подобным шалостям. Когда он пошел на поправку, Клара как-то предложила ему проводить ее до села, и так она тогда двусмысленно шутила, что он просто не успел опомниться, как попал в ее объятия. Микола еще раньше, в палате, заметил, что девушка равнодушна к нему, выделяла его среди других раненых. Она ему тоже нравилась. Простая, веселая, решительная, кого утихомирить, кого подбодрить — для всех у нее находилось слово. Правда, что-то и еще в ней чувствовалось... чего не было обычно у сельских девушек и у многих других сестер и санитарок. Ведь редко при ком из сестер раненые позволяли себе рассказывать такие анекдоты, как при Кларе, редко осмеливались невзначай погладить

кого-либо из сестер, как Клару, по спине или по ноге. Зато, когда Клара бывала сердитой, ее боялись сильнее, чем других сестер. А то, что происходило у него с Кларой в соснах... он никогда не мог себе представить с Галей. Оно и отталкивало, и манило.

Разумеется, когда он, чаще всего уже в палате или по дороге домой, вспоминал Галю, то чувствовал угрызения совести, но не очень сильно. Галя и все связанное с ней было слишком далеким, вроде бы и не совсем реальным, отрезанным от него, да так, что до него и мысленно не дотянуться. А тут еще выплывали всякого рода оправдания: кто знает, жива ли она, а может, вышла замуж, и возвратится ли он к ней, сколько раз уж побывал на грани смерти. Да и то, что у них с Кларой,— это не совсем серьезно. Ну, кто же из раненых отказался бы проводить такую девушку! Над ним и так посмеивались во взводе, когда признался, что у него в жизни не было ни единой женщины... Только теперь в тягостной боли подумалось, что, возможно, ту черную межу, что пересекла его жизнь, нужно отнести к тем дням...

Тогда же он ни о чем подобном и не подозревал. Тогда он возвращался в палату и всю ночь пылал жаром. Клара не скрывала, что и сама жаждала шагнуть за тот рубеж безумства не меньше, чем он. Но она была девушкой, и трезвый рассудок брал верх над тем, что ей очень нравился Микола.

И вот все это в таком неподходящем месте и в такой неподходящий момент вспомнилось Миколу. Вероятно, у него был слишком мечтательный, а то и глуповатый вид, потому что даже строгий капитан улыбнулся. Не глазами, а только губами.

— А сколько телеграфных столбов к деревне, не помнишь?

Микола промолчал, понял, что капитан шутит. А тот пососал деревянный, с погасшей папиросой мундштук, еще раз взглянул на карту и неожиданно обратился не к Миколу, а к ординарцу, который уже давно вошел и стоял в углу землянки с тремя котелками темного, как сентябрьская ночь, супа — его варили из черной фасоли. Высокий рыжеусый ординарец недовольно посматривал на Миколу: остыл не только офицерский, но и его, ординарский, суп.

— Пойди позови Морозова! — приказал капитан.

При этих словах в груди у Миколы что-то встрепену-

лось, ведь Морозов был начальником полковой разведки. Но эта мысль промелькнула быстро, он не дал ей зацепиться, отогнав ее предположением:

«Хочет, чтобы я рассказал об этих местах». Ординарец бросил косой взгляд на Миколу и вышел, а офицеры взяли ложки и принялись за свои котелки (котелок ординарца остался на стуле у входа).

Микола, с разрешения капитана, вышел из землянки. А когда ординарец возвратился с лейтенантом Морозовым, Микола вошел вслед за ними. Но капитан больше с ним не разговаривал.

— Поговори с младшим сержантом — он знает Новый и Старый Завет. То бишь Бор.

Хотя он при этих словах не улыбнулся, Микола понял, что капитан снова пошутил.

С взводным они разговаривали, сидя на тех же поленьях, недавно сложенных Миколой. Морозов действительно расспрашивал его о местности, о селе и особенно дотошно о дороге от Нового Бора к райцентру и о мощной дороге в сторону Воронежа, а затем неожиданно сказал:

— А ты смог бы показать дорогу? То есть пойти с ребятами? Если ты очень боишься, то... можешь считать, это для тебя не просьба и не приказ.

Он сделал ударение на словах «это для тебя не просьба и не приказ», вложив в них уйму значений. И то, что «я мог бы тебе приказать и не приказываю, хотя, может быть, и прикажу», и то, что «ты, видимо, трус и сейчас это засвидетельствуешь сам», а немножко и надежды, надежды на помощь своим парням, ожидая, что Микола настоящий солдат.

В серых, с зеленоватым отливом прищуренных глазах лейтенанта играла целая радуга цветов — от самых темных до самых светлых. Микола, на удивление себе, не боялся слишком темных глаз — гнева, даже брани. Ему стало страшнее от светлых, веселых, насмешливых. Он просто не мог сказать этому молодому, такому же, как и он, или даже еще более молодому, но отчаянному (об этом знали все в полку) парню, что боится. Понимал даже сегодня, что не мог. Есть в человеке нечто такое, что не позволяет ему признаться в своей слабости и на какое-то время, в определенных обстоятельствах делает человека сильным, помогает ему перебороть свой страх. Ну чего, казалось бы, стоит миг. Закуси губу, поморгай...

И — признай себя ничтожеством, слизняком, тряпкой. Вас двое, но он настоящий, а ты — пустоцвет, мешок с костями и мясом. А где-то на улице все равно потом оба одинаково петушились бы перед девушками, одинаково выбивали бы каблуками под гармошку и шутили. Кроме того, Микола в то время еще не знал меры собственного страха. Конечно, он приблизительно догадывался, на что способен, но сказать предельно точно, как поведет себя в самых тяжелых условиях, не мог. Впрочем, мера эта тем и страшна, что открывается человеку большей частью один только раз. Когда все уже кончено и сама мера не нужна. Тогда она — одно лишь болезненное напоминание, черный омут в сердце и в памяти. Этого он, разумеется, еще не знал. Вначале боялся воздушных налетов, но их боялись все. Очень уж запомнились ему немецкие бомбардировщики под Лохвицей. Наши войска попали в окружение, и немцы летали безнаказанно, больше пугая и сея панику, нежели нанося удары. По-настоящему они били по переправе и в тех местах, где наши части пытались прорваться. Летали низко, так что были видны вражеские летчики в шлемофонах и подтеки масла на крыльях. Из окружения он выходил в группе из двадцати человек. Вышел. И все время так получалось, что встречал опасность не один, а вместе с другими, да и опасность не такую уже близкую. Выйдя из окружения, попали в дальний тыл на формирование. Потом его ранило. И тоже случайно. Он даже не успел испугаться. Шел в село, нес донесение и письма, внезапно у дороги взорвалась мина, разорвала ему осколком правое плечо. Он тогда сразу понял, что ранен не смертельно.

И сейчас тоже первой мыслью, промелькнувшей в голове, была: он пойдет не один.

Однако, когда начали готовиться к походу, напал страх. Тогда он уже проклинал это неустойчивое мгновение, эти светлые, словно при вспышке ракет, огоньки в глазах взводного, пославшего его в немецкий тыл. Тогда он по-настоящему засомневался в себе. Еще и казнилось, что шел добровольно. Все, что делал раньше, все опасности, какие пережил до этого, возникали независимо от него, все было само по себе, там он не мог ничего изменить, предусмотреть, предупредить. А тут все зависело от него самого. От его воли, его сердца. Он знал, что даже в последний момент мог пойти и сказать, что... Нет, этого он уже не мог сказать. Об этом знал бы весь взвод, вся рота.

Сам переход фронта оказался не таким страшным, как рисовало воображение. Кто-то уже позаботился о них: высмотрел безопасное место, указал, куда и когда идти. Тех людей он не запомнил, они сновали, как тени. Да и стоял туман, он прятал их. В то время они больше всего боялись заблудиться. Переводили их не на своем участке, а на несколько километров правее. Там сплошь были болота, окопы выкопать в них невозможно — их копали по холмикам, — и сплошной линии фронта там не было. И вообще весь фронт в этом месте сильно увяз в болотах и был мало насыщен войсками (это понимал даже Микола). Все тогда решалось где-то там, левее, далеко позади, около Волги, о чем даже страшно было думать. Тут же противники как бы притерлись или прижались друг к другу, знали силу, стоявшую напротив, расположение линии обороны и даже наперед отгадывали маневры. Да и маневры были незначительные, резервы не прибывали, все материальные и человеческие силы летели в гигантский костерище, пылавший на берегу Волги.

Изредка над болотами взлетала ракета и гасла, как уголек в пепле. Одна ракета взлетела над их головами, и в ту минуту, когда она замерла в наивысшей точке параболы, чтобы упасть вниз, к ним, Миколу показалось, что их обнаружили, он упал на лед, за ним бросились и трое других разведчиков. Он слышал, как зашипела ракета, и подумал, что это конец.

Они лежали несколько минут, но больше ракеты над ними не взлетали. Шли болотами, не так давно скованными льдом, под ногами шелестела сухая осока, изредка потрескивал камыш, и казалось, что от этого разбегались трещинки по сердцу; шли частыми перелесками, листья с деревьев уже облетели, но на низеньких кряжистых дубках и кое-где на березках держались, а под уютными сосенками хотелось присесть и не выходить из-под их густых ветвей. Тут было особенно много осины, и тяжелые, схваченные морозом осиновые листья шелестели, словно тонкая металлическая стружка. И то, что они шли болотами и перелесками, прибавляло Миколу какой-то уверенности, — вероятно, потому, что все это было похоже на болота и перелески его Полесья. В это еще больше верилось, когда восстанавливал в памяти то, что видел на карте. Болота протянулись на десятки километров, между ними кое-где села, а точнее, большие

хутора, и не было тут дорог, так что не проехать ни машинами, ни мотоциклами. Болота сковало льдом всего лишь несколько дней назад. Немцы еще, пожалуй, не очень охраняют их. Да и что тут, собственно, охранять? Ведь и с нашей стороны тоже не пройдет ни танк, ни машина.

Микола успокоился, ему даже вспомнилось, что в эту пору на таком льду они косили в своем селе такую же медно-красную осоку. Выгоревшая на солнце, вытрепанная ветрами, она прямо звенела под косой. Ею обкладывали хаты, топили печи, а к весне, при необходимости, резали на соломорезке и добавляли в сечку. Вывозить ее можно было только по крепкому льду. То была легкая и веселая косовица. Все работы уже сделаны, можно не спешить. Иногда, отложив косы, косари брали в руки топоры или кувалды и ходили глушить щуку. Завидя у поверхности зелено-рябую спину, что есть силы били кувалдой по льду, и оглушенная щука выворачивалась белым брюхом.

Там, где была сплошная вода, лед держался крепко, а у берегов, где осока и кувшинки, иногда ломался. То и дело кто-то из разведчиков проваливался, в большинстве случаев не глубоко, но именно Микола провалился выше колен. Командир группы старший сержант Желяев, по прозвищу разведчиков Желай — так его все называли, — помог Миколу выбраться на кочку, стянул с него сапоги, выстелил их осокой, а затем разулся сам, сбросил с себя ватные штаны и отдал их Миколу. Не просто отдал, а приказал надеть. Свои сапоги тоже выстелил сухой травой, Миколины штаны выкрутил и обернул ими вещевой мешок, а сам так и шел в исподнем, которое едва прикрывали полы шинели и плащ-палатка. Дальше впереди шел только он. Все три разведчика были маленького роста и вообще мелкого телосложения, и это немного удивляло Миколу. А возможно, так и должно быть, ведь малому легче пролезть и проще спрятаться. Пожалуй, самым щуплым среди них был Желай. Худощавый, лобастый, белобровый и белочубый, он казался Миколу почти мальчишкой. Однако в его глазах таилась суровость и губы были сжаты крепко, властно — он почти не разговаривал, ни разу не улыбнулся.

И еще Микола чувствовал себя немного неловко от того, что все три разведчика понимали друг друга с по-

луслова, с полувзгляда и обращались друг к дружке не так, как к нему. По отношению к себе он ощущал некоторое превосходство и даже недоверие, вызванное, впрочем, не каким-то там подозрением, а просто его непроверенностью в деле.

Всю дорогу он шел третьим. Кроме автомата тащил на себе большой, завязанный «под самое горло» вещевой мешок с продуктами. Желай нес дополнительный боезапас: диски к ППШ, гранаты. Остальные двое несли в вещевых мешках тол.

Миколу обижало недоверие разведчиков. До сих пор он так и не знал, куда они идут и что должны сделать. Ночевали на каком-то острове, в полуобвалившемся окопе. Микола удивился: война и тут уже похозяйничала. Очевидно, окоп (или пулеметное гнездо) был выкопан прошлым летом. Они наломали сосновых веток и легли на дне ямы. Там Микола и узнал, куда они идут и какое должны выполнить задание. Правда, узнал не до конца, да и то из разговора, который вели между собой разведчики.

На них возлагали две задачи: собрать разведданные (особо важно узнать, где стоит танковая колонна, которую немцы перебрасывали то на один, то на другой участок) и подорвать мост через реку Ольху на дороге из Старого Бора на Клинцы. Микола помнил эту дорогу и удивился: кому нужен этот мост? Мощеная дорога (их до войны почему-то называли стратегическими) в сущности никуда не вела. Она обрывалась где-то у реки, по ней никогда не ездили, потому что некуда было. Так Микола теперь и не узнает, для чего нужно было разрушить мост. Вероятнее всего наши, собираясь в наступление, предполагали, что когда враг будет отрезан, у него останется только один путь для бегства — по старой стратегической дороге.

Эта задача казалась Миколу не трудной — старый мост на тупиковой дороге вряд ли кем-то охранялся, но спросить Желая об их странном задании Микола не посмел. Командир кончил ужинать раньше всех и лег спать. Ложась, он указал Миколу на место подле себя, очень удобное, в глубине окопа, со всех сторон защищенное от ветра. Микола долго не мог уснуть. Он боялся пошевелиться, чтобы не разбудить старшего сержанта, жарко дышал в плащ-палатку, которой накрылся с головой, и думал.

Сейчас в этой уютной норе, под надежным покровом ночи, он чувствовал себя почти спокойно. И не только спокойно, а и уверенно, смело. Он шел на задание, шел с опытными разведчиками, да еще и был их проводником. Это даже поднимало его в собственных глазах, и на душе становилось хорошо. В эти раздумья просачивалось воспоминание о Кларе, грудастой, сильной, горячей Кларе. Может быть, ему удастся встретиться с ней? Может быть, он уговорит разведчиков побыть у нее денек? Пока он о Кларе им ничего не рассказывал. Стыдился осуждающих огоньков в глазах мальчишки-командира, боялся усилить недоверие. Но когда выполнят задание, он им непременно скажет.

На рассвете следующего дня они позавтракали хлебом и салом, прибрали место ночевки (ветки присыпали песком, а потом прикрыли листьями) и двинулись дальше. Теперь они направлялись на юг, чтобы выйти на линию расположения их полка.

Шли медленно перелесками, внимательно осматривали открытые места. Дважды издалека наблюдали за обозами — один с сеном, другой с дровами: тот, что с дровами, сопровождали вооруженные немцы. Кругляши дров, очевидно, везли для них.

В полдень вышли к дороге. Она проходила по возвышенности, метрах в трехстах от леса. По ней проскакивали автомашины, тянулся конный обоз — подводы были нагружены мешками. Странно и легко было Миколу смотреть с такого расстояния на врагов. Грудь пронизывал холодок, а в сердце поднималось нечто похожее на отвагу. Может, она была вызвана еще и тем, что разведчики вели себя совершенно спокойно, только чуть-чуть сосредоточеннее. В то же время Микола ловил себя на чувстве превосходства над врагом: он зашел к ним в тыл и видел их, а они его не видели, не догадывались и даже мысли не допускали, что советские солдаты пришли аж сюда и следят за ними.

Тем не менее переходить дорогу днем было небезопасно, они возвратились к сараю, который недавно прошли, и переждали в этой лесной хибаре для пастухов. Дорогу — разъезженную, всю в черных комьях — пересекли в полночь и, не задерживаясь, пошли дальше. Тут начинались знакомые Миколу места, и его охватил страх: теперь ведь вел группу он, а это требовало особой ответственности. Зато сразу почувствовалось, как



изменилось отношение к нему разведчиков: удостоверившись, что он знает местность, они повеселели, цыганистый, с лишаистым лицом Шкурко одобрительно подмигнул в его сторону:

— Знает, собачина.

Как уже понял Микола, «собачина» у него — самая большая похвала.

Когда сели перекусить и Микола, отрезав хлеба, собирался возвратить Шкурко короткий, с наборным черенком нож, тот махнул рукой:

— Оставь себе. На память. Как же ты в разведке — и без ножа. А у меня есть еще один, — и показал финку с белой костяной ручкой.

Он дарил вещь так, словно выбрасывал ее, но Микола понял, что разведчик нарочно хочет снизить цену подарка.

Они двинулись дальше, миновали густой орешник в долине. Повернув вправо, Микола сказал:

— Сейчас будет дорога, которая ведет к лесничеству и на сенокосы. По ней можно пройти к селу. А мы пойдем вдоль реки.

— Теперь я вижу, что мы тут с тобой не пропадем, — сказал Шкурко.

Был второй час дня, когда они вышли на опушку леса. Перед ними лежало село. Высокие черные срубы хат, хлевы и хлевушки, баньки в огородах. Село состояло как бы из двух: большего на холме, его полностью не было видно, и меньшего, в низовье. На холме хаты разбегались во все стороны, в низовье тянулись цепочкой. Крайние подбегали к реденькому сосновому лесу.

— За лесом — глинище, сосны вырубili еще до войны, — показывал и рассказывал Микола. — Это Старый Бор. А вот тот, на холме, — Новый. Между ними плотина, по ней — грейдерная дорога. Вон то — школа, а там, за той хатой — сельсовет. В Новом Бору грейдер идет через село, а потом поворачивает влево. До райцентра девятнадцать километров.

— А куда идет дорога в ту сторону? — спросил Желай.

— Куда-то туда, — махнул рукой Микола. — К фронту. Он ее пересекает. А стратегическая — вправо от нее. Вон там... Отсюда ее не видно. Мостик — за два километра. А там дорога к санаторию. Ее тоже отсюда не видно. Санаторий — в той стороне. — Он снова указал пальцем.

Все четверо разведчиков стояли в густом, невысоком, в два человеческих роста сосняке и внимательно смотрели вперед. Между ними и селом серело поле, левее синел лес, тот же лес, в котором они стояли, он обступал село крылом, и где-то там, посредине крыла, должны были лежать развалины санатория.

— Санаторий далеко в лесу? — снова спросил Желай.

— Я же говорил, на самом краю. От него дорога через лес в другое село — Ольховицу, — ответил Микола.

— Что ж, пойдем лесом, заляжем и посмотрим. Если немцы там, то мы их увидим. Летчики указывали на то место.

Молодая сосновая посадка тянулась вдоль бора. Они шли по краю бора параллельно посадке. Лес стоял молчаливый, тяжелый, словно уставший. Густая трава в нем уже совсем высохла, порыжела, в ней змеились тропинки, ведущие в глубину леса, к грибным и ягодным урочищам. Лесными долинами завладели березы и ольхи, в некоторых местах они росли особенно густо.

Микола мысленно отметил, что если придется удирать, то найти их здесь, а тем более окружить, просто невозможно. Разве что пустят по следу собак. Мысль о собаках, овчарках, крепко засела у него в голове с самого начала.

Вдруг посадка как бы оборвалась. Несколько густых, низеньких, у самой земли, сосенок выбежали в поле, забрели в траву и бурьяны, что густо кустились вдоль леса и уже начали наступать на невспаханную ниву. Два разведчика остались в посадке. А Микола с Желаем, сбросив с себя вещевые мешки, залегли под одной из сосенок.

Они лежали долго. Так долго, что ноги начали мерзнуть. К вечеру морозец крепчал, небо стояло высокое, звонкое, с карканьем тянулось к лесу воронье. Оно садилось, должно быть, где-то за санаторием.

— Если там стоят танки, то вороны полетели бы дальше, — рассудил Микола.

Желай ничего не сказал, но про себя согласился с ним.

Потом со стороны села на дороге показалась запряженная парой лошадей подвода с дровами. Рядом шла женщина, на дровах сидел мальчик. Разведчики еще больше усомнились в том, что там стоят танки. Немцы вряд ли пропустили бы подводу через расположение своей части. Да и сама женщина не решилась бы ехать. Разве в лесу мало дорог, разве нельзя проехать где-нибудь стороной?

Оба они поняли — нужно разведать район санатория.

Именно там, как потом часто думал Микола, и «возник откос», по которому он скользнул вниз. Он не раз пытался зацепиться где-то на его склоне, и цеплялся,

и даже поднимался на несколько шагов вверх, но груз страха снова и снова тянул вниз. Он старался не выказывать его перед разведчиками, но они, очевидно, понимали все. Недаром потом не хотели отпускать его в село.

На территории санатория танков не было. Там оставалось множество следов от танковых гусениц, пятен смазочного масла, пустых бочек, железных банок из-под консервов, тряпья, свидетельствовавших о недавнем пребывании здесь военной части. Жили немцы в бревенчатом бараке, где летом находилась столовая, да в нескольких санаторных и хозяйственных домиках, а также в комнатах первого этажа левого крыла основного, двухэтажного корпуса. Вся центральная часть и правое его крыло были разрушены.

Самое ужасное заключалось в том, что они даже не могли определить, в какую сторону ушла часть. Танковые колеи одинаково изрыли землю и в сторону Нового Бора, и в сторону Ольховицы, некоторые следы даже вели куда-то вправо, к узкой лесной дороге. Со стороны леса, с севера, стремительно надвигался вечер, а времени у них оставалось очень мало. Необходимо было узнать, куда девалась танковая часть. Если она пошла через Ольховицу или по грейдеру от Нового Бора, то разведчики должны были сначала выполнить второе задание и отправиться по ее следам, по крайней мере проследить, в какую сторону от райцентра она ушла; если же танки от Старого Бора ушли на фронт, один разведчик должен был остаться, чтобы выполнить второе задание, а трое — направиться к фронту и подать знак ракетами. Из всего этого Микола понял, что от успешного выполнения их задания зависит какая-то операция — в пределах дивизии, а может быть, и корпуса. Так или не так, но с первого взгляда было видно, что это не основная база танковой части. Местность не охранялась, да и не было даже склада горючего. Вероятно, это была какая-то промежуточная база — место для отдыха.

Следовательно, разведчики должны были узнать, куда девались танки и где они заправляются. Железной дороги тут нет, горючее подвозят на машинах, но ведь где-то же должен быть склад...

Желай решил так: Шкурко разведает дорогу на Ольховицу, другой солдат, Басов, пойдет по той лесной дороге, где видны следы танковых гусениц, а он или Власюк, а может быть, и вдвоем они пойдут в Старый

Бор. Но это уже потом, ночью. Пока же он с Власюком будут ожидать разведчиков в кухоньке при бараке. И вообще это будет место их сбора. «Самое надежное место сбора для солдата — возле кухни», — как всегда без улыбки пошутил Желай. Очевидно, на нем лежала обязанность подбадривать товарищей.

Все, что произошло дальше, Микола вспоминать не любил. И не только не любил — старался забыть, стереть в памяти, а оно лезло в голову, одно воспоминание цеплялось за другое, они путались, иногда то, о чем он лишь догадывался, казалось большей правдой, нежели то, что увидел и пережил, вымышленное же, разумеется, было лучше настоящего, там он мог все объяснить, а тут был клубок, распутать который было невозможно. Клубок из надежд, фактов, собственных переживаний и понуждений. Он боялся этих воспоминаний. Они убивали в нем самое важное — веру в себя, в возможность и дальше свободно находиться и жить среди людей, самому быть человеком.

Впрочем, перебирая в памяти все, что произошло с ним в ту ночь, ни сам он, ни кто-либо другой не мог бы ни за что уцепиться....

Он действительно ночью пошел в село, знал тут каждую улочку, каждую хату. Решил постучать к колхозному счетоводу, инвалиду империалистической войны. Он немного знал старика, работавшего в госпитале водовозом, надеялся застать его дома. Ночь стояла сухая, морозная, в небе густо поблескивали звезды. Село спало, хотя вечером в нем стоял шум, даже где-то на противоположном краю дважды стреляли.

Микола шел тихо, настороженно прислушиваясь, ловил ночь глазами, сердцем, всеми клетками своего напряженного тела. Ночь казалась ему мрачной и загадочной.

Самым страшным было подойти к крайней хате. Около нее он передохнул и снова долго и глубоко вслушивался в темноту. Ничего не предвещало опасности, и он понемногу успокоился. В нем рождалась уверенность, которая почти перерастала в веру, что с ним ничего не может случиться, ему даже виделось, как он удивит Желая, Шкурко и Басова своими точными и обширными разведданными...

Улица, на которую он ступил, изгибалась дугой, он мог идти огородами, тем самым сокращая себе путь, и

поначалу так и собирался сделать, но идти там было гораздо труднее, он не сразу смог бы найти нужную хату, и, взяв в правую руку автомат, он решительно двинулся вдоль улицы. Там, в самом ее конце, когда-то квартировала Клара. Ее, наверное, нет, выехала с госпиталем. А может, и не выехала. Новый Бор, рассказывали, немцы захватили внезапно. Об этом он надеялся узнать у счетовода, фамилию которого никак не мог вспомнить.

Село спало, не было видно ни единого огонька. Он подошел к большой, окнами на улицу, хате, переступил через ограду и только было хотел постучать, как сзади что-то стукнуло. Он рванулся в сторону, и в тот же миг с улицы раздалось угрожающее «Стой!». Почти одновременно грянул выстрел. Затем — второй, третий, дыркнул автомат, но Микола уже был за хлевом. На минутку стрельба стихла — те, что догоняли Миколу, упустили его из поля зрения, а потом, выбежав из-за хаты, снова открыли по нему огонь. Он бежал в противоположную той, откуда пришел, сторону, сзади слышались голоса и выстрелы прожигали искрами ночь. Должно быть, долго за ним не гнались, да и догнать не смогли бы, — Микола бежал очень быстро, и ему удалось уйти от погони. Но он не пошел сразу к своим, боясь привести за собой полицаяев: трава была белой от инея, на ней видны были следы. Он долго блуждал в поле, пока наконец, возле недоскирдованного стога, не почувствовал, что ранен и что дальше идти не может.

Бинтом из индивидуального пакета Микола перевязал, как сумел, рану и залез в стог сена. Там-то его и скрутила страшная боль, все силы вытрепала из него лихорадка, он то погружался в забытие, то снова приходил в себя, и каждый раз считал, что это уже конец, и не надеялся, что выживет.

Однако, на удивление себе, продержался до вечера, а ночью ему стало немного легче и он пополз к селу. Микола потерял сознание во дворе бабки Праховой. Она втащила раненого в хату, позвала Клару — знала, что та работала в госпитале, — и Клара стала лечить его. А потом наши пошли в наступление, освободили Новый Бор, и она отправила Миколу в госпиталь.

Что случилось с Желаем, Шкурко и Басовым, он узнал уже в госпитале. Их обнаружили возле моста и окружили. Разведчики отстреливались отчаянно, пыта-

лись прорваться к лесу. Раненый Желай подорвал себя гранатой. Все это Микола рассказал начальнику особого отдела дивизии, который придиричиво расспрашивал его в госпитале в селе Ольховицы: вспоминал весь свой путь от разговора в штабном блиндаже с Морозовым и до того момента, когда его подобрала бабка Прахова. Морозов тоже приезжал к нему, и ему он тоже рассказывал об их походе и о последнем бое Желая, Шкурко и Басова.

Он тогда почувствовал ужасную вину перед Морозовым и чувствует ее до сих пор. Перед Морозовым, и перед погибшими, перед их отцами и матерями, и перед четырехлетним (теперь уже десятилетним) сыном Шкурко, и перед однополчанами, перед всем тем, что привело его в этот мир и дало возможность ходить по этой земле, косить тяжелую, в росе, траву и слушать воркование горлицы в лесу.

Чувствовал вину страшную, без прощения и без искупления. Потому что все, что он рассказал, на самом деле происходило не совсем так, это была одна из придуманных Миколой версий, так сказать, версия номер один, содержащая немало правды, но в каком-то месте начинавшая расходиться с правдой, и расходилась она не только в последовательности или даже в надуманности некоторых событий, но в самой своей сути, а суть эта была страшной для Миколы.

Миколу страстно хотелось, чтобы все было именно так, как он рассказал начальнику особого отдела и Морозову, иногда ему даже казалось, что все и сложилось именно так, но даже в самые светлые минуты он не мог утешиться самообманом, и по ходу его рассказа, на пути, которым он шел, образовывались страшные черные пропасти, похожие на огромные воронки от бомб. Подробности того далекого события навсегда отчеканились в мозгу и в сердце, и ничто не могло их вырвать оттуда. Они могли сгореть только вместе с сердцем. Они и сжигали его. Сжигали на двух огнях — совести и страха. Прежде всего совести, потому что до того похода он считал себя человеком совестливым и справедливым. Теперь Микола уже просто не знал, какой он, не знал, имеет ли право считать себя совестливым и честным даже в прошлом.

Совсем не думать об этом он не мог, ведь и сейчас чувствовал, как что-то противится в нем неправде, ста-

новится на защиту правды и борется за нее, чувствовал, что ему сейчас не только страшно, а и стыдно за то, что совершил. Страшная ночь стояла за его плечами все эти годы: и выстрелы — не те, а другие — били в голову, в душу, в сердце. Порой, когда эти выстрелы внезапно вспыхивали в памяти (память большей частью воскрешала ту ночь медленно), его охватывала безысходная тоска, все сжималось в нем в один черный комок. Потом, за работой, он на какое-то время забывался и, хотя не дышал полной грудью, все же замечал и прохладу утра, и яркость цветов, и чистоту девичьего голоса, который волновал его и наполнял сердце сладкой щемящей болью. Однако чаще всего именно от такой радости, как недавно от встречи с сиреневым кустом, и начиналась грусть. Та сладкая щемящая боль — разве не утеряна она для него навсегда? Имеет ли он на нее право? И может ли возвратить хоть один миг бывшего счастья, той былой радости, с какой выходил когда-то из хаты, чтобы послушать под звездами девичье пение? Нет, в таких воспоминаниях он не мог найти утешения — сами воспоминания оказались навсегда отравленными. Вот встанет он завтра, и Клара проснется... От Клары начинался тот, другой огонь — огонь страха. Потому что только она одна знала вторую версию. Версию, почти до конца правдивую. Она знала обе версии. Первую даже помогала придумать.

Никто не догадывался, как ему было трудно жить между двумя версиями. И больше всего пугало в Кларе то, как она могла жить с ним. Как могла устраивать ее такая жизнь! По его мнению, это было похоже на то, как если бы в одной камере с заключенным жил его тюремщик. А ведь Клара чувствовала себя чуть ли не счастливой.

Что же это — удовольствие от сознания того, что она держит его жизнь в своих руках, наслаждение от его постоянного самобичевания, жалость?.. Нет, только не последнее, жалости в ней не было. Конечно, она испытывала удовлетворение оттого, что владеет человеческой жизнью, к тому же жизнью человека очень близкого, мужа (об этом они, разумеется, никогда и словом не обмолвились), однако он догадывался, что их супружеская жизнь, то есть та частичка ее бытия, которая особенно плотно прилегала к нему, держалась еще на чем-то, возможно, на его совестливости и даже честности.

Честности, что была проклята изменой. Удивительно, просто невероятно: не будь этого, она бы не жила с ним. Точнее, они не могли бы жить. Либо она заявила бы о нем, либо просто ушла бы, с отвращением оставив его. Конечно, разлучить их мог и страх, скажем, ее страх перед ним: а вдруг он решится избавиться от единственного свидетеля? Но на это, она знала, его не хватит. Тут опять-таки имели решающее значение пусть и слишком тонкие, но все еще не заржавевшие струны, жившие в его душе.

Для Миколы самым страшным было то, что он знал: ему уже никогда не избавиться от этого состояния в расчетах не с собой, там он уже вечный мученик, а с Кларой. Так весь его век и качаться ему на этих адских качелях, держась за Кларину руку. Иначе быть не могло. Не могло потому, что такой была Клара. Она ни разу не оплакала ни его самого, ни его муки, не выкричалась перед ним, не прокляла, они даже ни разу толком не поговорили обо всем; если бы поговорили, может быть, ему хоть чуточку стало легче. Он бы излил ей душу, заклеил себя, унизил, и тогда, быть может, она пожалела его, заплакала бы вместе с ним и сказала бы: «Забудь: постарайся забыть. Если я когда-нибудь вспомню, если осмелюсь вспомнить, считай меня подлой. Тогда, знай, меня нет». После этого ему бы, наверно, действительно стало чуть легче. Но она не хотела. Или не догадывалась об этом. Ее устраивало его вечное качанье. Клара не была его совестью. Это он понял давно. Он мучился не из-за того, что она была посвящена в его тайну. Он терзался, истязал себя, как бы каясь перед всеми честными людьми. Упреки и укоры появлялись неведь откуда, часто совершенно неожиданно. Заговорил с солдаткой — и вдруг: «А может, и ее погиб вот так, из-за кого-то»; бежит мальчик — и снова страшная мысль: «Есть ли у него отец?», и так без конца. Назовут ли его фамилию среди фронтовиков или выберут в президиум — идет на сцену и чувствует, как горит под ногами пол.

Зато он никогда не чувствовал вины перед Кларой. Очевидно, оттого, что хорошо знал ее. Просто она была свидетелем его преступления, свидетелем, который молчаливо, скрытно и упрямо напоминал ему о содеянном. Именно так — постоянно молча напоминал. Едва поднимал на нее глаза, сразу же все вспоминал. С годами

это не проходило — было похоже на то, как если бы перед убийцей повесить на стене орудие его преступления. Нет, не то. Орудие — оно немое, а Клара настойчиво, подчеркнуто, хотя и без слов, напоминала ему о прошлом. Упрямо, подло, гадко. «Люби меня, служи мне, и я не расскажу», — молчаливо говорили ему ее глаза. Иногда Миколу казалось, что Клара просто купила его или приняла из чужих рук. Из рук измены. Ну, не измены, так чего-то близкого к этому, что было третьим и жило между ними. Он ощущал это очень болезненно. Почти осязал. Это нечто то бегало по хате, то пряталось, то осторожно выглядывало, то пахально скалило зубы. Порой оно чудилось ему почти живым, похожим на домового. В такие минуты казалось, что так можно сойти с ума. Но и сумасшествия он боялся лишь потому, что тогда мог бы рассказать всю правду. Если бы не это, он, вероятно, с радостью провалился бы в безумие.

«Что-то ты вчера сильно огрызался. Думаешь, так тебе и пройдет? — выглядывал из печки домовичок. — Смотри, а то я...»

«Мур-мур-мур... Ты же мой... А между своими... Все то... Ну, было. И я о нем помню. Но я никому не скажу», — ластился он на следующий день.

«Если ты завтра не пойдешь в город и через знакомого главврача, у которого все лечатся, не попросишь хорошей работы, такой, что около тебя смогу и я прожить в тепле, тебе будет плохо», — показывал домовичок острые зубы.

То, что нависло над ними, имело и другое название — фальшь. Фальшь того сорта, когда все отношения становятся как бы не настоящими, так по крайней мере ему казалось. К тому же ему все труднее было фальшивить перед ней, а ей нет, — это вроде бы стало ее новой сущностью. Клара представлялась ему теперь насквозь фальшивой, да еще и злокой. Держалась она за него потому — и это он безошибочно угадывал, на все сто процентов, — что другого, лучшего мужа ей уже не найти. Молодость прошла, слишком она располнела, начала расплываться, красотой не славилась никогда, а тут еще, кажется, после второго аборта и детей не будет. Мужа отхватила же себе такого, что все красоты засматриваются, — и не лентяй он, и не гуляка. Впрочем, бездельничать она ему все равно бы не разрешила.

Вот и увиливала от откровенного разговора с Миколой, чтобы удержать его возле себя (боялась, что после разговора он почувствует себя независимее и таким образом в какой-то степени освободится от всего), хотя догадывалась о его переживаниях и не всегда радовалась этому. Бывали минуты, правда, довольно редко, когда ей искренне хотелось пожалеть его, хотелось отпустить все его грехи и горести и просто быть обычной женой. Но она уже не могла бы ею стать.

И только одно не приходило ей в голову: поскольку она вот так виснет на Миколе, ежечасно, ежедневно гнет и ломает его, то когда-нибудь может окончательно сломить его либо же он рванется и поставит черную точку на той их жизни. Однако так далеко мысль ее не забегала. И жила она почти беззаботно, спала спокойно и крепко. Во сне уткнется головой ему под руку и сладко причмокивает губами. И — странное дело — никакого отвращения он к ней не испытывал. Может быть, потому что она была у него первой и единственной женщиной и побеждала в нем нерастроченная мужская сила. Вот и сейчас он вдруг почувствовал, что жаждет Клары, и осторожно отодвинулся к стенке.

Эта мысль перебила все другие, и всплыло воспоминание, даже не воспоминание, а некое видение из юности, потом он потерял и эту нить, ухватился за другую, совершенно случайную — о сенокосе на лугах, — с тем и уснул.

5

Миколу разбудил солнечный луч. Солнце светило в то самое окошко, куда вечером заглядывала луна: ночью выпала иголка и газета упала. Микола поднялся, сел на край кровати. Клара что-то сонно мыкнула, повернулась на правый бок, подложила под щеку ладонь, улыбнулась во сне. Улыбка у нее была мягкая и добрая, делавшая ее похожей на ребенка, которому во сне привиделась мама. А быть может, подумал Микола, Кларе и в самом деле приснились мать и отец. Отец ее погиб в первые дни войны, и Микола искренне сочувствовал ей. Он работал в какой-то торговой организации, жили они недалеко от границы, и, когда началась война, сразу оказался на фронте. Едва успел забежать домой попрощаться и сказать семье, чтобы поскорее эвакуирова-

лись. Извещение о его смерти пришло на девятый день войны. Кларе с самого начала предложили работать в госпитале, а мать с семилетним Костей остались в оккупации. Вскоре мать вышла вторично замуж за какого-то перекупщика. Клара с ней почти не поддерживала никаких родственных отношений. Очевидно, не могла забыть отца и простить матери ее новое замужество.

Вспоминая это, Микола подумал, что вчера вечером дал Кларе чересчур уж черную характеристику, слишком тяжелой тучей окутал всю их жизнь, приписав Кларе самые страшные наклонности. Конечно, она не забывала все те злополучные дни и не старалась избавить его от пятнышка ржавчины, выросшей на душу, но, возможно, она этого не умела, а может, и не догадывалась, по каким колючкам он ходит, как трудно, как страшно ему живется, какие ужасные кошмары приходят к нему по ночам. Пожалуй, действительно не знала. Смотрела она на жизнь значительно проще и, вероятно, думала, что он тоже так смотрит, и поэтому считала необходимым все время как бы натягивать вожжи или, как он иногда горько и иронически думал про себя, держать его на прицеле. Была она душевно холодной и не очень любила детей, везде видела одни лишь козни. Может, и вины ее в этом не было, а просто так сложилась жизнь. Она ведь и Миколу сделала немало добра. И даже любила его, правда, любила по-своему, как удачно приобретенную вещь, как избалованный и немного жестокий ребенок любит куклу — то приголубит ее, то бросит на пол или пытается укусить.

Пылкая и ненасытная в любви, страстная до неистовства (тут Павлина угадала, когда раздумывала над тем, что же притягивало к ней Миколу), она могла вмиг остыть, или яростно обозлиться, или начать капризничать, как дитя. Здесь, в селе, именно это удручало больше всего. Клара была лишена чувства меры, такта, она могла в любую минуту начать кокетничать с ним или мурлыкать на людях, и он уже несколько раз ловил на себе насмешливые взгляды односельчан. И когда выходил куда-нибудь с Кларой, постоянно испытывал внутреннюю скованность, напряжение. Стыдно ему было и перед матерью, которая делала вид, что ничего не замечает, хотя на самом деле страдала не меньше, чем он. Но самое ужасное — Клара просто не понимала этого либо не хотела понимать. На все попытки как-то объ-

ясниться она раздражалась таким хохотом, что у него отпадало всякое желание продолжать разговор.

Микола начинал думать, что она откровенно игнорирует обычаи его земляков, в нем пробуждались злость и раздражение, тогда он был груб, и они ссорились. Тут был какой-то глухой угол, и Микола не видел выхода из него.

Было погожее, тихое утро, когда Микола вышел на крыльцо. С Трушевого сада выкатывалось ясное горячее солнце, чистый голубой шелк неба на востоке распарывал реактивный самолет, и Микола засмотрелся на него и долго стоял, будто загипнотизированный маленьким серебристым крестиком, уносящимся ввысь. Эта серебряная точка казалась свободной, ни к чему не привязанной, мчалась она куда хотела и была такой сверкающе чистой, что в глазах мерцало. Но уже в следующий момент он подумал, что крестик-то летит не по своей воле, что ему предназначен определенный маршрут, да и небесный его потолок тоже не безграничен. И он почувствовал, что эта вторая мысль и к нему имеет какое-то, пусть отдаленное, отношение. Микола отвел взгляд от самолета, и ему показалось, что везде и на всем — на траве, которой зарос двор и в которой чернели три тропинки, к хлеву, к воротам и к колодцу, на крышах домов, на деревьях, — повсюду лежит изморозь. Он знал, что это изморозь его души, не дающая просто и ясно смотреть на мир, и никогда для него не вспыхнет, не займется день, — для этого нужен другой свет, свой, собственный, изнутри. Подумалось вдруг, что и жизни настоящей у него не будет, да и не для чего жить. Эта мысль приходила к нему не впервые, он даже свыкся с ней, но сегодня она проступила отчетливее, и ему стало жутко.

Он взял лопату и пошел откапывать колодец. Микола словно убегал от своих мыслей в работу, понимая, что она немножко спасает его. Во-первых, каждая работа требует завершения и, следовательно, мысли кружат вокруг нее; а во-вторых, когда весь в напряжении, когда отдаешь всю энергию, все силы, работа сама как бы становится жизнью. Дело, за которое он принялся, рассчитано было надолго. Они собирались обновить колодец еще до войны, за эти годы он окончательно обветшал, столбы и срубы сгнили, менять нужно все. Микола взялся откапывать сам, а крепить столбы и срубы ре-

шил вместе с Лаврином. Конечно, проще было бы выкопать новый колодец, а старый завалить, но это рискованно. Ведь такой воды, как из их колодца, ни у кого по соседству, а может, и во всем селе не было: с самых дальних околиц ходят к ним по воду для чая, и это просто удивительно — Трушев колодец от этого метров за двадцать, а вода в нем горькая и отдает болотом, и на соседней улице — за огородами — вода во всех колодцах тоже невкусная. Видно, это совершенно отдельный родник, пробивается он откуда-то из глубины и потом снова уходит вглубь. Фронтавыми ночами, в сладостной дреме коротких привалов, на адски тяжелых переходах ему часто снился родной колодец, дышал на него из глубины звонкой прохладой, и, казалось, после таких видений и идти было легче, и переносить жажду легче. Когда он пил воду из других колодцев, то всегда сравнивал ее со своей: он воспринимал свой колодец не просто как источник воды, а как маленькую частичку того необъятно большого, что называют родиной. И когда там, в разведке, с ним случилось...

Однако Микола резко нажал на лопату и погрузился в работу: копал быстро и чуть ли не исступленно.

Затопив печь, вышла мать, тоже взялась за лопату. Микола не хотел было допустить ее к этой работе, но она не согласилась:

— А кто мне, сынок, все делал, пока тебя не было?.. И косила, и копала. Да тебе самому и не управиться тут до снега.

Они работали с передышками два или три часа. Когда на каланче пробило десять, из хаты вышла Клара. Заспанная, с вдавленным рубцом подушки на левой щеке, в синих купальных трусах и кружевном лифчике. У Миколы вспыхнули щеки, он еще ниже нагнулся над лопатой. Сколько раз просил, чтобы не выходила во двор в таком виде, объяснял, что в селе будут над ним смеяться, но она не обращала внимания на его слова.

— Ого,— удивленно и равнодушно бросила Клара, заглянув в яму и сладко потянувшись. Она долго щурилась от солнца, а затем толкнула ногой комочек земли, и он скатился Миколу на плечо.— Коля, пошли на речку. Я уже сто лет не купалась в реке.

Микола покраснел: ему было стыдно перед матерью и брала злость на Клару. Разве он не понимает, что мать молчит через силу и что дальше так продолжаться

не может. Уже полтора месяца, как они приехали в село, а Клара, как говорится, еще за холодную воду не взялась. И, очевидно, не собирается, ее вполне устраивает такая жизнь без забот и хлопот. Правда, изредка у нее пробуждался интерес к домашним заботам, начинала вдруг помогать свекрови: загонит вечером кур на насест и щупает, какие из них завтра снесут яйца, по ее выйдет или по-Павлинину?!. Нравилось ей и варить кашу, но почему-то только на дворе и чтобы помогал Микола. Все это скорее походило на забаву, а жизнь, да еще после такой войны, была далека от забав. Закончились скудные материнские запасы, молодые же из продуктов не привезли почти ничего. Да и вообще в селе никто никогда не сидит сложа руки, разве что самый последний человек, да и какой он человек, коль в рабочий летний день отлеживается под яблоней или бренчит на гитаре. И не знает село никаких купаний в рабочую пору — пусть даже в воскресенье — и загораний на зеленом лужку, там только дети пасут гусей и индюков. Микола уже и не надеется, что сможет все это объяснить Кларе, и поэтому только раздраженно бросает:

— Лучше бы взяла лопату и помогла.

— Копать землю? — удивилась Клара. — Разве это женская работа?

Эти слова неожиданно задели Павлину. Сама-то себя она уже давно не считала женщиной, ни молодой, ни старой, из тех, что могут в праздничный день надеть нарядную жакетку с узорчатым платком и посидеть на лавочке или выйти на улицу постоять, поболтать с другими женщинами у магазина; она выполняла и мужскую, и женскую работу, тут все было понятно, но, выходит, невестка и вовсе не видит в ней человека, не уважает ее. И она, разогнув натруженную спину, укоризненно посмотрела на Клару:

— Я же ее делаю.

— Ну, так то ведь вы...

— А я что... скотина?

— Ну, что вы, мамочка, разве я хотела вас обидеть. Да вы... да вы... такой необыкновенный человек, — зашебетала Клара и подала руку, помогая Павлине вылезть из ямы. А когда та стала рядом с ней, еще и чмокнула ее в щеку.

Павлина, разумеется, сразу оттаяла, вздохнула извиняюще:

— Такая жизнь, Клара. Всем нужно работать. Ты не обижайся, я давно хотела тебе сказать... Вот бригадир уже несколько раз спрашивал, когда моя невестка, то есть ты, выйдет в звено. А то, говорит, выделю ей норму отдельно.

— Какую норму? — вспыхнула Клара. — Да я ему... Какое он имеет право!

— Такое, — сказала Павлина, — как и везде. Закон у нас есть — всем работать. Так что нужно помаленьку привыкать.

Клара на миг растерялась, перевела удивленный взгляд с Павлины на Миколу.

— Это правда? — спросила она.

— А разве я тебе не говорил, — пожал плечами Микола. — Это еще ничего, а стал бы я бригадиром, меня бы женщины на второй день на куски разорвали бы — почему твоя дома.

— И ты бы пустил меня копать в навозе? И пустишь, когда придурок ваш придет со своей нормой? — бросила Клара с вызовом.

— Ничего не поделаешь, — ответил Микола. — Ты знала, куда ехала. Я тебе говорил...

— Но я не знала, что муж у меня такое ничтожество, что он не может отстоять свою жену! Да, я не из тех. Я не буду ходить с потресканными пятками. Я была в армии, я жизнь людям спасала. И тебе — тоже...

— Довольно вам, дети, — забеспокоилась Павлина. — Люди вон на огородах. Клара, Микола, — бросилась она к сыну, заметив, как его передернуло и каким напряженным стало его лицо.

Она уже и не рада была, что начала этот разговор, боялась людских пересудов, боялась, что между сыном и невесткой произойдет такое, после чего им будет не нужен ни этот колодец, ни этот двор, а может, и все на свете. Заметила она и то, каким зеленым блеском вспыхнули глаза у Клары, как твердо сжались у нее губы — и лицо сразу стало холодным, непримиримым. И эти ее слова: «тебе — тоже», — они обозначали нечто большее, чем перевязывать в госпитале рану и подавать воду, они прозвучали чуть ли не угрожающе. Правда, Павлина не боялась Клары, больше боялась людских

сплетен. А они, чувствовала, начинали уже виться над ними. И, вероятно, неспроста.

Все эти дни Павлину жег стыд. Перед соседями, бригадиром, Лаврином и Даркой — перед всеми. Слишком уж быстро развеялось очарование Клариной легкостью и непосредственностью. Чувствовала себя Клара в их доме никак не чужой, как некоторые девушки, которым долго, порой всю жизнь снится отцовский двор и настоящим кажется только то, что оставили там. Нет, Клара не обижала Павлину, ни разу не сказала ей дурного слова, вроде бы даже уважала. Но вела она себя в хате Павлины достаточно уверенно, посматривая на все так, как если бы забирала это себе в собственность или покупала. И Павлина терялась в догадках: что все-таки за человек Клара? Никак не могла ее понять. И сейчас, успокаивая сына и невестку, придумала вдруг хитрый, как ей показалось, план. Павлина положила обе руки невестке на плечи, повернула лицом к хате и повела с собой, приговаривая:

— Пошли лучше приготовим перекусить. Насчет звена... Пока все обойдется, а там найдешь какую-нибудь работу. Не всем же, действительно, в земле ковыряться. А знаешь, что мы сегодня на обед приготовим? Вареники. Дарка дала немного сыра... Кстати, и нам не мешало бы коровку завести... Клара, дочка, а как ты Миколу спасала?

Встрепенувшись, Клара высвободилась из Павлиных рук. На мгновение вперилась в нее прямым взглядом больших зеленоватых глаз и тут же отвела его. Она почувствовала в этой простой женщине такую силу — силу правдивости, собранности, честности, — что ее пробрал страх. Такая сила не признает никаких сделок, не признает лукавства, она может либо исцелять, либо сжигать, она доводит все до конца, до полной ясности и откровенности, а поскольку такое невозможно и нежелательно для Клары, она решила быть предельно осмотрительной. Она не думала, что Павлина что-то знает или догадывается о чем-то, и вот только что во дворе сама дала ей в руки кончик веревочки, а эта нехитрая женщина взяла да и попробовала потянуть.

— Как всех, так и его спасала, — сказала Клара, надевая платье: в хате было прохладно, — ухаживала, раны перевязывала. Ухаживала больше, чем за другими, правился он мне...

— Это видно,— кивнула головой Павлина, и не уловить, чего в ее словах больше: согласия или насмешки.

Микола с тревогой посмотрел вслед матери и Кларе и снова взялся за лопату. Но вскоре почувствовал, что почти неспособен работать дальше: ныла спина, ныли плечи, а руки словно налились свинцом. Да еще натер на ладонях волдыри, один уже раздавил, и там пекло огнем. Он постоял, посмотрел на раскопанное. Работы тут небось недели на две, если копать каждый день. А так — хватит до позднего лета. В хату идти не хотелось, и, не зная, куда деться, вспомнил, что уже несколько раз собирался навестить Клим, старого товарища, и все не получалось, а сегодня воскресенье, Клим, вероятно, дома. Собственно, Клим ему не то что товарищ, просто вместе учились до четвертого класса, точнее, он нагнал Клим в третьем, где тот остался на второй год. Тогда же Клим совсем бросил школу. Слишком трудно давалась ему учеба, был слаб здоровьем — плоскогрудый, тонкокостный, недоразвитый с детства,— и хотя был у родителей единственным ребенком и те очень хотели его выучить, однако, убедившись, что он слабеет разумом от зубрежки, отдали его в сапожную мастерскую. Из него и сапожник вышел никудышный, так себе — заплатник, но в начале войны всех сапожников забрали на фронт, и он обшивал полсела. И вот Микола направился к нему. Зачем? Чего искал? Какой-то шаткости Климова духа, неустроенной жизни, шел, чтобы увидеть, что не один только он на свете обижен судьбой...

Однако... он ошибся. Клим был страшно доволен жизнью, доволен до одурения. Жил и в самом деле хорошо — и сам сапожник, и отец еще крепкий, жилистый столяр дядько Микита. Отделив сына, помог ему поставить по соседству, в конце огорода, хату, хлев и ригу — и не какую-нибудь, а из досок, одна такая и была на этом краю села. Так что отец и сын имели весьма основательное хозяйство. А еще у Клим была красавица жена, Вера. Полная, пышноволосая, родившая ему двух мальчиков-близнецов, чем Клим особенно гордился. «Как видишь, дело не в широкой кости,— подмигивал,— а в чем-то другом...» Правда, как уловил Микола, Вера — это единственное, в чем у Клим была некоторая неуверенность. И дело даже не в том, что уж слишком жалким выглядел он рядом с Верой, а в том,

что Микола знал Веру выданной за другого: перед самой войной она вышла замуж за высокого, похожего на цыгана, кудрявого кузнеца Зинько. Микола помнил и свадьбу, был боярином у молодого: три запряженные пары лошадей, повозки высоко устланы сеном и застелены ряднами, ленты в лошадиных гривах и неслыханно громкие колокольчики — особая лихость кузнеца! Зинько запряг переднюю пару близко к повозке, выставив далеко вперед дышло, и протаранил тестю ворота, на которые красюковские (из Вериного края) парни навесили два замка да еще и скрутили проволокой, требуя у кузнеца большой выкуп. Парни разлетелись от ворот, как цыплята, а Зинько влетел во двор, словно коршун.

Это был высший шик, об этом долго говорили в селе. Среди тех, кто запирали тогда ворота, был и Клим, Климко, как его называли.

Зинько ушел на фронт и погиб. И Миколу теперь странно было видеть Веру не с ним. Вроде бы и ничего не было в том, что она вышла за другого, и в то же время мешало воспоминание, словно какая-то тень, и Микола, едва поздоровавшись с Верой и Климом, подумал об этом, и, очевидно, Вера и Клим тоже подумали, и некоторая неловкость ощущалась между ними.

Но Клим быстро овладел собой, забыл о старом или сделал вид, что забыл, вел себя свободно, даже с какой-то бравадой, так бахвалился хозяйством, достатком, сыновьями, что Вера дважды покраснела и загромыхала ухватами. Миколу Климово хвастовство даже поначалу забавляло, а потом разозлило. И когда зашла за сапогами соседка и Клим повел ее через сени в камору, где сапожничал, а они с Верой остались вдвоем, он внезапно спросил:

— А помнишь, как мы влетели в твой двор на трех парах лошадей? Как Зинько сокрушил ваши ворота и чуть не растоптал ваших красюковских парней? Климко тоже замки навешивал...

Вера, стоявшая у печки, чуть заметно переменилась в лице. Потом, сложив руки на груди, бросила:

— А как же, конечно, помню. А помнишь, как вы с Галей целовались на берегу, а мы вас пугали?

Ответ больно уколол Миколу, он на время растерялся, никак не мог придумать, как бы съязвить, и наконец робко засмеялся:

— Мало ли с кем я целовался.

— Ну и какая целуется лучше?

— Это уж мой секрет. Я же не Клишко...— расхвастался своими мужскими достоинствами.

— Может, оно и так,— вспыхнула до самых бровей Вера.— А тебе-то что... Занимайся собой. Тебе не дает покоя, что обеих не можешь взять к себе в постель? — пошла в наступление. Вера была не из тех женщин, которых можно сбить с толку.

Вернулся Клиш, достал из посудника бутылку синего самогона, но Микола не захотел остаться. Тем более после такого разговора. Ему было как-то неудобно перед Верой, даже испугался, как бы она при Клише не стала продолжать начатый им зряшный разговор, попрощался. Клиша в это время позвала мать, и к воротам его проводила Вера. Микола попытался извиниться перед ней, но она, опустив глаза, сказала, как говорили тогда в подобных случаях:

— Война всем нервы испортила. И жизнь тоже.

Она сразу стала задумчивой и печальной. Очевидно, и в нем что-то подобное заметила и оттого, что сама страдала, тихо произнесла:

— Какой-то ты вроде с измятой душой. Может, у тебя что на работе случилось? Работа не очень надежная...

Она намекала на строгость законов, каравших за любую небрежность или халатность с хлебом.

— Не очень надежная,— сказал Микола, а в мыслях тучей пронесся страх: эдак первый встречный человек может вот так просто отгадать состояние его души.— Для дураков и ротозеев,— добавил поспешно.

И подумал, что не должен поддаваться настроению, должен оставаться для всех тем прежним Миколой, веселым и остроумным, немного беспечным, который может пошутить над кем угодно, а прежде всего над собой.

— Ну, забот и мне хватает. Вот портфель нужно купить с двумя замками и очки — какой же это теперь начальник без портфеля и очков. А в портфеле, как у нашего бывшего завхоза, пол-литра, сковородка и сало.

Шутки не получилось. Микола усмехнулся и пошел. И снова подумал, что отныне будет следить за собой.

Микола вернулся домой — вокруг раскопки похаживал Лаврин. Большой, как гора, и какой-то кособокий — ходил, выпятив вперед правое плечо — был очень похож на медведя.

На траве лежала его огромная лопата, а поверх чернозема, накопанного Миколой с матерью, желтела глина, — видно, брат уже поорудовал своим «ковшом». И как он, подумал Микола, справляется одной рукой. Это казалось ему просто чудом. Лаврин очень быстро привык к своей однорукости да так приспособился, что редко кто из тех, у кого были обе руки, мог состязаться с ним. Вероятно, находится порой в человеке сила, — конечно, не у всякого, — которая может помочь ему вернуться в этот мир, не чувствовать своей ущербности. Лаврин и столярничал, и ковал: ворота сделал с такими петухами и разными выкрутасами, что кто ни проходил мимо, обязательно останавливался; сам сделал и вставил новые оконные рамы и двери, перекрыл соломой хату. Он и сейчас по-хозяйски спокойно похаживал вокруг колодца, что-то промерял на глаз и прикидывал. У Лаврина все ладилось, всегда уютно было рядом с ним, хотя и отличался он молчаливостью и не очень тянулся к людям.

— Ну-ну, — улыбнулся Лаврин. — Такими темпами и до спаса не управишься. А дуб у тебя есть?

— Еще не достал, — сказал Микола.

— А я, брат, пришел помочь... Ты знаешь, на нашей стороне все ставят цементные трубы.

— Где же их взять, эти трубы? — подошел ближе Микола.

— Сами делают. У Козла есть такая форма, склепанная из бочек из-под бензина, очень простая: один круг сплошной, а второй из двух половинок, на крючках, — очертил он на земле два круга, — вовнутрь сыплют цемент с песком и щебенку. И хорошо утрамбовывают. Цемент у меня есть. А щебенку можно привезти из-под Клинкерного, там начали прокладывать дорогу. И дешевле, и крепче. Я и себе думаю переделать, только немного погодя. А ведь это же и мой колодец. Наш, дедовский колодец, — прибавил он поспешно, для того чтобы Микола не подумал чего-нибудь о цементе. — Сегодня мы еще немного покопаем, — закончил Лаврин и

полез в яму. Он полагал, что слишком разговорился и что пора переходить к делу.

Яма уже была им по шею; через сгнившие срубы сыпалась в колодец земля, приходилось остерегаться, чтобы самим не провалиться и не бултыхнуться в воду. У Миколы болели руки, ныли волдыри, но он ни за что не признался бы в этом Лаврину. И так ведь знал, что брат считает его малосильным и тонкожилым. Правда, Лаврин никогда не попрекал его этим. Напротив, может быть, даже немного гордился, что у него такой брат — красивый, смысленый, до войны играл в клубном духовом оркестре, был хорошим шахматистом и почитывал книги. Вообще-то отношения между ними были не так уж просты. Они никогда не откровенничали друг с другом, не выплескивали себя, могли даже по месяцу и больше не встречаться (из-за чего не раз переживала мать), но в то же время оба знали, что, если с одним из них что-нибудь случится, другой обязательно придет на помощь. Кто знает, было ли это чувство долга, совесть или действительно скрытая где-то глубоко-глубоко любовь. Но оба чувствовали это, особенно Лаврин, он-то ведь был старшим.

Сейчас он ощущал это с особой силой. Их объединяла эта минута, этот колодец — их колодец, их рода, — но это было нечто изначальное и в то же время вечное, вызывающее неосознанную взаимную любовь, которой они как бы слегка стыдились.

— Хорошая вода, — только и сказал Лаврин, вытирая широкой ладонью губы. — Ни у кого такой нет. Только в последнее время стала чуть горьковатой. Нужно прочистить.

И в словах его Микола уловил вдруг еще один смысл: вот выкопают, обновят колодец, и может обновиться все остальное — и прошлое, которого они не умели по-настоящему ценить, и нынешнее — такое сложное, и будущее, до конца их жизни, а возможно, перейдет еще дальше — к их детям и внукам. Знал Микола еще одну тайну Лаврина, угадывал ее безошибочно: нравилась ему до войны Галя. Очень нравилась, уже имел он и жену и детей, а когда смотрел на нее, у него даже как бы свет менялся в глазах: он завидовал Миколу, но зависть эта была не совсем обычная. Если бы он даже не был женат, то и тогда отошел бы в сторону: такая девушка, конечно, могла полюбить только Мико-

лу, только ему была ровня. Микола догадывался, что Лаврина оскорбила его женитьба, он и сейчас смотрел на Галю замороженным и чуть виноватым взглядом, и Микола, трепеща в душе, ожидал, что тот когда-нибудь обязательно заговорит об этом.

Долбя твердую глину, украдкой посматривал, как орудует своей пудовой лопатой Лаврин. Тот нажимал правой ногой, отваливал целую глыбу, а затем, перехватив рукой лопату посредине, поднимал левой ногой и выбрасывал глыбу наверх. Микола не мог налюбоваться тем, как работает Лаврин.

Когда они сели под яблоней на первый перекур, он не выдержал и сказал:

— Ну и здорово же у тебя выходит!

Лаврин не сразу понял, о чем речь, а затем улыбнулся и выпустил вверх облако дыма:

— Беда учит.

— А где она... с тобой приключилась? — спросил Микола. И тут же поспешил добавить: — Ты прости, может, тебе... того, тяжело. Так ты...

— Нет, чего там, — просто ответил Лаврин, — задело пулей, а я не перевязал.

— Почему не перевязал?

— Потому что драпал. Кое-как перебинтовал на ходу... Это было на той стороне, у немцев.

— В окружении?

— Нет, в разведке.

— Разве ты воевал в разведке?

Микола удивился, что Лаврин служил в разведке. Ему казалось, что брат был понтонником или артиллеристом.

— В какой?

— В армейской.

Услышав, что брат воевал в разведке, Микола почувствовал тревогу и стал допытываться:

— Тебя туда призвали?

— Сам напросился, — сказал Лаврин. — Это же самая легкая служба. Ей-богу, — забожился искренне. — Разве сравнишь с пехотой? И житуха, и... ну, где больше уцелеешь? За войну я ходил в тыл к немцу восемь раз — сначала служил в минометной батарее. И только дважды попадал в настоящий переплет.

— А это? — указал Микола на пустой рукав гимнастерки.

— Это и было во второй раз, и в последний...

— Расскажи,— попросил Микола, изо всех сил стараясь скрыть волнение.

Он чувствовал: блуждает вокруг чего-то значительного, касающегося и его тайны, и его самого, что где-то здесь, в этом ответе Лаврина, который, он знал, будет только правдивым, в его рассказе, в самом поведении Лаврина, нехитрых и обычных делах военного разведчика, брата, таится ответ на его мучительный вопрос или хоть частица ответа, услышать который он может только от Лаврина, потому что другие, чужие, рассказывали все это совершенно иначе, да других он и не решился бы спрашивать. Вспомнил троих разведчиков, с которыми шел в немецкий тыл, но вспомнил так, словно они были живы и сидели вот здесь, рядом с ним, и он расспрашивал их, и его даже обдало жаром, перехватило дыхание, и он рывком расстегнул воротник гимнастерки.

— Ну, что там рассказывать,— неторопливо проговорил Лаврин и лег навзничь на траву, подложив под голову свою единственную руку.— Послали нас за «языком». Перешли мы вчетвером передовую, спрятались в лесочке, ждем, когда наступит день. Лесочки там реденькие — это уже было в Германии,— подчищенные, культурные, так что и спрятаться негде. Ходили мы, ходили... И набрали на провода — красненький и синий. Красный перерезали, привязали оба конца к сосенке. Ждем. Вскоре дергают провод — с правой стороны, мы пролезли немного вперед и залегли на опушке. Видим — идут. Четверо. Медленно идут, и автоматы под рукой. Пуганые и ученые. А нас тоже четверо. Позади — фронт и лесок, как парк. Страшно. Ну и не выдержал один... Дал очередь. Передний немец упал, трое бежать. Бросились мы к тому, что упал, схватил я его, а это мальчишка последнего, тотального призыва. Смотрит так испуганно... Чуть не умирает от страха. В плечо его тюкнуло...

Лаврин облизнул отошедший край сигарки, сел и полез в карман за спичками. Микола так был поглощен рассказом Лаврина, что забыл дать ему прикурить. Он видел огромного разведчика в плащ-палатке, держащего в руках желторотого вояку, представил себе панический испуг того немчика, и ему стало не по себе. А Лаврин зажег сигарку и досказал, уже поднимаясь:

— Ну, те трое пришли в себя и чесанули по нам. Мои

хлопцы по ним. Они схватились и — дали деру, а через час началось. Да и не могло быть иначе. Если бы мы их всех перебили... А то ведь прибежали к своим и рассказали о нас. Полсуток гнались. И загнали далеченько от передовой. Мы тогда долго назад пробирались. А меня в самом начале зацепило. Ну и заражение. Руку отрезали в госпитале...

Лаврин спрыгнул в яму. За ним спустился Микола. Копнул несколько раз и спросил:

— А немец?

— Привели. Ему ничего. Лежал со мной в одном госпитале.

Микола больше не спрашивал, знал: за работой Лаврин и вовсе не расположен к разговорам. Выбрасывал глину, сопел, а что у него на уме в это время — кто знает. Скорее всего — ничего. Мысли же Миколы непрерывно вертелись вокруг рассказа Лаврина. Они то приближались, то убегали, но только для того, чтобы через минуту подступить снова. Микола уже знал, о чем ему хочется сейчас спросить, но что-то словно бы предостерегало его от этого, подсказывало, что тогда он потеряет и то, что имеет, расковыряет, окончательно разворотит свою душу. Но в то же время он понимал, что все-таки не сможет не спросить, что будет мучиться и в конце концов придет к Лаврину со своим вопросом; это было похоже на то, как дети неудержимо рвутся потрогать, сколупнуть незажившую ранку, хотя родители строго наказали не делать этого.

Работали долго, Микола едва ворочал лопатой, бросал землю, а она осыпалась назад, падала на голову, он стиснул зубы и тихо кряхтел от напряжения и боли. Наконец Лаврин вытер пот со лба и сказал:

— Пожалуй, на сегодня хватит,— и отставил лопату.— Вылезай.

— Лезь ты,— из последних сил сказал Микола.

Они вылезли из ямы, и Микола пригласил брата в хату.

— Пополудничаем, выпьем по рюмке. Положено за труды.

Но Лаврин отказался, и Микола понял почему: не хотел лишний раз встречаться с Кларой. Не принял он ее в свой род и в сердце, не нравилась она ему, и он не умел это скрывать.

— Покурим под яблоней...— сказал Лаврин.

Сели на том же месте, что и раньше, курили крепкую махорку Лаврина, молчали. Лаврин — по привычке, а для Миколы молчание было наполнено внутренней тревогой, ему казалось, он крадется, подбираясь к чему-то важному и небезопасному. Возможно, так разведчики подбираются к часовому, стоящему на посту. Вначале он думал, что отложит свои вопросы на какое-то время: зайдут в хату, там будут мать и Клара, выпьют по рюмке, и если представится возможность, то спросит уже по дороге, провожая Лаврина. А может быть, и не будет его провожать. Теперь же это наполненное тишиной и задумчивостью молчание само накликало вопросы.

— Скажи, Лаврин,— робко, прислушиваясь к своему голосу, не выдает ли он его, спросил Микола,— ты боялся там, в разведке?

— А как же,— пожал плечами Лаврин.

— А когда ты больше всего боялся?— надеясь на какой-то, одному ему известный, ответ, спросил он.— Как это было?

Лаврин долго молчал. Он вспоминал и не мог вспомнить. Разумеется, не догадывался, почему его спрашивает об этом Микола, но уловил в его голосе жадный интерес, просьбу и постарался ответить откровенно и честно. Да иначе он и не мог.

— Больше всего, думаю, когда нас послали разведать станцию,— сказал не очень определенно. Но через минуту заговорил уверенно, память осветила ему тот день, и он убедился, что так оно и было.— Мы не знали, есть там кто-нибудь или никого нет. Сначала рванулась гуда конная разведка — два офицера на тачанке, парни были слегка подвыпившие. Их сдерживали — не послушались. Помчали и не вернулись. Тогда командир послал нас: меня и еще двоих. Станция на холме, дорога к ней голая, только с одной стороны деревья — тополи белокорые. И поле голое. Иду я, значит, а в душе так и екает: если там немцы — нам верная смерть. Да еще и не простая. А где им быть, как не там, если тачанка не вернулась. Известно, затаились, молчат, чтобы живыми взять. Видно же нас — как на ладони. Пройду чуть, останавлиюсь, осмотрюсь и снова двигаюсь. А ноги к земле прирастают. Оглянулся, а напарников моих нет — от-

стали. Присматриваюсь: один из них, Ибрагим, уперся другому, Саиду, автоматом в спину и подталкивает: «Твоя — говорит, — гад, не хочет умирать, а я хочу? Вместе умрем». Саид бледен, руки трясутся. Вот когда меня охватил настоящий страх.

Лаврин замолчал, глубоко переживая свой рассказ. Пожалуй, сейчас ему самому казалось странным, что вообще такое было. И откуда только брались силы преодолевать страх? А этот мирный день, эта сегодняшняя тишина, зеленый сад навели его на мысль, что он мог их и не увидеть, да и не сидеть здесь никогда. Микола почувствовал это и поторопился:

— Ну?!

— Ну, пошли мы, — уже вяло, нехотя, устало закончил Лаврин. — На станции никого не было. Побитых лошадей и тачанку нашли на переезде. Я пересчитал пути, и мы фуганули назад.

— Пересчитал пути? — удивился Микола. — Зачем?

— Чтобы поверили, что мы там были. Могли же и соврать, и обречь своих на смерть. Докажи тогда, были мы там или не были. Немцы отступили и снова пришли. А так... Если бы соврали, наши потом подсчитали бы колеи — и нас к стенке.

Микола удивился солдатской смысленности Лаврина, тому, как просто относился он к собственной судьбе. Но, наверное, для Лаврина такое решение было самым естественным.

Этот рассказ мало устроил Миколу. Хотелось до конца понять поведение тех разведчиков.

— А если бы просто возвратились и сказали, что немцев нет. Там же действительно никого не было. Ну... подошли к самой станции на выстрел и повернули назад?

Лаврин удивленно посмотрел на брата:

— Как повернули назад?

— Ну... Страх обуял всех. Как того... Саида.

Лаврин подумал — он вообще думал медленно и туго, — сдвинул на затылок фуражку, взъерошил реденький чуб и сказал:

— То, брат, страх уж такой... что если его не поборошь, то и жизни не будет. Бывает, лучше пойти на смерть, чем потом жить.

Он не заметил, как содрогнулся и побледнел от его слов Микола, в его почти заснувшей памяти вновь

всплыло воспоминание и растревожило душу, как никогда прежде. А Лаврин продолжал дальше почти без перехода, стараясь подкрепить свою мысль примерами из собственной жизни, ибо только таким образом, думал, она может быть понятна.

— Был у нас начфин, все просился в разведку. Разведка в то время шла легко, везло ребятам: то сами фрицы сдадутся, то заблудится кто-нибудь из отставших: отступали они, да и фронта сплошного не было. Одним словом, упротил он в конце концов. А разведка выпала серьезная и тяжелая. Фронт к тому времени стабилизировался, окопался, пришлось нам лезть в проход, который прогрызли саперы через два ряда колючей проволоки, спираль Бруно и минное поле. Я лез первым в группе захвата, начфин — предпоследним. А всего двенадцать человек: четверо — группа захвата и восьмерка — прикрытие. Залезли мы на картофельное поле и притаились. Ракеты взлетают, немец постреливает. Так, вслепую. А затем ракеты прямо над нами — одна, другая, еще одна. Из крупнокалиберного как чесанет по картошке! Возможно, что-то заметил, но ударил из пулемета снова не прицельно, а так — протянул по всему полю, туда и назад. И одурел от страха начфин. Ребята его держат, а он кричит и назад рвется. И все-таки вырвался. В проход наш сослепу не попал, налетел на проволоку, наделал тарарам.

Лаврин зажмурил глаза, меж бровей у него залегла суровая борозда, лоб тоже прочертили две глубокие морщины, он сразу постарел на несколько лет, хотя Микола, увлеченный рассказом брата, не заметил этого. Однако Лаврин продолжал дальше так же ровно и внешне как будто спокойно:

— Почти всех немцы положили. Остались только я и еще один тяжелораненый. Я едва дотянул его на плащ-палатке. Начфина тоже потом забрали, он упал под проволокой, ранен был. До обеда умер. А если бы не умер? Представляешь его жизнь: столько человек своим страхом на смерть отдал! Да еще и начальника разведки за самовольство — разрешил тому пойти с нами в немецкий тыл — в штрафбат отправили, так про него ничего и не знаю.— Кряхтя, Лаврин внезапно поднялся:— Ну, братуха, пойду я. А насчет начфина... За одно его можно осудить — не знал силенок, возможностей своей души, а полез. Если бы хоть по принужде-

нию... Э, да что там говорить... Ни к чему эти разговоры. Прошло, и слава богу. Ты того... Завтра вечером загляни ко мне, цемент перевезем.

Микола, точно лунатик, проводил Лаврина до ворот, немного постоял, посмотрел вслед высокой, коренастой, чуть кособокой фигуре брата, покачивающейся в конце улочки, затем вернулся к яблоне. Прошел туда не через калитку, а переступил изгородь, которой садик был отгорожен от двора: он шел, как бы крадучись, словно прячась от кого-то, и, оглянувшись, обрадовался, что никто его не видит. Раскаленными пулями пронзили голову слова: «Бывает, лучше пойти на смерть, чем потом жить». Его истомил рассказ Лаврина и слишком уж подавляла житейская уверенность брата и убежденность в невозможности выбора; он воевал, будто выполнял самую что ни на есть необходимую работу, и не мог думать иначе. Не в меньшей мере разбередили Миколу душу и слова о человеческих возможностях, о силах души, в них он как будто нашел какое-то оправдание себе, но больше — осуждение. Он и поныне точно не знал, был ли это выбор с его стороны и осознал ли он меру собственного страха. Отсюда возникал вопрос: а что изменилось бы, если бы знал?.. Небось многое... Потому что даже в тот последний момент... Нет, тогда он уже не мог рассчитывать. Остальное случилось независимо от него, этим он пытался хоть чуточку оправдаться перед собой и с ужасом понимал, что не может.

Собственно, понял он давно, а сейчас лишний раз убедился в этом. Потому что тогда пришлось бы оправдывать слишком многое. В общем-то — все. Все — от того момента, когда он не нашел в себе силы признаться, что боится, что не верит в себя, и до самого конца, до встречи с капитаном особого отдела, которого так горячо (даже выступали слезы на глазах, даже начинал себе верить), так взволнованно и в то же время обдуманно убеждал и переубеждал. Конечно, в его рассказе было много правды, истинной правды и раскаяния, готового переплавиться в правду, а еще больше — страха, сверхчеловеческого страха за свою жизнь, за позор, который мог упасть на него. Увел он капитана в сторону, за собой с того момента, когда... Нет, он еще раньше отступил в сторону... Это был шаг, рассчитанный на будущее... Много раз пересказывал себе Микола то, что

случилось с ним в Новом Бору, он помнил ту ночь и свой страшный путь до последнего вздоха. Сначала рассказывал, чтобы за что-то ухватиться, чтобы отыскать такую зацепку, которая хоть в чем-нибудь могла оправдать его или облегчить его страдания. Позже — в самоуничтожении своем неосознанно искал утешения: «Ну что ж, вот я такой: козявка, клоп, а что поделаешь, нужно жить». В последнее время все эти видения не покидали его. Он как бы увяз в трясине неразрешимых вопросов, погружался все глубже и глубже — по щиколотки, по колени, по пояс... И не мог передохнуть, и не мог забыться, потому что... рядом жила Клара. И хоть до сих пор она ни разу не напомнила ему об этом, он знал, что она помнит, а значит, и ему этого не забыть.

Она ведь не только все помнила, а и помогла выдумать достоверный рассказ. Впрочем, сегодня Микола вспоминал все это совсем по-другому. То есть он шел своим настоящим, а не выдуманным путем, ступал в настоящие, а не придуманные следы, но ступал как-то так, что чувствовал рядом шаг Лаврина, видел себя его глазами, а то и менялся с ним местами, и тогда исключалась какая бы то ни было фальшь, любой сговор с собственной совестью.

Первым узелком, который он завязал на длинной веревочке лжи, было то, что он утаил, как они еще по дороге к санаторию заложили взрывчатку под мостом на старой стратегической дороге. Мост не охранялся, по нему не ездили, и они могли не бояться, что кто-то ее найдет. Ее все равно пришлось бы где-нибудь спрятать, а так все у них было наготове, и поджечь бикфордов шнур должен был именно он. Подорвать мост сразу они не могли, прежде всего потому, что обнаружили бы себя, да и речь шла о более позднем сроке. Разведчики в ту же ночь отправились дальше, выполнять вторую половину задания, о котором он ничего не знал, а его оставили в лесу.

— Замаскируйся на опушке и следи за дорогой, — приказал Желай. — Запоминай все хорошо. Особенно танки. Если же случится так, что мы не вернемся через два дня, подрывай мост и иди в глубь леса. Через линию фронта не перебирайся, наши сами через неделю будут здесь.

— Эх, мне бы такой курорт, — не без зависти пошу-

тил Шкурко, выкладывая прямо на землю Миколин запас харчей.

Микола наносил сена и устроил себе довольно уютное пристанище. Просидел в нем ночь и следующий день. Его одолевала тоска и манило село. Там, по его наблюдению, немцев не было. И он бы разведдал все. Крестьяне знают, что делается вокруг: где стоят немцы, где их штаб, где расположены укрепления, а поскольку те, к кому он обратится, помнят его, они не будут бояться и все расскажут. Вот удивит он хлопцев! Просто-напросто утрет им нос. Раздобудет данных не меньше, нежели они втроем, если там Клара, то увидит ее и, возможно... останется у нее до утра.

Даже сегодня помнил он, что вели его удадь, лихачество, желание показать разведчикам, что он не трус (точно как у того начфина — не даром приговор Лаврина начфину был в то же время и приговором ему), легкий трехдневный поход по немецким тылам усыпил в нем и страх, и бдительность. Именно потому он не пошел и огородами. Он и теперь, доходя в воспоминаниях до этого места, каждый раз едва не задыхался от отчаяния: ну почему не послушался первого внутреннего толчка! О, как много значил этот толчок: едва заметное волнение, а какой дорогой ценой обошлось!

Для него — почти всем. Для тех троих — всем без остатка.

Сначала он шел очень осмотрительно. Ночь стояла мгlistая, но чуткая, небо над его головой затянули рыжеватые рваные облака, непонятно куда плывущие. И он не мог определить, к чему все идет — к темноте или к свету. Он хотел темноты. Начинался мороз, и он ступал осторожно, держась ближе к хатам, к изгородям. И был весь как струна, готовый в случае беды вмиг сорваться и броситься в сторону, в огороды, и отстреливаться, и огрызаться до последнего. Но когда у него за плечами вдруг раздался грозный окрик (в тот момент он собрался постучать в окно к счетоводу), Микола даже не вздрогнул — умом ли, сердцем ли, но постиг: иначе — смерть, слишком близко они стоят и целятся в спину.

— Брось железку, — приказал низкий басовитый голос. — И руки... выше.

Микола, будто во сне, выполнил приказание. В тот момент им владел страх мгновенной смерти и больше ничего. И только когда ему приказали повернуться,

а потом идти по улице, его охватило отчаяние. Он понял всю глубину своей ошибки, и то, что с ним случилось, и что произойдет дальше, и страх наполнил его всего, защемило под сердцем, а тело стало непослушным, деревянным, ему уже было ясно, что он потерял все и что спасения нет. Его вели два полица, два невысоких парня, значительно ниже, чем он, в гражданской одежде — один в телогрейке, второй в пальто, первый держал наготове автомат, второй — винтовку. Они о чем-то тихо переговаривались между собой, иногда покрикивая на него, вероятно, чтобы утешить его и подбодрить себя. Улица, по которой они шагали, вела к центру. Микола помнил ее. Когда прошла первая минута страха, он подумал, что нужно попробовать отпроситься, как-то выкрутиться, потому что, когда приведут на место — в штаб или в полицию, тогда уже будет поздно, и он, не поворачивая головы, сказал:

— Хлопцы, вы...

Но низкий тяжелый басок сразу оборвал его:

— Ну-ну... Хочешь девять грамм в затылок? Я тебе покажу хлопцев.

Они привели его в полицию, которая находилась в помещении бывшего сельсовета — опрятном домике у самой дороги. В маленьком деревянном коридорчике, освещенном керосиновой лампой, стоявшей на полу, дежурил полица. Он удивленно посмотрел на Миколу и его конвоиров, приоткрыл дверь. Дальше Микола прошел теплый коридор с дверьми налево и направо и попал в большую комнату с двумя окнами, выходящими на дорогу.

Из этой комнаты тоже выходили две двери — прямо и направо. Та, что прямо, как помнил Микола, бывавший когда-то в сельсовете, вела в другой коридорчик, а та, что направо, теперь она оказалась позади него, — в просторную комнату, где прежде был кабинет председателя сельсовета. В комнате пылала печурка, около нее сидели два полица. Один был босой, его сапоги стояли возле печки, а портянки сушились на чугунных дверцах, большим проволочным совком он помещивал жар. Комнату освещала небольшая лампочка, проводка от которой шла вниз к аккумулятору.

— Вот, поймали субчика, — сказал один из полицейских, что привели Миколу, худощавый, с тонкой шеей.

И такой плюгавый, что Микола с мучительной тоской впервые за это время подумал, что дал себя поймать черт знает кому. Правда, второй хоть тоже невысокий был, но крепкий и, видимо, сильный, с взглядом острым и твердым.— Мы его еще возле плотины заметили,— сказал он.— Разведчик. Вот его автомат.

От печки поднялся жилистый, тоже молодой полицейский, в черной, наброшенной на плечи шинели, с отороченными черным мехом рукавами,—наверно, начальник полиции или его заместитель,—недобро посмотрел на Миколу и процедил сквозь зубы:

— Обыскать и в кутузку. А ты,— босому полицаю,— в школу.

Тот быстро обулся и вышел. Тонкошей полицейский обыскал Миколу и выложил на табурет нехитрое солдатское добро: курево, алюминиевый гребешок, ножик, две гранаты — и отстегнул от пояса запасной диск к ППШ.

Пока он неумело вылавливал из карманов Миколы весь этот скарб, у того в голове мелькнула слабенькая мыслишка и возник некий план.

— Я не разведчик,— сказал он.

— А кто же ты?— удивился и подошел ближе начальник полиции.

— Солдат, пехотинец,— не совсем уверенно проговорил Микола.— Я когда-то здесь в госпитале лежал. А тут... попал в окружение и решил... того, удрать.

— Ты смотри, он еще и брешет,— снова удивился начальник полиции, и на его вытянутом, но красивом лице заиграли освещенные пламенем печи красные желваки.— А это?— показал он на автомат и гранаты.

— Лесом шел, боялся,— сказал Микола, в нем рождалась надежда, он почувствовал себя чуть раскованней, ему казалось, что, настаивая на своем, он сможет убедить или хотя бы запутать полицаев, может, они пошлют за кем-то из местных людей, кто помнит его, и тогда...

Он не знал, на что может надеяться,— обычный плен или концлагерь. Он и дальше будет говорить, что «удрал от Советов», как призывали немцы в листовках, которые он не раз подбирал на стерне. При этом он забыл, что его изобличают и автомат, и гранаты, и ночь, которой крался, и восьмидесятикилометровое расстояние от фронта.

— Ах ты, сука,— вроде даже весело сказал начальник полиции, и в то же мгновение перед глазами Миколы сверкнул и прыгнул куда-то вверх огонь, а сам он полетел вниз, комната закачалась, и что-то хрустнуло в ушах.

Он больно ударился затылком о стенку, шапка слетела с головы, машинально потянулся за ней, но в ту же минуту его повалил второй удар в челюсть.

— Встать!— приказал полицай.— Теперь вспомни, куда и зачем шел?

Микола покрутил головой, и пол снова уплыл из-под его ног.

— Я из тебя живого или мертвого правду вытяну,— долетел до него сквозь звон в ушах голос.

Однако Микола не испугался. Он сам не знал, почему не боялся в эту минуту. То ли почувствовал, что такую боль можно выдержать, то ли били его так, как уже случалось в драках сельских парней,— его внезапно захлестнула соленая волна злости, он стиснул зубы и прошептал пересохшими губами: «Бей, бей, гад, я тебя не боюсь». За все это время он ни разу не подумал о заложенной под мост взрывчатке и о тех, с кем пришел сюда, мысль об этом осталась где-то глубоко-глубоко, нетронутая, недоступная. Микола и сегодня хорошо помнил: нет, он не собирался тогда откупаться, и не потому, что знал — не откупится, а только оттянет на какое-то время смертный час,— просто тогда он эту мысль даже близко к себе не подпускал.

Его перестали бить. Начальник полиции потер косточки пальцев правой руки,— наверно, ушиб,— сплюнул под ноги и приказал:

— Отведи!

Микола начал подниматься, когда в комнату вошел тонкошейный полицай, который обыскивал Миколу, и два немца: грузный, толстый, в суконной пилотке и долгополой шинели, и высокий, худой — такой худой, что у него глубоко запали глаза и резко выдавались скулы,— в блестящих сапогах и высокой фуражке. Начальник полиции вытянулся перед ним, а затем быстро подвинул от печки табурет, предусмотрительно вытерев рукавом гимнастерки. (Его шинель с отороченными мехом рукавами, видно, свалилась, когда он бил Миколу, и кто-то из полицаев аккуратно положил ее на подоконник.) Немец в фуражке сразу сел на табурет. У него было

отсутствующее, безразличное выражение лица, вероятно, это был один из фронтовых старших офицеров маршевой колонны, которая шла на фронт и остановилась на отдых в селе: офицера, видимо, только что разбудили,— вид у него еще был сонный. Толстый немец в пилотке сначала подошел к печке погреть у огня руки, затем медленно двинулся к Миколу. Так медленно, что у Миколы по сердцу прокатился холодок и возникло желание куда-нибудь спрятаться, убежать. Так же медленно немец нагнулся, запустил большую липкую пятерню Миколу под чуб и что есть силы дернул его. Был немец невероятно сильный: у Миколы что-то затрещало в черепе, а в глазах запрыгали маленькие красные искорки.

— Ты не будешь дураком и сейчас расскажешь нам, сколько вас есть, куда вы идете и какое имеете задание,— сказал он по-русски, четко, лишь с небольшим акцентом.

— Я... я все им сказал,— проглотил Микола тяжелый ком и отвел в сторону взгляд, чтобы не встречаться с глазами немца, холодными и жестокими.

— Не нужно играть... не нужно,— приговаривал немец, ударяя Миколу головой о стенку.— Потому что я могу рассердиться. И тогда тебе будет очень плохо. Я умею делать плохо — ты веришь?

Он вытащил Миколу на середину комнаты и отпустил. Микола пошатнулся, почувствовав себя маленьким и беззащитным. Невольно оглянулся и увидел на стене свою тень — действительно такую маленькую и беззащитную, что ее можно было смести взмахом ладони. Он уже почувствовал на себе тяжелую, страшную силу этого немца, съежился, вобрал голову в плечи. Неизвестность больше всего пугала его. И тогда впервые шевельнулась неопределенная мысль: как выдержать все и не сказать правду? Тяжелое предчувствие сжало сердце. А немец еще мгновение сверлил Миколу раскаленными угольями глаз — его губы скривились не то в насмешливой, не то в злобной улыбке — и махнул рукой:

— Подтяните это.

Двое полицаев подтянули широкую дубовую скамью.

— Кладите,— приказал так же кратко.

Полицаи сгребли Миколу, усердно выполняя приказ. Один сел на ноги, другой держал за плечи. Еще кто-то

натянул на голову колушок и рубашку. Микола думал, что его будут бить. Он сжался, закрыл глаза, ожидая удара. Ожидание длилось долго, оно терзало невыносимо. Он то сжимал, то разжимал губы, дышал тяжело, хрипло, в горле стучали странные молоточки, словно отмерявшие время. И внезапно нестерпимо запекло на спине, в глазах вспыхнули ослепительные искры, и боль сковала все тело. Он ожидал, что боль вот-вот отпустит, но она не стихала, над ним вдруг что-то зашипело, и смрадный дух поплыл по комнате. А спину раздирало, рвало в клочья, в нее ввинчивались сотни буравчиков, вбивались сотни гвоздей. Уже потом он узнал, что это было. Немец набрал в проволочный совок жару и приложил к его спине. Адская боль вселила в Миколу такую силу, что он рванулся и упал вместе со скамейкой на пол. Микола не помнил, кричал ли он, стонал ли, а как лежал на полу, помнит и до сих пор. Полицай и немцы казались невероятно большими, они наплывали на него из тумана, а где-то за их спинами вставало что-то красное и жаркое. А еще у самого его лица почему-то желто отсвечивали тяжелые растоптанные сапоги.

Он пошевелился, тело пронзила острая боль, однако туман развеялся, и он увидел обыкновенных полицаев и немцев и того, который держал в руке проволочный совок с жаром, только не видел, кто стоял над ним.

— Положите его еще раз,— приказал немец.— И хорошо держите.

Полицаи начали медленно ставить скамью,— должно быть, они еще не привыкли к таким зрелищам,— но тут поднялся немец в высокой фуражке, постоял, надевая перчатки, посмотрел на огонь, мельком — на Миколу и сказал:

— Эршиссен!..

Вероятно, ему был ни к чему этот разведчик и то, что могли вытянуть из него; его одолевала усталость, он хотел спать и поэтому приказал расстрелять Миколу.

В ту минуту Микола ничего не понял, он только видел, что немцы ушли, и у него немного отлегло от сердца, хотя, конечно, и думать не мог ни о каком спасении. А может быть, и надеялся, что полицаи его отпустят,— этого он сейчас не помнит. Да и вообще он мало что соображал от боли, в глазах у него померк свет, все мысли были похоронены в этом страшном аду.

Носком сапога и дулом винтовки его подняли с пола

и повели во двор. Снова он не знал, куда и зачем его ведут, хотя, когда вошел в первый, темный коридорчик, что-то в нем насторожилось, вызвав новую тревогу. Во втором коридорчике дежурный полицей отшел чуть в сторонку, пропуская его, но полицей, который шел сзади,— это был тот самый, что сидел босой возле печки,— остановил Миколу.

— Разувайся,— показал глазами на табурет в углу.

Микола удивленно уставился на него, не мог понять, что полицей не хочет разувать его мертвого, а предпочитает уже сейчас переобуться в теплые сапоги, и Миколина непонятливость даже озадачила его. Полицей отвел глаза, и только тогда в Миколином сознании промелькнула страшная мысль. В это время за его спиной скрипнули двери и мимо Миколы и его конвоира прошел низенький коренастый полицей, один из тех, что захватил его, тот, что говорил басом. Он нажал щеколду сенных дверей и, уже наполовину открыв их, сказал:

— Дурак. Через пять минут околеешь. А так, может, и остался бы жив.

Эти слова, простые, страшные, обожгли мозг Миколы—как будто он тонул и неожиданно вынырнул на поверхность воды. Микола сразу увидел себя на земле—босого, задубевшего, мертвого,—и это было так ужасно, что горячий, жгучий ком оторвался от сердца и полетел куда-то в темную бездну. А в то же время, возможно, помимо его сознания, из какой-то другой глубины вынырнуло нечто живое, хотя и смертельно напуганное, оно рванулось вверх, бросая его вперед, в какую-то жуткую неизвестность. Может быть, даже к новой смерти, но не к этой близкой, сиюминутной, которая стояла за его спиной с винтовкой в руках, которая разлеглась за черным окошечком вечно холодной тишиной.

— Я скажу!..

Он и впоследствии не мог вспомнить, как произнес эти слова. И как бы потом ни старался обмануть себя, знал: они лежали где-то близко, что-то держало их под рукой, как последнюю спасительную соломинку. Какая сила приберегла их и бросила для его спасения? Этого он не знал ни тогда, ни потом, ни теперь. Очевидно, то была сила самосохранения, сила желания выжить. Не осознанная до конца мысль о возможности такого спасения словно бы обтекала мозг, просачивалась сквозь него, умышленно становясь неясной, нечеткой,

размытой, хотя и была мощной, сильной, ибо становилась частицей самого бытия. Именно так — частицей бытия. Он не мог исключить ее из себя и осознал это очень скоро. Конечно, он тогда не думал о последствиях и вообще не мог мыслить четко и ясно, не было времени для этого, и что-то, ему же на пользу, не давало, мешало думать. То, что было потом, промелькнуло мрачной тенью и исчезло. Если бы, думал он позже, его окружили вместе с теми тремя, он наверняка выдержал бы и, вероятно, погиб вместе с ними, пережив страх и отчаяние, но погиб бы вместе; а тут стоял один перед черной сворой, и мороз обжигал его еще обутые ноги, которые через пять минут станут как лед. И тело уже вроде лежало распластанным на земле, и сердце не билось.

Его повели назад в сопровождении полиция, и он уже искал спасения для себя и тех, с кем трое суток делил хлеб-соль, страх и надежду. Он притворялся, стонал сильнее, нежели болело на самом деле, делал вид, что теряет сознание, пока у полиция не иссякло всякое терпение, и тут-то Миколу показалось, что он нашел выход: сказал, что пришел один, что его послали подорвать мост на старой стратегической дороге. Полиция не поверил, но Микола сказал, что уже заложил взрывчатку и они могут проверить. Его заперли в полицейской каталажке — бывшей сельсоветовской, в которую когда-то сажали пьяниц и дебоширов, — он точно не помнит, сколько просидел там, его допрашивали еще раз, снова били, он терял сознание, а вместе с ним и счет времени. Он то ли оступел, то ли стал безразличным ко всему и уже не думал, что будет с ним и что творится вокруг него, почему такая тишина и почему его больше не ведут на допросы.

Только значительно позже из Клариного рассказа Микола составил себе представление о том, что произошло там, на воле. Вероятно, по количеству взрывчатки, а может быть, еще по чему-либо, полиция догадалась, что Микола пришел не один, и устроили засаду. Полиция заметили разведчиков, когда те вышли на болото, направляясь к мосту. Полиция, имевшие пулемет, перебили их. Там в кювете у плотины, куда весной стекают ручьи, они всех троих и зарыли в одной яме, которую выкопали четыре мужика из Нового Бора.

Миколу повели на расстрел в следующую ночь. Он не знал точно, куда его ведут, хотя и догадывался: глу-

хая ночь, и полицаи какие-то притихшие, настороженные. Они курили, и дымок от их сигарок овевал Миколу. К тому времени на него окончательно нашло отупение, безразличие, весь день его мучила адская боль в спине, голова была тяжелая, в ней стояли туман и звон, да еще пробивались тяжелые мысли и воспоминания, мучившие посильнее физической боли. Ему только нестерпимо хотелось курить, хотелось так, что за одну затяжку он готов был отдать жизнь, и, когда один из полицейев бросил окурок, Микола нагнулся, а шедший сбоку полицейай едва не застрелил его. Микола затянулся, и мир закачался, и еще большее безразличие нашло на него. Его вели к глинищу, но почему-то не довели. Остановили в долинке около маленького хлева, приказали идти, и он пошел, и когда оставалось сделать до хлева два или три шага, какая-то гигантская сила ударила в плечо и бросила вперед, на мерзлую землю.

Через какое-то время — он не знал, сколько пролежал в беспамятстве, — Микола пришел в себя. В один миг припомнил все. И догадался, что полицаи ушли, решив, что он мертв. И тогда в нем снова пробудилась жажда невозможного — стремление спастись, выжить. Превозмогая боль, сжимая руками простреленную грудь (пуля прошла навылет), он поднялся и, пошатываясь, побрел. Его била холодная дрожь, но теперь сознание работало четко: он знал, необходимо где-то укрыться, нужно, чтобы его перевязали, иначе смерть, и он шел туда, где когда-то жила Клара, где его знали и где надеялся найти пристанище. Это было недалеко, но и на такой путь у него не хватило сил. Он несколько раз падал, поднимался снова, свет то меркнул, то начинал теплиться, наконец стал окончательно угасать, медленно, словно наливаясь красной сукровицей, которая становилась все гуще и гуще, застилала глаза, возле чьей-то хаты он, едва держась за стену, почувствовал, что проваливается в красную бездну, из последних сил стукнул в окно.

Снова он пришел в себя уже в хате. Это была хата бабки Праховой — бездетной вдовы, жившей через огород от Беспаловых, у которых квартировала Клара. Маленькая сухонькая бабуса суежилась около него, как птенчик вокруг большой подбитой птицы: то подскакивала к нему с мокрой тряпкой, то отбегала и что-то искала, охала, всхлипывала, что-то приговаривала, а за-

тем сорвалась и, причитая на бегу: «Фельдшерку... я позову фельдшерку», — выбежала из хаты. Она привела Клару. Бабка Прахова тихо бормотала, что это пришла ее смерть, что ее либо убьют, либо зверски замучают, и уговаривала Клару забрать солдата к себе, но та говорила, что сама живет у чужих людей, под постоянным присмотром, и велела старой молчать и подумать, где бы лучше пристроить раненого.

Когда Микола окончательно пришел в сознание, Клара покачала головой и незаметно приложила палец к губам, и Микола понял, что должен молчать об их знакомстве. Она перебинтовала раны, была сосредоточенна, строго замкнута, — Клара умела, когда нужно было, держаться так. Вдвоем с Праховой они устроили в подполье кое-какое укрытие, перетянули туда Миколу и закрыли вход поленьями и вязанками хвороста, что лежали у старухи под печью и в сенях. Теперь добираться к Миколу можно было только из другой комнаты — холодной, служившей чуланом. Там стояло корыто с фасолью, пустая кадушка, висели венки лука и связки сушеных лесных яблок-кислиц, валялось всякое тряпье. В подполье Микола пролежал два месяца. Ухаживала за ним и лечила его Клара: старуха и потом ужасно боялась, она редко навещалась домой, стараясь подольше жить у сестры в Старом Бору. Позже, перед самым приходом наших, Клара перебралась в старухину хату. Микола поправлялся, но, лежа в подполье, не переставал думать о случившемся, и этих душевных страданий хватило бы на несколько жизней, на несколько человек, может быть, даже более сильных духом, чем он.

Когда Микола окончательно пришел в себя, когда успокоился, его буквально потрясла невероятность того, что произошло. Он по черточкам, по мельчайшим подробностям восстанавливал происшедшее, обдумывал его, подсознательно оставляя в стороне собственную ответственность за три жизни и за невыполненное задание. Потом его охватил страх, самый обыкновенный страх, что полицаи и немцы могут разыскать его, устроить облаву в селе, прийти сюда... Он всполошился, начал присматриваться к своему тайнику, расспрашивал Клару, надежно ли она замаскировала его...

Страх этот быстро прошел. И тогда у него, вроде бы случайно, промелькнуло в мыслях: а что же он сказал

полицаям?.. Он не чувствовал конкретной вины, но ему становилось тоскливо, и это ощущение уже не оставляло Миколу. Оно как бы обесцвечивало все его существование и все его другие мысли. С ним пришли усталость и новая боль. Боль души. Со временем это чувство становилось сильнее, он начал впадать в апатию, даже в беспамятство. Мысль наплывала за мыслью, они терзали его, лишали воли, он терял вкус к жизни. Словно опустился куда-то, а жизнь летела поверх него, не касаясь его души. Случались минуты, когда он совсем переставал бояться за себя: если бы пришли немцы, он бы не испугался, не стал бы цепляться за жизнь, лишь пожелал бы, чтобы его убили на месте. Чтобы не тянули куда-то опять, на какие-то допросы...

Почти трое суток после Кларинового рассказа о смерти разведчиков его мучили ужасные видения — тогда он по-настоящему хотел смерти.

Неподалеку, в нескольких километрах от него, находилось знакомое болото — они вчетвером перешли его. А дальше — и мост, и плотина, и ровно засыпанная могила возле нее. Микола видел это место так ясно, как будто сам побывал там много раз... И слышал свист пуль, и видел черные фигуры полицейских на плотине, и грудь его сжималась от боли.

Они упали посреди болота прямо на лед. Но кочки, низенькие, не прикрывали их, а полицейские стреляли с бугра. Он слышал, как застонал кто-то сзади — Басов или, может, Шкурко, — как выругался сквозь зубы Желай. Кажется, он назвал его имя... Назвал страшно. Желай знал, что полицейские не могли так просто прийти сюда. Им указали место... Кто-то указал... А они верили ему. И Желай выругался еще раз и сказал Шкурко и Басову, из-за кого они умирают здесь, на льду. Впрочем, Шкурко и Басов и сами догадывались об этом.

Пули срезали пожухлую осоку, рикошетили ото льда. Разведчики примерзали ко льду. Они знали, что отступить к лесу им не удастся. И тогда Желай сказал, что они попробуют броском прорваться к мосту. Все понимали, что означали эти слова: им уже не вырваться, но, возможно, удастся взорвать мост. Подорвать вместе с собой. Полицейские что-то кричали с плотины, — наверное, предлагали сдаться, — но они не прислушивались к этому крику. Никому из них не могла прийти в голову мысль о том, чтобы сдаться.

Они поднялись все вместе — кто-то, Шкурко или Басов, стонал — и побежали к мосту. Они отдавали жизнь за вспышку спички, которая должна была поджечь бикфордов шнур. Все трое на ходу стреляли из автоматов по плотине. А оттуда ударил пулемет, и взвизгнули автоматы, и захлопали винтовки.

Больше Микола ничего не видел, он возвращался к себе. Снова и снова, десятки раз возникал в его голове один и тот же вопрос: «Как это могло случиться? Как же все это случилось?»

Он в самом деле не мог сказать, как все случилось. Как он, отступавший с Украины, которую топтали ненавистные ему фашисты, предал эту землю и тех, кого на ней оставил, и тех, кто послал его в разведку,— всех. Как это могло случиться?

У него снова ужасно болела рана, он бредил, все время куда-то порывался идти — в какие-то леса, в снега (те несколько ночей Клара была возле него неотступно), — заходил, заползал в какие-то норы, в темные закоулки и нехотя из них выбирался. Что-то большое, страшное стояло за порогом его выздоровления, сторожило, поджидало впереди, он догадывался — оно навалится на него, едва он поднимется с этой лежанки. Пока он болен, ранен, расстрелян, его не отпускает жалость, жалость к самому себе была ему и наказанием, и спасением, она смягчала его страдания, он как бы очищался в ней, как бы находил силы к жизни. А она, жизнь, самому ему на удивление, не угасала, он начал поправляться. Наверное, жалость и бросила его в объятия Клары. Он до боли, до истошного крика хотел, чтобы его пожалели, чтобы хоть один человек на свете понял, как он несчастен.

В одну из вьюжных ночей он и рассказал Кларе всю правду. Микола сам не знал, как это произошло. Успокоенный лаской, растревоженный раскаянием и Клариной любовью, он выплеснул вдруг из души своей в широко открытые, блестящие Кларины глаза кровавую правду — со слезами, с мукой и болью, ища сочувствия и облегчения своим страданиям; сочувствие в то время он нашел, но страдания только увеличились. Случилось это тогда, когда Клара по существу уже была его женой. Сначала ему казалось, что с приходом наших он пойдет в штаб и расскажет все, как было. Может... не совсем все, может, он и не признается, что рассказал о взрыв-

чатке (разве полицаи сами не могли выследить разведчиков), или скажет, что проговорился в бреду. Но Клара посоветовала не говорить и этого.

Когда Новый Бор освободили советские войска, Клара отвезла Миколу в Ольховицу в госпиталь и сама поступила туда на работу. Казнясь тем, что произошло, ужасаясь содеянному, он в то же время боялся, чтобы его не разоблачили, чтобы в штабе и в особом отделе не стало известно, из-за кого погибли разведчики. Вдруг поймают кого-нибудь из полицаев, и тот во всем признается. Мысль об этом не давала ему покоя. Бывали минуты отчаяния, когда он даже хотел, чтобы пришел кто-либо из особого отдела и высказал свои подозрения, и он бы тогда сказал все, лишь бы это скорее кончилось.

Это его настроение быстро уловила Клара, не раз и не два стыдившая его то взглядом, то коротким властным жестом, то иронической улыбкой; на всякий случай она даже изолировала Миколу от других раненых — его кровать поставили в коридоре за дверью, — она боялась, что он может выдать себя во сне. Он был благодарен Кларе, но впал в апатию, постоянно погружался в свои мысли, в свои страдания, почти ни с кем не хотел разговаривать, надолго засыпал, да и вообще спал тогда невероятно много, — это тоже было его особым состоянием, к которому он себя приучил.

Однако все его желания открыться, рассказать правду были ненастоящими, порожденными отчаянием, потому что, когда пришел капитан из особого отдела, он отвечал хотя и взволнованно, но достаточно сдержанно, продуманно, взвешивая каждое слово. Он несколько преувеличенно горевал о разведчиках (горевал, конечно, по-настоящему, но не в то время, тогда все вытеснял страх), сочувствовал Морозову, о своем же ранении рассказал сурово, весьма скупое, чтобы выглядеть скромным. Особенно помогло ему Кларино свидетельство. (Клара пришла сама и сказала, что все это происходило на ее глазах, то есть рассказала ту первую, ею же придуманную версию.) И капитан, и Морозов, по-видимому, сразу поверили, потому что к Миколу больше не приходили. Их дороги разошлись навсегда и, пожалуй, никогда не пересекутся. Возможно, они погибли на войне, возможно, живут где-то, — Микола иногда думал и об этом. Зато крепко, навсегда переплелась его дорога с Клариной, первая — стала вроде тропинки на обочине

второй. И не могла эта его тропинка никуда повернуть, не могла потеряться ни в каких травах.

Клара знала его адрес, да он и не делал попыток скрыться от нее. Сначала, как ему казалось, между ними было все иначе. Он словно прирос своей болью, своими страданиями к Кларе, и хотя никогда об этом не говорил, но чувствовал и благодарность к ней, и даже какое-то уважение. Вроде бы чувствовал себя возле нее защищенным.

После окончательного выздоровления он еще какое-то время служил в армии, но на фронт не попал, а после демобилизации оба выехали в Крым, куда в то время всех горячо звали вербовщики. Жили возле Феодосии, Микола работал в дорожно-ремонтной бригаде, Клара кастеляншей в доме отдыха, сплошь заполненном инвалидами войны. Никак не могли выбиться из нужды, почти все жили с приусадебных участков, с собственных хозяйств, только они вдвоем — на зарплату, и все чаще у них возникал разговор о Чистых Лозах, о восьмидесяти сотках огорода, курах и кабанчике (Павлина писала им об этом), о собственном доме. На удивление, больше, чем Микола, этого желала Клара, да и понятно: после всех злоключений и скитаний ей хотелось какого-то постоянного, собственного угла, хозяйства, хотя она и мало представляла себе, что такое хозяйство и сколько с ним хлопот.

7

Все это Микола передумал много раз; он ходил по собственным следам, словно по раскаленным углям, но каждый раз обжигался по-разному. Сначала у него были какие-то колебания. То он верил, что все забудет (о, как ему повезло — никто ничего не знает и не узнает никогда!) и будет жить, как жил когда-то, до войны, он даже пытался радоваться: «Я живу, а то бы гнил в земле, такого не бывает, чтобы живым вылезть из могилы, второй раз они бы не промахнулись, уложили бы навечно; и вообще ни перед кем я не в ответе, это только временные мучения, я их преодолею, все зависит от меня, нечего беречь душу, все уляжется, станет привычным, война забудется».

То начинал снова болезненно припоминать каждый свой шаг, представляя весь ход событий по-другому,

так, как будто он молчал в землянке, когда офицеры искали на карте Новый Бор, подходил к хате не с улицы, а со стороны огорода, убегал от полицаев в ночь, переживал все заново, горячо, пока не стал замечать, что этот бред выматывает его до предела. И начал догадываться, что это просто увертка, что люди мужественные по таким тропкам не бродят, что таким образом от правды не убежишь. Что это только отравы, соль на рану и что утешение надо искать в ином.

Он заставлял себя забыть прошлое, уверял, что уже забыл, начинал веселиться, становился энергичным, но через некоторое время начинал понимать, что эта энергичность — напускная, наигранная и что по краю его веселья ходят три черные тени, и, самое главное, он сам не тот, каким был когда-то. А потом вновь начинал искать оправдания. Он говорил себе, что никого не выдавал, что все произошло случайно и что заговорил он невольно, почти ничего не сознавая перед страхом неизбежной смерти; сердце было ему защитником, оно просило, молило о пощаде, но холодный прокурор — разум — требовал наказания. Защитник мог сказать только одно: он это сделал по принуждению, в минуту отчаяния, в состоянии аффекта. Дескать, он ведь никого не предал, не выдал ради выгоды, он только спасал жизнь. Жизнь за жизнь. Ну... три за одну, но при чем тут счет, миру безразлично, какие жизни останутся, какие исчезнут. Так разве он виноват в таком выборе? Те жизни — лучше? А кто знает, лучше ли они? Разве те трое побывали на его месте? Кто знает, как бы повел себя каждый из них?

Да и не только это служило оправданием. У него не было выхода. Он попал в черный тупик. Попал, а не сам пошел. Кем он был на войне? Букашкой, которая не знает, где ее сожжет молния!

И тут он начинал раздумывать над тем, что есть люди, которые уничтожают чужие жизни просто так, которые загоняют на тот свет тысячи людей — и живут, еще и как живут, их даже уважают, пишут о них книги. И, наверное, они не мучаются. Но сразу же начинал понимать, что здесь что-то не то. Есть три человеческих лица, которые он не может выбросить из памяти, есть его вина, и есть его страдания. Но ведь он не замыслил ничего плохого, он совершил это в момент, когда не владел собой. Да, вот оно, полное оправдание! Он не владел со-

бой, был истерзан, измучен, и сама боль произнесла те слова!

И все же он замечал, что даже в этих рассуждениях не все хорошо. Существовало в жизни еще нечто, оно вбирало в себя не только его жизнь, а тысячи жизней. Он боялся даже подумать об этом вот так, прямо: родная земля, Отчизна, сыновняя верность — до этого он свою мысль не допускал. Пытался находить утешительные оправдания, но твердо знал, что любые оправдания не настоящие.

И тогда в нем то возникал протест, то начинал звучать озлобленный голос: все бы сделали так! И тот, и тот, и те, и те... Но сразу перед глазами возникали три лица... По крайней мере, Желай пошел бы на смерть, но не проронил бы ни единого слова. Да, пожалуй, и Шкурко... и Лаврин тоже. Он догадывался об этом давно. Но была и какая-то надежда: Лаврин, пентюх, деревенщина, что он видел, кроме навоза и пашни?..

Микола не случайно так подробно допытывался у него про страх. И сегодня убедился окончательно: душа и естество Лаврина большие и чистые, хоть и простые, он бы умирал тяжело, но без дерганья, он бы пошел на смерть, как на особую работу, без которой нельзя прожить, это было бы движением его души, его жизни. И не было в нем ни осознания меры своей храбрости (в селе он всегда избегал драк, хотя многих забияк мог повалить одним пальцем), ни стремления показать себя, выйти в первый ряд — зато было нечто более значительное, надежное. Да, он бы без колебания сделал свой последний шаг. А Микола не сделал. И были другие, которые сделали бы, те самые, о которых он читал в школе и знал, что именно на них держится род человеческий. Тогда он начинал переубеждать себя, что те люди какие-то не такие, а он обыкновенный. Но ведь на фронте было много обыкновенных. Собственно говоря, все... И Лаврин тоже обыкновенный.

Тогда он, Микола, не такой, как все...

Возникал новый, коварный вопрос: «Почему же они смогли, а я нет?»

Он пытался заглянуть в прошлое и видел — неясно, едва ли признаваясь себе, что видит, — уже там он был не такой, как все. Ему за столом первый пирожок — ведь меньшей! — и лучше, нежели Лаврину, штанишки. И в



клубе, и на улице тоже — и шахматист, и кларнетист в духовом оркестре...

Он и сам, уже тогда, подумывал, что имеет на все это больше прав.

Порой ему думалось: а может, он понемногу привыкнет и перестанет казнить. Преодолеет, переборет... Могло случиться и такое: он бы привык к своим мучениям и находил бы в них утешение, он обнаружил в себе и такую склонность — нацеживать печаль из своего

сердца, упиваться ею — это тоже жизнь, тоже наслаждение, правда, горькое, страшное, но наслаждение. Впрочем, хорошо зная себя, понимал, что таким не станет, что для него эти терзания не окончатся никогда. Он завидовал тем, кого обошли эти страдания, — вот ведь живут даже укрывающиеся полицаи и другие убийцы, они только дрожат от страха, а ему еще выпало мучиться совестью. Дальше, вероятно, будет еще хуже, потому что настоящая жизнь — это всегда ожидание того, чего, возможно, нет и никогда не будет. Один ждет удачи, другой — большой любви, еще кто-то — счастья для своих детей. Они живут для кого-то и для чего-то — хоть поле вспахать, хоть деревце посадить, — каждому светит какая-то цель. Микола чувствовал, что жизнь — это нечто большее, нежели есть или спать с женщиной, но он этого большего не имеет, он будет идти и идти... к тому, к чему уже однажды привела его судьба.

На крыльцо вышла Клара, и он почувствовал облегчение, что она не заметила его за кустом смородины. Он подождал, пока она вышла со двора, — наверное, пошла к новой завклубом, с которой подружилась недавно, — и лишь тогда вернулся в хату.

На следующий день Микола с братом перевезли цемент — восемь мешков — и до вечера возили с Крукового глинища песок, обернулись три раза. Наверное, успели бы съездить еще раз, но Лаврин выпряг гнедую колхозную лошаденку и попросил мать покормить ее. Павлина вынесла в ведерке картофельной шелухи и две горстки ячменных высевок, а Лаврин накосил в саду травы.

— Так-то оно лучше, — бормотал он, откашливаясь, — а то гоняют-гоняют скотину — да в конюшню ее, пусть грызет желоба.

Пока гнедая ела, они снова осматривали колодец, прикидывали, сколько ему лет, где родничок и куда он течет. Участок у них старый, колодец выкопал какой-то очень далекий их пращур, часть сруба и навес менял дед, отец поставил журавль, соха его и до сих пор была крепкая, но сам журавль нужно было менять, и ведро тоже, а жердь еще могла послужить. Эту жердь Лаврин помнил сызмальства, отполированная за десятки лет, она была гладкой и блестящей, аж звенела. Пока они обкапывали колодец с трех сторон — от садика и огорода, подход к хате оставили (чтобы можно было брать воду) и собирались не рушить его до конца.

Весь этот день, работая рядом с Лаврином, Микола не забывал вчерашнего разговора. Поначалу, с утра, он был несколько встревожен, не раскрыл ли себя чем-нибудь, не навел ли брата на какую-нибудь мысль, но вскоре убедился, что Лаврин о том и не думает. Лаврина вообще не одолевали никакие сомнения (хотя это вовсе не означало, что у него была глухая душа), просто он везде и всюду старался найти кратчайший и простейший путь, тот, мерилom которому были собственное сердце и все то, что с детства он впитал в себя, и из этого колодца тоже.

Микола почувствовал вдруг, что еще никогда не рассуждал так странно. А ведь и он пил из того же колодца. Микола завидовал Лаврину, но без злости, а с тоской и жалел, что раньше когда-то не смотрел так на брата, не примерял себя к нему: может быть, это удержало бы от последнего шага в ту крутую минуту!

Микола шел по тропинке, вьющейся по берегу (сам напросился отвести в бригаду коня), и, по обыкновению, тянул за собой бесконечную черную нитку думы. Он не сразу заметил в голубоватых вечерних сумерках чью-то фигуру впереди, но, заметив, почти невольно сошел с тропинки в сторону. Его словно ударило током — это была Галя. Он предполагал, конечно, что может встретиться с ней, и даже прикидывал, что сказать и как себя вести, но не ожидал, что это может произойти именно так.

И для Гали эта встреча была неожиданной. Она сбилась с шага, непроизвольно поднесла левую руку к груди и тоже сошла с тропинки.

— Здравствуй...

Поздоровалась она скорее всего тоже от неожиданности. Через несколько шагов остановилась, словно натолкнувшись на какую-то преграду, а затем пошла быстро-быстро. Микола даже не успел разглядеть ее. Только промелькнул знакомый, удлиненный, с прямым носом профиль да протрепетала на ветру голубая косынка на плечах.

Микола широко ступал по тропе. Через несколько шагов он оглянулся, но позади в теплом вечернем сумраке только желтели подсолнухи и немо стояла пшеница. Его охватила тревога. Казалось, с чего бы — случайная встреча с тем, что прошло и забылось, — а вот ведь как взволновало его это. И если бы он хоть заговорил

с Галей. Он не знал, что она могла бы тогда сказать. Бросить гневные слова, обидеть, пройти гордо, невозмутимо. А она... она тоже испугалась. Только это он и успел заметить. И это растревожило его. У Миколы даже защемило в груди. Он не хотел вспоминать их прошлое, а получалось, что оно живет в нем и поныне. От этого ему стало радостно и смешно одновременно. Потому что не знал, чем это обернется, куда поведет, впрочем, куда бы ни повело, везде перед ним пропасть. И все же... что она думает о нем? Вспоминает ли былое? И как вспоминает? Со злостью ли, с раскаянием... Конечно, она не может все вспоминать со злостью. Ведь они знакомы с детства. И с детства были связаны какой-то невидимой нитью. С каких пор точно — он не помнил. Может, с той поры, когда пасли коров на Далеком? И... когда их повенчали.

Летний день — как вечность. Их игрища начинались, когда нагревалась земля. Пастушки знали сотни забав. Выдумывали новые и играли в них с азартом. Однажды, например, им вздумалось повенчать Миколу с Галей. Галя и Микола охотно поддались игре. Все там было как бы на самом деле: и поп, и певчие, и свадебный пир. Аналогом служил куст лозы — со связанными руками их водили вокруг него, венки сплетали из ситняга. Жених ехал за невестой верхом на корове. Разгулялись, будто на настоящей свадьбе. Не хотели останавливаться, даже когда переиграли все свадебные обряды. И тогда у молодоженов родился ребенок, его окрестили, а вскорости ребенок, увы, умер, и его хоронили под тем же кустом лозы, и вновь пели певчие, и кадил кизяком из деревянного кадила поп...

На следующий день дети начали дразнить Миколу и Галя. И Галя плакала, а он бросался на всех с кулаками и ходил в синяках. Но и это не помешало им нести в себе что-то хорошее, тайну, которая согревала обоих. Не развеялась она и позже, в школе, выросла в нечто еще большее. Хотя Галя нравилась многим ребятам, никто по-настоящему не осмеливался отбить ее у Миколы. Пытались провожать, один из парней писал ей из армии письма, но, когда она ответила, что показывает их Миколке, перестал писать. Правда, Микола был не столь предан их тайне, одно время ему нравилась Дина — дочь танкиста, погибшего на маневрах, ее забрали к себе родители матери, Динины дед и бабка, после вторич-

ного замужества матери. Дина ходила в красной шапочке с белым помпончиком и в белом, похожем на матросский, костюмчике; детвора дразнила ее из-за этого помпона, и Микола защищал девочку; позже, как-то рассорившись с Галей, он несколько раз провожал Дину и даже целовался с ней, но все это было не настоящим. Настоящей была любовь к Гале, и даже редкие ссоры и ревность были тоже настоящими.

8

Микола не спешил возвращаться домой, впервые за долгое время ощутил он не горечь, а сладость воспоминаний, и хотелось подержать это в себе, но заметил в освещенных окнах своего дома мужскую фигуру и пошел в хату.

На табурете сидел и мял в руках серую, еще довоенную, с большим козырьком фуражку бригадир дядька Кузьма. Ходил он в бригадирах еще до войны. В армии Кузьма был недолго — демобилизовали его по возрасту. Шел ему нынче шестой десяток.

Микола поздоровался, сел рядом. Кузьма, достаточно уже засидевшийся в ожидании хозяина, начал сразу о деле:

— Ты, Микола, не обижайся: и фронтовик ты, и, может быть, заслуженный, не знаю, только даже у самых заслуженных, таких, как Кривошапко и Пантелеенко, жены пошли в поле, работают в звене. У меня спрашивают и председатель колхоза, и председатель сельсовета. И женщины наши ропщут: время, говорят, такое, что всем нужно работать. Твоя сейчас убежала, нагрубила мне, так вот я тебе прямо говорю: будем передавать в суд. Оно, может, и не совсем по-людски, по довоенным временам пусть бы себе сидела, а пример, однако, плохой, и только потому...

Микола тяжело молчал, хмурил лоб, и Кузьма, как бы извиняясь, добавил:

— Оно если бы в городе, то и сейчас ничего... А то же, сам понимаешь,— село.

Последние слова Кузьма сказал так, будто сам был не из вечных селян и вроде бы ему безразлично было чье-либо безделье.

— Извиняй, Павлина,— сказал он на пороге,— мне

самому, понимаешь, неудобно. И ты, Микола, извини, а в глаза тебе скажу: сволочная у тебя жена.

И ушел.

Павлина опустила глаза. Через минуту в хату вошла Клара. Очевидно, переживала в вишняка. Глаза ее пылали, кулаки были стиснуты.

— Я вышла, чтобы не выцарапать ему глаза...

— Клара,— с трудом сдерживаясь, чувствуя, что почти ненавидит ее за этот зеленоватый блеск в глазах, за сжатые губы, сказал Микола.— Он тут ни при чем. Пойми, ну... все работают. Людей в колхозе не хватает. Нужно что-то делать.

— Так ты и думай,— с той же невозмутимостью сказала Клара,— запиши меня к себе в лаборантки. Тебе ведь нужна вторая лаборантка?

— А что скажут люди?— буркнул Микола.

— Плевала я на них,— презрительно скривила губы Клара.— Какие люди? Этот старый козел, что приходил? Эта задрипанная бабенка,— она ткнула пальцем в сторону соседского двора.

— Да они.. да они... ты не стоишь их мизинца!

— Я не стою? — сделала вперед шаг Клара. Теперь ее глаза были прищурены, в узеньких щелках еще сильнее разгорался зеленый огонек.— Это ты так обо мне? Чем же они более стоящие?

— Работой, которой ты не знаешь. Ты вот и сейчас... Думаешь, у меня в амбаре мало дел? Это только пока. А начнут возить зерно...

Он злился, ему было стыдно перед матерью, и, очевидно, именно этот стыд и настроил его так агрессивно против Клары.

— Кто будет работать? Снова я, а ты будешь лежать, как сейчас лежишь дома? Вон уже глаза стали жиром заплывать... Вон уже...

И тогда из кухни вышла Павлина. Она снова почувствовала, что ей необходимо вмешаться, нужно спасти сына, хотя и не знала толком, от чего. Просто так подсказывало сердце. Но в то же время она понимала, что так долго продолжаться не может, что и она начинает настраиваться против Клары, и боялась этого. Прожила век в мире и согласии с мужем и детьми, да и с соседями почти не ссорилась, и вот теперь могло случиться, что в ее собственной хате пойдут раздоры. Этого она

опасалась больше всего. И еще раз решила встать на сторону невестки:

— Может, запиши ее, Микола.

— Там, мама, говорят, в уборочную работы будет столько, что и две не управятся,— хмуро проговорил Микола.

Не так-то просто было ему взять Клару лаборанткой (уже несколько человек просили: один за дочку, другой за жену), боялся Микола лишних разговоров, да и не хотелось ему, чтобы Клара и там постоянно была рядом. За эти дни он почувствовал, что на работе как будто отдыхает от нее, что ему легче и спокойнее, когда она далеко. И вот теперь даже эту отдушину отбирают. Обязан был согласиться. В ту минуту он ощутил, что отступил еще дальше, что еще что-то разрушил в своей душе и что это не конец, что разрушение будет продолжаться, и кто знает, чем все кончится.

...Кларе на складе понравилось: прежде всего — станция, там всегда много людей, и как-то вроде празднично, и место красивое, за станцией лес, у леса пруд. Вот только пассажирских поездов мало — по четыре в сутки; она выходила на высокое крыльцо амбара, вскидывала руку, и проводники — молодые — поднимали свернутые желтые флажки, и пассажиры тоже махали из окон. Клара была женщина заметная, сразу бросалась в глаза. Микола видел, как поедали ее глазами плотники, ремонтировавшие амбар, особенно двое — двоюродные братья Деркачи: высокий, коренастый Павло и юркий, болтливый Сергей, оба холостые, оба недавно демобилизованные из армии, с Дальнего Востока, где оканчивали войну, едва захватив ее по возрасту. Они задевали Клару, рассказывали ей анекдоты, которые Микола никогда не отважился бы рассказать при жене, а Клара только хохотала.

Конечно, если бы она с самого начала повела себя иначе, они бы не посмели ухаживать за ней и рассказывать подобного. Микола никогда не ожидал, что его так глубоко может задеть Кларино легкомыслие, пусть даже в шутку. Он не выдержал и сказал ей об этом. Она удивленно округлила глаза и возразила ему горячо, как умела говорить только она:

— А что мне им — в глаза плевать? Дурачатся парни — ну и что? Ох, ты ж глупенький мой. Да разве я

променяю тебя на кого-нибудь. Ты же мой котенок, мой кудрявенький...

Микола поторопился выскочить из темного угла, где пытался выяснить отношения с Кларой. Все эти приговорки, это кошачье урчание на людях раздражало его не меньше, нежели ее заигрывание с парнями; Клара могла откровенно прижаться к нему, могла эдак кокетливо чмокнуть его в щеку. Он вдруг увидел, что недостаточно хорошо знает Клару. Да что там хорошо, не знает совсем. Задумывался, какая она, и не мог ответить. Пожалуй, всего в ней понемногу. И добрая, и мстительная, и любит его, потому что приобрела навечно, и может изменить ему, есть в ней какое-то подчинение мимолетным желаниям. Наверное, она и сама себя не знает. Однако есть в ней и постоянство — смотрит на жизнь и на мир как на нечто такое, что существует исключительно для нее, и хочет проплыть по жизни, как по спокойной реке в легкой лодочке. А лодкой — и это Микола понял давно — был он сам.

Наконец пришла пора, когда размышлять на эти темы ему стало некогда: начали засыпать зерно. Он вертелся день и ночь, почти не спал, чувствовал безмерную ответственность, и не было за работой времени ни оглядываться на прошлое, ни приглядываться к Кларе. Зерно возили прямо с поля, от комбайнов (всего шесть их было на весь район), от молотилок, — еще влажное, в этом году специальным приказом повысили при приемке нормы влажности, — вокруг не затихал гул и не улегалась пыль. Хлеб принимали в один, большой, амбар, через обе двери: к одной подъезжали подводы, к другой — машины. На одних весах взвешивал он, на других — Куприян Голик, мужичок невысокого роста, с острым клювообразным носом и бельмом на левом глазу, по-уличному — Гривенник, прозванный так то ли за малый рост, то ли за бельмо, действительно похожее на серебряный гривенник. Весовщиком он был, сколько его здесь помнили: и в колхозной кладовой, и на току, и на мельнице, — казалось, Гривенник и родился при весах; сразу мог сказать, сколько килограммов в каждом мешке или в бестарке; на глаз определял, сколько тонн в закроме и какой кондиции зерно. Он указывал, как лучше подъезжать к амбару, где укладывать доски для трапа, куда сперва сыпать, — Микола просто не знал, что бы делал без Куприяна. Тот покрикивал на ездовых

и грузчиков, да еще таким голосом, что исключалось всякое возражение; он даже Клару приструнил, и она бегала от подводы к подводе с блестящим щупом и мешочками и почти не огрызалась. Вроде бы и незлобиво, вроде бы и по-доброму покрикивал Куприян, а слова его донимали сильнее ругани:

— С твоими, Клара, мощностями и кузовом только и бегать.

Или:

— Что вы там, окаянные, притаились? Щупай, Клара, щупай, другим не потакай...

Иногда, когда Клара уставала и бросала щуп, в кузовы машин лазил Микола. Хлеб сыпался потоком, и росли в амбаре ржаные и пшеничные горы, на вершины которых с мешками на плечах взбирались грузчики. Немало среди них было женщин и подростков, особенно среди тех, кто возили подводами, и мороки с ними было предостаточно. Идет мальчонка, а на горбу немецкий мешок с орлом, весом в центнер, расплылся по голове, по плечам, только и видно босые ноги с закатанными до колен штанинами, идет и качается из стороны в сторону, как маятник, лезет по уложенным на зерне доскам, доберется до половины, а тут мешок начинает его нагибать вперед, и оба падают с трапа. Куприян тогда кричит:

— Куда? Тяни навверх, мать твою перетак! Поприсылают сопляков, и таскай за них мешки.

Иногда Микола помогал мальчишкам и молодухам вытягивать мешки навверх, нередко зерно засыпало проходы, и они отгребали его лопатами и носили ящиками. Своих заготзерновских грузчиков было только двое, и носить приходилось и Миколу, и Куприяну, и Зине — еще одной лаборантке, и даже Кларе. Микола ужасно волновался, ему повсюду виделась недостача, он по нескольку раз за день бегал в маленькую комнатку при станции, где сидели две настоящие лаборантки, определявшие качество зерна, и то придирался к ним, то просил, чтобы не снижали влажность, чтоб давали полный процент, допустимый на нынешний год. Девушки отвечали, что получили указание по этому проценту давать разрешение на приемку только первого зерна, и они придерживаются этого по всей форме. Миколу успокаивал Куприян, говорил, что все будет хорошо.

Вскоре хлопот прибавилось им почти вдвое: к одно-

му из входов в амбар на запасную колею подали шесть вагонов, приказав загрузить их за двое суток. Микола запаниковал, не зная, как теперь быть — принимать зерно или отгружать вагоны, но дело снова уладил Куприян: он пояснил, что они только будут присматривать за отгрузкой, там будет сидеть еще весовщик, стационарный, «а ему нет расчета насыпать зерна больше, чем нужно. Да и хлопцы будут считать ящики». Грузчиков набрали по найму — мужиков, живших поближе к станции; люди шли в грузчики охотно, потому что на половину заработанных денег колхоз был обязан продать зерна. Пришли и стали к новому сосновому ящику и оба Деркача. Бегая от одних весов к другим, Микола как-то подумал, что теперь его амбар напоминает бочку из школьной задачи, где в одно отверстие воду наливают, а в другое выливают. Он боялся, чтобы ненароком не перелить, но и не вылить лишнего, нервничал, по несколько раз пересчитывал столбики цифр в блокноте, сверяя их со столбиками в расчетной книжке стационарного весовщика, и вообще не знал ни минуты покоя. А тут еще страх, как бы не попрело зерно, он то и дело влезал на гору и щупал глубоко воткнутые в зерно палки — не нагрелось ли. Одну ржаную гору уже пришлось раздвинуть и пересушивать. Хотя и страшила ответственность, и уставал ужасно, все же нравилась ему эта возня. Микола был деятельным от природы, любил людской круговорот, умел работать, правда, не столько любил сам процесс работы, сколько его завершение, которым можно похвалиться или по крайней мере утешиться перед собой; однако любил, конечно, и саму работу. И сейчас ему очень нравился напряженный рабочий ритм, нравились шум-гам, веселая суeta парней и девчат в горах ржи, и шутки, и подначки, и даже строгое начальническое покрикивание Куприяна. Изредка его вызывали на станцию к телефону — из района спрашивали, как идет отгрузка, сколько зерна принял и на сколько процентов выполнил план тот или иной колхоз. Тогда Микола чувствовал особенную ответственность, его охватывало предельное уважение к собственной должности. Но, пожалуй, более всего ему нравилось по вечерам прохаживаться по огромному амбару. Дневной шум затихал, освещенные слабенькими, едва тлеющими лампочками ржаные и пшеничные горы казались еще большими и чуть ли не таинственными; Миколу с тру-

дом верилось, что все эти Эвересты хлеба прошли через его весы, что под его надзором находится такое богатство.

В один из таких вечеров, увязая в дальнем углу амбара в ржанных барханах и размышляя, как бы лучше приспособить здесь доски, чтобы зерно не расползлось дальше, он услышал вдруг возню и смех. Смех был горячий и сдавленный, казалось, его пытаются погасить и одновременно им же подзуживают кого-то; Миколу смех показался знакомым, и у него тревожно екнуло сердце. Тихо, стараясь не шуршать, он спустился вниз, повернул налево за высокую кучу и чуть было не наткнулся на два тела, возившихся на пустых мешках. Очевидно, он не увидел их сразу, поскольку смотрел в угол, в темноту, а они сидели ближе, в проходе, почти на свету, только их было трудно разглядеть среди мешков. Они заметили его тоже, точнее, заметила Клара — и, решительно оторвав от груди растопыренную мужскую пятерню, оттолкнула Сергея Деркача. А тот, и дальше не видя Миколы, попытался обнять Клару за плечи и повалить ее. Кларины глаза круглели, как две сливы, лицо пылало — это было видно даже в полумраке закоулка, юбка была закатана выше колен, и на фоне мешковины белели ее ноги и синел краешек панталон.

— Вот дурень, — приподнимаясь, бросила она Сергею. — Совсем одурел, лоботряс... Все ему хаханьки...

Микола, тяжело увязая во ржи, пошел к двери.

9

Павлина дремала, когда возвратились сын и невестка. Ей показалось, что они вернулись не вместе, но так это было или нет, точно она сказать не могла. Зато хорошо слышала шепот за дверью, начавший было утихать, а затем возобновившийся. Шепот перешел в разговор — напряженный, громкий, отрывистый, отдельные слова звучали, как удар плетки. Щелкала Клара, а Микола что-то выкрикивал, и голос его звучал, как приглушенный бубен. С Павлины сон будто ветром сдуло. Она насторожилась, хотя в разговор старалась не вслушиваться. Она вообще пыталась не вмешиваться в жизнь сына и невестки и ничего не рассказывала о них ни на работе, ни соседям, осуждая тех женщин, что выносят на людской суд свои и чужие тайны, чудачества да кап-

ризы близких, как, скажем, ее напарница по звену Совиха, чей сын привез «городскую» невестку, за которой Совиха просто-таки шпионила и рассказывала женщинам такое, что Павлина краснела от стыда. «Ой, если бы вы знали... Она такая гулящая, такая развратная — к Василию в постель ложится голой. И говорит: «Целуй вот тут, тут и вот тут...» Павлина о Кларе ничего не рассказывала. Припоминала собственную жизнь со свекровью — тяжкую, крутую, когда и поест-то могла только после всех, а если и пойдет куда-нибудь, то лишь с разрешения свекрови. Свекровь даже спать укладывала их порознь: «Завтра нужно просо жать». Но как ни старалась не принимать близко к сердцу Кларино своевольничание, чувствовала, что начинает злиться на нее. Боялась этого, уговаривала себя: «Видать, жизнь ее сложилась нелегко, и в войну натерпелась», а заноза в сердце становилась все острее и острее, очень уж ее угнетало и удивляло невесткино помыкание сыном. Тут уж невольно поднимался в ней протест.

А ссора в комнате разрасталась. Микола уже кричал, отбрасывая ногой табурет так, что зазвенели стекла:

— Я знаю, знаю... Знаю все... И того вонючего козла помню. Ты думаешь...

Дальше его голос забулькал неразборчиво, тут же затараторила Клара, теперь оба кричали, не слушая друг друга. Такого еще не было. Павлина всполошилась, поднялась с кровати и, не зная, что ей делать, зажгла лампу. «Может, увидят, что я не сплю, и угомонятся?» Тут вдруг за дверью что-то звякнуло, Клара взвизгнула, раздался глухой мужской стон; Павлина бросилась к комнате сына, но в эту минуту с треском раскрылась дверь и выбежал Микола. Его левая щека была окровавлена, правая рука — тоже в крови, а лицо — бледное, вид одновременно страдальческий, растерянный и свирепый. Павлина со стоном метнулась к сыну, но он выбежал из хаты. На пороге на какой-то миг задержался, посмотрел на мать и то ли от гнева, то ли от горечи махнул рукой и исчез.

Павлина так никогда и не узнала, ударила ли Клара Миколу граненым стаканом, или Микола раздавил стакан в руке, а затем нечаянно задел щеку. Когда она зашла в комнату, Клара сидела на кровати, губы ее были сжаты, а в глазах стояла непроницаемая темная

пелена. Павлина хотела что-то сказать, но Клара прервала ее:

— Идите, мама, и спите. И никому не рассказывайте!

Она сказала это так, как, наверное, говорят обреченному на смерть, отпуская его вдруг на волю. И это «мама», которое Клара произносила столь часто и что очень нравилось Павлине, тоже прозвучало как приказ заговорщику, которого могут привлечь к ответственности. Павлина вышла из комнаты, но спать не легла. Перед ней стояли безумные Миколины глаза: Обеспокоенная тем, куда он убежал, Павлина вышла на улицу. Ночь была звездная, ясный серп луны повис над Тарасиковой хатой, над самой ее трубой, и казался вырезанным из цинкового железа, каким перед самой войной начали покрывать в селе крыши. На той же стороне, за хатами, за старой левадой с развилистыми вербами, что-то вспыхнуло, обдав розоватым светом небосклон, и потом снова медленно погасло — там проходила дорога и, вероятно, промчалась машина. Село спало. Оно будто провалилось на дно теплой влажной ночи и грезило во сне. Павлина постояла, прислушалась — нигде ни звука. Медленно прошла в конец огорода. Что-то подсказывало ей, что Микола рядом. Еще ребенком он всегда прятался там, около маленького пруда; нашкодив или обидевшись на мать, укрывался в ивняке или просто, притаившись в траве, не откликался. Теперь уже там и пруда нет — высох, только весной иногда долго стоит вода, поэтому и не пахнут здесь, оставив лужок, по краю которого растет несколько ивовых кустов.

Микола сидел на холмике под кустом. Павлина присела рядом, подогнув под себя ноги, все женщины в селе садились так, быстро и легко. Микола даже не оглянулся на материнские шаги. У Павлины сжалось сердце, боль прошла по нему. Ей хотелось приголубить сына, утешить его, и не знала как. У них в семье, да и не только у них, так сложилось, что дети не знали материнской ласки. Она любила их; надрывалась для них, готова была ради них пойти на самую большую муку, но не показывала этого. То ли нелегкая вдовья жизнь наложила этот отпечаток — работа да работа, некогда детям глянуть в глаза; то ли сама себя настраивала так, чтобы дети росли в труде, в строгости — им же потом будет легче. С незапамятных времен чувствовала словно бы стыдливость перед нежным словом. А может,

еще и сами ребята, в особенности Лаврин, несли с пастбища, поля и улицы эту сдержанность и даже суровость. Хотя она и знала, что они для нее тоже пошли бы на самую большую жертву и в обиду ни за что не дали бы. Они как бы условились об этом, хотя и никогда не говорили. И вот сейчас ей очень захотелось нарушить это условие, хотелось приласкать уже взрослого сына, но она не решалась. А еще ей хотелось узнать от сына его тайну, но совсем не ради любопытства, а чтобы облегчить его страдания. Ей казалось, что в человеческой душе нет узлов, каких нельзя было бы развязать. Она давно не верила в бога, хотя и молилась, но это уже было так, по привычке, и знала, что в искуплении перед богом очищения нет, всегда полагалась на человеческое сердце, которое только и может простить, помочь спасти. Конечно, нельзя обманывать себя, нельзя искать всему оправданий, но сама жизнь — она сильнее, чем страдания и обиды. Перед нею они мельчают, если без обмана, искренне...

— Микола,— притронулась она к плечу сына,— может, ты не нашел к ней подхода? Может, ты ее как-то обижаешь? Она, конечно, женщина не простая, верткая... Нет, не верткая,— спохватилась, испугавшись этого слова,— а просто не наших обычаев...

Микола на мгновение повернул голову и затуманенными глазами посмотрел на мать. Он не понял до конца ее слов, но те, про «подход», задержались у него в голове и сразу же взорвались раздражением. К ней нужно искать особенный подход? Какой еще подход? Он ведь и так... Несомненно, если бы он потакал всем ее капризам, если бы дал волю сесте себе на шею, пошел в полное рабство, на все, даже на то, что произошло сегодня в амбаре, смотрел бы сквозь пальцы, она, может быть, тоже стала другой, но он так не мог. Да и кто знает, стала бы она иной. А если бы и стала, то какой? Ее душа и так была как будто составлена из нескольких кусков. Кроме того, что он увидел сегодня, взбесило еще и то, что, придя домой, Клара начала к нему ластиться, да так, что невольно подумал: а ведь она не столько замаливает свои грехи, сколько дает выход своей страсти, тянется и прижимается к нему, разогретая Сергеем. И он оттолкнул ее с отвращением, которое она почувствовала и в ответ на которое зло вспыхнула. С этого, собственно, и началось, дальше он не удержал-

ся и дал ей пощечину, а она его ударила стаканом в висок.

Одно воспоминание обо всем этом налило его сердце злостью, и он ответил матери почти сердито:

— Не в этом дело.

— А в чем же, сынок? — тихо спросила Павлина. И, не услышав ответа, так же тихо продолжала: — Ни страданиями, ни злостью жить невозможно. Я понимаю тебя: не так сложилось, как думал. Галя... она очень хорошая. Если хочешь знать, сердце мое еще и сегодня плачет по ней. Но, видать, не судьба. И нужно примириться. Или уж не примиряться. Только тогда — раз и навсегда. Потому что, может быть, и ты, сын... Может быть, и твое сердце на три части разрывается... Такое тоже в жизни бывает. Ведь всем хочется счастья. Ты спросишь, а в чем оно, счастье? А я, наверно, не скажу. Мое счастье — в вас, в детях. А насчет чего-то другого... Ты же и не знаешь, как я выходила замуж за твоего отца.

Она говорила, лишь бы заполнить чем-нибудь гнетущее молчание, лишь бы отвлечь сына от черных мыслей, а может, что-то и подсказать:

— Девятеро нас было. Нужда, голод... Как исполнилось мне шестнадцать, так и посватали за Дениса, вдовца. Я и не видела его ни разу. Везут в Чистые Лозы, к венцу, а я плачу и молю бога: пошли мне не совсем старого и чтобы хоть немножко был красивым... Только привезли, посмотрела я и даже засмеялась — красивый. Не совсем молодой, а симпатичный. — Павлина и сейчас усмехнулась в темноте, и ее улыбка мягко и щемяще коснулась Миколиного сердца. — И начали мы жить. Ох, какая там жизнь! Нет, Денис не обижал меня. Зато его мать... И вся отцовская родня. Отравили они всю жизнь, и только лишь за то, что я бедная, без приданого.

Павлина склонила голову и на секунду замолчала. Миколу стало бесконечно жаль мать, ведь он и сам знал, какой безрадостной, какой нелегкой была ее жизнь, отданная им, детям. Однако тут же Микола почувствовал, что он еще несчастнее матери, и ему захотелось рассказать ей решительно все. Уткнуться вот так лицом в колени, и рассказать, и выплакаться, ибо это единственная в мире душа, которая поймет его, может, и не простит, но поймет, залется слезами от его боли, и вой-

дет в эту боль, и будет искать какого-то выхода, хотя вряд ли найдет его. И слезы, и слова подступали к его горлу, он через силу сдерживал их. А мать рассказывала дальше:

— Когда он умер, думала, и не прощу их, и никогда на порог не пущу... А вот ведь простила же... Хотя, может, не до конца.— Павлина вздохнула, то ли осуждая себя, то ли жалея о чем-то.— Но породнились все-таки. И Герасима от гибели, считай, спасла...

— Какого Герасима?— спросил Микола.

— Герасима, дядю твоего, что теперь в Чернигове на фабрике.

— Когда спасла, как?— снова спросил Микола.

— Во время войны. В партизанах он был и как-то ночью зашел ко мне.— Павлина снова улыбнулась какой-то своей мысли, совсем другой, вовсе не тому, о чем рассказывала.— На задание они шли. Дай мне, говорит, Павлина, чего-нибудь такого, чтобы легче стало: мутит меня и дышать нечем. А я как раз самогон выгнала — на продажу: Дарка с детьми сильно бедствовала; налила я ему стакан и подала, потому как лекарств у меня других не было. Выпил он, прилег на теплую лежанку да и заснул. А тут его всего лихорадить начало, расхворался совсем. Ну и... уложила я его на печи. А утром — шесть полицаев в хату. Думала — за ним. А они — за самогоном, кто-то донес, что гнала. Бывало тогда и такое — чтобы самому откупиться, направляли к соседям. Я сначала отпиралась, а когда начальник приказал: «Ищите!», полезла на хату и повытягивала из полowy сулей да бутылки. Хорошо, что хоть винтовку и сапоги перед тем успела в сенях спрятать.

Павлина все больше радовалась, что ухватила за эту нитку, что увлекла своим рассказом Миколу, и разошлась, вспоминая:

— Они тут же сели пьянствовать. Говорят, давай сала, а я говорю: дайте мне сначала свинью. Внесла капусты и огурцов, они и мне налили рюмку, пей, говорят, баба, за успех твоего предприятия, я выпила, а сама стою у печки, как дура, боюсь, чтобы не услышали Герасима. Не знаю, в беспамятстве он или все слышит, если слышит, то притаился, а если в беспамятстве, то может выдать себя стоном. Что-то они вроде бы заподозрили, потому что один направился к печи, хотел меня оттолкнуть и заглянуть, а я его не пускаю... Тогда

кто-то другой кричит: «А что, баба, у тебя там небось задел на второй раз?» — «Задел, говорю, приходите через три дня».

— И пришли? — спросил Микола.

— Пришли. Покупала самогон у соседок, потому как тот, что не допили, забрали.

— А дядька Герасим?

— У меня остался. Я, когда они пришли, его на хате прятала. После этого ему опять стало хуже. Еще целых две недели у меня на печи провалялся.

— А вы... Вас же могли убить! — сказал Микола дрожащим голосом.

— Такая уж была бы моя планида,— промолвила Павлина.

Больше она ничего не сказала, но Микола понимал, что по-другому она никак не могла себя вести. И в тот момент он уже знал, что никогда ничего не расскажет матери. Ее слова о планиде были как бы приговором ему. Он никогда не думал, что матери тоже пришлось пройти почти по такому же мосточку, по какому прошел и он, но она прошла, не покачнувшись, не осматриваясь, а он сорвался и упал... Теперь он даже обрадовался, что ничего не рассказал матери. Конечно, он знал, что она не прокляла бы его, не отторгла бы от своего сердца, но он нанес бы этому сердцу такую боль, что оно вряд ли выдержало б и никак не облегчило бы его собственные муки. Пусть уж лучше она ничего не знает, пусть переживает из-за его неудавшейся жизни. Иначе она бы видела в нем только страдальца, виновного страдальца, и кто знает, смогла бы вторично сродниться с ним душой. Он чувствовал себя решительно обособленным от других людей, особенно от матери и брата, остро чувствовал свое одиночество, оторванность от них, даже какую-то иную свою сущность, что ли...

В долину спускался туман, обещавший прохладное утро. Микола повел плечами, притворился, будто ему холодно.

— Идемте, мама. И не сушите себе сердце. А к Кларе я как-нибудь найду подход — может, и с лозой...— пошутил он через силу.

Поднялся и тихо пошел по меже. Павлине казалось, что он не идет, а плывет среди картофеля и головастых подсолнухов. Посаженный собственными руками огород,

где каждый стебелек прощупан от корешка до макушки, казался ей таинственным и незнакомым.

Микола сказал, что ляжет в хлеву. Мать вынесла ему рядом, шинель и подушку, и он полез на чердак, где лежало несколько охапок накошенного в той же долине и в саду сена. Не спал. Право на сон утратил давно, а теперь знал: его снова будут мучить воспоминания. Можно попробовать убежать от них, но куда? Да и не убежит. Сначала, пересказывая прошлое, он как будто боролся с ним, надеясь, что, может быть, как-то одолеет. Но вскоре понял, что борьба затянулась и стала вечной, а он все более покорным и безропотным. И куда бы он ни шел, что бы ни делал — за ним, в нем пойдет и содеянное, которое вросло в него, став его частью. Это — как болезнь, она не остается у врача, а идет с тобой, и он понял, что не смог и не сможет оставить ее около матери или около Лаврина. Изредка — со временем все реже — восставал, чувствовал, как в нем что-то бунтует и поднимается против Клары, в такие минуты ему даже казалось, что он может освободиться, но тут же по нему бил вопрос: какой ценой? Ненависти? Беспощадности? К кому? Ко всем и ко всему? На это не было сил, и душа у него была совершенно другая. Освободиться же — от чего? От людей? Но каким образом? Стать над ними?.. Чувствовал, что и этого не может.

Микола ощущал неотвратимость судьбы, ее приговор прозвучал над ним, как погребальный звон, и он не мог остановить его. Теперь не мог. А тогда? Тогда, конечно, мог остановить. Ценой собственной жизни. Что же тогда есть жизнь и что такое судьба? Судьба — это обстоятельства, складывающиеся независимо от тебя. Мир — это тоже обстоятельства... Кто же их создал? Кто в них виновен?

Он видел, что вертится в замкнутом кругу. Хочет переложить вину на кого-то, но их вина — их, а его — его. Может, если бы не Клара. Клара — злой рок, его судьба. Почему она прилипла к нему? Почему он должен всю жизнь ее ненавидеть?

Конечно, в его жизни, в его бесконечно грустных странствованиях был и другой путь — не думать. Покориться один раз... судьбе и Кларе — и не думать. Но не мог. Он как-то странно ощущал время — прошедшее и настоящее. Прошедшее — когда ты бессилен, когда возвратиться нельзя, оно — как смерть, в которой ничего

нельзя изменить, оно — небытие и неотвратимость одновременно. Да, можно перепахать и наново засеять поле, можно разрушить дом и поставить новый, но нельзя во второй раз, по-иному пройти сквозь смерть, невозможно сегодняшней отвагой возместить прошлый страх. Микола спрашивал себя, что было бы, случись все во второй раз, то есть ныне, в настоящем времени или в будущем? Ныне Микола точно знал, что повел бы себя иначе. Но в том-то и несоизмеримость прошедшего и настоящего, что ныне он знает цену прошлым поступкам. И теперь она для него невероятно высока. Больше жизни. Может быть, для кого-то и не была бы такой высокой (для того, кто не казнился бы так), но он измерял ее сердцем. Нет, теперь он покончил бы с жизнью, умер бы в пытках, но не покупал бы свободы, которая стоит стольких мучений. Эта цена охватывала все: измену, три смерти, презрение к себе, стыд перед людьми, которые хотя и не знали ничего, но знал он, и стыд и раскаяние еще перед чем-то, чего и в мыслях не называл, но что было воистину великим, безмерным, тем, что вобрал в себя вместе с соками этой земли, с материнской песней, со строчками стихов, с колыханием праздничных флагов, когда проходил вместе с другими школьниками мимо сбитой из досок, выкрашенной в вишневый цвет трибуны. Точно такая же трибуна стоит и сейчас у сельсовета, он почти ежедневно проходит около нее. И он снова подумал о собственной жизни как о чем-то ненужном, лишнем, чему нет продолжения. А впрочем, продолжение есть, только уже иное, не такое, как нужно, не настоящее. В этот миг, без какой-либо связи со своими предыдущими мыслями и вообще безотносительно ко всему, он подумал вдруг о Гале и ощутил неясное, давно забытое волнение и тревожное тепло под сердцем. С тем и уснул.

Проснувшись рано и не заходя в хату, Микола пошел на станцию; это была не первая его ссора с Кларой, и они знали, что все останется как прежде: нет ожесточения, не будет и примирения, разве что в них что-то сильнее затвердеет. Но раздумывать над этим ему было некогда: они снова принимали зерно и отправляли уже десять вагонов. А срок был все такой же —

двое суток. Грузчики бегали с мокрыми чубами, психовал станционный весовщик, Микола сам бросался на помощь, поднимал тяжелые, весом в центнер, ящики на двухметровую высоту. Особенно тяжело было грузить, когда кончали засыпать вагон, приходилось руками поднимать ящики над головой и высыпать зерно в люки. А тут еще новая тревога. Она пришла, когда заканчивали грузить восьмой вагон. Грузили зерно первого обмолота. Все понимали — эту пшеницу нужно отправить в первую очередь, потому что она слишком влажная и может «сгореть». Как ни мал был опыт у Миколы, однако он видел, что пшеницы этой больше, чем на два вагона, а по накладным ее должно было быть как раз на два. По мере уменьшения зерна разрасталась его тревога, он нервничал, метался по амбару из угла в угол, заставлял в десятый раз проверять квитанции и пересчитывать тонны пшеницы. Наконец он не выдержал и, улучив момент, когда станционный весовщик Петр Харитонович Зализный — далекий Миколин родственник — остался один, спросил, стараясь скрыть волнение:

— Харитоныч, а что, если зерно остается?

Харитонович поправил очки с белой ниткой вместо дужки и хитро прищурил глаз:

— А что, наклевывается?

— Кто его знает, — с деланным равнодушием пожал плечами Микола. — Может, и будет немножко.

— Так что, — сказал весовщик, — сыпь в вагоны сверх нормы, да и квиты.

— А такое... бывало? — совсем откровенно спросил Микола. — А что скажут там?

— Бывало. А там, — засмеялся Зализный, показывая большие и редкие, но целые зубы, — там на излишек еще ни разу не жаловались. А недостачу отмечают почти в каждом вагоне. Подожди, начнут приходить твои квитанции — посмотришь. Каждый раз так. И в прошлом году, и в позапрошлом. И куда оно девается?.. А может, и не девается никуда. Говорят, иногда для контроля перевешивают вагоны: брутто и нетто. И все сходится. А с мест приема все равно депеши идут. Комедия какая-то, — махнул он рукой. — Да ты не переживай... Конечно, и излишки — тоже неприятность, но поправимая. А вот нехватка — тюрьма.

Микола почувствовал, как у него отлегло от сердца.

И тут же заметил, какой сегодня хороший день и какие хорошие люди работают с ним, а Зализный показался ему человеком просто чудесным. Постояв немного на лестнице, проводив взглядом черную точку далекого паровоза с перышком дыма над ним, Микола пошел в соседний амбар, где принимал зерно Голик. Отведя его в сторону от весов, он сказал, держа в пальцах пуговицу суконного пиджака Голика:

— У нас там пшеница останется.

Гривенник непривычно быстро пробежал по Миколу лицу своим единственным глазом и сразу отвел взгляд.

— Я уже давненько заметил. Ты, Микола Денисович, не волнуйся. Не твоя это забота. Я сам раскассирую.

Микола согласно кивнул головой. Но едва дошел до первого амбара, как тут же вернулся назад. Ему вдруг показалось, что в мыслях у Голика нечто совсем другое, нежели у Зализного, что и взгляд его был какой-то вороватый, и за словами что-то скрывалось. Поэтому, едва взойдя на помост и увидев, что Голик один, он сказал:

— Сегодня вечером и засыпем в вагоны.

Куприян снова моргнул глазом, повел острым лицом туда-сюда, словно вынюхивая что-то, и сказал голосом, в котором были и просьба и страх:

— Не нужно в вагоны. Говорю же — я сам. Ты еще спасибо скажешь. Поверь мне.

— Во что поверить? — теперь уже с серьезным подозрением спросил Микола. — Что-то вы, Куприян Иванович, не то говорите. Тогда... куда же вы его денете?

— Не первый год работаем... Голова у меня есть.

В голосе Голика слышались раздражение и заискивание одновременно. Но Микола был тверд в своем решении.

— Сегодня же — в вагоны, — сказал он и начал спускаться по деревянной лестнице.

Голик догнал Миколу у стены амбара. Но это уже был не тот солидный и рассудительный, хотя и крутой на слово Куприян Иванович, отец довольно многочисленного семейства — три дочери и сын, — а тертый Гривенник, о котором в селе ходило немало всяких слухов, в которые Микола не очень верил до этого дня. Вид у Гривенника был встревоженный и решительный, и высказал он Миколу свою просьбу одним дыханием.

— Послушай меня, Микола... Микола Денисович... — Глаз Гривенника словно обледенел, и вместе с тем в нем горел огонь алчности. И лицо было непривычное, как будто сведено судорогой. — Это впервые и на всю жисть. Я всю жисть ждал такого шанса. Дальше будет пуд в пуд. Ну, может быть, немножко не сойдется. А тут... Я еще завывал процент... Двадцать тонн — мне и тебе по полмиллиона. На всю жисть. Другого такого случая не будет до самой смерти. А тут... Не будь дураком... И никто никогда не узнает. Ты вообще ничего... полмиллиона в лапу — и до смерти. Будем грузить вагоны — и придет еще один. По накладной, по накладной... Никто не узнает. Есть у меня один знакомый. Когда-то был весовщиком, теперь большой человек... Мельницей крупной управляет. Как-то говорил мне — на всякий случай. И вот он подвалил, этот случай. Во второй раз такого шанса не будет никогда — чтобы и человек, и вагон, и зерно... А не то... — И глаз, Куприяново око, хищно сверкнул. — Запутаешься — не выручу.

Признание Куприяна потрясло Миколу. Это было как дуло пистолета вплотную у виска. Он стоял, хлопал глазами и не мог найти слова. Мысли кружились в безумном водовороте, путались, обгоняя друг друга. Прежде всего — с кем он работает и за кого Куприян принимает его, а дальше — что бы могло быть, если б он первым не заметил опасности, еще дальше — соблазн, искушение: ведь Микола ни за что не отвечает и даже может при желании не прийти в тот день на работу, а только... получит полмиллиона рублей. С этим полмиллионом...

Но эта мысль сразу оборвалась. И даже никакой потери он не почувствовал. Еще был страх, но и он растаял в гневе, в искреннем презрении к Гривеннику.

— Вы, Куприян Иванович, сошли с ума. Если бы вы не были вдвое старше меня, я бы вас взял за петельки и потрянул бы так, что у вас душа зазвенела... Идите, пока... пока я не вышел из себя. А весовщика я найду другого.

В глазу Гривенника сверкнул бешеный огонек, он низко опустил голову и сказал глухо, не то с угрозой, не то с просьбой:

— У меня три девки и шкет. Что ж, отбирай у них кусок, отбирай. А грозишься зря. Я не крал это зерно —

само так получилось. Разве не все равно, кто его заберет?

Микола ничего не ответил. Последние слова немножко охладили его. Действительно, произошло ведь это не по злему умыслу Куприяна, не по его вине. Вернее, и по Куприяновой, и, видимо, по его собственной.

Микола стал торопить грузчиков. Он хотел, чтобы к ночи загрузили последний вагон — пятидесятитонный пульман, а тогда уже засыпать в несколько вагонов то, что останется.

Пока не было машин и подвод, он, где мог, помогал сам, принимал зерно, потом снова таскал зерномер. Наконец, уgomонившись, он уселся на высоком крыльце, подставив свежнему — со стороны лугов и леса — ветерку лицо. На дороге, петлявшей между болотцами и убегавшей на дальние пастбища, толклись в тучах пыли табуны — коровы возвращались домой, и ему вспомнилось, как и он когда-то гонял на пастбище коров и как они, пастушки, всегда нервничали на этом переезде, опасаясь поезда, который и в самом деле однажды сбил корову, только не из их стада; вспомнилось, как ловили в болотцах карасей и маленьких вертлявых рыбок, называемых тут задесенками, и как длинен был день, как болели к вечеру ноги, и как засыпал, едва коснувшись щекой подушки. Если бы не эта дорога и не коровы в пыли, он едва бы смог поверить, что это было с ним, с тем человеком, который вчера ругался с чужой, уже почти ненавистной ему женщиной, почему-то поселившейся в той, из его пастушьего детства, хате, а сегодня вот должен спастись от другой беды. В тот миг не совсем реальной казалась Миколу и его нынешняя жизнь, и он аж содрогнулся, когда на крыльцо вышла Клара и села рядом с ним. Он думал, что она будет говорить о Деркаче, и настроился на язвительный лад, каковым иногда спасался от Клары, особенно в таких скользких делах, как вчерашнее. Он ей скажет... Скажет, что сам нанимал для нее хахалей и может их поменять по Кларину согласию или же нанять еще нескольких, лучших. Но Клара сказала такое, что он даже растерялся:

— Микола, Куприян Иванович говорит правду: не будь дураком. Оно же пропадет. А нам — на полжизни. У нас ничего нет. Оделись бы, корову купили твоей матери...

— Значит, для моей матери?.. Ах ты, стерва! И откуда в тебе это все!.. Где прошла школу? — раздраженно, злобно хлестал Клару словами. — С Куприяном снюхалась! Одна шайка!

Кажется, впервые Клара не ответила оскорблением на оскорбление. Глянула снизу вверх в его лицо, и такую искренность, такую любовь и ласку излучали ее глаза, что если бы Микола не знал, что за ними прячется, отозвался бы всей душой. И все-таки злость его немного пригасла.

— Коля, при чем здесь Куприян?.. — зашептала Клара. — Он действительно человек плохой. Но... мы просто воспользуемся им один раз. Один только раз. И — на всю жизнь. Никто не узнает. Вагон, накладную — все тот человек возьмет на себя. А ты и на работу не выйдешь. — Клара передохнула и сказала, всхлипнув: — Ведь пропадет же, пропадет...

— Клара, это нечестный путь...

— Честный — нечестный, — передразнивая, перебила Клара. — Честные в дырявых штанах ходят.

— И тебе не страшно? — вдруг с интересом взглянул на Клару Микола.

— Тут нечего бояться... Да и... — Клара махнула рукой: дескать, есть чем рисковать.

— Нет, я на такое не пойду, — решительно сказал Микола. — И не проси, не трать нервы. Забудь.

Кларины губы чуть побелели, а в глазах вспыхнули недобрые огоньки.

— Почему не пойдешь?

— Я не вор.

Он решил, что если поддаться, то это будет на всю жизнь. Пусть это меньше того, что уже лежало на его совести, но оно будет последней гирей, оно перетянет жизнь.

А он сейчас хотел жить. Хотел жить, как никогда раньше. Эта работа, стадо на дороге — пробудили что-то давнишнее, почти забытое, оно просочилось в сердце и наполнило его жаждой жизни.

Кларины глаза стали совсем злыми, и ее рука стиснула его локоть с такой силой, что Микола от боли повел плечом.

— Ты... Ты же знаешь, кто ты такой!

Он почувствовал, как меркнет свет перед глазами.

— Он, видите ли, не пойдет!..

Микола понял: еще одно слово — и все. И что-то рухнет, упадет и похоронит его. «На то пошел, а на это не пойдешь?» — это, наверно, хотела сказать Клара.

Микола вскочил бледный, голос дрожал и прерывался, его обдало жаром.

— Что ж, договаривай. Расскажи всем! Хочешь, я сам скажу. Всем. Сейчас пойду и скажу.— Он рванул гимнастерку, и она треснула по шву.

Клара увидела, что он и в самом деле может сказать, и испугалась. Кроме того, она заметила, что на них смотрят из-за дверей грузчики. Она тоже соскочила на землю, стянула руками на Миколиной груди рубашку, проговорила громко:

— Сказала же — пришью. Чего психовать из-за какой-то пуговицы? Ну, забыла. Вот еще мне...

Зло посмотрела Миколу в лицо и ушла. А он стоял и дышал так, будто внес центнерный мешок на самую большую ржаную гору. В глазах еще трепетали огоньки, качались какие-то пятна, и он не видел ни Клары, ни людей, что стояли на крыльце, ничего. Так продолжалось минуты три. После этого сознание помаленьку начало возвращаться к нему, он понял, по краю какой пропасти только что прошел, и страх встряхнул его тело горячей дрожью. А еще он понял, что, пожалуй, впервые победил Клару. Это было похоже на бой, он вообще впервые выстоял против чего-то, может быть, и против самого себя. Чуть натянуто улыбаясь, он пошел в амбар.

Ночью Микола, Куприян, Зина и четверо заготзерновских грузчиков, не взвешивая, засыпали в вагоны остатки пшеницы. Клара тоже помогала — насыпала зерно в ящики. И больше о том случае Миколу не напоминала. Хотя он и чувствовал, что в их отношениях что-то переменялось; может, даже не переменялось, а просто уменьшилось искренности и доброты. Клара после происшедшего не прониклась к нему уважением, напротив, в ее душе стало больше затаенного презрения, его отказ она отнесла только за счет трусости. Он еще дальше отошел от нее, замкнулся в тоскливом кругу своих мыслей. Он весь ушел в себя, он не жил в этом мире, все — мать, Лаврин, соседи — считали, что он живет вместе с ними, но так было только внешне, смысл его жизни потерялся, исчез.

Павлине рассказали о ссоре возле амбара между сыном и невесткой, никто не знал причины, а она не допытывалась, только сказала Миколу, должно быть, догадывалась кое о чем:

— Вы тут, дома, Микола, как хотите, а там, на работе, ты себя слушайся. Работа-то такая, что не дай господи... А тут — как хочешь. — Добавила через минуту: — Я, пожалуй, переберусь к Дарке. Зовет она меня...

Посмотрела на него, ничего не сказала и ушла с тоскою в глазах.

Вот так они и жили: он — затаившийся, словно окаменелый, Клара — молчаливый хранитель его тайны, мать — измученная сомнениями и замкнутостью сына. Она все больше теряла покой, хотя и старалась это скрывать; теперь ей казалось, что даже хуже стало, чем тогда, когда не имела никаких вестей о Миколу. Раньше было горе, теперь тоже горе, но непонятное ей, вдобавок какой-то страх, ощущение нависшей опасности. Такая жизнь угнетала ее, она все больше ненавидела невестку и понимала, что той это известно. Клара в ее присутствии большей частью молчала, но в душе тоже злилась, потому что видела в Миколиной матери противодействующую силу, притом силу немалую. На замечания Павлины (в основном мелкие, касавшиеся Клариной бесхозяйственности) она не отвечала, отмалчивалась, но так, что и у Павлины пропадало желание говорить. Жизнь для Павлины стала нестерпимой, и она действительно перебралась к Лаврину и Одарке, пока еще вроде бы не насовсем, почти все вещи оставив дома, да и во избежание молвы сказала соседям, что хочет помочь Одарке — начинаются осенние работы, а младший сын с невесткой как-нибудь справятся сами. Еще и потому ушла Павлина из родной хаты, что не давали покоя всякие догадки и предположения. Невольно начинала наблюдать за сыном и невесткой, особенно по утрам. Микола же то отворачивается от матери, делая вид, что слишком занят, хватает ведра, идет к колодцу, то вдруг начинает бриться либо возвращается в свою комнату и пересматривает какие-то бумаги. Клара, обычно глядя на солнце, сонно и сыто шурилась, бесстыже рассматривала себя в старом пятнистом зеркале в ободранной раме, которое висело в простенке между окнами. И казалось Павлине, что невестка словно нарочно, наслаждаясь ее тревогами, насмехается над ней,

ведет себя чересчур уверенно, как бы ощущая Павлинину и Миколину зависимость от себя, и не скрывает этого. «Не можете иначе,— будто говорили ее глаза,— прозябайте, мучайтесь, суетитесь, а я буду жить, как мне хочется».

Ни к чему определенному в своих наблюдениях и раздумьях Павлина прийти так и не могла. Одно ей стало ясно: что-то там было. И сразу возникал вопрос: с кем? С Миколой или с ними обоими? Что они сделали? Украли что-то? Убили кого-то? И, цепenea от страха, отметала эти мысли. Уходила с головой в работу, в Лаврина и Даркины хлопоты. Потому что знала, что мысли те не принесут ей покоя. Надеялась на время, что оно все смоеет, как долгие дожди весенний снег.

11

Хлопоты по хозяйству принял на себя Микола. Клара еще спала, а он топил печь — не ежедневно, через день, и только потому, что приходилось кормить кабанчика, которого Павлина оставила им. Каждое утро он сначала кормил кур, потом прибирал в доме, затем бежал на работу. Возвращаясь домой, рвал по дороге лебеду (мешок носил, либо завернув в газету, либо в портфеле, над чем уже подшучивали на станции и в селе) и спешил на огород. Надо было срезать подсолнухи, ломать кукурузу, обрывать бобы и фасоль. Иногда ему немножко помогала Клара. Но и у самого Миколы времени теперь оставалось больше — колхозы уже заканчивали выполнение государственных поставок, некоторые выполнили полностью, молотили зерно на посевной фонд и для оплаты на трудодни.

В этот день Микола пришел домой раньше, чем всегда, чтобы, управившись с хозяйством, поспеть на свадьбу; выходила замуж Зина-лаборантка и так просила, что отказать нельзя было. Клара пошла прямо со склада — с самого утра только и разговоров было что о свадьбе, даже на работу явилась в нарядном платье. Любила она всякие вечеринки, праздничные гулянки, чувствовала себя на них как рыба в воде, и Микола не знал, радоваться этому или сердиться. Что-то его и радовало — бывала ведь Клара и искренней, и веселой, — а кое-что сердило, потому что далеко не всегда она знала свое место и границы дозволенного.

Микола пришел на свадьбу, когда уже зажгли свет. Свадьбу справляли на дальнем краю села — в Горбах — в Зининой хате (она брала мужа примакон), старосветской, большой, хоть и под соломой, со звенящими кленовыми половицами, с резной матицей и расписной печью. Ревели два трофейных баяна, нагретые над каганцами бубны тренькали погремушками, а танцевали всего две пары, остальные гости сидели за длинными столами, заставленными тарелками с холодцом, мисками с ряженкой, бутылками и сулеями с самогоном. В хате уже было сильно накурено, и Миколу не сразу удалось осмотреться. Немного смущаясь под обращенными на него взглядами, он вдруг почувствовал себя молодым и сильным, каким был когда-то. А ведь был он раньше веселый и озорной, парень хоть куда. Именно таким он вдруг ощутил себя теперь. И видно, почувствовали это почти все. Тут было немало старших односельчан, которые помнили того Миколу, любовались им, статным, красивым, улыбчивым, и сейчас как бы ожидали от него чего-то. Казалось, вот ударит шапкой по лавке и пойдет в пляс, и застучит каблуками так, что заскрипят и засмеются кленовые половицы. Ему самому так казалось.

Тут он встретился взглядом с Кларой. Она сидела рядом с молодыми, покрасневшая, веселая, уже чуть пьяная. Должно быть, недавно пела, оставаясь и сейчас еще в центре внимания. Как жене Миколы, начальника Зины, и вообще как женщине видной, ей выказывалось определенное почтение, хотя в некоторых взглядах можно было уловить насмешку, чего Клара, разумеется, не замечала, и это-то всегда раздражало Миколу.

На мгновение в хате воцарилась тишина, и сразу же прозвучал высокий, выше обычного, — очевидно, от возбуждения и выпитой водки — Кларин голос:

— Дома все в порядке? Ты курочек загнал? Обоих петухов?

Желая показать себя хозяйкой, Клара, возможно, и не подозревала, что этим позорит мужа. Микола покраснел и буркнул:

— Обоих...

— А сколько курочек завтра снесется?

И тогда тишина взорвалась. Правда, те из гостей, что постарше, сдерживались, а молодежь хохотала так, что даже лампа на проволоке под потолком закачалась,

— Был мужиком, а стал курошупом,— воскликнул Сергей Деркач.

Чтобы как-то сгладить тягостное замешательство гостя, родители невесты и сама молодая стали звать Миколу на почетное место за большой стол, но он, пристыженный, отмахнулся и сел за меньший, стоявший поперек. Сел и сразу почувствовал, будто его обдало жаром. Рядом была Галя. Они сидели в углу стола, очутившись друг от друга так близко, что касались плечами; в первую минуту Микола хотел немного отодвинуться, но было некуда, и он безнадежно уткнулся взглядом в миску с капустой. Он понял, что стал еще и жертвой розыгрыша: когда, слегка оглушенный стыдом, он отказался сесть рядом с молодыми, кто-то легонько подтолкнул его на это место. Трудно сказать, что бы делал Микола дальше, не окажись перед ним граненый стакан,— он опрокинул его, а через минуту подошел жених, тоже бывший фронтовик, и налил «из резерва главного командования» полстакана спирта, раздобытого бог весть какой ценой для такого, особого, случая. У Миколы перехватило дыхание, он хватал ртом воздух, а кто-то крикнул с противоположного конца стола:

— Закусывай! Сырым яйцом. Галя, подай.

Галя пододвинула к нему ярко раскрашенную глазурную миску:

— Это в счет тех, завтрашних...

Микола яйца не взял, закусил ряженкой-парухой¹; он почувствовал раздражение, даже злость, хотел как-то ответить, но ничего не мог придумать. В голове вертелись колючие, едкие слова, никак не вязавшиеся в одно: он даже не знал, чем вызвано его раздражение и почему ему особенно хочется задеть Галю. В отмщение за этот вечер, за все другие вечера, которые не сбылись? В тот момент он забыл, что они не сбылись и для Гали, притом по его вине, и не он, а именно она должна была бы обидеться на него, ожесточиться.

Как ему казалось, она ненавидит его, мстит ему, а он должен обороняться.

Ерепенисто завизжал баян, затарахтели, словно боясь отстать, бубны, и легкомысленная «сербиянка» пошла кругом по хате. В середине круга бил себя по закатанным (пошла такая мода) хромым голенищам

¹ Паруха — ряженка из парного молока, настоянная в печи.

тупоносых сапожек Сергей Деркач, а вокруг него мелькали пары — преимущественно девушек; парней на свадьбе было мало, да и почти никто не умел танцевать. Внезапно возле Миколы очутилась «сербияночка» — еще совсем молоденькая, смуглая младшая Зинина сестра, покрасневшая от своей отчаянной дерзости, хлопала ладошками, как бы приглашая Миколу к танцу. Микола почему-то тоже покраснел, разводил руками, качал головой, старался перекричать музыку:

— Не умею.

Сконфуженная девушка шмыгнула в коридор.

— А когда-то, кажется, ты хорошо танцевал, — сказала Галя.

— Когда-то... Когда-то, — думая о своем, пробормотал Микола. — Разучился.

— Зачем же было... разучиваться?

— Так захотелось, — с вызовом ответил Микола, чувствуя, как его снова охватывает раздражение, — Было, прошло, и не жалею.

— Жалеть, может быть, и не нужно, — тихо улыбнулась Галя. — А только ведь прошлое — оно не всегда проходит.

Микола, делая вид, что смотрит на танцующих, несколько раз быстро взглянул на Галю. Отводил глаза и пытался как можно дольше удержать ее образ; ему казалось, что он все время смотрит на нее. Красота Гали была яркой и в то же время какой-то мягкой, нежной. Смолистые, черными дугами, брови, высокий лоб, ровный нос, четко очерченные губы (которые он когда-то столько раз целовал), спокойный взгляд. И только острый подбородок как бы выдавал ее твердый характер. На удивление, даже ее красота сейчас раздражала Миколу, и он ответил почти с жестокостью:

— Из прошлого рукавиц не сошьешь.

— О, да ты стал хозяином. Недаром же вот... кур загоняешь на насест. Когда-то я за тобой такого не замечала.

Музыканты играли «Месяц на небе». От волн раздольной мелодии у Миколы защемило сердце, и он сказал:

— Когда-то я был глуп.

— Зато сейчас — ученый.

Она повела глазами в ту сторону, где за столом, разрумяненная, взлохмаченная, хохотала Клара. Она,

очевидно, сегодня немного перебрала и в веселье и в рюмках — дважды пробовала петь и дважды пускала петуха (хотя голос-то у нее был), тянула танцевать жениха, пыталась хозяйничать на свадьбе, и сидевший под иконами суровый и не улыбочивый отец невесты уже несколько раз одергивал ее.

— Ты лучше на себя посмотри... — зло продолжал Микола. — Чистенькая выискалась...

Это был грубый намек, такой грубый, что у Гали на глазах выступили слезы. Она хотела что-то сказать, но не сказала, тихонько поднялась и вышла. На счастье, никто этого не заметил, многие уже встали из-за стола передохнуть от выпивки и еды.

Микола сообразил, что ляпнул что-то слишком обидное, грудь его болезненно сжалась, однако он ни о чем не сожалел. Наоборот, ему казалось, что он чего-то не досказал, что ему непременно нужно отыскать Галя и наконец выговориться. Он вышел из хаты. Лицо его овевало прохладой. И он почувствовал, что захмелел. Деревья и дома, окутанные ночной мглой, расплывались, а большие белые звезды медленно покачивались. По широкой дорожке, с обеих сторон обсаженной кустами смородины, Микола направился в сад. Это был старый, отгороженный низенькой оградой сад, в котором все росло вперемешку — яблони и вишни, груши и шелковицы. То тут, то там под деревьями чернели тени — парами разбрелись по двору гости. Микола, не задерживаясь, прошел в конец сада; дальше дорожка круто поворачивала влево, потом — вправо, а оттуда спускалась к берегу.

Сквозь хмельной туман в голове пробивалась догадка, что Галя пойдет домой только этой дорогой. Он сделал несколько шагов, потом непроизвольно повернул голову и заметил сзади какую-то тень. Сердце у него вздрогнуло, он подошел к яблоне. Да, это была Галя. Сейчас он и не думал о том, убежала ли Галя от него, или ушла в надежде, что он пойдет следом; Микола даже не видел как следует ее лица, затененного листьями, а только фигуру, такую знакомую. Галя была в желтой кофточке и ладных сапожках, едва поблескивавших в темноте. И не знал он, и не пытался отгадать, что творится у нее на сердце, какие мысли и чувства одолевают ее. Ему просто хотелось продолжить начатый в хате разговор. В оглупевшем от водки мозгу бродили

мысли о том, что Галя, бывшая его Галя, нагуляла ребенка, а значит, вообще гуляла, имела любовников и, возможно, сейчас имеет, поэтому и посмеивается над ним. Ему хотелось высказать все это, а заодно и еще что-то обидное, уже в большей мере касающееся его, а может быть, только его, однако он не мог привести в порядок свои мысли.

— Ты знаешь, Галя,— сказал глухо и тяжело,— ты вот напрасно... напрасно так...

И внезапно у него перехватило дыхание, а в груди и в горле стало горячо, весь он наполнился болью и вдруг заплакал. Это было совершенно неожиданно. Неожиданно в первую очередь для него самого.

Какие бы мучения ни одолевали его, какие бы ужасы ни терзали его сознание, он ни разу не заплакал. Даже в минуты предельной жалости к себе. И потому эти слезы были такие искренние, наверное, искреннее всего: и мучений, и раскаяния, и боли.

— Прости, Галя,— после долгой паузы выжал он.— Прости за все.

— Не за что прощать,— в волнении прижав руки к груди, сказала Галя.— Пустяки... все те же колючки.

— Колючки — правда пустяки,— Микола почувствовал некоторое прояснение в голове и понял, что вызвало его рыдания. Однако раскаяния не чувствовал, а только как бы отсек свою мысль и свою боль.— Колючки — да! А все остальное — нет! Только ведь... душу-то не распять на кресте.

— А может, и не надо,— тихо промолвила Галя.— Так сложилось.

Конечно, она не могла понять его. Она думала, что он говорит только о своей женитьбе, к тому же думала под впечатлением того, что ей тогда рассказала Павлина: Микола был ранен, и Клара его спасла. Выходит, он ее вечный должник. Потому что — совестливый, честный.

Галю заполнила волна горячей радости. И не только потому, что, как поняла, Микола не забыл ее, любит, а еще и потому, что не ошиблась, что есть в мире что-то такое, ради чего нужно жить, честно смотреть людям в глаза и учить этой честности своего сына.

Она наклонилась к Миколу и прикоснулась рукой к его волнистому чубу. Погладить, как когда-то, не отважилась, а только провела пальцами от лба до виска.

И он вновь почувствовал трепет в душе и жалость, ему до боли, до крика захотелось, чтобы она его пожалела, чтобы по-человечески приласкала. Он на секунду представил себе, что было бы, если б он сказал ей все. Она бы... испугалась. И осудила. И — простила. Любовь прощает все. Она осудила бы его прежнего, и простила б его нового. Она бы поверила, что такое может случиться только один раз. Им бы обоим было ужасно тяжело. Они бы на двоих делили вечное горе, вечную его муку, а горе на двоих — это уже полгоря. Но это — невозможно. Он понимал, что ныне они — как бы по разные стороны пропасти, и им уже не сойтись.

Микола печально опустил плечи, спрятав лицо в яблоневых листьях. Они жестко ласкали его лицо.

По тому, как продолжали вздрагивать его плечи, по голосу и дыханию Галя чувствовала, как он мучается. Хотя так до конца и не могла понять причины.

— Не нужно... Так случилось, — тихо произнесла она, не зная, что ей делать. Хотелось прижать к груди большую Миколину голову, но почему-то не могла. В это время ее позвали:

— Галя, где ты? Галя, иди сюда!

Это звала невеста, ее двоюродная сестра. Галя помогала ей готовить, наверное, и сейчас требовалась ее помощь, вот и искали. А возможно, глазастая и сметливая Зина что-то заметила и хотела предостеречь их. Галя кивнула и быстро пошла мимо теней, маячивших в саду.

12

Вслед за Галей к хате подошел и Микола, остановился покурить с мужиками, сидевшими на крыльце. Ему не хотелось возвращаться в хату. Сказав, что надо проверить сторожа (так, на всякий случай, чтобы не искали), пошел на станцию.

Всю дорогу думал о Гале. Его взволновал недавний разговор, и он то и дело возвращался мыслью к прошлому, к их первой встрече после возвращения, хотел уловить какую-то связь между той, прежней Галей, и этой, — и не мог. До четвертого класса они ходили вместе в школу. А потом случилось так, что Миколу перевели в другую школу, слободскую, где был недобор учеников. Тогда на какое-то время он как бы потерял

Галю. И снова увидел ее уже в восьмом классе — увидел по-другому, девушкой, о которой начал думать.

Как-то Микола шел домой с Василем Глушком. По дороге тот несколько раз заводил речь о Гале. На следующий день Василь пересел за парту, что стояла позади Галиной. На физкультуре он тоже старался стать рядом с Галей. И чего только не выделывал, прямо из шкуры лез, лишь бы рассмешить ее! Василь был парень веселый и остроумный. Скорее, грубовато-остроумный, часто терял чувство меры, и, хоть девушки хохотали, Микола порой замечал в их глазах насмешку. А тем временем класс уже как бы связывал Василя и Галю. На шутки и намеки ребят по этому поводу Василь сердился, но все видели: этот гнев показной. Видела это и Галя, да и Микола тоже.

Как-то они писали сочинение на вольную тему — о себе. Некоторые выдумывали: писали о ком-то другом, кое-кто исповедовался не совсем искренне, говорил лишь о своих маленьких грехах, утаивая остальное, одна девушка решила сказать все, что думала, и над ней потом смеялись. Галя написала одно предложение: «Я еще не знаю, какая я». Микола подсмотрел это предложение и написал такое же. Учительница зачитала их ответы вместе. Микола помнит, как на него посмотрела Галя. Он потом не раз вспоминал об этом. Он написал неправду, потому что считал, что знает о себе все: какой он хороший товарищ, бескорыстный, настойчивый, смелый. И только позже понял, каких мучений стоило Гале это признание и как легко, не всматриваясь в себя, написал это он. И тогда, и позже — Микола ни разу не посмотрел на себя здоровым, требовательным взглядом. Он легко плыл по жизни и, вероятно, считал бы себя хорошим пловцом, если бы не война. Он играл в духовом оркестре — на кларнете, участвовал в работе школьного драмкружка, был записан в трех библиотеках — сельсоветовской и двух школьных, хотя читал немного; все ему давалось легко и просто, и так же просто пришла любовь; он даже сегодня не может вспомнить, когда именно по-настоящему влюбился в Галю. Кажется, проводил ее однажды после репетиции домой и с тех пор начал провожать каждый вечер. Правда, вскоре он узнал ее характер. В тот вечер Микола был очень весел и в шутку, но и не совсем в шутку, сказал, что ему написали записки сразу две девушки —

Вера и Оля. Он даже хотел показать записки Гале, но она не стала их читать, ушла и потом очень долго, почти два месяца, избегала его. Он понял, что ее обидели не записки, а то, как он рассказал о них: дескать, вот какие девушки приглашают меня к себе, а я — с тобой... Одним словом, она должна была это оценить. Галя и оценила. Он потом много раз извинялся, долго ходил следом, даже напугал ее, и Галя простила его. Микола помнит тот день... Еще дома составил письмо. Приближались какие-то праздники, он писал и развешивал по школе лозунги, и, когда Галя проходила мимо лестницы, на которой он стоял, Микола бросил к ее ногам свернутый вчетверо листок. В письме он говорил, что собирается бросить школу. Возвратившись в класс на четвертый урок, он понял по Галиным глазам, что сегодня наконец сможет с ней поговорить. Они помирились, но теперь Микола знал, что в Галиной душе, такой с виду тихой и кроткой, есть особенный, упругий и крепкий стебелек, и с ним ему придется считаться. Понял, что, если обидит ее или обманет, Галя ничего не скажет, но уйдет и больше никогда на него не посмотрит. Теперь стало ясно, как много значила для него эта любовь. И все же порой он злился на Галю: ишь, строит из себя, ну, выпил чуть-чуть, так уж и не хочет выходить с ним на улицу. И все же он любил ее. Однако не хватило ему этой любви на войну. Видно, не мог он Галю до конца понять, не сумел опереться на свои чувства к ней в самую трудную минуту. Если бы он тогда думал о ней, возможно, все сложилось бы по-другому и не терзался бы нынче.

...Его мысли оборвал тяжелый окрик сторожа. Дежурил Нечипор Гусочка, Миколин сосед через огород, человек простой, на редкость бесхитростный. Все собаки у него назывались Рябками (в том числе и те, что не были рябыми), а коты — Лысками, пел он только одну песню, да и то от слов: «Гей, кто в лузе, отзовися», редко когда доходил до «не журился». В работе Нечипор Гусочка — человек исполнительный, пил редко и никогда не напивался, хозяин старательный и весьма сообразительный, да и охранник тоже.

— Чуть было я по тебе не врезал, — сказал после приветствия Гусочка, и вправду вынимая патрон из патронника. — Ты так неслышно шел, да еще со стороны посадки. И чего тебя туда занесло?

У Миколы хмель уже наполовину развеялся, но объяснить, почему шел через посадки, он бы не смог. Должно быть, задумался, вот и не заметил, как сошел с дорожки.

— А если бы врезал? — сказал Микола, с интересом присматриваясь к Гусочке, хотя в округлом, мягком лице того не было ничего особенного: лицо как лицо, как сотни лиц в селе — чуть потемнело от ветра, давно не бритое, немного утомленное. Ничего особенного, а вот ведь перед самой войной убил Нечипор человека, соседа. Заметил, что пропадают вязанки хвороста у хлева, проследил за ним и уложил на месте. Отсидел шесть лет, в позапрошлом году вернулся. И жил, и вроде чувствовал себя так, словно ничего не случилось. Еще и сказал как-то: «А может, я себе тем жисть спас, не попавши на фронт». Он давно уже интересовал Миколу, да все никак не выпадало поговорить с Гусочкой. И потому нетерпеливо ждал сейчас его ответа.

— При исполнении... при исполнении, Денисович, — спокойно ответил тот. — Не лезь, откуда не надо.

— Ну, это, так сказать, по законной линии. А если бы кокнул меня, а я потом начал приходить к тебе во сне, в мыслях...

— Какого черта, — аж возмутился Гусочка. — Мне еще молодницы снятся. Я, можно сказать, сохранил в лагерях все свои возможности...

Микола разозлился на Гусочку, даже пожалел, что тот выбросил из патронника патрон, а не гильзу... Его собственная память была как кровавая рана, тысячу раз продырявленная, простреленная воспоминаниями.

...Он помнил их лица до последней черточки. Всех троих. И весь поход. Только начало чуть стерлось в памяти. Хорошо помнил, как провалился, как испугался (понимая, что может окоченеть на морозе), как стоял на кочке, и как на соседнюю кочку сел Желай и начал разуваться, и как на него посмотрел тогда Басов, и все поняли, что этот взгляд означал: «Зачем рискуешь из-за этого пня?» Но это было только мгновение, потому что именно Басов вынул баклажку со спиртом, дал ему глотнуть, а потом еще налил себе на ладонь и растер ему ноги.

Почему-то Миколе больше всего запомнилось о разведчиках именно хорошее. Брили по глубокому снегу, он раньше других выбился из сил, и они забрали у него

мешок, а потом Шкурко за обедом подарил нож... Эти воспоминания терзали особенно больно. Разведчики поверили в него, понадеялись, приняли его как равного, как своего. Желай, бывало, покрикивал на него, а Шкурко и Басов подзуживали, но теперь уже иначе, как своего. Они и друг друга подзуживали, и между ними были сложные отношения, сложные, однако честные. Они не раз говорили о какой-то Лиде, и Миколу казалось, что каждый что-то таил в своем сердце. «Как возвратишься, говорила... приходи ко мне на ночь», — как-то бахвалился Басов. «Уже трижды говорила, — хмыкнул Шкурко. — Ты делай на прикладе зарубки». — «Врешь... это впервые... Мы на этот, сегодняшний, день договорились с ней поехать в Салынский. И поехали бы, если бы не пошел сюда». И хотя было видно, что Басов говорил правду, Шкурко не унимался: «Она тебя за нос водит, а всем офицерам стелется». — «Не ври, а то зубы повыбиваю». — «Каримову выбивай, а не мне». — «Кончай ерундовину нести», — вмешался Желай и отвел глаза. И Миколу казалось, что честь этой незнакомой Лиды он защищал искренне, а словам Басова не радовался. Вероятно, Лида и в его сердце заронила искру. Однако Микола знал, что никакая ревность, никакая зависть не могли бросить хоть малейшую тень на отношения разведчиков, что не было между ними трещинки, в которую можно было бы просунуть лезвие ножа. Каждый из них пошел бы на смерть ради другого. А он... А он не сумел пойти. И носит их троих в сердце и в памяти, как три пули.

«А может быть, — подумал Микола, — за всех троих сразу... Вот так выйти из темноты к пакгаузу — и все! Потому что разве это жизнь — в вечной муке, без радости, без надежды? А тут... одно только мгновение».

Однако почему-то было страшно. И грустно. И было жаль себя... исчезнет... и уже никогда не пройдет под звездами, не возвратится в этот зеленый сад. И не увидит Галю. Не поговорит с ней, не заглянет в глаза.

Он сейчас подумал о жизни так, как еще никогда не думал. Как будто со стороны. И впрямь, если бы не было того ужаса, он бы сумел теперь вобрать в себя этот сад, этот мир, он бы наполнил ими свою душу... А так...

«Но матери тогда — конец», — подумалось вдруг; и в ту же минуту он заметил, что размышляет холодно, рассудочно, потому что на самом деле и сейчас не думал

о смерти всерьез, по крайней мере считал, что это дело пусть недалекого, но будущего.

Микола возвратился мыслью к Гусочке. Конечно, прошлое Гусочки — тоже страшное дело, однако оно никак не связано с тем, ради чего пролито столько честной крови и отдано столько жизней. На месте Гусочки он бы тоже терзался, был бы противен себе, наверное, пил бы, а может, и возненавидел бы людей, но не боялся бы их.

Однако Гусочка, видно, не казнился, и совесть его не мучила. Только что чуть было не застрелил человека, а сейчас спокойненько сидит на крыльце, свесив ноги, щелкает себе семечки.

О чем может думать такой человек? А возможно, у него и мыслей-то на одну пригоршню семечек? Бесконечен мир, бесконечна ночь под звездами, а мыслей... на пригоршню семечек...

Миколу стало неуютно и даже холодно. Он попрощался с Гусочкой и ушел. По дороге домой опять раздумывал, что значит убить человека. Очевидно, тут столько толкований, сколько на свете людей. И потом — кого убить: просто человека или врага, при каких обстоятельствах, даже с какого расстояния. Ведь и он убивал на фронте и не страдал из-за этого — то были враги. Правда, вблизи увидел убитого собственной пулей только один раз. Это случилось где-то за Черниговом. Они выбили немцев из маленького села, возле моста Микола стрелял из кювета по школьному двору, где за кучей кирпичей залегли немецкие пулеметчики, прикрывая отход других. И когда один из них побежал, Микола прицельно выстрелил из винтовки (в ту секунду больше никто не стрелял), и немец упал и остался лежать на том же месте. После боя Микола подошел ближе. Немец лежал, подогнув под себя левую ногу и выбросив вперед обе руки. Был он молодой — Миколиных лет, белобрысый, с бледными веснушками на лице. На спине у немца был тугой ранец из телячьей кожи. Подошел еще кто-то из солдат, вынул финку, перерезал лямки ранца и расстегнул его. На спину немца, на землю посыпались твердые, похожие на бомбочки, груши. Видно, немец набрал их в школьном саду. Вот эти груши почему-то больше всего запомнились Миколу. Но ни страха, ни раскаяния не было. Он убил врага, который час назад стрелял по нему из пулемета, который пришел за тыся-

чу километров, чтобы выгнать из школы детей и набрать в телячий ранец недозревшие груши.

То был враг...

Микола торопился, шел быстрее и быстрее, спотыкался о кочки, и в такт с его шагами спешили, бежали, цеплялись друг за дружку мысли. А может, все было наоборот?

Слабому человеку не переступить через свою вину. А сильные? Они... переступают? Да, переступают. Но это — садисты, выродки. А может, они корчатся, может и их душат во сне их жертвы... Нет, хоть это тебя обошло. Те трое в снах не приходят. Даже в этом они великодушны. Впрочем, кто знает, на сколько хватит их великодушия.

Стало быть, ты не сильный. И не подлец? Утешься, что так думаешь о себе. Однако Гусочка тоже не думает о себе как о преступнике.

Почему же все-таки чувствуешь свою вину? Что мешает забыть ее? И как... ее забыть?

Забыть нельзя, это не в его власти. И спать — тоже. И облегчить... Сказать... что я не виноват... Я хотел жить, я не знаю, как это случилось.. Таким создали меня, так что и отвечайте... Наверное, так?

Отвечать должен был сам. Всю жизнь. То есть пока хватит души и сердца...

Сложилось так, что Микола снова увидел Галю через два дня. Возвращался подводой из города и догнал ее за кирпичным заводом, откуда начинались поля. Он заметил ее еще издали, — день не базарный, час поздний, она одиноко двигалась по дороге; перед тем лили дожди, и она шла тропинкой, вившейся по обочине. Микола не на шутку разволновался. Как ему быть: проехать, не поздоровавшись? Поздороваться и ехать дальше? Но это вроде как-то... У них в селе так не принято. Пригласить подвезти? А если она не сядет, или отвернется, или скажет что-то обидное, особенно после этой свадьбы... Еще можно было вернуться и поехать кружным путем через Бабинцы. Но не поехал. Решил для себя: пусть будет как будет. Поравнявшись с Галей, даже немножко опередив ее, он натянул вожжи. И что-то до предела натянулось в его душе. Сядет — не сядет. Хотел, чтобы села, и хотел, чтобы отказалась. Откажется — так уж будет отрублено навсегда, сядет — новые волнения, опять неизвестность. Почему — и сам не знал.

Чуть поколебавшись, она подошла к подводе. Торопливо, чтобы как-то обойти свадебный вечер, не зацепиться за него, он спросил, куда она ходила и почему возвращается так поздно. Она ответила кратко: вызывали. А кто и почему — не сказала. Очевидно, в районо. Она ответила — да.

Они не вспоминали недавний разговор. Притворились, что его не было. А может, его и вправду не было? По крайней мере Микола воспринимал его как нечто случайное, вызванное минутной досадой и злостью. И он начал расспрашивать о школе. Какие теперь дети, что учат, хватает ли книг? Постепенно Галя разговорилась. Пожалуй, школа — ее призвание, она любит детей, любит свою работу. Учебников почти нет, один — на пять-шесть человек, пишут на оберточной бумаге, но дети тянутся к знаниям и учатся без принуждения. Особенно старшие, те, которые помнят оккупацию, они тогда поняли, что могли бы навсегда остаться батраками и неучами. Рассказывала еще о каком-то парне, озорном, но очень способном, который пишет стихи и печатает их в районной газете. Возможно, станет поэтом. Первый поэт из их села!

Галя говорила, а его все сильнее охватывало желание повернуть лошадь и поехать куда-то в неизвестность, в ночь, что опускалась за их плечами, забрать с собой Галю, забрать этот разговор, а заодно их далекое, чистое прошлое. Галя бы все поняла. Он думал о дальних дорогах, о светлых зеленых полях в бездождий, а лошадка медленно плелась к селу, тянула подводу и его на подводе — к его обычным тяжким думам, к хате, где ждала Клара. Вон уже колодец и холм под вербами. Там стояла будочка, огороженная выкрашенным в зеленый цвет штакетником, с побеленными известью кирпичиками вокруг клумбы. Этот холм и эти вербы — вечный водораздел радости и горя для их села. Там прощаются, отправляясь в далекие края. И он с Галей в свое время прощался там же. Этой дорогой ушел на войну. Тогда, вспомнилось, была в сердце щемящая боль разлуки — не боль, а крик, и грусть, и страх, и ожидание. Да, ожидание страшной неизвестности. И предчувствие чего-то далекого, о чем до войны пели в песнях. Возвращение со славой. Он долго жил этим на войне. И вот возвратился... А с чем, и сам не знает. Помнит ли она их прощание? Вероятно, помнит. И последние проводы,

и всю их прошлую жизнь. Вон на том поле в последний перед войною год они вместе работали у молотилки. Он таскал солому к скирде. И они дурачились в соломе. И потом в полночь, когда молотилка остановилась, ходили вдвоем по жнивью. Наверняка помнит. Недаром отвела взгляд от скирды. Но не подает виду, что помнит. Так, пожалуй, лучше всего. И вправду ведь все забылось. А они — просто два попутчика, вместе возвращающихся в село.

Они и на самом деле были как два случайных попутчика. У каждого своя жизнь, своя хата, своя семья, только воспоминания общие. И ведь это беда, еще горше беспамятства, если и помнят они все одинаково!

Галя попрощалась на краю села и по берегу пошла к своей хате. Видимо, не желала, чтобы их видели вместе. А ему, напротив, почему-то в этот раз захотелось, чтобы все в селе увидели его с Галей и разговорами, пусть даже насмешливыми, приблизили его к прошлому.

В ту ночь он снова долго не мог уснуть. Клара сладко спала, прижавшись к его руке, а он думал о ней так, словно она далеко-далеко. Кажется, впервые он до конца осознал, что они совершенно чужие люди, судьбе угодно было свести их, таких ненужных друг другу, вроде бы насмехаясь над ними. Всю жизнь они будут чужими, ничто уже не сможет сблизить их.

Вероятно, они могли бы жить и по-другому. Если бы... он встал и выпрямился, сбросил тяжелую ношу, отдался хозяйству и семье, тогда, наверно, и Клара приблизилась бы к нему. Он бы ходил с ней в гости, потакал бы ее капризам, просто жил сегодняшним днем, как она. И может, они не вспомнили бы тот день до самой смерти. Но беда в том, что он так жить уже не может.

Он пытался представить себе, как бы сложилась его жизнь с Галей, и не мог. Только чувствовал, как тянутся к ней все его мысли. Он был уверен, что и она сейчас не спит. И перебирает в памяти их прошлое. Что она думает о нем? Микола даже приподнял голову, чтобы прислушаться к ночи. Как будто мысль ее могла пронестись в воздухе, как будто он мог почувствовать Галину мысль, прикоснуться к ней своей, отгадать. Зачем? Скорее всего, и сам не знал. А только чувствовал, что их с Галей любовь, возможно, была той единственной силой, которая могла либо освободить его, либо осудить

коротко и сурово, без колебаний и мук. Однако нет, наверное, тех дорог, какими бы она могла вернуться к нему.

Вечером пришла Павлина. Она теперь навещалась не часто, раз-два в неделю. Принесла свежую паляницу — испекла в обед — и горшочек сметаны. Павлина старалась не вмешиваться в хозяйство сына и невестки, но не могла удержаться.

Увидев, как закоптились карнизы печи, обмела их гусиным крылом, села на лавку, посмотрела на неприбранный стол — крошки хлеба, нож в повидле, луковичная шелуха, — встала, все прибрала; потом вынесла лохань, подмела в хате, сняла рушники — давно уже пора было выстирать их. Клара почти демонстративно вышла из хаты.

Сняв в углу занавеску, за которой висели иконы (ее иконы, Микола хотел их убрать, но Клара не дала: «Пусть, они как картинки»), внезапно сказала:

— А Грицькову Галя в райвоенкомат вызывали.

Микола вздрогнул, исподлобья взглянул на мать. С тех пор как он вернулся, она впервые так больно задела его напоминанием о Гале, и трудно было отгадать: сознательно это сделано или случайно. Так вот, оказывается, почему Галя ездила в город. А ему не призналась.

— Медаль какую-то дали, — словно не замечая его взгляда, продолжала Павлина. — Партизанскую.

— Разве Галя была?..

— Нет. Она партизанам бумажки в лес передавала, — с гордостью рассказывала Павлина. — А от партизан — в город. Только этого никто не знал, а она никогда не говорила. Лишь теперь вернулся из армии какой-то партизанский командир и рассказал об этом. И в газете напечатали. Не только про нее, но и о ней тоже сказано. А у нас в селе никто этого и не знал. Кое о чем догадывались... Потому что под конец, значит, продержали ее неделю в полиции. Все тогда удивлялись — за что бы это. Некоторые считали — за самогон. А оно вот как... И били ее, а доказать ничего не доказали и выпустили.

— Подумаешь, медаль! — отозвалась с порога Кла-

ра, и Микола вздрогнул, он не думал, что Клара слушает Павлинин рассказ.— У меня их вон аж три...

— Конечно... и у тебя,— поджала губы Павлина, а по глазам было видно, что не хотелось ей уступать невестке.— Только, говорят, очень важная та медаль.

— Все медали одинаковые,— сказала Клара и вышла в сени.

— Одинаковые-то одинаковые...— проговорила Павлина.— Да не всем даются одинаково.

— А хотя бы и не одинаково,— поднял голову Микола.— Зачем вы мне все это рассказываете?

— А так... Мне рассказали, и я рассказываю. И не только тебе... Пусть... твоя не хвастается на свадьбах. И у нас были люди. И не такие, как она.— Павлина подождала, пока в хату возвратилась Клара, и продолжала:— Поймали немцы и полицаи в Троепольщине Шерстюкового Гната, партизана, закопали в каком-то окопе и место заровняли, а на следующую ночь рядом, на сосне, ободранной пулями, кто-то повесил венок. Сбросили венок, растоптали, на следующее утро приходят — опять висит. Срезали сосну. Утром на пеньке лежит букет. Знали они, кто цветы носит, а засесть в лесу боялись. И все в селе знали, чьи это цветы,— Соньки Кучерявенковой, они с Гнатом очень любили друг друга. Полиция пришла к ней и говорит: еще раз цветы положишь — хату сожжем. Утром сам начальник полиции на велосипеде в Троепольщину поехал, смотрит, а на пеньке три пиона жаром горят. Сожгли хату и пригрозили расстрелять Соньку. Все пионы и георгины вместе с хатой сгорели. Так она у соседей нарвала. И расстреляли ее.

— Ну и?..— почти равнодушно поинтересовалась Клара.

— Цветы снова лежали,— тихо проговорила Павлина.— Уже кто-то другой положил. А полицаи тогда как будто взбесились. Однако и сильно бояться с той поры начали — страх напал.

Микола порывисто встал и вышел во двор. Ему было жарко. Он не знал: хотела ли мать только похвалиться односельчанами, рассказывая о Гале, или же заметила что-то в нем самом, может, рассказали ей что-то о свадьбе, и решила посмотреть, как он отреагирует на эту новость, а может, даже поддержать его. Так или иначе, но даже история с Кучерявенковой Сонькой, которую он, конечно, помнил, и скромность Гали вошли

в душу неведомой до сих пор болью. Особенно то, что Галя была связана с подпольем, о Соньке он уже как-то слышал раньше... Но в душе была не только боль. Микола как будто увидел в Гале что-то новое — или еще не увидел, а хотел увидеть, — угадывал в ней ту силу, которая манила и тревожила, силу цельности, рядом с которой и самому можно остановиться, перевести дух, оглянуться и найти правильное решение, а возможно, и самого себя. Эту силу нес в себе не кто-то иной, неизвестный, стойкий и мужественный, судящий человека не по законам души, а по холодным фактам, — нет, эту душевную силу несла в себе Галя, прежняя... и не совсем прежняя, его Галя, суд ее должен быть справедлив, чист и... сострадателен. Да и к чему тут суд? Зовет его не суд, а голос сердца!.. Угадывал и тянулся к сочувствию и прощению, какие несет в себе любовь.

Когда ушла Павлина, Клара села возле Миколы на завалинке, сказала:

— Давай сварим полевою кашу. Вдвоем. Такую, как когда-то варили, в самом начале...

Очевидно, это должно было означать нечто более важное, нежели просто приготовить ужин. Ведь те несколько первых дней, после приезда в село, оба действительно помнили как счастливые. И те вечера у костра в конце огорода.

Микола вырубил новые рогатки — старые где-то запропали — и жердину, отнес в конец огорода дрова. Там еще осталось выжженное место, на нем и разложил костер. Над растущим в низовье картофелем, кукурузой и подсолнечником стелился ароматный дымок, потрескивали сухие сосновые дрова, шипело на сковородке сало. Басовито прогудел в вечерних сумерках жук, и звук этот растаял в чистых сумерках сада. В такую вечернюю пору сад кажется таинственным, что-то вечное, мирное прячется в его густых ветвях, и веет оттуда воспоминаниями, которые идут из детства, а может быть, из каких-то снов, твоих или не твоих. Где-то на улице зашумели парни, потом звонкий голос затянул раскатисто: «Ой взойди, взойди, ясный месяц» — и тут же оборвал, то ли любовался собой, вслушиваясь в песню, пущенную над селом, то ли смутился, что потревожил такой пьянящий покой. На скошенном лужке возле пруда стрекотали кузнечики, вызванивали невидимые щелкунчики.

— Разве мы думали...— внезапно промолвила Клара,— что доживем до такого... рая. Тогда, когда ты приполз, облитый кровью. Казалось, жизни уже не будет. И вот — прошло. Словно и не было ничего. Да и в самом деле не было... А если и было, то лишь для того, чтобы сильнее прочувствовать такие вот вечера.

Микола вздрогнул, в нем что-то восстало против этих ее слов, но тут же успокоилось. Он подумал, что она хочет объединить этот вечер и все последующие вечера с их прошлым, но объединить, не обидев при этом их вчерашнего дня и взяв из него только то, что годится для дня сегодняшнего, и если он будет предан ей, она подарит эти вечера ему. Но она, конечно, не возьмет ничего из того, что несет в душе он. Клара об этом не сказала, может быть, и не думала, однако он душой уловил именно этот смысл. И его мысль неожиданно перекинулась на тех, кто уже никогда не узнает таких вечеров. Он не понимал, откуда это взялось, и даже испугался. Он отделен ото всех, и мертвых тоже, остался как бы без берега. И никто его не возьмет к себе в лодку, он будет барахтаться, пока не утонет. А сам он... протянул кому-нибудь руку? Взял к себе в лодку?

Лихорадочно искал в памяти и не находил. И вдруг... Он не понял, к чему клонит его это воспоминание, но все равно начал рассказывать.

— Был у меня на фронте товарищ — Поликарп. Сидели мы с ним как-то в землянке, кашу разогревали в печурке. А у него в ботинке гвоздь вылез, ногу царапал. Тогда Поликарп поставил ботинок на чурбак, взял за дуло правой рукой автомат и как стукнет по подошве. А автомат — трах, выстрелил. Хорошо еще хоть одиночным, а не очередью. Пробило ему ладонь навывлет. Поликарп побледнел, кровь хлещет из руки, а он на меня смотрит. «Это же, говорит, трибунал». И в самом деле, как докажешь, что это не самострел. Он так разволновался, что, казалось, свихнулся. Насилу я его немного успокоил. Перевязал, а потом говорю: «Молчи и не показывайся начальству на глаза. Пока не заживет». И — обошлось. Я за него в наряды ходил и в караул... Пока наконец не зажило. А он все божился: «По гроб жизни помнить буду...» Только гроб его жизни настал через два месяца.

— К чему ты это? — отодвинулась от огня Клара.

— К тому,— упрямо сказал он,— что тот гроб мне предназначался. Взводный послал меня по воду, а Поликарп вскочил вместо меня. Немецкий снайпер его снял — в разрушенной мельнице, гад, сидел. Та пуля мне законно предназначалась.

— Дурак ты, и дурацкий твой разговор,— сказала Клара, делая вид, что не понимает или не хочет понимать истинного смысла, какой вкладывал в свои слова Микола.

А он действительно сожалел, что вместо него погиб Поликарп, но в его рассказе чувствовалось еще и такое: вот кому я мог бы рассказать все, вот кто понял бы меня и разделил мое горе без злости и корысти. В его душе внезапно вспыхнуло раздражение, он еще раз, и уже, кажется, в последний, убедился, что его беда никогда не станет Клариной бедой и страдания свои он не разделит на двоих. А ведь начала разговор она сама. И как-то так, что он уже подумал, будто в Кларе что-то зашевелилось, будто она пожалела его в этот тихий вечер, стараясь облегчить его боль.

Уже в хате он высказал ей все. Быть может, впервые в жизни. Она выслушала спокойно, очевидно, потому, что знала все и так, и сказала холодно:

— Ты опиваешься отравой, какую сам же и разводишь... Ну, что ж, опивайся, если ты такой дурной. А мне ее не подноси... Я тебя от смерти спасла? Спасла. А это — твое собственное. Я не поп и не бог...— В тоне, каким произнесла это Клара, он уловил угрозу. Хотя на самом деле никакой угрозы не было, а только раздражение его самобичеванием, которое, как ей казалось, Микола мог прекратить.

— И не прокурор?

— Не прокурор,— решительно сказала, став посреди комнаты со сложенными на груди руками.

— И никогда не скажешь прокурору? — захохотал он тяжелым, каким-то безумным смехом.— Или только до поры до времени?

У нее в мыслях вертелись какие-то слова — это он видел по глазам, по огонькам, которые вспыхнули в них,— он считал, что отгадал эти слова: «От тебя зависит, придет ли такое время»,— но она ничего не сказала. И не могла сказать. Она уже не знала, как ей быть. И не была такой жестокой, какой он представлял ее себе. Просто она не понимала его беды и страданий, ей

виделась во всем этом какая-то нарочитость, может быть, даже наслаждение от самоистязания, а возможно, и упрек ей (за что — не знала), и она сердилась на Миколу. Она совсем иначе смотрела на мир, даже не хотела замечать все те черные крылья, что неотступно висели перед Миколиным взором. Клара хотела жить. И к чему все эти воспоминания, и крики, и слезы? Прошло — пусть не возвращается, и нечего выдумывать себе всякие беды. Достаточно настоящих и прошлых. А он, дурень, этого не понимает.

Клара возвратилась в комнату, зажгла каганец и долго возилась у посудника.

А он сидел за столом с тяжелой головой, потом поднялся и через другую дверь вышел на крыльцо. Опустился на старую скрипучую скамеечку и невидящим взглядом уставился в ночь. Вдруг он почувствовал запах маттиол. Сладковатый, даже терпкий, — цветы посеяла еще весной мама. И сразу же Микола вернулся к тому, что только что произошло. Он, в который раз, подумал, что не освободится от своих страданий никогда. Что и надеяться не на что. Неизвестно только, сколько еще выдержит душа. И даже сам удивился этим холодным рассуждениям, похожим на приговор. Удивился потому, что недавно все представлялось ему несколько по-другому. И вечер, что так хорошо начинался, напомнил те далекие вечера. Чего бы только не отдал за них, за минувшие!

И снова ему казалось, что ничего не изменилось. Он был когда-то, и он есть ныне. И в селе ничего не изменилось. И такое же, как всегда, небо.

А может быть, пойти и покаяться. Отыскать искупление в наказании? Ибо нести на себе такой огромный камень уже не хватало сил. Казалось, он погружается под его тяжестью в землю и смотрит только в землю. Но перед кем каяться? Перед законом? Нет, только человек может освободить человека, и не наказанием, а чуткостью и щедростью собственного сердца. А у него такого человека нет. Брат?.. От одной мысли о Лаврине ему стало тяжело. Мать? Да, только мать. Она ближе всех, кто был, есть и будет на свете. Вроде бы и не помнил материнской нежности, да и сам не чувствовал к ней щемящей любви, но есть что-то другое, высокое, смыкающееся где-то над ним, и слово «мать» живет там, рядом с такими словами, как добро, совесть, долг,

честь. Он понял, что хоть мать и ушла от них и редко заходит, а он все время как бы чувствует ее взгляд, ее мысль, ее тревогу, и его собственная тревога идет от него к ней и связана больше всего именно с матерью. Что тогда произойдет с ней? Ведь это и ему будет пережить труднее, нежели смерть. Выходит, и перед ней он не может покаяться. Мать не должна ничего знать,— решил он уже окончательно, в последний раз.

Она приходила сегодня, чтобы поддержать его и защитить от Клары. Видимо, она о чем-то догадывается, но не до конца. Нужно как-то увести ее от этих мыслей.

Скрипнула дверь, на крыльцо вышла Клара. Постояла минуту, послушала, как поют девушки, зевнула.

— Идем уж,— сказала, словно ничего не произошло. И он не мог понять, действительно ли она забывает все в одну секунду и не таит против него зла или же это преднамеренный хитрый ход.— Заливаются как,— послушав девичье пение, снова проговорила Клара.— Парней зазывают. И я когда-то такой была. Все ждала...

И не уловить, сожалеет она о чем-то или утешается тем, что уже нашла свое.

14

Микола и Клара завтракали. Он достал соленые огурцы, приготовил «юшку». В селе все ели на завтрак «юшку» либо толченку — вареную картошку, и Микола привык к этому, а Клара съела две ложки и отодвинула тарелку:

— Надоел мне этот суп.

Микола пожал плечами: «А что поделаешь! Мяса нет, а чтобы покупать его в городе на базаре, нужно десять таких зарплат, как моя. Да и... Кто сейчас в селе живет лучше? Еще повсюду развалины, еще везде зияют черные провалы, и кто знает, когда их залатают». Поджав губы, Клара отвернулась. Она умела так поджимать губы, словно думала о чем-то своем, а на самом деле это касалось и его.

Клара в самом деле рассердилась. Ее раздражала и эта похлебка, и то, что Микола рано разбудил ее да еще и хочет, чтобы она прибирала в хате, а сам будет возиться с этим дурацким колодцем. Раздражал ее и сам Микола, с его крестьянской манерой есть, и то, как ложку несет, как вытирает рот после еды, как выставляет в ряд тарелки на посуднике, везде и во всем придер-

живаясь порядка. Это у него, наверное, с детства, она помнила, как он и в госпитале, выздоравливая, добровольно ходил на кухню колоть дрова, и переложил там печь, и поставил скамеечки под березами, тогда ей это нравилось, а теперь видела, что все это — ерунда, что жить Микола не умеет. И, вероятно, не научится никогда. Нет в нем этого... размаха, что ли, нет того, что помогает некоторым людям хорошо прожить, — легкости, практичности...

Отложив ложку, Клара крошила пальцами хлеб. Она подумала, что Миколин страх уже никогда не пройдет. Сначала она надеялась, что возьмет его в руки и поведет за собой куда захочет. Вот так — встряхнет, высмеет и перекует на свой лад. Теперь начинала догадываться, что души не перековываются. Они легче ломаются. А если и перековываются, то совсем не так, как она хотела и надеялась. О том же, чтобы искать выход вместе, добиться какого-то равновесия, не думала никогда — ни прежде, ни теперь. Она вообще не собиралась забивать себе голову подобными хлопотами, — вышла замуж, чего же еще? Клара надеялась взять то доброе, что осталось в душе Миколы, сломить его гордость. Но вся его душа ушла в страдания, в какой-то бред, который она все чаще замечала, доброта стала наказанием, прежняя гордость — тяжелой тенью прошлого, и все это куда-то падало, и кто знает, к чему могло привести. Это не столько пугало Клару, сколько вызывало досаду и раздражение. «Ну, какого лешего! — думала она. — Так повезло... Жить бы и жить, плевать на все... О, как бы мы могли жить! Будь бы на месте Миколы кто-то другой!»

И тут ее мысль остановилась. Кто знает, каким бы был другой. Да и откуда тому, другому, взяться? В эти минуты Кларе даже становилось жаль себя, казалось, что судьба посмеялась над ней, обманула ее. Может, она поторопилась, может, не следовало ей хвататься за Миколу, стоило подождать еще кого-то... Впрочем, где они все? Сколько их осталось? И сколько в городах и селах баб — и моложе, и красивее ее. Вот и здесь, в Чистых Лозах... На свадьбе ей показали Галю, бывшую Миколину любовь. Клара вынуждена была признать — Галя красивая. Что-то смутное почувствовала она тогда: и любопытство, и снисхождение, и даже страх. Но бояться ей нечего, Миколу она удержит. Он прико-

ван к ней навечно. Стало быть, нет возврата к той, прежней. Просто... придется немного крепче взять Миколу в руки.

Клара подумала о своей матери. Она часто вела мысленные споры с ней. Мать прочила ей плохое замужество, считала ее несерьезной, вечно гоняющейся за парнями и не умеющей этого скрыть.

Клара не любила мать, однако не могла не признаться себе, что было у матери нечто такое, что заставляло уважать ее. Жизнь не баловала ее, хотя родители матери жили зажиточно. Единственную свою дочь отдали учиться в институт, но она его не окончила, отчислили как дочь кулака (позже, когда их раскулачили, она совсем отреклась от семьи). Все же сумела выйти замуж за преподавателя математики, который под ее нажимом вскоре поменял математику на торговлю, и до самой войны они жили богато и счастливо. О тех временах в Клариной памяти сохранилось многое: парикмахер, который приходил на дом, прачка, крепдешины и шляпки, патефон и песенка «У самовара я и моя Маша». Не растерялась мать даже во время оккупации, когда отец погиб, умудрилась вторично выйти замуж за какого-то не то завбазой, не то заведующего базаром. Клара ее и осуждала за это, и уважала.

Ей было любопытно, как бы посмотрела на ее замужество мать, но об этом говорить не приходилось, поскольку они почти не поддерживали родственных отношений. Очевидно, не одобрила бы и скорее всего посмеялась бы. Эта мысль вызвала у Клары еще большую злость, и она резко ответила (мысленно) матери, что не все в ее жизни плохо, что она взяла себе мужа, который у нее под каблуком и к тому же красивый, работающий... хотя, может быть, и не очень смекалистый. Но это она наверстает сама.

Позавтракав, Микола оставил посуду немытой, а сам пошел к колодцу. Щебенки наложил еще вчера, теперь всыпал в лохань полмешка цемента, налил воды, сделал замес. Разогнулся и немного передохнул. В саду, на ветке старой, с засохшей верхушкой яблони, сидела иволга, настороженно поворачивая то влево, то вправо сизую голову. Миколу нравилась эта птица, может, потому, что трудно было найти ее гнездо, может, оттого, что прилетала из леса и чаще всего пряталась в зарослях сада, откуда несло ее чистое, чуть тягучее пение.

Отдохнув, Микола высыпал в форму три ведра раствора, досыпал полведра щебенки и, схватив дубовый кол, начал трамбовать. Кол глухо бухал по цементу, гудела форма, дребезжали затворы на ней, тяжело и часто дышал Микола, медленно и грузно, как медведь, двигаясь вокруг будущей трубы. За этим рабочим шумом он не слышал шагов позади себя. Обежав его со спины, Куприян Голик остановился по ту сторону формы. Он был чем-то встревожен, круглое лицо удлинилось, стало зеленовато-серым, губы и веки нервно подергивались. На Миколин немой вопрос Голик вытянул шею, схватился обеими руками за форму, нагнулся вперед:

— Клещ!

Микола не сразу сообразил, какое известие принес ему Куприян. А когда понял, тоже очень испугался.

— Где?

— В кладовой третьей бригады. Тонн двести... Рожь шевелится... Как живая...

Забыв вытереть руки, Микола бросился к воротам. Голик поспешил за ним.

— У меня лошадь,— скороговоркой бросал он,— Взял в бригаде... чтобы, значит, быстрее. Хотя... и спешить некуда. Что мы сделаем? Двести тонн!

Микола схватил вожжи, хлестнул ими гнедую, пузатую, с белым пятном на шее кобылу. От неожиданности та вскинула задом, рванув повозку. Микола хлестнул второй раз, третий, и гнедая помчалась так, что повозку качало, словно лодку на волнах. Микола подумал, что надо бы ослабить чересседельник, а то Голик подтянул его слишком высоко и кобыле тяжело бежать, но некогда было останавливаться.

Они быстро добрались до места расположения бригады. На холме под соснами стояли три колхозных амбара, один из них, крайний слева, был временно отдан для заготзерна. Голик открыл амбар, они пошли между двумя рядами узких, побеленных мелом закромов. Рожь лежала за широкой, через весь амбар, деревянной перегородкой, почти под потолок. Микола взобрался на закром и посмотрел на рожь. Она действительно шевелилась, словно живая. Без шума, без шелеста, казалось, зерна ворочаются сами. Миколу почудилось, что у него на голове зашевелились волосы, а по спине текут холодные змеистые струйки пота. Он не видел ни-

каких клещей, перед его глазами просто пошевеливалось зерно, и от этого становилось еще страшнее.

Он вскочил на настил.

— Все? Пропало? — спросил и не узнал своего голоса.

— Его еще можно провеять. И сразу отправить. Только ведь двести тонн, — почему-то шепотом ответил Голик. — Нужно переносить через весь амбар. Нам не под силу...

Микола долго молчал, уставившись взглядом в за-
кром. Вдруг поднял голову.

— А веялки есть?

— Есть. Там они, возле колхозных амбаров. Четыре или пять.

— Езжайте, Куприян Иванович, созывайте людей, — приказал Микола. — Только быстро. Скажите, заплатим хорошо. Я свои деньги отдам... Нужен бы еще брезент...

— Брезент в колхозе тоже есть.

— Тогда не будем тратить время!

Микола сам не знал, откуда взялась у него такая уверенность и решительность. Но план в голове сложился быстро. Через минуту он уже тянул из колхозного амбара крепкий авиационный брезент и расстилал его на траве у запасных дверей. Затем взял топор, попробовал расшатать и вытянуть штыри, на которых держались навесы. Он возился долго и безуспешно. Вбитые в дуб, штыри не поддавались. Микола сломал топор, взял в бригаде ломик, но так и не мог ничего сделать. И как раз тогда подошел глухонемой Дронь. Первый из тех, кого прислал Голик. Высокий, худой, длиннорукий, неуклюжий и сильный, стоял и улыбался деревянной улыбкой. Наконец улыбка его стала осмысленной, глаза вспыхнули огнем — веселым огнем разрушения, он молча выхватил из рук Миколы лом, заложил между косяком и штырем, уперся левой ногой в плаху и потянул лом на себя. Заскрежетало железо, штырь вылетел из дырки. Через минуту Дронь вырвал и нижний штырь, огромные темные двери амбара заскрипели, поехали на него, он отскочил в сторону и толкнул их ногой. Двери с грохотом повалились, оголили белые сосновые доски, которыми был заложен проем дверей изнутри. Дронь оглянулся на Миколу, тот одобительно кивнул, и он воткнул лом между досок. Рванул на себя,

средняя доска треснула, Дронь ударил еще раз, она переломилась, и на расстеленный брезент хлынуло зерно.

Вскоре подъехал Голик, привез веяльщиков. Развернулся и поехал на станцию за мешками. Веялки поставили на краю брезента и начали засыпать зерно. Микола со страхом и надеждой смотрел, как оно текло по желобку в ящик. Набрал в пригоршню, поднес к глазам,— оно было чистое. Тогда только почувствовал, что отлегло от души, спало напряжение, исчез страх. Он носил коробки с рожью, крутил ручку веялки и все делал в таком темпе, что никто не успевал за ним. А потом перешел в кладовую и стал пересыпать овес, освобождая место для ржи.

Мешки с рожью носил Дронь. Он брал по два мешка, взваливал на широкие плечи и нес, ступая ровно, легко, будто забавляясь. Его лицо вообще ничего не отражало. Микола подумал, что лица глухонемых большей частью какие-то одеревеневшие, но то лица глухонемых от рождения; Дронь же потерял речь и слух на фронте после контузии. Его призывали осенью сорок третьего года, но провоевал он всего три месяца. В начале зимы сорок четвертого уже был дома. Неизвестно, кто впервые высказал такую догадку, но вскоре в Чистых Лозах прошел слух, будто Дронь только притворяется глухонемым, а на самом деле все слышит и может говорить, что он обманул военную медицинскую комиссию и теперь вынужден будет притворяться бог знает до каких пор. Ох, говорили, и хитрющий же этот Дронь. И кто мог подумать, что он такой актер. Но чего только не сделает с человеком страх. Правда, актерствовать Дроню не так уж трудно, поскольку и до войны он был не очень разговорчив, девушки говорили, что в свои холостяцкие годы, провожая кого-нибудь из них, он, бывало, за вечер и слова не вымолвит. Тайна Дроня почему-то всех интересовала. Кто-то якобы слышал, как Дронь кричал в хлеву на корову, еще кто-то видел, как он разговаривал с женой, а кому-то, мол, даже удалось подслушать пение Дроня. Много раз его пытались внезапно вызвать на разговор, писали ему на бумажке, что война давно окончилась и, дескать, довольно притворяться. Дронь только пожимал плечами и вытаращивал глаза, вроде бы ничего не понимал. И вот этим летом, в жатву, Дронь скирдовал солому, а как-то в обед прилег в холодок под кустом полыни и уснул. Неподалеку

шла вспашка на черный пар, тракторист и прицепщик между собой поспорили все о том же Дроне-вом притворстве, тракторист отцепил плуги, вывел из борозды и направил «Универсал» задом на Дроня. То ли трактористу затуманила глаза водка — как раз был праздник маковей, то ли он сильно разогнал трактор, но успел затормозить, только когда прицепщик завопил не своим голосом и, закрыв лицо руками, упал на стерню. Соскочив на землю, тракторист увидел, что тяжелый зубец левого заднего колеса повис в нескольких сантиметрах от головы Дроня. А тот спал, мягко шевеля во сне сухими, потрескавшимися на солнце губами.

Припоминая все это, Микола почувствовал, что завидует Дроню. В первую секунду удивился: чему завидовать? Дронь — глухонемой, к тому же еще и кособокий. И тут же понял: завидует его покою, уверенности, какой-то его внутренней опоре... Это чувство исходило еще и из того, что до недавней поры он принимал Дроня за товарища по несчастью: Миколу казалось, что тот ужасно терзается, а как же иначе, ведь столько лет притворяется... Теперь Микола готов был поменяться с ним судьбой и быть глухонемым, а может, и слепым, лишь бы только избавиться от своей непосильной ноши.

Микола отвернулся и старался больше не смотреть на Дроня. Они перевеяли рожь за два дня. Когда заканчивали, в небе запахло грозой, и работали до изнеможения. Где-то неподалеку бухало и громыхало, плотная синяя туча встала над лесом, она быстро ползла, точно какая-то диковинная птица со сломанным крылом. Качались вербы у дороги, полетела листва, пронеслось перекати-поле, побежали люди к селу. Микола запер амбар, однако не знал, что делать: переждать грозу тут или бежать в село. Дождя не было, а ветер набирал силу. Микола подумал, что туча может обложить небо надолго, и тоже побежал. Сначала дорогой, потом напрямик через скошенное поле. Ливень нагнал его у бывшей плотины. Казалось, небо вдруг разверзлось — и вода хлынула потоком, неистово зашумела в ивняке, зашипела на плесе, затарабанила в огородах, где еще стояла сухая кукуруза и подсолнухи. Микола спрятался под развилистой дуплистой вербой, втиснулся спиной в дупло, накрыл голову пиджаком. Гроза неистовствовала, буйствовала в полную силу. То и дело бухало и гремело, казалось, за рекой началась канонада. Внезапно Миколу резануло по

глазам и ослепило белое сияние, и в ту же минуту слышался страшной силы удар, что-то затрещало, словно верба раскололась надвое. А может, и в самом деле где-то рядом раскололось дерево, потому что в воздухе запахло дымом, и тяжелая давящая волна окутала Миколу. Он покачнулся, все еще с испугом посмотрел вверх. Ему показалось, что молния попала в вербу. Но верба стояла, огня не было видно. Дождь теперь шел волнами, валами, они катились вдоль речки. На какой-то миг дождь как будто утих, а потом снова раздался удар, да такой силы, что дрогнула земля под ногами и где-то недалеко заревели коровы. Опять потоками хлынула вода. Микола почувствовал, что боится грозы. Пришло в голову, что третий удар должен попасть в ту вербу, под которой он стоял. Мысль о собственной смерти испугала его. А ведь сколько раз думал: вот если бы какая-нибудь страшная случайность — и конец всему. Уснуть и не проснуться. Или попасть под поезд. Чтобы в один миг. А еще лучше — смерть от молнии. Одна-единственная вспышка, и — вечная тишина.

Ему стало жутко от мысли о такой тишине. Подумал о матери. Представил себе, как она стоит над его гробом... И уже не понять: мать его жалеет или он ее... А значит — и себя!

«Кто же я такой? — прошептал страдальчески. — Да для чего же я все еще живу?..»

Он ясно понимал жуткое несоответствие — чувствовать вину за смерть других людей и дрожать за свою ничтожную жизнь. Не нужную никому, даже ему самому. Нет, конечно, не совсем уж никому. Матери... Лаврину... Кларе — по расчету...

Он знал, что это не все... Может быть, нарочно только их назвал... Ему была приятна сама мысль, что о нем бы жалел еще кто-то. Этим человеком была Галя.

Тут же он подумал, что, должно быть, это не случайность, что именно сейчас он очутился так близко от нее. К тому же есть и предлог зайти. А что ж тут такого? Его захватила гроза, он зашел просушиться.

И ведь понимал, что это все глупости, что если ему хочется зайти, то не нужно искать повода. Решение созрело, и, хотя что-то в душе останавливало его, он вышел из укрытия. Дождь немного утих, но гроза не стихала, и вокруг стоял сумрак. Еще с огорода он увидел огонек в хате.

Дверь была не заперта, он вошел в сени и на минуту задержался. Стряхивая с пиджака воду, стучал сапогами, предупреждая, как и водится, что идет кто-то чужой. И только теперь понял, что делает. Как это случилось? Откуда появилась такая дикая мысль? Уже хотел было повернуть назад, но ведь его уже могли заметить в окне, и только поэтому, сдерживая биение сердца, нажал щеколду.

Переступил порог, на него повеяло чем-то родным и в то же время незнакомым, а взгляд старался охватить все вместе, и оттого ли, а может, от волнения долго не мог сосредоточиться на чем-то одном. На столе стояла лампа-семерик, реденький свет растекался во все стороны, едва освещая середину комнаты и оставляя в тени углы, пол и полаты.

Галя стояла у небольшого столика, что-то помешивая в маленькой кастрюльке, видно, собиралась кормить малыша, только что выкупанного,— светлые волосики были еще мокрые, а на полу чернело влажное пятно и стояло ведро с мыльной водой. Мальчик сидел на кровати, вцепившись ручонками в металлические прутья. Увидев незнакомого человека, мальчик, которому было годика три, перестал трясти спинку кровати и с любопытством, без страха, впился в него взглядом, Галя тоже смотрела на Миколу.

— Я на минутку... переждать дождь,— опережая какую-то ее мысль, сказал Микола.

— А если и не на минутку,— сказала она, и едва заметная улыбка проплыла по ее губам.— Ты так давно не был в этой хате.

— Давно,— сказал он и огляделся.

Кажется, тут все по-старому. А может, и изменилось... Потускнели лики святых в углу под марлевой накидкой с бумажными цветами, потемнело лицо Шевченко, поблекли картины — казак с девушкой у колодца и вечерний плес. В хате у Грицьков все было обыкновенно, по-деревенски, но что-то напоминало и о городе — этажерка с книгами около окна, диван с высокой спинкой, те же картины.

Микола сел на диван. Галя кормила малыша прямо из кастрюльки, он хлебал свою молочную кашу, а сам не сводил с Миколы любопытных глазенок. Они у него были темные, словно бусинки, а чубик над ними — белый-белый. Точно солома.



И внезапно Микола почувствовал, как у него защемило в груди, он даже на миг закрыл глаза. Боже, как ему хотелось ребенка! Вот такого белобрысого мальчишку... Который бы улыбался ему, называл папой, не слушался... Это уже однажды было с ним. Недавно зашел к соседям, разговаривал, а к нему неожиданно влез на колени точно такой же карапуз. И защекотал за ухом пухлым пальчиком, и, сам того не ведая, разбудил в Миколином сердце что-то такое, отчего пересохло в горле и тяжело стало дышать, и он прижал малыша так, что тот испуганно вскрикнул.

И теперь вот во второй раз та же тревога в душе. Только это чувство еще нежнее, еще тоскливее. Он бы его... Он бы возился с ним день и ночь. Отдал бы ему все. Он бы в его глазах стал человеком, жил так, чтобы сын никогда не почувствовал за него стыда.

И тут его больно уколола мысль: а если бы он узнал о том, прошлом? Что было бы? Так, может быть, и лучше, что у него нет ребенка. Нет такого белобрысого... Такого вот чуда, из-за которого хочется зарыдать.

Мать всегда сердцем чувствует, когда на ее ребенка смотрят с искренней любовью. Наверное, Галя была и удивлена, и обрадована тем, как Микола глядит на ее, чужого ему, ребенка. Она уже в мыслях не видела себя вместе с Миколой, тем более ей было приятно: выходит, осталось в нем что-то от того, прежнего, доброго Миколы. Боже, как он смотрит на Тарасика! Странно, но, вспоминая потом, она поняла, что именно эта минута окончательно переломила его.

Микола пытался выглядеть равнодушным, даже суровым, а сам то и дело посматривал на Тарасика, на Тарасика и на нее, и ей было очень хорошо в эту минуту... Никто никогда не смотрел так на ее сына и на нее, мужчины в селе глядели как-то иначе, она не раз угадывала в их глазах чувственное влечение, поэтому сторонилась всех, те считали ее гордой, обиженной в своей гордости и деланно неприступной. Микола же смотрел совсем не так. В его глазах были приветливость и тепло, тихая печаль и скрытое сожаление.

Галя прошла к посуднику и остановилась, не зная, как быть. Может, Микола замерз и нужно предложить ему рюмку, а может, наоборот, этого не следует делать, чтобы не подумал чего-то такого... Почти все, куда устремлялась ее мысль, казалось ей запретным. Она стояла растерянная, машинально переставляя на полках стаканы и чашки. И была такая по-домашнему беззащитная, незнакомая и близкая — в поношенных туфлях, перешитой из военной гимнастерки кофточке, — что у Миколы сдавило сердце... Что-то странное творилось с ним. «Неужели она из-за меня не вышла замуж? — еще раз подумал он. — Ведь рассказывала мать, что сватался к ней и учитель, и механик из МТС». Ему хотелось знать, это было очень важно для него. Хотя... и неизвестно, что принесло бы. Потому что при этом его жизнь и приобретала смысл... и как бы теряла его.

Тем не менее мысль эта грела и волновала его. Было до боли приятно думать, что она, Галя, так долго ждала его. Может быть, и теплилась в ее сердце нежность к тому... к отцу Тарасика, но забыть Миколу не смогла. А может, полюбила по-настоящему и разлюбила? Впрочем, какое это имело теперь значение, когда он видел, что их сейчас связывает нечто незримое, и что оба они понимают и чувствуют это, и такое их состояние мучительно и дорого обоим.

Он ощутил горечь утраты, понял, что Галя жила в нем всегда.

Они оба не знали, о чем говорить. Да и понимали — слова ничего не значили. Микола пришел, чтобы увидеть ее. А она была рада этому.

Галя снова рассказывала о школе — кто из учителей остался, кто новый, вспоминали бывших одноклассников. Потом он постоял у кровати и поиграл с Тарасиком. Он не знал, как с ним играть, просто не знал, что понимают дети в таком возрасте, и поэтому даже немножко побаивался малыша.

Вместе с тем он все время чувствовал, что сегодня сделал нечто такое, о чем раньше и думать не мог. Испугался, что его могут увидеть здесь, что по селу пойдет молва и навредит Гале. Только о Кларе в то время он не вспомнил ни разу.

Смущаясь и не зная, что ему сказать еще, Микола попрощался и ушел.

Галя проводила его до наружной двери хаты. Микола на миг остановился на пороге, почувствовал, что его переполнило волнение. Хотел подавить его и не мог. Оно было сильнее его. Он видел, что Галя тоже разволновалась, махнул рукой и быстро зашагал со двора.

Долго стоял на берегу, смотрел, как проясняется небо, как появляются на нем первые звезды, как поднимается от земли пар, и было грустно и хорошо.

На следующее утро Миколу вызвали в район. Он приехал десятичасовым поездом, посидел на совещании в заготзерне, потом зашел в райисполком, в автоколонну, а когда собрался домой, был уже третий час. На двухчасовой поезд он опоздал, и теперь нужно было искать попутную машину или подводу.

Уставший, голодный, он пошел на базар, надеясь найти там кого-нибудь из земляков. Его односельчане всегда останавливались в начале базара, сразу же за лотками; Микола долго бродил среди повозок, но не увидел никого из Чистых Лоз. Торг закончился, людей было немного, оставались только те, кому нужно было сделать покупки в магазинах или зайти по каким-то делам в районные учреждения. От нечего делать Микола поплелся в дальний конец огромной базарной площади, потолкался у полуразрушенной церковной стены, где раскинули свои палатки гончары, понаблюдал за группой мужиков, полукругом сгрудившихся около ведра, куда они вылили несколько литров денатурата, долили литр кислоты, которая должна была «осадить» денатурат, и теперь с философским спокойствием ожидали конца «реакции», после чего можно пить спирт, а пока — курили, толковали о сегодняшней торговле, о погоде. Потом Микола свернул на узенькую базарную улочку, где стояли старые, еще дореволюционные амбары и магазины — с узенькими зарешеченными окнами, с металлическими гармошками дверей, которые замыкались огромными замками внизу у самого порога. Он уже миновал последнее длинное складское помещение, как вдруг увидел между двумя палатками гнедую, с белым пятном на шее кобылу. Он удивился и был не совсем уверен, та ли это кобыла, а когда подошел к телеге, узнал сидящих к нему спинами Куприяна Голика и Клара. Микола еще больше удивился: ведь ни Клара, ни Голик не собирались сегодня в город. Неясное подозрение шевельнулось в нем. Увидев Миколу, Голик засуетился, соскочил с повозки, а Клара покраснела. На повозке была расстелена промасленная газета, а на ней горой лежали какие-то пирожные или пирожки. Сморщенные, жирные и, должно быть, еще горячие, потому что от них шел пар.

— Ешь,— сказала Клара.— Я только что купила. Куприян Иванович дрова привозил, и я к нему пристроилась.

Микола взял один пирожок, попробовал кусочек и, не удержавшись, откусил почти половину. Пирожок был очень вкусный.

— Что это такое? — спросил он, запихивая в рот вторую половину пирожка.

— Пончики с мясом,— сказала Клара.— А бывают с повидлом. Те — еще вкуснее.

На газете их лежала целая гора. Наверно, они стояли бешеные деньги, только Клара могла себе позволить такую роскошь. Но как согласился тратить вырученные за дрова деньги Куприян?

И вдруг: «Он бы повесился, а не дал рубля из выторгованных за дрова денег на пончики. Это не за дрова. Это...» — в один миг его мысль стянула крепким узлом несколько разрозненных догадок, несколько подозрений. За что Клара купила новую кофточку и два отреза на платья? И желтые немецкие туфли? И почему Куприян поставил повозку тут, а не на площади, как все люди? И почему суетится?

Микола все понял. Бросив под ноги в грязь недоеденный пирожок, он протянул к Голику руку:

— Ключи.

— Какие ключи? — вроде бы непонимающе захлопал желтыми веками Куприян.

— От амбара и кладовой. Больше я вам их не доверяю.

— Нету... Они дома...— пробормотал Голик, понимая, что возражать бессмысленно.

Клара сидела, покусывая полные, жирные губы. В ее глазах вспыхивали черные блестящие огоньки, лицо побледнело. Голик отошел в сторону, понадеявшись на старое, как мир,— «муж и жена...», но Микола не стал разговаривать с Кларой, повернулся и ушел, бросив через плечо:

— Мне еще нужно в исполком на совещание.

Он шел, а в висках стучали невидимые молоточки — и удушливая волна сжимала грудь.

Не зная, что делать, куда податься, он долго стоял на мосту, под которым, меж голых бревен, текла мутная речушка. Ехать домой не хотелось еще и потому, что предстоял очередной трудный, жесткий разговор с Кларой.

Тропинкой, что тянулась по косогору, он вернулся на базар, купил бутылку самогона и пошел к давнему знакомому — Веселику, который не раз приглашал его к себе. Его вела затаенная мысль, какое-то приглушенное чувство.

Веселик был дома, он работал станционным милиционером и дежурил через день. Жил он у пожилой вдо-

вы, снимал клетушку, прилепленную к старому кирпичному домику. Это был небольшой человечек с широкой залысиной, с глазами навывкате, с носом как клюв, с коротким туловищем и несоразмерно с ним длинными руками. Судьба посмеялась над ним, прицепив ему такую фамилию, потому что на самом деле Веселик был человек угрюмый, даже слезливый. Жизнь у него сложилась неинтересно: женился на молодой красивой официантке из станционного ресторана, она гуляла, открыто и нагло изменяя ему, он пошел в приемы к продавщице из ларька старше его лет на пятнадцать, сварливой и подозрительной женщине, державшей от него все под замком, даже еду, придиравшейся к каждой мелочи, наконец он ушел и от нее и поселился здесь.

Они нажарили яиц: Веселик принес еще бутылку, и засиделись до полуночи. Веселик напился и слезливо рассказывал, как застал свою первую жену с офицером, как нашел за печью пачку писем, посланных до востребования, еще от двух любовников, он упивался своими неудачами и бедами, находя в этом утешение, и Микола, слушая его, внезапно понял, что именно привело его сюда, — он теперь чувствовал себя хорошо только среди людей несчастных, он искал их, и, хотя сам не раскрывался перед такими людьми, чужие несчастья словно отогревали его, это были костры, у которых ему только и было тепло.

Спал он долго — даже не слышал, когда Веселик встал и, оставив ему записку, ушел на дежурство. Позавтракав в чайной, Микола снова пошел по делам: доставать триер да выбивать наряды на вагоны, чтобы вывезти на мельницу перевеянную рожь.

Когда Микола проходил по центральной улице Шевченко, он заметил объявление о районной конференции учителей. Может, еще и поэтому он остался в городе; ведь Галя говорила об этой конференции, и все это время Микола помнил о ней. Словно вспыхнула искорка в потухшем костре, и вдруг с радостью и страхом он понял, что уже давно живет ею, что, возможно, это его последняя светлая надежда.

Было около двенадцати часов. Конференция начиналась в девять...

Он зашел в парк и долго ходил по глухим дорожкам над прудом, наблюдая, как мальчишки ловят рыбу. Ему видна была отсюда улица Шевченко и районный

Дом культуры с красным полотнищем, на котором белели слова приветствия учителям. Увидев, что участники конференции начали выходить, он направился им навстречу. Вскоре все вышли, а Гали не было; тревожно забилося сердце, когда вдруг он увидел ее с двумя незнакомыми ему учительницами и она увидела его. Галя сбилась с шага, подошла к нему. Они постояли у металлической ограды, потом через калитку вошли в парк. Микола не знал, догадалась ли она, что он ожидал ее тут, как школьник, наверное, догадалась, но это не имело значения, не пугало его и то, что их могли увидеть вместе. Очевидно, не смущало это и ее, она обрадовалась этой встрече. Они не знали, куда и для чего идут, но, казалось, могли так идти бесконечно. Она рассказывала о конференции, где только что объявили перерыв, заседать они будут еще два дня, живут в гостинице. Он тоже что-то говорил о своих делах. И они улыбались друг другу.

Микола ощутил, как что-то вернулось к нему, и было это более значительным, нежели когда-то. Его пугало это чувство, но Микола и боялся потерять его, почти ощущая неизбежность такой потери. Казалось, что этой встречей он как бы еще и проверяет что-то в себе, выверяет самую возможность обновления, а может, и жизни. Одно знал твердо — не обычной любви, не любовных утех искал он, а чего-то другого, загубленного или утраченного. Он хотел ее видеть, хотел говорить с ней. О чем? О прошлом? Да, и о прошлом. Только — о чьем прошлом? Ее? Его? Их общем? Что ему мог дать этот разговор?

Этого он не знал. Но чувствовал сейчас в себе и в ней какую-то вещую силу, которая одна только может его спасти. Да, она может и убить, уничтожить, а может и спасти, потому что это самая большая сила в мире, слепая и всепобеждающая, самая большая тайна, которая равна, а может быть, и выше двух других — тайны рождения и смерти.

Галя же чувствовала собственную неприкаянность и незащищенность. Она ожидала этой встречи — старалась избежать ее и готовилась к ней. Вероятно, это началось тогда, когда она поняла, что у Миколы с Кларой счастья нет, что он помнит о ней и носит в сердце прежние чувства. Она не собиралась отбивать Миколу у Клары и потому не думала о каких-то легкомысленных

встречах. С болью в душе воспринимала она несправедливость того, что произошло у нее с Миколой, хотела убедиться, что это ошибка, а не злонамеренная обида, нанесенная ей...

Она знала силу своего чувства и боялась отдаться ему. Воспитанная, как и почти все другие девушки села, в уважении к обычаям, она ощущала, как что-то круто восстает в ней против них, и даже ловила себя на том, что могла бы переступить эти условности, если бы переступил он. Точно не знала, но предполагала это...

Они прошли парк, вышли на широкую глухую улицу, и внезапно он остановился у старого деревянного домика. В одном из окон его была устроена фотовитрина. Микола стоял и смотрел на свадебные пары — по большей части сельские, где жених обязательно с бумажным цветком на фуражке, а невеста в венке и лентах, смотрел на местных красавиц с выщипанными бровями (пошла такая мода), на молодых офицеров и солдат в парадной форме с напряженными лицами.

— Помнишь? — спросил он.

Галя, задумавшись о своем, сначала отрицательно покачала головой, не понимая, почему Микола здесь остановился. Но вдруг в памяти высветился другой день и другая витрина, да, конечно, в том же окне. В последнюю предвоенную весну они, участники сельской самодеятельности, приезжали машиной на районную олимпиаду и фотографировались тут. У одной из девушек, Лиды, были часы, и все они фотографировались с этими часами, фотограф был лишен фантазии, он всех их усаживал в неудобной позе, со сложенными под подбородком руками...

Именно такую фотографию подарила Галя Миколу, ее он носил с собой всю войну. Ребята тоже фотографировались в этом домике, — их лица были чересчур серьезные, сосредоточенные, слишком взрослые. Только чудаковатый Ленка Скачко выпал из этого ряда, согласившись надеть черный костюм с длинными полами, белый жилет с цепочкой, широкополую шляпу с лентой (все это фотограф давал клиентам напрокат), да еще и принял позу, какую посоветовал мастер, — отставил ногу и облокотился на бутафорскую колонну. Ребята потом посмеивались над этой фотографией, а девушки хотя и хохотали, но подолгу на нее засматривались: Леня и в самом деле имел вид очень пышный.

Но только один снимок — фотографию Гали — хозяин домика увеличил и выставил в этом же окне. Для девушек и парней из Чистых Лоз, да и из других сел, это было вроде всеобщего признания Галиной красоты, признания, с которым уже никто не мог спорить. И Микола вспомнил, что в душе гордился этим. Однако Галю это не столько обрадовало, сколько напугало, и на следующей неделе, приехав в город, она пошла к фотографу и стала просить снять ее фото с витрины. То ли боялась чьей-то зависти, то ли усматривала в этом плохую примету, но тревога ее была настоящей, и лысый фотограф после долгих горячих просьб должен был уступить.

Теперь с витрины улыбались другие девушки, нынешние, но сидели они точно в тех же позах, как и те, довоенные, и так же с часами на руке.

Миколу захотелось проверить, работает ли сейчас тот же фотограф, он приоткрыл обшарпанную дверь и заглянул в фотографию. Мастер был другой — молодой, с буйным начесанным на лоб чубом. Наверное, он просто перенял «секреты» от своего предшественника.

Они отправились дальше. Взглянув на Галю, Микола заметил, что ее обычно бледные худые щеки густо залиты краской. Сначала он подумал все о той же фотографии, но, взглянув ей в глаза, понял, что она думает о другом. Ведь они шли... по той же самой улице.

...Они тогда долго бродили по городу. Так долго, что уже не решились идти в гостиницу, и он предложил ей переночевать у дяди. Его дядя — директор техникума механизации — был человек весьма строгий и уважаемый в их селе, да и во всем районе, старый партизан и красный командир. Галя тогда очень смутилась, даже испугалась и все спрашивала: как они могут пойти к Степану Михайловичу, что он подумает?! Но Микола ответил, что дядя Степан добрый и умный человек, он все поймет, потому что идут они «не просто так... а серьезно», и скажут об этом дяде и тете Мокрине, скажут им первым, а уж потом, возвратившись домой, расскажут родителям и родственникам. Галя испугалась такого неожиданного решения, разволновалась, ей казалось, что в этом случае они начнут жизнь как-то не так, как полагается, что Микола делает это от безумства весенней соловьиной ночи. Они свернули с этой улицы и проблуждали по городу до утра. А когда возвратились в

село, так уж вышло, что Миколе пришлось уехать на экзамены, потом они отложили женитьбу на конец лета, а там началась война. Галя не раз вспоминала эту улицу и жалела, что они свернули с нее.

Она и сейчас думала об этом: можно ли пройти по этой дороге дважды, можно ли на ней найти утерянное когда-то. Чувствовала, что к ним что-то возвращалось, пусть не все — всего возвратить невозможно, и все же на душе было хорошо — замечала кротость в Миколе, ощущала свою силу, — это как бы расплата за измену. В течение нескольких лет она жила этим воспоминанием, этим и другими, и мечтала о том, как они встретятся с Миколой и будут вместе вспоминать годы войны, годы их юности...

А потом пришла мучительная весть о Миколе. И она невольно начала смотреть на свою жизнь как бы со стороны. И первая, и вторая любовь принесли ей разочарование. И хотя душа не столкнулась с гадостью и грязью, она знала — третьей любви не будет. Ее муж (они не были расписаны, он не развелся официально с первой женой) видел в ней только ее красоту. Со временем она поняла, что он не любит ее, просто хотел иметь красивую жену, но поскольку вокруг было немало других красивых девушек, а к ней он уже привык, то и дальше продолжал свои похождения. Он был мелочным, из тех людей, кто жаждут побольше урвать наслаждений и рвут яблоки, забравшись в чужой сад. Тогда она была уверена, что все в ее жизни кончилось. У нее есть сын, и жить она будет только для него; ей казалось, что ей изменили дважды, на искренность и честность ответив низостью. Это ей долго не давало покоя, и она пришла к выводу, что нельзя отдаваться влечениям сердца, нужно жить разумом.

Но сейчас она вдруг почувствовала, что та, первая, любовь не до конца растоптана, что это — трагический приговор судьбы. Микола женился на Кларе по своей доброте, в оплату за спасенную жизнь. Конечно, обидно ей было думать и об этом, но любящее сердце умеет прощать, хоть рассудок продолжает судить сурово и безжалостно. Это была тяжелая борьба, и началась она с того дня, когда Галя впервые увидела Миколу после возвращения. Всю ночь она проплакала, убеждая себя, что ненавидит его. Она желала разлада в его семье, а когда вскоре убедилась, что согласия там и нет, стало



стыдно за свои чувства, но в то же время ей было хорошо. И уже настоящая радость всколыхнула душу, когда Галя убедилась, что Микола любит ее, как прежде.

Она не задумывалась над тем, что будет дальше, и только уловила, что эти ее чувства могут стать опорой в жизни.

Глухая улочка вывела их за город, они остановились на пригорке. Перед ними желтело жнивье, ровной лентой пролегла дорога, вдали синел лес. Лес возле их

села. Их лес. Сейчас они чувствовали, как много у них было «своего». В тот лес веселой гурьбой ходили весной пить березовый сок и после сладкого сока, убежав от остальных, до головокружения целовались. Собирали грибы и, как дети, резвились на высоких, прицепленных к тонким соснам качелях. У них там было даже свое место.

Галя посмотрела на часы. Пришло время возвращаться.

— Ты смогла бы в воскресенье прийти в лес? — спросил Микола. — На наше место?

Она ничего не сказала, и он понял, что она придет.

Микола проводил Галю до площади, а сам той же улочкой вернулся назад и пошел полем. Ему хотелось побыть одному. Он узнавал урочища, где когда-то пахал, косил, скирдовал, вспоминались веселые или грустные истории, происходившие с ним, и Микола словно на самом деле возвращался куда-то и оживал душой.

Долго шел полем, а затем дорога повернула вправо вдоль леса. Над самой дорогой росли молоденькие сосенки, позади них, метрах в двухстах, поднимался старый сосновый бор; стояла ветреная погода, и оттуда долетал сухой приглушенный шум. Микола вслушивался в этот лесной шум, и душа наполнялась тревожной радостью. Внезапно его взгляд упал на ровную, четко очерченную поляну на краю леса, и что-то красное промелькнуло посреди поляны меж молоденьких березок; казалось, встрепенулся огненный язычок и угас, а потом снова возник, но уже не угасал. Еще не появилось никакой мысли, никакого чувства, а сердце вдруг упало и опять покатило куда-то в бездну. Это была братская могила, обыкновенная братская могила, каких так много оставила война. В Чистых Лозах была большая братская могила, в городе тоже, и сегодня он дважды прошел мимо нее, но почему-то именно эта заставила его сердце болезненно сжаться. Может быть, потому что она у дороги... Тоже у дороги. И в ней... Сколько похоронено в ней? Трое?.. Нет, четверо... Четверо... А там трое.

Микола закрыл глаза, не хотел, и все же вспомнил тот мостик и место недалеко от него, пытался даже представить себе могилу. Наверное, там теперь тоже обелиск. Нет, ничего не получалось. И он раскрыл глаза, возвращаясь мыслью в сегодняшний день.

Кто они, эти четверо? Пехотинцы, танкисты или летчики,— говорят, где-то здесь в сорок третьем году был аэродром. А может, разведчики? На могиле цвели астры. На одной из них сидела бабочка. Она едва-едва шевелила крылышками.

Микола вновь почувствовал проклятие памяти. Она рисовала все так четко, так ясно, что боль поднималась резкая, глубокая, прошлое просачивалось живой кровью, и он вынужден был смотреть на мир сквозь густую багряную пелену. Прошное имело удивительную способность порождать живые тягостные картины будущего... То он получал письма от жены Шкурко, то встречался с матерью Желая... Она заходила во двор — именно такой, какой запомнилась из короткого рассказа Желая — высокая, прямая, с губами, сурово сжатыми, садилась на лавку, складывала на груди сухие руки и начинала расспрашивать о сыне. Прежде всего — почему он не написал, как погиб ее сын? Ведь он был последним из тех, кто видел его. Еще и пообещал Морозову написать родным о смерти каждого из трех разведчиков.

Микола чувствовал, что не смог бы ей сказать неправду. А может, и сказал бы... Но что бы это было... для него! А еще ему представлялось, как встретилась мать Желая с Павлиной. «Твой сын... моего сына», — слышался жесткий, как шелест усохшей листвы, шепот. После этого его судили. Судила выездная сессия суда в Чистых Лозах.

Воображение рисовало и картины суда, и даже отдельные лица, особенно Лаврина и матери, и он весь съеживался, содрогался. Он терзал себя этими картинами, забывая, что сказать правду могла только Клара, а она ничего не скажет.

Микола стоял у деревянного, выкрашенного в красное обелиска. И, как никогда, остро ощущал свою низость и ничтожество. О, если бы была возможность... сейчас пойти на что-то большое... Против пуль, против снарядов! Пойти, и чтобы все увидели... И понимал, что это совсем не то. Что на глазах у других может пойти на смерть и трус.

Сквозь эту пелену он вынужден был смотреть и на сегодняшний день, даже на недавнюю встречу с Галей. Последнее мучило его больше всего. Он боялся, что появившаяся голубая проталина — только обман зрения,

что на самом деле в будущем он не найдет никакого очищения, может быть, наоборот, приведет себя к последнему рубежу.

Его охватило чувство одиночества. Болезненного до слез. Только он, да поле, да лес... И некому молвить слова, и некому заглянуть в глаза...

И тут же подумал, что обманывает себя. Наоборот, он со всех сторон окружен людьми, все они словно стоят перед ним, и нет никого, кто бы мог защитить. И он тоже... с ними, с людьми... против себя. Микола на миг остановился, потом, тяжело увязая сапогами в пахоте, пошел напрямик к дороге.

16

Клары дома не было. В хате стоял беспорядок, было неубрано, но сегодня это не злило его. Когда Микола стоял у фотовитрины, ему вдруг показалось, что во сне ли, в бреду, или наяву он видел ту, Галину, фотокарточку в Клариных руках. Она рассматривала ее против света. Тогда он тотчас забыл об этом и только теперь вот вспомнил.

Открыв сундук, Микола достал пакет с Клариными фотографиями и документами, развязал тонкую, из парашютного шелка, веревочку. Тут лежали какие-то письма, и старые, теперь ненужные удостоверения — МОПРа и Красного Креста, и множество всяких других бумаг. Фотографии были вложены в несколько конвертов. Чужая жизнь: девушка в саду с собакой (Клара), полная красивая женщина с девочкой-подростком (тоже Клара) и маленьким мальчиком — на минуту пробудила в нем любопытство, но только на минуту, затем он перебирал фотографии, почти не рассматривая их.

Ему не пришлось долго искать. Из пожелтевшего конверта выпала та самая фотография. Вероятно, в одну из тех страшных ночей после ранения он и видел эту фотографию Гали в Клариных руках. А ведь он считал, что ее отобрали у него полицаи при обыске. Выходит, она осталась с ним, пробитая пулей. С самого края, по чистому полю. И еще одно поразило Миколу. На фотографии у Гали были выцарапаны глаза.

Он не мог понять, для чего Клара хранила ее. Как память? Но, очевидно, такое на память не берут. Из любопытства? Почему же ни разу не спросила о Гали-

не? И даже никогда не показала фотокарточку. Берегла, как доказательство чего-то?..

Скорее всего, именно так.

Кто же тогда он для Клары? Неужели ей достаточно постели и того, что они муж и жена? Пожалуй, нет. Не может она совсем не думать о нем! А впрочем... В то время, когда они встретились во второй раз, она уже знала мужчин. Но он ее об этом никогда не спрашивал, как и ни о чем другом, а она сама не любила рассказывать. Клара ступала по земле твердо, но так, чтобы не оставалось следов.

Микола знал, что Клара не всегда держалась за те черные вожжи, которыми привязала его. Иногда добытое таким образом счастье начинало казаться ей ненадежным, она боялась, что эти вожжи могут оборваться, и тогда она старалась быть внимательной к Миколу, надоедливо нежной, навязчивой, допытывалась, любит ли он ее, льнула к нему липкой жаркой любовью...

Он снова перевел взгляд на Галину фотографию. Зачем Клара испортила ее? И когда сделала это? След вроде свежий. Значит, она узнала Галю? И возможно, даже видела их вместе или кто-то рассказал ей, что он заходил к Гале. Нет, Клара бы тогда повела себя не так, впрочем, это его сейчас не очень беспокоило. Просто промелькнула еще одна черная тень.

Внезапно он наткнулся взглядом на карабин, стоявший в углу за кроватью. Карабин он получил, когда выдавали винтовки сторожам. Микола долго, отрешенно смотрел на карабин, но вдруг почувствовал, как по спине потекли холодные струйки и грудь сжалась в тяжелом предчувствии.

Пришла Клара. Микола приготовился к тягостному разговору, который — он был убежден — она начнет. А она вошла веселая, беззаботная, немного даже странная. Когда-то ему нравилась такая Клара. Непреодолимым натиском выбивала его из грустного настроения, так что он забывал обо всем и веселился вместе с ней. От нее пахло сильными духами и немножко водкой, она тихонько напевала незнакомую песенку.

— А мы пьесу ставим, — сказала Клара и неожиданно засмеялась. — Такую смешную. Там два парня перепутали своих девушек. Я играю одну из них — Тосю.

Микола подумал, что девушку Кларе играть поздно-вато, но пусть потешится, в конце концов, в этом нет ничего плохого, он и сам до войны ходил в драматический кружок и помнил, как там было интересно и весело.

Клара совсем разошлась, стала перед зеркалом, подперев руки в бока, и запела песенку о том, как темной ночью к девушке ходят два парня, а она не знает, кого из них выбрать; взъерошила Миколу чуб,— в этом чувствовался какой-то наигрыш, ведь между ними повисла эта ее поездка с Голиком в город и фотокарточка с выцарапанными глазами, которую Микола едва успел спрятать в сундук. Он хотел говорить так, чтобы слова летели, как тяжелые камни, ничего, пусть они бьют и его,— лишь бы все стало ясным.

— Клара...— дважды начинал он, но она будто не слышала.

Вдруг подошла к нему и еще раз взъерошила чуб, что тоже когда-то нравилось ему.

— Не нужно, не начинай,— сказала она.— Не хочу. Ну... случилось... Подумаешь. Больше не будет. Привяжи свою связку, как ключник, к поясу.— И резко, только она умела так неожиданно меняться:— У нас есть что-нибудь покушать? Я хочу есть. И не хмурься, не злись... Как говорил сегодня тот длинный учитель, он играет в пьесе обманутого любовника... Все — как с белых яблонь дым. И жизнь наша — тоже дым. Развеется, растает — вроде и не было ничего. Срывай яблочки, пока их не оборвали другие. Или не съели черви. Ты же у меня такой... Ты же мужчина! Настоящий мужчина! А настоящий ли — это может сказать только баба, женщина. Где-то у нас было вино, я спрятала, когда эти пьяницы приходили. Давай выпьем. Люблю я вино... Только чтобы не в одиночку.

И она достала бутылку красного вина и две рюмки.

А потом он лежал рядом с Кларой и думал. Он снова не чувствовал никакого отвращения к Кларе, к ее телу и ласкам. И все же с горечью подумал о том, как это, наверное, приятно — жить с любимой женой. Которая бы спала рядом и дыхание ее было бы радостным, потому что вся жизнь их радостная, счастье одного является счастьем другого, а горе одного — горем другого.

Но он понимал, что не имеет никакого права на та-

кое счастье. Что свое право на счастье, на любовь и ненависть он утопил в безумном страхе и отчаянии осенней ночью шесть лет назад.

17

Со следующего утра в их хате повеселело на несколько дней — к ним приехал погостить Кларин брат Костя, чубатый длинношей фезеушник, паренек четырнадцати лет. Он сразу же привязался к Миколу, ходил с ним на работу, помогал в амбаре, обо всем расспрашивал, всем интересовался и сам не умолкал, рассказывая о себе, о матери, об отчине, об их жизни в Кишиневе, и девушки, работавшие в амбаре, называли его трещоткой. Ему очень нравились Чистые Лозы, и тихая улочка, где стояла хата Власюков, и палисадник с поздними астрами. Но больше всего заинтересовал его новенький карабин в углу за кроватью. Он поглаживал его, осторожно оглядываясь на Миколу, брал в руки, прикладывал к плечу и, закрывая глаза, вероятно, представлял себя в строю. Он так просил Миколу разрешить ему пострелять, что тот в конце концов сдался и заложил в магазин новенькую с медным блеском обойму. Стрелять во дворе Микола не решился — сейчас в селе это запрещалось — и повел парня в погреб. Хотя погреб и длинный, первый же выстрел оглушил их. Микола хотел было отобрать карабин, но Костя с такой жадностью вцепился в затвор, что он только махнул рукой.

Они вылезли из погреба оглушенные, со слезящимися от пороховых газов глазами. Костя — счастливый, улыбающийся, а Микола суровый и задумчивый. Глухие удары выстрелов, запах пороховых газов невольно снова напомнили ему о прошлом. Пять вспышек, пять ударов по нервам... он едва выдержал их. В эту минуту ему хотелось взять карабин и изо всех сил трахнуть им о столб, разнести в щепки.

— Дядя Микола, — тронул его за плечо Костя, — вы много немцев убили на фронте?

— На войне не считают.

— А где вы служили?

— В пехоте.

— А в разведку вам не приходилось ходить?

— Не приходилось...

— Жаль, — вздохнул Костя. — Вот бы рассказали...

Все было как в ранней юности. Осенний, в багрянце, лес. Дикie лесные груши, траву под которыми густо устилали желтые переспевшие плоды; укрытые в зарослях грозди орехов на толстых и тонких, почти недосыгаемых орешниках. Груши стояли на лесных полянах среди дубов, берез и осин, а дальше кудрявился ивняк, густой и высокий, еще дальше — уже более низкие ивы, а за ними — широкие и необозримые луга, со скошенными травами, почерневшими стогами, печальными в эту пору, с желто-зеленой кромкой реки на горизонте. Все как в молодости: и терпкий вкус груш, и пригнутые ветки орешника, и собранный Галей букет листьев. Но они не остались здесь, на «своем» месте, ушли на опушку.

Стояли под березой, листья которой были похожи на старые медные монеты. Он легонько обнял Галю и подумал, что обнимает свое прошлое, на миг даже показалось, что так оно и есть на самом деле: молодая ночь, молодой месяц и оба они, молодые, над вечно молодой рекой, но сразу же понял, что это не так, — по гулкому биению сердца, по тревоге, шевелившейся в груди. Опять подумалось, что он не ценил прошлого, не ведал, что те дни окажутся самыми лучшими, что каждый нынешний день лучше будущих, а все дальнейшие будут хуже и хуже. Он считал, что был тогда просто легкомысленным — теперь же радовался бы каждой минуте.

— Мы тогда не умели любить, — сказал он.

— А разве можно уметь?

— Не то... Если бы знали... Любили бы как-то не так... сильнее. У нас была очень спокойная любовь.

— Это от нас не зависит. И говорить об этом нельзя.

— Почему?

— Кто его знает. Нельзя — и все.

— А я хочу.

— Не нужно, — сказала Галя тихо, но так, что Микола понял: об этом и в самом деле не стоит говорить.

Он посмотрел на Галю, встретился с ней глазами и отвел взгляд. Снова, уже в который раз, он подумал, что не знал ее до конца. Вот и сейчас: она вроде бы и не очень возражала, но в ее словах было столько убежденности и правоты! Эта убежденность шла из глубины ее существа, она готова была страдать, но поступиться

ничем не могла. Микола помнил, как она переживала, когда он сердился на нее,— она всегда хотела уладить ссору. И вообще была очень доброй, жалостливой, сочувствовала всем, плакала над книгами, и Микола не раз подтрунивал над ней, чувствуя себя выше и крепче. Галя не любила насмешек над калеками (всегда становилась на защиту горбатенькой Лиды, учившейся с ними в одном классе), чуточку верила в приметы, не раз говорила, что ее ожидает какое-то горе. Все это смешило его, особенно всякие пустячные загадывания: «Если эта птица сейчас сядет на тополь...», «Не говори таких слов, потому что это не к добру».

Галя не умела ссориться, но умела молчать и могла так посмотреть на обидчика, что тот терялся, сникал. Была тихой, а на посиделках, когда ребята вроде бы неумышленно гасили свет и начинали хватать девушек, ее не трогали, не решались.

В школе Галя была старательной, усидчивой, и это тоже удивляло, потому что обычно красивые девушки учились кое-как и рано выходили замуж. Галя же словно не надеялась на свою красоту, а может быть, и вправду хотела достичь чего-то большего в жизни. Отец ее — довольно мрачный, выучившийся грамоте сельский парень — дослужился на войне до подпоручика царской армии, потом стал красным командиром. В конце что-то у него не сложилось (говорили, что он даже угодил под трибунал, но не осудили), он отгородился от людей высоким забором, разводил пчел, выкармливал кабанчиков и не любил, когда к нему заглядывали. Вечно угрюмый и неприветливый, он держал свою Палажку Йосиповну в такой покорности, что та боялась рот раскрыть. В отцовской строгости (считал, что только так нужно воспитывать дочь) да в материнской покорности и росла Галя. Тянулась к книгам, к товарищам, а отец этому не потакал, наказывал, чтобы после школы шла прямо домой, ни к кому не заходила и никого не водила к себе. Она и не заходила, и не водила, потом он стал замечать, что, вроде бы слушая его, она поступает не совсем так, как велит он, переиначивает все по-своему, к тому же еще и материнскую вину или то, что ему казалось ее виной, берет на себя. Стал он также замечать, что ему порой становится стыдно перед дочерью и что в ее присутствии он и на Палажку Йосиповну уже не отваживается покрикивать. Несколько раз пытался побороть ее

тихое сопротивление, но это ему не удалось, в конце концов он махнул на все рукой.

Отец, хотя и не признавался в этом, любил дочку. Погиб он случайно и загадочно: повез в далекий городок на продажу яблоки и не вернулся,— поговаривали, что его убили бандиты. Галя очень переживала его смерть, видно, еще и потому, что не смогли они с отцом понять друг друга и потеряли на этом оба. Еще незадолго до отцовской смерти она начала догадываться, что отец тоже ищет ласки, старается сблизиться с ней, но делает это как-то неумело. В душе он гордился дочкой — умная и красивая, она это видела, но тоже не смогла сделать решительного шага.

Несколько раз Микола приходил к ним домой. Галин отец встречал его хмурым взглядом, но сквозь его постоянную угрюмость пробивалось любопытство. Микола боялся его. Боялся неожиданного вопроса, насмешки или же прямого, откровенного (знал, что тот способен был и на такое): «Так что ж это ты, жениться надумал?» Микола приходил к ним только по делу, с книжками и подолгу засиживаться у Грицьков не любил.

Все это вспомнилось сейчас Миколу. Как убегали они с Галей со двора, как бегали наперегонки к реке — она по тропинке, он огородами — либо шли в клуб и возвращались поздно вечером, рвали через забор тяжелую пахучую антоновку. Он подсаживал Галю и, опуская ее на землю, крепко прижимал к себе. Она не защищалась и не стеснялась, он касался грудью ее груди, твердой и полной, всегда волновавшей его до дрожи.

Оба они стыдились ласк и ждали их.

Память Миколы воскрешала все это, и он охотно вспоминал те дни; ему казалось, что и сам он воскресает вместе с ними. Гале же казалось, что после того, что произошло, им об этом говорить заказано. Ведь и у него, и у нее была другая любовь, а любовь вообще не разложить на слова, тут нельзя ничего ни объяснить, ни оправдать, и если они не забыли друг друга, то, значит, не забыли их сердца, и только на них они могут сейчас полагаться. И не нужно жалеть о том, что не сбылось,— это может разрушить будущее. Галя понимала, что любит его, но любит не так, как раньше,— это новые чувства, новая любовь (именно поэтому не хотела и боялась тревожить прошлое). Она видела, что он мучается, готова была ему помочь, хотела узнать причину его страда-

ний и разделить их. Она притронулась рукой к его виску, на котором среди пепельно-серых виднелось несколько серебристых волосков, сказала:

— Мы так мало жалеем себя.

Он неправильно понял ее слова и ответил:

— Не нужно жалеть себя. Это страшно... Расскажи... о себе. Как ты жила?

Она поняла, о чем он спрашивает. И молила его глазами не трогать этого. То было ненастоящее, хоть и есть сын, которого она любит. Но у нее, у него еще может быть... может быть так много — целая жизнь. Настоящая жизнь, настоящее счастье. Он не мог оторвать от нее взгляда, а где-то глубоко-глубоко шевелилась холодная игла, подавая знак, что это не для него. И это наполнило его мучительным безволием.

Галя все же рассказала ему все: как впервые преподаватель оставил ее после семинара, и она тогда ни о чем не догадывалась, как им оказалось по дороге, как потом он провожал ее много раз и только значительно позже она узнала, что он живет в противоположном конце города. Он казался ей умным и учтивым — он и на самом деле был умен, но это не делало его ни отзывчивым, ни добрым. Он ловко и едко высмеивал других преподавателей, рассказывал смешные истории — и все это было обманом, он просто был опытным ухажером, об этом она догадалась слишком поздно. Нравилось ей, как он легко, с удовольствием тратил на нее деньги, и опять-таки слишком поздно убедилась, что в сущности он был скрягой и эгоистом, любил только себя и ничего не жалел только для себя.

Потом Галя вдруг спохватилась, что чернит человека, которого Микола не знает, почувствовала неловкость, начала оправдывать своего мужа и, покраснев, тихо попросила Миколу рассказать о своей жизни. Им, очевидно, необходимо было высказаться друг перед другом. Но Микола знал, что не сможет сделать этого. Любовь требует только правды, искренности, он должен был бы сейчас открыть Гале душу, но как?.. Он знал, что Галя, возможно, примет его боль, но это будет так, как принимают нищего или впускают в дом большую покалеченную птицу. Для Гали он уже навсегда останется калеккой. Бывает, любят и калекку. Из жалости. Нет, он бы не согласился на такое. Кроме того, он знал, что у простой и

нелукавой Гали гордая и большая душа, что ей может нравиться только такая же душа, цельная и чистая. Солгать? И лгать весь век? И вот так жить?..

Все это было так страшно, что Микола содрогнулся. Казалось, он стоит посреди весенней реки и вокруг него ломается лед, а он не знает, что делать, и в отчаянии, в страхе выпускает из рук спасительный шест, и его уносит течение. С ним действительно произошло такое в детстве, тогда его спасли лесовозы.

...Осенний, в красном жару лес, широкая поляна с седыми отавами и улыбающаяся Галя. Женщина, подумал он, может простить измену только в одном случае — если эта измена ради нее. И то — не Галя.

У него на сердце стоял такой холод, что Галя почувствовала это, разволновалась, попыталась было выяснить, что с ним случилось, и он соврал, и не покался в своем обмане: дескать, болит сердце. Она поверила и не поверила, что-то ей подсказывало, что это особая боль. Она почувствовала, насколько он издерган, но боялась обидеть его своей жалостью. Она ведь помнила его беспечным, гордым, влюбленным в себя. Еще тогда чувствовала, что им в жизни придется нелегко, что у Миколы сила какая-то текучая, нестойкая, что жизнь легко клонит его на свои шелковые травы, а она тем травам не очень доверяла. Теперь ей казалось, что Микола в чем-то обманулся.

Они возвращались опечаленные, он — оглушенный этой встречей, она — озадаченная и встревоженная.

...Утро Седьмого ноября выдалось холодное, но солнечное. Все шли на шлях, к трибуне, на митинг. Шли хотя и не в колоннах, но весело, с песнями и музыкой. После тяжелых засушливых лет — первый урожайный год: выполнили и перевыполнили поставки, кое-что получили и на трудодни. Саливона Заику, председателя «Червонного шляха», где на трудодень выдали по полтора килограмма зерна, подвыпившие мужики по дороге к сельсовету то и дело подбрасывали вверх, — мелькали хромо-вые сапоги с белыми отворотами, и спадала шапка, Заика придерживал ее рукой, сердился и в то же время гордился. Прошел «Здобуток Жовтня», три гармониста впереди растягивали мехи трофейных аккордеонов, играли «Махорочку». Она хоть и не очень подходила к

сегодняшнему дню, но уж больно стройно они ее вели, эти три фронтовика. Промчала карьером «конница» — выдумка того же Саливона Заики — полсотни мальчишек верхом на конях без седел, за эту выдумку председатель «Червоного шляха» на следующий день получил выговор по партийной линии. Ребята подняли такую пыль, что не стало видно ни трибуны, ни оркестра, и чуть не перетоптали лошадьми людей, носились из конца в конец шляха, пока мужики не взялись за руки и не оттеснили «конницу» к пруду — и уже там спешили их, а некоторым из конников еще и надрали уши.

Микола пришел, когда пыль уже улеглась и люди подошли к трибуне. Стояли не тесно, а группами, оставив проход для тех, кто шел в колоннах: школа, МТС, засолзавод. На парнях шапки-кубанки — пошла на них мода, — красное и малиновое сукно, перекрещенное белыми полосами, на девчатах синие льняные платочки (меняли в кооперации на яйца), а надо всем этим, над трибуной, над праздничным гулом и пением развевались багряные флаги на белых новеньких древках.

Микола осматривался, не зная, где стать. Клара убежала сюда еще раньше, уже, наверное, запевала в какой-то группе, а он никого из своих, заготзерновских, не видел. Вдруг его позвали. Повернув голову, он увидел большую группу мужчин, стоявших на холмике возле трибуны. Это были фронтовики. Почти все — в военном, при орденах и медалях. Микола подумал, что ему тоже следовало бы надеть свои награды. У него три медали, полученные уже после того, как вышел из госпиталя в Ольховице. Еще был у него орден Славы, однако он сдал его вместе с документами старшине роты перед тем, как идти в разведку, а потом не вернулся в свою роту, разминувшись с однополчанами, писать же после всего, что с ним случилось, в Москву, в наградной отдел, чтобы прислали подтверждение, как это делали другие, не решился. Правда, Клара не удержалась и сказала на работе и соседям, что Микола награжден высшей солдатской наградой, и все думали, что этот орден у него есть. Все это было для Миколы еще одной черной ниточкой, которую не мог оборвать. Фронтовики позвали его к себе. Он подошел, все поздоровались с ним за руку и пропустили вперед. Он стал рядом с Данчуком, у которого три ордена Красного Знамени, и Губой, инвали-

дом на костылях, с двумя рядами медалей, «Звездочкой» и каким-то иностранным крестом. В центре группы вертелся Джмил, маленький юркий человечек, драчун и хвастун, уже под хмельком, он что-то доказывал, хватая слушателей за пуговицы пиджаков, кителей и гимнастеров. Говорили, что Джмил всю войну прослужил в ординарцах, но выдавал себя за боевого фронтовика, разведчика. Он и Миколу потянул за рукав, позвал в свидетели подтвердить, что немецкий шестиствольный миномет не завывает, а гавкает.

— Как Лихошапчин пес,— подтвердил Микола, и фронтовики засмеялись.

Они понимали, что Микола сказал это с насмешкой, лишь бы отвязаться от Джмил, а тот и сам засмеялся, обрадовавшись такому авторитетному свидетельству. Микола почувствовал себя настоящим фронтовиком, все-таки провоевал он не один день и месяц. Понимал, что стоит не на своем месте — на виду у всего села, среди самых уважаемых людей,— и все же в груди разлилось тепло, и он невольно расправил плечи, улыбнулся. Вот минута, ради которой стоило пройти все! Он просто не мог отступить, хотел прожить ее, как остальные фронтовики, забыть обо всем и, хотя бы на какое-то время, стать таким, каким должен был бы быть. А тут еще поймал Галин взгляд — короткий, вкрадчивый и все же направленный на него — и понял, что этот момент важен не столько для него самого, сколько для нее и для матери, стоявшей на крыльце магазина среди других пожилых женщин. Галя повела к трибуне девочку, что-то шептала ей на ухо, очевидно, та должна была выступать, и учительница в последний раз напутствовала и подбадривала ее. После Нечипоренко, председателя сельсовета, бывшего майора штурмовой авиации, выступила эта девочка — волновалась, кричала немилосердно. Микола видел, как волнуется за нее Галя. Волновался и он — было на редкость приятно стоять среди этих людей. Едва ли не впервые за последние годы он чувствовал себя счастливым.

Этот день для Миколы был как красная прострочка по черному крепу. Он вспоминал его часто, все отчетливее понимая, что во второй раз в этой группе стоять не сможет и второго такого дня, очевидно, не будет вообще. В тот день он впервые напился. Клара привела его домой и уложила в кровать.

После этого горизонт для Миколы сузился до размеров винтовочного дула. «Вот и конец». Он повторил мысленно эти простые слова несколько раз, именно так повторяет приговор обреченный на смерть, не осознавая слов, а вбирая только суть. Он остановился против зеркала и долго смотрел на свое отражение. Лицо его было бледным, глаза глубоко провалились, в них стоял немой крик боли. Да... Именно эти глаза не выдержали в ту далекую ночь.

В эту минуту он почувствовал внезапное облегчение. Ему показалось, что он рассматривает не себя, а кого-то другого, рассматривает спокойно, с презрением и ненавистью. И вспомнил... что когда-то любил смотреть на свое отражение в зеркале. Он тогда... любил себя.

Оглядываясь назад, на свою жизнь в последние годы, он увидел, что прожил ее, как в темнице. Попад в цепи собственной трусости, он сам соорудил темницу для своей души, и разрушить ее не было сил. Нужно было попробовать это сделать раньше... в самом начале, пока не пришли безнадежность и ненависть к себе. Он должен был признаться... пойти на крайнюю опасность и либо погибнуть, либо вытянуть из ужасной расщелины собственную душу. Не сделав этого, он уже не мог оправдаться, потому что на земле не было суда, который мог бы снять вынесенный им самому себе приговор, и не было людей, которые могли бы его простить.

Микола уже не метался. Невольно его взгляд снова упал на карабин, и по спине прокатился холодок. Ему припомнилось где-то вычитанное, что из винтовок стреляются, сбросив с одной ноги сапог и взяв дуло в рот. Он даже почувствовал на губах привкус металла, но и это не испугало его. Только какая-то тоска навалилась на сердце, опутала его колючей проволокой, и он растегнул воротник рубашки. В ту минуту на крыльце слышались шаги. В хату вошли Клара и Костя.

— Вот водила братишку женить, — хохотала Клара. — А он удрал. У Козленков были. А тебя где носило? — вдруг нахмурила густые брови. — Искали с работы... И дома... Кабан вон разрывается. Обед тоже не сварил? Ну, иди кроши лебеду. А ты, Костя, лезь в погреб за картошкой. Знаешь, где погреб? Это там, где выстреляли. Половину картошки попортили.

— Ты, Клара, не командуй, — сказал Костя.

Клара сердито посмотрела на него, и Костя отвернулся, а когда они с Миколой вышли в сени, прошептал: — Вы не слушайте ее. Она такая... зараза. Я это с давних пор помню. Я бы на вашем месте — в зубы ей...

Микола горько улыбнулся, взял обломок косы, которым резали лебеду, и пошел в хлев. Костя ему явно нравился. Жаль, что парень завтра уезжает.

19

В воскресенье вечером пришел Лаврин. Он, очевидно, знал, что Клара в клубе, нарочно выбрал такой момент — в последнее время ни разу не приходил при Кларе. Долго топал сапожищами по двору, несколько раз заглядывал в колодец, и Микола, почувствовав свою вину, сказал:

— Все некогда.

Лаврин промолчал. Только когда зашли в хату и он вынул из кармана побелевших от стирки военных брюк бутылку, а Микола поставил рюмки, проговорил:

— Оно, может, и не нужно спешить... — Выпил водку, понюхал хлеб, снова долго молчал. — Думал я, думал и с матерью разговаривал — надо тебе уходить от Клары. Все равно у вас жизни нет. Ты тянешь в одну сторону, она — в другую. То есть она — во все стороны. Гуляет твоя Клара. С киномехаником путалась, теперь какой-то старший лейтенант прилепился. — Лаврин снова налил рюмки. Он говорил буднично, как-то так, будто все уже решилось. — Я и не говорил бы тебе об этом, если бы... если бы не знал, что тебя еще тянет к Гале. И ее к тебе. Вам любовь на роду написана, паровались в молодости и теперь тоже. Не дуйся и не хлопай мигалками. Может, и не в свой огород лезу. Только ведь... У вас с Кларой все может пойти наперекосяк. Так что пока не поздно... Переходи к Гале. И мать так говорит... У Гали ребенок. Так ведь и ты же... не ангел. А мальчик хороший. Славный пацан. А Галя... Галя — баба что надо, — закончил почему-то грубо.

Микола молчал. Лаврин, разрезав на четыре части квашеный огурец, повел разговор дальше:

— Боишься людской молвы? А они скажут то же, что и я. Смеются в селе над Кларкой и над тобой тоже. Непутевая она. Может, не так? Может, я не то говорю?

Микола наклонил голову; Лаврину не видно было его глаз, но он видел, как напряженно сжались губы брата и как часто затрепетала у него на левом виске маленькая синяя жилка.

Лаврин догадывался, что надо бы что-то сказать, теплое, хорошее, но что — не знал.

Микола чувствовал себя так, словно сидел под дулом автомата. Что он мог сказать брату? Что к Гале ему дорога заказана — и это он понял окончательно при их последней встрече. Что прийти к ней он мог только чистым, Галя — это... и его совесть, и та первородная чистота, по которой не топают грязными сапогами.

А потом ведь... Даже сама будучи пойманной на измене, Клара не простила бы ему этой любви! Если бы еще просто так... если бы сходил к какой-нибудь молодке — и Клара узнала об этом, бесилась бы, царапала ему лицо, но на том все и кончилось бы. Может, уйди он от нее к Лаврину, она бы смирилась. Но смириться с тем, что он кого-то любит, что, живя с ней, любил другую все эти годы, Клара не сможет. Рассказала бы о нем всем, прежде всего Гале. Недаром выколола ножницами глаза на ее фотографии.

— Я люблю Клару, — вдруг сказал Микола глухо и даже содрогнулся от собственной лжи.

Лаврин долго смотрел на него, но ничего не сказал. Хотя сказать ему хотелось многое. Он просто не привык к таким разговорам. Ему вообще было неловко говорить с братом о таких вещах. Они допили водку, поговорили о том о сем, и Лаврин ушел. Лишь на пороге задержался на какое-то мгновение и с грустью посмотрел на колодец, который весной начали копать вдвоем и который теперь в нескольких местах зарос бурьяном.

А Микола стоял посреди хаты истерзанный и измученный. Лаврин нарушил то тяжелое спокойствие, которое начало было складываться в его душе. Та временная передышка не принесла ему никаких надежд, да и не могла принести, но так еще можно было жить.

Теперь он словно опустился в пропахший гарью погреб, из которого уже нет выхода. Он даже не думал о прошлом. Сразу отпала, оставшись где-то там позади, и нервотрепка, и проигрывание на разные лады все тех же событий, жил он теперь предчувствием того, что должно случиться. Постепенно приучал себя к этому. Что ж, рано или поздно всем суждено лечь под теми гон-

кими соснами. И что из того, что еще можно бы выпить столько-то ведер водки или не раз переспать с одной или с несколькими женщинами. И те, кто выпил одно ведро, и кто еще выпьет сотню,— все лягут туда...

Он уже почти беспрестанно думал о смерти. Хотя мир еще притягивал его своим вечным обновлением. Он, проживший столько лет среди этих деревьев, трав и птиц, мог внезапно забыться и засмотреться на одинокую, по-осеннему голую и тревожную ветку. Он видел ее будущее пробуждение: с ним ли, без него — а она весной зазеленеет. Он только теперь понял, что прежде слепо проходил мимо этого. Большей частью он эти ветки рубил на дрова, а травы косил. Впрочем, нет, и сеял, и растил. Не замечая, однако, тайны рождения и созревания. Он не мог уйти от мыслей о наказании за прошлое. Оно еще не пришло, однако он был уверен, что придет обязательно. И смотрел на это глазами матери, Лаврина, Гали.

В такие минуты чувствовал, что уже давно лишился последнего наслаждения — упоения страданиями: «Какой я жалкий, я самый несчастный из всех людей на земле!» Он вынужден был вечно притворяться, и поэтому никто ничего не замечал. Никто, кроме Клары, но она в это время отдалась другому, это было какое-то сладостное безумство,— казалось, что оно пришло к ней в последний раз, и она боялась его упустить. Старший лейтенант интендантской службы приезжал к ней почти каждый вечер, забирал ее в город, откуда она возвращалась где-то в полночь, а Миколу врал, что была в клубе, у подруги или еще где-то. Микола опускал голову, и она не могла не видеть, что он ей не верит. Это ее немного пугало, но она успокаивала себя тем, что старший лейтенант скоро уедет, все кончится, и кончится, наверное, навсегда, и она начнет жить по-другому.

Миколу все это почти не трогало, хотя он даже как-то встретил по дороге в город виллис, а в нем офицера в кожанке и Клару. Микола отошел за дерево и переждал, пока они проедут. Все чаще он приходил к выводу, что только одно может принести ему освобождение. Смерть висела над ним, он начинал привыкать к ней, и постепенно притуплялись те ощущения, с которыми он впервые неожиданно подумал о ней. Пугало лишь то, что последует за его смертью. Слезы матери, тяжелая дума Лаврина и еще страдания Гали, которая, не поняв слу-

чившегося с ним, может принять что-то на свой счет. В который раз, вернувшись со станции домой, он отрешенно брал в руки карабин и выносил его на свет... Из дула словно веял осенний ветерок. Микола ощущал это веяние на лбу, становившемся холодным, будто к нему приложили кусок льда. И думал: вот так и будет — холодное веяние ветра, и все... Он для чего-то кладал затвором и опять ставил карабин в угол.

20

Тем временем мучила его и еще одна неизбежная встреча. Он знал, что должен обязательно увидаться с Галей. Он пережил это в душе несколько раз, и все воображаемые встречи были не такими, как бы ему хотелось. Все они были... щемящими, вызывали слезы, ибо чувствовал, что отчаянно любит Галю. Он знал, что слова «мы не должны больше встречаться» не объяснят ничего. Он не желал, чтобы Галя видела в нем труса или обманщика, как уже было однажды. Он хотел, чтобы она знала о его любви, помнила о нем всегда — плакала по ночам, жалея его, — чтобы знала, что он только ее по-настоящему любил и помнил, что он понял это, испытав все терзания, какие способна вынести живая душа. Если бы... Он упал бы перед ней на колени, он бы отдал ей все, вместе с жизнью. Но это невозможно. Как все получается глупо и жестоко! Что она будет думать о нем? Кем он останется в ее памяти?

Он подкараулил, когда она вечером возвращалась из школы, и пошел рядом. Уже стояла осень, маленькие колючие снежинки вырывались из седой мглы и таяли у них на лицах. Галя весело скользила по льду, а он горько улыбнулся несоответствию этого ее настроения с тем, что должен был ей сказать.

Он молчал, пока они не свернули в глухую узенькую улочку, на которой стояли всего четыре хаты и которая вела вниз, ко двору Грицьков.

— Галя, я долго мучился... — сказал он. — Но должен сказать: я не могу принести тебе счастья.

Она словно споткнулась обо что-то, а может, и на самом деле споткнулась, потому что взмахнула руками. Повернула к нему лицо:

— Именно мне?

— Никому. А тебе прежде всего.

Теперь она испугалась еще сильнее. Испугалась за него, ведь понимала: если он не может принести никому счастья, то причина в нем самом. И это совсем не просто. С тоской подумала: все-таки лучше, если бы он мог принести счастье хоть кому-нибудь. Она не знала, в чем дело и нужно ли об этом спрашивать, но ощутила глубину его страданий, и у нее заняло сердце. Она попыталась взять его за руку, но он испугался, что не удержится.

— Если можешь, поверь в одно — все это выше моих сил. Что же касается тебя — я ни в чем не виноват.

Микола круто повернулся и пошел, оставив в темноте взволнованную и растерянную Галю.

Начиная с этого дня он немного успокоился. Исправно ходил на работу, хлопотал по хозяйству, даже сделал две трубы для колодца. Трубы можно было опустить, но приходилось ждать до весны, пока оттает земля. Он начинал себя чувствовать человеком, который больше не зависит от других и может жить только собой, которого не интересует, что с ним произойдет в будущем или что о нем скажут. В глазах его исчез страх, а на губах иногда даже появлялась улыбка, он перестал избегать людей, даже стал ходить в клуб — в кино. И, только внимательно приглядевшись, можно было заметить в его глазах ожидание, говорившее о том, что он неудержимо куда-то идет и что дорога эта недолгая. Успокоилась вдруг и Клара. Возможно, уехал старший лейтенант или перегорело что-то в ней самой, а может, впервые, заметив перемены в Миколe, захотела приблизиться к нему. Была тихой, внимательной, а он ничего не говорил и равнодушно принимал все это, по праву человека, который знает то, что неведомо другим.

21

Солнце еще не взошло, только рыжее пятно расплывалось на востоке над вековыми соснами. Микола запряг Ведьму — гнедую, с белым пятном на шее кобылу, прозванную так за ее шельмоватый нрав. На складе никого не было, ночной сторож, он же и конюх, Нечипор Гусочка, уже ушел домой. Микола сам не знал, почему у него вдруг возникло желание поехать за сеном, — просто вчера вечером неожиданно подумалось о зимней дороге вдоль леса и о высоких стогах на лугу. Хотелось

отплатить за горлачи молока и куски сыра, которые Дарка через день приносила им в хату. Да и не хватало теперь Миколе какого-то дела, работы, из амбаров уже вывезено почти все зерно,— чем тут заняться, а дорога почему-то неодолимо звала его. Не колеблясь больше, Микола стал на полозья и хлестнул кобылу.

Снег был не глубокий, еще недели три назад дорогу укатали, и теперь кобылица легко, почти без принуждения, шла широкой рысью. Микола проехал Здорин клин — летние пастбища, дальше дорога шла вдоль леса, сначала соснового, а затем смешанного. Потом — повернула в лес и петляла среди деревьев километров шесть, пока снова не вывела его на дальние луга — в Горелое. И тут, уже при выезде, Микола заметил перемену погоды — задул резкий, порывистый ветер, кружа над землей сухой колючий снег. Еще с полчаса Микола ехал вдоль леса навстречу все усиливающемуся ветру, дувшему с севера, с бесконечных болот, которые у них в селе называют галами. Их и косят только до реки, а дальше осока стоит некошенная, как будто медная, чуть ли не звенит на ветру. Здесь никогда не косили даже в старину, потому эта местность и называется Вольная, травы плохие, да и вывезти их никак невозможно. Сейчас уже не было видно ни Вольной, ни Крутиуса в ивняках — серая колючая мгла заслонила горизонт.

Микола подъехал к стогу. Сложили они его летом вдвоем с Лаврином. Стог довольно большой, саней на пять, трогать сверху нельзя, такие стога забирают обозом, сразу до дна. Микола принялся брать сено с подветренной стороны. Оно улеглось, приходилось его выдергивать, на вилы набиралось мало, и класть тоже было трудно, ветер рвал сено из-под ног. Микола вспотел, пока грузил сено, а когда оглянулся — ничего не видно вокруг, такая вьюга разгулялась. Это встревожило Миколу. Решив, что слишком загружать сани не следует, он двинулся в обратный путь.

Дорога тянулась вдоль леса, и, хотя ее уже замело снегом, Микола вряд ли мог отклониться от нее. Вскоре он повернул в лес, теперь ветер дул в спину, и сразу стало легче.

Домой Ведьму подгонять не приходилось. Микола уже немного остыл, даже начал мерзнуть, но было ему хорошо. Может быть, от сознания, что обрадует Дарку,

которая жаловалась, что сена осталось всего на одну неделю. А может, сама по себе работа радовала. В последнее время он старался полностью отдаваться любому делу, лишь бы уйти от своих тяжких мыслей.

Как это ни странно, он теперь смотрел спокойно на свое будущее, как будто уже все было решено. Но и сейчас не мог с уверенностью сказать, знает ли себя до конца. Как, впрочем, не знает себя любой человек. И все-таки кое-что о себе он уже знал твердо. И жалел, что оказался не таким, каким считал себя когда-то.

Раньше он убегал от этих мыслей. Но теперь больше не боялся себя. И думал о себе как о ком-то постороннем. Понимал, что этот путь начинался издалека. Почти с детства. Если бы однажды не сбился с пути, затем во второй, в третий раз, возможно, выстоял бы и в ту, трудную минуту. Если бы признался в шестом классе, что вырвал из классного журнала страницы он, а не Рыбаченко. Если бы сумел дать сдачи Женьке Скалиевому, а не побежал жаловаться Лаврину. Если бы в грозу, когда убило на Здорином клину корову, не бросил стадо и не убежал домой...

Собственно, все сводилось к тому, что он не мог преодолеть в себе страх. Потому что всегда был человеком слабым, нерешительным, боязливо измерял и взвешивал перед поступком каждый свой шаг. Другие люди как бы наперед знают, что в трудные моменты нужно, не оглядываясь, оттолкнуться от берега и бороться с течением. Они к нему заранее не присматриваются.

Вьюга продолжала бушевать в лесу. Пробудившись от своих тяжелых мыслей, Микола заметил, что он до сих пор так и не доехал до обгоревшей липы. Она стоит на пригорке, дорога возле нее раздваивается, обегая ее с обеих сторон, и не заметить ее он просто не мог. Микола оглянулся — место показалось ему незнакомым, санный след тянулся позади него одиноко и тревожно. Не похожа эта дорога на ту, какой он ехал к Вольной. Там на кустах лещины и на дубовых ветках висели пучки соломы, а здесь нет, та петляла, а эта была прямой и ровной. Он понял, что это просека. Выбежав вперед, он взял Ведьму под уздцы. Кобылица остановилась. Однако куда ему теперь ехать? Назад? Но след уже замело. Да и сани развернуть он здесь не сможет. Микола потянул за уздцы. Наконец путь пересекла дорога,

он повернул вправо, как ему казалось, в сторону села. Но в скором времени и эта дорога разошлась на три узкие и ухабистые, он выбрал среднюю, поехал по ней. Ведьма прошла немного и остановилась. Микола потянул за уздцы, но она не тронулась с места. Он зашел сбоку, ударил сложенными вчетверо вожжами, кобылица даже ухом не повела. Он взял в руки кнут. Однако Ведьма протащила сани еще с сотню шагов и опять остановилась. Оставив сани, Микола прошел немного вперед. Лес да лес, какой-то незнакомый, чужой, возможно, он забыл его за эти годы или не мог распознать в снежной круговерти... Он вернулся назад, не зная, что делать дальше. Страх не было, только усталость навалилась на плечи, усталость какая-то мягкая, теплая, хотелось пристроиться под деревом, присесть на корточки, отдохнуть. А может, лучше влезть в сани, зарыться в сено? А Ведьма? Она наверняка замерзнет. И для него этот сон тоже будет без пробуждения. Может быть, это и хорошо? Заснуть, чтобы не проснуться? Но что-то в нем сопротивлялось, восставало, боролось. Однако, кажется, впервые в жизни он не ощущал страха.

Микола выпряг кобылу, забросил упряжь в сено. Ему вспомнились еще довоенные рассказы о том, как волы и лошади приводили в село тех, кто сбился с пути. Привязав к уздечке вожжи, он хлестнул Ведьму. Та неохотно сдвинулась с места, прошла немного по снегу и снова остановилась. Он понял, что лошадь никуда его не выведет. Тогда он отвязал вожжи, взял в руки повод и двинулся в белую неизвестность. Он чувствовал страшную усталость и какую-то ломкую теплую слабость, веки у него слипались, снег больше не таял на лице, он сгребал его пальцами. Теперь он старался идти так, чтобы ветер дул лишь с одной стороны, справа.

Микола не помнил, сколько шел так. Не раз ему казалось, что силы покидают его, что он вот-вот упадет и уже больше не поднимется. И когда дорога вывела его на широкую поляну и Микола узнал знакомые дикие яблоньки и сливы, он уже через силу переставлял ноги. Это были далекие лесные хутора — до села от них километров пятнадцать, перед войной их снесли. Где-то в глубине памяти вспыхнуло вдруг, что чуть дальше есть еще один хуторок, который почему-то не снесли, и в селе говорили, что старая Выюничка живет там с дочкой до сих пор.

Микола едва добрел до присыпанной снегом, вросшей в землю хатки...

Павлина села на лавку, огляделась. В хате не замечено, окна занесены снегом, на подоконнике стоят немытые миски. Стекла обледенели, Клара, очевидно, не топила со вчерашнего дня.

— Клара,— сказала Павлина, и слезы невольно подступили к глазам.— Куда ты девала Миколу?

Клара не ответила, она сидела за столом перед зеркалом, расчесывая волосы. Это Кларино спокойствие, это пренебрежение к ней, матери, а значит — к Миколе и ко всем им, больше всего раздражало Павлину.

— Куда он делся? — строго и отчужденно спросила Павлина.

— Понятия не имею,— ответила Клара.

Она и вправду ничего не знала о Миколе. Этим показным спокойствием просто хотела скрыть неуверенность. Сначала, когда Микола не пришел вечером домой, Клара удивилась. На следующее утро рассердилась, а затем встревожилась. Разгадка могла быть одна — Микола убежал. Оставил ее, а сам уехал куда-то в Сибирь или на Донбасс и уже никогда не вернется. Она вспоминала Миколу, особенно в последний год, и что-то вроде бы открывалось ей, и уже подступала не злость, а раскаяние. Она не поняла его мучений, не понимала их и сейчас — какая там вина, разве он поступил умышленно, разве желал горя тем троим, да забудь о них, живи, как другие люди, и все бы сложилось иначе. Ну зачем ему было так раздирать свое сердце? Сколько бед, сколько трагедий выпало людям, жить бы теперь и жить, так нет, выдумал что-то и казнил себя. Да, казнил, она теперь это видела, хотя и не могла до конца постичь его страданий и понять, что и сама достаточно виновна перед ним. Она не знала, что ей теперь делать в этой хате, среди чужих ей людей...

Вот и Павлина. Она, наверное, хорошая мать, только еще и вроде как прокурор или судья. Кого она судит? Ее? Миколу? Обоих вместе? Ей хотелось закричать, вытурить старуху из хаты, а та в это время, поднявшись, шагнула к столу.

— Клара, что он наделал? — спросила она тихо.— Скажи... Пусть я его прокляну или пожалею. Скажи — что?.. Или такое, из-за чего и пожалеть нельзя?

Клара вскочила со стула и закричала:

— Чего вы прицепились ко мне? Что вам нужно? Ничего он не сделал. Слышите, ничего!— И, сразу сникнув, тяжело опустилась на стул и сказала уже совсем другим тоном:— Выдумали вы все, мама. Нет на нем греха. Идите и никому не говорите таких глупостей.

И словно сама почувствовала какое-то облегчение от этих слов.

...Когда Микола возвратился домой, Клара ничего не сказала ему ни о своих подозрениях и мыслях, ни о Павлине. Жизнь снова потянулась по старой колее, и хотя было в ней что-то новое, Микола не заметил этого. А новым было отношение Клары к нему. Она все же немного изменилась. Перестала ходить в клуб, стала внимательной к мужу и словно к чему-то прислушивалась, ожидала чего-то с затаенным страхом. Теперь они были в ожидании оба, только каждый ждал свое.

22

Миколу разбудило гудение мотора. Он посмотрел на часы, которые теперь почти никогда не снимал с руки,— белые стрелки показывали половину восьмого. Гудение не прекращалось, переходило в рев, он подумал, что трактор пробивается снегами по их узенькой улочке,— наконец оборвалось возле их дома. Когда в звонкую от мороза раму громко затарабанили, Микола уже стоял посреди хаты в галифе и в наброшенной поверх нательной рубашки шинели. Он открыл дверь и впустил высокого человека в военной шапке и белом кожушке без погон. В хате еще было темно, Микола прикрыл дверь в комнату, щелкнул зажигалкой, зажег плашку на лежанке.

— Капитан Плахов,— отрекомендовался приезжий, когда красноватое пламя над обгоревшим фитилем перестало колебаться и осветило лица обоих.— Приехал забрать овес. Вот накладные,— и вынул из бокового кармана сложенные вчетверо квитанции.

Микола, перелистав шесть квитанций, возвратил их капитану.

— Я сейчас оденусь.

— Кто это? — сонно спросила Клара, когда он зашел в комнату и стал одеваться.

— Военные. За фондовым овсом приехали,— нехотя бросил Микола, разыскивая валенки. Он знал, что идет не на час, а на морозе в сапогах долго не выстоишь.

— Я поеду с тобой,— приподнялась Клара.

— Одурела, что ли! — грубо буркнул он.— Чего бы это? Мороз такой, что стекла трещат.

Клара завозилась на кровати; казалось, она хотела что-то сказать, однако Микола взял ключи, надел шапку и вышел.

У дома стоял студебеккер. Они влезли в теплую кабину, заревел мотор мощной машины, и, оставляя глубокие следы, она тяжело двинулась по улице.

На шляху их ждали еще пять таких же машин. Они поехали к амбару, где лежал фондовый овес.

В амбаре было холодно и пусто. Тридцать тонн овса — все, что осталось в нем. Он лежал в восьми закромах, настолько холодный, что страшно было дотронуться рукой. Наверху от мороза потрескивали стропила, под ногами солдат скрипел помост, они толкались плечами, боролись — грелись, а двое вытащили к дверям весы, и Микола с капитаном проверяли их. Вскоре овес золотыми ручейками потек в мешки.

Солдаты насыпали мешки доверху, так что сложенный гармошкой чубчик едва можно было ухватить (действовали ловко, видно, эта работа была для них привычной), и бегом носили мешки к весам.

Первый студебеккер загрузили за полчаса. Дольше загружали второй — подбирали зерно со дна закрома, потом насыпали его в мешки лопатой.

Капитан пританцовывал на звонком помосте, мотался из конца в конец амбара и подбегал к весам только тогда, когда Микола уже ставил гири. Но именно он первым заметил несоответствие между цифрами в накладных и зерном, которое оставалось.

— По квитанциям еще должно быть восемь тонн,— сказал Плахов.— А там вряд ли три наберется.

Микола пошел проверить. Действительно, овса осталось ползакрома.

— Придется ехать еще на один склад? — спросил капитан.

— Нет, больше у меня овса нет,— сказал Микола.

— Ты того... не шути...

— Я не шучу,— сказал Микола и подвинул рукавицей гирю. — Можете, хлопцы, нести.

— Да ты... да ты знаешь,— разволновался капитан,— что это значит? Я же буду вынужден... И еще сегодня мое начальство позвонит твоему.

— Знаю, капитан, все знаю,— спокойно, как и раньше, сказал Микола.— Вы делайте свое дело.

Капитан посмотрел на него как на сумасшедшего и почему-то тихо, ступая на носки сапог, пошел в конец амбара. Но когда солдаты подмели последний закром, он снова подошел к Миколу, взял его рукой за отворот шинели и не отпускал, пока не кончил разговор:

— Слушай, ты... того... Брось чудить! Ты был на фронте? Был ранен? И остался живой... А теперь вот... Я не знаю, я не хочу знать, что тут у тебя произошло. Но теперь ведь за каждый центнер зерна...— И он за отворот шинели потянул Миколу на себя.— Я могу оставить пустой студебеккер до обеда... Даже до вечера. Скажу — поломка... А ты уж... Обменяй на ячмень, на пшеницу... На что хочешь... А потом выкрутишься. Я ничего не знаю и ничего тебе не говорил. Одним словом, студебеккер оставляю до вечера.

— Поезжай, капитан, и забирай свой студебеккер,— освободил шинель от руки капитана Микола.— И делай... что положено делать по твоим служебным обязанностям. Бывай.

Капитан посмотрел на него бешеным взглядом, плюнул под ноги и пошел к дверям. Через минуту заревели моторы всех шести машин. Микола постоял, посмотрел, как они съезжали с холма, и запер амбар. Ему вспомнились слова капитана о фронте, в голове промелькнула мысль, что именно его прошлое — то, от чего он все эти годы мучился и погибал, могло его теперь спасти... Могло, однако он не желает. Вероятно, именно поэтому. О зерне он почти не думал. Он догадывался, куда оно девалось. Недаром сегодня утром всполошилась Клара. И еще ему вспомнилось, как однажды он искал ключи от амбара и не мог найти. На следующий день они лежали на столике на видном месте. А тот старший лейтенант служил интендантом на станции. Впрочем, все это его совершенно не волновало. Он даже не хотел об этом думать. И вообще ни о чем не хотел думать.

Засунув руки в карманы шинели, он медленно пошел в село, и ветер заметал колючим снегом его следы.

Миколу судили после Нового года. Клара наняла из области адвоката, и он предложил Миколе детально обдуманый (очевидно, с Кларой) вариант защиты: овес лежал с позапрошлого года, принимая дела, Микола его не перевешивал (конечно, это упущение, но только упущение), его могло недоставать еще тогда, кроме того, за столь долгое время (адвокат проконсультировался со специалистами) он мог усохнуть, и влажность его в момент приемки (тоже проверил) не указана, да и всякие вредители могли попортить зерно. Адвокат надеялся, что при тонко и умело проведенной защите, при соответствующих свидетелях и учитывая Миколино фронтовое прошлое — выполнение важных специальных заданий — для него все кончится штрафом и одним или двумя годами осуждения условно.

Микола не проявлял никакой радости к столь мастерски продуманной защите, хотя и во всем соглашался с адвокатом. А когда во время процесса судья спросил его, признает ли он себя виновным, Микола ответил, что признает полностью, однако отказывается говорить о мотивах.

Потом он молчал и на все вопросы судьи и прокурора отвечал кратко, большей частью «да» или «нет». Он слушал прокурора, слушал адвоката, а думал о своем, и удивительная цифра три — мешала ему сосредоточиться. Конечно, это была случайность, что перед ним сидели три фигуры, фигуры трех судей. Трое судили за троих. Они судили мягко, потому что ничего не знали о тех трех. Наоборот, они даже приобщали его к тем трем и ко многим другим, сущим и уже ушедшим в небытие... А должны были бы... Должны были бы отделить его от тех. И тогда...

Микола понимал, что этот приговор не будет наказанием за ту его вину. Не будет он даже частицей наказания, в мире нет цены, которая могла бы окупить кровь. Он чувствовал, что сидит на этой скамье не случайно, ему необходимо было увидеть перед собой и этот зал, и трех судей, чтобы еще раз, уже спокойно подумать обо всем этом и назвать все теми словами, от которых он убегал все последние годы. Он завидовал всем, кто сидел в зале: и старшим, и своим ровесникам, и молодым, только начинавшим жизнь. Между ними был

сейчас барьер, но Микола знал, что этот барьер значительно выше, что это непроходимая стена, и ему ее не переступить никогда.

Никто из присутствующих в зале не понимал, почему так повел себя Микола, почему не ухватился за веревочку, которую бросал ему адвокат и даже судьи. Только двое поняли все. Первой была Клара, которая и раньше догадывалась, что творится у него на душе. Не дождавшись оглашения приговора, она покинула зал.

Последней из зала суда вышла Павлина. Ноги у нее подкашивались, болело сердце, однако она старалась не показывать этого. Она точно не знала, что именно сделал ее сын где-то там, на далеких дорогах войны, но догадывалась, что он не прошел их так, как велела совесть, как велела она, мать,— велела молча, не сказав на прощанье ни единого слова, потому что о таком не говорят,— и как велела мать всех матерей — Отчизна.

Она никогда и никому не расскажет об этом. Она умрет тихо, старший сын похоронит ее на сельском кладбище и будет ходить на могилу,нося в своем сердце тихую скорбь.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Осень нынче выдалась на диво теплой, почти без дождей, необыкновенно нежной и прозрачной. Об этом думал скульптор Сашко Долина, возвращаясь к себе в мастерскую, в один из дворишков Киевской Лавры. Мысленно окрестил ее: червлень по золоту. Была суббота, солнце катилось за высокие крыши домов Цитадельной улицы, в такую пору в этой части города царило торжественное безмолвие. И пустым-пусто, это уж Сашко знал наверняка, было сейчас в мастерской. Потому-то он и шагал туда. Словно бросал вызов, о котором никто ничего не знал и не мог знать. Вот так-то: все бездельничают, развлекаются, влюбляются, только он отгрызает от монолита (а в мыслях — иронически-гипертрофированное «от вселенной»), каменные осколки. Он им докажет!

Сашко Долина пребывал в том возрасте, когда еще бросают вызовы, не всегда понимая, кому и чему, и доказывают всем сразу, а не кому-то персонально. А главное, не себе. Правда, Александр Долина уже не мальчик, ему двадцать восемь. Он чуть выше среднего роста, светловолосый, с высоким лбом, прямым ровным носом, тонкими чуткими губами, серые задумчивые глаза его вечно устремлены в дальние дали. Такой взгляд свойствен заядлым мечтателям и фантазерам. Сашко Долина — как раз мечтатель и фантазер, он примерил на себя сто биографий, но упрямо и безоглядно лепит (а она не лепится) ту, которую послала ему судьба, а может, ту, в которой он представил себя однажды и без которой не мыслит своей жизни. Его фантазии не очень-то уживаются с мелкими неудачами и всяческими реальностями будней, но Сашко довольно четко их разграничивает, и в каждодневной работе он — твердый реа-

лист, пожалуй, даже слишком твердый. Плыть по воле фантазий он просто боится, понимая их несостоятельность, а порой и абсурдность. Вот так в нем и уживаются два мира: один придуманный, во власть которого он с наслаждением отдается в нерабочее, как говорится, время, перед сном или в одиночестве, где-нибудь на берегу реки; другой — реальный, и в нем он жаждет, и жаждет почти болезненно, занять прочное место — повыше — и ради этого не жалеет ни сил, ни здоровья. Умеет работать по восемнадцать, а то и по двадцать часов в сутки, работать до полного изнеможения, а, не получая творческой отдачи, порой впадает в легкую меланхолию. Характера покладистого, любит радовать людей добрыми новостями и не прочь услышать похвалу из чужих уст, хотя, бывает, и смущается от этого. Его прямо-таки подмывает подарить свой талант всему миру... конечно, после того, как этот мир признает его. Не увлекается ни барахлом, ни красивыми безделушками, всего себя без остатка отдает работе, высокому будущему. А оно пока что ускользает от него.

По гранитным ступеням Долина спустился от памятника Славы к неширокой аллее, пролегающей по центру днепровской горы, и повернул направо. Пожалуй, это была самая глухая аллея в их городе. Дубы, тополя и грабы обступили ее плотной стеной с обеих сторон, а меж ними пенились заросли жостера, ореха, терновника — прямо-таки джунгли, где холодная осенняя тишина вбирала в себя шаги, как удав — добычу, где пахло прелью, влажным трутовником — зрелой осенью. Краем глаза Сашко отметил, что тут затаилась и источала запахи тысяча осеней разом.

Долина замедлил шаг — в нешироком проеме листвы проблеснул обмелелый Днепр, его желтые песчаные косы, сиротливые силуэты рыбаков, самоходная баржа на середине реки. Схваченный взглядом кадр прямо просился на полотно.

Но сегодня Долина не получил радости от этой, почти идиллической, картины. Что-то мешало ему любоваться широким Днепром, золотыми песчаными отмелями, спорым ходом баржи и повитыми голубоватым маревом белоснежными кварталами Заднепровья. И даже вечный сумрак леса, в котором он чуял особую гармонию, не настраивал его на мирный лад. Что-то сегодня тревожило.

И вдруг он понял — что. Обида на газетную статью — в ней хвалили Петра Примака, его однокашника, тоже скульптора, который закончил мемориал в каком-то райцентре. В сравнении с его весьма скромными успехами новость эта была крайне неприятна. Она как бы намекала на его неполноценность, и Долина не мог преодолеть неприязни к Петру. Тот и учился хуже Долины, и дипломную еле сляпал, и успехов в будущем ему никто не прочил, и вообще Петро казался неотесанной глыбой.

Долина спохватился: ведь он почти злорадно припоминает недостатки Примака! Места под солнцем хватит всем, смешно завидовать не тем, великим, кто уже утвердился на широком небосводе искусства, а Петру, его первому и пока такому мизерному успеху.

Сашко вышел на край обрыва и остановился. Исчезли мысли о Петре, развеялась зависть — забылось все! Может, ради этого впечатления Сашко и шел сюда? Всякий раз пейзаж действовал иначе, но так же мощно, творя в душе гармонию, красоту, подобную миражу — то болезненно-щемящее чувство, которого вечно жаждет и страшится человек. То же чувство родилось и навеки утвердилось, когда он увидел звонницу Ковнира — произведение необычайной красоты и совершенства.

Звонница высилась на крутой горе по ту сторону оврага, вся залитая предзакатным солнцем, — стремительные шпили с четырех сторон округлого купола, изысканность и простота, необъяснимое колдовское соединение природного вкуса, расчета и дерзкого, захватывающего дух порыва.

Дерзость и порыв, наверно, оттого, что Ковнир был крепостным. А вот художническое совершенство... Все привлекало Долину в этой звоннице, значит, ему тоже свойственно чувство красоты? Это обнадеживало. Именно здесь он впервые осознал, что художники призваны творить красоту, окружать ею человека, будить в душе высокое и подавлять низменное. Только так человечество сможет шагнуть дальше. Совершенствуя себя и тех, кто рядом, обращаться вместе со своей зеленой планетой вокруг огненного источника жизни. Но тайно манило и другое, далеко запрятанное желание: хотя бы мысленно, в мечтах сравняться с великими творцами истинной красоты. И с упавшим сердцем понимал, что слишком мелок. Злился, мучился, понуждал себя к подвижничеству. Главное, не мог он понять, причастны ли красоте

те, кто ее творит. Может, и они мучаются своим несовершенством, не уверены в себе, а то и угнетены, как он, Сашко? Как бы то ни было, они стали для человечества великими светочами. Они... А он? Без конца в нем сражалось высокое и низменное, он это понимал и знал, что побори он одно — освободилось бы место для другого.

Узкой асфальтовой дорожкой Долина направился наверх. Справа вздымались деревья, слева — стена с узкими, длинными бойницами, в которые никто никогда не смотрел на врага. Наконец Долина вышел на широкую улицу Лавры. Заповедник уже был закрыт, и здесь устоялась глубокая тишина.

Сашко всегда чувствовал себя среди этой тишины особенно одиноким и забытым. И мысли шли непривычно: быстрее, свободней, глубже. Тут всюду оставила свой след история. Хоть вся наша земля вечная, древняя каждой своей частицей, потрясают нас только те островки, где запечатлены деяния человека. И чем раньше коснулся он земли, тем глубже откладываются в памяти заметы. «Этого камня коснулись чьи-то руки...» И воображение уже рисует худую, почти прозрачную ладонь... Небось и рисует-то потому, что сам ты преходящий. Более зыбко твое существо, чем все сущее в мире.

Пахло плесенью и прелью, и эти запахи, и покрытые мхом стены, и гигантские, отшлифованные миллионами ног камни брусчатки, и усталые вековые контрфорсы наводили на мысль о древних предках, об их слезах, их горе, которое неизбежно несли они сюда.

Сашко машинально шагал дальше, а мысль его все цеплялась за тех людей, за ту толпу, что двигалась по этим улочкам, галереям, по наземным и подземным церквям, чтобы поведать некоему фантому, намалеванному на стене таким же, как Сашко, живописцем, свои беды и утвердиться с его помощью в своих надеждах...

«Зачем нужно было утверждаться? — подумал Долина. — Чтобы сегодня от них не осталось и дуновения? Для чего же страдать или так горячо верить? А если бы не страдали, если бы не веровали? Прожили бы днем, годом, несколькими годами дольше! Для чего?»

Сашко, пораженный, остановился. Что это с ним? Думать столь мрачно так не похоже на него! В глубине души он знал — почему. Статья про Петра... Потом — Ковнир. Ковнир — это когда-то тоже была надежда!..

Она осталась, чтобы подталкивать его и мучить. Надо работать, а не болтать о вечности. Работать! Человек может жить, только реализуя себя в труде. И стоит ли задумываться о далекой перспективе своей работы? Вот прошли тут миллионы людей, которые исправно вели свое дело, и все они умерли, и время смыло их следы вместе с их делом. Истлели грессбухи, которые кто-то заполнял на протяжении жизни, истлела одежда, которую кто-то шил...

«Понимаю, понимаю...— иронически улыбнулся Сашко.— Остались вот эти стены, эти камни... Они тоже положены кем-то. Кем-то... А кем? Разве для меня это имеет значение? Конечно, художник об этом должен думать иначе. Художник... Но ведь тогда надо верить, что ты творец, что ты нужен, что все, сооруженное до тебя,— не горы хлама».

Он понимал, что этим философствованием убил в себе сегодня всякое желание работать. Работать надо, не доводя себя до таких откровений. Так ведь можно угробить все. И деревья, и цветы, и фрески, что скрыты за этими стенами. Мыслишки эти — просто-напросто следствие неудач.

Долина повернул на заросшее густой, порыжевшей к осени травой подворье. В конце его лепился боком к горе старый трехэтажный домик. По-настоящему старыми были два нижних этажа,— тяжелый унылый карниз, толстенные стены, узкие, высокие окна, говорят, тут когда-то жили монахи,— третий был надстроен позже, с широкими окнами, из которых открывался чудесный вид на Днепр, и крытой галереей вдоль всего фасада, которую владельцы мастерских разгородили на отдельные балконы. Искусство не любит постороннего глаза. Уровень мастерских в этом домике обозначал положение в мире художников владельца выделенной ему площади. Верхний этаж занимали маститые художники и скульпторы (надо отметить, что воистину маститых здесь не водилось), срединный — те, кто достиг меньших успехов, но тоже был членом союза или, по крайней мере, кандидатом, нижний — всякая мелюзга: вчерашние студенты, пожилые неудачники, которые зарабатывали себе на хлеб и краски в рекламных бюро да в народных домах культуры и, только укрывшись за этими толстыми стенами, лихорадочно, всякий раз с новой надеждой, марали бумагу карандашом да упорно мяли глину. Все они мечта-

ли перебраться выше. Кельи нижнего этажа были полны страстей, жгучих желаний и надежд...

Но в домике, осененном с тыла двумя дубами, был еще один уровень — полуподвал. Там было отведено под мастерские всего шесть помещений — в левом, если стать лицом к фасаду, более высоком крыле — окна вровень с землей; остальные каморки, что уткнулись в самую землю, где переплелись в глиноземе корни дубов и ореха, приспособили под чуланы обитатели верхнего этажа.

Территория, занятая Долиной, с которой до сего дня он надеялся завоевать пусть не мир, а хоть плацдарм с балконом и окном на Днепр, являла собой маленькую комнатку в поименованном выше левом крыле.

Поднявшись по ступенькам на первый этаж, Сашко спустился в полуподвал, стараясь не поскользнуться на досках, положенных на поленья (недавно прорвало канализацию, и воду после ремонта еще не выкачали), повернул по коридору налево. Долго искал ключ за старинным, прислоненным к стене шкафом, и, не найдя, поднял глаза на дверь своей мастерской и увидел ключ в скважине. Долина хорошо помнил, что дверь он запирает и ключ вешал за шкаф, и теперь был до крайности сбит с толку. Преодолевая волнение и даже страх, потянул дверь на себя. Ожидал увидеть кого-нибудь из однокашников: приехал хлопец в Киев — места в гостинице нет, адреса Сашковой квартиры нет, вот и прибился сюда. Сашко даже забыл, что сегодня суббота, вечер, и никому в голову не взбрело бы ждать его тут. И каким же было его удивление, когда он увидел в кресле, которое когда-то принес со свалки от нижних пещер, в древнем-древнем кресле с гнутыми подлокотниками (небось сидел в нем какой-нибудь архимандрит) деда Кобку. Дед устроился на застеленных гуцульским лижныком старых пружинах с комфортом: скинул ботинки и пиджак и остался в синих выцветших штанах, зеленой клетчатой рубаше и в галстук, который смахивал на обрывок веревки. На разостланной возле кресла газете стояла выпитая до половины чекушка, лежали три помидора, краюха паляницы, полбатона нарезанной чайной колбасы да с десятков курских ранетов.

Дед Кобка — удивительное существо, о нем никто ничего не знает, не знают даже его имени и отчества, так и кличут Кобкой — в глаза и за глаза. Известно только, что дружит он с чаркой, что нрава веселого, хотя есть в

его веселости и что-то фиглярское, ёрническое, что свою речь приправляет он крепким словцом, на что никто не обижается, поскольку говорится оно не по злобе, а, скорей, как присловье. Весну, лето и осень он торчит возле громадного пнища в дощатом, спрятавшемся в зарослях бузины и орешника сарае на этом же подворье, где занят первичной обработкой камня. Для тех, кто поместился на третьем этаже. На зиму куда-то исчезал, наверно, есть где-то в микрорайоне квартира, изредка наезжает сюда и работает в мастерских тех, от кого получил заказы.

Теперь для Сашка не составляло загадки, почему Кобка очутился здесь. Его загнал сюда холод последних ночей. В кирпичном доме, в поместительном, застланном крестьянским лижныком кресле куда теплей, чем на деревянном топчане в дощатом сарае. Сашко припомнил и то, что недели три назад попросил опилить для него глыбу уральского мрамора. Конечно, это была для Долины непозволительная роскошь — платить за обтесывание камня, на который едва наскреб денег. Но он боялся ненароком попортить его. Ведь этот камень — справа от дверей — его последняя надежда. Если он застрянет тут, как и тот, в левом углу... Нет, о таком финале Сашко боялся и думать.

Кобка тогда не пришел к нему. Наверно, его перехватил кто-нибудь с третьего этажа. Судя по всему, он не торопился взяться за работу и сегодня. Это, а может, и то, что Кобка приплелся только тогда, когда не стало заказов у баловней судьбы с третьего этажа, рассердило Долину. Но врожденная деликатность и застенчивость не позволили ему сказать грубость старому человеку. Он только развел руками и пошутил:

— Я думал, ко мне залез вор.

— Неужто воры такие дураки? — ничуть не смутившись, прищурил Кобка один глаз, а другим пронзил Сашка, словно длинной иглой. У деда была маленькая лисья мордочка, сплошь в морщинах, но не грубых, похожих на глубокие шрамы, а в ясных, веселых: когда он говорил, они разбегались, словно лучики. У него и глаза веселые, хотя и хитроватые и пронзительные, и веселый, под реденькими усами, рот с крепкими белыми зубами. — Разве они осият вытащить этого черта, — показал он на запыленную скульптуру академика Каюша в левом углу мастерской.

Но Долина уловил в этих словах иной смысл: «На кой черт это кому-нибудь нужно». Он вспыхнул, не нашелся, что ответить. Да и что он мог сказать: бюст «Академика» — каинова печать на его работе, на его таланте, на нем самом. Это сгусток неудач, символ бездарности. Конечно, не один он из обитателей этого дома казнится подобной реликвией. Мало ли их, отлитых в бронзе и меди или изваянных из дорогого мрамора доярок с подойниками, физкультурников с веслами, ученых и писателей, тщательно запеленатых в полотно, совершив вылазку за лаврские ворота, вскорости бесславно возвращалось назад! Их владельцы, распахав свои творения по темным чуланам, стараются не вспоминать об этих вылазках и связанных с ними надеждах. А его тщетная надежда маячит перед ним каждый день с утра до вечера. Сколько раз он собирался взять молоток и разбить неудавшуюся скульптуру на куски, да все почему-то не решался. Было жаль труда? Жаль прошлых чаяний? Скорей, уже не столько чаяний, сколько воспоминаний о них. Он принялся за «Академика» сразу после окончания института и гнул спину над ним три года. Много было передумано возле этой глыбы! Он знал: искусство жестоко ко всем. Если бы собрать все, что сотворила фантазия человечества, обломками надежд можно было бы завалить планету...

Его «Академик» не дотянул и до последнего тура — «вытура», как шутят художники. Сашко вывозил своего горемыку из выставочного зала вечером, в сумерки, и слышал, как переговаривались грузчики: «Знать, не выбился академик в люди». — «А может, он и не академик?..» А сколько иронических взглядов вынес на себе Каюш потом, стоя тут, в мастерской. Иронических, а порой и сочувственных. По тем взглядам Сашко мог определять отношение к себе самому. Может, именно из-за этого он и не закрыл бюст мешковиной или бумагой. А может, еще и для того, и это уже почти бессознательно, чтобы «Академик» казнил его ежечасно, чтобы подталкивал, не давал сложить руки или пойти облицовывать колосками триумфальные арки и сцены районных домов культуры. Это был безмолвный спор. Сашко тесал и тесал. И все — безуспешно. И тогда он отважился еще раз. На эту вот мраморную глыбу. Он сумел сохранить веру в удачу и каждый день укреплял ее, поглядывая на этот, пока безжизненный, мрамор. Он заставлял

себя ходить к колокольне Ковнира, смотреть на мощные столетние стены и контрфорсы. Контрфорсы держались, а вера стала подламываться. Особенно ясно он почувствовал это сегодня.

Долина стоял как в воду опущенный, ему даже не хотелось отвечать Кобке. Да и что Кобка... Разве с ним он спорил? Ему опять вспомнилось, как старик три недели назад пошел по их лестнице не вниз, а вверх, и обида, а с нею и злость куснули за сердце. Он искал, как бы почувствительней уязвить старика. И, наконец, как ему показалось, нашел.

— А что, ваших работ много украдено?

Следил, какое впечатление произведут его слова: на миг показалось, что в глазах старика блеснул испуг, но дед Кобка засмеялся и нагнулся к чекушке.

— Да изрядно.

Сашко недоверчиво покосился на старика. Никто из Кобкиных заказчиков никогда не слыхивал от него замечаний касательно своей работы, дед не давал советов и не высказывал суждений, как другие каменотесы, формовщики и разный захожий люд. Но скульпторы почему-то немного торопели, если ему доводилось заходить в мастерскую, где уже стояла готовая скульптура. В его глазах прочитывалось, что Кобка хорошо знает цену произведению, только не хочет говорить. Его не раз пытались «расколоть», втянуть в спор — напрасно. Ходили слухи, будто Кобка перед войной сам был скульптором и создал некий шедевр, да не успел закончить, — во время войны работа погибла, потому-то он и стал каменотесом и не признавался, что сам — мастер.

Ходили о нем и другие легенды, но Долина им не верил.

Потому-то сейчас и спросил, не скрывая иронии:

— Где же они?

— Где? На Байковом кладбище. Поди погляди... «Прохожий, ты идешь, но ляжешь, как и я...» Глотнешь? — спросил дед, поднимая бутылку.

Сашку почему-то стало тревожно и в то же время совестно.

— Не хочу, — мотнул он отрицательно головой и сел. — А других не делали? — спросил примирительно.

— А какая разница? — сказал Кобка, выпил и закусил помидором, густо посыпав его солью.

— Как это — какая разница? — возмутился Сашко.

— А никакой,— ответил Кобка, медленно распрямляя ревматические ноги.— И это, и все другое — только память о человеке. Всяческие есть люди и всяческая память. Не обижайся, ты этого еще не понимаешь. Для того чтобы понять, надо прожить, по крайней мере, столько, сколько прожил я. Увидеть, как растут дети, как дорастают до величины памятников и сами становятся памятниками. Я люблю делать памятники в полный рост. Только не помпезные...

— И вы можете всю жизнь делать памятники? — невольно вырвалось у Долины. Он даже покраснел от своей бестактности.

— Могу,— тихо ответил Кобка и через мгновение добавил: — Я не ими живу. Я живу... радостями живых. Радостями детей... Когда-то у меня... А, да ладно...— махнул он рукой.— Может, все-таки погреешься? Не хочешь — как хочешь. Мне больше останется.— Старик словно убегал от чего-то, к чему не хотел возвращаться даже в мыслях. И, как это часто бывает, чтобы окончательно сбить собеседника со следа, впал в другую крайность, грубо, насмешливо ткнул пальцем в «Академика».— Тебе не понять еще и потому, что ты долбил этот мрамор не ради него. И не ради людей.

— А ради кого? — неуверенно спросил Сашко.

— Ради себя. Памятник себе воздвигал. Верней, не памятник, а ступеньку. Она и обвалилась...— Старик помолчал, допил остаток водки. Пожевал губами, снова махнул рукой.— А теперь... давай крой... мол, что ты, старая калоша, брешешь, ты сам ничто и всех хочешь видеть такими же...

— Не надо,— поднялся со стула Долина. Ему стало жаль старика. Ну не состоялась жизнь, случилось это, наверно, не по его вине или бесталанности,— скорей всего, его судьбу спалила война: припомнилось, как сам рассматривал звонницу Ковнира, думая о себе, о быстротечности человеческой жизни, о миллионах надежд, которые не оправдались. Его собственная надежда — порошок среди миллиардов порошинок. Он почувствовал доверие к этому старику и понял, что те, кто угадывал в нем художника, не ошибались; ему хотелось открыть Кобке душу, выговориться, выплакаться.— Не надо,— повторил он в приливе неожиданной откровенности, которая граничила с самоуничижением.— Вы сказали правду. Я абсо-

лутный неудачник. А может, и бездарь. Мне двадцать восемь, а не сделано ничего.

— Тебе много дано,— поднял голову старик. В его глазах Сашко не прочитал сочувствия, а только интерес, и хотя и мягкое, но серьезное сопротивление. Он принял это за старческий эгоизм.

— Что же мне дано?

— Тебе дана надежда,— сказал Кобка.

— Надежда на что? — спросил Долина. В это мгновение он издевался над стариком и над собой.

— Жизнь — ожидание... — уклончиво ответил Кобка, удобнее усаживаясь в кресле.

— Ждать, чтобы не сбылось? — бросил Сашко. Его начал забавлять этот разговор. Старик, казалось ему, подливал масла в костер его сарказма и разочарования.

Кобка отрицательно покачал головой.

— Сбывается не всегда. И не у всех. А ведь суть жизни и особенно творчества — в ожидании. Оно бесконечно.

Сашко, слегка сбитый с толку, запнулся. Его удивляли эти сентенции. Старик был глубже и умнее, больше того — опытней, эрудированней, чем он думал. Хотя что он мог про него думать? Он же его совсем не знал. Маячила фигура возле сарая, и он судил о Кобке только по внешнему виду. А теперь спрашивал у него, как ребенок спрашивает у взрослого, — настырно, неотвязно:

— Ожидание чего?

— Всего. Успеха. Любви. А прежде всего — красоты. Желание совершенства. Сладость — в ожидании. — Долина увидел, как с лица Кобки на мгновение исчезло выражение иронии и замкнутости, оно стало суровым и одухотворенным. — Это — печаль и радость. Мы часто ощущаем, где оно, совершенство, только не умеем передать его в камне или в рисунке. А ожидание иногда и оправдывается. В этом и состоит смысл жизни. Надо только уметь ждать.

— Глупости... Что с того, что в пятьдесят лет я наконец нечто изваяю и что-то получу?

— Старо и неизменно, как мир,— буркнул Кобка, но Сашко не слушал его.

Он распалился, уже отравленное один раз ожидание, неуверенность в себе толкали на спор.

— На что оно мне тогда? Чтобы присоединить к радикулиту и инфаркту!..

— Не торопись,— подвинулся на край кресла старик.— Бывает и так, что человек сразу достигает того, что отмерено ему судьбой на весь путь. Своей самой высшей точки. Только это не сладко. Порой выгорает топливо. Исчерпывается отмеренное.

— Плевать мне на все с высокого дерева! Пусть только она, ваша судьба, даст то, что мне принадлежит,— горячо сказал Долина и захохотал. Словно смеялся над судьбой, которая отмеряет не всем одинаково и не в одно время. Старик едва заметно нахмурился, не одобрил Долининого смеха.

— Скажем, судьба может дать слишком много. И дальше ты будешь гнаться только за своим прошлым. Ты на это согласен?

Старик глянул снизу серыми выцветшими глазами слегка иронически и в то же время серьезно, так, что у Сашка даже дрогнуло сердце. Никогда он не видел такого взгляда. Глаза — неподвижны, а в них синие, похожие на летучие искры огоньки и тени, мелькающие, зыбкие. Долине стало страшновато, и он даже рассердился на себя за это и насильственно засмеялся.

— Хо-хо-хо! Согласен.

— Но это может стать твоим наивысшим взлетом,— проникновенно глядя Долине в глаза, сказал старик.— Выше не поднимешься. И не это самое страшное. Тебе откроется смысл созданного, а не само создание. Весьма горькая штука — опыт.

— Беру, все беру,— посмеивался Долина.— Это же чудесно — видеть, как другие плюхаются в лужу, а самому ее обойти...

Кобка понурился. Он долго молчал, а когда поднял голову, в его глазах уже не было синих летучих искр, в глубине остались только тени и как бы втягивали Долинин взгляд. Старик вздохнул, тихо повторил:

— Это не сладко — все время видеть за спиной свою самую высокую вершину. И шагать вниз.

— Но все-таки вершину! За своими плечами.

— И ты бы рискнул?..— внезапно уставился на Сашка Кобка.

Сашка пробрал холод, и он зябко повел плечами. Выглянул в форточку. Там чернела ночь, тяжёлая ветка бузины шарила по маленькому оконцу и тихо шуршала. Ему показалось, что темень за окном шевелится, будто ползет куда-то на мохнатом брюхе. Он хотел было опять

засмеяться, через силу, но вспомнил статью в сегодняшней газете и сказал вызывающе:

— Я давно бы рискнул. Только жаль, вершины не видать.

— Может, и не видать,— сказал старик и поднялся, побряхтывая.— А может, и видать.— Держась за поясницу, он прошелся по комнате.

У двери на грубой оберточной бумаге валялись шматки глиняного замеса, утреннего,— Долина лепил руку штурвального, которого намеревался вытесать из заветной глыбы.

Кобка оступился, и на глине остался четкий след его расшлепанной сандали. Сашку показалось, что старик оступился нарочно.

— Что-то мне сегодня не хочется пилить,— объявил Кобка.— Да и кто поручится, что ты не запорешь и этот камешек.

— Ну, это уж...— хмуро проронил Долина.

Он ждал совсем другого. Казалось, старик сочувствует ему, казалось, между ними протянулись волшебные нити и Кобка причащает его к чему-то таинственному, от одной мысли об этом пробирала дрожь. Но старик язвительно подхватил:

— ...Не моя забота? Ясно, не моя. Да ведь жаль камешка... Я на тот предмет, что, прежде чем тесать, надо его сто раз обласкать в мыслях... Вот, скажем, ваял ты этого академика. А кто его знает? Выйди за порог, пройди хоть до Крещатика и спрашивай всех — никто про него слухом не слыхивал. Если бы не было таблички, и я бы не знал, кто он. Ничего путного небось он и не сделал. А зоб отрастил. Смотришь на его физиономию, и прямо руки чешутся срубить этот холодец. Шея тоже как слоновья нога. А лоб... Ну, лоб ничего. Только вот тут должны быть морщины. Их небось академик не нажил, а должен был бы... Три — вот так. И две — вот так.

Кобка проворно, не по-стариковски, выхватил из кармана карандаш и прочертил на просторном мраморном челе несколько продольных и поперечных линий. Сашко рванулся, чтобы перехватить руку, но что-то остановило его. Он следил за движением карандаша и видел, как опадает тройной подбородок, как лоб рассекается мыслью и сама по себе клонится в задумчивости голова скульптуры.

— И глаза,— вел дальше старик голосом педанта-преподавателя, но звучали в том голосе и другие нотки: глубокой убежденности, собственной веры, а не учебного холода, и как раз это больше всего покоряло Долину, заставляло странно трепетать и удивляться,—...глаза должны смотреть вниз. Смотреть, но не видеть ничего. И между ними и вот этим,— Кобка постучал ногтем по мраморному лбу, на миг вырвав Сашка из оцепенения,— должна быть внутренняя связь. И вообще глазам и этим черточкам на лбу должно подчиняться все. И подбородок, и щеки... Никогда не делай гладких щек, клади штрихи жестко, вперехлест. А уж тогда можешь сорвать эту табличку. И надпись: «Старик в задумчивости». Эта задумчивость должна стать полным покоем, самоуглублением. Молодым трудно постигнуть. Но... попытайся заглянуть в себя. Вспомни, как ты задумывался в крутые минуты. Старик должен размышлять красиво... Я говорю не про внешнюю красоту, а красоту мысли. Человек — это мысль.

«Господи, я ведь сам об этом думал. Или мне приснилось? — Долина даже вздрогнул.— Думал, думал... Только мне чего-то не хватало. Раньше я просто не мог представить, что можно разрушить готовое произведение. Я останавливался, словно перед заклатьем. Так оно и есть... Для искусства нету преград. И откуда это знает Кобка?»

— Почему же...— сказал он вслух.— Я сам... даже сегодня... Когда шел через Лавру, ощутил... Мне кажется, смог бы влезть в камень.

Старик коротко глянул на Сашка и снова перевел взгляд на скульптуру.

— Именно так — влезть в камень. Оцепенеть в мраморе. Влезай смело! Сколько сможешь ваяй себя. В другой оболочке. Совершенствуй свое естество. Пускай душа отразится мыслью на лице. Не бойся, кончишь — вылезешь, хотя частица души и останется там. Но как раз она и будет потрясать тех, кто станет таращиться на скульптуру,— закончил дед почти цинично, все еще чертя карандашом по лицу «Академика».

При этих словах Сашко почувствовал, как по спине побежали холодные колючие мурашки. Он на мгновение словно пробудился, но только на мгновение, потому что жар творчества был более сильным, он снова охватил его, заставил волноваться по велению Кобки. И был этот

жар несколько иным, чем раньше. Раньше Сашко бросался на глину и мрамор ослепленно, почти яростно, это было похоже на песню захмелевшего певца, который не слышит собственного голоса. Теперь же он видел скульптуру, видел ее в деталях... Кобка стоял, как и раньше, побряхтывая и держась за поясицу, — морщинистый дедок в клетчатой рубаше и потертых синих штанах.

— Это не просто — влезть в камень. Ведь надо поминутно вылезать, чтобы резать и шлифовать. Ты должен раздвоиться.

— Мне нравится ваша идея, — пропуская мимо ушей последние слова старика, взволнованно откликнулся Долина. — Я чувствую, что смогу. Готов взяться хоть нынче.

Кобка не шелохнулся. Сашку показалось, что тот не слышит его. И снова Долину что-то встревожило: наверно, подумал он, так должны выглядеть творцы, заклятые злой силой. Они мыслят, они знают, что закляты, но вырваться из этого круга не могут. Кобка сейчас был подходящей моделью для скульптора — это Долина увидел внутренним оком. Как заметил и его задумчивость, обращенную вглубь, к самому себе. Казалось, Кобка пытается что-то решить и не может, останавливается на некоей мысли и тут же отбрасывает ее. Что-то его мучило, он хотел на что-то решиться и, наверно, уже решился, но еще и еще раз проверял себя. Долине только казалось, что старик не слышит его. Кобка слышал. Он пожевал сухими губами, тронул носком сандалии необтесанную мраморную глыбу и сказал:

— Ну, так незачем портить новый камень. И торопиться ни к чему. Тут работы не на один день. И за неделю не сделаешь. А за то, что я теряю халтуру, давай отступного. Мотай наверх за поллитрой.

Долина даже сморщился, таким омерзительным был переход Кобки от материй высоких, художнических к низменной поллитровке. Ему не жаль было пятерки, на которую он собирался тянуть до вторника, просто ему никогда еще так не хотелось остаться одному с этим камнем, в тишине, которая легла на сердце. Его неслабальная горячая волна, и он боялся, что она всякую минуту может скинуть его с гребня. Ему не терпелось вытолкать старика за дверь вместе с его чекушкой, помидорами и колбасой, схватить шпут и врезаться в мрамор, и как можно скорей сбить вот эти три повторяющиеся

складки на худом подбородке (он уже видел его худым!) «Академика». Мелькнула даже мысль — сунуть старику пятерку и спровадить подальше. Но Долина опомнился: все что говорил Кобка, свидетельствовало, что он — человек тонких чувств, хоть и пьяница, и это будет горькой обидой для старика.

Неохотно оторвав взгляд от «Академика», Долина нахлобучил шляпу и побежал в гастроном.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Уже почти две недели возился Сашко Долина со скульптурой. Резал камень и чувствовал неутолимую жажду. Это было больше, нежели просто желание работать. Он видел, как точно ложится каждый удар резца, как полное равнодушия лицо «Академика» преобразается в тонкое, исполненное задумчивости обличье неведомого человека. Он не мог понять, из чего рождались его вера и вдохновение. И поражался, что ему все больше и больше нравится этот неведомый человек. Сашко словно вытаскивал его из небытия, вдыхал жизнь, приближал к себе, входил с ним в какие-то тонкие, волшебные преломляющиеся отношения. Но подсознательно уязвляло душу: все это в долг, Кобка предупреждал. Он охватывал непомерность долга, знал, что утонет в нем, боялся и не боялся этого. Им владело предчувствие удачи, великого свершения. Он предвкушал вопли матерых художников и восторг институтской молодежи, видел толпу возле своей работы, слышал взволнованный шепот за спиной: «Это он. Посмотрите, вот он какой». Но, к своему удивлению, Сашко больше всего наслаждался тем, что принесет людям радость. Он ликовал вместе с будущими зрителями, созерцая скульптуру.

Долина забыл и свою беседу с Кобкой, и свою досаду и претензии к человечеству, врубался в мрамор, только крошки летели.

По утрам накупал еды и, чтобы его и на минуту не отрывали от работы, запирался в мастерской. Но сегодня, впервые за две недели, почувствовал вялость в теле, глухое сопротивление сумасшедшему ритму. Это не было потерей перспективы, просто он понял, что его не хватит на всю дистанцию, если он будет продолжать в таком темпе.

Закурил и вышел во двор. Денек стоял серый, пасмурный, тяжелые темно-сизые тучи низко висели над землей. Заметно похолодало. Сашко подумал, что осень словно спускается по крутой лестнице. После теплых погожих дней вдруг настанут хмурые, дождливые, температура падает сразу на несколько градусов, затем небо проясняется, снова теплеет, хотя и не по-прежнему, и вдруг — новый скачок, стремительный шаг вниз. Вверх и вниз — простая геометрия жизни.

Сашко стоял посредине двора, перед ним в пожухлой траве светлели две тропки. Они манили его. Хотелось пойти к кому-то, говорить о себе, о своей работе. Но вовремя спохватился: сказать-то пока нечего, только ощущения, предчувствия, неясные надежды, а этого не выскажешь, и никому это не интересно.

И еще одну тропинку видел Долина, верней, не тропинку, а едва заметный след на спорыше. След поворачивал направо и бежал в густые бузинные и ореховые заросли — к сараю. Но туда Сашку идти не хотелось. При мысли о Кобке им овладевало двойственное чувство: что-то похожее на благодарность — за прошедшее вдохновение — и глухое сопротивление. Душа восставала против старика.

Неожиданно за спиной послышались шаги. Кто-то спускался с верхнего этажа. Сашку сейчас не хотелось встречаться ни с кем из здешних, но прятаться было поздно. Появился Калюжный, высокий толстяк — сто десять килограммов, ловкий, энергичный график, который уже давненько отвоевал себе местечко на третьем этаже. Художник не очень талантливый, но чертовски работающий и пробивной. Своим трудолюбием он довольно успешно доказывал, что количество можно иногда выдавать за качество. Он завалил своими листами выставки, запасники художественного фонда, умел где надо нажать, где надо — польстить, его посев всегда давал богатую жатву.

Мотая лапами полосатого заграничного пиджака, больше похожего на фрак, нежели на пиджак, Калюжный сбежал по ступенькам и остановился возле Долины.

— Что куришь? — спросил он.

Сашко молча вынул из кармана пачку «Примы».

— А-а, и то хорошо, — молвил тот, выцарапывая из пачки сразу три сигареты. — Выкурил все подчистую. Беру с запасом...

Он одолжил курево в полной уверенности, что осчастливил этим Долину. А поскольку тот молчал, Калюжный все-таки почувствовал неловкость и, стараясь чем-то стереть ее, кивнул головой на едва заметную в спорыше дорожку:

— Зарастает? Такая, брат, селявуха. И наши позарастают. «Прохожий, ты идешь, но ляжешь, как и я...»

— Чего зарастает? — не понял Долина.

— Как это — чего? — удивился Калюжный. — Кобка-то ведь того... Отплясал свое.

Долину пронзила жалость, смешанная с ужасом. А в мыслях мелькнуло, что Кобка уже тогда что-то предчувствовал. Это воспоминание оставило после себя саднящую боль. И опять же это была не боль утраты, скорей, знак судьбы, рока, знак бренности и быстротечности собственной жизни и того, что мы творим, порой считая это долговечней самой жизни.

— Когда? — тихо спросил Сашко.

— Позавчера. Тут же висело объявление. Карпенко намалевал. Небось это было лучшее его творение, — не мог удержаться Калюжный от выпада по адресу коллеги.

Некоторое время Сашко молчал, словно оцепенев.

— А вы были на похоронах? — крикнул он уже в спину Калюжному, который сотрясал ступеньки, поднимаясь к себе. — Где его похоронили?

— Я... У меня не было времени, — замедлив шаги и не оглядываясь, отозвался график. — Кажется, на Берковцах.

И снова ощущение фатальности этого события, испуг и волнение захватили Долину. Его даже злость взяла — перебирает все, связанное с последней встречей с Кобкой, а не скорбит по ушедшему человеку. Так оно и бывает: всю жизнь Кобка возил могильные плиты и памятники на Байково кладбище, а самому довелось упокоиться на Берковцах.

Понимая, что теперь не сможет работать, Долина пошел побродить по Лавре. Ноги сами шли к звоннице Ковнира, где, как казалось Сашку, время замирало и словно прессовалось в камни. Великое, нетленное ощущалось в этих положенных друг на друга камнях, в волшебных гармонически чередующихся узорах. Ковнировы замыслы стали вечностью. А его — нет. И сам он — скоропреходящая, невесомая порошинка. Даже когда эта

звонница исчезнет, ее форму сохранят рисунки, фотографии, память человеческая. И еще подумалось Сашку: какое безграничное расстояние — Ковнир и Кобка!

«А почему Ковнир и Кобка? И разве от Кобки так-таки и не останется ничего?»

От этих мыслей стало совсем беспокойно.

Звонницу реставрировали, но сейчас там никто не работал. Сашко перелез через высокую стену и очутился на церковном подворье. Почти все оно было заполнено могильными плитами и памятниками. «Скоро земля станет одной громадной могилой,— подумал Долина.— Надо сжигать останки. Мы слишком часто напоминаем себе о смерти».

Памятники были поставлены все больше состоятельным чиновникам, столпам благочестия, героям минувших войн. Небось все они думали, что владеют миром, а он вобрал их в себя, как песчинки, и медленно перетирал самую память о них. Теперь только тот, кому удалось перемахнуть через стену, узнавал их имена, а перелезши назад, тут же забывал о них, утешался своим мирком, и не только утешался, но и владел им.

Вдруг Сашко подумал: Кобка знал, что ничем не владеет и что после него ничего не останется. Но зачем тогда он подал мысль о «Старике в задумчивости»? Может... Если я справлюсь, то... Нет, этого Кобка не мог думать. Но Сашко почувствовал, что ему снова хочется работать. Почувствовал физическую тягу к незаконченной скульптуре и понял, что это влечение к материалу пришло после беседы с Кобкой. Ему не терпелось задним числом удивить старика, подарить... эту вот скульптуру. И хотя неприятно было вспоминать пророчества Кобки, он все-таки благословил в душе ту, счастливую для него беседу. Правда, дед все время на что-то намекал. Все время обидно, деланно-пророчески пошучивал. Мол, это будет твое самое крупное произведение... Которое, кроме всего прочего, даст тебе единственное горькое преимущество: каждую минуту сможешь предвидеть свой путь. Конечно, это глупости, химеры. Ведь они оба шутили. Но нет! Именно из-за этого и становится неприятной память о Кобке.

...Долина сражался с камнем еще три дня. В пятницу утром неожиданно явился Петро Прима — загорелый, с облупленным курносом носом, зоркими маленькими глазками на широком плоском лице, тяжелый, упрямый, чем-то похожий на нелепую корягу, вынесенную поло-

водьем на берег. Петро и характером был упрям, но в то же время непоседлив, ехиден, нацелен куда-то, а куда — знал только он. И знал наверняка. Его помятый зеленый плащ и сплюснутая шляпа говорили о том, что Петро только что прибыл в Киев и совсем недавно спал в вагонах, районных гостиницах, а может, и в пустых сельских клубах. Через минуту Петро признался во всем сам:

— Есть у меня, брат, одна морока! Приспичило помянуть свой барельеф. И вот вчера прибыл в столицу. А комиссия заседает только два раза в месяц. Так я хочу собрать их подписи сам. Ты не знаешь, где Калюжный? О, из твоей глыбы вылазит что-то интересное, — прищурился Петро, на минуту задержавшись возле «Академика». Он примерялся к камню то с одной стороны, то с другой, и казалось, вот-вот зацепит и разобьет. — Только не вылизывай! Ни-ни! — замахал он руками. — Я вижу, ты не вылизываешь. Хорошо крещешь. Так не знаешь, где Калюжный?

— Я видел его позавчера, — заслонив собой скульптуру, ответил Долина.

— На двери у него два полупудовых замка. Он что, золото там держит? Кстати, у тебя не удастся перехватить презренного металла? Хотя бы рублей сто?

Сашко показал на еще не обтесанный камень.

— Умгу, понятно, вложил свой капитал в этот монолит. Жаль. Значит, нету? Ну, я побежал. — И внезапно: — Выручи, будь другом хоть раз. Понимаешь, ко мне сегодня спозаранок явилась землячка, черт ее принес, ну, черт не черт, а уж приехала, соседская девчонка, ей, понимаешь, делать нечего, и мне работать не дает. Она впервые в Киеве, нужен провожатый. Хотя бы на несколько часов. Пока освобожусь. Я ее встретил на вокзале и сунул на выставку ювелирных изделий....

Долина обозлился на Примака, на его бесцеремонность. Что за нахальство! У Петра, видите ли, нет времени! А у Долины есть?

Сашку страшно не хотелось прерывать работу, его подмывало послать Примака подальше, но он только что отказал ему в деньгах, это как бы обязывало, и Сашко поморщился:

— Ну при чем тут я?

— А я? Я тут при чем? — растерянно отозвался Петро. — У меня все горит без дыма и огня, летит к дьяволу.

Мне некогда дыхнуть, а тут эта кукла. Да коли б не мои батька и мама, я бы показал ей на порог. Но... Как тебе-то не совестно! Где твоя гуманность? А еще когда-то провозглашал: мы, интеллигентные люди...

В Петровых словах не было ни капли логики. Провозглашал опять-таки не Сашко, а он. И это рассмешило Долину. И примирило с Петром. Он снял и бросил на подоконник фартук, повязал галстук.

— Ну хорошо, давай свою куклу. Повожу ее за руку. Только ты того... не долго. Часа два я уж вам,— он нарочно сказал «вам», а не «ей»,— пожертвую, но не больше.

Сашко запер мастерскую, и они вышли на крыльцо.

— Слушай, а для чего ей провожатый? Разве она одна не может ходить? — с досадой спросил Долина.

— Понимаешь, у нее не глаза, а блюдца,— слегка смутился Петро.— И она их на все вытаращивает. Не дай бог, попадет под машину. Или заблудится.

Долина вздохнул и больше не спорил.

...Девушка ждала Примака у руин Успенской церкви, куда он велел ей прийти после выставки. Едва взглянув на нее, Сашко понял, что Петро точно и исчерпывающе охарактеризовал ее. Она и вправду напоминала куклу: красивая, с округлым личиком, большими синими глазами, длинными ресницами, малиновыми губами и аккуратным точеным подбородком. И вся она была на удивление складная: красивые полные руки, плавные линии плеч и талии, хотя немного и пухловата и ноги не совсем «современные»: не длинные и тонкие, а крепкие, с округлыми сильными коленями.

— Это и есть Люся. Первая красавица на все наши Ковши,— балагурил Примака.— Она окончила училище культпросвета, так что, думаю, обмен художественными ценностями будет вам полезен. Люся долго не получала распределения, но вот теперь устроилась. Едет в Полесский район. Ясное дело, этот район моментально выйдет на передовые позиции в республике по культуре.

Люся так смутилась, что долго не замечала протянутой ей руки. А когда заметила, смутилась еще пуще и вспыхнула до кончиков ушей. Сашку показалось, что из глаз ее вот-вот брызнут слезы, и он поспешил на защиту:

— Вы, Люся, не слушайте этого балабона. Хоть он и ваш сосед, но еще в бытность студентом упал с предназ-

наченного не ему пьедестала, и с того времени у него голова не в порядке. У нас в группе ему поручали заговаривать зубы преподавателям, когда мы не были готовы к семинару. И Петро, бывало, так сыпанет вопросами, один другого примитивней. Но кое-кого из почтенных профессоров все же доводил до помрачения рассудка.

— Ха-ха-ха,— закатился Петро то ли от Сашковых остроумств, то ли от радости, что ему все-таки удалось отделаться от Люси.— О, люпус, люпус, едва увидел хорошенький хвостик, завыл верлибром и готов вцепиться в холку брату по стае,— вытер он кулаком глаза.

— Не забывайся, я могу еще передумать,— пригрозил ему Сашко.— Приличному человеку и в голову бы такое не взбрело.

— Сдаюсь, сдаюсь,— поднял руки Петро.— Тем более, что я и вправду не страдаю комплексом благовоспитанности.

Люся, ничего не понимая из их разговора, покорно плелась сзади. А может, только делала вид, что не понимает, потому что когда Сашко оглянулся, торопливо отвела глаза. Сашко хотел было толкнуть Петра в бок: давай, мол, поосторожней, хватит хаять друг друга перед девушкой, но толчок достался какой-то пожилой иностранке, и та негодуя уставилась на незнакомого молодого человека. Петро уже исчез. Тем более, что исчезнуть было не трудно: вокруг сновали туристы, которых окликали и проталкивали вперед ловкие гиды, потерявшие последнюю совесть в этом человеческом сонмище. И Сашко тоже повел свою «иностранку». Они вышли на широкую, забитую автобусами улицу, вдоль которой ветер мел тополиные листья. Только теперь Долина заметил, что держит свою «группу» за руку. Наверно, чтобы не потерялась в толпе. А она покорно и испуганно шла рядом, и хотя снова покраснела, но не посмела выдернуть руки из его крепкой ладони. Сашко выпустил ее сам и почему-то покраснел тоже. Он подумал, что эта кукла, на его беду, слишком чувствительна, а может, и обидчива. Он, правда, знал за собой такой грех — преувеличивать душевную тонкость в людях, с которыми встречался, пытался с этим бороться и порой бросался из одной крайности в другую.

— Вы бывали где-нибудь дальше своих Ковшей и своего райцентра? — спросил он.

— В Виннице и в Хмельницком,— не поднимая глаз, ответила Люся.

Долина размышлял, откуда им начать обзор. Наверно, Петро не водил девушку и в Лавру, раз сообщил, что «сунул на выставку ювелирных изделий», значит, отсюда и надо плясать.

— Взгляните сюда,— показал он пальцем на церковь Спаса на Берестове.— Видите?

— Вижу,— тихо ответила Люся. — «Трикотаж и галантерея».

Хоть Сашко и пытался удержаться — не смог.

— Вот так музейные реликвии,— хохотал Долина.— Брюки да подтяжки.

А Люся снова вспыхнула, и на этот раз в ее глазах и вправду заблестели слезы. Она уже сама сообразила — за галантерейным магазином возносились золотые кресты пяти куполов — и была готова провалиться сквозь землю, но перед этим хоть как-то уязвить своего недоброго гида.

— Вы оба очень злые,— тихо сказала она.— Вот пускай только Петро приедет в село...— добавила совсем наивно.— Я кончила не культпросветучилище, а кулинарную школу. И ничего не знаю ни про памятники, ни про театры. Хотя спектакли очень люблю. Очень-очень,— она даже зажмурилась.— А вам и вправду не мешало бы поинтересоваться этими самыми «реликвиями». Все пуговицы были бы на месте... Опрятность — первый признак культуры.

Сашко поглядел на Люсю, как смотрит большой ласковый пес на обозленного щенка, и улыбнулся примирительно:

— Я не хотел вас обидеть, Люся. Вы одна...

— Да, я лучше пойду одна.

Она повернулась и пошла вдоль высокой стены к Крещатику. Сашко почувствовал себя по-настоящему виноватым. И ощутил неожиданный прилив симпатии к этой девушке, которая честно призналась в своей необразованности. Ему не хотелось так расстаться с нею, и он поспешил вслед.

— Люся, от всей души прошу прощения. И вам так не убежать. Я не брошу вас, ведь Петро меня убьет,— скрыл он за шуткой волнение, которое ни с того ни с сего охватило его. Сашку стало жаль милую и доверчивую девушку.— И не такой уж я лиходей, как вам показалось.

А в одиночку вы и впрямь можете заблудиться в Киеве. Или пристанет кто. Знаете, у нас тут есть такие проходимцы,— припугнул он.

Люся остановилась. Ее бунт погас.

— Если вам и вправду не хочется со мной гулять или некогда, так вернемся. Вы делайте, что вам нужно, а я посижу возле вашего дома.

— Ну что вы,— окончательно обезоруженный Люсиным смирением, великодушно возразил Сашко.— Мне приятно быть вашим гидом. Так куда же мы направим свои стопы? — задумался он. Золотые ворота, София, древние фрески — ему казалось, все это не слишком заинтересует Люсю. Может, позднее. Когда она будет для этого подготовлена. А сейчас... куда же повести ее сейчас? — Люся, вы цветы любите? Хотите пойти на выставку цветов?

— Хочу,— моргнув длинными ресницами, согласилась Люся.

И он повел ее на Владимирскую горку, где на газонах в горшках и ящиках белели, желтели, пылали выращенные совместными усилиями природы и людей цветы. Тут были фантастические сочетания тонов, неожиданные композиции, все это радовало глаз, омывало душу. Люся приседала на корточки возле цветов, беспрестанно ойкала, наивно и восторженно. А Сашко иронически-великодушно обводил все это руками, словно принадлежащее ему лично. Он свободно и весело острил, сочинял экспромты на кактус, который недавно нюхали одни только верблюды, на гарбузы, которые недавно девчата подносили парням; он высмеивал язык цветов, принятый в любви. Правда, это были не совсем экспромты. Давненько, в бытность свою студентами, они ходили с девушками по такой же выставке и состязались в стихотворстве, в остроумии. Но ведь Люся не могла этого знать, а он тоже, в сущности, не повторялся — разве могут повториться настроение и надежды?

Вообще с девушками, да и не только с девушками, а и просто с незнакомыми людьми он чувствовал себя стесненно, часто не попадал в тон, понимал это и болезненно переживал. Но если ему удавалось вырваться из оцепенения, он становился тонким и изысканным, мог каждое слово и каждую мысль преподнести так, что они представляли перед собеседником в неожиданном ракурсе, чаще всего забавном. Именно так произошло и на этот

раз. Нет, он не просто развлекал Люсю. Он ловил себя на том, что хочет понравиться ей.

В какой-то момент ему вспомнилась Светлана — недоступно-холодная красавица, секретарь из приемной Союза художников. Он потратил немало стараний, чтобы вызвать на ее губах хотя бы подобие улыбки. Но разве мог он, неудачник, состязаться с любимцами судьбы, облитыми потокой похвал живописцами и скульпторами, щеголеватыми остряками в лакированных туфлях и японских галстуках. Она ни разу не приняла даже его приглашения в кино. Это воспоминание отозвалось в груди неприятным холодком. Но сразу же и забылось...

На площадь Калинина, где договорились встретиться с Примаком, они пришли с небольшим опозданием. Петра не было. Ждали долго, но так и не дождались. Люся волновалась, а Сашко радовался.

Обедали в кафе на Крещатике, он хотел было заказать вина, но Люся решительно отказалась, и ему это понравилось. Потом ходили на осеннюю ярмарку в Пассаж, потом в кино. Вышли оттуда, когда уже зажглись фонари. Остановились на перекрестке Пушкинской и Свердлова, и тут Долина впервые задумался, как же им быть. Конечно, Петро не позаботился о гостинице для Люси (да и где ее найдешь!), а Сашко даже не помнил его адреса — где-то на улице Артема... Долина мог бы разыскать адрес, но для этого надо было ехать в мастерскую, обзванивать по телефону знакомых. Люся, видя его озабоченное лицо, испугалась по-настоящему.

— Вы... не бросите меня? — сказала она и робко притронулась к его руке. Она улыбалась заискивающе и просительно, и эта улыбка глубоко тронула Сашка. В одно мгновение рухнул последний барьер отчуждения и недоверия, какой существует между мало знакомыми девушкой и мужчиной. Это было очень приятно, но в то же время настораживало: не слишком ли быстро рушится этот барьер со стороны Люси.

Он отогнал эту мысль.

— Ну что вы, Люся, конечно, не брошу, — сказал Сашко успокаивающе.

Он повез ее к себе, в маленькую комнатку в коммунальной квартире. Две другие комнаты занимала семья таксиста. Дом был старый — возле центрального стадиона. И квартира была неважная — переоборудованная после войны из большого зала, — с газовой плитой и ра-

ковиной в коридорчике у самого входа. Сашко стеснялся перед Люсей своего жилья, того беспорядка и убожества, которые царили в комнате.

Соседей дома не было.

Мелькнула вдруг мысль — не остаться ли здесь и самому? Принести бутылочку вина, включить проигрыватель... А там — как получится. Чего церемониться... Она, может, и сама не против...

Но Сашкову душу поцарапывала совесть, под градом вопросов и колебаний она пробивалась к свету, заполняла все собой. Долина чувствовал стыд перед Люсей, перед ее распахнутыми глазами, ее наивностью и незащищенностью. Отыскивая чистое белье (у него был «аварийный запас»), он показал, где что лежит, постучался к соседям, которые к тому времени уже вернулись домой.

— Тут ко мне приехала землячка, — зачем-то соврал он, — оставляю ее на ваше попечение. Сам буду ночевать в мастерской.

Еще раз заглянул в свою комнату, чтобы пожелать Люсе доброй ночи. Им обоим не хотелось расставаться. И кто знает, кому больше. Сашко видел это ясно по Люсиным глазам. И слегка подсадовал на свою торопливость. Но теперь уже было поздно.

...На следующее утро Люся, как договорились, ждала его на улице возле дома. Он увидел ее издали, и пока шел к ней, что-то дрогнуло в его душе. Девушка была такой красивой, такой близкой и доверчивой. В ее глазах светились благодарность и искренняя радость. И еще что-то, чему невозможно найти названия. Сашко хотел сказать Люсе что-нибудь приятное, комплимент, например, но побоялся спугнуть ее доверчивость.

Они катались по Днепру на катере. Проехали до самого устья Десны, там сошли и гуляли по лугам. Бродили по пояс в травах, уже высохших, пожелтелых — луга почему-то стояли нескошенными, — такие травы, прошлогодние, у Сашка на Прилуччине назывались «нежаром». Люся шла легко, грациозно, подставляя лицо солнцу, и улыбка блуждала на ее губах.

Снова выбрались к Десне, пошли берегом. Возле высокого свежего стога на них напал пес, обыкновенный домашний песик, лохматый, глазки — бусинками и лопоухий. Они убегали, зная, что песик не укусит, но все-таки с хохотом бежали, пока не свалились у канавы в

траву. Люся лежала рядом с ним, дышала тяжело, лицо покраснелось, а глаза горели. Он хотел поцеловать ее в щеку, но она, по-детски растопылив пальцы, закрыла лицо и вскочила. Он смутился и поднялся тоже. Но видел, что Люся не сердится, казалось, ей жалко этого мига, и, может, она досадовала на твердую кромочку в своей душе, которую не могла преодолеть. Она вся занялась ясным внутренним светом, и он понял, что этот свет — от него и для него, и притих.

Возвращались они поздно, сидели на палубе катера, их пробирал холодный ветер. Сашко накинул на плечи Люсе пиджак и взял ее ладони в свои. Дрожал катер, дрожали Люсины руки, и месяц челном подскакивал над днепровскими кручами. Это были минуты их самой большой близости, пронизанные грустью близкого прощания, предчувствием пустоты, которая наступит потом...

Проводить землячку на автобусную станцию «Полесье» пришел и Петро. Не стал дожидаться отхода автобуса, попрощался и ушел. И Сашко остался с Люсей.

Им не хотелось разлучаться. Вот Люся уедет, и мир страшно сузится и обеднеет для него, думал Долина. Он боялся пустоты, боялся потерь, которые неизбежны при каждой разлуке. Особенно при разлуке с людьми, которые внезапно вошли в твою жизнь. И в то же время ему нестерпимо хотелось работать. Он обязан торопиться, если не хочет потерять ту волну, которая так круто и так бешено вознесла его на своем гребне в последние недели. Он вспомнил сопротивление камня и почувствовал силу, способную преодолеть это сопротивление. Под молодыми, недавно высаженными тополями у автостанции Сашко впервые поцеловал Люсю. Она не умела целоваться, ее губы стали сухими и горячими, а глаза — испуганными. Она их не закрывала, и в них плескались радость и страх, Сашко сказал, что будет писать каждые три дня. Кроме того, до Полесского всего сто километров, и она, конечно, часто будет приезжать в Киев. А как только выдастся свободное время, он и сам явится к ней.

Люся уехала, и его действительно охватила тоска. Их увлечение, их знакомство было таким кратким, что Сашко не мог найти этому ни меры, ни имени. Он не знал, надолго ли его увлечение, но чувствовал, что Люся осталась в его сердце и что это не заурядный эпизод, что он может смело отдаться этому чувству. А тоска приба-

вила ему сил в работе. Это действительно была борьба с камнем. Потом он ее вспоминал долгие годы. Как и эти, похожие один на другой, проведенные с Люсей дни. В его состязании с мрамором словно бы сплелись воедино две силы: веселое воодушевление и ненасытность с желанием выразить что-то большее, чем он может. Теперь он знал точно, ради кого делает эту скульптуру. Ради Люси. Да, да, он посвятил свою работу ей. Совершенно бескорыстно. То есть не саму скульптуру, а этот вот порыв. Она поймет все... Должна понять. Может, не сразу, позже...

Бывали минуты, когда Долине хотелось петь. И он пел. Хотелось позвать всех, кто появлялся во дворе, показать работу. И наплевать на все! На замыслы и расчеты! Ну, на них не наплюешь, однако... не они волновали его нынче. Он как бы поднялся над буднями, над своей жизнью и всем тем, что делал до недавних пор. Он уже видел, что его скульптурный портрет — не просто «Старик в задумчивости». Это не обычная задумчивость, а размышления о судьбе. О том, что сбылось, а что и не сбылось. Старик весь погрузился в свои мысли. Но это не было отчуждением от людей, чувствовалось, что он помнит о них, хотя и пытается в эту минуту отстраниться от них иронией. Лицо старика было проникновенным, живым, хотя Сашко и ваял оцепенение. Этот человек знал много потерь. Но не склонился перед судьбой, не подчинился ей. Его задумчивость разрешится великим решением. Старик еще вел расчеты с жизнью, продолжал борьбу. Он был как будто бы добрым, но и хитрым, и даже в чем-то коварным — и именно таким виделся Долине.

Глубокие морщины, которыми Сашко наделил старика, придавали ему невероятное сходство с лицом какого-то конкретного старого человека, а несколько легких, еле заметных штрихов подчеркивали и другое — разрушение, быстрый уход человека в небытие. Жизнь оставила на лбу и щеках старика неумолимые знаки, она будет гравировать и дальше, но, глядя на это лицо, Сашко видел нечто большее. Он постигал мир шире, глубже. Жизнь оставляет заметные зарубки, но глаза не грустят об этом и мысль не гаснет, человек знает: рождается новая жизнь, продолжается безостановочное движение.

И тысяча тысяч ног, что прошли за века по этому подворью, прошли не напрасно. Каждый человек что-то ос-

тавил миру. Картину, постройку, рассказ о добрых поступках своих предков. И они, и мы — струи одной реки. И прекрасно плыть в этом потоке.

В глазах, в уголках губ старик хранил тайну. Порой Долине казалось, что тайна эта залегла там помимо его воли. Иногда ему хотелось вырвать ее или хотя бы сбить резцом. Но разум подсказывал: этого нельзя делать. Необыкновенная тайна — плод его размышлений. А Долине и надо выразить ее как можно глубже. Выразить самую мысль, которой этот человек поверял мир и самого себя, становясь от того лучше или, может, тоньше, пробиваясь в неведомое, в будущее.

Работая, Долина забывал, что до недавнего времени это был совсем иной портрет. Он почти не чувствовал противоборства с тем образом. Только изредка отмечал, что из чужой, ненужной уже плоти рождается иная, более художественно совершенная. Порой его охватывал страх — как бы не испортить сделанного. Ведь он работал лишь по двум карандашным наброскам и по вылепленной на скорую руку миниатюрной модели. Но это опасение быстро проходило. Он интуитивно чувствовал нутро скульптуры и лишнее в ней, он словно бы вырывал из мертвого мрамора живого человека и знал: если захватит больше, чем нужно, станет больно самому.

Но знал и другое: скульптуре чего-то недостает. Вероятно, неповторимой черточки, которая придала бы ей еще одно звучание, то звучание, о котором, как он припоминал, говорил Кобка...

Усталый, вымотанный, Долина долго расхаживал вокруг скульптуры, но угадать заветной черточки не мог. Рухнул в кресло, опять и опять всматривался в лицо старого человека, и все без толку. Он так был утомлен, что не заметил, как выронил резец, как голова бессильно свесилась на грудь. Истощило его окончательно не столько физическое изнеможение, сколько бесплодность поисков. Да, он оказался в глухом тупике, и вокруг него не было ничего, кроме темноты. И именно тогда, внезапно, из темноты возник Кобка. Был он не язвительным, как обычно, а серьезным и задумчивым. Не поздоровался, а продолжал разговор как бы с полуслова, будто они только его оборвали. И это Долине не показалось странным.

— ...раздумья должны быть прекрасными. Человек в задумчивости великолепен. Мы стремимся в жизни только к одному — к красоте. Ощути ее со всей мучительной

радостью, всей душой. Чтобы вот тут...— Кобка резко ткнул рукой в грудь Сашка, и тот почувствовал ожог, словно к телу приложили раскаленный прут. Он испугался, что от прикосновения старика в груди образовалась дыра. Опустил глаза, но увидел только смятую фланелевую рубашку и облегченно вздохнул.

— А вы-то?..— спросил.

— Я? Ощущал. Но по молодости лет тоже не знал, как это передать в камне. А потом, видать, разучился. Но хотел этого всю жизнь. Носил это здесь,— и он положил руку на сердце. Несмотря на выпренность жеста, Долине показалось, что и старого каменотеса словно бы пронзило током, обожгло.— Ради этого только и стоит жить. Чтобы... вот так! Мне было хорошо просто от того, что я это ощущаю. Но больно, что не могу этого вдохнуть в камень. Иногда я подозревал: все не мое, все перешло ко мне по наследству. О, сколько из нас сознают это! Чаще всего на склоне лет. Все равно кто — скульптор, писатель, лесничий, хлебороб. Всех нас и ведет это древнее чувство.

— Чувство чего? — спросил Долина, теряя нить Кобкиной мысли.

— Красоты.

— А вы-то не пытались?..

— Пытался,— вздохнул Кобка.— И только однажды, и то напоследок, мне выпала удача. Я изваял скульптуру горюющей матери. Говорили, что это... Ну, истинное мастерство. Я не успел закончить. Война. Моя работа погибла, а я побывал в плену и в лагерях... Иссякла вера в себя, иссякло мастерство, погибли мои дети. Я увидел свою жену и свою мать в самом великом горе. Я узнал человека в муках. Я больше не начинал. Наверно, уже был неспособен воспевать красоту. Мне стали смешны «Венера Милосская» и «Давид». Хотя я понимаю, что это кощунство. Я завидую, что твоя душа открыта красоте.

Сашко был потрясен Кобкиной откровенностью, а еще больше тем, о чем говорил старик. Неопрятный, неряшливый каменотес пел гимн красоте. И так вдохновенно, что Сашко почувствовал новый, тайный смысл своей работы, и ему показалось — он догадался, чего не хватает его скульптуре. Внутреннего достоинства, высоты помыслов. Итак, раздумья его старца хоть и горестны, но достойны и высоки. Он способен на крайнее и, может быть, трагическое решение,— он выстрадал его, изболелся в

тяжких мыслях, но он не способен на мелочность. Сашко часто заморгал: в комнате по-прежнему густела темнота, только белесо отсвечивал в углу мрамор. Он нашарил на полу резец. Зажег свет и снова принялся за работу, так и не поняв — въяве или во сне видел Кобку.

Минула еще неделя. В каморке Долины царил хаос, пол и вещи покрылись густым слоем мраморной пыли, которую Сашко не убирал. Он исхудал и побледнел, его глаза болезненно блестели, но тело, как ни странно, не чувствовало усталости. Он мог работать и дальше, но в один прекрасный день понял, что делать больше ничего не надо. Еще одна черта, еще один штрих будут лишними. Сашко не почувствовал ни радости, ни удовлетворения. Только великое и легкое спокойствие, желание бросить все, запереть мастерскую и уйти — в поле, в лес — и, может быть, никогда не возвращаться. Уехать бы к Люсе! Жить в селе, работать вместе, растить сад, растить детей — и не ведать суеты и иступленности творчества, не помнить рожденных фантазией образов, не знать вечной погони за тем, чего догнать невозможно.

Но он понимал, что не сделает этого, что отдаст свое детище на ярмарку тщеславия, и будет добиваться признания, и будет маяться и страдать, и не раскается, и будет вечно гнаться, чтобы не догнать, ибо, как сказал Кобка, на это обречен художник.

День восемнадцатого ноября прямо-таки оглушил Долину. Именно тогда он понял, что радость тоже может оглушать. Хотя успех предчувствовал давно, когда показал своего «Старика» кое-кому из худсовета. Показал неофициально — те приходили в мастерскую к другому скульптору, и Сашко зазвал взглянуть и на его работу. Пожилые, солидные люди молча толпились в маленькой каморке Долины, не сводя взглядов со «Старика». Они не знали, что и сказать. Работа сбила их с толку. Своей необычностью, простотой и вместе с тем таинственностью, которая крылась в глубоком оцепенении старого человека... «Старик» покори́л всех и не просто покори́л, а чем-то и упрекнул, заставил всмотреться в себя и думать, думать, оглядываясь назад — каждому на свое.

— Та-а-к! — наконец протянул высокий, худой Харченко, академик. — Та-а-к!

Это протяжное словцо вобрало в себя и оценку, и вос-

хищение, и даже маленькую, незлую зависть щедрого старого художника. Больше Харченко не сказал ничего, не мог подобрать нужного, уже выверенного теорией определения.

К какой школе, к какой категории отнести портрет? Вроде бы строгое, классическое ваяние, но одновременно простота, непринужденность. Опять же — полная ясность, чистота работы и некий секрет, глубоко спрятанная золотая жилка, которая не давалась в руки.

Этого секрета, этой жилки не могли найти и другие художники на всех просмотровых турах и без туров.

Выставленный в центральном павильоне скульптурный портрет приковал к себе взгляды многих ценителей искусства. Правда, были и такие, кто проходил мимо, не всматриваясь, но те, кто останавливался, останавливались надолго. «Старик» завораживал их. На первый взгляд казалось, что скульптор воплотил в нем символ полного одиночества, отрешенности от мира и от себя самого. При внимательном же рассмотрении возникало ощущение глубокой сосредоточенности, напряженных поисков. В то же время портрет заставлял каждого всерьез задумываться. Хотелось помочь старцу, подсказать... но что? И вдруг зритель понимал, что старик уже нашел решение и даже подсмеивается над его усилиями.

Трудно было угадать и какой человек изваян скульптором. Добрый или злой? Конечно, секрет заключался в освещении, но не только в нем. Старик был благороден и жесток, как почти все старые люди, которые замахнулись в жизни на что-то крупное, но не осилили этого.

Да и сам Долина не мог сказать, нравится ему «Старик» или нет. Не как произведение, а как тип. Хотя теперь его не заботило это. Он улавливал неподдельный восторг в глазах людей и растворялся в этом восторге. Растворялся без остатка. В один прекрасный момент он даже забыл, кому принадлежит его творение. К тому времени развеялись прежние честолюбивые замыслы, Сашка охватила неловкость и тихая весенняя радость.

Его окружила толпа поклонников, почитателей, друзей, завистников и просто созерцателей. Сашко смущенно и скованно улыбался, не зная, куда девать диплом первой степени — вторую премию выставки (первая была присуждена коллективу авторов за многолетнюю работу), что делать с цветами, которых ему надарили це-

лую охапку. Сквозь толпу пробился Петро, обнял Сашка, у того только хрустнули косточки.

— Ну, брат, обскакал ты нас на сто километров,— сказал Петро, поблескивая карими глазками. Но никакой зависти в его глазах Долина не увидел. И ему стало легко и хорошо.— Выкинул штуку,— гудел Петро своим дьяковским басом.— Признаться, я не верил в тебя. Бей теперь меня по шее сколько осилишь. Бей и топчи. Э, нет, сперва иди вон туда, к трибуне. Кланяйся и благодари. Так положено.

Он силком вытолкнул Сашка перед плотно составленными в главном зале стульями, занятыми художниками, студентами, родственниками и приятелями тех, чьи творения экспонировались на выставке. Сашко остановился у обитой красной тканью трибуны, хотел что-то сказать, хотел поклониться — и не знал кому. Учителям?.. Но он забыл их, как и они его, уверившись по первым работам, что он их надежд не оправдает. Товарищам? Их у него вроде не было. Нет, были! И есть! И учителя, и товарищи. Все эти люди радуются за него, и ему хорошо с ними. Он только теперь понял это. Без их вниманья этот мрамор не был бы нужен и ему.

Его глаза увлажнились, он уже не видел лиц, что-то белое, зыбкое колыхалось, словно гигантская колыбель, и он колыхался вместе с нею.

И вдруг он увидел Кобку. Старый каменотес восседал в кресле и смотрел не на него, а куда-то вниз и вбок. Вот он шевельнулся, прищурил глаза, кивнул в угол, где должен был стоять «Академик», туда, где теперь сидел президиум.

Это видение, этот взгляд были так неожиданны здесь, что Сашко сжался, втянул голову в плечи. Он судорожно обеими руками прижал к себе красную папку, раскрыл рот, не молвил ни слова, только пошевелил губами и пошел прочь. Все приняли это как проявление необычайной скромности и растерянности скульптора перед великим успехом, который выпал на его долю, и захлопали.

В этот момент Долина снова увидел лицо, но уже совершенно реальное. За последним рядом стульев в красненьком беретике стояла Люся. Она все-таки приехала, несмотря на то, что день был будний. У Сашка потеплело на сердце. Сейчас он подойдет к ней. Это будет для нее подарком. Она, конечно, застесняется, покраснеет, но сердечко ее возликует. Сашку что-то подсказывало: это

будет торжественный момент, он как бы отдаст свой успех в ее руки, и они понесут его дальше вместе, и только вдвоем. Ведь когда он работал, именно об этом и думал.

Почувствовал на себе сотни любопытных взглядов, представил, как все они сойдутся на Люсе, ощутил неприятный жар юпитеров и сторожкое око телекамеры и замедлил шаги. Остановился у третьего ряда, где сидел его бывший учитель, профессор Гриценко. Тот поднялся и пожал Долине руку. Потом его шумно и, как показалось Сашку, неискренне приветствовал Калюжный.

— Поздравляю, старик, поздравляю и желаю. Это — настоящий взлет. Сегодня ты от нас не отвертишься. С тебя причитается.

Потом рядом оказалась Светлана. Длинноногая, тонкая, с бледным лицом, на котором брови были словно нарисованы черной гуашью, в строгом светло-сером костюме, причесанная гладко, на пробор, такая же, как всегда, корректная, но гораздо сердечней, чем раньше. На ее выразительных, чуть тронутых помадой губах играла улыбка. Она подала ему три завернутые в целлофан каллы.

— От президиума и правления! — объявила она громко и несколько официально, а потом добавила тихо и вкрадчиво: — И от меня лично. От чистого сердца, которое всегда верило в вас.

— Целуй ручки даме, — хохотал Калюжный. — Ведь можешь и не дожидаться второго такого случая.

— Мы владеем случаем, а не он нами, — ответила Светлана.

Сашко рук целовать не умел, но невольно задержал ее узкую теплую ладонь в своей. В этот момент он прочитал в ее глазах позволение на все: пригласить в кино, на Владимирскую горку, а может быть, и к себе домой. Догадка взволновала его. Сбила с толку доступность когда-то недоступного, хотя он чувствовал, что дело тут нечисто, и еще раз, наверно, крепче, чем полагалось, сжал руку Светланы.

Когда церемония закончилась и все разом задвигали стульями, его на некоторое время окружили бывшие однокашники, или, как они называли друг друга, односухарники. Мимо него проплыло светило с планетами: в тесном кольце почитателей и льстецов прошествовал академик Срибный, приостановился и тоже пожал Долине руку.

Шумной толпой, предвкушая веселый ужин, худож-

ники вышли из павильона. И только теперь Сашко вспомнил про Люсю. Он смотрел туда и сюда, разыскивая красненький беретик, извинился перед товарищами, пробился через толпу обратно в павильон, пробежал по пустым залам — Люси не было. Сашко выскочил через служебный выход, обежал павильон, вглядываясь во встречный поток зрителей, все еще надеясь отыскать красненький берет. Но мимо него плыли чужие лица. Его каллы нес в одной руке Калюжный, другой поддерживал под локоть Светлану. Увидев Сашку, она опять улыбнулась ему и сделала знак пальчиками: мол, быстрее, ждем...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Долина сидел во втором ряду, у самой стены. Он почти не слушал докладчика — думал о своем. Не слушал, чтобы не нервничать и не травить себя завистью. Академик Срибный как раз перечислял самые видные работы, пусть и не выдающиеся, но значительные, созданные за последний год. Долина знал: его имени среди тех пяти-шести он не назовет. Ничего не скажешь — все правильно. Сашко не до такой степени необъективен, чтобы не понимать этого, а вот сидит в нем усердный древоточец и точит, точит...

Наконец Срибный глотнул воды и перешел ко второму разделу доклада. Собственно, второго раздела не было, просто Срибный перевел дух, но все поняли, что дальше речь пойдет о сорте пониже. Сашко заволновался: если Срибный не назовет его и теперь... Но волнение сразу погасло. Сашко знал почти наверняка — назовет. И даже предугадал заранее фразочку, которая будет предшествовать его имени: «Плодотворно работают скульпторы...» — и около десятка фамилий. Его фамилию будут комментировать слова: «Развивает свою тему...» И назовут его пятым. Да, пятым. Это — тоже имело значение.

Обожгла обида. Ну какая разница, будет его имя пятым, а Воронежского — шестым или наоборот. А вот ведь... Если в один прекрасный день Воронежского назовут пятым, а его — шестым, это будет невероятным ударом. Он с грустью отметил: имена высшей обоймы его почти не трогают, это уже недосыгаемо, а эти... Хоть и понимал смехотворность происходящего. И неужто ему так и сидеть теперь весь век и слушать — пятым или ше-

стым? Переживать, страдать, мучиться... До того самого дня, пока: ту-ру-ру — и понесли шестого вперед ногами. Или, наоборот,— пятого. Страшно как! И непонятно. Ведь значение имеет только то, что создано, истинное, талантливое.

— Плодотворно работают скульпторы...— произнес Срибный и начал перечислять:— Александр Долина, который развивает свою тему...

Долина вздрогнул. На миг он почувствовал что-то похожее на удовлетворение: «Все-таки пятым!» — а вместе с тем и страх. Он угадал формулировки Срибного до последней запятой. Он уже давно угадывал наперед, что про него будет сказано или написано, но сегодня впервые отметил в этом некую закономерность, скрытую логику и неизбежность. При всем том Срибный не совсем точно характеризовал Сашкову работу за последние пять лет. Да, после «Старика в задумчивости» Долина пытался сделать похожую вещь, на «высшем уровне». Он вылепил «Юношу», который засмотрелся вдаль, усталого путника и даже мыслителя. Все они (он это замечал только в конце работы) повторяли «Старика», и повторяли слабо. Хотя выполнены были почти безупречно. И Сашко знал, откуда это: их создавал опыт. Опыт «Старика в задумчивости». Но этот профессионализм был бесстрастным. А он — Сашко знал это — может иметь разное выражение. В мире есть вещи, достичь которые можно только благодаря высокой техничности. В конечном счете талант, наверно, начинается всем набранным опытом, сконцентрированным и переданным утренним лучом солнца, пением соловья, песней матери, жестом отцовской руки. А позже опыт обогащается талантом.

То, что пришло к Сашку, называлось профессиональным умением. Но если быть откровенным до конца, то три последние скульптуры были просто холодными, безукоризненно обработанными глыбами мрамора. Его образы жили и не жили, потому что не было в них момента осмысления, одухотворенности, преходящести бытия. Каждый персонаж обладал вроде бы другим лицом, в каждого Долина вкладывал иной замысел, а получалось одинаково. Ни одна из работ не вызывала восхищения или просто интереса. Их не замечали ни критики, ни читатели. Это было горько. Правда, все три скульптуры были куплены, а кроме того, он корпел и над очередны-

ми. Оформлял один из павильонов выставки передового опыта, с группой скульпторов работал над мемориалом героям-партизанам в Карпатах. Это были государственные, престижные заказы, они сами по себе вызывали доверие к художнику, утверждали его среди коллег и в то же время обеспечивали материально. Но они не приносили радости, не наполняли душу покоем и уверенностью, а без этого художник не может шагать по крутым ступенькам успеха вверх и вверх, своими руками вырубая эти ступеньки. В минуты холодного самоанализа он не мог не понимать, что все это — сила инерции, раз и навсегда заданного движения; тем, что скульптор Александр Долина добился, получил и, наверно, еще получит, он обязан «Старику в задумчивости». Он обязан ему и прочным положением, и званием заслуженного деятеля искусств, и трехкомнатной квартирой на Брест-Литовском проспекте, и мастерской с балконом и видом на Днепр с третьего этажа, и даже... красавицей женой. Да, они поженились со Светланой, изысканной секретаршей из приемной Союза художников. Хотя теперь от этого Долине становилось как-то не по себе. Ведь он не предполагал, что придется расплачиваться за дар судьбы. Конечно, он радовался, даже просто приходя со своей красавицей женой в Дом художника, но... Но Сашко постоянно одолевали недобрые мысли, горечь поднималась в душе, он чувствовал, что буксует, и это разрушало его жизнь.

Собрание закончилось, и все повалили к выходу. Сашко столкнулся с Петром Примаком. Срибный сегодня совсем не помянул Петра, но вид у того был довольный. На круглом лице сияла улыбка, а маленький, кнопкой, нос весело морщился. Наверно, Петро только что услышал остроумный анекдот. В этой давке им не удалось толком поздороваться, они обменялись рукопожатием внизу, в вестибюле.

— Ты брат, не дремлешь, выкинул новую штуку,— сказал Петро. И, хотя голос был теплым, искренним, Сашко понял, что Петро сказал это из вежливости. Оба знали — развивать эту тему опасно. О своей незаконченной работе Примаков говорить не захотел.

— Ты бы как-нибудь заглянул,— предложил Сашко.

— Всё киваем: как-нибудь да как-нибудь. Древние говорили: принеси мне один цветок сегодня, а не большой венок на мою могилу. Айда ко мне! Школьный то-

варищ у меня гостит, форели привез. Ты ел когда-нибудь форель? Я — сроду никогда, — простодушно признался Петро. — А он приволок целую корзину. Подхватим Светлану...

— Не могу, — искренне пожалел Долина. — Обещали к Дацюкам. У них чьи-то именины...

Примак поморщился, а Сашко покраснел. Дацюки — та самая «престижная» компания, где не пахнет доверием и искренностью, зато можно нащупать тайные пути в верха, к маститым; Петро, конечно, слышал об этом, и его неприятно удивили новые Долинины знакомства. Но Сашко не стал ничего объяснять.

— Что ж, ежели обещал... — поскреб щеку Примак. — Так мы тебя хоть домой подкинем. Сейчас подъедет Люся...

Долину обдало жаром. Он ощутил панический ужас перед этой встречей. То, что Примак женился на Люсе, он знал давно. Все так странно, причудливо переплелось... В той лихорадке, в беготне по редакциям, в неожиданной перемене жизни он просто забыл о Люсе. А когда удосужился написать, она не ответила. Хотел поехать и... не поехал. Это его долго мучило, и он чувствовал душевную смуту. А Светлана была рядом, не давала ему опомниться, закрутила его, как ветром сорванный с копны сноп. Была загадочной и притягательной: порой близкая и чресчур ласковая, порой далекая и неприступная. И даже когда он предложил ей выйти за него замуж, она отказала в первый раз... Люся к тому времени совсем исчезла из его жизни. Потом он узнал от Петра, что ее перевели в другой район. А когда услышал об их свадьбе, только ахнул. Вспомнил, как Петро отделялся от нее. Казалось, они и не подходили друг другу: Петро хоть и умница, но упрям, грубоват, самолюбив, слишком уверен в самом деле и равнодушен к остальному; Люся — нежная, чувствительная, наивная. К тому же Петро не слишком-то красив... Если бы не шевелюра, так совсем никуда. Волосы у него буйные, курчавые и постоянно рассыпаются, а он встряхивает головой — как парубки в селе — и плавным, неторопливым движением откидывает их назад. Ростом он тоже не вышел, ниже Люси. Тяжеловат, приземист. А Люся в Сашковом представлении так и осталась хорошенькой куколкой. Со времени их женитьбы виделись два или три раза — мельком, в толпе, перед началом киносенсов в Доме художника. Последний раз чуть не год назад...

Ему, конечно, хотелось повидать Люсю, раз уж он ее потерял, так пускай узнает, чего он добился без нее, пускай позавидует, помечтает о нем. Хотя во всем был виноват только он. И вот теперь должен нести повинную голову... Она небось рассказала все Петру. А Петро ей — о том, каков скульптор нынче он, Сашко: живет старой славой.

Долина попытался увильнуть от встречи, но Примак решительно взял его под руку:

— Нам ведь почти по дороге.

У подъезда усаживались в «Волги» маститые. Примаков «Запорожец» приютился у самого перекрестка, в густой тени старой липы.

Люся явно удивилась Долине. Ее выдал голос — низкий и мягкий, он вдруг напряженно зазвенел. Лица ее Сашко почти не видел в вечернем сумраке. Но, когда они сели в машину, она оглянулась без всякого замешательства, и по ее губам скользнула усмешка:

— Вас с ветерком? Тогда по рублю с носа.

— Ну, ты Сашку должна еще за экскурсию, — засмеялся Примак.

А Сашко не нашелся, что ответить. Смотрел на Люсю, и его все сильнее охватывало волнение, смешанное с удивлением.

Люся была та и не та.

То же округлое, четкого абриса личико, те же распахнутые серые глаза, и в то же время какая уверенность, непринужденная манера, решительность! Она была в джинсах, в кожаной курточке, в кепке с коротким козырьком. О прежней Люсе напоминала только толстенная коса (такой анахронизм в наше-то время!), а в ней — большой бант. Когда Люся поворачивала машину, коса и бант мотались из стороны в сторону. Люся правила и машиной, и Петром, о чем Сашко догадался по нескольким коротким репликам. По всему было видно, что сам Петро не придавал этому значения. Видно, он поступался независимостью только в своей машине и квартире.

Возле ближайшего гастронома Люся притормозила и подъехала к бровке.

— У нас нет хлеба, — сказала она. — И масла.

Петро быстро вылез из «Запорожца» и отправился в магазин. В машине воцарилось долгое молчание. Сашко чувствовал себя неловко. Каково Люсе, он угадать не мог и мучился вдвойне.

— Ну что, принес вам «Старик» счастье? — внезапно повернула она голову, и в ее глазах при свете уличных фонарей мелькнули зеленоватые огоньки.

Долина оторопел от такого вопроса, окончательно растерялся. Во-первых, Люся словно бы напомнила о начале их знакомства и о его поведении на выставке, во-вторых, сам вопрос...

Наверно, Люся не ожидала, что Долина так растеряется, и быстро добавила:

— Это ваше лучшее. Что-то в «Старике» есть... Какой-то зловещий он, а может, мне так показалось.

Теперь Сашко смог ответить:

— Скажу вам по правде, я не очень люблю вспоминать об этой работе. Все словно сговорились. «Старик» да «Старик», а я ведь после него сделал немало. Я понимаю, все уступает той скульптуре. Но кое в чем я продвинулся вперед. Вот посмотрите, я еще докажу...

Это было слишком откровенно, и он сразу пожалел. Почему у него вырвались эти слова? Каким-то образом Люся вызвала их. Искренностью, прямоотой зацепила за что-то больное, потаенное. Жалеет она о том времени, мстит ему, зовет на новое сближение? Он ничего не мог понять и совсем разволновался.

Вернулся Петро. Кроме хлеба и масла, он прихватил две бутылки «Старки».

— Жаль, что ты идешь на эту звероферму,— буркнул он.— Правда, там будут не только рыжие лисы да чернобурки, а и зайцы, и медведи, однако...

Петро пребывал в том возбужденном и счастливом настроении, когда непременно хочется делать всем приятное, дарить, говорить добрые слова...

— А знаешь,— внезапно предложил он с усмешкой,— поехали с нами в Прилуки. На недельку. Погода-то какая! Последние теплые деньки, скоро грянут дожди. А какие там места! — Чем дальше он раскидывал свои планы, тем сильнее увлекался и старался непременно уговорить Долину.— Дубовый лес, озеро... Меня пригласил знакомый лесник. Он с семьей перебрался в село, на свой участок ездит на мотоцикле, а дом там пустует. Пишет — яблочко уродилось!.. А еще пишет,— Петро улыбнулся,— выкоси мне лужок. Тут-то я и подумал: одному в лесу... ну, не то чтобы страшно, а несподручно. Все-таки глухой бор.

— Я... не знаю,— растерянно отозвался Сашко. Хотя

его и вправду манили лес, и тишина, и горлицы, которые, как он знал, воркуют утренней порой, и суматошный крик филина ночью,— он вырос рядом с лесом, и ему так захотелось хоть ненадолго сбежать от цивилизации, от заседаний, от болтовни про искусство. Да и отдохнуть не мешало бы. Светлане такой отпуск придется не по вкусу, но он ее как-нибудь уговорит.

«А хорошо ли, что рядом будет Люся?» — вдруг спросил он себя. И такую этот вопрос вызвал тревогу, что у него задрожало сердце.

— Не знаю, надо посоветоваться со Светланой,— сказал он.— Я тебе позвоню.

Светлана ждала его. В черном платье с золотыми блестками, в черных модных туфельках — за них было отдано спекулянтке сто пятьдесят рублей. Ивасик уже перекочевал к соседям. Несколько платьев висели на спинках стульев, на столе громоздились флаконы и косметика, и вообще в квартире царил чудовищный беспорядок. Сашко краснел, если к ним заходил кто-нибудь,— он стеснялся и беспорядка, и того, как жена помыкала им, даже на людях. Хотя сама любила, когда его чествовали в шумном обществе, и просила Сашка приглашать знакомых художников к ним в дом. Одно время даже пыталась устроить нечто вроде салона, но ничего не получилось. Дело оказалось слишком хлопотным и дорогим, а число гостей на «субботних огоньках» — маловатым. Да и Светлана, как ни билась, не сумела войти в роль хозяйки салона. Она желала видеть у себя художников, но не умела видеть искусства. Попыталась она руководить и творчеством мужа. Но здесь Сашко не принял ее главенства, не мог принять, как не приняла, в свою очередь, и не одобрила она его взглядов на мир, семью, супружеские отношения. Да она просто не желала их знать! Не хотела вникать в его работу, не могла понять ее. Не войдя в мир его замыслов и фантазий, она осталась чужой в кругу художников. Долина пытался увлечь ее искусством, тратил невероятные усилия.— и все напрасно. Выставки ее утомляли, толстые монографии Гойи и Ренуара нагоняли скуку. Наконец Сашко оставил свои старания, поняв, что человек — не пузырек, откуда можно вылить одну жидкость и налить другую. И окончательно махнул на жену рукой. Он, конечно, понимал, как много теряет. Ведь мог бы каждой новой работой удивлять, радовать жену. Жить, ожидая ее похва-

лы и восхищения. Да... черт с ними! Довольно и себя одного. Своей оценки. Конечно, он понимал — когда-нибудь это скажется и на другом, что такой семейный уклад приведет к полному одиночеству. Сейчас его поглощала работа, всяческая дребедень в Союзе художников, но ведь когда-то этот заряд иссякнет. Если бы он продолжал глубоко любить Светлану, то отдался бы этой любви, завоеванию этой женщины, страдал бы, мучился и либо завоевал, либо они расстались. А так меж ними пролегла широкая нейтральная полоса, и холодный ветер теребил на ней высокий бурьян. С некоторого времени Долину устраивала эта нейтральная полоса. Он даже был доволен, что жена теперь не лезет в его дела, как, скажем, жена Калюжного, которая, не соображая в искусстве ни черта, сует нос во все работы мужа.

Но порой ему становилось тоскливо, и тогда он понимал, что не совсем справедлив, что обязан жене душевным теплом, иначе к чему жить вместе? Наверно, она считает, и не без оснований, что он ее обманул. То есть обманулась она сама, но он этому невольно содействовал. Она делала ставку на его взлет, карьеру, которую обещал первый успех. Ей казалось, что ее ждет разнообразная, полная кипения, скрытых страстей и красивых вещей жизнь, и в ней-то она сможет принести Долине пользу. Будет проталкивать его, вести между рифами, которые научилась угадывать, сидя в приемной шефа. Работая там же, в приемной, она, стремясь выбиться повыше, закончила педагогический институт и теперь отбывала положенный срок в школе. Она поняла, что бесповоротно ошиблась в муже, и ей не оставалось ничего, как только плыть по этой нудной, серой житейской реке. Плавание ей скрашивали такие вечера, как сегодняшней, она тащила Сашка к Дацюкам, убедив его, что светская жизнь им необходима. Глядя на свою жену, Сашку как-то пришло в голову, что Светлана тоже один из даров Кобки — злой и жутковатый подарок Кобки, не разгаданного им, о котором он старался не вспоминать и против воли вспоминал часто. Не мог не видеть, что Кобкины пророчества оправдываются полностью, что «Старик в задумчивости» — лучший его скульптурный портрет, а дальше выстроилась шеренга однообразных болванчиков. Но Сашко надеялся в конце концов сделать скульптуру лучше даже «Старика в задумчивости». Да и «болванчики» пока не выбили его окончательно из колеи. Прав-

да, иногда он терялся, не мог преодолеть тяжести в сердце и в мыслях, особенно если наперед предвидел события, которые еще не совершились. Скажем, как только что на собрании. Это тревожило, даже пугало, и он хватался за резец, чтобы забыться. Порой его обуревала злоба неизвестно на кого. Ему хотелось унижить врагов, доказать свое превосходство, свое умение, но не знал — как, чем... То есть знал, но боялся, что не сможет.

И все-таки не терял надежды. Он еще «выкинет такую штуку», что все рты поразевают.

Думая об этом, Сашко бессмысленно смотрел в окно троллейбуса, и мелькающие мимо фонарные тумбы казались ему заготовками будущих работ.

Живописец Дацюк, к которому они ехали на «суарэ», жил на Пушкинской, недалеко от площади Толстого, в трехкомнатной квартире старого дома. Одна из комнат, громадная, полукруглая, с балконом, предназначалась гостеприимными хозяевами для приемов. Народу, как всегда, было полно. По большей части художников и скульпторов, давно знакомых друг с другом. Было несколько человек, не принадлежащих к их кругу. Например, смуглая черноволосая красавица в красном платье, бывшая жена известного архитектора, о которой Калюжный поведал на ухо Долине, что она — женщина «свободная во всех отношениях». А та, не слишком церемонясь, брэнчала на большом черном рояле и очень громко, очень развязно, но все-таки недурно пела. За столом она много пила и хохотала, словно бросая кому-то вызов. Мужчины украдкой поглядывали на нее. Женщины завидовали ее раскованности. Сидела она против немолодой четы Устименко, бездетных супругов, навечно влюбленных друг в друга. Они с ужасом смотрели в ее красивое и ярко подгримированное лицо. И жена Устименко заподозрила мужа в старательно скрываемой симпатии к «свободной» женщине. Архитекторше было весело, она упивалась успехом, но Долина думал, что не так уж она счастлива, и, хотя вызывает интерес у мужчин, восхищение их — однозначно. В конце концов, все это приедается, захочется ей домашнего уюта и детей, а на ее пути будут встречаться все более мелкие и никчемные самцы, и она из-за них возненавидит весь мир. И все-таки Долина не мог не восхищаться молодой женщиной.

В перерыве между едой и выпивкой мужчины играли

в соседней комнате в карты, женщины болтали. Калюжный организовал игры с фантами, с пением и танцами. Взял в зубы столовый нож, смешно скосив глаза и ступая на носках, прошелся по кругу: «Асса, асса», пародируя лезгинку. Но его запал быстро погас. А может, ему и не хотелось тратить его тут. Ведь Калюжный был вхож к академику Срибному. Каждую неделю у того на даче собирались маститые и четверо или пятеро молодых, талантливых — тех, кого уже признали талантливыми, и они знали, что их паломничество будет лестно Срибному. Кроме того, каждый по совместительству умел еще что-нибудь — один удачно жарил шашлыки, другой сбивал вкусные коктейли, третий знал бесчисленное множество анекдотов... И все умели льстить. Это была целая наука, тщательно разработанная система. Но как же терпел это Срибный, человек необычайно одаренный, честный и к тому же прямой? Не разбирался в людях? Был ослеплен каскадами похвал, которые рушились на его голову? Наблюдал и смеялся в душе? Ведь однажды он сказал о Калюжном: «Знаю, что негодяй, знаю, что врет, а приятно».

В кругу Срибного Калюжный играл роль циника и рубахи-парня. По крайней мере, так казалось поначалу. На самом же деле Калюжный имел по несколько — и все категоричных — суждений по каждому поводу. И высказывал их в зависимости от обстоятельств. В разговорах он пренебрегал авторитетами (чаще всего теми, кто опочил или работал в отдалении), на собраниях выступал хлестко, громил, развенчивал, нападал. Он знал, что это самый верный способ утвердиться, и, хотя не раз цепенел от страха, что кто-нибудь, в конце концов, разгромит и его, продолжал в том же духе.

Последовательно исповедовал он одно: творческую манеру Срибного. Его жизненную концепцию, его вкусы и пристрастия. Никому и в голову не приходило, что это — игра. Наверно, потому-то Срибный и принимал Калюжного, в талант которого не верил. На самом же деле Калюжный культивировал все противоположное тому, о чем с такой проникновенностью глаголил у Срибного. Долина догадывался, что, когда уйдет со своей должности Срибный и придет другой шеф, Калюжный перестанет превозносить вкусы и привязанности, которые исповедует теперь. И переметнется под другое крыльцо незаметно, но вовремя. Правда, новому шефу он так льстить

не будет. Шагнет на ступеньку выше. И заведет своих клевретов, вместе с которыми и будет плести интриги, чтобы спихнуть нового шефа и занять самому его место.

Все это не так давно открылось Сашку, он увидел Калюжного и его приверженцев в особом свете, а точнее — просвеченными насквозь. Теперь их нутро не прикрывали ни одежда, ни фразы, они были пронизаны невидимыми лучами. Вот Калюжный. Несколько пятен, штрихов, но ясней всего видна линия карьеры. Калюжный давно понял, что художник он посредственный, и поставил целью пробиться повыше. И ему нужно было знать наверняка, кому угодить, кого укусить, кого возвеличить. Но при случае, когда Калюжный без меры кому-то пакостил, мог он сотворить и доброе дело.

А вот и академик Срибный. Он справедлив, отдал себя служению музам и истине. И служит искренне, почти благоговейно, считает себя художником высшего разряда (в этом его убедила и критика), хотя и не видит, что пишет в одной манере (хотя и лучше всех), и этим его картины отличаются от картин настоящих классиков. Он слегка самовлюблен (предан интересам народа, но не заметил, где оборвались обычные житейские его связи с народом), не научился разбираться в людях (это не грех его, а беда), плохо воспринимает юмор и уж совсем не допускает его в разговорах о своем творчестве.

А вот Целуйко. Физически не переносит людей талантливей себя. А поскольку таких девяносто процентов, то ненавидит всех. И кусает каждого, кто под руку попадет. Погряз в лакействе, и есть в его биографии совсем уж темное пятно — недостойное поведение на войне. Иногда он выступал как критик, и его боялись — сегодня он мог разгромить то, что хвалил вчера, — муки сомнения ему были чужды.

Много у Дацюков собралось людей, не уважающих друг друга, завидующих друг другу, оговаривающих друг друга за глаза. Тут они истинные! А в обществе поднимают за недругов рюмки (тайком наступая соседу на ногу, мол, ты же понимаешь, что не этого заслуживает сей бездарь, я просто высмеиваю его), лобызаются с ними, восхваляют. И в соседней комнате шепчут на ухо: «Этот болван думает, что я говорил всерьез».

И Сашку вспомнилось родное село: там с теми, кого не уважают, за стол не садятся. По аналогии, а может, наоборот, по контрасту, Долина подумал о Примаке. Не

сказать, чтобы Примаку были чужды честолюбие и желание славы. Он только делает вид, что ему все трын-трава, что он, мол, ишак, работает, и все, мол, ему все едино, дрова рубить или камень портить. Нет, не все равно! Но он умеет свое честолюбие подчинить другим чувствам, сдерживать его, не напирать на других, и именно потому он трижды порядочен.

И так нестерпимо захотелось Сашку работать, он представил, как погружается в тишину мастерской, отдается во власть фантазии, и едва сдержался, чтобы не ринуться туда прямо сейчас. Руки просили работы, надежда грела сердце. Сашко сам не знал, откуда она взялась. Она так давно оставила его, что он уже поверил: а не сбылось ли странное предсказание Кобки? То есть оправдалось не дедово пророчество, в это Сашко все-таки не верил, а что он так быстро исчерпал запас душевных сил, вдохновение, вкус к борьбе, а именно они и рожают надежду. Он даже засмеялся, фехтуя с воображаемой тенью: «Ну-ну, со мной такие штуки не пройдут. Я вам не Рафаэль из «Шагреновой кожи». Ни от кого не завишу и все мое ношу с собой», — перефразировал он латинскую пословицу.

Однако на следующее утро, войдя в мастерскую, почувствовал, что и рабочий пыл, и надежда угасли. А может, их и не было вовсе, просто возникло сопротивление вчерашней атмосфере, случайной компании, вымученному веселью, он словно защищался от них своей профессией и своей надеждой. А теперь увидел, что надеяться — то не на что. Его «Солдат с войны пришедший» был все тем же старым, усталым человеком, и никем больше. Он сидел, положив на колени автомат, а на автомат — большие жилистые руки, и смотрел вдаль. Собственно, никуда он не смотрел. А должен был видеть пройденные дороги, потери, всю ту громаду, что вынес на своих плечах, должен был видеть все, что было, что он пережил. Из этого появились бы новые ростки: надежды, веры, радости. А их не было.

Была только холодная тяжелая глина, которую он перельет в такое же холодное оргстекло.

И собственное тело показалось Долине налитым холодной тяжестью. Ноги у него подломились, и он сел в свое знаменитое кресло, то самое, что стояло в подвале. Только подреставрированное, обтянутое тафтой и отлакированное. Кроме инструментов, это была единственная

вещь, которую он притащил из подвала. Он не знал зачем. Ведь было два новых кресла и диван-кровать в глубокой, задернутой портьерой нише. Там у него — уголок отдыха с книжным шкафом, с торшером-баром и маленьким буфетом с кофеваркой. Наверно, взял старое кресло как талисман, как память об удаче, о первой ступеньке вверх. Которая так и осталась единственной. Вялость и равнодушие охватили Долину. Ему ничего не хотелось, ничего не желалось, он долго сидел неподвижно и смотрел в окно.

А там буйствовало созревшее лето, заманчивой прохладой синел Днепр, по которому проплывали речные трамваи, полные людей, ехавших на дальние пляжи. Трезво и рассудительно подумал, что пора бы и ему наслаждаться Днепром, пьянящим ветром, высоким небом. Но он разучился, не мог жить так — плыть куда-то вместе с рекой, с летом, и не думать, куда плывет. Он все разъял умом. Только умом. Его стихией, его жизнью стало искусство, хотя и в нем, Долина это чувствовал, он жил тоже слишком трезво. Где же порыв, шальной бег крови и сладкая тоска в сердце? Только такая тоска может породить отклик в другом сердце, и оно все поймет и само заплачет или засмеется. И возвеличит Творца, того Художника, который сжег себя ради людей. А Долина этого не умел. Он размышлял трезво и холодно. О себе, об искусстве, о людях. Он научился резать камень, но не узнал, как перелить в него свою душу.

То есть почему не узнал? — спохватился он тут же. А «Старик в задумчивости»? Ведь все скажут... И он чувствовал, когда работал над ним, и необыкновенное горение, и тоску сердца... И пытался повторить все это в «Солдате». Он звал то настроение и, как ему казалось, пребывал в нем. Но только казалось. Он создавал его разумом...

Но почему же не перелилось? Он не мог понять. И думал об этом с отчаянием, даже с обидой на себя.

Ведь все-таки на этого солдата он потратил не один день и не одну ночь. Вот так, наверно, сидел и его отец, придя с войны. Он вернулся домой, открылись раины, и отец долго и тяжело хворал. Врачи говорили — помрет. Черная сукровица текла из-под его левой лопатки. А он выжил. Не пал духом. Наверно, его держала та вера, с которой он прошел всю войну. После фронтовых дорог он просто не мог поверить, что умрет. И — преодолел

смерть. Сеял хлеб и ухаживал за пчелами. Взлелеял лучшую в округе пасеку. Его уважали односельчане. Уважал и любил Сашко. И бился теперь над скульптурным портретом солдата, полного веры в жизнь, портретом, который затмил бы все другие, созданные до него. Он сознательно уходил от трафарета, старался, чтобы все в его скульптуре было необычным. Он словно бы соревновался с кем-то. Если уж эта работа не вызовет сенсации, то ему уже не на что надеяться. Больше у него нет ни одного замысла. Он пуст. Он пытался доказать свою незаурядность, надеялся шагнуть сразу на несколько ступенек вверх. Именно так. Эта работа должна была вынести его наверх, должна была выполнить свое предназначение — принести Сашку новую славу.

И вот теперь его «Солдат» — Долина видел — ничего этого не сделает! Холодный и бездуховный. А истинный солдат верил в грядущую жизнь, в будущее, он выстрадал его и имел на него право.

«А разве ты не имеешь? — горячо блеснуло в мыслях. — Чего не хватило тебе, чтобы сделать эту глину живой?»

Он не мог ответить. Мысль падала бессильно, как срезанный пулей стебель. Все еще не веря в поражение, Долина постучал в стенку, Калюжному. Теперь их мастерские были рядом. Он не знал, для чего зовет, просто ему было необходимо хоть чье-то присутствие. А может быть, знал. Ведь как раз Калюжному и иже с ним он жаждал доказать свою незаурядность, свое право на высокую оценку в докладах шефа.

Калюжный пришел не один, с живописцем Лапченко. Тот равнодушно скользнул по глиняному слепку взглядом, отошел к окну. А Калюжный остановился возле «Солдата», вынул изо рта длинный мундштук с сигаретой, почмокал губами:

— Колоссально! Это, брат, новый шаг.

А на лице сияло удовлетворение. Он радовался, что сосед породил заурядную вещицу, что не рванул дальше, что Долину не похвалят, ибо ничего яркого в этой задумке нет. Он не сочувствовал Долине. Калюжный не умел понять чужой неудачи. Сам он знал только успех, не заслуженный, а вырванный зубами, он не умел любить других, сочувствовать им, радоваться с ними.

Сашко знал: Калюжный раззвонит всем, что скульптор Долина сляпал еще одного болванчика, что это —

очередная серятина и сам он серый и бесталанный. Скажет с дальним прицелом, с намеком, что он-то, Калюжный, дорогого стоит. Калюжный и теперь не удержался, выскочил из мастерской и через минуту вернулся с Целуйко. Пускай, мол, и он полюбуется. На самом же деле, чтобы потом позлословить вдвоем. Целуйко — иезуит, лакей при Калюжном. Хищник, алчный, ненасытный завистник, успех коллеги он принимал как личную обиду.

Как с ним уживался Калюжный! Ведь он все-таки был тоньше, образованней, умней. С другой стороны, кто нынче пойдет в лакеи? А без лакея Калюжный обойтись не мог.

Целуйко посмотрел на скульптуру, сильно затянулся сигаретой и спрятался за облаком дыма. Но Долина успел заметить, как они с Калюжным переглянулись.

В Долине кипела злость, но он понимал, что не должен показывать этого, чтобы не доставить Калюжному еще большего удовольствия. Долго искал, чем бы отквитать обиду, и в конце концов придумал:

— Да чего там... Вот был я у Антошка... Рванул мужик! Правда, не успел к выставке... Но первая премия будущего года у него в кармане, и, понимаешь, вроде бы ничего особого: зимний пейзаж. Но снег... Какой-то он... ну, необычайный. Так и хочется помять руками... И бабка идет по тропинке...

Калюжный побледнел, тоже глубоко затянулся сигаретой, кашлянул в кулак. Уже от нескольких человек слышал он о новой картине Антошка, своего соперника; эта весть была для него крайне неприятна, он боялся, что и Долина, и Лапченко, и Целуйко заметят, как она ему неприятна, и испугался этого, и в самом деле все заметили его испуг.

— Дай боже той бабушке не увязнуть в снегу,— хохотнул Калюжный, и смех его был натянутым. Хотя сыграл он так тонко, что разобратся, что к чему, мог только хорошо знающий Калюжного человек. Но Калюжного только и хватило на этот хохоток. Он раздраженно отшвырнул сигарету и добавил:

— Как завяз в кустах, в камышах ее автор. Сколько он уже их намалевал, этих пейзажей! Бездарный мазила. Один дурак сказал, что в его мазне что-то есть, и теперь все кричат: «Талант... Какой мазок... Ощущение перспективы!» А я говорю прямо — нет никакой перспективы ни в картинах, ни в их авторе.

Калюжный не мог сдерживать злобы. Она так и рвалась из него. Он знал, что вредит себе этим в сто раз больше, чем Антошку,— ведь до недавних пор он считался его приятелем, и теперь тот же Долина, слыша его слова, непременно подумает: «Мелковата у тебя душа».

Долина именно так и подумал, хотел еще подсыпать жару, но вдруг потерял интерес к Калюжному и ко всему на свете. Его работа, его замысел, те чаянья, с которыми он начинал... Теперь ему казалось, что с самого начала это было обречено и он только обманывал себя. Ничего путного больше он не создаст, но надо трудиться, зарабатывать себе на хлеб, жить. Наверно, так бывает с художниками в старости, когда все уже выгорело, когда высохло сердце, а искусство стало ремеслом, способом заработать деньги, потому что ничего другого не остается — только жить прошлой славой, воспоминаниями о ней. И ему... тоже суждено жить «Стариком», памятью о том времени, когда корпел над ним. Но и это воспоминание почему-то становилось неприятным. Хотя отделаться от него он не мог. Прямо наваждение! И оно не проходило, становилось все навязчивей и цепче. Если и вправду не суждено ему больше создать ничего заметного в жизни, то это страшно. Не мочь и знать об этом наперед... Словно гонка в колесе. Не прямо, не вверх, а по кругу. Нет, это не жизнь. Без будущего...

А ведь жизнь всех людей, всего человечества — в будущем. В движении, в мечте. Каждый честный человек, сознает он это или не сознает, хоть на миллиметр, на терцию двигает общество вперед. С начала существования человечество рвалось вперед, заглядывая за горизонт. Еще недавно это был земной шар. Год за годом человек проявлял на карте белые пятна. Теперь его манит, зовет близкий космос. Потом будет что-то другое. Но будет обязательно! Человек будет двигаться и двигаться, разрушая все препоны на своем пути и в самом себе. Эти препоны, конечно, велики. Одна из них — страх. Перед будущим миром, перед собой. «Зачем мы? Для чего пришли сюда?» — спрашивает разум. А сердце не может ответить. Оно бьется — и все тут. Пока еще бьется. И разум подсказывает, что когда оно остановится, тебя не станет. И к чему тогда этот прогресс, это движение? Люди выдумали Христа из страха. Был, мол, один такой и остался жить вечно. Будьте, как он, может быть, и вы...

Был один такой... Но и он, как зафиксировал опять-

таки разум, выдуман. И что ж, значит, теперь нас поведет дальше только разум? И спасет тех, далеких, что придут за нами? Сделает бессмертными? Избавит от хлопот, волнений, от страха и радости? Может, разум бессмертен? В тысячелетних зданиях, теоремах, в книгах и скульптурах? Разве это не бессмертие?

По крайней мере, это самое высшее, самое нетленное из того, чего мы достигли сегодня.

«А если и так, что мне до того? — подумал Долина. — У меня все настолько проще. Короче и проще. Я не продвинулся ни на миллиметр. Еще одна неудача. И все эти калюжные будут радоваться и потешаться. А я останусь таким, какой я есть. Я ничего не прибавил к той славе, которую мне принес «Старик». Отчего же неудача? Ведь я все делал, как тогда. Старался повторить то настроение, ту решимость и, казалось, повторял их».

Казалось...

Долина и не заметил, когда ушли Калюжный, Лапченко и Целуйко. Запер мастерскую. Ему захотелось испытать себя, вернуть хоть тень прежнего состояния. Вернуть и сравнить. Сашку верилось, что теперь-то ему это удастся. И он сможет холодно и расчетливо воспользоваться этим.

Была пятница, одиннадцатый час утра, в эту пору в музее всегда пустынно. Долина на это и надеялся. Давно минули времена, когда он незаметно примыкал к толпе экскурсантов и шел с ними к своей скульптуре. Стоя сзади, слушал, о чем переговаривались люди, радовался, замирал от счастья, раздражался. Больше, конечно, радовался. Чего только не приписывали «Старику в задумчивости» дилетанты! Да и не только дилетанты, а и опытные искусствоведы поминали и Менье, и Родена, и еще кого-то; писали о вечности в его глазах, о глубокой, потаенной мысли, некоторые считали, что старик «схвачен» в момент боренья с собой, иные — что после важного решения. Обращались с вопросами и к автору, но Долина мудро помалкивал. Честно говоря, он не смог бы ответить ни на один вопрос, даже если бы и хотел. Эта работа была словно заколдована, его мнение о ней менялось от обстоятельств, от настроения... И черт знает от чего! А то настроение, которое владело им тогда, ушло, и те чувства, те мысли — тоже, а может быть, — это ему мерещилось часто! — вросли, врезались в камень, и он не мог их вытащить оттуда? Это его мучило. Не од-

нажды казалось, что он вот-вот вырвет их у «Старика». Только надо что-то сделать, что-то преодолеть в себе...

Скульптура была установлена в правом, отгороженном колоннами крыле вестибюля, в самом углу, возле широкой, плохо освещенной лестницы. Вестибюль вообще был темноват, дневной свет падал через окно только на площадку между двумя маршами лестницы.

Долину слегка уязвляло, что его детище поставили не в зале, а в углу у лестницы, но он не мог не признать, что это для «Старика» лучшее место. Перепады света то подчеркивали, то смягчали напряжение на лице старика, резче обозначали или гасили складки кожи, и от этого менялось выражение.

Сашко сел на стул у дверей, пытаюсь войти в то ушедшее состояние одержимости и счастья. И ничего не смог вернуть. Помнил только уверенность, необычайный подъем, хладнокровие, с каким, отступив, вглядывался в работу, да, и расчет, точный расчет, длину штриха; теперь казалось, что именно все это и руководило им тогда. А в глубине души знал: не то. Были, были стихия, порыв, вера... Да-да, вера в свои силы, в то, что он создаст, удивит и... Нет, не только удивит, а и сам удивится, и не в одиночку, а еще с кем-то, словно бы передаст кому-то радость удачи, радость свершения и освобождения...

И снова его заводило в глухой тупик. Он смотрел на скульптуру, а видел перед собой Кобку, цинично-равнодушного, погруженного в себя, с тайной мыслью на челе. Его «Старик» и вправду мыслит! Долина вздрогнул и очнулся. Глупости, глупости все это, просто тень скользнула по мраморному лбу.

Но ведь это лоб Кобки. Да и все лицо... Ну, может, не лицо, но то выражение, с каким Кобка говорил ему об «Академике». Что ж тут странного? Наверно, он и вправду «схватил» выражение лица пожилого человека. Запомнил и передал в материале.

И все-таки сейчас ему было страшно наедине со «Стариком». Будто столкнулся со знакомцем, встречи с которым не ждал и не хотел. Эта тишина, эта полутьма незаметно, но нерасторжимо соединяли творца и его творение. Кто за кем наблюдал, кто за кем следил? Конечно, все это выдумки и фантазии. Но Сашко против воли думал о Кобке, о его появлении в мастерской, об их беседе, о его внезапной смерти и обо всех последующих случайных совпадениях. Долина видел его там... и видит

здесь. Он создал его немного не таким, каким был на самом деле Кобка. Старше на несколько лет. Кобка стал бы таким позже. Только теперь Долина заметил, что уловил еще одну человеческую сущность — движение души. Наверно, это и было тем, что называют вечностью. Частицей ее. А может, ему только мерещится это. Мысли, мысли... Мысленно он без конца дорабатывает скульптуру. Жаждет совершенства.

Что же ему хочется изменить в скульптуре? И вдруг ему припомнилась фантастическая байка старого каменотеса. Наверно, и припомнилась-то потому, что все эти годы он не прерывал беседы со «Стариком». Со «Стариком» или с Кобкой? А может, это одно и то же? Или они соединились?..

Так вот, у Кобки был учитель. Не скульптор — портретист. Он создал несколько великолепных полотен, но не продал их музеям, а держал дома. И вот в старости он стал замечать, что его портреты меняются, словно кто-то дорисовывает их без него. И однажды поймал преступника. То есть не поймал — тот ускользнул, — а увидел. Это был давний соперник художника, соперник по искусству, с которым они спорили всю жизнь. Старый портретист был в ужасе. Этот преступник, его враг... он давно умер! Он жил когда-то в соседней квартире, и выюнки на их балконах, бывало, переплетались. Он и убежал через балкон. Художник стал запираť балконную дверь. Но соперник все равно проникал в квартиру. Тогда хозяин забил дверь. И это не помогло. Безжалостная кисть портила портреты. Так были изуродованы все полотна. Оказалось, не было никакого соседа — сам старый художник переписывал свои работы, сойдя с ума...

Может, подумал Сашко, это предостережение? Но ведь он не собирается переделывать «Старика в задумчивости». Мысль о переменах была мимолетна и больше касалась Кобки, нежели скульптуры. Но ведь она пришла не случайно! Долина четко зафиксировал это и всерьез взволновался. Хотел подойти к скульптуре вплотную, но ему помешали.

По широкой мраморной лестнице спускалась группа молодежи. Ее вел высокий лысоватый мужчина в серой вязаной кофте и клетчатых брюках. Он размахивал руками и что-то говорил. Похоже, это были ученики художественной школы или изокружка при каком-нибудь Дворце культуры и их учитель. Долина хотел уйти, но

почему-то не ушел. А учитель спустился по ступеням вниз, властным взмахом руки остановил группу возле «Старика в задумчивости». Сначала сказал несколько общих фраз, знакомых Долине по газетам, а потом нахмурился, ткнул в переносицу «Старика» длинным худым пальцем и спросил:

— Кто мне скажет, что в этом портрете оригинального? Особенного?

Парни и девчата стояли, пожимая плечами, переглядываясь. Кто-то заговорил было про манеру ваяния, но учитель перебил.

— Взгляд! — торжественно воздел он палец. — Подобный взгляд, если мне не изменяет память, увековечен только еще на одном портрете. Именно так смотрит знаменитая Джоконда. Присмотритесь, вам не кажется, что не вы изучаете его, а он вас? Смотрите внимательно и пристально прямо в глаза. Ощущаете на себе взгляд старика? Он с нами. Он среди нас.

Долина почувствовал, что по спине у него побежали мурашки. «Старик», тая улыбку, смотрел на него в упор. Да, да, смотрел и изучал. Разгадывал его, Долину, и смеялся, потому что уже разгадал. Сашко удивился: как он не замечал раньше! Глаза ему застило или просто не допускал такой мысли? А ведь она напрашивалась сама собой. Сашко сразу почувствовал облегчение — он знал теперь секрет скульптуры. Как это он оплошал, ведь он сам породил ее, но в горячке, в спешке и одержимости схватывал все разом, целиком, не расчленяя скульптуру: как это сделал только что учитель. А тот все размахивал руками, все толковал ученикам, что в портрете удалось, а что — нет.

Но Долина уже не слушал его.

Он смотрел на «Старика», глаза в глаза. Внимательный, слегка ироничный взгляд как бы говорил что-то Сашку. И он хорошо понимал — что. На мгновение в нем вспыхнула злость, ему хотелось возразить этому взгляду и всему, что он выражал, но не было сил сражаться с фантомом, который создал своим руками и дорисовывал воображением. Было страшно до безумия — состязаться с кем-то в себе, с самим собой.

Эта борьба или только дыхание ее и обессилили Долину. Он повернулся и пошел прочь. А за спиной раскатисто гремел голос учителя:

— Скульптура, можно сказать, стала образцом для

многих. Своеобразным эталоном, если хотите знать. За три года, с тех пор как она стоит здесь, у нас появилось около десяти подражаний. Разумеется, неудачных. Почему неудачных?..

Ответа Сашко не услышал, он поторопился закрыть за собой дверь. Но он знал ответ. Хотя, может быть, и не смог бы выразить его словами. Он выходил за рамки того, что наверняка растолкует ученикам учитель. Он касался всего творчества Долины. Но можно ли довериться интуиции? Наверно, нет. Ведь если он доверится, то останется без ничего. То есть того, что он имеет, у него никто не отберет, но впереди расстелется пустыня. В нее он побоится ступить.

Нет, думал Сашко, все это глупости! Он устал. Ему надо отдохнуть. Бросить все и поехать куда-нибудь.

И он вспомнил о приглашении Примака.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Они ехали по сумской дороге, впереди «Запорожец», за рулем которого сидела Люся, за ним Долина на «Жигулях». Останавливались почти во всех больших и малых городишках: то заправлялись, то обедали, то кто-то из детей просил пить.

И почти всюду ладная фигура водителя «Запорожца» привлекала к себе взгляды мужчин. Но Люся этого не замечала или делала вид, что не замечает, держалась непринужденно, уверенно, и это почему-то раздражало Долину. А порой даже пугало, особенно когда Люся слишком гнала машину по шоссе. Даже отсюда, из «Жигулей», было видно, как тяжелая, сложенная вдвое коса повисала в воздухе, а края банта трепетали, словно крылья бабочки.

— Посигналь, пусть не гонит так,— просила Светлана, она дремала в тесном гнездышке среди подушек и всякого домашнего скарба на заднем сиденье.

Сашко сигналил, и Люся на мгновение оглядывалась, помахивала рукой, мол, все хорошо.

Неприятности начались, когда пробирались через лес. Незадолго перед этим прошли дожди, и лесные колдобины были полны водой. Лесник, немолодой рябоватый дядька Микита, ехал на мотоцикле по петливой тропинке меж дубов и сосен, а машины рвали мокрый глинозем, завывая моторами. То ли «Запорожец» был лег-

че, то ли Люся успешней лавировала среди луж, но она проскакивала, а Сашко засел несколько раз, пришлось рубить ветки и толкать машину. Пока доехали, все были в грязище по самые уши. Зато наградой им были хоромы дядьки Микиты, которые тот оставил прошлой осенью, перебравшись в село. Огород он обихаживал и за садом присматривал тоже. Старый яблоневого сада отделял усадьбу от поля. Она примостилась с краю леса, который простирался влево и вправо синими крылами, охватывая участок поздней гречки,— она как раз отцветала и плескалась серебристо-белыми волнами в берега яблоневого сада. Дом, хлев, два погреба (почему два?) стояли посередине усадьбы. Между садом и дубовым гаем, перед домом, расположился огород, а за ним поседевший, с перестоявшими травами лужок. За домом мощной стражей стояли четыре разлогих, ветвистых, толстых-претолстых сосны. Так сосны раскидываются только на приволье. На них с утра до вечера орало несметное число всяческих птиц, от маленьких серых синичек-поползней до тяжелых коршунов-орланов, которые умахивались на крайней суховерхой, самой высокой сосне и озирали поле. После приезда Долины и Примаков орланы покинули насиженное место. Но самый прекрасный вид открывался в левую, если стать лицом к полю, сторону. Туда спадала глубокая долина или овраг, кудрявившийся молодыми дубками и кленами, а дальше высились холмы, тоже поросшие лесом. Похожие на горы, они синели в ясный день, а в дождливую погоду курились, словно настоящие горы. На дне долины поблескивало озерцо.

Даже Светлана, поглядев на такую красоту, засмеялась и перестала болезненно морщиться и прижимать ладонь ко лбу.

Тут же, на высоком крыльце, они пригубили бутылочку «Экстры», а дядьку Микиту угостили еще и «Старкой». Потом натаскали из хлева сена и стали устраиваться на ночь.

Долины заняли в доме большую комнату, с печью и лежанкой. Примаки — меньшую. Большая комната выходила окнами на лес, меньшая — на сад и поле.

Но в первую ночь не спали до самого рассвета.

Только Сашко задремал, как его разбудила Светлана. Она трусливо дрожала и жалась к нему.

— Слышишь, слышишь? — шептала.

За окном кричала какая-то птица. Сашко и не слышал никогда такого крика. Это был не крик, а какое-то дребезжанье, звучащее одной долгой тоскливой нотой: дюр-р-р-р-р-р. А потом короткий всхлип, что-то похожее на кашель, и снова — дюр-р-р-р-р-р. За окнами чернела ночь, гудели сосны и раздавался этот ужасный голос. Наверно, птица сидела в саду, на яблоне. Сашко успокаивал Светлану, но и ему этот крик леденил душу.

В конце концов, видя, что странная птица не даст им спать, он поднялся и снял с гвоздя ружье, которое вчера повесил в головах. Отодвинул засов и вышел на крыльцо. Луна еще не взошла, но небо густо усеяли звезды, оно было просвечено до дна. Только сурово чернел дубовый гай и изредка что-то постукивало за домом, казалось, там кто-то ходит. Это падали яблоки.

Долина сразу увидел птицу. Та сидела на крыше хлева, на самом гребне. Сашко медленно поднял ружье. Но в тот же миг кто-то дотронулся до его плеча. Люся стояла в накинутой на плечи кофточке, в ее больших глазах отсвечивали звезды.

— Не надо,— сказала она.— Это совка-ночница. Я ее сейчас прогоню, и она больше сюда не прилетит.

Люся прыгнула с крыльца и махнула белой кофтой. Птица сорвалась с места, шуганула в ночь.

Она вправду больше не кричала на усадьбе. Вечером, уже в темноте, появлялась, несколько раз облетала подворье и исчезала во мраке. А это странное «дюр-р-р-р-р» чуть слышно доносилось издалека...

Но утром случилось досадное происшествие, которое снова едва не заставило их сбежать из лесу. Выйдя на крыльцо, Петро обнаружил перегрызенную пополам гадюку. Наверно, ее поймал в лесу еж и притащил сюда. Петро не догадался закинуть гада в кусты, позвал детей. Они подняли крик, а за ними — Светлана; она потребовала, чтобы Сашко собирал вещи. Сашко все-таки не послушался, они с Петром взяли косы, что висели в чулане, и принялись косить бурьян, которым густо заросло подворье. К полудню подворье было выкошено так, что нигде было спрятаться и мышам. А тем временем подоспел и завтрак. Люся нажарила дерунов и наварила вермишели, которую заправила жареным салом с луком. И деруны, и вермишель были очень вкусные, дачники уселись в саду под яблоней, столом им служили положенные на две дубовые окоренки липовые доски, а сту-

льями — березовые кругляки. Дети визжали от восторга и умяли столько дерунов и вермишели, сколько дома не съели бы и за неделю.

После завтрака Петро пошел на разведку к озеру, Люся с Сашком понесли посуду к колодцу, а Светлана осталась с детьми. Она поставила под соснами раскладушку, улеглась и задремала. Это местечко потом она очень полюбила. С утра до вечера валялась на раскладушке, то выволакивая ее на солнце, то пряча в тени, и ее длинные красивые ноги мраморно белели на фоне медно-красных сосновых стволов. Дети играли в саду — Сашко и Петро его тоже выкосили. Петро разведал, что в озере водятся караси. Он вставал рано, до рассвета шел на рыбалку, возвращался часу в одиннадцатом и ложился досыпать. Сашко же попал в подручные к Люсе. Все сложилось само собой. Собственно, иначе и не могло быть, ведь Светлана не вела хозяйства, а кто-то из Долин должен был помогать Люсе. Надо сказать, Сашку эти обязанности не были в тягость. За два дня он выбрал старую воду из колодца — она застоялась и пахла болотом, — скосил лужок возле леса, смастерил для погреба полки, сколотил из досок настоящий обеденный стол.

Особенно радовал его выкошенный лужок. Прокосы были ровные, емкие, с одного набиралась копна. Он уже сгреб и скопнил то, что скосил в первые два дня, — получилось восемь копенок. Наверное, ничто так не радует человеческий взгляд, как зримый итог труда и даже не просто итог, а добро содеянного, словно подаренного кому-то. Кто не изведал этого — обокрал себя, он нищий, который прожил впустую среди богатых и счастливых людей. Выкошен лужок... Посажен сад... Поставлена хата... Изваяна скульптура... Сашко угадывал между всем этим прочную внутреннюю связь. Только труд дает такую наполненность и натуральность жизни, становится смыслом человеческого существования.

Долина чуял, что за этими хлопотами, за этой работой он словно оживает душой, его чувства становятся чище и прозрачней, и само по себе спадает нервное напряжение. Далеко остались все неудачи, и мастерская, и «Старик в задумчивости», — остались в другом мире, словно бы его не касались. Он с удивлением заметил, как мельчают, уничтожаются природой, вечностью бытия выдуманные людьми проблемы.

Много без чего люди могут прожить, но не хотят, а попав в житейский водоворот, уже не умеют иначе, усложняют жизнь и тратят в этой толкотне здоровье. Природа сама по себе красота, гармония, так принимай ее, любуйся, сливайся с нею!

Утром в лесу ворковали горлицы — словно рассыпали по бусинке блестящее монисто. Днем иволга заливала сад синим половодьем звуков. Крупные, наряженные в красные штаны и пестрые кацавейки дятлы простукивали день до самого донца, и он отзывался сильно, полнозвучно. Но человеку этого мало. Наверно, потому он и человек. Через несколько дней Петро стал приносить из лесу коряги, похожие на чертей, странных птах и зверей. Вмешательство художника там почти не требовалось. Примак только отделял ножом кое-какие сучки. Микеланджело говорил, что он только убирает из мраморной глыбы лишнее. А через несколько дней Долина заметил, что стоит возле гигантского пня и мысленно вглядывается в него, освобождая из дерева могучего бородатого полещука. Сашко повернулся и решительно зашагал прочь. Он сознательно убегал, не хотел нарушать покоя и гармонии, которые охватывали его, и этот луг, и лес, и горлиц, и дятлов. Но он понимал, что это — временное согласие с природой. Что он все-таки стоит над ней. И ему скоро захочется искать, докапываться, мучиться. Ребенок, держа в руках игрушку, говорит отцу: «Разбей, я хочу посмотреть, что там внутри». Этому закону подвластно все существование человека, — что там дальше, внутри. Когда же он познает очередную игрушку, наступает разочарование. Но игрушек в мире очень много. И этой гонке нет предела. Нет конца человеческому познанию, и возможно, в этом его спасение.

Даже на время не мог Долина принять тишину, покой. Что-то его выбивало, тревожно бродило в нем, и он все время напрягался, нервно ежился и прислушивался. Он догадывался — к чему, и боялся этого. Злился на себя. И бунтовал, бросался вслепую, направляя свое раздражение в ту сторону, откуда, как ему казалось, приходил непокой.

— Люся, вы просто созданы для кухни, — говорил он, наблюдая, как быстро, еле уловимым движением лепит она крошечные варенички. — Это ваше призвание.

— Возможно, — соглашалась Люся. — Я и вправду люблю готовить. — И улыбалась обезоруживающей улыбкой.

Сашко искал в этой улыбке лукавство и не находил его. А ее большие синие глаза смотрели приязненно и доверчиво. И вся она была по-домашнему близкая, милая. Короткое выцветшее платье, из-под которого кругле-ли крепкие загорелые колени, уложенная короной коса, покрасневшееся возле огня лицо... Но он не верил ее беззаботной улыбке. Не хотел верить. За эти дни ему открылось в Люсе что-то новое, неизвестное раньше. Кроме уверенности в себе и уверенности в своей жизни — сдержанность и одновременно тонкость — понимание душевных движений, всяческих ситуаций и обстоятельств. Капризничали дети, и она сразу находила для них занятие или, наоборот, одним решительным словом при-струнивала обоих — своего Павлуса и Ивасика Долину; назревала за столом ссора между Сашком и Светла-ной — перебивала ее шуткой или посылала Сашка в огород, к колодцу. Во всем, что касалось семьи, хозяй-ства, детей, Петро подчинялся ей беспрекословно, хотя она никогда не выставляла напоказ своего главенства.

И с Сашком она держалась так, словно между ними никогда ничего не было и они только теперь встретились. Может быть, именно это и раздражало Долину и не да-вало поверить в легкость и улыбчивость Люси. Ведь не зря ему показалось, что он уловил однажды в ее голосе тревогу.

Он прилаживал в погребе полки и попросил ее по-держать доску. Неосторожно повернувшись, погасил свечку, стал искать спички и не мог найти. Шагнул к Люсе и остановился, все еще ощупывая карманы. В пол-ной темноте услышал напряженное дыхание, потом она тихо, очень тихо попросила — зажгите.

И была в ее голосе дрожь, она словно боялась не только его, но и себя. А может, ему и вправду все это померещилось?

Теперь он еще раз взглянул на ее пальцы, которые сновали по тесту, словно по клавишам, и спросил:

— А как же ваше училище? Вы ведь преподаете те-перь...

— Я буду играть роли домохозяек, — с той же спокой-ной улыбкой ответила она. — Они ведь — почти полови-на женщин в мире.

— То есть жен. Вы будете играть верных жен?

— И вам не стыдно, Сашко? Ведь вы не такой. Правда, не такой?

Этот поставленный наивно и утвердительно вопрос устыдил Долину.

— А каким бы вы хотели меня видеть? — он отвел взгляд.

— А почему об этом должна думать я? Пусть думает Светлана,— перевела Люся разговор на шутку. Надо сказать, что в таком тоне они и вели все разговоры, которые касались их теперешней жизни, и очень любил подобные шуточки Петро.

В лес, в поле и на озеро с детьми и женщинами ходил Сашко. Он, как правило, оставался с ними и дома.

— Я слышал на рыбалке,— озорно поддразнивал Петро,— как мальчишки говорили: у того дядьки целых две жены. Небось они его крепко лупят.

За этими шутками Долина не мог понять, знает ли Петро о его прошлых отношениях с Люсей. Наверно, знает. И даже не допускает мысли, что Долина попытается что-то вернуть? Так верит Люсе и ему? Или просто не думает об этом?

Перебирая все это мысленно, Сашко невольно краснел. Он не знал, почему ему стыдно, ведь он и в самом деле не нарушил ничего, что заставило бы его избегать взгляда Петра. Но и оставаться наедине с Люсей ему было все трудней. Он замечал, что невольно ловит ее улыбку, запоминает каждое слово, каждый жест и потом, ночью, вспоминает о них. А утром, едва проснувшись, чего-то ждет, ждет и боится, и это отравляет его жизнь.

Он чувствовал, что начинает завидовать Петру. Его спокойствию, беспечности, уверенности в себе и в своих поступках и еще черт знает в чем. Может, потому, что Петро и мир воспринимал просто, широко, со стороны его практической ценности и в то же время не скрывая заинтересованности художника в нем. Он часто ходил в село и там разговаривал с председателем, бригадирами, доярками и птичницами, разговаривал, не смущаясь и не подлаживаясь; он расспрашивал их, и они водили его по ферме, по полям. Он возился возле комбайна, собирающего горох, помогал, советовал, и над его советами не смеялись. Наверно, он накапливал впечатления, подбирал натуру,— подбирал почти бессознательно: что-то останется, а что-то уйдет... Чаше всего он ходил на улицу, что вела к лесу. Была там одна хата... Обыкновенная хата с клочком поздней ржи, обсеянной по краю уже

созревшим маком, с неглубоким колодцем, к которому вела тропинка через картофельник. В той хате жила бабка Текла.

Высокая, сутуловатая лесовичка с добрыми, устремленными в глубь себя, в прошлое, серыми глазами. В прошлом осталось все, чем она жила, чем могла жить. Муж и двое детей, два бежавых мальчика, похожих на отца. Муж в самом начале войны был ранен, попал с госпиталем в окружение, добрался домой. Именно тогда на село налетел отряд карателей. Текла с мужем и детьми спрятались в погребе, хозяин вышел на лютые эсэсовские выкрики с сыновьями на руках. Автоматная очередь прошила и его, и детей. А ее немцы убить не успели — из лесу подошли партизаны.

Текла никогда не жаловалась, но ее облик был полон особой, неизбывной скорби. Сашку было стыдно и страшно признаться себе, но именно эта скорбь и влекла его. Он чувствовал кощунственность этого, но именно там крылась великая загадка трагического в искусстве. Ему представлялся мужчина с детьми на руках, он как бы выходил из земли или вращался в ней. Наверно, это чувствовал и Петро. Но относился к этому совсем иначе. Он мог прикоснуться к страданию, он умел исследовать горе, не боясь оскорбить его. Он починил бабке старенький курятник, выкорчевал и распилил сухие вишни в низинке, а в перерывах между работой рассказывал о себе, не стесняясь того, что приехал сюда как дачник, расспрашивал Теклу про ее жизнь, про погибшего мужа и детей.

Сашко никогда не посмел бы заговорить об этом. Он не нашел бы простых и верных слов и заставил бы содрогнуться Теклину душу. Он чувствовал неловкость, потому что за этим всем явственно виднелась бы его творческая корысть, старуха бы ее не разгадала, но ей передавались бы его неловкость и растерянность. Поэтому Долина и обходил Теклин двор.

Он пытался уйти от всего, что касалось искусства. Мысли были об ином. Ему все чаще казалось, что тут, в лесу, что-то должно случиться. И он не знал, хочет или не хочет, чтобы это случилось.

И оно случилось.

В субботу вечером Светлана и Люся собрались за молоком. Они ходили в село, на ту улицу, которая под-

ступала к самому лесу. Крайние хаты даже забрели в лес. На той улице жила и бабка Текла.

Раньше за молоком ходили Сашко и Петро. Но женщины — это женщины; им показалось, что мужей обманывают, что хозяйка наливает им несвежего молока, и решили ходить сами. Хотя женщинам эти походы были не в радость: дорога все лесом да лесом, а возвращаться приходилось уже в сумерках.

Светлана и Люся поставили в кошелки посуду, направились к перелазу, и вдруг неизвестно почему закапризничал Ивасик.

— Не ходи,— хныкал он и орошал обильными слезами крыльцо.— Мама, не ходи!

Сашко хотел взять его на руки, но тот не давался и прямо закатывался плачем. Не ходи — и все тут! И никаких тебе объяснений, никаких уговоров и договоров. Ивасик вообще никогда не поддавался на обещания и не упускал своего. Кормит, скажем, его Светлана гоголем-моголем, видит, что ест он уже через силу, и предлагает: «Может, это мы оставим папе?» Ивасик отрицательно качает головой. «Так-так,— говорит Сашко.— Папе, значит, дулю с маком».— «Хитренький,— искренне и всерьез отвечает Ивасик.— Мак я оближу. А тогда уж...»

Так он и не отпустил Светлану. И кошелку с банками пришлось взять Сашку.

Они шагали по еле заметной в траве дорожке на меже дубового гая и молодого сосняка, потом по нерасчищенному березняку, дальше — мимо сосновой посадки, а уж там тропинка выбегала на леваду, перескакивала через ручей, что разлился в низких берегах, по двум березовым круглякам, и поднималась вверх к селу. Люся шла впереди, торопилась, и они почти не разговаривали. Но у тетки Вари пришлось задержаться — пастухи еще не пригнали стадо.

Они сидели в саду за хатой, на лавочке возле криницы, слушали, как скрипит колодезными журавлями вечернее село, как где-то тюкает топор и перекликаются от калиток женщины, дожидаясь скотины. В саду уже темнело, мягкие тени обволакивали их со всех сторон, сближали, толкали к откровенности.

— Люся, вы любили кого-нибудь до Петра? — вдруг подал голос Сашко. Люся подняла на него удивленные глаза, и он понял, что сморозил глупость: выходило, что

спрашивал о себе. И поэтому торопливо добавил:— Ну... в школе или в училище?

— А как вы полагаете? — сухо отозвалась Люся.

— Я? Не знаю, наверно, нет. Так мне кажется, когда вспоминаю вас тогдашнюю...— Он на минуту смолк и грустно продолжил: — В мире все так странно... Мы иногда не замечаем, в какую сторону нас несет. Вот тогда, на выставке, я искал вас...

— Не надо,— попросила Люся.— Все прошло. И ничего не было.

— Да, словно и не было,— повторил Сашко.— Но из памяти не выкинешь. Петро знает?

— Не знает. Да и знать нечего.

— Правда,— согласился он.— А как вы с ним... подружились?

— Петро — мой земляк,— усмехнулась Люся.

— Ну, этого мало. Мне казалось, тогда, в первую нашу встречу, он даже хотел избавиться от вас.

— Я сама напросилась ему в друзья,—вызывающе вскинула голову Люся.

— Напросились? — не поверил Долина.

— Да... то есть...— И вдруг ее голос упал, а взгляд погас.— Горе привело меня к Петру. Я временно устроилась работать в магазин, а в селе был еще и кооператив. И там часто недовыполняли план. И каждый раз завмаг просил у меня займы на несколько дней. И случись ревизия. А у меня недостача — восемьсот рублей. Я к завмагу — верните долг. А он: «Не брал, ничего не знаю».

Люся замолкла, видно, ей было тяжело вспоминать. В тишине, охватившей их, было слышно, как ударяет в подойник молоко — хозяйка уже доила корову — и как где-то далеко говорит радио.

— Хорошо, ревизор добрый попался,— рассказывала дальше Люся.— Поверил, что я не взяла этих денег. Сказал, если внесу за три дня, не будет передавать в суд. Ну... а где мне было взять? Ни родных, ни друзей. Вот тогда и вспомнила про Петра.

— Так он...— сказал Сашко и запнулся.

И Люся испугалась своей откровенности.

— Неправда! — почти крикнула она. — Я Петру вернула деньги через неделю. Завмаг все-таки отдал...

— Да я... — спохватился Сашко. — Разве я не знаю Петра. Просто мне горько, что я оказался такой сви-

ней, — вы не обратились ко мне за помощью. Люся, вы мне простите это... То есть, конечно, прошлого не вернешь, но... — Он прикоснулся к ее руке, и она не отняла ее. — Мне хочется, чтобы вы не держали на меня зла. Мне так стыдно. Я знаю, что имеем — не храним, потерявши — плачем. Не имею права даже говорить вам об этом, но... не могу ничего с собой поделать. Успех меня захлестнул. Что-то со мной тогда стряслось. Ходил как в тумане. Встречи, беседы, вечера! О, какие это все иллюзии...

Он почувствовал, что Люся взволнована тоже. Поднял голову, и хотя стало совсем темно, увидел, как дрожат ее губы, словно от холода. Сашко опять легонько провел пальцем по ее обнаженной руке, она испуганно отшатнулась и встала.

Он поднялся тоже. Боялся, что она скажет резкость и погасит розовое пламя, которое охватило его. Ему было так хорошо! Он даже не подозревал, что такое бывает на свете. И в этот момент их окликнула хозяйка...

Возвращались уже в полной темноте. Лес стоял тяжелый, черный, молчаливый, только изредка по верхушкам деревьев прокатывался шелест. Может, пробегал верховой ветер, а может, возились птицы. Люся шагала быстро, но как-то сторожко, в темноте белели ее открытые ноги, руки и плечи, а сама фигура сливалась с темнотой. Оба знали, что сейчас они одни во всем лесу, во всем мире. Он шел за нею, думал о ней, и волна нежности затопляла его. А то, что она его боялась, и боялась именно так, как боятся любимого человека, наполняло его трепетом и желанием. Он понимал, что все бессмысленно, но понимал как бы издалека, краем сознания, а чувства его вихрились, сердце горело любовью и радостью. Они подошли к ручью, и Люся остановилась в нерешительности. Березовых горбылей, по которым они недавно переходили, совсем не было видно.

— Погодите-ка, — сказал Сашко ломким голосом.

Он высоко закатал штанины и перебрел с кошелками по воде. Потом вернулся и взял Люсю за руку.

— Давайте я переведу.

Она молча подчинилась.

Одной рукой Сашко держал ее руку, другой поддерживал за талию. Она шла чуть выше его, он чувствовал на своем виске ее дыхание. Слышал запах ее

кожи, и что-то сжалось в нем, и рука, лежащая на Люсиной талии, отяжелела, задрожала, и он не знал, чей это трепет — ее или его. Он только почувствовал, что Люсино дыхание стало жарким, а движения утратили обычную грацию. Тело ее было напряженным, сжатым и в то же время словно потеряло земную тяжесть; казалось, оно летело ему навстречу, и Сашку стоило больших усилий, чтобы не подхватить ее на руки. Она сошла на берег, но он все не отпускал ее, медленно клонясь, поцеловал куда-то возле уха. Люся вздрогнула. Она не вырывалась, а только сказала:

— Не надо. Прошу вас — не надо! Иначе я... не смогу...

Она не договорила, но голос ее проникал в душу: такая тугая нота звенела в нем, что он разомкнул руки. Он знал, что это мгновение побеждало ее, отдавало ему, но и предостерегало. Ему было радостно, что Люся любит его до сих пор, но и печально, что она не может отдать ему свою любовь. Его жизнь теряла нечто великое, ведь ни успех, ни слава не могут заменить любви, она — первородство мира, она утешает, несет на своих сильных крыльях, в ней можно утонуть. И дается она однажды. Да, судьба подарила ему это. Но он легкомысленно проскочил мимо, погнался за тем, что ему пообещал Кобка, — теперь небось смеется над ним вредный старик.

Конечно, Долина мог бы и наплевать на предостережение судьбы. Остановить Люсю, обнять, вернуть себе. Но сказанное Люсей: «Иначе я... не смогу» — имело множество значений, даже: «Не смогу жить». Это не измерить мгновением. То, что получаешь ценой жизни, — не измерить никакой мерой. Ведь нет единой мерки даже для двух людей. Человек — ценность, не имеющая эталона, в каждом отдельном случае — это целый мир. На что один пойдет легко, другой — сомневаясь, третьему будет стоить инфаркта, а четвертому — самой жизни. Долина знал: соглашение с совестью — не простая штука. Конечно, не для всех. У людей совесть неодинакова. У одного — чистая родниковая вода, у другого — помои. Немало людей не желают беспокоить свою совесть. Стараются не оставаться с ней один на один. Долина знал, что для него такой миг был бы возмездием. Он бы мучился, травил себя тяжкими думами. Но любовь возродилась, как не знае-

мая до сих пор отчаянная сила: отдавшись на его волю, он возродился бы в искусстве. Она была отрицанием того, чем он жил последние годы, отрицанием его самого, бывшего. И не хотелось думать, что будет потом.

Сашко не знал, как поведет себя дальше. И это радовало и манило. И в то же время пугало. В нем что-то рухнуло и раскатилось, рассыпалось нежностью, лаской, любовь захлестывала его с головой. У него не было сил сопротивляться. Он и не подозревал, что всей любви у него — на одного человека. Если бы без берегов, если бы выплеснуть из себя, затопить ею другое, близкое сердце, оно бы утратило свою волю, исполнилось его волей и смогло бы жить ею.

Но хватало только на одного — на себя.

Когда они вернулись на хутор, Светлана что-то заподозрила. Сашко показался ей не таким, как всегда. Она пыталась пошутить: «А не заблудились ли вы? Не кружило ли вас по лесу?», чтобы таким образом вывести мужа из терпения и затеять разговор, но тот молчал. На душе у него было худо, все они: Люся, Светлана, Петро — словно одна семья, а он таит что-то, держит камень за пазухой, придавил им и Люсину душу, и она, наверно, мучается еще сильнее. А губы, проклятые губы, до сих пор помнили тепло ее кожи.

С тем он и заснул.

Утром пошел дождь. Он не утих ни на второй, ни на третий день. Сначала их радовал шум дождевых капель в листве, а потом из лесу в дом вползла тоска. Лес стоял мокрый, неприветливый, птицы попрятались, только воронье каркало на ветвях старого дуба, что при дороге. И что-то неприветное поселилось в доме. Петро на крыльце расхаживал с ножом вокруг дубового горбыля, Люся возилась в сенях у керогаза. Светлана залегла на сенник, а Сашко слонялся из угла в угол, не зная, куда себя девать. Дети капризничали, часто ссорились, Сашко мирил их, делал кораблики и пускал в лужу у завалинки. Тоска взяла всех. И тогда Люся отправилась в село и, вернувшись, сказала, что отсюда можно выбраться. Только не через лес, а глухими полевыми дорогами, а потом по пескам до брусчатки.

Пробивались они долго и трудно, день напролет, кружили, возвращались, но на трассу все-таки выехали и в воскресенье, поздно ночью, были в Киеве.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда Сашко оглядывался назад, вспоминая недавнюю поездку в лес, она ему казалась призрачной. Промелькнула перед глазами, прошумела и растаяла, как туман. И он снова вернулся к будням, и те будни сомкнулись, словно вода над песками, и только на дне тяжелела память. О разговоре у чужой хаты, о темном лесу и кладке через ручей. Память и неутолимое желание новой встречи. Он не знал, что скажет Люсе, как будет вести себя, просто хотелось увидеть, посмотреть в глаза, может быть, сразу же уйти, унести в сердце ее взгляд и жить им. Он хотел встречи с Люсей, так как не знал, что она принесет ему. В своем мире он почти все предвидел наперед, почти всему узнал истинную цену, а тут не было ни цены, ни догадок, ни утешения. И это терзало еще сильнее. От своих мыслей он не мог убежать ни в семейные дела, ни в чтение, ни в работу. Работа приносила только усталость, волокся за ней, как изнуренный косарь за длинным косовищем. Понимал: все, что делает сейчас, — не то, а где настоящее — не знал. Да и сказать правду, мало заботился об этом. Смешно, но он часами мечтал, как и где встретит Люсю. Сядет, например, в сквере на скамеечку и будет караулить, когда она выйдет из училища, а потом пойдет следом и, если будет одна, догонит... Выходило совсем по-школьнически, но ничего другого придумать он не мог. Светлана давно заметила переживания мужа, и, хотя не привыкла считаться с его настроением, тут, удивительное дело, словно ее подменили, стала чуткой и заботливой, и это еще больше мучило Сашку. Неужели, подумал он, жена догадалась о причине его хандры? И в сердце его шевельнулась жалость к Светлане. Но и это не в силах было погасить жадного желания видеть Люсю. Однажды он набрал номер телефона Примаков. Поступок был чисто импульсивным: как только в трубке раздался голос Петра, Сашко растерялся.

— У аппарата, — еще раз повторил Петро и постучал пальцем по трубке. Так, шутливо, в стиле эпохи изобретения телефона, он отвечал всегда.

Долина молча положил трубку.

Теперь в нем проснулась жажда деятельности. Так уж ведется: натолкнувшись на препятствие, человек

ищет обходных путей, и Сашко нашел их. Он узнал в Союзе художников, что Петро должен уехать на несколько дней в Москву. И после этого позвонил Люсе.

Был вечер. Люся ответила усталым, бесцветным тоном. Она не узнала Сашка. А когда он назвался, ее голос сразу зазвенел множеством оттенков. Она хотела казаться беззаботной, но ей это не удалось.

— Вы хотели Петра? Нет? Может, мы по ошибке прихватили кое-что из вашего имущества в лесу? Не мы, а я? Что-нибудь очень ценное?

— Для вас, наверно, нет. А для меня — кто знает. Можно ли назвать ценным покой? — Он понимал, что говорит банальности, и поэтому нервничал. А может, и не поэтому, а просто от Люсиного голоса. Ведь все слова о любви — затрепаны, не затрепано только то, что чувствует сердце. — Как вам живется? Не снится лес?

— Как мне живется? И не снится ли лес? — И вдруг ее голос стал строгим, хоть и задрожал от волнения: — Сашко, не надо об этом спрашивать. Мне плохо сейчас. И не хочу скрывать: из-за вас. Не хочу ни ругать вас, ни проклинять. Потому что... не могу. И вы... простите, пользуетесь этим. Но.. не надо. Не надо нам тайных свиданий.

— Вы боитесь обмана?

— Может быть. Не знаю. Все так говорят. Но не в этом дело. А во мне. И в вас.

Сашко почувствовал, как у него что-то оборвалось внутри. Он еще слышал голос Люси, но она отдалялась от него с каждым мгновением, оставляя пустоту и боль.

— Так мы больше не увидимся?

— Почему же, мир не перегорожен заборами до небес. — Она помолчала, что-то обдумывая, а потом предложила: — В пятницу, в два часа, в консерватории, если хотите. У нас там спектакль. Курсовая работа. Которая, судя по всему, перейдет в дипломную. «Лесная песня».

— И кто вы? — еле вымолвил он.

— Мавка.

— Вы — Мавка?

— Вы не видите меня в этой роли? — В ее голосе прозвучала тревога, но уже совсем иная, чем в начале беседы. — Тогда... приходите непременно. Может, я и вправду ошиблась...

В пятницу Сашко был сам не свой с самого утра. Не столько волнение от предстоящей встречи — какая это встреча: она — на сцене, он — в зале, — сколько неловкость за нее. Он боялся провала. Не представлял Люсю в роли Мавки.

Но за день тревога выгорела, и к началу спектакля Сашко почти успокоился. Сидел в ложе бельэтажа, с правой стороны от сцены, наблюдая за партером. Он был почти пуст — небольшая группа ребят и девушек, наверно, с одного курса, да четверо или пятеро преподавателей в первом ряду, — вот и вся публика. Вдруг он заметил в противоположной ложе еще одного зрителя. Петро! Тот стоял, прислонившись спиной к косяку двери, и сосредоточенно смотрел на сцену. Сашко подумал, что в этом есть что-то символичное — смотреть на сцену с противоположных сторон. Наверно, ему надо подойти к Петру, сесть рядом, но он почувствовал, что не может, только отодвинулся со стулом в глубь ложи; кажется, Петро не заметил его. Потом, когда начался спектакль, Долина уверился окончательно, что Петро его не видит. Тот все время упорно смотрел на сцену, и, хотя лицо его оставалось неподвижным, Сашко догадывался, что Петро переживает за Люсю. Наверно, в эту роль было вложено немало и его души. Это Сашко замечал по деталям, по трактовке образа, по отдельным мизансценам — именно так воспринимал искусство Примака, именно такие черты воплощал он в своем творчестве. Только теперь Сашко сообразил, что поездка в лес не была случайной, — Петро захотел, чтобы Мавка пожила «на натуре». И остро позавидовал другу. Его творческой убежденности, житейской твердости, самоотдаче, с которыми он шел к людям. И не то чтобы Петро преувеличивал свой талант, требовал слишком многого. Его работа, работа художника, напоминала всякую другую. Вот так косарь выкашивает луговину, а кузнец кует лопату или топор. Он нутром чуял, что нужно людям. И в то же время не подлаживался к разным вкусам, не старался угодить, напротив, он не раз вызывал у зрителей не удовольствие, а боль, чувство вины, желание протестовать, куда-то бежать. Его честолюбие было запрятано глубоко, так глубоко, что никто и не замечал. Казалось, его не было совсем, хотя Сашко знал — было! Просто Петро никогда об этом не говорил, не изливался.

Сашку было грустно признать себе, что он порывист и разбросан, не умеет сосредоточиться, не умеет последовательно добиваться своего. Долина еще и теперь считал свою профессию, свое место в искусстве почти случайным, ему не раз казалось, что его занесло туда ненадолго, вот он уйдет и утвердится в другом месте. Но не было у него никакой другой профессии (когда-то собирался стать архитектором, даже проучился год в строительном институте), и до конца жизни идти ему по этой дорожке, падая и поднимаясь, даже ползти, ушибаясь о камни, может быть, ушибая и других (не нарочно!). Это тоже была последовательность, но другого порядка. Он не открывал себя до конца, но и не мог утаить боли и честолюбивых замыслов; в мечтах, затаенных мечтах, он все время заносился слишком далеко, к свершениям и успехам почти нереальным. Успехов ему хотелось достичь только честным путем; он знал: если позволит себе что-нибудь похожее на то, что позволяет Калюжный, он разрушит себя, замучает раскаянием.

Наверно, таким он был бы и в любви. Люся догадывалась об этом.

Она поразила его по-настоящему. И не только прекрасной актерской игрой. Это опять была другая Люся. Напряженная, тонкая и чуткая, словно скрипка. Ему казалось, она изменилась даже внешне: легкая, хрупкая, она словно летала по сцене.

«Лесную песню» Долина знал чуть ли не наизусть. Но теперь эта драма наполнилась для него новым смыслом. Это сделала Люся. Затаив дыхание Сашко следил за развитием пьесы, все глубже и глубже вживаясь в театральное действо, предчувствуя еще одну трагедию, кроме той, что уже была в драме Леси Украинки. Может быть, трагедию самой Люси? Долине хотелось этого. Ему казалось, что и над ним тяготела какая-то сила и это она угнетала его любовь. Что и в самой любви, причем в каждой, заложено нечто роковое: ведь любовь, как все сущее, подвластна времени, и она рождается, созревает и стареет. И когда любовь осенила тебя, ее не надо бояться, не надо от нее бежать, ведь ты не просто зависишь от нее, ты у нее в плену, и этот плен — самый благородный в мире, он — сердцевина бытия.

На сцене расцветала любовь, но он ведь знал, чем это кончится, и угадывал свою победу, и это наполнило его радостью. Сашко улавливал творческую сущность любви, ее трагическую ноту, которую так трудно выразить в искусстве. Отказаться от любви — это почти смерть, отрицание жизни, а разве может живое сердце отрицать себя? Разве оно не разрывается, разве не хочет продолжиться в мире? Разве наша жизнь не есть одно из проявлений этого закона? Нас засасывают будни, а мы отрицаем их, порываемся к чему-то большему, ради чего, как нам кажется, мы пришли в мир.

И последние слова Мавки, сказанные Призраку, тому, кто в скале сидит: «Бери меня скорей! Хочу забвенья!» — на самом деле не означают, что она хочет забвенья. Ее дух, ее плоть не могут примириться со смертью, с потерей того, что было для нее самым великим счастьем. У Мавки просто нет выхода, она говорит это от отчаянья, душой оставаясь на земле. Это не победа Призрака, это печальная дань ему. Наверно, каждый человек так расстаётся с белым светом. Расстаётся со всем, чем жил, — с радостями, с любовью, и даже когда его тело изнурено болью, а он стар и немощен, в нем живет память — о тех же радостях любви, о живых силах света. И показалось Долине: Люсю точит не только Мавкина, но и своя боль. Она падает на руки «Того, кто в скале сидит», а ее любовь, и боль, и печаль отданы Лукашу. Она вынуждена скрыться под черным плащом, но она этого не хочет, и, если бы нашлась сила, способная выволить ее, она отдалась бы ей с радостью. Слова: «Бери меня скорей! Хочу забвенья!» — были исполнены истинной, а не артистической боли и настоящего отчаянья. Они предназначались... Нет, об этом Сашко боялся и подумать! Он только ощущал живую боль потери, и потребность, и силу остановить мгновение. Воскресить прошлое, что завещала ему Мавка. Да, это принадлежало ему, только ему. Он это повторит в камне, и Люся поймет. А больше не поймет никто. Даже Петро. Но люди ощутят силу его чувства, его художническую мощь. И не смогут не оценить их.

Предчувствие удачи, страх, что Люся откажется позировать, вывели Долину из равновесия. Когда он за кулисами разыскал Люсю, то повторял одно и то же:

— Люся, вы должны согласиться... Вы обязаны... Иначе это будет... Вы должны согласиться...

Он даже забыл похвалить ее игру.

На сцене суетились девчата и парни, в этой суете на Люсю и Сашка никто не обращал внимания. Все были возбуждены, взволнованы, и Сашков порыв потерялся в этом вихре. Но успел напугать Люсю.

— Александр, уйдите отсюда,— вся подобравшись, потребовала она.— Я прошу вас... не надо.

В этот момент к ним подошел Петро, и Сашко кинулся к нему:

— Петро, я хочу вылепить Мавку! Я верю, это будет самая лучшая моя работа! Вот этот момент: «Хочу забвенья!» Ты понимаешь его силу? Двойственность человеческого существования... Противостояние смерти... Я чувствую!

Петро стоял возле кулисы, тяжелый, квадратный, но ни на его широком плоском лице, ни в глазах не отразились ни внутренняя борьба, которая одолевала его, ни чувства досады или гнева, которые перекатывались в сердце. Только чуть хмурились широкие редкие брови, но они моментально расправились.

— Это зависит не от меня.

— Как — не от тебя? — даже возмутился Долина.— Разве ты не понимаешь...

— Я понимаю, — не моргнув глазом ответил Петро.— То есть я поддерживаю твой порыв. И если Люся захочет, пускай позирует.

— Я... Мне некогда... Да и как-то это...— А сама смотрела на Петра. Все перепуталось в ее душе — радость, что ее игра стала предметом восхищения известного скульптора, что она так сильно взволновала его; страх, неуверенность — ведь этот скульптор был Долина; а ко всему еще прибавилось смущение перед мужем. Она знала, что Петро давно догадался обо всем, и то, что муж не позволил себе даже намекнуть на это, она не могла не оценить. Знала, что пустяковые подозрения служат во многих семьях поводом для постоянных ссор, для злых насмешек, которые, в свою очередь, рушат эти семьи.

— Петро, Люся, поехали ко мне в мастерскую, прямо сейчас! Если вы не согласитесь, вы просто убьете меня. Я смог бы и так... Но это ощущение... Я боюсь, оно вот-вот отлетит. Я должен видеть натуру, тогда я ничего не упущу.

Сашко говорил горячо, вдохновенно, и вдохновение и горячность исключали любое подозрение. Это хорошо понимал Примак. Понимал и то, что первая волна отхлынет, а на ее место придет другая, которая, по сути, предшествовала взрыву и вызвала его. Ему были чужды такие взрывы, игра минуты, он не доверял им, считал случайными в искусстве. Но он слишком уважал искусство и потерял бы уважение к себе, если бы сейчас побоялся оставить Сашка и Люсю вдвоем.

— Мы не можем поехать оба,— сказал он.— Да мне и нечего там делать. А Люся пускай едет. Ты, Сашко, иди найди такси. Не сядет же она в гриме в троллейбус. А я помогу ей собраться.— И посмотрел на Люсю. Если бы он избегал ее взгляда, если бы отвел глаза, Люся не поехала бы. Но этим взглядом они слово скрепили что-то, чему нет названия и что не требует слов. Конечно, оно не исключало бессознательной досады на жену, но оставляло место и для доверия и не требовало никаких объяснений в будущем.

Петро проводил их до такси, а сам пошел вверх по улице Карла Маркса, не оглядываясь...

Сашко и Люся добрались до мастерской быстро, запал Долины не успел погаснуть. И работал он в первый вечер как одержимый. Надо сказать, одержимость эту Долина поддерживал несколько насильственно, распалял изо всей мочи, что именно она вознесет его на гребень, на который вынесло воображение во время спектакля. На его счастье, глина уже была замешена для другой работы. Правда, не очень хорошая—метростроевская—жестковатая и зернистая, но это его не смущало. Он решил работать против всех правил: сначала вылепил голову, а уж потом — торс. Сейчас ему было важно только лицо, только выражение непередаваемой муки и тоски по тому, что оставляла Мавка, неясной надежды там, где ее уже и быть не могло... Полуоткрытые губы, угасший взгляд... Усталость и страдание... Но в чутком раскрылье бровей, в разрезе глаз — надежда, надежда, обращенная к нему...

Он усадил Люсю в кресло, то самое, старинное, в котором сиживал Кобка, и попросил забыть и его, и мастерскую, и все то, что не было Мавкой.

За трехчасовой сеанс он порядком утомился. Работал без перерыва, формуя из глины образ, взлелеянный не только воображением, но, может быть, и любовью. Порой Долину даже пробирал озноб. Он не впервые работал с натурой, но впервые чувствовал ее так. Он должен был уловить все. И хотя игра на Люсином лице давно погасла, он продолжал лепить, он лепил ее живую, надеясь, что главное придет само собой.

Своей одержимостью он разрушил в тот вечер неловкость, которая могла бы сковать их. Он поил Люсю чаем, рассказывал о своих предыдущих работах. Люся дважды звонила домой, спрашивала о Павлике (и только тогда почему-то оба чувствовали смущение, словно этими звонками она отчитывалась), на другой раз Сашко в конце разговора взял трубку и попросил Петра приехать за Люсей, но тот несколько грубовато отшутился: «Ты брал в долг — ты и вези».

Он и привез. Втроем распили бутылку вина, и Сашко чувствовал себя свободно, непринужденно и знал, что эта свобода была самой дорогой его платой Петру. Ему давно не было так хорошо со старым другом — и никогда уже не будет. На короткое время он даже поверил, что ему удалась поистине мефистофельская сделка: вместо любви получить художническое прозрение, и он готов был на это.

На другой день Люся приехала в мастерскую утром. Уже в обыденном строгом сером платье, в туфлях на невысоком каблуке, и сама совсем иная — не Мавка, а с давних пор знакомая ему женщина. Они это поняли мгновенно, поняли оба, и сразу оцепенели. И Люся напустила на себя суровость — может, она боялась, что Сашко нарушит их молчаливую договоренность и тогда случится беда. У нее даже не возникало мысли о легком флирте, о возможности короткого счастья, она видела впереди обрыв, и, наверно, если бы Сашко настоял, мог бы подвести ее к обрыву и заставить прыгнуть... Было тяжело, тоскливо на душе еще и оттого, что она вынуждена сидеть, а Долина разглядывал ее лицо, всматривался в каждую морщинку, в каждую тень. Она не привыкла, чтобы ее так разглядывали, ей казалось, что он смотрит на нее не только как художник, а заглядывает в их прошлое и пытается заглянуть в будущее. А будущего она боялась. И ее губы стискивались еще плотней,

а глаза смотрели еще холодней. Эта неестественная строгость и неприступность смутили Долину, он не мог завязать легкой беседы, как накануне, и оба чувствовали себя плохо. А ему еще приходилось поддерживать в себе интерес, напрягать внимание. До сих пор он не видел своего замысла целиком, только уловил выраженную замечательной поэтессой тему человеческой боли и надлома, трагедию ухода в небытие, порожденную жизнью.

Он засомневался: а сможет ли передать то, найденное великой Лесей Украинкой, а если и сможет, то хватит ли у него таланта для создания своего образа, нового характера? Может ли быть, что Люся сказала те слова для него? Хотелось, чтобы это было так, хотя он и чувствовал, что тогда рушится большее. В конце сеанса он попытался спросить ее... Сначала он читал ей из Гейне, рассказывал о своей поездке в Колодяжное, об усадьбе Косачей в лесу, где поэтесса встретила прототипов своего произведения. Ему казалось — он развлекает Люсю и поддерживает нужное ему настроение. Это был обычный разговор. А вот то, что он спросил, уже выходило за рамки профессионального интереса.

— Как вы думаете, Люся, Мавка могла бы вернуться после своего рокового решения к Лукашу, если бы он ее позвал?

— А что бы ей это принесло — новые муки? — отозвалась Люся. — Ведь она бы и дальше не знала, навеки ли это.

— Разве... разве можно думать о будущем так горько, если любишь? — пытаюсь сохранить хотя бы подобие беспристрастной беседы, возразил он.

— Если эта любовь куда-то ведет человека... Если же она означает для него только новые мучения...

— Тогда это не любовь! Нельзя же ее отождествлять с мукой!

— Неправда! — воскликнула Люся и схватилась за подлокотники кресла, как бы собираясь вскочить.

— Почему неправда? — он бросил на глину маленький металлический стек. — Все то, что можно понять разумом, — не чувство. О нем нельзя рассуждать.

— И все рассуждают! И все болтают! Только один — с радостью, с замиранием сердца, ловя музыку уже в самом этом слове, другие — со страхом, третьи — с мукой. И в самом этом слове для них уже заложена опасность.

— Для вас — опасность? — он подошел к креслу. Его лицо в этот момент было суровым, но и нежным, наверно, как у всех влюбленных.

Она повернула голову к окну, посмотрела на освещенный солнцем Днепр, на прозрачную синеву заречья и сказала:

— Полететь бы...

Он наклонился к ней и сразу почувствовал, как его обдала тонкая трепещущая волна, как все в нем напряглось и натянулось до последней возможности. Словно он попал в чуткое магнитное поле, и стоит ему поднять руку, как в полуметре почувствует Люсино тепло. Собственно, он его и почувствовал. И сразу дрогнули на подлокотниках Люсины руки, и вся она словно сжалась, а потом рывком поднялась с кресла и шагнула к дверям. Она вырывалась из этого притяжения.

— Я сегодня больше не могу. Мне надо в училище. И вышла, не попрощавшись.

Долина знал, что Люся сюда больше не вернется. Как еще раньше знал и то, что это чувство не принесет ему радости. Она уловила его скованность и страх. Если бы он повел себя иначе — свободно, естественно, если бы жил только сердцем...

Наверно, именно потому он и не пытался остановить Люсю. Работать ему расхотелось. Через день он был на повторном спектакле, попросил знакомого фотографа сделать несколько снимков Мавки. И вяло лепил дальше. Почему-то долго не мог найти положения для левой Мавкиной руки. То она была нервно сжата или расслаблена, то останавливалась у груди, то прикасалась к плечу, потом он видел, что она там некстати, и опускал снова. Меняя цветы в волосах и прическу, искал новое выражение подбородка, но к глазам, к надбровью больше не прикасался. Тут он был уверен в себе. Тут он схватил и передал точно. Не подвели интуиция и талант. Всякий раз, входя в мастерскую, он придирчиво и, как ему казалось, беспристрастно вглядывался в портрет, пытаясь дать ему достойную оценку. Он уже знал, как это непросто — быть одновременно судьей и защитником. Сердце — вот лучший защитник, оно всегда оправдает, и, каким бы рассудительным ни был прокурор-разум, защитник перетянет его на свою сторону.

На этот раз он не мог найти верной оценки своему труду.

Он работал дальше. Вяло, неуверенно. Может, из-за того, что не было возможности увидеть Люсю? Эта мысль убивала все, не давала сосредоточиться на деле.

Как-то утром он долго перебирал эскизы, потом убирал в мастерской, потом сел у окна и задумался. Он вдруг почувствовал, что ему больше ничего не хочется. Курил, расхаживал по мастерской, ожидая толчка, движения в себе — но их не было.

Он понял, что уже и не будет. Внезапно проявилась пленка памяти, и на ней проступили черные контуры: «Академика», Кобки, «Старика в задумчивости», Петра, Люси... Он зажмурился и на мгновение представил себе дорогу, широкую дорогу, которая поворачивала в сторону и возвращалась на круги своя за его спиной. Это не было призраком, ведь материальной дороги он не видел, это была игра воображения, его подсказка.

Долина затосковал. Заболело сердце, ядовитая горечь подступила к горлу — это было презрение к себе, самоедство, почти самоубийство. Мы часто называем себя слабаками, ничтожествами, бездарями, но, даже называя себя так мысленно, играем с собой, чтобы или подхлестнуть, или вызвать к себе сочувствие. Долина знал, что жалеть ему себя и подхлестывать ни к чему.

Чтобы не уничтожить портрет, он запер дверь и вышел во двор. Долго стоял, не зная, куда бы пойти. Медленно зашагал к звоннице Ковнира, потом повернул и пошел назад. Не хотелось сейчас беречь старые раны. Там был успех и первый толчок к восхождению, замах на что-то великое, и теперь размышления об этом были для него тяжелы.

На лаврской колокольне пробило семь раз. Мелодия курантов словно бы разбудила его от трудной думы, заставила оглянуться вокруг. В эту пору Лавра бывала уже закрыта, по узеньким улочкам и переулкам блуждала тишина.

О чем думал он в тот далекий день, когда бродил здесь, а потом встретился с Кобкой? О тысячах тысяч людей, что прошли по этим камням, о тысячах тысяч взглядов, дыханий, надежд. Что они оставили после себя? Вот эти потертые камни? И на земле их след это? Нет, нет, вон же лаврская колокольня и церковь Ковнира! Но для кого они создавались? Для нас? Вранье! Они создавали это для себя. Для своих современников, чтобы

завладеть ими. Завладеть самым великим на земле сокровищем — человеком. Его вниманием, уважением, восторгом. Да-да... и восторгом далеких, будущих прихожан... радуясь этому восторгу заранее. Собственно, какая разница... Сегодня или через сотню лет... Благоговеют одинаково, пусть в звоннице Ковнира фрески сохранились, а в Успенской — нет, и сама церковь превратилась в груды кирпичей. Спрятала под своими обломками могилы нескольких десятков славных мужей, начиная от Ярослава Мудрого и кончая Памвой Бериндой. Ныне деяния того и другого школьники зубрят по учебникам. А миллионы других имен замела пыль веков. Вся эта земля — сплошь из человеческой плоти, и единственное, что она вернула миру, — поздние яблоки и траву у забора. Травой пророс и Ярослав Мудрый, и тот неведомый смерд, что помер, ухаживая за его виноградником. И Ковнир тоже пророс травой. А вот эта колокольня — это уже не он. Она принадлежала ему, покуда он ходил вокруг нее. Созерцание собственного детища приносило ему истинное счастье потому, что он и все, кто проходил мимо нее, знали — она останется навеки.

Думая о мертвых, о тех, кого отделяют от нас сотни, а то и тысячи лет, Сашко чувствовал в груди и терпкий холодок. Бессознательное заигрывание со смертью? Всех их нет, великих и малых сих, славных и бесславных, а вот я живу? Живу и думаю о них. Когда-нибудь уйду и я. Но когда это будет! И уже само бытие словно бы дает преимущество перед всеми ушедшими — славными и бесславными. Мы боимся только близких смертей и свежих могил. А давние пробуждают наше воображение и еще крепче привязывают к прелестям жизни. К работе, к творчеству, что возвеличивает нас. По крайней мере, в собственных глазах.

Долина медленно добрал до главных ворот. Возле них сидел караульщик, старый человек в высоких сапогах и допотопной шляпе, — выпускал отставших, заблудившихся в лабиринтах Лавры посетителей. Говорят, он сидит на этом месте уже двадцать пять лет. Сидит и смотрит на далекое заречье. И ни о чем не думает? Или думает только о том, чтобы скорее запереть ворота и улечься на сенник в бывшей монастырской келье? И его не гложет честолюбие, и он не думает о тех, кто расхаживал тут столько веков назад? В то время как для Долины его мозг являлся сущей пыткой. Словно кибернетическая ма-

шина, которая все время самоусовершенствуется, ловит информацию и возвращает ее на себя, Александр Долина уже не может посидеть десяти минут, чтобы чего-нибудь не читать, не думать о чем-то, не искать. А вот этот человек небось не прочитал на своем веку ни одной книжки. И у него, и у Долины одинаковые извилины в мозгу. И одинаковая жизнь мозговых клеток...

«Так что, завидовать мне ему или презирать?» — подумал Сашко. Его словно замкнуло на этой точке: все, мол, — единая субстанция, хотя и выглядит по-разному. Только это не принесло ему успокоения. И тогда он повернул налево и, пройдя по улице Январского восстания, а потом спустившись вниз по Лаврскому переулку, вернулся в мастерскую. Зажег лампу и остановился напротив «Мавки». Пытался судить о своей работе холодно и строго. Прежде всего сравнил ее с тем, что задумывал спервоначала, что пытался вдохнуть в эту холодную грязь. Он хотел власти морока, которая уже подчинила себе человека, противопоставить инстинктивный порыв к жизни, к свету, к любви: Мавка уходит из жизни не потому, что Привидение сильнее, ей не хватило сил ждать дальше, страдать и мучиться, но она жалеет об этом. Черную силу Сашко не собирался изображать — она должна витать над скульптурой, ее должны угадывать, а момент борьбы надо проявить отчетливо. Порыв Мавки — порыв не одного человеческого существа, а всего человечества. («Такой грандиозный замысел, как я на него отважился!») Порыв Мавки — Люси все-таки должен быть адресован ему. Он уловил его тогда и радовался...

А теперь стал догадываться, что это — его оплошность. Мелкое торжество мелкого человека, которое он хотел загнать в камень, чтобы живое существо во веки веков робело перед ним, художником. Чтобы творение напоминало ему о победе над живой личностью. Наслаждение эгоцентрика! Попытка освободиться от Кобки... В глубине души он догадывался, что, работая, обманывал себя, что художническое прозрение нельзя променять на быстротекущее желание любви и даже на самую любовь. И боялся об этом думать.

Со стороны художественной техники... Это должно быть контрастом движения и покоя. В покое ощущать движение ожившего материала. А сейчас затвердевшая глина говорила, что камень будет спать, как спит и сле-

пок. Его не оживляют ни страдания на лице Мавки, ни прижатая к груди рука. И не оживит ничто. Долина знал это. И уже слышал цитату из очередного отчетного доклада: «Обратившись к творчеству выдающейся поэтессы, скульптор Долина еще раз проиллюстрировал («проиллюстрировал!») мысль о вечном противоречии между высоким предназначением человека и рабскими условиями жизни того времени. Работа выполнена на совесть, и если она не отличается оригинальностью, то свидетельствует о громадной работоспособности автора, а также о том, что он идет своей дорогой, начатой пять лет назад «Стариком в задумчивости».

...«Идет своим путем», — повторил он мысленно, и ему вдруг показалось, что за спиной кто-то смеется. Смех был негромким, скрипучим, уверенным — убийственным. Наверно, смеялся он сам, и высокий потолок мастерской отразил его смех. Но в то же время он почувствовал в себе присутствие неведомого раньше рационалиста, лишённого фантазии и полета. Он почувствовал особую прозорливость, поняв, что не загубит ни одного камня, но и не создаст ничего, что могло бы поразить его самого, и, с каждым шагом отдаляясь от «Старика в задумчивости», будет лепить череду одинаковых скульптур, схожих между собою, как схожи фигуры на шахматной доске. Там есть король, и тура, и пешка, но они сделаны по одному трафарету.

Страшно сказать, но он не знал, как вырваться из этого кольца, не было опоры и сил для борьбы.

Он перепугался. Не сходит ли он с ума? Никогда не судил он об искусстве, и прежде всего — о своих произведениях, так трезво и точно. Это испугало его еще пуще. Словно убегая от кого-то, Сашко торопливо запер мастерскую и выскочил наружу. Во дворе почему-то не горели фонари, и лаврская темень показалась ему зловещей. Особенно густо залегли тени возле сарая, в котором некогда трудился Кобка. И в той чащобе, в сплетении густых теней что-то поблескивало — наверно, стеклышко или жестянка, но Долина почему-то не отважился подойти и поглядеть, что там. Он оглянулся на мастерскую, но ни одно окно не светило, и все строение ему показалось мрачным, оно угнетало безмолвием и тем, что наводило на мысль о далеких временах, когда служило не искусству, а чему-то другому, ушедшему, но оставившему столько следов!

Долина поспешно выбежал со двора. Ему казалось, будто за ним что-то маячит, взмахивает за спиной невидимыми крыльями. Он понимал, что все это глупости, но успокоился, только вскочив в троллейбус, набитый людьми, большей частью молодыми, которые переговаривались и смеялись.

Дома, когда раздевался, заметил на вешалке элегантный розовый плащик. Светлана свою одежду вешала в шкаф, значит, кто-то явился в гости.

— Это снова та... что окунулась в чары любви, — с досадой сказал он Светлане, которая выглянула из гостиной.

Светлана удивленно воззрилась на него:

— Она пришла к нам в первый раз! И что ты имеешь против нес? Может, и я тебя уже не устраиваю? Я ведь не проверяю, кого ты водишь в свою мастерскую!

Сашко прошел в кабинет и весь вечер не выходил оттуда. За стеной лепетали женщины, временами доносился смех, — разведенная архитекторша смеялась залиvisto, громко, и это раздражало. Хотелось тишины, дружеских слов, хотелось кому-то рассказать обо всем, а может, и поплакаться. Приятно, когда тебя жалуют, хотя и унижительно. Но кому он поведаст о своих бедах? Светлане? Она сделает вид, что слушает, — открыто пренебрегать его излияниями она пока побаивалась, — а сама будет думать о своих делишках и терпеливо ждать, когда он кончит. Светлана вообще не любит говорить о неудачах. Правда, она с наслаждением узнает о провалах тех счастливцев, известных художников и скульпторов, которые стоят значительно выше ее мужа. Она не любит искусство, не любит, не уважает мужа, но ненавидит тех, кому удалось забраться выше его. Возможно, она завидует их женам, а может, так реагирует на собственное, неудачное, как она считает, замужество. Долина мог бы спросить совета у Петра, но теперь ему и туда дорога заказана. Да и что он ему скажет? Что ему не удался портрет Люси? Что он хотел отобразить чудовищную борьбу в ее сердце, борьбу между любовью и долгом, то есть между ними двумя?..

Ему даже нехорошо стало от одной мысли об этом.

Так он и просидел весь вечер на диване, обхватив руками колени, слушая залиvistый смех архитекторши и баюкая невеселые мысли... Несколько раз к нему

врывался Ивасик, и он пытался развлечь сына, но малыш сердцем чуял отцовскую тоску, ненатуральную его веселость и бежал к матери... Там, по крайней мере, хохотали искренне...

На следующий день, придя в мастерскую, Долина понял, что не ошибся: портрет Мавки не удался.

Он видел просто женщину, чем-то очень испуганную, может быть, ошеломленную,— и все. Он не сумел воплотить иных значений, навсегда потерял их. Как потерял и саму Мавку — Люсю. В душе его не было той теплоты, с какой обычно смотрят на любимого человека. В это мгновение Долина усомнился даже в своей любви. Он не мог сказать, какая утрата сейчас для него больше. Наверно, больше была первая. Он не смог преодолеть штампа, прыгнуть выше головы, как не смог отдаться чувству, полностью довериться ему. Ему казалось, что сумеет он победить здесь — победил бы и там, взял бы ее в плен, повел за собой. Теперь все дороги к ней закрыты. Ведь увидев эту глину (или даже мрамор), она справедливо разуверится в его чувстве, и ее, конечно, не утешит вполне заурядная скульптура. А он предвкушал праздник... Как он покажет Люсе законченную работу. Она не смогла бы, не посмела отказаться от такого приглашения. Он продумал все до последней мелочи. Он был уверен, что их отношения продолжатся по-новому. Мысленно уже рисовал себе праздник первого показа «Мавки». Паломничество. Вроде того, какое было к «Старику в задумчивости».

Долина невольно оглянулся. В углу думал свою вечную думу, загадочную даже для Сашка, «Старик» — гипсовая копия, весьма удачная. Говорят, что скульптура рождается в глине, чтобы умереть в гипсе или возродиться в мраморе. «Старик» жил в гипсе.

Долина подошел к портрету, который принес ему такую известность, и представил бесконечную тщету остального своего существования. Кобка извлек его из неизвестности и одновременно наградил даром видеть собственную бескрылость. Сашку припомнилась его беседа с Кобкой и предсказание того, чем обернется этот дар. Казалось, он должен был бы им наслаждаться, а на деле — мучился. Он с тех пор все всматривался во что-то, прислушивался к чему-то. Вот, к примеру, недавний случай. Бродя по городу, Долина шел мимо зда-

ния суда. Оно размещалось в старом домике, зажатом новостройками и, ясное дело, тоже обреченном на снос. Стоял туман, а окна в суде ярко светились. Долину потянуло зайти. Он никогда не бывал на судебных заседаниях. Зал был маленький, с облупленным потолком, с обшарпанным барьерчиком и лавками вместо стульев. И зал, и все помещение доживали последние дни. Судили же сухонького деда, заведующего базой, растратчика.

Сгорбленный, съезжившийся старикан сидел в оцепенении, почти не прислушиваясь к тому, что творилось вокруг. Поднимался, отвечал на вопросы, но, видно, не придавал значения. Сашко понял, о чем он думает. Ведь жить оставалось так мало, а из жизни будет вынут большой кусок. Большой, если не вся жизнь. Да и что ему оставалось? К чему вся эта суета, хлопоты, если он сам уже вынес себе приговор?

Наверно, старикан не очень был и виноват, об этом свидетельствовали и его бывшие сотрудники, и не очень грозно выступал прокурор, но все же деньги были растрачены, и следствие не нашло концов и не вытащило искомую сумму из какого-нибудь бухгалтерского закутка. Но старикан считал, что делу конец. И его жизни тоже. Он уставился в пол, время от времени вытаскивал из кармана синий платок. Он не плакал, просто от старости у него слезился глаз.

Сашко почувствовал неподдельное сострадание. Чем-то подсудимый напоминал ему колхозных дедов — кладовщиков и весовщиков, которые нынче стали постоянной мишенью для сатиры, а на самом деле, по большей части, были честными и справедливыми людьми, только на веки веков запуганными постоянной ответственностью и той же сатирой. Видно, дедок и посейчас не мог сообразить, где ошибся, и принимал все, как должное.

Когда суд удалился на совещание, поднялся и Долина. Проходя мимо подсудимого, он наклонился к нему через низенький барьерчик.

— Вы не волнуйтесь, — сказал он тихо, — ваше дело отправят на исследование. И деньги обнаружат.

Дедок повел на него слезящимся глазом; а Долина повернулся и быстро вышел. Он не мог сказать, откуда в нем возникла такая уверенность, что ему подсказало ход событий. Сашко повернул от дома влево, но уперся

в тупик, выпил у киоска воды и вернулся назад. Когда он снова проходил мимо здания суда, оттуда как раз высыпали люди.

— Видишь, суд передал на следствие, — объявила какая-то женщина, кутаясь в широкий деревенский платок. — Может, все-таки докажут Гнатову невиновность.

У Долины от тех слов замерло в груди, но не радостно, а испуганно. Он подумал — то, что напророчил ему Кобка, становится сущим наказанием.

Нынче он особо почувствовал остроту своего прозрения и поверил в него безоговорочно.

Пытаясь отделаться от дурных мыслей, он вышел на Крещатик, влился в толпу. Сталкиваясь взглядом с десятками озабоченных, равнодушных, радостных глаз, он понемногу успокоился. Поужинав в кафе, Долина вернулся в мастерскую. Он до сих пор не решил, что же ему сделать с Мавкой. То ли вылепить в полный рост, то ли оставить портрет поясным, то ли бросить это дело совсем. А решать надо было срочно. Глина высыхала, садилась. Но работать ему не хотелось.

Тогда он решил прибрать в мастерской. Надо было вынести в подвал, в кладовую все лишнее. Он решил начать со «Старика» — и остановился. Желание убрать с глаз долой эту скульптуру боролось в нем с жалостью. С одной стороны, ему казалось, что «Старик» тормозит работу, словно бы замораживает мысль, заставляя все время возвращаться назад, вспоминать, копировать (в этом, последнем, он был убежден твердо!), с другой — что подзуживает, заставляет сопротивляться, искать. Но, наверно, эта борьба становилась призрачной, он боролся с продуктом собственной фантазии, с тем, что ему навязал «Старик».

«Выдумываю, — сказал он себе мысленно, постукивая пальцем по гипсу, — просто «Старик» надолго привязал тебя к себе. Но ты вырвешься из его тенет. Потому что все это — о твоей дальнейшей судьбе — неправда!» Говоря это, Долина все-таки прислушивался к себе. что-то в нем подтачивало эту уверенность, заставляло бояться. Ему хотелось освободиться немедленно, но как — он не знал. Стукнуть молотком по гипсовой отливке, разбросать обломки, расхохотаться, забыть обо всем! Но... как забыть? Ведь существует тот, настоящий «Старик» в музее. Как сказал учитель рисования: «Эталон...»

В эту минуту скрипнула дверь, и Долина оглянулся. На пороге стоял Лапченко. Стоял покорный, умильный, несчастный, и эта покорность, эта умильность обозначали, что он пришел занять денег. Обычно Лапченко держался вполне независимо, высказывал свое мнение свободно, даже о работах маститых художников, к чему уже привыкли и по-своему любили за это (по большей части, когда он иронизировал над работами других). Жизнь он вел веселую, на его круглом, полном лице всегда ясная улыбка, а маленькие хитренькие глазки так и блестели от плотоядного удовольствия — когда в карманах у Лапченко шелестели красненькие и синенькие купюры. Когда же они разлетались... Вот тогда он и становился льстивым, умильным, как, наверно, все нищие в мире. Такого Лапченко художники прямо-таки боялись. Он имел дурную привычку не отдавать долгов. Никто не помнил, чтобы он вернул кому-нибудь деньги. А кланчил до тех пор, пока не откупались хотя бы пятеркой.

— Сашко,—сказал он трагически,—если ты меня не выручишь, не знаю, что и будет!

Долина посмотрел в хитренькие глазки Лапченко, и ему вдруг показалось, будто Лапченко вернет ему долг. Долине словно нашептывал кто-то — иронически прищуренный, не слишком-то доброжелательный, и он слушал эти шепоты и верил им.

Эх, если бы оборвать шептуна! В нем вспыхнули бунтарство, лихость, и, хотя на языке уже вертелся готовый ответ для Лапченко: «Ни черта с тобой не делается, не выпьешь сегодня вечером, только и всего»,— он вдруг спросил:

— Сколько тебе?

Лапченко отметил веселый блеск Долининых глаз и благожелательность тона и, зажмуриваясь от собственного нахальства, выпалил:

— Мне бы сотню...

— На, у меня как раз ровно столько,—протянул Долина четыре четвертных.

Не веря в удачу, Лапченко осторожно, словно пробуя — не жгутся ли, взял деньги, для чего-то развернул веером, сложил и спрятал в карман.

— Я тебе верну... в пятницу,—почти беззвучно произнес он.

«Давай, давай, бреши»,—мысленно ответил Долина, еле сдерживая смех. Он клокотал в горле, как пригорш-

ня увесистых камешков, которые приятно высыпать кому-нибудь на лысину. Он смеялся над своей выдумкой, а бедняга Лапченко прямо-таки шалел от той веселости и радости, с какими Долина одалживал ему деньги. Он пораженно, даже испуганно, воззрился на Сашка и, пятась, выскочил из мастерской. А Сашко упал в игуменское кресло и в полный голос рассмеялся. Наконец-то ему удалось избавиться от проклятой прозорливости, которая преследовала его, победить ее, обмануть. Он хохотал прямо в лицо гипсовой фигуре, потом завернул ее в мешковину и, легко подбросив на плечо, отнес в подвал. Поставил в уголок и завалил для верности аппликациями, которые мастерил когда-то для кино.

Но когда в пятницу Долина, немного опоздав, явился в мастерскую, он был прямо-таки обескуражен: у дверей топтался Лапченко.

— Я уж в третий раз целую пробой на твоих дверях,— сказал он смиренным, тихим голосом; казалось, он снова пришел просить в долг, хотя рука в пиджачном кармане говорила о том, что принес деньги. И вправду, Лапченко вынул и протянул новенькую хрустящую сотню.— На,— со вздохом сказал он.— Я из тех, кто отдает взятое.

Он явно собирался зайти в мастерскую и продолжить беседу, полюбоваться своей честностью, кстати, и выпить стаканчик терпкого сухого вина, которое Долина постоянно держал для гостей в дубовом, собственной работы, бочонке. Но Сашко захлопнул дверь перед самым носом Лапченко.

Это было странно, невежливо, но в тот момент Долина не думал об этике. Он боялся, чтобы Лапченко не заметил его испуга.

Это происшествие стало последней соломинкой, и она в конце концов переломила спину верблюду. Сашко все больше замыкался в себе, раздумывал исключительно о работе. Она представлялась ему громадной тяжелой цепью, один конец которой он поднял, но видел, что всей цепи не удержит. Самым горьким оказывалось то, что и дома ему не было облегчения. Светлана узнала, что Сашко лепил Мавку с Люси, и страшно обиделась. Ею владела не столько ревность, сколько то, что муж искал образец в иной женщине. Разве можно, думала она, сравнить Люсю со мной? Разве не с меня дол-

жен был муж лепить нужный ему образ? Итак, он пренебрег ее красотой, пренебрег ею как личностью, превратил ее в домашнюю работницу, в батрачку. А теперь замолк, ничего не рассказывает. К тому времени она решительно забыла, что ни разу не выслушала Сашка до конца, ни разу не похвалила или хотя бы не осудила.

Сашко ничего не мог ей объяснить и потому уходил из дома и запирался в мастерской. Он тоскливо думал, как жить дальше. Поменять профессию? Невозможно. Ничего другого он не умеет, и, кроме того, к этой глине, к этому мрамору прикован он душой и мыслью. Наедине с собой Долина снова и снова пытался отгадать, что же случилось.

Надолго оторвавшись от жизни, обособившись, он все глубже тонул в себе. Это произошло незаметно — его «я» постепенно заполнило все вокруг, оно было «я» и мир, «я» и мои предчувствия. Мысля так, он определял начало и конец своего «я», и это убивало энергию и веру в себя.

Он понимал, что разрушает что-то в себе, — в этом, а верней, в том, прежнем, сильном, хотя и легко ранимом человеке, склонном к радостям жизни, чистом и чувственном человеке из живой плоти и крови.

Теперь он постиг ценность того, что создает творец, реальную ценность произведения, которое начинает жить своей жизнью. Он опять и опять возвращался к исходной точке и всякий раз останавливался на «Старике в задумчивости». Уже не на Кобке, а только на «Старике». Все шло оттуда. Если бы не было той скульптуры («эталона» — опять звучали в его ушах слова экскурсовода), он бы теперь лепил свободно и раскрепощенно и, наверно, шел бы по восходящей. Он бы не думал о ценности того, что создает, просто радовался бы и наслаждался самим процессом. И все-таки что-то сделал бы. А в конце концов, не в этом суть! Жил бы, как жилось! Поженились бы с Люсей, извели бы обыкновенное счастье. Оно грело бы. И толкало к работе. Обыкновенное счастье к обыкновенной работе. А может быть, и по-другому: Люся окрылила бы его, подняла.

И снова он почувствовал себя как игрок, проигравшийся в пух и прах. А мог ведь не играть. Мог спокойно наблюдать за игрой других. Если бы не взял тогда в руки карты, которые подсунил ему «Старик».

Он почувствовал физически, что не может отделать-

ся от «Старика». И уже ненавидит его. Он угадывал в портрете многозначность, а видел только одно реальное значение, направленное против него и его поисков, его будущего труда. «Смотри, радуйся,—словно бы говорил «Старик»,—но от меня тебе не вырваться. Все уже было, ничего нового ты не найдешь, не ищи понапрасну». И эта вот его насмешливость была неверием в его успех, в нужность поисков.

Сашко думал об этом, и сердце его тяжело болело. Ему хотелось подойти и стереть эту усмешку, стереть убедительными, значительными делами, другой работой. Но он чувствовал: пока существует «Старик», другое он не способен сделать. Его лучшая скульптура повисла над ним, словно каменная глыба, и, работая, он вынужден все время озиаться. Он ощущал живую тяжесть этой глыбы и невольно искал освобождения от нее. Просто взять и забыть? Но как забудешь, если образ этот поселился в тебе навсегда. Если ты, коснувшись камня резцом, слышишь: «Не так, прежде ты работал иначе. Все не так». Избавиться от «эталона»? Истребить его в себе и уничтожить его материальное воплощение?

Такое желание родилось в нем летом. Когда они отдыхали с Примаком в лесу. Только тогда он еще не осознал этого. Оно упало, как семя омель в трещину дерева, но еще не проросло, не прошило корнями крепкие волокна. В тот день они загорали на озере. Петро дремал, Светлана и Люся читали. Сашко лежал бездумно, подперев голову руками и глядя на воду. Дети возились рядом: Ивасик старался марлевым сачком поймать мальков у берега. Павлусь строил из песка крепость. Носил ведерцем мокрый песок, насыпал целую гору. Вырастали волшебные башни, шпили, загадочные галереи и бастионы. Потом он проделал бойницы и настелил мост. Когда закончил работу, из воды выскочил Ивасик. Ему все-таки удалось поймать малька. С воплем кинулся он к Павлусю и наступил на крепость. Она развалилась. Павлусь так заревел, что даже снялись с кочарника кулики и с криками заметались над озером.

— Не плачь, мы сделаем другую,—пустив малька в банку с водой, сказал Ивасик.

— Не хочу другую, хочу эту,—заливался плачем Павлусь.

На его рев поднял голову Петро.

— Этой уже нет: А вы и вправду строите-ка другую.— Он подмигнул Сашку и тихо добавил: — Вообще время от времени не мешало бы разрушать созданное. Тогда не захочется оглядываться назад.

Он так и сказал: «Тогда не захочется оглядываться назад». Это и было тем семенем, которое упало в древесную расщелину. Только для Долины эти слова прозвучали еще и так: «И не будем бояться того, что впереди».

Долина все понял. И ужаснулся. Он гнал глупые мысли, но они жили, напоминали о себе. Что же будет, если он допустит это, дойдет до последнего? Он потеряет то, что у него есть сейчас. Благодаря чему его уважают, считаются с ним. Правда, скульптуру некоторое время будут помнить, хотя бы по репродукциям. Но это будет памятью об утраченном. Так в селе старый дед показывает внуку тусклый дагерротип, на котором оперся о саблю черноусый гусар. Дед твердит, что этот гусар — он. Детвора поверила бы, но никак не может представить себе деда гусаром, не может проникнуться почтением и восторгом, необходимыми для беседы с настоящим кавалеристом...

Но Сашко что-нибудь и получил бы. Прежде всего — освобождение. И начал бы новую жизнь.

Он не представлял себе, как бы это случилось на самом деле. Боялся представить. От одних только мыслей Долина чувствовал себя полумертвым. Горел лоб, пылали веки, и внутри все дрожало. Действительно ли его сжигал жар или этот костер пылал в воображении? Ему казалось, что никогда он от этого не освободится. Так и будет мучиться. Так и будет жить в страхе. И уж никогда, никогда...

Хотя избавиться можно...

Разыграть все как бы в шутку. С самим собой! Ведь кто-то каждый день по-иному проигрывает в мыслях известные литературные сюжеты. И выпускает из западни тех, кому симпатизирует, и издевается над злодеями и глупцами.

Сашко задрожал, когда понял, в какую сторону повернула его мысль. Он как раз сидел в кафе напротив музея. Почему он оказался именно в этом кафе? Что его сюда привело? Ага, он пришел на выставку Васильковского! Но выставку Васильковского он уже видел вчера. Зачем же он сюда приволокся?

Он сидел в самом углу кафе возле стеклянной стены и смотрел на улицу. Он никогда не видел музея с этой стороны. Высокие серые стены, крутые карнизы, мостики через зацементированный ров, тяжелые железные двери — все это напоминало старинный замок.

На лестнице — из своего угла Долина видел часть ступеней — стало больше народу: кое-где начался обеденный перерыв, и люди хотели успеть посмотреть выставку.

«Если бы я собирался сделать это, — подумал Долина, — то лучше момента не найти». Это было бы возвращением к жизни, к реальности, к нормальной работе. И к Люсе, в конце концов! Пусть не настоящим, пусть хотя бы в воображении, — ведь он ощутил, что ее живая плоть, ее натура, как он заметил в Мавке, противостоят «Старику», отрицают его и возвращают Долину пусть на трудный, но жизненный путь.

Если бы он сделал это, он бы освободился от своей ноши, как грузчик освобождается от своей. Остановился бы, выпрямился и подумал, что делать дальше.

Долина играл со своей фантазией, дразнил ее, как злющего пса, хорошо зная, что тот на цепи и не может сорваться. Он всегда трезво, может быть, слишком трезво рассматривал и оценивал собственные поступки. Нынче же он не мог забыть ни на мгновение, что скульптура «Старика в задумчивости» принадлежит не ему. Она стоила столько, что у него не хватило бы денег, чтобы ее откупить. Правда, он понимал и другое: откупить и забрать — это не то. Все узнают, что он забрал из музея скульптуру, ославят его чудаком, а он привезет ее в мастерскую и... не посмеет разбить. И — новые муки, новые сомнения и вечные колебания.

Долина отверг этот вариант.

Он хотел прикинуть все шансы. Представить, как бы это случилось, увериться, что хватит сил. Он был почти убежден, что сил ему не хватит, что он перестрадает и все останется, как и было. И потому без особого страха направился к музею. Конечно, сейчас он ничего не делает, хотя преступление созревало и становилось реальностью.

Но — и это он тоже отметил! — в его поведении появилась настороженность преступника. Медленно — человек прогуливается — он обошел музей, поднялся по крутой лестнице, прошел по переулку, постоял возле

парка, словно раздумывая: идти ли? — и повернул направо. Служебный ход и дверь в экскурсионное бюро были закрыты. Но за массивными, похожими на ворота дубовыми створками, которых Долина до сих пор никогда не видел нараспашку и куда подвозили экспонаты, чернела темнота. Часть музея ремонтировали, и, наверно, сюда приходилось доставлять и строительные материалы. Рабочих у входа не было, очевидно, они уже ушли обедать, забыв запереть двери.

Неожиданно для себя Долина повернул к этим дверям. А ведь собирался войти через центральный вход. Почувствовал, как обдало жаром щеки, в горле что-то задрожало и сжалось в тугой комок. Один неверный шаг, случайный окрик — и комок взорвется, словно граната. Сашко успокаивал себя: если его задержат, он назовет свою фамилию и скажет, что просто выбрал путь покороче. Он понимал, что поступил нелепо, что рискует возможностью выполнить задуманное потом. Ведь подозрение сразу падет на него. Потому что он шел к своей скульптуре дорогой, которой обычно не ходил. От него будут требовать объяснений...

Долина окончательно разволновался. В виски стучала кровь, замирало под ложечкой.

Переступив порог, Сашко остановился, привыкая к темноте, которая охватила его со всех сторон. Боялся споткнуться, а то и вовсе провалиться в какую-нибудь яму. Рабочие, когда уходили, выключили свет. Сначала Сашко хотел поискать выключатель, а потом передумал и медленно двинулся дальше.

Свет из дверного проема, который он заслонял, упал на беленую стену впереди, и Сашко увидел под ногами ровный пол. Добравшись до стены, он снова остановился. Слева виднелась узенькая лестничка, справа — дверь, напротив лестнички — еще одна. Обе двери были закрыты. Ему захотелось, чтобы они не открывались. Тогда он повернет назад и, если его даже остановят, скажет... Но кто может остановить его тут? Когда он нажимал на ручку дверей, ему показалось, что он стал хрупким и звонким, словно бемское стекло. Одно прикосновение — и стекло зазвенит, лопнет, рассыплется вдребезги. И не станет на свете Долины. И все кончится...

Дверь тихо скрипнула и отворилась, хотя он и не толкал ее. За ней виднелся тесный коридор, который

поворачивал налево. Он освещался слабенькой лампочкой, забранной стеклянным пыльным плафоном. Сашко быстро пошел по коридору. Теперь надо действовать быстро. Мол, иду по делам, кому какой до меня интерес! Его била дрожь. Спину пронизывал ледяной холод, а по голове словно кто-то беспрестанно проводил жесткой, холодной ладонью. Он слышал, как стягивалась кожа на черепе и волосы вставали дыбом. Резко рванув высокую дверь, он вошел в широкий, выложенный цветной плиткой коридор и направился к дневному свету, который падал откуда-то сверху.

Обойдя сложенные штабелями рамы и какие-то деревянные обломки, он миновал туалетную комнату и через несколько шагов вдруг очутился у широкого марша лестницы, ведущей на второй этаж. И в этот момент в голове пронеслось: какая невероятная удача, что все двери отперты. На некоторое время он почувствовал облегчение: его уже не могли спросить, как он сюда попал. Но в следующий момент он снова заволновался.

Он вышел прямо к «Старику». В этом было нечто роковое, нечто закономерное, и этого он не мог объяснить.

«Старик», конечно, усмехался ему навстречу. Как всегда. Сначала у него не было такой улыбки. Долина не делал его насмешливым. Он пытался только уловить момент погружения в себя, момент колебания, а не насмешку над миром. Но теперь «Старик» смеялся. Он смеялся над Сашком. Над его муками, метаниями, которые предвидел еще тогда. Он предупреждал, что Сашко останется ничтожным и бесталанным. И что вообще все в мире ничтожно. Надежды, ожидания, порывы и стремления. Истинны лишь земля и камень на ней.

И камень — тоже до поры до времени. «Дети дорастают до высоты памятников...» — вспомнилось Долине.

В усмешке «Старика» скрывались опыт и предвидение того, что должно случиться с каждым.

Долина уже не замечал людей, проходящих мимо. Сегодня они почему-то не останавливались возле «Старика в задумчивости». И не мешали рассматривать скульптуру, не отвлекали. Долина и теперь не мог понять, как он сотворил это, что вело его в работе. Указания Кобки, пылкое отрицание своего мелочного существования в искусстве, горячая вера в человека, ко-

того он высвобождал из камня? Но почему он не видит его теперь? Почему «Старик» чужд и почти враждебен ему? Он почувствовал глубокое безмолвие камня, в котором таился гул толпы. Долина знал, что хочет сказать «Старик», почти всегда. Вот сейчас «Старик» говорил: «Ничего путного ты уже не сделаешь. Но не нужно из-за этого надрывать сердце. Ты думаешь, те, великие, имели больше, чем ты? Думаешь, они могли втиснуть в себя весь мир? Мир, он прост до примитивности. Измеряется тем, кто сколько может съесть и выпить. А разве ты сделан иначе?..»

Он обманывал его. И, обманывая, издевался. Это Сашко знал наверняка. Он ощущал неумолимую мстительность «Старика», знал, что стал его должником и что будет платить вечно.

Сашко чувствовал не злобу, а глубокую тоску. Он чувствовал жажду по несвершенному и — цепи на своей душе. И захлебывался от безнадежности. Долина понял, что боится «Старика». Что больше никогда не сможет явиться сюда и наблюдать за ним. Что, уйдя отсюда, вообще больше ничего не сможет сделать. Он просто не посмеет подойти к глине. В каждом ее комке будст издевательски хохотать «Старик». Если сго не остановит сам Сашко. Может быть, последней ценой.

Цветные полосы мелькали у него в глазах, уродуя «Старика». Шало билось сердце. Оно отсчитывало иное время, иной ток крови. Может быть, ток крови иного человека? Так, по крайней мере, подумалось Сашку. Долина не замечал, что оглядывается и что пытается выглядеть спокойным.

Наверно, это в нем озирался другой человек, который кружил вокруг музея и крался темными коридорами. Потому что первый пылал, как на костре. У него горело в груди, и красный туман застилал глаза. Но и сквозь этот туман он видел, как надвинулась на него каменная грудь, как поднимал голову «Старик» и смеялся ему прямо в лицо. Он даже чуял тяжкое дыхание — крепкого табака, земли и осклизлого камня. И оттолкнул его от себя. Потом ему казалось, что он не толкал скульптуру, что она упала сама. Но он хорошо слышал, как загудел пол и звонко вскрикнул мрамор. Он закричал человеческим голосом, прося пощады. Долина бежал, а сзади гремели осколки, и эхо гналось за ним.

Эхо проламывало двери, ударяло в голову и спину,

а когда Долина выбежал во двор, обрушилось сверху из открытых окон тысячами звонких каменных обломков и било по темени. Ему показалось, что сейчас обрушится все здание. Однако музей стоял, и в окнах никого не было видно. Но по лестнице уже сновали люди; внизу, у Крещатика, трещал милицейский свисток — долго, пронзительно, вслед машине, — Сашко, опытный автомобилист, отметил это и понял, что нужно как можно быстрее нырнуть в человеческий водоворот и потеряться в нем. Преодолевая желание побежать, он быстро зашагал к Крещатику.

Долго блуждал по улицам, не отваживаясь вернуться в мастерскую. Он знал, что не сможет спокойно сидеть и ждать звонка, что в первую же минуту выдаст себя. А звонить будут, наверно, многие. Ведь погибла его скульптура, образец искусства, «эталон», как сказал тот учитель. При этом воспоминании Долина саркастически засмеялся. Но даже в то мгновение им владел страх. Страх не давал почувствовать, освободился ли он от власти «Старика». Он искал щель, чтобы спрятаться и отсидеться.

И тогда он отправился на вокзал и купил билет до Одессы. Из автомата позвонил соседке, чтобы предупредила Светлану — он, мол, срочно выезжает в командировку.

Доехал Долина только до Фастова. Устроился в гостинице. Ему казалось, он нашел наконец пристанище.

Купил бутылку водки и заперся в номере. Едва поднес стакан ко рту, его вывернуло. Лег в постель, но заснуть не смог. Всю долгую осеннюю ночь просидел на постели, закутавшись в одеяло. В гостинице еще не топили, к тому же тут недавно закончили ремонт, и стены были влажные. Долину била холодная дрожь. Ему захотелось скорее сбежать отсюда, добраться до мастерской, забиться в уютный закуток за портьерой и — спать.

Еле дождавшись рассвета, Сашко поехал в Киев. В мастерскую не пошел — знал, там его непременно разыщут, — а спустился в подвал, в свою старую каморку, служившую ему теперь кладовой, заперся, рухнул на старую кушетку, даже не стряхнув с нее пыли, и словно провалился в глубокий, темный колодец. Чувствовал сквозь сон: где-то там, наверху, бегали люди, кого-то разыскивали — наверно, его, — заглядывали и в колодец, но его не видели. Сашко спал.

Его поднял с кушетки негромкий стук. Стучали осторожно, но так, что он понял: посетитель знает, что он здесь. Сашко отпер дверь, и в сырой сумрак каморки шагнула Люся.

Сашко растерянно отступил, потер лоб. Люсин приход был полной неожиданностью, а в этот момент даже неприятной неожиданностью. Его душа не жаждала исповеди, ей было довольно самой себя. Он уже знал, что вырвался из заколдованного круга, в который сам же себя и загнал. Такие круги создаются довольно легко: штришок за штришком, поступок за поступком — вот и готово! Хватает одного взгляда, чтобы заметить эту замкнутость. Но о том, что создали ее сами, мы забываем.

Но ныне круг распался. Он сам разорвал его. Удивляясь, что принимал за реальный. И ничья помощь ему не была нужна. И изливать душу он не собирался никому. Даже Люсе... которой не раз мысленно рассказывал все.

Он почувствовал слабость и вялость своего тела. И тяжесть, необычайную тяжесть в голове. А в затылке тонко покалывало, и перед глазами стоял туман. Сашко понял, что заболел, что сон был беспамятством, и сколько он лежал — не знал этого. Не мог ничего вспомнить, не мог отделить действительность от болезненного бреда. Разбил ли он скульптуру на самом деле или только в воображении? Наверно, надо сейчас же, не теряя времени, выяснить это. Пойти в музей самому или попросить Люсю... Но — странно, он почувствовал, что сейчас это его не задевает. Так или этак, он разбил ее, разбил цепь, которая сковывала его все эти годы. Только... Как же все это было явственно! Или не было? Если он вправду уничтожил скульптуру, надо будет возместить ее стоимость музею. Но и это теперь не пугало его. Продаст машину. И перешлет деньги по почте.

Люся смущенно сказала:

— Вы, Сашко, не думайте... Просто я пришла...

— Откуда вы знали, что я тут? — перебил он.

— А где же вам еще быть? Я следила за вами последние дни.

— Следили?

— Видела вас. Петро рассказывал. Я догадывалась — вас мучит «Старик в задумчивости». Вы к чему-то шли. К какому-то решению.



— Уже пришел,— устало сказал Долина.

— Как? — не поняла Люся.

— Разбил его.

— Разбил! — ужаснулась она, и в глазах ее вспыхнуло настоящее пламя.

Он не смел встретиться с нею взглядом.

— И... черт с ним! Вы же никому не скажете?.. Собственно, я не знаю, разбил или это только привиделось. Но... Я разбил его. У меня еще нет сил ни печалиться, ни радоваться. Вы меня понимаете? Вы все понимаете.

Он и вправду видел, что Люся догадалась обо всем. И о его болезни. Потому и пришла сюда. По ее приглушенному вскрику он понял, что Люсе жаль скульптуры. И понял, что в ее душе нет осуждения, а только сочувствие и сострадание. У него даже слезы подступили к горлу, но он не дал растрогать себя. И не потому, что боялся выказать свои чувства Люсе. Просто сейчас он был в том состоянии равновесия и сосредоточенности, когда любые сантименты не нужны. Теперь ему казались необъяснимыми экзальтация и неуравновешенность, в которые его бросили сначала невероятная радость удаchi, а потом отчаянье и бесчисленное множество неудач, постоянное ощущение гнета «Старика». Он понимал, что это было некое выпадение из реального и трезвого мира, невольное сгущение атмосферы, преувеличенная работа воображения — почти болезнь, от которой он теперь освободился. Ему было тоже жаль скульптуру, он не знал, что если бы не избавился от нее, то не избавился бы и от своей болезни. И потому повторил, скорее отвечая себе, а не Люсе:

— Черт с ней, сделаю другую.

Сказав так, он сразу почувствовал, как осветились все закутки его души. Он почувствовал, что и вправду сделает.

Сашко еще не знал, что именно будет делать, но ощущал жадное, почти безумное желание работать, необычайную легкость и свободу. Хотелось жить, искать, ошибаться, мучиться, уставать и засыпать, мечтая о завтрашнем дне! О том дне, который летит к тебе, и о следующих днях... и даже о том особом дне, который когда-нибудь принесет тебе самую великую радость. Он словно бы проломил дырку в стене, которая обступила его. И в тот пролом глянуло солнце и открылся горизонт, к которому он может идти бесконечно. Как хорошо, подумал он про себя, что существует бесконечность. Что есть дороги, которые никогда не кончаются, и есть желания, которые никогда нельзя утолить. Что каждое следующее творение в искусстве — продолжение предыдущего, но продолжение только порядковое, а само по себе оно — новое, неизвестное и не найденное еще никем, вызов всему, что создано до него. Отрицая, оно присоединяется к ним, становится в один поступательный ряд.

— Я буду работать как вол,— сказал он.— Я вижу по вашим глазам, только не возражайте мне, потому

что это будет неправдой, что вы не верите в меня. Наверно, я уже не создам такой совершенной вещи. Может быть, и не создам. Но я и не хочу подобных вещей. Я сделаю что-нибудь новое. Совсем новое. Прежде всего — для самого себя.

— Я и не возражаю, — тихо ответила Люся. — Но дело совсем не в том, что вы сказали. Иначе... я не пришла бы сюда.

— Значит, вы догадывались? — спросил он почти со страхом.

Она кивнула:

— Вы всегда про него говорили... с любовью и с ненавистью. И все сравнивали с ним. И Мавку тоже. Я даже боялась. Я хотела уберечь вас от этого. И поэтому убежала. Это была... словно болезнь. А может, и вправду болезнь. И она минула.

— Минула, — как эхо повторил он. Значит, она поняла все. И сочувствовала, и мучилась, и вот... Нет, нет, это невероятно. Об этом пока что нельзя и мечтать. И признаваться даже себе.

— Минуло все, — сказал он. — Осталось одно — надежда.

— Это много или мало?

— А как вы думаете?

— Много, — ответила уверенно Люся.

— Не просто много. Это — все! Уйдем отсюда! Тут словно в могиле.

Они поднялись вверх. Солнце уже спряталось за могучими крепостными валами, синие сумерки наплывали от хмурого осеннего сада, от тяжелых стен и строений на холмах; светились только четыре золотых шпиля и купол звонницы Ковнира. Но вот и они, словно по мановению чьей-то руки, погасли. Это было неожиданно и почти пугающе. По крайней мере так восприняла это Люся. А Долина засмеялся:

— Так они гаснут каждый вечер. А потом загораются снова. Первые лучи солнца падают как раз на них. Это просто чудо, но еще большее чудо, что Ковнир знал это до того, как начал строить свой шедевр. Он знал, что солнце прежде всего будет освещать вот этот купол. Первые его лучи, которые идут к нам...

— Первые и последние, — сказала Люся.

Он чуть удивленно посмотрел на нее и повторил:

— Да, первые и последние.

Мушкетик Ю. М.

М93 Позиция.— М: Известия, 1984.— 560 с., ил.

Юрий Мушкетик — известный украинский прозаик. В новую книгу Ю. Мушкетика вошел роман «Позиция» — о жизни сегодняшнего украинского села. Главный герой — председатель Василь Грек, человек, истинно любящий землю, настоящий хозяин. Повесть «Боль» написана на военном материале. Это история невольного предательства, расплата за которое настигает героя повести уже после войны. «Старик в задумчивости» — повесть-притча — о судьбе молодого скульптора, его поисках, успехах и неудачах, о сложных взаимоотношениях людей, о несостоявшейся любви.

М 4702590000—083
074(02)—84 70—84 подписное.

ББК84Укр 7
С(Укр) 2

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЗИЦИЯ. Роман. Перевод И. Сергеевой	5
БОЛЬ. Повесть. Перевод К. Григорьева	275
«СТARIK В ЗАДУМЧИВОСТИ». Повесть-притча. Перевод И. Сергеевой	461

Юрий Михайлович МУШКЕТИК

ПОЗИЦИЯ

Приложение к журналу «Дружба народов»

Редактор **Л. Цуранова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **В. Волк**



ИБ № 801

Сдано в набор 12.03.84. Подписано в печать 27.07.84. А 06104.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура лите-
ратурная. Печать высокая. Печ. л. 17,5. Усл. печ. л. 29,40. Усл.
кр.-отт. 29,61. Уч.-изд. л. 31,33. Тираж 268 000 экз.
(2 завод 150 001—268 000)

Цена 2 руб. 20 коп.



Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
103791ГСП Москва, Пушкинская пл., 5

Отпечатано с матриц типографии ордена Ленина комбината печати
издательства «Радянська Україна» 252006. Киев, А. Барбюса, 51/2 в
Киевской книжной фабрике. 252054, г. Киев, ул. Воровского, 24.
Зак. 4-97.

Scan Kreyder - 25.07.2016
STERLITAMAK

